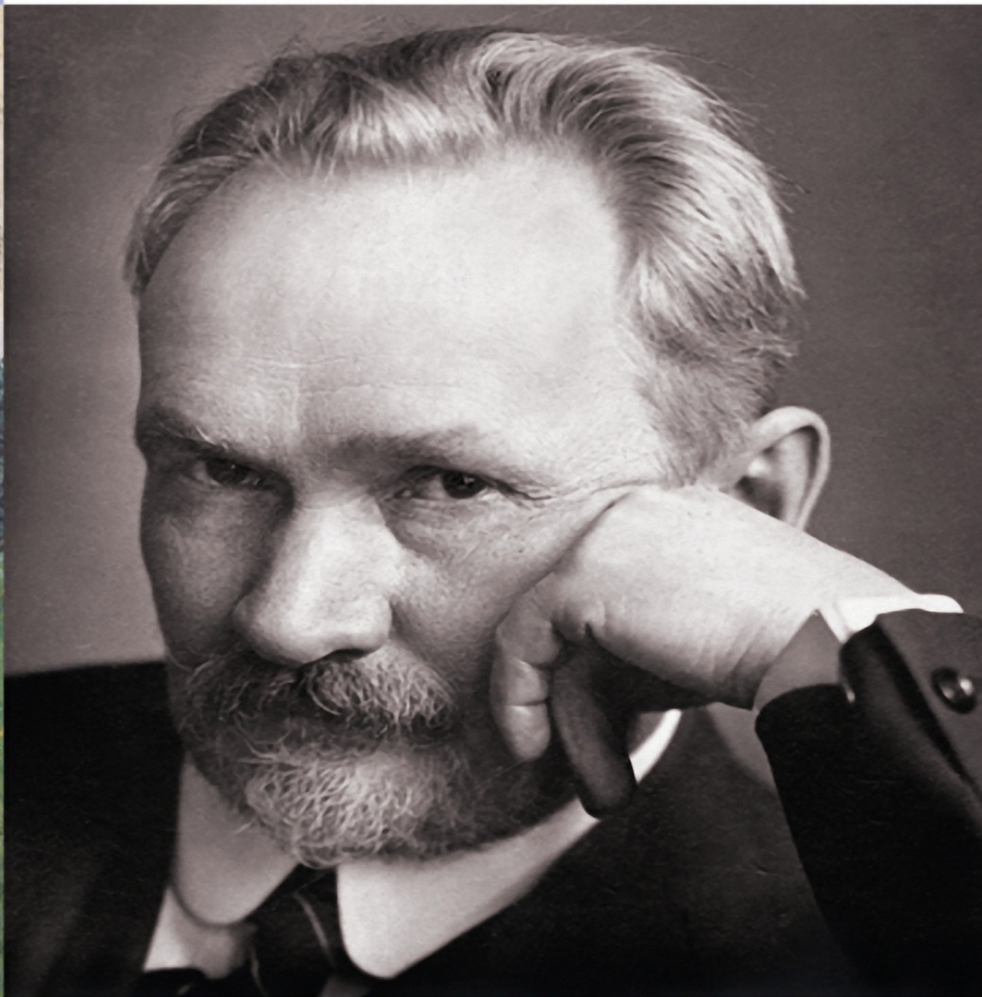


РОЗАНОВ



Алексей
Варламов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

О Василии Васильевиче Розанове (1856–1919) написано огромное количество книг, статей, исследований, диссертаций, но при этом он остается самым загадочным, самым спорным персонажем Серебряного века. Консерватор, декадент, патриот, христородец, государственный, анархист, клерикал, эротоман, монархист, юдофоб, влюбленный во все еврейское, раскованный журналист, философ пола, вольный пленник собственных впечатлений, он прожил необыкновенно трудную, страстную и яркую жизнь. Сделавшись одним из самых известных русских писателей своего времени, он с презрением относился к литературной славе, а в конце жизни стал свидетелем краха и российской государственности, и собственной семьи. История Розанова – это история блистательных побед и поражений, счастья и несчастья, того, что Блок называл непреложным законом сердца: «радость – страдание одно». И всем этим чувствам, всем ощущениям, всем событиям и мгновениям жизни В. В. умел подобрать самые точные и волшебные, самые «розановские» слова, не утратившие обаяния и столетие спустя. Автор книги писатель Алексей Варламов не уклоняется от острых и трудных вопросов биографии своего героя и предлагает читателю вместе с ним искать ответы на них.

- [Алексей Варламов](#)
 -
 -
 - [Шило в мешке](#)
 - [Происхождение героя](#)
 - [Мерзость запустения](#)
 - [Патологии](#)
 - [Три гимназии](#)
 - [Женился на Достоевском?](#)
 - [Загробное чтение](#)
 - [Людская молва](#)
 - [Неравный брак](#)
 - [Альма-мачеха](#)
 - [Непонимание](#)
 - [Метель в степи](#)
 - [Закон чисел](#)

- [Друзья по переписке](#)
- [О любви](#)
- [Что такое развод?](#)
- [Таинство](#)
- [Документ](#)
- [Вытащить из Белого](#)
- [Русская партия](#)
- [Чужой среди своих](#)
- [Город пышный, город бедный](#)
- [Жизнетворец](#)
- [Бедные люди](#)
- [Ужо тебе!](#)
- [Чего же ты хочешь?](#)
- [Слово и тело](#)
- [Вращение земли](#)
- [Легкомысленный волк](#)
- [Новое время](#)
- [Свой среди чужих](#)
- [Мистерия](#)
- [Муж и жена](#)
- [Проклятые опыты](#)
- [Влага жизни](#)
- [Все счастливые семьи...](#)
- [По морде даст](#)
- [Качнуться влево](#)
- [Чук](#)
- [Мой до дыр](#)
- [Новые люди](#)
- [Душа моя Павел](#)
- [Дурная болезнь](#)
- [Вы – гениальны!](#)
- [Качнуться вправо](#)
- [Новое бремя](#)
- [Секта](#)
- [Это – Вы!](#)
- [Группа крови](#)
- [Что ему в них не нравилось](#)
- [Вопли патриота](#)
- [Дело Розанова](#)

- [Нетелефонный разговор](#)
- [Мы все погибнем](#)
- [Лунная тень](#)
- [Пустое вы говорите...](#)
- [Странные есть мужики](#)
- [Под сенью девушек](#)
- [Все смешалось](#)
- [И русское возрождение](#)
- [Судьба девушки](#)
- [О вечном и о бабьем](#)
- [Всякое дыхание](#)
- [Литературный крах и скандал](#)
- [Две сестры, брат, щуки, караси, Шпалерная, Блок и Аполлон Григорьев](#)
- [Вера хочет умереть](#)
- [Корделия](#)
- [Достать чернил и плакать](#)
- [В египетском зале](#)
- [Маг и магги](#)
- [Бегство в Израиль](#)
- [Против Христа](#)
- [Тень Тertia](#)
- [Медуза](#)
- [Отец сошел с ума](#)
- [Розанов и крест](#)
- [Свидетельство о смерти](#)
- [Жизнь после смерти](#)
- [Ученик](#)
- [Вера](#)
- [Дочки-матери](#)
- [Скованные одной цепью](#)
- [Козел и могила Розанова](#)
- [Rosa nova](#)
- [Основные даты жизни и творчества В. В. Розанова и членов его семьи](#)
- [Краткая библиография](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)

- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)

- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)

- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)

- [120](#)
 - [121](#)
 - [122](#)
 - [123](#)
 - [124](#)
 - [125](#)
 - [126](#)
 - [127](#)
 - [128](#)
 - [129](#)
 - [130](#)
 - [131](#)
 - [132](#)
 - [133](#)
 - [134](#)
 - [135](#)
 - [136](#)
 - [137](#)
 - [138](#)
 - [139](#)
 - [140](#)
 - [141](#)
 - [142](#)
 - [143](#)
 - [144](#)
 - [145](#)
 - [146](#)
 - [147](#)
 - [148](#)
 - [149](#)
 - [150](#)
 - [151](#)
-

Алексей Варламов

Розанов

© Варламов А. Н., 2022

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление,
2022

*

Автор выражает глубокую благодарность С. Р. Федякину за замечания и пожелания, высказанные по прочтении рукописи этой книги.

Издательство «Молодая гвардия» благодарит Государственный литературный музей им. В. И. Даля за предоставленные иллюстративные материалы.

Шило в мешке

Нет в русской литературе другого писателя, который вызывал бы столько неприязни и раздражения у самых разных людей, как герой этой книги. И при жизни, и после смерти. Как его только не гнали, как не обзывали, в чем не обвиняли, с кем уничижительно не сравнивали, от чего не отлучали. «Голый Розанов», «Обнаженный нововременец», «Бесстыжее светило, или изобличенный двурушник», «Гнилая душа», «Неопрятность», «Вместо демона – лакей», «В низах хамства», «Разложение литературы», «Позорная глубина», «Всеобщее презрение и всероссийский кукиш», «Опаснее врага», «Человек душевного мрака» – вот только несколько названий статей, которые были написаны в начале века, но кажутся прилетевшими из советского тридцать седьмого года. Известно резкое письмо Леонида Андреева Горькому, где он называет Розанова «ничтожным, грязным и отвратительным человеком» и сравнивает его с «шелудивой и безнадежно погибшей в скотстве собакой», в которую жалко бросить чистым камнем. «Ведь это же гадина, форменная гадина, отвратительно-продажная, подло-предательская, фарисейски-лицемерная», – писал Семен Венгеров Алексею Ремизову. «Редкий талант отвратительнее его», – отзывался о Розанове юный Александр Блок. «Что может дать духовно этот одаренный и проницательный писатель, который сам представлял собой какой-то безликий, аморфный студень?» – риторически вопрошал философ С. Н. Булгаков, ученик Розанова в гимназии Ельца.

Однако при этом никто и никогда из розановских недругов его талант сомнению не подвергал, и если продолжить, например, цитату из письма Венгерова, то и он признавал, что Розанов «писал почти – гениально». То же и Мережковский: «Считаю нужным оговориться, что я считаю Розанова, несмотря на все его заблуждения, не только в России, но и всемирно гениальным писателем». Нечастый случай, когда литературное дарование не оспаривается, а личность подвергается строжайшему разбору. Вот уж точно соединение гения и злодейства, но при этом и гения, и злодейства весьма своеобразного. «Ни в ком жизнь отвлеченных понятий не переживалась как плоть; только он выделял свои мысли – слюнной железой, носовой железой; чмахом, чмыхом; забулькает, да и набрызгивает», – вспоминал Андрей Белый, но и он Розанова ставил очень высоко.

Без этого человека не было бы в России Серебряного века, а если и

был бы, то совсем другой, более пресный, гладкий, безопасный, полый и бесполой. Однако и Розанова невозможно представить в иную эпоху. Он стал ее эталоном, средоточием, тайным уdom, не случайно о нем написано такое количество воспоминаний, научных исследований, статей и монографий. Его не перестают издавать, переводить, обсуждать, изучать, укорять, превозносить, ниспровергать, и когда читаешь эти эмоциональные публицистические либо сухие научные строки, странным образом ловишь себя на мысли, что все выступающие правы. И которые за, и которые против. И те, кто обвиняет, и те, кто оправдывает. И те, для кого он бесформенный студень, и те, для кого – острый нож.

В. В. – как часто называли его современники – настолько широк, всеобъемлющ и безразмерен, что, говоря о нем, невозможно промахнуться. Однако и он стреляет по нам в ответ. «Этот гнусный ядовитый фанатик, этот токсичный старикашка... баламут с тончайшим сердцем, ипохондрик, мизантроп, грубиян, весь сотворенный из нервов, – нет, он не дал мне полного снадобья от нравственных немощей, но спас мне честь и дыхание, – написал Венедикт Ерофеев. – Все тридцать шесть его сочинений вонзились мне в душу, и теперь торчали в ней, как торчат три дюжины стрел в пузе святого Себастьяна»^[1].

Уколы разной силы почувствовал, наверное, каждый из розановских читателей; даром, что ли, еще Пришвин заметил: Розанов как шило в мешке, его не утаишь. Хотя поразительным образом советской власти это почти удалось, и Розанова большинство из нас прочитало лишь тогда, когда ее не стало^[2]. Во всяком случае, в первой половине восьмидесятых на лекциях по русской литературе студентам филфака МГУ о нашем знаменитом выпускнике ничего не рассказывали. Или, может быть, я прогуливал либо невнимательно слушал...

Происхождение героя

Историей своего рода Василий Васильевич не интересовался, честно признаваясь, что «дальше деда у себя ничего не помнит, и деда знает лишь из отчества отца: Василий Федорович, значит Федор», а в «Опавших листьях» подводил под это генеалогическое безразличие своеобразную теоретическую базу: «У русских нет сознания своих предков... от этого наш нигилизм: “до нас ничего важного не было”». Это важное сделали за него исследователи много лет спустя, и если коротко суммировать их изыскания, картина получается такая.

Будущий писатель В. В. Розанов по линии отца происходил из священнического рода, а по линии матери – из обедневшего дворянского. При этом фамилия, о которой он так сокрушался (все, конечно, помнят дивный пассаж про булочника Розанова из «Опавших листьев»; правда, подозреваю, что сокрушался В. В. делано, на самом деле «неестественно-отвратительная» фамилия ему ужасно нравилась, как нравилось и все, что было связано с ним самим), не была родовой. Его деда по отцовской линии звали Федор Никитич Елизаров, был он сыном священника, внуком священника и сам служил священником в храме Рождества Богородицы в селе Матвееве Кологривского уезда Костромской губернии. Розановым стал родившийся в 1822 году его сын Василий, после того как отрока отдали в семинарию. Такая была у «колокольных дворян» традиция: менять фамилии своим отпрыскам, посылая их на учебу.

Что касается того, почему розановский дед избрал именно эту, прекрасную, звучную, литературную, то существует убедительное предположение костромской исследовательницы Ирины Халидовны Тлиф, что это было сделано в честь любимого семинарского преподавателя отца Феодора. «В Костромской духовной семинарии в начале XIX века служил учителем Василий Федорович Розанов – выпускник Костромской и Лаврской семинарий. В семинарии он преподавал философию и французский язык, а во внеклассное время занимался постановками пьес на дозволенные семинарским правлением сюжеты. За любовь к драме получил замечание епископа, а впоследствии театральные действия и вовсе были отменены – “от семинаристов не комедиантов, а добрых пастырей и духовных наставников ожидают”. Позже В. Ф. Розанов принял монашество (в монашестве Гавриил), был ректором различных семинарий, епископом Орловской епархии, архиепископом Екатеринославской, затем Тверской и

Кашинской епархий. Написал несколько сочинений религиозно-поучительного характера. У Василия Федоровича обучались многие отцы будущих “Розановых”, в том числе Ф. Н. Елизаров, старший сын которого был полным тезкой семинарского учителя и первым Розановым в роду».

Отец нашего Розанова, стало быть, тоже Василий Федорович, окончил Костромскую семинарию в 1840 году, однако по духовной части не пошел, а поступил на службу в Костромскую палату государственных имуществ писцом второго разряда. Служил он, судя по всему, весьма усердно, и четыре года спустя его повысили и перевели в город Ветлугу, где предположительно он и познакомился со своей будущей женой Надеждой Ивановной Шишкиной. Она была дочерью небогатого дворянина, который вышел в отставку, овдовел и проживал в Буйском уезде под надзором полиции как человек, «склонный к разным буйствующим поступкам», «частовременно занимающийся пьянством и в этом положении производящий разные предосудительные поступки». Среди прочих преступлений его также подозревали «в причинении насильственного блудодеяния», иначе говоря, изнасиловании. Таким образом, рассуждая о пресловутой противоречивости, двойственности нашего протагониста и соединении несоединимого в его личности и судьбе, можно предположить, что шло оно в том числе от разных натур двух его дедов – благородного левита, всю свою жизнь прослужившего в одном селе, избравшегося депутатом при одиннадцати церквях и награжденного набедренником, пользовавшегося огромной любовью и уважением у клира и мира («трезв, к должности рачителен, поведения честного, нравов кротких»^[3]) и – буйного буйского помещика, замешанного в преступлениях на сексуальной почве. А если верно, что гены передаются через поколение, то знаменитое розановское «два ангела сидят у меня на плечах: ангел смеха и ангел слез. И их вечная пререкание – моя жизнь» – возможно, тоже идет отсюда, о чем сам В. В., правда, не ведал, но недаром писал, что есть люди, которые рождаются «ладно» и которые рождаются «неладно». Розанов родился «неладно», и потому такая «странная, колючая, но довольно любопытная биография». Впрочем справедливости ради, в «Последних листьях» он сам себя опровергал: «Моя душа – вечное утверждение. “В мире со всеми”, “в ладу со всем”. Никогда еще такого “ладного” человека не рождалось». И никакого противоречия тут нет.

Мерзость запустения

Ветлужский период в жизни ладно-неладного младенца Василия был очень недолгим, но относительно благополучным. Во всяком случае, никакими иными свидетельствами на сей счет мы не располагаем, а более позднее розановское признание: «мы были страшно бедны, когда я родился, и я не забуду рассказа матери, что этот немудрящий доктор, помогший моему рождению, положил желтенькую бумажку, старый наш русский рубль, ей под подушку: уж не знаю, на пищу роженице или на лекарство, им прописанное» – кажется несколько преувеличенным. Все-таки глава семьи, чиновник не самого низшего звания, каким был энергичный Василий Федорович Розанов, пусть даже исключительно честный, не берущий взятки, вряд ли был беден до такой уж степени. Несчастье случилось зимой 1861-го, в канун выхода царского манифеста об освобождении крестьян. Занимавший в ту пору должность помощника ветлужского окружного начальника и по совместительству заведующего Варнавинским лесничеством отец семейства заболел воспалением легких и скоропостижно скончался, оставив сиротами семерых детей и жену, беременную восьмым ребенком. Жития его было тридцать девять лет...

Розанов отца не помнил, но позднее называл его добрым, честным, простодушным, смелым человеком, а про мать писал, что при ее жизни не чувствовал и не любил ее. Тому были свои причины. После смерти мужа тридцатипятилетняя вдова с детьми переехала в Кострому. Там она купила небольшой дом на окраине города близ местной Сенной площади, где и прошло печальное Васино детство, о котором мы знаем опять же в основном с его слов. Полностью доверять этим словам сложно, не доверять – невозможно. Розанов называл свое детство страшным, больным, испуганным, замученным, опозоренным, страдальческим, а дом, в котором он вырос, – рухлядью, темным, мертвым и злым. А кроме того – бедность, бедность, бедность, «нищета голая», такая, что иногда ели месяцами один печеный лук. Он вспоминал Кострому как город бесконечных дождей, писал, что над ним всегда были «у-у какие большие», а он был «страшно придавлен» и стал «слабым, бесконечно слабым». Своим детям, когда они шалили и не хотели есть, рассказывал о своем голодном детстве и, сделавшись известным писателем, больше всего гордился не своей известностью, не славой, а тем, что у него за столом собирается десять человек и он всех кормит.

Опять же, так ли все было беспросветно в материальном отношении в его ранние годы, сказать трудно. Надежда Ивановна получала после смерти мужа пенсию 300 рублей в год, и это были совсем не маленькие по тем временам деньги. Еще сколько-то Розановы получали, сдавая второй этаж дома «нахлебникам» (так звали тогда постояльцев), плюс у семьи были свой большой огород и корова. В. В. оставил в одном из писем Эрику Голлербаху душераздирающее описание смерти этой коровы: «Она была похожа на мамашу, и чуть ли тоже “не из рода Шишкиных”. Не сильная. Она перестала давать молоко. Затвердение в вымени. Призвали мясника. Я смотрел с сеновала. Он привязал рогами ее, к козлам или чему-то. Долго разбирал шерсть в затылке: наставил – и надавил: она упала на колени, и я тотчас упал (жалость, страх). Ужасно. И какой ужас: ведь – КОРМИЛА, и – ЗАРЕЗАЛИ. О, о, о... Печаль, судьба человеческая (нищета). А то все – молочко и молочко. Давала 4–5 горшков. Черненькая и словом “как мамаша”».

После этого в семье «настала окончательная нищета». Однако письмо Голлербаху было написано в голодные послереволюционные годы в Сергиевом Посаде, когда Розанов действительно питался очень скудно и одно ощущение могло не просто наложиться, но затмить другое. А вообще-то в пору розановского детства корова стоила 5–7 рублей, так что при такой пенсии купить новую большого труда, наверное, не составляло. В. В. писал, что мать не умела пенсией распоряжаться, и деньги, которые они получали два раза в год по 150 рублей, разлетались за три-четыре месяца, а вот если бы получали каждый месяц по 25 рублей, то при своем домике и огороде могли бы существовать. И все же главное несчастье семьи состояло не в деньгах или в их недостатке.

Оно явилось в 1864 году в образе конкретного человека, своего рода злого гения Розановых. Это был некто Иван Воскресенский, «нигилист-семинарист», снимавший комнату в розановском доме, но в отличие от других нахлебников задержавшийся в этом месте надолго. Отроку Василию было восемь лет, когда Воскресенский сошелся с Надеждой Ивановной, будучи вдвое ее моложе, и фактически стал детям «вотчимом».

«Мама, невинная и прекрасная, полюбила его, привязалась старую – бессильною – несчастною любовью», – вспоминал Розанов незадолго до смерти, когда тон его по отношению к матери сделался примирительным и он «вызвал тень ее из гроба» и «страшно с нею связался» (письмо Голлербаху), «и ее грехи, слабости, несчастье – все так люблю, люблю и целовал бы ее худенькое, больное личико и худенькие руки» (письмо о. Павлу Флоренскому), однако в ту пору это была настоящая семейная война.

Каким был по характеру мамин сожитель, зачем нужна ему была вдова с многочисленным потомством, действительно ли он хоть сколько-нибудь любил ее – все это доподлинно неизвестно, но нельзя исключить того, что исчезающие за короткий срок пенсионные деньги тратились как раз на милого друга и двадцатилетний лоб сделался нахлебником в принятом ныне смысле этого слова.

Сам Розанов позднее писал про Воскресенского, что «м. б. он был и недурным человеком, но было дурное в том, что мы все слишком его ненавидели». Только вряд ли детская эта ненависть родилась на пустом месте. В воспоминаниях старшей дочери Розанова Татьяны, очевидно, ссылавшейся на рассказы отца, говорится, что Воскресенский «был человеком озлобленным и часто пил». Розанов называл его в письмах «странным и угрюмым, “с должностями человека”, но немými, холодными, бездушными». Семинарист был явно безразличен к тому поприщу, для которого готовили. «Мама и мы ничего не понимали в его “идеях”, но, очевидно, он был “мыслящий реалист”, и когда я гимназист шел на исповедь, он говаривал сухо: И – и – и (заикался) дешь попу грехи сваливать. Сваливай, сваливай! (сухо, без шуток)».

Однако своеобразного педагогического задора Воскресенский был не лишен и, судя по сохранившимся документам, пытался своих пасынков и падчериц не просто воспитывать, а вымещать на них собственные комплексы и обиды. Не на старших, которые были по возрасту практически его ровесниками и в родном доме уже не жили, а на младших. Именно обаяние власти, осознание своего могущества, а не только и не столько влечение к маленькой, неграмотной, раздражительной женщине, какой запомнил Розанов свою матушку, удерживало семинариста в доме у Боровкова пруда на окраине Костромы в течение шести лет. То был вариант сержантской дедовщины, когда «мыслитель» гнобил и сек этих несчастных детей, пытался подчинить, заставить себя уважать, а они как могли сопротивлялись и, сидя на бревнах во дворе, строили планы обратиться в полицию и обсуждали взрослую сторону жизни. «А ее “Ванька” порол меня, и вообще “школил” ДО гимназии, т. е. лет 7–8–9–10–11, и Его-то я как дьявола и хуже дьявола ненавидел», – писал Розанов много лет спустя о. Павлу Флоренскому.

Мать, вероятно, все это видела, понимала, но, «истерзанная бессилием, вихрем замутненных чувств», встала на сторону молодого любовника, боясь его потерять. «Она была очень несчастна. Полюбила 40 лет, в старости и вдовстве, молодого семинариста, нигилиста, “образованного”, а сама была богомолка. И так ревновала. И посылала меня (7–8 лет)

подсматривать, кто у него сидит, не женщина ли?» – вспоминал В. В., и с этого момента в доме и началась мерзость запустения.

«Мамаша на нас совершенно остервенелась и стала для нас хуже чужой. Мы не имеем ни молока, ни куска хлеба, ни белья, ни чистой комнаты. Я живу в настоящее время на фабрике... Сергей ходит в худых штанах, которые никто не хочет ни починить, ни вымыть, и целый день грызёт горелую корку хлеба. Василий, когда уже выпал снег, долгое время ходил в гимназию в одной визитке...» – рассказывал в одном из писем той поры брат Розанова Федор.

Виктор Григорьевич Сукач, самый глубокий и проницательный из наших розановедов, недаром заметил: «Над детством Розанова хочется плакать». И это правда. Отроческие годы В. В., его взросление, возрастание, формирование мужского характера – все выпало на этот бесконечный период и было навсегда искалечено. Он попал под каток, под поезд, маленький, не очень сильный ни духом, ни телом ребенок, «задумчивый мальчик», «каких не было никогда», впечатлительный, все запоминающий, на все отзывающийся, ничего не пропускающий мимо себя и – уходящий в мечту.

«Еще в Костроме я, бывало, забирался на сеновал, садился там на маленькую, устроенную мною качель и, раскачавшись, оставался с зажмуренными глазами и уносился мыслью далеко, далеко от той ужасной и маленькой действительности, среди которой жил... одинокий и озябший мальчик, от всех отчужденный и ничего не любящий, кроме своего чудного и горячего мира, в котором жило мое воображение», – писал он своему гимназическому товарищу Барановскому в 1886 году, а еще позднее сформулировал свое понимание мечты как своего рода убежища, неприкосновенной территории, куда никому кроме него не было хода.

«Иное дело мечта, тут я не подвигался даже на скрупул ни под каким воздействием и никогда; в том числе даже в детстве». «Мне кажется такого “задумчивого мальчика” никогда не было. Я “вечно думал”, о чем – не знаю. Но мечты не были ни глупы, ни пусты».

Этот побег в мечту Василия Розанова спас, и он единственный из розановского рода, не считая старшего Николая, студента Казанского университета, а впоследствии учителя и директора гимназии, уцелел и выбился в люди. По братьям и сестрам семейная история ударила еще больнее.

Сестра Вера умерла в девятнадцать лет, брат Федор бросил учебу, бросил работу и стал странником, но не в религиозном смысле этого слова, а скорее бомжом. Сестра Павла была глубоко несчастна в замужестве. Брат

Дмитрий попал в психбольницу (есть страшное письмо, где Розанов пишет о грубом обращении с братом, и невыносимое письмо самого Дмитрия с просьбой прислать ему хотя бы какие-нибудь обносочки). Брат Сергей рассорился со всеми и с семьей не общался. Все пошло враздробь, как чеховским интеллигентам и не снилось.

«Тут всё мертво, хотя и шевелится, и дышит. И воскресить ничего нельзя, а можно только утонуть возле этого, в связи с этим, распутывая это (...) Мы все были в ссоре (...) всё окончательно заledenело, заxолодело, а главное, замусорилось. За всё время я не помню ни одной заботы, и чтобы сам о чём-нибудь позаботился. Все “бродили”, а не жили; и ни у кого не было сознания, что что-нибудь должно делать...» – писал Розанов в «Уединенном», а в письме Павлу Флоренскому прибавлял: «...как УЖАСНО мы жили в Костроме, Боже – какой это был нигилизм, какой это был холод вокруг, брат Федор (19 л.) пропивал деньги, данные “сходить в аптеку за лекарством”, сестра Павлуша (Бог ей простит) только неприличивовала с семинаристами (“богословие” и “философия” старые), и все было до того физически и духовно ГОЛО, ПУСТЫННО, что этого нельзя выразить, нельзя вспомнить без содрогания...»

Конечно, обвинять во всех бедах розановского дома одного Ивана Воскресенского едва ли справедливо, но факт есть факт: Розанову дважды пришлось пережить распад своей семьи – в детстве и в старости. Потом к этому прибавился распад государства, и по сути вся его жизнь стала подробной фиксацией, исследованием этой тотальной катастрофы и отчаянной, бессильной и в то же время отчасти лукавой попыткой сопротивления – и в личной жизни, и в общественной. И там, и там В. В. сокрушительно проиграл, но оставил поразительное по откровенности свидетельство этого поражения, начиная с самых детских лет.

Патологии

Невыносимая, нечеловеческая жизненная ситуация семьи усугубилась в связи с болезнью матери, когда мальчику исполнилось четырнадцать. «Милой Коля, ты не можешь вообразить, в каком положении или лучше сказать состоянии она находится, – писал Розанов брату Николаю в апреле 1870 года. – Ее болезнь и страдания нельзя ни словом сказать, ни пером описать; но уже когда нельзя всего сказать или вообразить не только в письме, но даже и лично, то мы хоть что-нибудь скажем про нее, бедную, тем более что это в моем законе, ибо я не люблю ни от чего отступаться до тех пор пока не кончу. Хотя бы это было и так трудно, что и сказать не можно. Мамаша теперь не встает с постели, и лежит-то она бедная на соломе, да и то хоть бы недавно, а то уж скоро будет год, как бы ты взглянул на ее, то, я думаю, так бы и отступился назад, – одни те кости, да кожа, и я уже не знаю, наберется ли золотника $\frac{1}{2}$ крови и мяса вместе, – буквально, Коля, потому-то я и говорю тебе, чтобы ты постарался быть хладнокровным. Но все-таки, Коля, к ее чести надо сказать, что она сделалась тиха, любит нас более, чем прежде, миролюбива и ни капли почти прежнего».

Много лет спустя в письмах Эрику Голлербаху, по своему характеру мемуарных, пронзительных и одновременно адресованных юному другу как материал для будущей биографии, Розанов писал о том, как ухаживал в детстве за больной матерью: «Теперь я Вам скажу кое-что Эдиповское. Моя мама, моя мамочка, моя дорогая и милая, всегда брала меня в баню: и с безмерным уважением я смотрел на мелкие, мелкие (нарисовано) складочки на ее животе. Я еще не знал, что это остается “по одной после каждых родов”, а нас было 12 у нее. Затем: она захварывала очень медленно. У нее были какие-то страшные кровотечения, “по тазу” (т. е. вероятно и мочую). “Верочка уже умерла”, когда мне было лет 5, а Павлутка не возвращалась из Кологрива, где училась. Федор – брат был разбойник, Митя добрый и кроткий (“святой”) был полусумасшедшим – (сидел в психиатрич. больнице), а “здоровым” был слабоумным. Сереже – 3 года; а мне от 6 и до 9–10, 11 лет. Когда мама умерла, мне было лет 11 или даже 13 (1870 или 71 год). И вот, за мамой с женской болезнью я должен был ухаживать. Раз я помню упрек такой: “как это можно, что она Васю заставляет ухаживать. Неужели никого нет”. Но – *никого и не было*.

Бедность. Ужас. Нищета голая. Конечно – никакой никогда прислуги.

Лечение же заключалось в том, что мешая “в пропорции” молоко с шалфеем – я должен был раза 3–4 в сутки спринцевать ее (она сидит, вся открытая) ручную спринцовкою (нарисована спринцовка), какую пульверизируют пыль. *Мистики половых органов мы совершенно не знаем.* Я делал это со скукой (“хочется поиграть”): но кто знает и испытал просто *зрительное впечатление*, вполне полное, отчетливое, абсолютное».

Это опять же к вопросу о розановских патологиях... Многим русским писателям досталось не очень простое детство, но *это* по ужасу, по страданию, по полной беспросветности, унижению и извращенности зашкаливает. Да, конечно, был Горький, которому Розанов не случайно писал: «А моя мамочка из могилы жмет Вам за сына руку: ах, какая она была бедная и измученная. Вот это целая история – и под перо бы Вам. Да и вся наша семья в Костроме – Ваш сюжет, с “лирикой”».

В горьковской автобиографической трилогии тоже можно найти немало горестных страниц, но их герой – победитель, он сильнее своих обстоятельств. Про Розанова так не скажешь. Он тоже вроде бы вырвался, добился успеха, но – покачальный, изуродованный, больной, и эту свою рану не изжил, не излечил, а оставшись «вечным мальчиком» – так назовет он статью о самом себе, написанную к собственному 60-летию, – потащил в литературу, благо время, в которое ему выпало жить, тому располагало и всяческую темь, муть и жуть подхлестывало. Но все же самое важное в этом человеке «душевного мрака», как окрестили его современники, не пресловутые противоречия, не порнография, не юдофобия, не христорчество и не юродство, а – страдание и сострадание («С детства мне было страшно врожденно сострадание...»), находящееся поверх всего. Вот что он вынес из Костромы, никогда не забывал, и все тридцать томов его книжек этим страданием переполнены.

И этим, кстати, он оказался очень близок к писателю из недалекого по отношению к нему будущего – Андрею Платонову, который Розанова очень ценил и одновременно с ним яростно спорил, к нему тянулся и от него отталкивался, ему следовал и его отрицал. Это – отдельная и весьма интересная тема, однако что касается сюжета розановского детства, о котором Платонов знать во всех подробностях, разумеется, не мог, то в каком-то смысле А. П. предугадал, невольно выписал Васю Розанова в выполняющем женскую работу по дому мальчике Семене из одноименного рассказа, да и вообще в своих «детях-старичках».

И еще одно очень важное семейное обстоятельство. Незадолго до смерти Надежды Ивановны ее родная сестра Александра писала своему племяннику Николаю, старшему брату Василия Васильевича и фактически

– после смерти отца – главе семьи: «Милой Коля. Потому я так долго не отвечала на твое письмо, не находила случая, чем могла обрадовать тебя и в настоящее время нет для тебя утешительного – одно то, что его (то есть Воскресенского. – А. В.) нет в доме и комнаты приведены в прежнее положение. Пожалуйста будь настолько тверд в рассудке, не принимай так близко к сердцу, на все предел Божий; верно суждено испытать твоим братьям такую жисть и надеюсь на твое доброе сердце, так наверное простишь своей мамы как тяжело больной своей матери; она ужасно боится за тебя. Ее одно желание дожидаться тебя, но теперь просит тебя – пришли ей карточку, как ты есть в настоящем виде, очень желает видеть карточку. Я прошу за нее, пришли, если можно в первую, отходящей почтой, и даже говорила ей, что ты непременно вышлешь карточку. Конечно живого назвать умершим нельзя, но для больных опасное время будет писать ей письмо. Не оскорбляй ее, надеюсь скоро приедешь, сам можешь поговорить лично обо всем, но письмом и карточкой обрадуй. Она, как ребенок, напиши пожалуйста, когда можно иметь надежду видеть тебя. Я жду тебя, как отца семейства. Желая тебе лучшего. Остаюсь многолюбящая тебя А. Шишкина. За все мои душевные страдания наверное исполнишь просьбу».

Судя по всему, Николай просьбу не исполнил, мамочку свою не простил, *оскорбил* ее, и для младшего брата, по которому на самом-то деле вся эта история ударила куда сильнее, эта жестокость ли, принципиальность, твердость, бессердечность – как угодно можно назвать – стала очень важным, может быть, самым важным на всю жизнь *уроком от противоположного*. Василий Розанов был совсем иной породы, сердечный, снисходительный, милосердный и всепрощающий, или, по-другому, «беспринципный» – в чем его так любили обвинять – человек, и все это пришло к нему опять же в детстве. Позднее в «Опавших листьях» он напишет слова, которые обыкновенно цитируют в государственном, историческом, патриотическом масштабе, вряд ли задумываясь об их буквальном, конкретном смысле. А между тем они очевидно уходят туда, вглубь, в Кострому: «Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить именно когда она слаба, мала, унижена, наконец глупа, наконец даже порочна. Именно, именно когда наша “мать” пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, – мы и не должны отходить от нее...»

Как не отходил от своей бедной матушки и сам Вася Розанов.

Три гимназии

Рано повзрослевшего и столкнувшегося в жизни с тем, с чем его сверстники обыкновенно не сталкиваются, отрока Василия отдали учиться лишь в двенадцать лет, хотя большинство детей поступали в гимназию, когда им исполнялось десять. Учился мальчик скверно, о чем честно писал старшему брату: «Милый Коля! Я не понимаю, как ты говоришь и на каком основании “учись лучше”. Ты ничего не знаешь, милый мой, потому, как мне кажется, так и говоришь. Я так думаю, ты забыл нашу жизнь, потому попытаюсь ее припомнить и описать ее тебе в письме. Ванька живет у нас и делает то, чего не бывало, – день ото дня становится хуже с нами; учиться мне нет никакой возможности, потому что учебных книг нет». И в другом письме: «Я, брат, учусь плохо, но на это есть свои причины; во-первых, что у меня нет трех немецких книг... я совсем не понимаю латинского языка и математики, но ты в этом меня не вини, Коля, это потому что я пропустил бездну уроков, даже и теперь не хожу в гимназию, а сижу дома».

В Костромской гимназии он проучился два года, а после этого в 1870 году, сразу после смерти матери («От бедной моей мамы – ни креста, ни фотографической карточки. Только ее и помнит “Вася”, выносивший тазы с кровью»), старший брат взял опеку над младшими Василием и Сергеем и забрал их к себе в Симбирск. «Нет сомнения, что я совершенно погиб бы, не подбери меня старший брат Николай... Он дал мне все средства образования и, словом, был отцом», – вспоминал Розанов позднее, хотя в «Последних листьях», опубликованных уже много лет спустя после смерти автора, есть и такая горькая запись: «Прежде всего я ненавидел брата Колю, который вытащил меня из Костромы, но имел неосторожность (в 3 кл. гимназии) подать мне 2 пальца и раз написал: «Ты все просишь денег (на карандаши и перья): но как ты сам учишься?»

Требовательный, по-прежнему не прощающий ошибок и заблуждений, Николай Васильевич работал учителем русской словесности в Симбирской классической мужской гимназии, куда и определил своего самолюбивого брата. В каком-то смысле по благу, потому что при норме в двести учащихся в гимназии училось четыреста, и все они сидели друг у друга на головах. Поскольку второй класс в Костроме окончить мальчику из-за болезни матери не удалось, ему пришлось повторить его в Симбирске, и, таким образом, отставание от сверстников сделалось еще на год больше.

Розановское отношение к отрочеству и ранней юности было сложнее,

чем к костромскому детству. «С ничего я пришел в Симбирск... вышел из него со всем». Это – благодарное свидетельство более поздних лет, но в ту пору в письме товарищу по гимназии В. Ф. Баудеру Розанов писал: «Ты далеко не знаешь всей тяжести моей жизни в Симбирске. Те два года, которые я прожил там, я никогда не забуду; они наложили свой отпечаток на мой характер, совершенно исковеркав его».

И все же с точки судьбы Розанова эта гимназия («В этой подлой Симбирской гимназии совершилось мое взросление и становление») особенно важна. Он мог переехать в любой город Российской империи и учиться в любой другой гимназии, но учился именно в этой, чьей гордостью и позором несколько лет спустя станут два родных брата, два золотых медалиста. Первый будет государством в 1887 году казнен, второй казнит ровно через тридцать лет само это государство. Однако за десять лет до русской катастрофы, когда Розанов вспоминал гимназические годы, он, скорее всего, об Ульяновых не думал, но сделал одно чрезвычайно важное наблюдение: «Готовили из нас полицеймейстеров, а приготовили конспираторов; делали попов, а выделали Бюхнеров; надеялись увидеть смиреннейших Акакиев Акакиевичей, исполнительных и аккуратных, а увидели бурю и молнии».

И одна из причин тому – насильственный, казенный патриотизм и монархизм, которые вбивали детям и в головы, и в души, заставляя их каждую субботу петь перед портретом государя «Боже, Царя храни!»: «Нельзя каждую субботу испытывать патриотические чувства... Все мы знали, что это Кильдюшевскому нужно, чтобы выслужиться перед губернатором Еремеевым: а мы, гимназисты, сделаны орудиями этого низменного выслуживания. И, конечно, мы “пели”, но каждую субботу что-то улетало с зеленого дерева народного чувства в каждом гимназисте: “пели” – а в душонках, маленьких и детских, рос этот желтый, меланхолический и разъяренный нигилизм. Я помню, что именно Симбирск был родиной моего нигилизма...»

Монархист Розанов, а он, несомненно, был монархистом, да еще каким!^[4] – вынес приговор русской монархии и в этом диагнозе удивительным образом совпал с человеком совершенно иной судьбы и прямо противоположных взглядов. «Я могу отнести к своей ранней молодости то смутное чувство недовольства общим строем, которое, все более и более проникая в сознание, привело меня к убеждениям, которые руководили мною в настоящем случае». Это слова Александра Ильича Ульянова на суде за несостоявшееся покушение на Александра Третьего. Он ненамного разминулся с Розановым по времени учебы, но у них были

одни учителя, одни требования и принципы школьного воспитания, и они оба насильно пели по субботам гимн перед портретом монарха. Не будет большой натяжкой предположить, что пятнадцатилетний Василий мог испытывать в отрочестве не просто «смутное чувство недовольства общим строем», но полное его неприятие, да и оснований разрушить весь мир насилия у него было гораздо больше, нежели у Саши Ульянова с его милым, добрым детством в любящей семье. Но в революцию, как многие его современники, Розанов не пошел. Что-то остановило. Хотя читал Белинского, Добролюбова, Писарева, Некрасова, хотя отшатнулся от Церкви и был, по собственному признанию, «социалистишкой». Однако потом, когда Россию захлестнет новая волна террора, какая и не снилась народовольцам, эта тема станет в его сочинениях ключевой, интерес к русской революции будет очень жадным, личным, пристрастным, а учеба в гимназии не случайно будет прочно ассоциироваться в его сознании с революцией, и в предисловии к книге «Когда начальство ушло» В. В. напишет: «Какая наступала восхитительная минута, когда, бывало, надзиратель отойдет от стеклянной двери нашего класса (“пошел к другим классам”), а учитель еще в нее не вошел... Электричество, что-то лучше и быстрее электричества, пробегало по нашим спинам и плечам; и “Алгебра Давидова” летит через две парты и попадает туда, куда ей нужно – в затылок склонившегося над Кюнером толстого и ленивого ученика. Он вздрогнул, размахнулся и, может быть, ударил бы ни в чем неповинного соседа: но “несправедливость” предупреждена тем, что кто-то схватил его за волосы и пригнул к задней парте... Теперь он парализован, бессилен и вращает глазами, как Патрокл, поверженный Гектором. В другом углу борются “врукопашную”, – по возможности без шума; летят стрелы в потолок, с мокрою массою на конце их, чтобы повиснуть там; кафедра учителя старательно обмазывается чернилами, а стул посыпается мелом... Кто-то “учит слова”, если его сейчас спросят: но благоразумнейшие припиливают “слова” к спине товарища, впереди сидящего, дабы “провести за нос” учителя, всепонятно “болвана”, и ответить урок на “3 —”, зная его на “1 + b”...

Счастливые минуты: их одни я помню из поры ученья. Все остальное было скучно, бездарно, не нужно, антипедагогично. Но эта минута “без начальства”, когда мы оставались одни... Она была коротка и гениальна».

Это восхитительное мятежное чувство подарила ему именно русская гимназия...

В Симбирске Розанов прожил два года и впоследствии вспоминал с благодарностью улицы, набережные, разливы Волги, Венец, речку Свиягу и

Карамзинскую библиотеку, где много читал и занимался самообразованием. В 1872 году переехал в Нижний Новгород, куда годом ранее отправился служить его старший брат, и Нижегородская гимназия стала в жизни В. В. третьей. В ней он проучился целых шесть лет, еще раз оставшись на второй год в седьмом классе, и отзывался о ней также не очень хорошо: «Гимназия была отвратительна... Кончил я “едва-едва”, – атеистом, (в душе) социалистом, и со страшным отвращением кажется ко всей действительности. Из всей действительности любил только книги»».

А уже упоминавшемуся Василию Баудеру летом 1876 года писал: «Оставаясь по-прежнему атеистом, я теперь имею больший, нежели прежде, запас доказательств против всякой идеи о Боге, но отношусь в то же время с большим уважением ко всякой религии, и особенно христианской. Было время, когда я увлекался года полтора назад различными учениями коммунистов и социалистов, но теперь после более серьезного размышления я нашел недостатки в тех и других и составил о государстве свое собственное понятие».

Впрочем, финал гимназической истории был хорошим. «Мы, человек 9 окончивших Нижегородскую гимназию, купили рублей на 10 вин и закусок (а все были беднота) и, отправившись в лесок, на берегу Оки, во-первых, выпили это вино, съели закуски, а во-вторых, и главным образом сожгли почти все учебники».

Розановские воспоминания о Нижнем – самые нежные из всех детских и юношеских, да и позднее именно юность он называл самым светлым периодом своей жизни. Тут не только в книгах, прочитанных или выброшенных, было дело. Гимназическая дружба, разговоры, выпивка, дух свободы и пение «Марсельезы», но главное – с подростком случилось что-то вроде гётевского «суха, моя друг, теория везде, но дерево жизни пышно зеленеет». В жизнь маленького книжника («Я жадно (безумно), читал в гимназии») приходит любовь, о которой он с удовольствием вспоминал в примечаниях к «Опавшим листьям».

«Леля Остафьева, 24 лет, первая, чистейшая любовь».

«Вторая любовь – Юлия Каминская... Ну что вам за дело, что она была некрасива. Для меня она была красива. Моя милая Юлья... Это был прекраснейший роман, ни от кого не скрытый. Я был в VII кл. гимназии. Мы чудно читали с ней Монтескье, Бентама и немного шалили. Разумеется – в постели, лежа на спине. Потом закрывали книжки, я поворачивался к ней, и мы играли. Она была чистейшая девушка 19 л., мне было 18».

А в «Мимолетном» 1914 года появится запись, основанная не иначе как на личном опыте:

«...усиливался. Вспотел. И ничего не вышло. В первый раз.

На меня поднялись любящие глаза.

– Ну ничего, милый. Не смущайся. И *Рим не в один день был построен*.

Я б. поражен. Никогда не слыхал *такой* исторической поговорки (очевидно, и в такой момент услышать)... Прекраснее по кротости и прощению русской девушки никого нет (*действительность*)».

О какой именно кроткой девушке идет речь, неизвестно, но известно, что следующая – какая угодно, но только не кроткая – продырявила глаза булавкой на фотокарточках первым двум. Но при этом все три были его взрослее, и самая старшая сделалась его женой^[5].

Женился на Достоевском?

История с Аполлинарией Сусловой – а это именно она приревновала Розанова к его прежним пассиям, – безусловно, одна из самых ярких и драматичных страниц в биографии нашего героя, и на ней есть смысл остановиться подробнее, тем более что фантазии и спекуляции с обвинительным уклоном на эту тему продолжают по сей день и, видимо, не закончатся никогда.

Определить точную дату знакомства Василия Васильевича с Аполлинарией Прокофьевной довольно сложно. Иногда цитируют письмо гимназического товарища Розанова Константина Кудрявцева от 17 августа 1876 года: «Разве quasi-вдовушка уехала из Нижнего? Или твоя симпатичная amante изменила тебе, что люди опять начинают казаться тебе “копошащимися” червяками, и собственное твое “я” чуть-чуть не разлетается мыльным пузырем?»

Розанов, сам публикуя это письмо во втором коробе «Опавших листьях», снабжает слово amante примечанием «Должно быть – роман с Юльей (см. “Уед.”) – учительницей музыки». Что касается квази-вдовушки, то никаких авторских комментариев не последовало, однако большинство исследователей предполагают, что речь идет именно об Аполлинарии. Так это или нет, сказать трудно. В дневнике Розанов называет год знакомства с Аполлинарией Сусловой – 1878-й, в письме Н. Н. Глубоковскому утверждает, что «ей было 38 лет, когда я с нею встретился в 8-м классе гимназии». В любом случае они совершенно точно познакомились в Нижнем Новгороде, ему было двадцать или чуть больше, она – на шестнадцать лет старше. За плечами у нее сумасшедшая, жадная молодость, искания, метания, знакомство с великими людьми (не только с Достоевским, тут и Герцен, и Огарев, и Бакунин), любовь, измена, литературная деятельность, публикации, интерес к острым общественным вопросам, например, к подавлению Польского восстания, несколько написанных и опубликованных повестей и переводов, заграничные путешествия, романы, расставания, разрывы и новые романы – в общем, жизнь... Однако замуж девица Сулова так и не вышла, а писать и переводить бросила. В 1868 году сдала экзамен на звание домашней учительницы, после чего открыла школу-пансион для приходящих девиц в Иваново-Вознесенске, но вмешалась полиция, на Аполлинарию состряпали донос: человек неблагонадежный, замешана в сношениях с эмигрантами,

носит синие очки, волосы подстрижены, «в своих суждениях слишком свободна и не посещает церковь», и школу через три месяца, к большому огорчению местных жителей, закрыли.

В 1872 году тридцатитрехлетняя Суслова стала слушательницей Высших женских курсов при Московском университете. По воспоминаниям более молодых сокурсниц, держалась она довольно обособленно, сосредоточенно, серьезно и строго, к учительству больше не возвращалась и жила преимущественно в родительском доме. Когда отец давал деньги, путешествовала, хотя, как признавалась Аполлинария в одном из писем, Прокофий Григорьевич был ею недоволен. Надо полагать, осуждал чересчур вольный образ жизни дочери, а еще больше переживал из-за того, что Поля засиделась в девках. А она увлекалась средневековой историей, преимущественно испанской, в память о своей единственной настоящей любви к испанскому юноше Сальвадору, ради которого изменила Достоевскому, ходила по гостям, переписывалась с давней, еще с Парижа знакомой – популярной писательницей Евгенией Тур (она же графиня Елизавета Васильевна Салиас де Турнемир, урожденная Сухово-Кобылина, сестра драматурга, знакомая Лескова и Тургенева, и письма этой замечательной женщины, впервые полностью опубликованные Л. И. Сараскиной в книге «Возлюбленная Достоевского» – важнейшее альтернативное свидетельство всей этой истории), выглядела чудесно и, судя по всему, без труда вскружила голову великовозрастному гимназисту, который позднее назовет ее «опытной кокеткой», раскольницей поморского согласия, хлыстовской богородицей и «Каткой» Медичи.

В провинциальном нижегородском мире, по контрасту с учительской средой, где бывал Розанов благодаря брату, эта легендарная женщина действительно производила впечатление настолько необычной, экзотичной, ни на кого не похожей, что могла показаться впечатлительному юноше сбывшейся мечтой, перед которой померкли все прежние идеалы. Во всяком случае, как полагает В. Г. Сукач, «роман с Каменской расстроился, и, видимо, расстроился из-за увлечения Розанова Сусловой, соперничество с которой было не под силу Каменской».

Уже стало общим местом считать, что розановский интерес к Аполлинарии Прокофьевне объяснялся исключительно или главным образом тем обстоятельством, что в молодости она была возлюбленной Достоевского, и будущий «философ пола» мистическим образом соединился с любимым писателем, чуть ли не «женился» на нем.

«Самая мысль, что он будет спать с той самой женщиной, с которой когда-то спал Достоевский, приводила его в мистически-чувственный

восторг», – писал писатель-эмигрант Марк Слоним в книге «Три любви Достоевского».

«В этом, бесспорно, эксцентрическом жесте можно увидеть попытку приобщиться к бурным отношениям писателя и его юной любовницы – нигилистки», – утверждает американская славистка Ольга Матич.

«Трудно сказать, что побудило 24-летнего студента жениться на стареющей, неуравновешенной женщине, но, скорее всего, сыграл свою роль ореол “возлюбленной Достоевского”, писателя, перед талантом которого Розанов преклонялся», – предположил российский розановед А. Л. Налепин.

«Розанову необходимо было видеть в Достоевском человеческое, природное, мужское, а почувствовать это можно было лишь через женщину, через физическую с нею близость. “Суслиха”, эта феминистка, в духовном отношении являвшая собой полную противоположность Василия Васильевича, давала Розанову радость общения с Достоевским, она, со своим нигилистским сознанием, невольно связывала (через свое тело) двух гениев русской “консервативной революции”», – сделал глубокомысленный вывод другой современный автор, Александр Беззубцев-Кондаков.

«Известно, что Розанов буквально вырос из Достоевского. Он настолько увлекся его творчеством и его личностью, что в 1880 году (то есть еще при жизни Федора Михайловича) 24-летним молодым человеком женился на стареющей Аполлинии Сусловой (что, конечно, было более, чем экстравагантно)», – написал Дмитрий Евгеньевич Галковский, которого самого иногда называют Розановым конца XX века.

«В 1881 г. В. В. Розанов женился на Аполлинии Прокофьевне Сусловой, пленившись ею из-за прежней близости этой дамы с Ф. М. Достоевским», – замечает в новейшей книге 2021 года «В. В. Розанов. Ближние и дальние» А. В. Ломоносов.

Что на это все сказать? Версия о «пленительной женитьбе на Достоевском», спору нет, эффектная, а с учетом огромного интереса Розанова именно к этому писателю, кажущаяся неоспоримой, интригующей, выигрышной и, безусловно, давно всеми признанной. И правда, как с ней не согласиться, если Розанов писал о своем первом прочтении Достоевского: «Я вспомнил начало знакомства с ним. Мои товарищи по гимназии (нижегородской) уже все были знакомы с Достоевским, тогда как я не прочитал ничего из него... по отвращению к звуку фамилии. “Я понимаю, что *Тургенев* есть великий писатель, равно как Ауэрбах и Шпильгаген: но чтобы *Достоевский* был в каком-нибудь отношении прекрасный или замечательный писатель – то это конечно

вздор”. Так я отвечал товарищам, предлагавшим “прочитать”. Мы делали ударение в его фамилии на втором “о”, а не на “е”: и мне представлялось, что это какой-то дьякон-расстрига, с длинными волосами и маслящий деревянным маслом волосы, рассказывает о каких-нибудь гнусностях:

– Достоевский – ни за что!.. И вот я в VI классе. Вся классическая русская литература прочитана. И когда нас распустили на рождественские каникулы, я взял из ученической библиотеки его “Преступление и наказание”.

Канун сочельника. Сладостные две недели “отдыха”... Впрочем, от чего “отдыха” – неизвестно, потому что уроков я никогда не учил, считая “глупостью”. Да, но теперь я отдыхаю по праву, а тогда по хитрости. Отпили вечерний чай, и теперь “окончательный отдых”. Укладываюсь аккуратно на свое красное одеяльце и открываю “Достоевского”...

– В., ложись спать, – заглядывает ко мне старший брат, учитель.

– Сейчас.

Через два часа:

– В., ложись спать!..

– Сию минуту.

И он улегся, в своей спальне... И никто больше не мешал... Часы летели... Долго летели, пока раздался грохот за спиною: это дрова вывалили перед печью. Сейчас топить, сейчас и утренний чай, вставать... Я торопливо задул лампочку и заснул... Это было первое впечатление... Помню, центром ужаса, когда я весь задрожал в кровати, были слова Раскольникова Разумихину, – когда они проходили по едва освещенному коридору:

– *Теперь-то ты догадался?..*

Это когда “без слов” Разумихин вдруг постиг, что убийца, которого все ищут, – его “Родя”. Они остановились на секунду: и вдруг добрый и грубый бурш Разумихин все понял. *Как он понял* – вот эта “беспроволочность телеграфа”, сказанная в каком-то комканьи слов (мастерство Достоевского, его “тайна”) – и заставила задрожать меня. Я долго дрожал мелкой, бессильной дрожью...»

Юный Розанов был, безусловно, сражен Достоевским, влюблен в него, ошеломлен, раздавлен и окрылен, из чего логично следует вывод: какой же трепетной дрожью должен был задрожать восторженный мальчик, когда увидел бывшую возлюбленную своего кумира, и разве мог иметь для него значение ее возраст?

Все это так, однако то, что лежит на поверхности, что выглядит столь привлекательно и буквально напрашивается в биографию нашего

персонажа, не всегда отражает ее суть. И самый первый вопрос-возражение: а с чего все взяли, что В. В. был осведомлен о тех подробностях взаимоотношений Федора Михайловича и Аполлинии Прокофьевны, которые стали известны благодаря дневнику Аполлинии и опубликованной переписке между Достоевским и Сусловой? В самом деле, откуда он мог все это узнать?

Это был все-таки XIX век, и как бы эта удивительная женщина ни была эмансипирована, вряд ли она рассказывала направо и налево о том, что Достоевский был ее любовником. Знакомым, добрым другом, поклонником – да, но любовником? Или она все-таки не удержалась и в какой-то момент похвалилась этой связью перед молоденьким гимназистом с целью возвысить себя в его доверчивых глазах? Просто намекнула, дала понять? Может быть, и так, но вот вопрос: почему в таком случае сам Розанов, как только откровенно о Сусловой ни отзывавшийся, нигде именно это обстоятельство до определенной поры не подчеркивал, что с учетом его интереса к интимной сфере и любви к Достоевскому было бы совершенно органично. Но нет же! Достоевский и Сулова в известных нам ранних отзывах Розанова пересекались очень нечасто, а появятся эти упоминания лишь много лет спустя, когда Василий Васильевич и Аполлиния Прокофьевна уже давно расстанутся, когда он будет жить в Петербурге, прославится и станет творить из своей биографии легенду. А в пространном, полном претензий и упреков письме жене, написанном в 1890 году, Розанов действительно один-единственный раз упомянул Достоевского: «Но я не драпировался в свою мысль, как Вы драпировались в Вашу любовь к Достоевскому и свои вечные занятия средневековою историей, что все звучит так красиво и имеет красивый вид: тщеславная женщина, зачем Вы всякой знакомой показывали единственное письмо Достоевского, зачем Вы не сохранили его у себя. Он Вас ценил и уважал, зачем же приписывать это к своей особе, как красивую ленту, и щеголять ею на площади...»

Однако эти обиженные, уязвленные и язвительные слова не только не раскрывают подлинный характер взаимоотношений Аполлинии Прокофьевны и Федора Михайловича, где было больше и писем, и встреч, и событий, и чувств совсем других («уважал и ценил» к ним явно не относятся, это в чистом виде интерпретация самой Аполлинии), но, напротив, свидетельствуют о том, что «вечный муж» Полины о сути ее отношений со своим кумиром не ведал. Сулова их тщательно замаскировала, и слово «любовь» тут не несет эротического оттенка. Свой личный дневник, в котором Аполлиния описала «годы близости с

Достоевским», она, как уже говорилось, не показывала никому, включая молодого супруга. Найденная в ее бумагах после смерти и опубликованная впервые в 1928 году тетрадка стала сенсацией, что, кстати, опять же косвенно доказывает: эта связь так и осталась достоянием ближнего круга Федора Михайловича.

Как объяснить иначе, почему несколько лет спустя после разрыва с женой, представляя Аполлинарию в письме Страхову, Розанов писал: «Моя жена – старшая сестра Надежды Прокофьевны Сусловой, доктора очень известного в Спб. Может быть, Вы когда-нибудь слышали о ней, п. ч. в свое время она жила в Спб. Когда я встретился с нею (в период выхода моего из гимназии), она была уже далеко от него, и все, на что я надеялся, чего ждал и к чему стремился, и на что даже намека не было в окружающей жизни, я увидел в ней осуществленным. Она стояла необыкновенно высоко по ясности, твердости и светскости своих воззрений над всем окружающим, и была одинока и несчастна в то время так же, как и я все мое детство и юность: только друг в друге могли мы найти поддержку; и, несмотря на страшное неравенство лет, стали мужем и женой».

В этих достойных, точных словах нет *ни слова* о Достоевском! «Вы когда-нибудь слышали о ней, потому что она когда-то жила в Петербурге...» Прямо как в том рассказе О. Генри, где простодушная героиня приехала в Нью-Йорк, уверенная, что ей сразу же скажут, где тут живет ее парень. И это Розанов писал кому? Близкому знакомому Достоевского Николаю Николаевичу Страхову, с которым они о Достоевском часто говорили и кому накануне их личного знакомства В. В. признавался: «Я почти столько же, сколько рад буду (заинтересован) видеть Вас, буду в Вас заинтересован еще видеть человека, который близко знал Достоевского, так сказать, осязал его руками». Уж, наверное, если бы он «женился на Достоевском», то нашел бы для представления своей жены Страхову совсем другие слова, нежели упоминание о ее сестре Надежде! И точно так же рекомендуя Аполлинарию другому своему покровителю, Сергею Александровичу Рачинскому, Розанов признавался: «...в конце 3-го курса женился на Сусловой, сестре известной докторши; какая-то мистическая привязанность к много пожившей Irene (Ирина из “Дыма”) “avec l’озлобленный ум”».

Опять же Тургенев – не Достоевский! И больше того, сравнение именно с этой «тургеневской женщиной» (кто помнит «Дым» – поймет, о чем идет речь) начисто убивает само предположение о том, что Сулова хоть как-то ассоциировалась на тот момент в сознании В. В. с Достоевским и его героинями. Они все появятся позднее. Но самое интересное в этом

сюжете то, что и Страхов, получив розановскую аттестацию Аполлинии Прокофьевны, ответил своему подопечному в духе О. Генри: «Выходит, что Вашу жену я видел не раз когда-то, в 1861, 1862 годах. Она была очень молода и очень красива. Все еще никак не понимаю Ваших отношений, но от души желаю Вам спокойной и чистой развязки».

Николай Николаевич действительно видел Суслову много раз, потому что был сотрудником того самого журнала «Время», куда впервые пришла двадцатилетняя Аполлиния и где были напечатаны ее первые довольно слабые произведения исключительно на том основании, что молодая писательница полюбилась брату главного редактора. Страхов об этом не мог не знать, как не мог не знать и о совместных путешествиях Достоевского и Аполлинии Прокофьевны по Европе. Но ни он Розанову об этом ни одной строки не написал, ни тот больше ни о чем не спрашивал. Странно, но факт! Они оба ходили вокруг этой темы близко-близко и – не касались ее. Боялись, избегали тронуть, таились, тактично промолчали или – попросту не придавали значения?!

Загробное чтение

Единственный по-настоящему серьезный аргумент в пользу расхожей версии о розановской женитьбе на Сусловой как любовнице Достоевского – свидетельство замечательного писателя Сергея Николаевича Дурылина, который был очень дружен с Розановым в последние годы жизни Василия Васильевича. Дурылин в своих воспоминаниях, вошедших в книгу «В своем углу», ссылается на некое письмо, которое Розанов передал ему незадолго до смерти и велел открыть и прочитать своим домашним, когда его не станет. Сергей Николаевич так и сделал, собрав вдову и взрослых дочерей, которые, по версии Дурылина, только тогда про первый брак их мужа и отца и узнали, и позднее изложил свое впечатление от этого письма, которое, к сожалению, как он пишет, не сохранилось.

«В<асилий> В<асильевич> ранее рассказывал мне как-то, что женился на Сусловой потому, что она была любовницей Достоевского. Это был брак от “психологии”, брак по Достоевскому, – но совсем не по Розанову, не по автору “Семейного вопроса” и “В мире неясного и нерешенного”. Брак – из романа Достоевского, а не из лона Авраамова. Она была старше его на 16 лет: она уже сильно “пожила”, – не только с Достоевским, но (знал ли это В<асилий> В<асильевич>, когда женился?) и с нигилистами, и с иностранцами, и с красивыми испанцами. Об этих “испанцах” в письме не было, это я знаю уже из книги, заглавие которой выписано выше, но в письме было яркое, мучительное до боли, просто стонущее противопоставление того, что Розанов искал и что нашел в 40-летней даме с нигилизмом. Романтика: “та, кого любил Достоевский!” – оборвалась, психология по Достоевскому вдруг обернулась психологией тончайшего, непрерывного женского мучительства. Произошло недоразумение, идущее до глубины, расщепляющее саму жизнь: несмотря на “романтику”, на “Достоевского”, он-то искал брака не по психологии, а по онтологии, а сам оказался в плену у брака по психопатологии. Вместо греющего добрую плоть нежной семейственности “Бога Авраама, Исаака и Иакова” оказалось озлобленное безбожие шестидесятницы с постелью “принципиально” бездетной; вместо возлюбленной и нежной – озлобленная, умная, как бес, и злая, как бес, полу-нигилистка, полу-Настасья Филипповна (из “Идиота”), кому-то и чему-то непрерывно мстящая; вместо чаемой “колыбельной песни” в спальне раздавался психопатологический визг стареющей, ломаной и ломающейся женщины – “непрерывным раздражением пленной

мысли”, озлобленной души, стареющей плоти. Начался ужас. Этот ужас сквозил в каждой строке, в каждом слове, в каждом вздохе этого письма, – и я не могу лучше и точнее выразить этого ужаса, как сравнением: тот, кто хотел возлечь, как герой “Песни песней”, на нежном и плодящем лоне, входящем в неистощимое, присно рождающее и святое лоно Авраамово, тот оказался прикованным к колющей постели стареющей, бесплодной, чувственной и истеричной нигилистки, мстящей Достоевскому, как Грушенька своему покровителю.

Течение письма прерывалось восклицаниями: “Она измучила меня! Она ненавидела меня!” {В дневнике Суслова писала 24.IX.1864 г.: “Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастья в наслаждении любви, потому что ласка мужчин будет напоминать мне оскорбления и страдания” (с. 923). – *Прим. мемуариста*} (Достоевский предупреждал ее: “Если ты выйдешь замуж, то на третий же день возненавидишь и бросишь мужа”).

Теперь, когда с ним была Варвара Дмитриевна, все это видел В<асилий> В<асильевич> и мог кричать это ей с особой силой, так как в Варваре Дмитриевне он нашел то нежное, пробуждающее мудрость и дающее покой – лоно, которого искал и у той, но нашел нигилистические иглы вместо лона.

Письмо было потрясающее. Любовь и ненависть, благословения и проклятия сплелись в нем. В нем был крик спасшегося от гибели, крик с берега, – волне, которая только что била, хлестала его, чуть-чуть не разбила о камень, и вот он все-таки выбрался на берег, жмет к тихому и теплomu лону земли, а волне шлет проклятия.

Когда чтение было окончено, Варвара Дмитриевна – земля с тихим и теплым лоном – приняла у меня письмо, – заплакала – тихо и кротко.

Все молчали.

Мы поняли все смысл этого загробного чтения: В<асилий> В<асильевич> хотел, чтобы и дочери его знали, кто был бьющей о камень волной и кто был прекрасно-творящей землей в его жизни.

Что случилось с этим изумительным письмом (гениальным с точки зрения словесности), я не знаю».

Написано не менее изумительно, убедительно, поэтично и образно, как и всё у этого автора. Только надо иметь в виду, что сей дивный пассаж есть не что иное, как полемическая реакция Дурылина на вступительную статью литературоведа А. С. Долинина к публикации того самого дневника А. П. Сусловой «Годы близости с Достоевским», в которой (статье) Долинин берет Суслову под защиту от двух ее великих мужчин.

«Что за странная таинственная сила была в этой натуре, если и второй, почти гениальный человек, так долго любил ее, эту раскольницу поморского согласия, так мучился своей любовью к ней?» – вопрошал публикатор, и Дурылину это заступничество пришлось не по нраву. Особенно тот факт, что Долинин ставил под сомнения некоторые высказывания Розанова в адрес первой супруги. «Повторяем, мы имеем все основания с самого начала относиться несколько настороженно к характеристике, данной ей Розановым: факты, им же сообщенные, говорят против него. “Она исказила навсегда весь его характер и всю его деятельность”: – тогда ли, в те шесть лет, когда была его женой, или тем, что бросила его? И когда она стала для него “циничной”?» – писал Аркадий Семенович.

Вот тогда-то трижды романтический Сергей Николаевич, считавший себя в каком-то смысле розановским «душеприказчиком», и возвысил голос, и уронил слово горькое в ответ: «И вдруг, как отошедшая ужасная боль, припомнилось ему в “лоне Авраамовом” то, что до безумия противоположно было этому лону и в чем он жил шесть лет: счастье из глубин онтологии представило ему до ясности недавнее “счастье”, искомое в психологии, – и какой еще! В “психологии” бывшей любовницы Достоевского, 40-летней женщины, про которую можно было бы повторить евангельские слова: “У тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе”».

И чуть дальше: «Когда В<асилий> В<асильевич> нашел свою Рахиль, свою Варвару Дмитриевну, он понял, что с нею нашел свое гениальное писательство, нашел себя, счастье свое и семью, – но, обретши Рахиль, понял также, что до Рахили у него была не кроткая, хотя и не любимая Лия, а неистовая Медея. Муки от Медеи, претерпленные Иаковом, всегда мечтавшим иметь нежно возлюбленную Рахиль, – вот – в свете книжки о Сусловой – все содержание того письма, которое я читал по воле В<асилия> В<асильевича> самой этой Рахили и чадам ее, когда уже самого Иакова не было в живых. Медея – на то она и фуриозная особа – не могла перенести, что оставивший ее Иаков счастлив со своей Рахилью, – и, как и подобает Медее, мстила не только Рахили, но и детям их. На детях-то и проявляется нарочитая Медейна месть: пусть будут без законного отца (как ненавидел В<асилий> В<асильевич> эти слова: “незаконные дети” и “законные дети”), с поношением подвергающейся матерью, пусть будут они без имени. Так Медея мстила почти двадцать лет; старуха под 70 лет, она настолько не теряла своей фуриозности, что всякие виды выдавший, твердый мужчина победоносцевской школы, Тернавцев воскликнул не

менее фуриозно: “не баба, а черт в юбке”».

Речь о второй женитьбе Розанова пойдет в свой черед, но все же стоит заметить, что В. В. никакой тайны из первого брака никогда не делал и его домашние узнали о нем много раньше (см. далее воспоминания младшей дочери Розанова Надежды Васильевны), и трудно поверить, чтобы ему потребовалось так театрально эту сцену обставлять. Не в розановском это стиле, да и в подробных «Троицких записях» (то есть фактически в дневнике Дурылина за 1919 год) никаких упоминаний о подобном письме и столь важном семейном разговоре нет^[6]. Оно появилось лишь в более позднем полемическом мемуаре.

Однако даже если Розанов нечто подобное и написал, то опять-таки лишь в конце своей жизни, подводя горестные семейные ее итоги, проклиная одну женитьбу и идеализируя другую (на самом деле далеко не идеальную, и единственный возможный посыл такого письма – мольба о прощении у Варвары Дмитриевны и дочерей, перед которыми он чувствовал вину). Изначально же его отношение к фуриозной первой жене было иным и – больше того, – даже если я не прав и В. В. об этой связи знал^[7], все равно сводить его юношескую влюбленность в Аполлинарию, плененность ею исключительно к ее давнему роману с Достоевским – в высшей степени несправедливо, неразумно, некорректно и есть, согласно «бритве Оккама», не что иное, как умножение числа сущностей сверх необходимого.

Полина, мой читатель, была хороша сама по себе!

Людская молва

Эту женщину повелось демонизировать и обзывать страшными словами. Еще хуже, чем самого Розанова, и дурылинский мемуар – ярчайшее тому доказательство^[8]. И если в случае с Федором Михайловичем еще как-то жалеют за молодость и вспоминают к месту и не к месту Настасью Филипповну, Катерину Ивановну или «Полину» из «Игрока», то в истории с Василием Васильевичем жалеть как будто не за что. Связался черт с младенцем, или, как выразился философ Владимир Тернавцев в воспоминаниях Зинаиды Гиппиус: «Дьявол, а не Бог сочетал восемнадцатилетнего мальчишку с сорокалетней бабой!» Сам В. В. позднее иронически вспоминал о том, как «потянулся, весь потянулся к осколку разбитой “фарфоровой вазы” среди мещанства учительшек (брат был учитель) и вообще “нашего быта”».

Проблема, как уже говорилось, заключается лишь в том, что в основном все наши сведения об этой паре мы черпаем из более поздних писем и воспоминаний Розанова и о Розанове, очень обиженных, зачастую неверных и рисующих картину весьма одностороннюю. Нельзя не согласиться с автором превосходной биографии Аполлинаруи Прокофьевны Л. И. Сараскиной, когда исследовательница с присущим ей обостренным чувством справедливости писала: «Именно от Розанова, исключительно пристрастного к ней человека, а через него – от людей из его ближайшего окружения известны некоторые специфические подробности второй половины жизни А. П. Сусловой. Авторитетнейшие друзья и знакомые В. В. Розанова, писавшие о его первой (“плохой”) жене, среди которых была даже поэтесса и литературная львица Зинаида Гиппиус, поставили на Аполлинаруи Прокофьевне несмыслимое клеймо: “исчадие ада”, “железная Аполлинария”, “тяжелая старуха”, “страшный характер”, “развалина с сумасшедше-злыми глазами”. Молва, идущая из этого же источника, была к ней беспощадна, приписав “старухе Сусловой” не только дурной характер (она и впрямь была далеко не ангел, но кто же ангел?), но и тяжелый деспотизм... фактом своего разрыва с Достоевским (равно как и фактом разрыва с Розановым) она как бы лишила себя исторического покровительства, а имя свое – благодарной памяти: статус “бывшей” возлюбленной или “бывшей” жены традиционно считается слишком эфемерным, чтобы быть неприкосновенным для злых языков. Женщине, самовольно вышедшей из любовного союза с гением, история

ничего хорошего не гарантирует... Она оказалась беззащитна против публичных интерпретаций своей брачной жизни с В. В. Розановым – со стороны самого Розанова, который, кажется, не оставил без комментария ни одну, даже самую интимную, из деталей их брака».

Именно так все и было, и если обратиться к скучным документам начальной поры этой любовной истории, то акценты получаются другие. Татьяна Васильевна Розанова, старшая дочь писателя, процитировала в своих воспоминаниях юношеский дневник отца, и в нем есть такая запись: «Декабрь, 1878 год. Знакомство с Аполлинарией Прокофьевной Сусловой. Любовь к ней. Чтение. Мысли различные приходят в голову. Суслова меня любит, и я ее очень люблю. Это самая замечательная из встречающихся мне женщин. Кончил курс. Реакция против любви к естествознанию. И любовь к историческим наукам, влияние Сусловой, сознание своих способностей к этому...» В 1886 году Розанов писал своему гимназическому товарищу про жену, которую любит «непостижимою, мистическою любовью». В других документах он называет ее гениальной, гордой, безудержной, фантастической, а свою любовь к ней слепой и робкой (и заметим, опять-таки ни там, ни там вне какой бы то ни было связи с Достоевским).

Полина действительно сыграла огромную роль в его судьбе, и не только разрушительную, но и созидательную. Не только забирала у него, но и давала. В каком-то смысле предопределила его путь, и не только в будущих розановских несчастьях, но и в его успехах есть ее несомненная заслуга. Что бы ни говорил В. В. позднее про осколки разбитой вазы, как бы ни ругал и ни проклинал Аполлинарию Прокофьевну за ее мстительность и неуступчивость^[9], что бы ни сочинял пристрастный Дурылин про стареющую, бесплодную, истеричную, озлобленную нигилистку, эта женщина направляла, вдохновляла, руководила Розановым тогда, когда это руководство было ему крайне необходимо. Вспомним фразу князя Курагина из «Войны и мира»: «Ничто так не нужно молодому человеку, как общество умных женщин». Или как еще более точно вспоминал Лев Николаевич слова своей тетушки: «Ничто так не формирует молодого человека, как связь с женщиной порядочного круга». А Суслова таковою была. Пусть порядочность крестьянской дочери с ее взрывным характером была весьма своеобразной, все равно ни одна, даже самая лучшая гимназия, библиотека, университет не смогли бы дать Розанову того, что дала в какой-то момент она. Ее начитанность, остроту ума, ее стиль, натуру он всегда признавал, именно она сформировала Розанова, вынянчила, выпестовала, взрастила, подготовила, была его самой первой литературной «нянькой», и оценка ее личности в розановском письме

Страхову тому порукой.

Аполлинария сумела занять его внимание, воображение, и, наконец, у них, что называется, было время проверить чувства. От знакомства до венчания прошло как минимум три года. За это время Розанов окончил, наконец, гимназию, уехал в Москву, сделался студентом Московского университета, отучился два курса и перешел на третий (именно на третьем курсе студентам дозволялось вступать в брак). Он мог сто раз свою нижегородскую любовь забыть, поменять, потерять, да и она могла к нему охладеть, одуматься, опомниться – на черта ей сдался этот бедный во всех смыслах слова сосунок с его детскими травмами, комплексами и обидами. Неужели нельзя найти более солидную партию при том, что она вовсе не была бесприданницей? Но нет же! Для влюбчивых натур обоих – это было достижение, подчеркивающее неслучайность их романа. А разница в возрасте и в жизненном опыте странным, фантастическим образом рифмовалась в его судьбе с судьбой его матери и ее связью с «мыслящим реалистом» Иваном Воскресенским, а в ее – с мучеником и мучителем Достоевским, когда юной Поле было чуть больше двадцати, а Федору Михайловичу около сорока. Совпадения, но какие важные!

Неравный брак

В отличие от тех сюжетов, этот закончился венчанием, хотя, наверное, с точки здравого смысла и дальнейшего развития событий было бы лучше, если б они действительно расстались, Аполлинария Прокофьевна вовремя отпустила бы Василия Васильевича с миром и осталась бы в истории русской литературы Музой без страха и упрека двух замечательных людей, про которую никто потом не станет писать ни гадости, ни глупости. Однако вышло иначе. В 1900 году в автобиографическом очерке «Иван Ляпунов» Розанов вспоминал свою тайную поездку из Москвы в Нижний «по делам любви и по делам брака».

«По некоторым обстоятельствам, затевавшийся роман был не только рискован, но он был рискован чрезвычайно, безрассудно, был похож на спуск воинов Аннибала “по ту сторону Альп”, когда половина или треть их попадала в пропасти. Нужно заметить, особенностью моего влюбления было всегда чувство особенной привязанности, прилипчивости, неспособности отстать, и это был *fatum*, роковое. Странно: гордый и самоуверенный человек, человек очень умный, как смею рекомендоваться читателю, я привязывался, как собака, и пока другая сторона не освобождалась от своей ко мне любви, этого было совершенно достаточно, чтобы я никогда не освободился от своей. Но при этой слабости сердца ум сохранял полную живость. Что мы идем куда-то в бездну, было видно и мне и ей, но мы оба ничего об этом не говорили – не говорили, конечно, друг с другом, а про себя каждый непрерывно об этом думал. И вот она мне написала в Москву грустное письмо, что она уезжает, уезжает далеко и надолго, так как, кроме печали, из нашей связанности ничего не выйдет и разойтись вовремя лучше. Письмо было исполнено любви. “Разойтись”... Тут и выступил мой *fatum* в связи с рассудительностью. Защемило сердце. Любовь – это феникс. Тонет, тонет в небе, дальше, выше, ничего не видно, а сердцу больно, больно! “Как разойтись! Никогда!” И в длинном письме рассудительный мой гений начертил всю карту неблагоприятного будущего плавания, камни, рифы, мели, ураганы, туманы, но – “ничего, силы есть, и я выплыву, мы выплывем”. Тут и разыгралась история: “Как, так ты все видишь! Как лавочник, ты измерил аршином любовь, произвел вычитания и сложения и подвел итог, и подал мне мелочной счет на засаленной бумажонке”. Зачем я вижу! Боже, но ведь куда мне деть глаза! Быстро обменялись мы еще письмами, желчными, неумолимыми, а слабое сердце

во мне все ныло, и, бросив все, перехватив откуда-то 15 руб., я сел в вагон и мчался incognito. Там все решится, там увидим...»

Тогда и было принято роковое решение.

«Мой первый брак был основан на словах, в морозную ночь, невесты-жены... Когда мы дошли до ворот ее дома, я сделал ей предложение. Она заплакала:

– Уже поздно. Мне 38 лет (мне было 19). Будем лучше так жить.

– Нет! Нет!

И мы стали “муж”, “жена”».

В этих более поздних строках из письма Розанова Павлу Флоренскому хромает арифметика (В. В. был очевидно на момент предложения старше, да и разница в возрасте с Аполлиной составляла все-таки не 19, а 16 лет), и тем не менее в такой диалог вполне можно поверить. Больше того, при желании можно увидеть и в очерке, и в письме отменно разыгранную Аполлиной партию принуждения к браку – угроза разрыва, женская обида, укоры, упреки, тайно примчавшийся молодой любовник (он ужасно боялся, что узнает его старший, правильный брат, который был против этого союза), счастливое объяснение в «номерах Бубнова» в Нижнем и авторское признание постфактум: «хотя позднее я узнал, что это была одна из мрачайших душ, истинно омраченных, непоправимо: но на день, на неделю, как сквозь черные тучи солнце, душа эта могла сверкать исключительно светозарно».

Вот за эту редкую исключительную светозарность Аполлины Прокофьевны В. В. и расплачивался всю жизнь. Но это был – его выбор.

«...сошлись 2 несчастные существа и привязались друг к другу в каком-то первом экстазе; экстаза хватило года на два, затем наступили годы сумрака, который темнел все больше и больше... в браке моем, т. е. в побуждениях к нему, все было исключительно идейное, с самым небольшим просветом простой, обыкновенной любви, и то лишь с надеждою на самое короткое ее продолжение», – писал он позднее Страхову. Эти строки тем более важны, что в дальнейшем Розанов отзывался о Суловой крайне пренебрежительно, грубо, даже цинично.

«Мы с нею “сошлись” тоже до брака. Обнимались, целовались, – она меня впускала в окно (1-й этаж) летом и раз прошептала: – Обними меня без тряпок. Обниматься, собственно дотрагиваться до себя – она безумно любила. Совокупляться – почти не любила, семя – презирала (“грязь твоя”), детей что не имела – была очень рада, – писал он А. С. Глинке-Волжскому. – Меня она никогда не любила и всемерно презирала, до отвращения. И только принимала от меня “ласки”. Без “ласк” она не могла жить. К

деньгам была равнодушна. К славе – тайно завистлива. Ума – среднего, скорее даже небольшого. С нею никто не спорил никогда, просто не смел. Всякие возражения ее безумно оскорбляли. Она “рекла”, и все слушали и восхищались “стилем”».

«Я полюбил ее последний день, и хотя она соглашалась любить и жить со мной “так” (и была уже), я (ведь знаете мальчишеский героизм) потребовал венчания...» – вспоминал в письме Н. Н. Глубоковскому.

«Лицо ее, лоб – было уже в морщинах и что-то скверное, развратное в уголках рта. Но удивительно: груди хороши, прелестны – как у 17-летней, небольшие, бесконечно изящные. Все тело – безумно молодое, безумно прекрасное. Ноги, руки (не кисти рук), живот особенно – прелестны и прелестны; “тайные прелести” – прелестны и прелестны. У нее стареющим было только лицо. Все под платьем – как у юницы – 17–18–19 лет, никак не старше. В сущности, я скоро разгадал (“потрогай меня”), что она была онанисткой, лет 20, т. е. с 18. Я это не осуждаю. “Судьба”. И “что делать старым девушкам”. Скорее от этого я еще больше привязался к ней».

Впрочем, стоит отметить, что все отзывы В. В. о жене остались исключительно в его частной переписке, да и шли они от более поздних обид, взаимного раздражения, от розановского интереса к «тайне пола» и даже напускного щегольства интимными подробностями, до которых он сделался так охоч после сорока. Однако в молодости с его стороны это было чистое восхищение, влюбленность, тяга. А с ее?

Что она искала в этой любви, какой уже по счету в ее жизни? Угадала в нем тот же мерцающий огонь гениальности, что когда-то и в Достоевском? Или Розанов был прав и это был ее «последний час»? К сожалению, в архиве Аполлинарии Прокофьевны не сохранились или же до сих пор не найдены ее свидетельства о Розанове, однако Л. И. Сараскина опубликовала в своем исследовании в высшей степени примечательное и в отличие от других источников довольно редко цитируемое обиженное письмо, которое В. В. написал своей жене в 1890 году, через несколько лет после их разрыва.

Альма-мачеха

«Вы рядились в шелковые платья и разбрасывали подарки на право и лево, чтобы создать себе репутацию богатой женщины, не понимая, что этой репутацией Вы гнули меня к земле, сделали то, что в 7 лет нашей счастливой жизни я не мог и глаз поднять светлых и спокойных на людей, тревожно искал в их словах скрытой мысли – не думают ли они, что я продал себя Вам за богатство. Все видели разницу наших возрастов и всем Вы жаловались, что я подлый распутник; что же могли они думать иное, кроме того, что я женился на деньгах... Легко мне было... Сынок со стороны, ждущий наследства... Вы хвастали, что содержали меня. Я и жениться решился на Вас, только получив стипендию, мысль, что на меня будут смотреть как на женившегося на деньгах, жгла меня еще до брака».

И опять мотив унижения, подавленности, а точнее – ощущение этого унижения, болезненная реакция на один только намек, будто бы он женился из-за денег. К этому письму мы еще обратимся, а новой загадкой в розановской судьбе становится его учеба на историко-филологическом факультете Московского университета. Тут возникает сразу несколько вопросов. Как он решился туда поступить с очень посредственным аттестатом, в котором в основном были тройки, включая русскую словесность и историю? Почему выбрал именно Московский, а не Казанский, где учился его старший брат? Почему не петербургский? Ведь в девятнадцатом веке такой абсолютной славы у МГУ (а, впрочем, он назывался тогда не государственным, а императорским) не было. Или же на его выбор повлияла Сулова? Последнее представляется более чем вероятным, потому что именно в Москве на университетских женских курсах профессора Герье одно время училась Аполлинария, и это был тот самый Владимир Иванович Герье, кто будет читать лекции и Василию Розанову, а впоследствии станет его адресатом. Вот, кстати, еще один «Поленькин» след в розановской судьбе.

Но самое главное – почему университетские годы, в отличие от гимназических, прошли для Розанова практически бесследно? Если верить его свидетельствам, то университет он «проспал». На «постылых» лекциях ковырял в носу, отвечал по шпаргалкам, что тоже выглядит довольно странно, ибо в эту пору там читали лекции Буслаев, Веселовский, Тихонравов, Фортунатов, Соловьев, Ключевский, Корш, Герье, Цветаев^[10]. И тем не менее о гимназии и гимназистах, гимназических учителях

Розанов писал много, страстно, нервно, восхищенно (один только «опавший лист» чего стоит: «Если что из “Российской державы” я оставил бы, то гимназистов. На них даже и “страшный суд” зубы обломает»), а про университет, про студенчество и профессию таких слов не найти.

Эти годы и в самом деле канули, если не считать более поздней статьи об университетском образовании. Но это статья, а в нижегородской анкете он прямо написал: «В университете (историч. – филолог. факультет) я беспричинно изменился именно, я стал испытывать постоянную внутреннюю скуку, совершенно (безграничную), и позволю выразиться – “скука родила во мне мудрость”. Все рациональное, отчетливое, явное, позитивное мне стало скучно. “Бог весть почему” профессора, студенты, сам я, “свое все” (миросозерцание) скучно и скучно». И еще более резко высказался в письме Страхову: «Из университета я вышел с глубоким отвращением к преподаваемой науке». В письме Константину Леонтьеву университет просто изничтожил: «Я рад, что Вы браните профессоров и студентов; первое условие для ищущего истины человека – это презрение к нашим университетам, переполненным краснощеками и вертлявыми мальчишками вверху и внизу. Это умственные и часто вообще духовные проститутки – и только. И как это сделалось – непостижимо, удивительно!»

«Все эти Бруты и Гармонии с обликом молодой купчихи были нам эстетически противны», – написал он в программной статье «Почему мы отказываемся от наследства 60–70-х годов?». А еще несколько лет спустя в весьма любопытном, хотя и куда менее известном сочинении «Университет в образовании писателей» проводил черту между теми, кого университет действительно воспитал, выучил, образовал, и теми, кому никакое университетское образование вовсе и не нужно. «Отнимите у Волинского университет – и ничего не останется; отнимите университет у Лескова или констатируйте, что он не был в университете, – и вы у него ничего не отнимете не только как у художника, но и как у ума, умного человека, у образованного человека; или – почти ничего. Он был умен внутренним умом и образован внутренним образованием... читая его “На краю света”, “Запечатленный ангел”, читая проводы в Колыванский край одного обрусителя – учиться и учиться у него. Лесков, это – училище, сокровище ума, образования, размышления, не говоря уже о наблюдательности; он возбуждает бездну теоретических, так сказать, “университетских” вопросов и, очевидно, чрезвычайно многое для себя “университетски” же, со строгостью профессора, но и еще с прибавкою таланта, разрешил».

Не будет большой натяжкой предположить, что так писал В. В. не только и не столько о Лескове, сколько – о самом себе...

Ну ладно учеба, лекции, университет же не только про это. Насколько общительным, дружелюбным и любвеобильным юношей был Розанов в Нижегородской гимназии, настолько аскетично жил он в Москве. «Я был скромный, тихий в университете. “Ничего не желал”», – признавался он позднее в «Мимолетном». И в самом деле, ни большой студенческой дружбы, ни приятельских пирушек, ни возлияний. Разве что бессмысленное обжорство. Так, в 1900 году в статье «Из житейских воспоминаний» Розанов писал: «После лекций мы отправлялись на Арбат в кухмистерскую. Ели тупо, много и безразлично, заглушая все перцем и больше налегая на хлеб. Также тупо отяжелелые шли на Никитскую в свой третий этаж и закладывались спать».

Разве такими словами он описывал три свои гимназии и их учащихся? Возможно, здесь сказалась разница в возрасте, ведь Розанов поступил в университет в 22 года, отсюда и вертлявые мальчишки в письме Леонтьеву, ни одного известного нам любовного романа («В университете я почти уже не знал любви... я, собственно, был тем же гимназистом, т. е. робким, застенчивым, нелюдимым и крайним фантазером») – или же... все поглотила Аполлинария, на которой он женился в ноябре 1880 года, и от той поры сохранилось несколько документов, впервые опубликованных Виктором Сукачем.

«Его превосходительству Господину Ректору Императорского Московского Университета от студента III курса историко-филологического факультета Василия Розанова

ПРОШЕНИЕ

Желая вступить в брак с девицей Аполлиной Прокофьевной Сусловой, я покорнейше прошу Вас, Ваше Превосходительство, сделать необходимое распоряжение для выдачи мне метрического свидетельства. Для удостоверения в согласии на этот брак ее родителей прилагаю при этом прошении разрешение от ее отца и матери; со своей же стороны не могу сделать этого, так как и отец, и мать мои давно умерли. Прошу также выдать мне удостоверение о нечинении препятствий к браку со стороны Университета.

Студент историко-филологического факультета III курса Василий Розанов. Метрическое свидетельство за № 1826 получил и обязуюсь возвратить в скором времени.

Студент В. Розанов
1880 г. 10 ноября».

«Мы, нижеподписавшиеся, мещанин г. Горбатова Прокофий Григорьев Суслов и жена его Анна Ивановна, не имеем ничего против брака нашей дочери, домашней учительницы, девицы Аполлинии Прокофьевны Сусловой со студентом Московского Университета историко-филологического факультета, 3-го курса Васильем Васильевичем Розановым.

3 ноября 1880 года Прокофий Григорьев Суслов Анна Ивановна Суслова

Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что на сем согласии подписи сделаны собственноручно в присутствии моем, Александра Матвеевича Корбатовского, исполняющего должность нижегородского нотариуса, Василия Ивановича Куваева, в конторе его, находящейся 2 Кремлевской части, по Осенней улице, в доме Бубнова, Горбатовским мещанином Прокофием Григорьевичем Сусловым и женою его Анной Ивановною Суисловою, в доме из них первого, лично мне известными.

1880 года Ноября 3 дня И. д. нотариуса А. Корбатовский».

«Ректор. Императорский Московский Университет Москва Ноября 11 дня 1880 г. № 2640

СВИДЕТЕЛЬСТВО

От Ректора Императорского Московского Университета студенту 3-го курса историко-филологического факультета Василию Розанову в том, что к вступлению его в законный брак со стороны Университета препятствий нет.

Свидетельство получил – 11 ноября 1880 г. В. Розанов».

И последний документ в этой серии – свидетельство о браке – приводит «Розановская энциклопедия»:

«Означенный в сем свидетельстве *студент* Василий Васильевич Розанов, 1880 года Ноября 12 дня, в полковой *церкви*, повенчан, с домашней учительницею дочерью купца Владимирской Губернии Горбатовского уезда, девицею Аполлинариею Прокофьевною Суисловою, оба первым браком; в чем с приложением казенной церковной печати, удостоверяю. Москва 1880 года Ноября 12 дня. Священник 4-го Гренадерского Несвижского полка Сергей Беольвский».

Непонимание

О том, как проходило само бракосочетание, свидетельств не сохранилось, если не считать небольшого фрагмента из воспоминаний Т. В. Розановой: «Университетский товарищ отца рассказал нашей маме, что когда папа венчался на первой своей жене – Сусловой, то она (Суслова) шаферами пригласила его и Любавского. Был среди них Белкин, красивый, Аполлон Бельведерский; он и говорит: “Давай увезем Ваську” (от венца), но они не решились, так как были приглашены и должны были свою должность исполнять».

Они и исполнили.

Судя по всему, полтора года молодые жили в Москве, однако никаких более подробных сведений от той поры тоже нет, да и сам Розанов жизнь с молодой женой в Москве почти не вспоминал. В 1882 году, окончив с отличием университет – значит, не так уж плохо он учился, – В. В. уезжает преподавать в Брянск (старшая дочь пишет в воспоминаниях, что «отца считали способным к научной работе и предложили ему остаться при университете, но отец отказался, так как был убежден, что не может читать лекций по самому складу своего характера и по слабости голосовых связок»), и так начинается его более чем десятилетняя учительская карьера, которая затем продолжится в Ельце, а после этого в городе Белом Смоленской губернии. Опять же рифма: в трех разных губернских гимназиях он учился, в трех уездных работал и узнал, изведal провинциальную Россию, как никто другой.

«Я поражался будучи учеником в Костроме, Симбирске и Нижнем Новгороде, отчего во всех трех гимназиях учителя были явно злы, недоброжелательны, ничего не извиняли, ни с чем не мирились, и точно им удовольствие доставляло делать зло, нам, ученикам... И так я думал все годы ученичества, пока сам, став учителем, через 3–4 года сделался *точь-в-точь* таким же угрюмым, печальным, на всех и все сердитым учителем в мундире».

Признание очень точное. Если сравнить три места его учительства, то от Брянска до Белого это была история снисхождения, своего рода педагогическая деградация. В Брянске Розанов пахал. Судя по сохранившимся документам, он работал учителем истории и географии не только в мужской прогимназии, куда был назначен, но и в женской, а кроме того, вел латынь, то есть по иронии судьбы преподавал те самые предметы,

которые у самого у него в годы учения вызывали наибольшее отвращение. Зато у В. В. были, говоря современным языком, большая нагрузка и, соответственно, хороший заработок. Как следует из «Формулярного списка Василия Васильевича Розанова – учителя истории и географии Брянской прогимназии», опубликованного в «Розановской энциклопедии», коллежский асессор Розанов зарабатывал в год 1410 рублей и по итогам пятилетней работы был награжден за усердную службу орденом Святого Станислава 3-й степени.

Он мог позволить себе зажить на широкую ногу, снимать хорошую квартиру, содержать прислугу и впервые в жизни почувствовать себя если не богачом, то вполне обеспеченным человеком. «Город был ужасающе беден и столь же ленив, – писал Розанов о Брянске в статье «Богоспасаемый городок». – Город – старинный, один из древнейших в России, но в котором к данному моменту времени осталось почти одно мещанство, т. е. домохозяева, и приезжие, т. е. чиновники и разные дельцы, “колонисты”. Он так и разделялся на две полосы: старого мещанства, незапамятной местной дедины, безграмотной и малограмотной, и, так сказать, людей американского типа, наезжих, просветителей, которые это мещанство лечили, учили, управляли им, покупали у него в лавочках провизию и табак, нанимали у него квартиры и через всё это рассеивали в его массе благодетельное жалованье, на которое, получив по мелочам в руки, эти мещане закупали всё в губернском городе и привозили к себе опять же в снедь американцам. В этом кругообороте между казначейством и лавочкой заключалась местная старая, туземная экономическая жизнь. Друг около друга терлись люди. И пыль от этого трения падала в виде манны небесной на жителей... Вообще же городок жил не склеившеюся, рассыпчатой жизнью. Жил лениво, праздно. Никому ни до кого не было дела. Жил свободно и в этом смысле радостно. Беднел. Я думаю, большинство наших маленьких городков таково же. Жителей было в нем около шестнадцати тысяч».

Среди них была его ученица – княжна Вера Гедройц, будущая знаменитая женщина-хирург, поэтесса с нетрадиционной ориентацией, работавшая во время Первой мировой в Царскосельском лазарете и лично знакомая с царской семьей. После революции она осталась в России и в начале 1930-х написала автобиографический роман «Лях», в котором насмешливо и нежно изобразила Розанова, «худого, с такими тонкими ножками, что вицмундир кажется висящим на нем, как на вешалке», и процитировала хулиганский стишок, сочиненный прогимназистками для сатирической газеты «Хайло»:

Вот идет сюда Васютка,
Посмотреть на рожу жутко.

Впрочем, свою внешность Розанов, как известно, в «Опавших листьях» и сам не раз высмеивал: «С выпученными глазами и облизывающийся – вот я. Некрасиво? Что делать».

Однако главное, чем занимался В. В. в ту пору, помимо педагогической деятельности, – он писал свою первую книгу. Главный и самый несчастный роман своей жизни «О понимании». В отличие от его будущих сочинений эта книга не пользовалась успехом ни при жизни ее создателя, ни после его смерти, а между тем, вероятно, ни в одно из своих сочинений он не вложил столько труда, прилежания и тщательности и в самом конце жизни говорил, что не может быть понят без «Понимания»^[11]. «Написал ее в 4 года совершенно легко, ничего подготовительно не читавши и ни с кем о теме ее не говоривши. Я думаю такого “расцвета ума”, как во время писания этой книги, – у меня уже никогда не повторялось. Сплошное рассуждение на 40 печатных листов, – летящее, легкое, воздушное, счастливое для меня, сам сознаю – умное: это я думаю вообще не часто в России. Встретить книга какой-нибудь (привет), я бы на всю жизнь остался “философом”. Но книга ничего не вызвала (она однако написана легко)».

Легко или нет, в этом может убедиться любой, кто попробует ее прочесть. Кроме того, есть очень любопытное суждение об этой книге литературного критика и издателя А. А. Измайлова^[12], но вот что касается Аполлинии Прокофьевны, которая постепенно подбиралась к своему сорокалетию, то она явно не стала поклонницей творчества мужа. «Она всячески насмехалась над его работой... презрительно относилась к этой работе», – вспоминала позднее Т. В. Розанова, и по сути именно это обстоятельство сделалось камнем преткновения в их совместной жизни.

Отнесись она к мужу иначе, стань для него тем, кем были великие писательские жены, прощай все его недостатки во имя таланта, поддержи его в трудную пору, утешь, приласкай, пожалей, – а можно представить, сколько надежд он возлагал на эту книгу, не говоря уже о том, что издал ее за свой счет, и как был сражен, подкошен неудачей и нуждался в сочувствии! – все пошло бы в их отношениях иначе. Но – не случилось. Розанов впоследствии обвинял жену именно в том, что она не захотела быть женой. Более мягко в письме Страхову: «Я думал найти в жене верного спутника и друга жизни, поддержку в нравственных трудностях, о которых думал в то время, и нашел именно в этом только холод и

отчуждение».

И гораздо более жесткий счет предъявил в письме самой Аполлинарии: «Вместо скромной и тихой жизни, вместо того, чтобы сидеть около мужа, окружить его вниманием и покоем в многолетнем труде, заставить других уважать и беречь этот труд, – что Вы сделали? Жена верная примет на себя все оскорбления и не допустит их до мужа, сбережет сердце его и каждый волос на его голове – а Вы за ширмами натравляли на меня прислугу, а воочию – всех знакомых и сослуживцев, во главе их лезли на меня и позорили ругательствами и унижением, со всяким встречным и поперечным толковали, что он занят идиотским трудом. Спросили Вы меня хоть раз, о чем я пишу, в чем мысль моя?.. Низкая Вы женщина, пустая и малодушная... Жалкая Вы, и ненавижу я Вас за муку свою. Бог Вас накажет за меня. Только когда умирать будете, когда в предсмертной муке будете томиться – пусть образ мой, который один из людей Вас понял и оценил и Вы над ним же одним насмеялись и замучили – пусть мой образ в эту предсмертную муку Вам померещится. В. В.».

Письмо, что и говорить, не по-розановски обиженное, пафосное, слезливое, очень декларативное и нелепое, полное упреков и оскорблений, но вместе с тем очень важное для понимания характера нашего героя^[13]. Однако вопрос о том, почему Суслова так безжалостно себя по отношению к мужу повела, непросто. В чужую душу, конечно, не залезешь, независимых источников почти никаких нет, и что на самом деле думала Аполлинария про своего неказистого супруга, который не сумел остаться в Москве или перебраться в Петербург, о чем она наверняка мечтала, а «был толкнут, как поезд по рельсам, – на обычную дорогу учительства», за кем потащилась эта некогда жившая в Париже и Женеве необыкновенная дама («Суслиха вполне героический тип исторических размеров. В другое время она – “наделала бы дел”. Тут она безвременно увядала», – признавал он позднее) даже не в губернскую, а в уездную глушь, и кто вдруг оказался еще и писателем, местным философом, шутом гороховым, – все это одному Богу ведомо. Отвергла ли она с порога сам факт, что облизывающийся «Васютка» с его «рожей жуткой» посмел заниматься литературным трудом, или же, взглянув на его первые опыты, их не полюбила? Разочаровалась? Поняла, что ошиблась и никакой он не Достоевский номер два? А может быть, наоборот, рассчитывая быть в их тандеме яркой, главной, вдруг с ужасом обнаружила, что из гадкого утенка получается лебедь, который ее затмит, и второй гениальный снаряд угодил в один и тот же окоп и грозит его окончательно разрушить?

Полина ведь, безусловно, была очень тщеславна и жаждала

первенствовать. А если вспомнить, что из нее самой писательницы не получилось и, крайне самолюбивая, гордая, она эту неудачу тяжело переживала и забыть обиду не могла, ее ревность становится более понятной.

В более позднем письме Флоренскому Розанов вспоминал:

«Когда я ее спрашивал, отчего она не “пишет, не выступит в литературе”:

– У меня таланта нет.

С поднятым (не высоко) лицом, и грустно, и величественно».

Но только ли это? В любом случае женщине, которая, по словам Достоевского, никогда «не допускала равенства в отношениях», нужен был в мужа не гений (видала она их и на всю жизнь сыта была по горло!), а – муж-мальчик, муж-слуга. Однако подавленный и в детстве и отрочестве, жалкий, худой, несчастный, тонконогий, с красным лицом и неприятной лоснящейся кожей, с волосами прямо огненного цвета, которые «торчат кверху не благородным “ежом” (мужской характер), а какой-то поднимающейся волной», нелепый Вася Розанов, кого девица Суслова подобрала в Нижнем, отправила учиться в Москву в университет, а потом на себе женила, оказался на поверку совсем другим. Он не оправдал ее надежд и поломал ее жизненный сценарий, точно так же, как не оправдала его ожиданий она и не стала всепрощающей женой-матерью (какой станет вторая жена В. В. – Варвара Дмитриевна Бутягина). Они чудовищно ошиблись друг в друге оба, и никто не захотел, не смог, не сумел уступить!

«Наделенная большим умом, сильным воображением, добрая в порывах, но и беспощадная со всяким, кто стал бы поперек ее желаний, иногда самых фантастических, она руководилась в жизни не реальными обстоятельствами и не действительными потребностями, но произволом воображения и часто прихотей» – так охарактеризовал Розанов впоследствии свою жену в прошении на высочайшее имя^[14] (хотя в каком-то смысле это была и очень точная самооценка – именно таким был в действительности сам Василий Васильевич Розанов), впервые в жизни оказавшись замужней дамой, Аполлинария Прокофьевна пыталась вести в Брянске светскую жизнь, принимала в доме коллег своего мужа, которых, возможно, ставила выше его самого (или делала вид, что ставит), чем доводила болезненно самолюбивого Розанова до белого каления и своими руками готовила разрыв.

Метель в степи

В 1884 году отношения между супругами сделались настолько напряженными, что Суслова оставила мужа на несколько месяцев. Судить об этом мы можем как по более позднему письму Розанова на имя митрополита Антония (Вадковского), так и по первому завещанию философа, датируемому декабрем 1884 года. В нем мнительный Розанов, давая распоряжение на случай своей «естественной или случайной» смерти, упоминает Аполлинарию: «Жене моей, со мной не живущей, глубокий поклон и желание долгого, счастливее, чем до сих пор, житья».

Тем не менее супруга возвратилась, чтобы через несколько лет уйти от мужа окончательно. Обыкновенно вслед за Розановым принято считать, что причиной всему была ее измена и Суслиха мужа бросила. Причем не просто бросила, а бросила «жестоко и беспощадно, как она все делала». В. В., эту версию однажды выдвинув, всячески поддерживал и кому ни попадя о ней рассказывал, причем на сей раз именно со ссылками на Достоевского. Например, Валерию Брюсову, с которым его вообще ничего не связывало («порченным декадентом» он назовет его в письме Гершензону), и тем не менее в дневнике поэта читаем: «Розанов удивительно рассказывал раз о своей прошлой жизни, о своей первой жене. Она была любовница Достоевского. Р. был тогда мальчик. Она хотела, чтобы он б<ыл> только ее *amant* (любовник. – *фр.*), но он хотел жениться. Она скоро возненавидела его. Изменяла открыто. Писала на него доносы. Не терпела его присутствия. “Бывало, умываюсь, гов<орил> он, и слезы вместе с водой так и утираю полотенцем”».

Сам В. В. в разных источниках писал о молодом еврее Онисиме (Осипе) Гольдовском, в которого Аполлинария Прокофьевна «влюбилась безумно “последней любовью”». А он любил другую (Ал. П. Попову; прелестную поповну). Его одно неосторожное письмо ко мне с бранью на Александра III она переслала жандармскому полковнику в Москве, и его “посадили”, да и меня стали жандармы “тягать на допросы”. Мачеху его, своего друга, Анну Осиповну Гольдовскую (урожд. Гаркави), обвинила перед мужем в связи с этим студентом Гольдовским (ее “предмет”) и потребовала, чтобы я ему, своему другу – ученику – писал ругательские письма. Я отказался. “Что ты, безумная”. Она бросила меня».

Поверить в сию мелодраматическую версию и в еще одну «последнюю любовь» неистовой Аполлинарии, конечно, можно, а кроме того, эта

история замечательна тем, что то было первое известное нам близкое знакомство Розанова с представителем народа, который впоследствии сыграет столь жгучую роль в его судьбе. Однако в Гольдовском ли было дело?

Здесь опять же надо принять во внимание тот факт, что версия о Сусловой как о виновнице их разрыва возникла в розановских письмах и разговорах лишь в конце 90-х, когда остро стал вопрос о незаконнорожденных детях Василия Васильевича в его втором, непризнанном браке. Но ранее, в 1890 году, в объяснениях в полицейское управление города Ельца относительно «предоставления отдельного паспорта жене, Розановой Аполлинарии Прокофьевне», В. В. ни в чем предосудительном супругу не обвинял. Напротив, писал, что «причиной ссор служила ее постоянная подозрительность и ревность, никогда не высказывавшаяся ясно и с первого же начала, но раздражавшаяся гневными вспышками, следовавшими одна за другой, приблизительно через промежутки времени месяца в 2–3, в течение которых она бывала со мною хороша и ласкова. По причине ее постоянной затаенности я никогда не в силах был предвидеть ни времени, ни точного предмета наступающей ссоры, и первый год нашей брачной жизни даже не понимал, что причиной служит именно ревность. Как муж и любя ее, я видел болезненное сложение ее характера, постоянно как бы встревоженного, чего-то ищущего и никогда не способного удовлетвориться обыкновенною будничною жизнью. Значительная разница наших лет (она лет на 15 старше меня) все-таки была недостаточна, чтобы объяснить эту подозрительность и ничем не успокаиваемую ревнивость; позднее (в 1886 году) городской врач города Брянска, г. Денисенко, имевший случай свидетельствовать ее по причине одного заболевания, объяснил мне, что она нервопатична, и это находится в связи с некоторыми болезненными отклонениями у нее в системе женских органов».

Вероятнее всего, так и было, и именно *ревность* Аполлинарии к мужу – ключ к этому сюжету. В прошении на имя митрополита Антония Розанов писал, что брак их «был бесплоден и, не скрою от Вас, нечист (между мужем и женой не было совершенного или надлежащего целомудрия, о коем молился Товит)». А в другом месте: «Жили бесконечно плохо; мучительно, скандально; я писал тогда (в Брянске) книгу “О понимании”, а она уверена была, что у меня мелькают юбки перед глазами; несколько раз, забрав рукописи, я переходил в гостиницу».

Юбки здесь упомянуты не случайно. Была ли основана на чем-либо конкретном уверенность Аполлинарии Прокофьевны или измены мужа ей

померещились, вопрос открытый. Сам Розанов, будучи человеком влюбчивым, позднее мельком вспоминал свои милые брянские шалости и увлечения, и, судя по письмам графини Салиас, Аполлинария считала, что ее муж – человек «ветренный, неверный и беспутный» – вспомним еще раз розановские строки: «всем Вы жаловались, что я подлый распутник». Опять же дело не в том, насколько это соответствовало действительности^[15] – а в том, что так думала она, и именно это обстоятельство объясняет линию ее поведения в дальнейшем.

«Невозможно представить всей грязи, которую она подняла, обвинив меня в связи с одной из двоюродных сестер, – сообщал Розанов Глинке-Волжскому. – Анонимные письма, неприличные стихи – все стекалось, стекалось в руки знакомых или родных; п. ч. моя предполагаемая любовница, придя в гимназию, – в истерике требовала возвращения своих писем, отдельные слова из которых приводила Суслова... Со всех сторон вступившиеся знакомые и родные требовали, чтобы я справился с женой, убрал ее, то есть в сумасшедший дом; что это – преступление; но было так же невозможно справиться с нею, как с метелью в степи; для свободы действий она переехала в Орел».

Кстати, вышеупомянутая княжна Гедройц в автобиографическом сочинении тоже немало страниц посвятила жене философа, выведенной под именем Юлия – ревливой, сварливой, властной: «Васеньку в таком страхе держит, что он у себя никого принять не смеет и в отместку лепит нам колы».

Что же касается «романа» Аполлинарии Прокофьевны с Гольдовским, разумеется, и этот грех можно на бедную женщину повесить, представляя ее в образе зрелой нимфоманки, падкой на молоденьких студентов («Старая, она делалась все похотливее и в Москве все чаще засматривалась на студентов, товарищей молодого, но надоевшего мужа», – писала в мемуарах Зинаида Гиппиус), либо предположить, что она эту любовную историю намеренно затеяла, дабы неверному мужу «отомстить», только вот что странно.

«Условием возвращения из Орла было, чтобы я не виделся, не знался, не здоровался с Гольдовским, – и я решил твердо все исполнить», – писал Розанов Глинке-Волжскому.

Тут, конечно, сразу возникают вопросы: если Суслова влюбилась в Гольдовского, то почему именно она поставила такое условие, почему Розанов с ним твердо согласился? Не была ли вообще влюбленность его жены в «прелестного юношу, жида» плодом более поздней фантазии самого В. В. с понятной целью: ему надо было отвести от себя все

подозрения и ни в коем случае не оказаться виновной стороной в их с Аполлинарией разрыве и сделать, напротив, ответственной за несложившийся брак ее.

У Розанова был мотив, и Онисим Борисович Гольдовский (впоследствии видный адвокат, юрист, один из основателей кадетской партии) был так же виновен в преступном уходе пожилой развратной жены от молодого целомудренного мужа, как еврейский приказчик Менахем Мендель Бейлис в ритуальном убийстве подростка Андрея Ющинского. А единственная причина, по которой Аполлинария жестоко себя повела, могла заключаться в том, что Гольдовский, по ее мнению, каким-то образом способствовал розановским отлучкам; не случайно Розанов упомянул двоюродных сестер невесты Гольдовского как предполагаемый объект ревности.

...Это была молодая, веселая компания, в которой тридцатилетний педагог охотно проводил время и мог позволить себе раскрепоститься, и Аполлинария Прокофьевна как нигде ощущала себя там принадлежащей к другой возрастной группе. Поэтому она могла прелестному юноше мстить, а вовсе не потому, что в него влюбилась. И когда Розанов свое обещание нарушил, «Суслова моментально узнала, что я видел Гольдовского, и в ряде бешеных писем потребовала пересылки себе вещей своих; тщетно я плакал, все приняли во мне участие и просили ее успокоиться... напрасны были личные обещания. С этих пор я более ее не видел».

Эту нестыковку, кстати, хорошо почувствовал и А. С. Долинин, написавший в предисловии к сусловским дневникам: «Кто же из них прав, обвиняя друг друга в “неверностях”? Суслова или Розанов, себе на каждом шагу противоречащий, как в характеристике, которую он и дает ей в письмах к А. Г. Достоевской и к Волжскому, так и в сообщаемых им фактах?»

Закон чисел

Розанов, как уже говорилось, впоследствии почти везде называл 1886-й годом их расставания. В том числе в таких серьезных документах, как его второе завещание, написанное в 1899 году, где он вспоминает о «формально не уничтоженном моем браке с первою супругою – да будет ее имя забыто – оставившею меня самовольно в бытность мою в Брянске в 1886 году». Эта дата кочует из одной книги в другую вплоть до авторитетной «Розановской энциклопедии», однако письмо графини Салиас ее высокоблагородию Аполлинару Прокофьевне Розановой, датированное 1887-го и отправленное в Брянск, эту хронологию опровергает: «Мне бы надо у Вас спросить (по очень большому секрету и между нами), не хотите ли Вы получить место начальницы школы или прогимназии. Я могу поговорить об этом. Но это большой секрет между Вами и мной».

Да и в объяснительном письме в полицейское управление в 1890 году Розанов написал о том, что они прожили с супругой в Брянске пять лет, а далее, «видя ее скорее несчастною, чем виновною в происходящих ссорах, во время их я всегда был уступчив, соглашался со всеми ее требованиями, и, вероятно, она сама не откажется подтвердить, что в течение семи лет не слышала от меня ни одного бранного слова или грубого в чем-нибудь отказа. Однако, несмотря на все меры, ее вспышки принимали все более и более резкую форму и наконец окончились отъездом летом 1887 года (курсив мой. – А. В.)».

Но потом везде настаивал на том, что разлука случилась годом раньше. «Мирно она села (в Брянске) в поезд, я ее усадил: и из Москвы получил письмо, что больше ее не увижу», – писал он митрополиту Антонию, называя именно 1886 год. С одной стороны, какая, казалось бы, разница, в каком году она села в этот мирный поезд, навсегда увезший ее от сумасбродного супруга? В восемьдесят шестом, седьмом, восьмом? Ну, забыл человек, ну, перепутал, ошибся. На самом деле разница есть, разница очень существенная, ошибка сознательная, важная, и связана она с тем временным обстоятельством, о котором Розанов позднее написал своему доброму знакомому Сергею Александровичу Рачинскому: «Нужно Вам заметить, что я знал и мне как-то впало в душу одно условие 2-го венчания, ужасно близкое к моему положению: 5-летнее безвестное отсутствие одного из супругов. Скажите, какое мне дело, что я знаю адрес своей супруги, когда одновременно я знаю, что это есть вечное разлучение,

бессрочное отсутствие. Это адресные браки, т. е. с ведением адреса ложа супруги – одна из тех чудовищных аномалий, которые загромождают жизнь; и со своей стороны раз уж 5-летняя давность законом установлена, я считал и до пролития крови считаю себя вправе на второй брак...»

Поскольку его второе незаконное венчание произошло в 1891 году, то мотив Розанова совершенно очевиден: ему был нужен именно 1886 год как год разрыва с Сусловой в качестве еще одного аргумента для развода и вступления в новое законное супружество. Аргумента, столь же выдуманного, как и измена бывшей супруги, но главное – наивного, бесполезного, бессмысленного, потому что по тогдашним законам консистория не принимала подобных шатких обстоятельств во внимание. Ей строго требовалось *безадресное* пятилетнее отсутствие, *безвестное*, чтоб человека невозможно было нигде найти, разве что на каторге, и проживание Аполлинару сначала в Калуге, а потом в Нижнем Новгороде в доме отца под эту категорию не подпадало. Однако упорное стремление В. В. сознательно искажать факты собственной биографии, произвольно меняя даты и переписывая задним числом историю, говорит само за себя. Не только в этом случае, но и во многих других. Верить нельзя никому, Розанову – особенно.

Что же касается Аполлинару, то не за пять лет, а за четыре года до его второго венчания (о чем, впрочем, никто из них тогда, вероятно, не думал) у нее созрело желание расстаться с мужем. Правда, не вполне понятно, то ли опять на время с расчетом его проучить и снова вернуться, то ли на этот раз навсегда. Ехать к отцу она не хотела, еще меньше мечтал видеть ее у себя дома Прокофий Григорьевич, даром, что ли, он так любезно поздравит зятя с «наступившим высокаторжественным Новым годом» (1888-м) и напишет о своих добрых к нему чувствах. Аполлинария искала, чем ей заняться, отсюда и возник сюжет с начальницей школы. И когда Розанов принял решение перевестись из Брянска в Елец, Суслова за ним не последовала.

Либо он ее туда и *не звал* и вообще добился этого перевода втайне от нее.

В. В. впоследствии чаще настаивал на первой версии (в письме М. П. Соловьеву, например): «Зову, имею нескромность сослаться на свое грустное – не положение – а просто состояние духа (привычка, да и вообще ненавижу холостое положение). Ответ – 3 строки, а заключение: “Тысячи людей в вашем положении – и не воют. Люди не собаки”».

Но опять-таки как лицо заинтересованное вполне мог реальную картину исказить, чтобы еще раз сделать ответственной за разрыв ее, тем

более что в письме другому адресату (А. С. Глинке-Волжскому) объяснил мотивы своего переезда иначе: «Когда все мне сказали, что она, очевидно, душевнобольная (у нее не б[ыло] другой болезни, кроме хронической опухоли яичников) и если я еще буду искать с нею сблизиться и, б[ыть] может, найду ее, – может кончиться жизнь очень худо, хуже, чем разлука, – я стал просить перевода в другой город, и меня перевели в Елец. Здесь я как бы проснулся: удивительно важны перемены места и людей: проснувшись, я забыл даже, что женат, что пережил 5 лет мучительной драмы; я проснулся и вздохнул от прошлого, как от перенесенного тифа или скарлатины».

«– И все-таки не бросили ее? Как же вы наконец разошлись?»

– Она сама уехала от меня. Ну, тут я отдохнул. И уж когда она опять захотела вернуться, я уж ни за что, нет. В другой город перевелся, только бы она не приезжала».

Так вспоминала розановскую историю расставания с Аполлиной Зинаида Гиппиус.

Л. И. Сараскина опубликовала в своей книге не полностью датированное письмо от субботы 15 августа неизвестного года (указаны число, месяц и день недели), которое Аполлинария отправила мужу. Тут, правда, есть одна неувязка. Публикатор (видимо, в соответствии со сложившейся традицией) датирует это письмо 1886 годом. Однако 15 августа 1886 года было пятницей. Суббота в этот день была *годом позднее*, и стало быть, письмо было написано именно в 1887-м.

«Сегодня я получила письмо от тебя, дорогой друг мой. Отчего ты так волнуешься? Хвастался своей молодостью и силами, дающими возможность переносить страдания, какие только можно встретить в браке со старой постылой женой, и не можешь спокойно перенести пустяков. Будь мужчиной, а не бабой; снявши голову, о волосах не плачут. Когда ты мне не писал все лето, ты тогда не думал, должно быть, в состоянии ли я, старая грешница, перенести такую быструю и решительную перемену. Я тогда уж решилась с тобой кончить, хотя ты и маскировал потом свою холодность громкими словами. Сегодня ты меня любишь, но что будет завтра? Но мы поговорим, когда ты успокоишься немного».

Письмо это отличается, во-первых, достаточно взвешенным и при этом насмешливым тоном (хотя и с плохо скрываемой яростью), а во-вторых, тем, что Сулова дважды называет себя старой, и понятно, что больше всего ее заботило именно это обстоятельство. Малейший намек на охлаждение со стороны мужа ее нервировал, и логично предположить, что если она и бросила Розанова, то лишь потому, что не хотела быть

брошенной сама. Сыграла, так сказать, на опережение. Но виноватой себя ни на йоту не ощущала, и никакого разговора между супругами, судя по всему, так и не произошло.

«Мы вовремя разошлись, чтобы избежать чего-нибудь ужасного и преступного», – написал В. В. позднее, как бы примиряя обе версии, кого же считать инициатором их расставания. Но в любом случае никогда больше супруги не встречались, оставаясь до конца дней, по законам Церкви и государства, мужем и женой, что не только стеснило Розанова, о чем опять-таки знают все, но и накладывало значительные ограничения на свободу передвижений Аполлинарии Прокофьевны, о чем почему-то обыкновенно не задумывается никто. А между тем именно это обстоятельство могло оказаться в дальнейшем роковым...

В 1887 году Василий Васильевич дал супруге по ее требованию вид на отдельное жительство сроком на один год, который она провела в Калуге, работая в детском приюте, после чего разрешение не продлил. Перед Аполлинарией встал выбор: либо возвращаться к мужу, либо отправиться к отцу. Оба варианта были для нее ужасны, но в итоге она вынужденно предпочла второе и поселилась в Нижнем Новгороде, нигде уже больше не работая и вредного мужа тихо ненавидя и проклиная, приуговляя ему будущую месть, которую он сам взлелеял, а у Розанова началась елецкая эпопея, продлившаяся ровно четыре года.

Друзья по переписке

Гимназия города Ельца известна в истории русской литературы тем, что в ней учились почти одновременно Бунин, Пришвин и философ Сергей Николаевич Булгаков. С Буниным Розанов на несколько лет разминулся и впоследствии отзывался о нем довольно холодно, а двух других будущих знаменитостей учил, оказавшись хорошим знакомым одного («Я знал его, этого сурового марксиста, еще на гимназической скамье, в Ельце. Он был из города Ливен, сын тамошнего протоиерея. Сильный крепыш, суровый, угрюмый. Он никогда не улыбался, не шалил», – писал он впоследствии о Булгакове) и напрямую причастным к изгнанию из гимназии второго. «Розанов – послесловие русской литературы. Я – бесплатное приложение», – сформулировал много лет спустя Михаил Пришвин, едко изобразивший своего учителя в автобиографическом романе «Кащеева цепь»^[16], во многом шедший в литературе по розановским стопам и называвший В. В. своим «литературным опекуном», который дал ему вещий совет: «Поближе к лесам, подальше от редакций».

Этот сюжет был описан мною в биографии Пришвина в серии «ЖЗЛ» и в романе «Мысленный волк», так что подробно касаться его не буду, но к Пришвину еще вернусь. А елецкий период в жизни нашего героя ценен тем, что здесь появляется стороннее воспоминание о Розанове, написанное его коллегой, учителем древних языков Первовым. Он изобразил Елецкую гимназию довольно в мрачных тонах, а самого Розанова описал как человека одинокого, ни на кого не похожего и вызывающего крайнее раздражение не только у учеников, но и у других учителей. «Раз он попал даже на холостую попойку у учителя женской гимназии Желудкова. Здесь слово за слово разгорелся спор между Розановым и Десницким, который “на все корки” честил философию и философов, крича с азартом: “И мы тоже кое-что понимаем!” В разгаре спора Десницкий схватил с полки книгу “О понимании”, преподнесенную Розановым Желудкову, расстегнул брюки и обмочил ее при общем хохоте всех присутствующих: “А ваше понимание, Василий Васильевич, вот чего стоит”».

Ему было, правда, очень нехорошо в этом чудесном, красивейшем русском городе над речкой Быстрой Сосной (или просто Сосной, как ее тогда называли). Может быть, даже еще тяжелее, чем в Брянске. Как ни трудна была жизнь с Аполлинарией, но, судя по всему, Розанов был из тех людей, кто совсем не умеет жить один, ему нужно было к кому-нибудь да

прилепиться.

«Причина тоски моей – моя семейная неустроенность, – элегически признавался он в письмах елецких лет. – Мне трудно и больно думать, что, не попытав никакого семейного и вообще личного счастья, в первую половину моей жизни, я не испытаю его, кажется, и во вторую, что мне не удастся уже по чисто внешним причинам устроить себе тихую и радостную жизнь... Сколько любви было у меня к людям, желания помогать им всегда, и теперь – одна ненависть, совершенное безучастие, одно желание – схорониться куда-нибудь, чтобы никто меня не видел и я никого не видел. Погибла моя молодость, и, кроме тревог и усталости, ничего не несу с собою в старость».

На него по-прежнему давила неудача с первой книгой, и все-таки В. В. не сдавался, спасался работой. В Брянске всю душу отдавал своему философическому роману, в Ельце уговорил Первova переводить «Метафизику» Аристотеля таким образом, что Первов выполнял перевод, а Розанов делал комментарии. Работа была опубликована в «Журнале Министерства народного просвещения», но и эта публикация ни большой известности, ни удовлетворения автору не принесла. «Вдруг два учителя в Ельце переводят первые пять книг “Метафизики”. По-естественному следовало бы ожидать, что министр просвещения пишет собственноручное и ободряющее письмо переводчикам, говоря – “продолжайте! не уставайте!” – написал он впоследствии с досадой в «Опавших листьях». – Профессора философии из Казани, из Москвы, из Одессы и Киева запрашивают: “Как? что? далеко ли перевели?” Глазунов и Карбасников присылают агентов в Елец, которые стараются перекупить друг у друга право 1-го издания, но их предупреждает редактор “Журнала министерства народного просвещения”, говоря, что министерству постыдно было бы уступить частным торговцам право первого выпуска книгою великого Аристотелева творения, и он предлагает заготовить 2000 оттисков, так как 2-го издания трудно ожидать. Вот как было бы в Испании при Аверроэсе. Но не то в России при Троицком, Георгиевском и Делянове»^[17].

И тем не менее именно Елец стал городом розановского прорыва в большую жизнь. Случилось так, что Розанов заочно познакомился с известным литературным критиком, другом Достоевского и Толстого Николаем Николаевичем Страховым. Именно ему В. В. отправил в январе 1888 года пространное, уважительное письмо с высокой оценкой его трудов и прочими лестными словами, а о себе сообщил, что он учитель гимназии и мечтает встретиться с адресатом очно. Рассчитывал или нет провинциальный философ получить ответ из столицы, но переписка

завязалась, и в каком-то смысле можно считать, что впервые за тридцать два года своей нескладной жизни наш герой вытащил по-настоящему счастливый билет. А если учесть, что Страхов был выпускником Костромской духовной академии, в стенах которой пребывал во время оно и розановский мучитель Иван Воскресенский, то можно считать, что судьба таким образом с В. В. посчиталась и долг свой вернула.

Страхов сделался розановским литературным наставником, нянькой, опекуном, проводником и поводырем, хотя произошло это, разумеется, лишь потому, что было кого опекать, нянчить, наставлять и вести.

«В прежние годы, когда я думал о Вас, я всегда думал: он стар и устал бороться; пусть он не знает меня, но я буду его верным учеником, – писал В. В. – Теперь, когда я Вас знаю, я прошу Вашего благословения в свой будущий путь...»

Н. Н. благословил, и Розанов в течение нескольких лет писал ему письма, длинные, обстоятельные, очень умные, в которых было много размышлений, наблюдений, умозаключений, тонких оценок работ современных писателей, критиков и философов, личных переживаний (в том числе история его несчастного брака), и все это находило у Николая Николаевича сочувствие и так не хватавшего Розанову *понимания*, и на этом фоне вышеприведенное воспоминание Первого выглядит особенно ярко, как понятен и розановский крик души: «...хочется мне вырваться из своего учительства, которое не дает ни времени для занятия, ни, главное, *возможность хотя бы 15 часов кряду думать об одном чем-нибудь*, не думать о морях, заливах и проливах, о войне “Алой и Белой Розы” и всем прочем, до чего мне нет дела, что я с каждым днем начинаю ненавидеть более и более, до отвращения, до неистощимой озлобленности, до нервного заболевания, – если мне удастся иметь досуг, я думаю применить эти категории к физической природе и, особенно, к явлениям нравственного порядка. Ах, дорогой Николай Николаевич, сколько мыслей в голове, и... должен день за днем – вытаскивать учебнички географии и истории и приготавливаться по ним к урокам, а там идти в класс, чтобы мучить и мучиться...»

У В. В. впоследствии будет сложное отношение к Страхову («между нами пробежала черная кошка», – напишет он в 1892 году), да и сам Николай Николаевич был, мягко говоря, весьма непростой и неоднозначной личностью, но тем более важно розановское признание 1913 года при публикации писем Страхова: «Поистине, Бог наградил меня как учителем Страховым; и дружба с ним, отношения к нему всегда составляли какую-то твердую стену, о которую я чувствовал – что всегда могу на нее опереться

или, вернее, к ней прислониться. И она не уронит и согреет. К молодежи я сказал бы эти слова: старайтесь среди стариков, среди пожилых *вовремя* заpastись вот таким другом, и он сохранит вас как “талисман” Пушкина: *От измены, непогоды...* и проч. и проч.».

Страхов отговаривал Розанова уезжать из Ельца; из его писем мы узнаём, что в 1890 году Розанов был на грани самоубийства, о чем Страхову написал («если бы были легкие способы умирания, если бы продавали опиум в аптеках, нисколько бы я не задумался умереть. До того мало счастья, до того бесконечна жизнь») и получил суровую отповедь: «Как вы решились писать мне о самоубийстве? До чего вы дошли. Не ссылайтесь на тягость и тоску; убить себя можно даже от того, что прыщик вскочил на носу. Разницы, в сущности, нет никакой. Но есть разница между человеком, для которого жизнь есть поучительный и воспитательный опыт, какова бы она ни была, – и таким, который не хочет ничему учиться и ни с чем бороться, а хочет только, чтобы ему было приятно». Страхова же после их личной встречи в Петербурге Розанов вопрошал, не производит ли он впечатление душевнобольного, и получил заверение, что ничего кроме обыкновенной нервозности в нем нет. Наконец, именно Страхов помог Розанову опубликовать в 1889 году его первые статьи, и можно себе представить, как много это значило для учителя из Ельца. И не только в моральном, но и в материальном отношении. Благодаря Страхову стартовала карьера Розанова журналиста, эссеиста и литературного критика, что признавал и сам его благодетель: «Вы теперь человек известный; в четырех журналах, “Рус. Вестн.”, “Вопросах Философии”, “Журнале Министерства народного просвещения” и в “Русском Обозрении” – Ваша статья не залежится, а будет тотчас прочитана и оценена».

Вслед за относительно небольшими текстами последовала ставшая классической «Легенда о Великом инквизиторе Достоевского» в «Русском вестнике», с которой началась пестрая литературная судьба Василия Розанова. «Стыдно писать о себе, но думаю, бедный, что мой разбор “Легенды” будет одна из больших, серьезных и ценных работ у нас критических. Я ею доволен на всем протяжении. Именно – его я и считаю своим вступлением в литературу...»

Затем была программная статья в «Московских ведомостях» «Почему мы отказываемся от наследства 60–70-х годов?» («где: об Государе Александре II и его убиении, об молодых профессорах, нас нередко развращавших, объяснение с Н. Михайловским и проч.»)^[18], и так именно 1891 год, год тридцатипятилетия, стал для Василия Розанова переломным.

Только в отличие от дантовского героя, земную жизнь пройдя до половины, В. В. очутился не в сумрачном лесу, но, напротив, из «темного погреба» вышел на волю и сделался известен читающей публике. Пусть не сразу она обратила на него внимание и слава пришла к провинциальному литератору не на следующий день, но тем не менее к новому имени постепенно стали привыкать, а сам он начал обрастать литературными связями преимущественно в консервативном лагере.

Впрочем, на очень интересное обстоятельство обратил внимание литературовед В. Б. Катаев, который процитировал запись из архива Чехова, относящуюся к концу 1880-х – началу 1890-х годов: «...пока мы в своих интеллигентских кружках роемся в старых тряпках и, по древнему русскому обычаю, грызем друг друга, вокруг нас кипит жизнь, которой мы не знаем и не замечаем. Великие события застанут нас врасплох, как спящих дев, и вы увидите, что купец Сидоров и какой-нибудь учитель уездного училища из Ельца, видящие и знающие больше, чем мы, отбросят нас на самый задний план, потому что сделают больше, чем мы все вместе взятые».

Отбросил или нет Розанов Чехова на задний план, да и вообще имел ли в виду Антон Павлович именно Василия Васильевича, вопрос спорный, но знал он о нем совершенно точно и его сочинения читал, хотя отзывался о них поначалу не слишком одобрительно. Так, в письме Суворину в мае 1897 года, давая характеристику новому сотруднику «Нового времени» Энгельгардту, Чехов писал: «У Вашего нового сотрудника Энгельг<ардта> несомненно бьется публицистическая жилка, но какая это уже не молодая, неясная голова. Принадлежит он к той же категории, что и Розанов, – так сказать, по тембру дарования. У этой категории нет определенного мирозерцания, есть лишь громадное, расплывшееся донельзя самолюбие и есть ненавистничество болезненное, скрываемое глубоко под спудом души, похожее на тяжелую могильную плиту, покрытую мохом».

Тут вот что еще любопытно: спроси навскидку любого человека: кто старше, Розанов или Чехов? Уверен, что большинство, не задумываясь, назовет Чехова, хотя родился на четыре года раньше «учитель уездного училища из Ельца», что еще раз доказывает, как медленно, трудно и поздно входил наш честолубивый герой в литературу.

С Чеховым никаких личных отношений у него не сложилось, а среди его новых знакомых оказались редактор-издатель «Русского вестника» Федор Николаевич Берг, молодой и очень рано скончавшийся философ Федор Эдуардович Шперк, политический заключенный 1870-х, а впоследствии религиозный мыслитель Юрий Николаевич Говоруха-Отрок,

публицист Иван Федорович Романов, писавший под псевдонимом Рцы, с которым впоследствии Розанов очень подружился: «Трех людей я встречал умнее или, вернее, даровитее, оригинальнее, самобытнее себя: Шперка, Рцы и Флоренского». Но, пожалуй, самым дорогим, самым сокровенным розановским читателем оказался проживавший в ту пору в Оптиной пустыни близ старца Амвросия философ Константин Николаевич Леонтьев, который, судя по переписке со Страховым, всегда вызывал у В. В. острый интерес и вместе с тем недоверие.

«Кто он такой, по положению, по имуществу, по психологии – мне бесконечно захотелось узнать. Какой хаос по изложению – и какие умные замечания... Но сквозь ум – какая самоуверенность до наглости, какая как бы сухость сердца, и этот “государственный бич над ‘народом-богоносцем””, которого он требует, подсмеиваясь над Достоевским. Отвратительный человек, должно быть, но как запоминаются его слова... Я вовсе не хотел бы с ним познакомиться».

Тем не менее именно этот «отвратительный человек» первый написал весной 1891 года Розанову письмо, заставившее адресата переменить свое отношение к возможности их знакомства. «Скажу Вам новость: от К. Н. Леонтьева, первой умницы нашего века, вдруг получаю письмо, – сообщал Розанов Страхову, и розановская скорая перемена ума и настроения – вещь весьма характерная. – Сегодня я ему написал ответ. Вы знаете, до чего я его люблю, и поймете мою радость».

После этого между двумя философами, «старым» и «малым», завязалась переписка, очень интересная, искренняя, с обеих сторон крайне доверительная, скрасившая одиночество одного и последние месяцы жизни другого (Леонтьев умер в ноябре того же 1891 года). Она, правда, так и не привела ни к личной встрече, ни к посвящению В. В. в ученики, либо в продолжатели дела Константина Николаевича по той простой и сложной причине, что Розанов в принципе не мог быть ни чьим учеником. Слишком самостоятельный, слишком своеобразный и самодостаточный («Не совокупляющийся человек – духовно. Человек – “solo”», – писал он сам о себе). Но надо оценить усмешку судьбы, пославшей обличителю «розового христианства» в качестве последнего собеседника обладателя именно этой фамилии.

В личности Леонтьева уже после смерти Константина Николаевича Розанову еще предстояло открыть неоднозначные черты и обсудить их со Страховым, который эту дружбу изначально не приветствовал, но, как человек воспитанный, своего неодобрения до поры до времени не высказывал. И когда В. В. впоследствии вспоминал, что его личной встрече

с Леонтьевым помешали «какая-то лень и суеверие, что я не увижу именно то дорогое и милое, что образовал уже в представлении о невиденном человеке, заставляло меня нисколько не спешить свиданием, да и вообще не заботиться о нем», то в этих словах был более глубокий смысл, нежели может на первый взгляд показаться. Однако из всех «литературных изгнанников», как назовет Розанов затравленных либеральной критикой писателей консервативного толка, Леонтьева он все равно будет называть чаще всего и с самым большим пиитетом: «Леонтьев – величайший мыслитель за XIX в. в России. Карамзин или Жуковский, да, кажется, и из славянофилов многие – дети против него. Герцен – дитя. Катков – извощик, Вл. Соловьев – какой-то недостойный ёрник. Леонтьев стоит между ними как угрюмая вечная скала. “И бури веют вокруг головы моей – но голова не клонится”».

Именно рядом с этой «скалой» Розанов будет похоронен в Черниговском скиту Троице-Сергиевой лавры. Так ни разу не встретившиеся при жизни, они по сей день лежат вместе после смерти...

О любви

И все же главное событие елецких лет – знакомство Василия Васильевича с Варварой Дмитриевной Бутягиной, урожденной Рудневой, которая впоследствии стала его второй женой. Сюжет этот хорошо известен, многожды описан и воспет Розановым в самых разных его сочинениях, и по контрасту с Аполлиinarieй Прокофьевной Варвара Дмитриевна была на розановском родовом древе все равно что благообразный дед по отцовской линии против inferнального по материнской. Пожалуй, ни одной женщине, да вообще ни одному человеку не посвятил наш герой стольких чудесных, ласковых, восторженных, благодарных слов в своих сочинениях. Друг, мама, мамочка, В. Д., она встречается в «Уединенном» и в «Опавших листьях» чуть ли не на каждой странице, где Розанов пишет о себе, о своей семье (а вот Аполлиinarieи Прокофьевны там нет – так часто отзывавшийся о первой жене в частной переписке, Розанов не пустил «любовницу Достоевского» в большую литературу).

Варвара Дмитриевна была молодой вдовой, что положительно оценил Леонтьев. «Что Варвара Дмитриевна вдова, этому я *очень* рад. Вдова может быть скоро и верно понята и сама все скоро поймет. А у девушек вечно сумбур в голове. Девушки для добросовестного мужа очень опасны! Загадочны и обманчивы...» Муж ее, сын священника и учитель церковно-приходской школы Михаил Павлович Бутягин, умер еще до переезда Розанова в Елец, но ни Василий Васильевич, ни Варвара Дмитриевна и предположить не могли тогда, как страшная смерть Михаила Павловича, а вернее, болезнь, от которой он скончался, трагически отзовется в их собственной жизни много лет спустя. Однако в ту пору у них были совсем другие заботы и другие ощущения, и самое сильное очарование Розанов испытал от маленького дома возле Введенской церкви, где он увидел то, чего был лишен в своем горьком детстве. Но прежде – о самой церкви, прихожанкой которой были Варвара Дмитриевна и ее домашние и о которой В. В. оставил замечательное, сокровенное свидетельство.

«Я все больше склоняюсь к православию и только ищущее выражения его духа; вчера, накануне Введения, я пошел в церковь к Введению – маленькой церкви, против коей живу: правда, у меня обстоятельства личные горькие, и я могу быть растроган, но вчера всю Всенощную неудержимо плакал от умиления и от красоты всего богослужения и всех

песнопений и толпы народа молящегося (была давка сильная). Так дружно, так хорошо молились все, и я “оторванный от ветки листочек дубовый”, как и все мы, пропадающие образованные люди, стоял, молился и плакал и в редкие минуты, когда вспоминал о своей литер. деятельности, думал, что никогда и ничему не буду служить и не могу служить лучше, как приведению общества к этому чистому и радостному свету, кот. есть в религии, в церкви, в мирной толпе молящихся людей, у которых нет зависти друг к другу (в это время), нет злобы бедных к богатым, презрения богатых к бедным и пр., и все они слеплены в одном хорошем, братском чувстве, когда молятся. И вчера же только я как-то непосредственно ощутил, что и в католическом, и в протестантском храме не может быть так хорошо, как в православном, и не может быть таких глубокомысленных и *верующих* по тону песнопений, как в православном. И тут же, слушая эти песнопения, все думал – какое счастье сочинять их, еще лучший тон придать голосу; а смотря на образа – думал, какое счастье рисовать эти образа и все лучше и лучше выражать в них религиозное чувство, чувство скорби Бога за человека или прощения ему и пр. Поистине, в первый раз вчера я был истинно православным. И понял, что будут и среди художников, и среди композиторов люди, которые почувствуют себя иначе, чем наши художники и музыканты, и все будет у нас, все – и культура, и другое искусство, и другая философия – с чертами святости, с пониманием этого и стремлением к этому. Да, странно все это было, и много я вчера пережил, во многое поверил и сердцем и умом как в *возможное*».

Эти строки из письма Страхову тем более важны, что они подчеркивают действительно глубоко религиозный, возвышающий характер и той «беззаконной» любви, что, как убийца, выскочила в Ельце из церковного переуллка, и тех искренних переживаний, которые розановская душа – тоже ведь по натуре христианка – знала. А потому как бы далеко впоследствии В. В. от христианства ни уходил, как бы ни ругался с ним, сколько бы ни богохульствовал и ни злословил, все равно возникшее или, лучше сказать, проявившее себя в Ельце – там, где он еще помнил, как пишется слово «нравственность», – чувство никуда из его сердца не делось. Оно было для нашего непонятого философа залогом возвращения, было тем или кем, кого апостол Павел называл «удерживающим теперь». И точно такой же «удерживающей» стала для него семья Варвары Дмитриевны.

«Как я могу сказать, что мне не “Бог указал”, не “Бог привел”, когда я увидел среди жизни “не богаче нашей костромской” жизнь, совершенно другую, совершенно иначе построенную и *зарожденную* с совершенно

другим законом бытия, в сущности выраженном в одной строке – “не осуждать брата моего”, – писал он позднее Павлу Флоренскому. – Что у них было? – Ничего. На кого сердились? – Ни на кого. Чем были недовольны? – Даже и этого нельзя сказать: всем довольны. А жили буквально только “до завтра”, ото дня ко дню. Тут и есть зародыш маленького моего консерватизма: искание *нормы души* как основы нормы и *уклада жизни*. В Костроме мы были не беднее, чем они в Ельце: 1) домик; 2) огромный огород и малина и всякие ягоды при нем, – хватало до поста “своего”, 3) мать, хоть больная, но сын (и талантливый) 19 л. И дочь 17–18, вполне здоровые; да Митя “придурковатый” и добрый, да мы с Сережей – маленькие. Но – ВСЕ ПРОВАЛИЛОСЬ в чудовищной анархии.

В Ельце: Бабушка, дочь, внучка, домик гораздо меньше, сада и огорода – никакого. Но они были в высшей степени все БЛАГОРОДНЫ, – и им все спешили помогать... Я был до того изумлен, что можно *так* жить, после своей Костромы, после ужасного костромского холода, после ужасной костромской безлюдности (среди людей), после всей этой собачьей и окаянной жизни, где даже дети-то, кажется, все друг друга ненавидели, где ни в ком не было уважения и любви, никто ни с кем *не говорил*, никогда не было улыбки, шутки, смеха... Тут я до того убедился, что “можно жить” зиждется не на экономике и “условиях жизни”, а на душе, и, по-моему (тут дело и заслуга ЦЕРКВИ), – просто на образе и зажженной лампадке... Словом, меня дом Вари “прибрал, причесал, вымыл и сделал хорошим мальчиком”. Я ему безмерно обязан...»

В 1916 году, в «Последних листьях», написанных фактически в пору разлада, нового семейного кризиса в его жизни, В. В. с нежностью вспоминал начало своего елецкого романа:

«...заглянув в “глубокий колодезь дома Рудневых – Бутягиных” – полюбил их всех. И полюбя – почувствовал неудержимую буйную радость: и в тот же момент стал счастлив.

Я отчетливо помню, что тогда мне все хотелось смеяться (до этого – никогда), я готов был сесть и в стуколку, и в преферанс, ну, и пуще всего – поехать бы с милой... к Бибиковым, куда угодно, но с милой.

С грациозной, тихой или чуть слышно резвой девушкой (впрочем, она была вдова. Все равно).

Она мне нравилась. И стал весь мир нравиться.

Так вот. Секрет в любви.

Причем замечательно, что я не влюбился тем “убойным способом”, когда люди теряют голову, сумасшествуют и пр., и пр., и пр. Этого я вообще в жизни не знал. Совсем другое. Я только очень уважал. О – очень, очень,

очень. И еще меня уже поразило: что ей я “нравлюсь”, что меня она выбрала “другом”, что для нее я “кое-что”. Это было неожиданно.

Ну, – и нравилась. И ее серое пальто, и скромная шляпа, с “простой лентой”, – и тогда эта зеленоватая вуалька (лето). А когда поднимет вуальку, эта ямка на щеке.

И какая-то постоянная ее внутренняя серьезность».

«Папа ухаживал за мной странно, неуклюже и смешно, – рассказывала Варвара Дмитриевна своей старшей дочери Татьяне. – Когда я к Василию Васильевичу ходила, он меня только черным хлебом угощал и чаем с молоком. А на столе у него бутылка водки стояла и штопор на самом видном месте, а сам никогда не пил... Тюлевые занавески я купила, повесила. Он обстановку любил, угостить любил».

...А началась эта чудесная история весной 1889 года, когда Василию Васильевичу исполнилось 33 года, а Варваре Дмитриевне – 25, и он подарил ей свою фотографию, на которой написал:

«Мое и Ваше прошлое было грустно.

Настоящее у нас хорошо.

Станем же поддерживать друг друга, жалеть и не осуждать за взаимные недостатки, чтобы и будущее стало для нас не худо.

Варваре Дмитриевне Бутягиной от преданного, любящего и уважающего друга Василия Розанова. Елец, 1889 г. – мая 25».

«То, чего так долго, так мучительно и всегда напрасно искал я всю мою жизнь – любви счастливой, равной, с тем добрым и ясным светом, которым может светить только жизнь народа, без умничаний росшая тысячу лет, – это, наконец, я имею, – писал Розанов Страхову месяц спустя. – Теперь я люблю без всякой примеси идейного, и без этого же полюбило меня доброе, хорошее и чистое существо. Мы рассказали друг другу свою жизнь, со всеми ее подробностями, не скрывая ничего, и на этой почве взаимного доверия, уважения и сочувствия все сильнее и сильнее росла наша дружба, пока не превратилась в любовь... Но все-таки страшно подумать, как же мы будем любить друг друга, оставаясь чужими, как устроится наша жизнь? “Как-то темно в будущем” и у меня, как говорит моя бедная Варя (ее имя), думая про себя и свою любовь ко мне. Но мы будем заботиться друг о друге, беречь и жалеть друг друга в жизни, – этого уже довольно, чтобы жизнь не показалась холодной и бесприютной... Я и счастлив и несчастлив: счастлив полною любовью, абсолютною преданностью; несчастлив, и иногда невыразимо глубоко, до отчаяния, что я уже не заслуживаю этого счастья, что она была бы счастливее, полюбив другого... Не знаю, что дальше у нас будет: как могу я быть спокоен, когда

я ничем для нее не жертвую, а она для меня всем».

А через несколько месяцев с грустью добавил: «чувствую себя очень несчастным от неспособности сделать чье-нибудь счастье. Мое здоровье ничего себе, и, перестав заниматься писательством, я чувствую себя хорошо, но вот женщина, которая отдала мне все, не оставив для себя ничего, – видимо, и сильно потрясена в здоровье. Не дал я счастья жене своей и не умею дать и теперь. Для чего живет такой человек, как не спросишь?»

Что такое развод?

Противоречивые чувства Розанова, временный отказ от литературной деятельности и упоминание жертвы со стороны Варвары Дмитриевны были вызваны разными обстоятельствами, но прежде всего тем, что брачная ситуация складывалась отнюдь не в пользу философа и шансов на счастливое завершение этого романа было немного. И дело заключалось не только в крайне неопределенном семейном положении «женатого жениха», но и в сомнениях невесты и ее родных: а стоит ли вообще молодой вдове связывать будущее свое и своей семилетней дочери с этим странным, смурным человеком, беззастенчиво вторгшимся в их тихую жизнь? Не лучше ли подождать кого-то другого, более основательного, солидного и никакими обременениями не отягощенного?

«Пишу Вам в большом беспокойстве, и его источник в моих личных делах, – спешил посоветоваться Розанов со Страховым. – От тяжести души выскажу Вам его, а также и с надеждою, хотя и неверною, что Вы как человек, очень много видевший людей и очень разнообразных, скажете мне и слово опытного и проницательного человека. Только сейчас узнал я вот что: доктор по нервным болезням, а также психиатр, по имени Россолимо (в Москве) сказал месяц тому назад женщине, о привязанности к которой я Вам писал год назад и которая ездила к нему в Москву посоветоваться о здоровье, сказал, не подвергая ее расспросам еще, но только долго смотревши на нее, что она находится под влиянием человека гораздо ее сильнейшего душою – очень развитого, что этот человек – душевнобольной, и если заблаговременно не примет мер – то должен будет сойти с ума, но что она, находящаяся под влиянием этого человека, может помешаться гораздо раньше, именно в год приблизительно. Это хранилось от меня в тайне, и только сегодня я узнал всю истину. Она сказала ему, что любимый ею человек занимается литературой, с большой страстью. Он сказал, что так как оставить это ему (т. е. мне) немыслимо, то, по крайней мере, я должен на несколько месяцев прервать свои занятия и начать заниматься, сколько можно меньше... Вы видели меня 2 недели и скажите искренно, правдиво – правда ли, что я ненормальный, правда ли, что могу влиять столь искажающим образом на близкого, душевно связанного человека? Болезни во мне нет, но *должен ли я лечиться?* Литературу я решительно оставляю на неизвестно какое время, – но что делать с этой вечной забывчивостью от окружающего, с вечно и бессознательно

бегущими мыслями? Ради Бога не оставляйте меня словом Вашим, в котором я нуждаюсь».

Страхов его не оставил, успокоил, литературу В. В. не бросил, но вряд ли идея поездки молодой женщины в Москву к не известному тогда никому врачу-психиатру, а впоследствии корифею отечественной медицины Григорию Ивановичу Россолимо родилась на пустом месте. Видно, было в поведении, словах, в самом характере ухажера что-то, спровоцировавшее опасения ее или ее родных, заставлявшее их подозревать его в скрытой душевной болезни, о чем позднее напишет также первый биограф Розанова Эрик Голлербах, а журналист и публицист Михаил Осипович Меньшиков сделает вывод о том, что Розанов не будет забыт именно благодаря своему «психопатическому своеобразию»^[19]. Так это или не так, но в любом случае одно дело гением быть, другое – с гением жить. И хотя в конечном итоге Варвара Дмитриевна свой выбор в пользу Розанова сделала, этот психологический сюжет имел продолжение в будущей весьма непростой совместной жизни супругов в петербургский период.

Однако это все будет потом, а прежде нашей паре надо было победить другое обстоятельство непреодолимой силы. А именно – разобраться со злосчастным «идейным» браком жениха, заключенным в ноябре 1880 года и, как уже говорилось, не подлежащим по законам того времени расторжению без основательных причин, коих могло быть три: неспособность к деторождению (под которой подразумевалась в основном мужская импотенция), пятилетнее безвестное отсутствие и прелюбодеяние. Еще до знакомства с Варварой Дмитриевной Розанов попытался вопрос с разводом уладить, почему, собственно, и не давал жене вида на жительство, фактически ее шантажируя, вынуждая ему уступить и сделать все, что он ни попросит. Однако – не на ту напал, и здесь нам снова придется вернуться к Аполлинии Прокофьевне.

Уже общим местом стало обвинять Суслову в том, что противная баба, как собака на сене, не давала мужу развод, нанеся тем самым ему чудовищную рану и исковеркав жизнь ему, его второй жене и их общим детям. Это все действительно так, Аполлиния, несомненно, была, как сказал бы Андрей Платонов, «женщиной тяжелого поведения», только надо хорошо себе представлять, что это означало и что за ее упрямым несогласием стояло.

Летом 1887 года, то есть сразу же после расставания с мужем, Суслова (хотя правильнее, конечно, называть ее Розановой, так как, выйдя замуж, она поменяла девичью фамилию и жила с мужниной до конца дней) уехала в Крым к своей знаменитой медицинской сестре и получила от графини

Салиас, которая с самого начала отрицательно относилась к ее неравному браку («Если бы не пошли за Розанова, кто знает, быть может, была бы мать семейства, счастливая»), письмо следующего содержания (здесь и далее письма графини цитируются по книге Л. И. Сараскиной «Возлюбленная Достоевского»):

«...Вы спрашиваете у меня, знаю ли я, что такое развод. Не знаю процедуры подробно, но мне 73 года минет завтра, и я на своем веку видела десятки разводов, женщин легкого поведения и женщин вполне добропорядочных и которых все уважали. Когда муж берет вину на себя, он все и устраивает. Жене дают подписывать бумаги. Еще недавно одна милая, добрая, красавица-женщина 24 лет, у которой муж требовал развода, дала ему его и все бумаги подписала. Она любила своего мужа, но насильно с ним жить не хотела. И связывать его тоже не хотела. Бывают случаи, когда жена не дает развода – это когда есть дети. В таком случае, не желая сводной семьи, т. е. других детей от другого брака, отказывали или не отказывали потому, чтобы дети не были поставлены в положение встречать вторую жену отца при живой матери. Вы не хотите дать развода – это Ваше дело, – но не говорите вздора. До Вас и по сей час развод дают самые добродетельные, достойные уважения женщины, когда их муж (недостойный во многих случаях) его требует. По моей (?) я всегда давала Вам советы хорошие. Вспомните, как я не желала Вашего замужества со студентом. Навыходили. Смотрите теперь, чтобы этот муж, которого Вы насильно желаете быть женою, не наделал бы Вам бед. В его руках много для этого способов. Он может Вас по этапу к себе вытребовать – и не прибегая к такому резкому способу действий – просто не дать Вам паспорта: и заставить сидеть подле своей любовницы. Да и мало ли что? Мне же Вас жаль. Вы выбились из колеи. Вы сами не знаете, что делаете. Вероятно, Вы его очень любите. Но... насильно мил не будешь, а я думаю, что он человек нехороший и без правил».

Ирония этого сюжета заключалась в том, что Розанов был отнюдь не первым литератором, в чью семейную драму была вовлечена популярная русская беллетристка с заморской фамилией. В начале шестидесятых годов XIX века Елизавета Васильевна сделалась литературной опекуной молодого (хотя как сказать молодого, ему было уже под тридцать, то есть примерно столько же, сколько в описываемый период и Розанову) писателя Николая Лескова, перебравшегося из Киева в Петербург. Она ввела его в столичные литературные круги и пригласила работать в принадлежащую ей газету «Русская речь», и, наконец, она же попыталась решить его семейную ситуацию и помирить писателя с женой Ольгой Васильевной, которую тот

оставил в Киеве и которая нагрянула в Петербург и заявила о своих супружеских правах. Из миротворческой затеи графини ничего не вышло, если не считать невероятного лесковского раздражения, несколько лет спустя вылившегося в литературную месть: в романе «Некуда» автор изобразил Сальясиху, как он презрительно называл Елизавету Васильевну, в образе «углекислой феи», «маленькой, вертлявой и сухой» маркизы де Бараль, имеющей зайца в голове. Обо всем этом невероятно увлекательно с превосходными цитатами из самого Лескова и его современников написала в недавно вышедшей книге о Лескове «Прозеванный гений» Майя Кучерская, но для нас самое поразительное во всей этой истории то, что фамилия героя, обладающего в лесковском романе очевидными автобиографическими чертами... Розанов!

Именно он, доктор Розанов, претерпевает от собственной законной жены много-много горя и, наконец, расстается с ней и находит утешение в гражданском браке – то есть фактически Лесков начертал и напроорочил в своем сочинении путь человека, у которого нечаянно позаимствовал «булочную» фамилию для своего протагониста.

Придавал или нет значение этому вещему сюжету сам В. В., утверждать не возьмусь, однако Лескова он ставил всегда очень высоко, а возвращаясь к его собственной семейной ситуации, следует страшно пожалеть, что ответные письма Аполлинии к «Сальясихе» не сохранились. И тем не менее выраженная весьма отчетливо позиция ее старшей подруги помимо негативной оценки личности В. В. как нехорошего человека без правил, позволяет сделать вывод, что на самом деле Розанова не хотела отпускать Розанова от себя, и это еще раз доказывает: она его не бросала и стремилась к тому, чтобы они опять сошлись.

А вот он, вырвавшись на свободу, возвращаться, сходить с ней снова не собирался, и год спустя, в июле 1888 года, беспокойная графиня пишет Полине: «До меня дошло, что муж Ваш требует развода. Умоляю Вас не противиться этому и согласиться, только не берите вины на себя. Вы ничем не виноваты. Не противьтесь, дайте развод, насильно мил не будешь. Если же Вы не дадите развода, то он может многое худое Вам сделать. Я считаю, что если муж требует развода и детей нет, то его непременно надо дать. Зачем Вам быть связанной с человеком, который Вас не любит и любит другую. Послушайте меня. Вы должны поступать с чувством собственного достоинства, а не как влюбленная девчонка – ведь Вам не 25 и даже не 30 лет. Это мой совет... Не лезьте в беду. Не отказывайте мужу, если он Вас знать не хочет, а хочет жить врозь. Поверьте, насильное сожителство

кроме беды, горя, недостойных действий ничего не принесет».

Через полтора месяца Елизавета Васильевна свой взгляд вдруг изменила: «И я прихожу к такому мнению: не лучше ли Вам помириться с мужем и жить тихо и спокойно, как все живут, не слоняясь и не ища то того, то другого, будто Вы выброшены из колеи... Разумеется, если желаете жить с мужем, покоритесь его ветрености и неверностям».

Но вскоре произошло нечто, что заставило графиню вернуться на прежние позиции и с еще большей яростью их защищать: «Я с ужасом прочла Ваше письмо. Как? После всех своих мерзостей и позорного поведения, как мужа, он требует, чтобы Вы взяли на себя вину. Этого ни одна порядочная женщина не сделает. И еще требует при этом денег. Полинька, если Вы меня любите и уважаете, я, как старая женщина, как мать, запрещаю Вам этому человеку давать хоть копейку. Он один, детей нет, жалованье у него есть, при котором живут с женой и детьми, так какая же бедность. Он, как перст, один. Если Вы дадите хоть копейку, Вы пропади и будете обобраны дотла, до нитки. Я вижу, какой это господин... Послушайте меня, откажите в деньгах, откажите (всене непременно, я всегда это Вам советовала) взять вину на себя. Это немыслимо взять на себя позор. Я знаю одну, которая мужа обманула, была уличена в преступной связи, муж хотел развода и, чтобы жену свою не позорить публично, взял вину на себя! А Вы, чистая, жизни добродетельной, зачем Вы возьмете позорное на себя пятно. И как он осмелился предложить это! Словом, бросайте его, не давайте денег, и если хотите непременно развода, пусть берет вину на себя, и ни гроша Ваших денег. Если он просит денег для ведения дела о разводе, это удочка, чтобы обобрать Вас. Ныне дай 200, а там 300, а там 500, и конца не будет. Что же касается до отдачи, то он Вам единого гроша не отдаст, и останетесь Вы без мужа и без денег и к Вашим зрелым годам без куска хлеба. Берегите свои деньги, умоляю Вас, для Вас самих, для Вашей независимости и для Вашего спокойствия. Я вижу, если Вы дадите мужу своему хоть что-либо, он вытянет от Вас все Ваше состояние».

Что там происходило на самом деле, какова была подоплека, что такое написал Розанов Сусловой, что отвечала ему она, что писала своей опытной наставнице и что подразумевала та под «ветреностями и неверностями», с которыми нужно смириться, а также под «мерзостями и позорным поведением», которое принять никак нельзя, какую другую любил Розанов в 1888 году (то есть до знакомства с Варварой Дмитриевной Бутягиной), насколько остро стоял перед ним денежный вопрос – все это доподлинно неизвестно. А потому полностью восстановить картину

отдельной семейной драмы конца позапрошлого века, спровоцировавшей впоследствии лавину розановского гнева против общественных и религиозных устоев России, а заодно против всего христианского мироздания, скорей всего, не удастся, но очевидно одно. Проблема была не в том, что Аполлинария Прокофьевна из-за вредного характера не хотела давать мужу развода, как можно прочесть в любой книге или статье о Розанове, описывающей эту историю. Проблема заключалась в том, что она не хотела *брать вину за развод на себя*, то есть публично признавать свое прелюбодеяние, которого попросту не было и которое Розанов впоследствии задним числом попытался ей приписать. Вот почему не права была дочь Розанова Татьяна Васильевна, когда писала в своих воспоминаниях, что ее отец для получения развода «брал всю вину на себя». Нет, не так все было! И не потому, что он был недостаточно благороден и великодушен, а потому, что не мог признать виноватым себя, а особенно после того, как в его жизни появилась Варвара Дмитриевна, ибо по тогдашним законам тот из супругов, кто прелюбодействовал, не имел права второй раз вступать в брак.

Это была ситуация трагическая, неразрешимая, тогда-то Розанов и написал полные горечи строки Страхову (заметим, ни в чем не обвиняя на тот момент Суслову, а, напротив, виня себя в том, что не сумел дать этой женщине счастья): «Жениться я не могу, и только теперь я впервые почувствовал, что в самом деле кое-что в нашей жизни, в устройстве нашего счастья зависит от законов и учреждений. По последним – мы можем разлучиться с женою и я могу жить с кухаркой или развратничать по публичным домам, но никак не могу жениться на уважаемой и любимой женщине. Это требуется во имя Евангелия, во имя союза Христа с церковью».

Вот – истоки розановского бунта и против Евангелия, и против Христа, и против Церкви. А дальше ситуация лишь усугублялась и привела в конце концов к взрыву.

Таинство

В 1890 году умер отец Аполлинарии Прокофий Григорьевич Суслов, в чьем доме она проживала.

«Теперь, когда муж Ваш узнает, что Вы свободны и, главное, имеете небольшое состояние, он способен Вас преследовать сожительство, – написала Елизавета Васильевна. – Если Вы не хотите возвратиться к нему, покажите твердость воли и характера. Бояться Вам нечего. Пока я жива, Вас никто не обидит, и мы всегда можем обуздать этого беспутного и сумасшедшего человека».

Как в воду глядела! В ответ на желание супруги получить отдельный паспорт после смерти отца В. В. заявил в местные органы власти следующее: «Ныне, когда он помер, мне было бы тяжело видеть свою жену опять бесприютно скитающуюся из места в место, и я хотел бы, чтобы она вернулась ко мне. Дать согласие на право отдельного от меня жительства я ей не могу, потому что, зная ее характер, ничем кроме гибели для нее от этого не предвижу. Сверх того, это равнялось бы расторжению нашего брака, а я еще питаю надежду, что она успокоится раньше или позже и мы вновь будем жить мирно и счастливо».

Вряд ли он писал последние строки искренне, особенно учитывая развивающиеся отношения с Варварой Дмитриевной (хотя если бы Аполлинария Прокофьевна вдруг вернулась к нему, что бы стал делать?), вряд ли дело было только в деньгах, скорее отказ был способом еще раз воздействовать на неуступчивую жену и добиться развода на его условиях. Но Суслиха была непоколебима, злопамятна и мужу его упрямства и вредности не простила, а суровость российских законов, как всегда, искупалась необязательностью их исполнения, так что насчет «вытребовать по этапу» – это графиня Салиас загнула.

«В то же время В. В. Розанов обратился к местному жандармскому начальству с вопросом, может ли он понудить отъехавшую от него жену вернуться к нему, – написал о себе в третьем лице В. В. в прошении на имя обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева. – Получил ответ, что фактически на это средств нет... Ничего не сделаете, и вытребовать не можете (жену по этапу); она всегда скажется больной. Будут отписки, волокита. А дела никакого не выйдет». Или, как сообщал он в мае 1891 года Страхову: «Жена взяла вид от губернатора и живет преспокойно в Нижнем, время от времени транжира деньги за границей летом. Большого

бесчеловечия, чем ее отношение ко мне, я никогда не видал».

Ситуация зашла в полный тупик, из которого, казалось, не было никакого выхода. Вернее, существовало три варианта развития событий, как видел их Розанов: желать Сусловой смерти и ждать, когда она, наконец, помрет, жить просто так или тайно обвенчаться. Первое было противно христианской природе Варвары Дмитриевны, да и не слишком реалистично (Аполлинария Прокофьевна дожила до 1918 года). Против второго решительно восставала благочестивая и благоразумная мать невесты Александра Андриановна Руднева, которой вообще вся эта история не нравилась и будущий потенциальный зять тоже. Особенно если принять во внимание фрагмент из более поздних устных воспоминаний Варвары Дмитриевны, записанных ее дочерью Надеждой (их цитирует в своей книге о Розанове В. Г. Сукач): «Когда В. В. стал бывать у нас в доме, мать написала о. Амвросию, прося разрешить Розанова сделать нахлебником, но о. Амвросий не благословил, сказал, чтобы свою подальше от этого человека держать, а замуж когда захотела... мать написала... и он не благословил».

Поскольку речь шла не о ком ином, как о знаменитом старце Амвросии Оптинском, чьей духовной дочерью была Александра Андриановна, то его фактически дважды неблагословение и настойчивый совет держаться от Розанова подальше говорили сами за себя (как и зловещее в контексте розановской судьбы слово «нахлебник»). Точно так же не одобрял кандидатуру уездного философа и родной брат Варвары Дмитриевны юрист Тихон Дмитриевич Руднев, о чем позднее писала в воспоминаниях опять же Надежда Васильевна: «Тихон Дмитриевич был против брака мамы с отцом, “из себя выходил” и требовал, чтобы папа бросил ухаживать за сестрой, раз он жениться все равно не может».

Так что, строго говоря, учитель Елецкой мужской гимназии отнюдь не был желанным гостем в патриархальном домике возле церкви над чистой рекой, о котором с таким умилением позднее писал и называл своей «нравственной родиной». На него в этом доме и на этой родине смотрели косо и не знали, как отвадить. Однако молодые люди через все запреты уже переступили, сделавшись к тому времени любовниками при обстоятельствах весьма драматических (см. следующую главу). Тогда-то и был избран третий путь, о чем Розанов с некоторыми недомолвками написал Страхову: «Женщина, о которой я Вам писал, что люблю ее, никогда не желала ни ее смерти (Сусловой. – А. В.) и ничего дурного. У нее есть мать, с которой она живет, не разлучаясь, 28 лет, и большой круг родных в Ельце. Всем нам было очень трудно. “Эдакого страдания я

никогда не переживала, как теперь, глядя на Вас”, – говорила мне часто ее мать; семья очень религиозная, и о каком-нибудь сближении вне брака не могло быть и речи. Только раз мать сказала мне: “Если уж Вы не можете больше переносить разлуки, уезжайте отсюда, но я больше никогда ее не увижу, и пусть она не приходит и на могилу мою”. Так мы жили. Нынешний год, всего недели 4 назад, один священник предлагает меру. 7 мая (буду звать невеста) призналась на исповеди своему духовному отцу: “Что ей избирать – желать ли смерти (в душе) жене моей, чего она никогда не желала; начать жить со мной и обманывать мать или согласиться на меру, предложенную священником?” Духовный отец этот – старик лет 70, очень уважаемый в Ельце, у которого исповедуются все священники города, сказал ей: “Изберите последнее – это меньший из 3-х грехов” (он знает всю ее семью более 40 лет и мою невесту нянчил ребенком). Она передала матери. Та дня 4 думала и даже слегла в постель. Сказали и всему кругу родных, и все признали, что это – единственный исход; но после него нужно *тотчас уехать из Ельца* (и это сказал на исповеди моей невесте священник). Вы не можете представить, до чего мы все воскресли; наскоро стали все готовиться; мать ее шила мне белье: “До чего светло у меня на душе, до чего радостно – я и не запомню, когда так было”, – говорила мне старуха-мать. Из разговоров с ней я увидел, что в 1-й же год нашей жизни мать ее переедет к нам жить, и успокоил невесту, которая все сокрушалась, что должна оставить мать. Все мы были без конца счастливы, жили такими надеждами, в таком уповании на Бога, что и сказать нельзя.

Что же касается «меры», предложенной священником, от которой все в доме воскресли и принялись срочно шить белье, то Страхову о ней Розанов писать не стал, что Николая Николаевича несколько огорчило («Но почему Вы не написали мне, что такое неожиданно случилось? Ведь Вы меня уже много посвятили в свои тайны»), однако позднее В. В. описал суть событий в письме митрополиту Антонию.

«Пока один, молодой, резкий, грубоватый священник в присутствии нынешней моей жены не завел со старым протоиереем следующий разговор: “Я могу повенчать В. Д. с В. В. (со мной)”. – “Что ты, с ума сошел – с женатым человеком”. – “Нет, отец протоиерей, скажите мне, что требуется венчающему священнику?” Тот перечисляет. “Нет, я вас спрашиваю о канонах, а не о правилах: ничего я не должен знать, кроме согласия жениха и невесты”. – “По канонам – конечно, но...” Но тот ему закрыл речь: “Я так же каноны хорошо знаю, как вы, и вы меня не оспорите, что как иерей – я решительно ничего не должен знать, кроме сводного согласия венчающихся”. – “Конечно”. Как сказал старик

“конечно” (а он был чрезвычайно уважаемый, глубоко осторожный священник, до известной степени глубокий политик), – невеста моя возлюбленная выбежала, прибежала ко мне и рассказала как бы о пожаре Москвы. До того это и мне и ей было удивительно... А священник этот, решительный и смелый, пришел ко мне и сказал то же, конечно, – венчание без записей, без свидетелей, чисто тайное и только для совести...»

5 июня 1891 года в церкви Калабинского детского приюта на Орловской улице в Ельце состоялось это воистину и в церковном, и в светском смысле слова *таинство*, которое Розанов воспел в «Опавших листьях», и всякий желающий может освежить в памяти эти ликующие страницы: «И венцы, Иван Павлович? – Конечно!» А новобрачный по уговору со священником, взявшим за незаконное совершение обряда тысячу рублей, то есть больше половины годового оклада жениха («Да будет благословенно его имя и не вменена ему будет в грех его правая решимость “поднять со дна ямы впавшую туда овцу в субботний день”», – писал позднее В. В. в своем завещании), перевелся служить в город Белый Смоленской губернии, где работал директором гимназии его брат Николай Васильевич.

Документ

Однако была у этой в общем-то очень трогательной (если не считать прозорливых возражений старца Амвросия и не менее проницательных предупреждений доктора Россолимо) пасторали более сложная, более розановская и менее известная подоплека. Были свои деликатные подробности, о которых В. В. сообщил много лет спустя в письме о. Павлу Флоренскому – самому близкому своему адресату. Ему он доверял то, что не доверял другим, что не включал в «Опавшие листья», о чем не писал Антонию, и обширный фрагмент из следующего ниже письма по-новому высвечивает любовную историю, случившуюся в Ельце в конце позапрошлого века, и передает иное ее измерение. Читатель смиренно-и целомудренный пусть лучше эти страницы пропустит, а в ответ на возможные упреки, зачем-де такое печатать, замечу, что, во-первых, если мы хотим Розанова по-настоящему понять, то надо быть готовым к откровенностям любого рода, а во-вторых, В. В. сам попросил Павла Флоренского сохранить и после своей смерти напечатать данное письмо как «документ».

«Не из “Песни песней” началась и наша любовь. Да все “русские любви” вообще не “фригийские”, не из “очес” и “щек”: все из грусти, “неудачи”, “несчастия” и скорби: и когда люди начинают “прижиматься друг к другу”, чтобы “хоть вдвоем спастись”. “Как-нибудь”...

“Национальная” любовь...

Она “отдалась мне” (до брака), когда узнала, что я “импотентен” (моя иллюзия, моя мечта, мой “страх”): тогда-то, чтобы “поддержать гаснущие силы” (мужчины) и, во-вторых, меня “утешить”, “ободрить”, она и сказала: “Вот – я твоя, и, кроме тебя, я никого и не буду любить. Мы – муж и жена”.

Дело в том, что я б. некрасив и урод и около 40 л., когда мы “встретились” и “все ходя около Введенской церкви” она рассказала – поэтичнейшую и страдальческую – свою жизнь с I мужем (чистая любовь, препятствия, лишения должности им – при бедности – медленная слепота и смерть 29 л., ей – овдовела в 21 г.).

И все ходила – далеко – на могилу. Зимой. “Кой в чем”. И мать ее – все плакала, видя слепнущего мужа дочери.

И все терпели.

Они всегда и все терпели. И все молились. “Без надежды на Бога я бы не жила” (ее мать).

“Как без Божией помощи? Схожу в церковь – и опять на неделю сил” (ее мать). И бежит до звона.

А дочь-вдова 26 лет, – вся невинная и белая, с чистым звонким голосом, изящная и оживленная и как-то “вдалеке от всех” (подруг)... с нею дочка 6 лет, беленькая и востренькая (Шура).

Она мне рассказывала жизнь, а я ей не рассказывал: она – знала, как и все в городе. “Не симпатичный, угрюмый учитель (гимназии), написавший огромную книгу (‘О понимании’), немного сумасшедший, ходит летом в калошах и в меховой шапке в мае, п. ч. забыл или не знает, что тогда уже покупают шляпы”.

“Брошен женой. Спит под енотовой шубой. По воскресеньям играет в карты у Клушина. Смеются над ним. И ученики не любят. Урод и, должно быть, ничтожество”.

Ну дальше, больше... Слушаю ее: вот бы “подруга моих дней”. – “Как она чиста! Как вся хороша! Как вся *благородна*...”

Дал бы обещание, по смерти 1-й жены (очень старая, брак-фантазия и тоже “по страданию”) жениться; да ведь я и *импотентен*...”

Импот. образовалась от “перегорелости” чувственности под “енотовой шубой”, как я думаю, все “перегорает” у решающихся на “пустынный подвиг”. Думаю и чувствую: “Встанет?” – “Нет, не ‘стоит’”. Ах, я боюсь, что он вообще не “стоит”. Ах, я боюсь, что он вообще “не встанет”... И он “не встает”... Дни, недели... Никогда не “встает”... Шевелю – не “шевелится”.

Страх в душу. И он “окончательно не встает”.

Подкрадываюсь к ней (в смертном смущении и *тоске*): “О, Варя: как бы я хотел быть только твоим мужем, и ничьим еще... Всю бы жизнь... Всю бы душу...”

– Ну, ну! Ну, да...

– Но ведь я...

– Что?

Молчание...

– Варя, от болезни или от чего, от “невольной неженатости”, – но я если и “мужчина”, “может быть” – то “лишь с краешка”; на год – два – три... Ибо все уже “кончается” и теперь я “вообще не мужчина”: не знаю, не понимаю. Но когда мы переждем 1-ю жену: *наверное* в то время уже не буду мужчиной.

В такой тоске, как умираю.

“Вася, мне надо подумать. Ты пока не ходи к нам, а я буду одна и буду обдумывать” (у нее “идет мысль”, а не “взвешивает все”).

Видимся опять.

– Ну, вот. Это, конечно, тяжело... Не будет супружества, а ничего. Но вы меня любите, я вижу. Вы только будете обо мне думать. И я обещаю быть вашей женою и ни о ком не думать. Эти дни я выверяла, смогу ли я быть вам верною, любить вас до конца при этих условиях – и решила, что могу.

А я все, от страха, трогаю “импотентность”... “Будет ли на два года?” – “Может уже теперь все кончено?”... Но если без *женщины* не “встает”: может “встанет” с женщиною... Когда целую? когда обнимаю? Когда трогаю “перси”... и я, почти держа руку “в кармане” (“отвердевает” ли?) стал физически ближе и ближе к Варе. По глупости я не знал, что “страх и забота, неуверенность в потентности – производит импотентность”. Но это я теперь знаю...

Да и слова мои: “Угасло все должно быть от невольной безжизненности” – толкнули и зароили рои мысли в ней.

“Я должна его спасти”.

Пошла “русская любовь”... Когда я ее 1-й раз взял за “перси”, она мне написала записку, 15 строк: “Как ее мать учила быть чистой” – я б. до того поражен этими невинными словами, что, залив в воск и зашив в тряпочку – до сих пор, с крестиками (все “памятки”) ношу на шее. И вообще для меня Варя – “религия”... Все “лучшее и чистое”, что нашел в жизни, встретил на земле, кто мне б. послан Богом, чтобы “научить и вразумить”...

Так и “произошло” все... 1½ месяца б. “импотентен”, ½ импотентен, “чуть-чуть”, “наконец – да”.

Забеременела.

Ужасы. Мать ее мне давно сказала: “Мне – на всякий случай говорю вам, это дело минут – легче живой лечь в землю, чем увидеть свою дочь павшей”.

“Известно – провинция”.

Ужас... Произошел выкидыш. На “ходу” и все течение его провела “на ногах”.

Деверь (брат мужа) ее и говорит:

– Да я Вас с В. В. обвенчаю...

При отце своем, старом “консистерского типа” и “величавом” протоиерее!..

– Как же, когда он женат? (он).

– Да вы, папаша, помните канонический закон: священнику нужно знать одно, по свободному ли желанию вступают в брак венчающиеся? А все остальное государственные прибавки и требования, до которых

священнику нет дела.

– Так-то так...

– Ну, и очень просто. В. В. уплатит мне 1000 руб., и я обвенчаю в моей Калабинской церкви (приют, летом – “все пусто и заперто”). А венцы возьму из вашей церкви и заранее, под рясой, пронесу туда.

Огромный. Саженный. Любовник красивых прихожанок. Хохочут. Весельчак, “душа парень”, жил – “при благосклонном сочувствии мужа” – с женой купца, и (как потом открылось) на глазах жены, испуганной и молчаливой, и купца-мужа – устраивал с нею (женой купца) оргии.

Любим “всем городом”. Умен и так остроумен. “А уж смелости...”...

Варя прибегает к матери: “Вот что Иван Павлович сказал”.

Мать на неделю слегла. Смущение, недоумение. Нерешительность.

Пошла к от. Ивану (“высокий седой священник” – мною описанный в конце “Легенды об Инквизиторе” Достоевского) и все “сказала на духу” и спросила совета... А Ив. Павл. ему – дальний родственник. Задумался. Молчал.

– Все бы ничего... Да зачем эта 1000 р. тут примешалась.

Она:

– Такое большое дело. И страх. И это – просто как укрепление в силах. Дал благословение.

А уже вечером Ив. Пав. ко мне приходит. Спокойный. Твердый. Хоть бы крупинка страха в глазах:

– Я вас повенчаю. Записей не будет. Только сверх 1000 условие: немедленно переводитесь в другой город (служба) и уезжайте. Уедите – и забудут. Без этого – толки. Что, как? И может раскрыться.

– В “непостный день” (соблюл это) гуляйте в городском саду. Я к вам выйду. И пойду с вами как бы показать мою церковь. Запремся. И я обвенчаю.

Мать (ее) ему:

– Только Вы, И. П., *не молебен* им справьте, а чтобы полное венчание. Смеется.

Гуляем. Яркий майский день, 12 ч. Смотрит из окна. Улыбается. Выходит. Ведет. Спросил у сторожа ключи. Мы ни живы, ни мертвы. Я в сюртуке (при “параде”), она в белом платье. Вся невинная и торжественная. Глубоко серьезная. Несет сторож ключи. Отворяются двери. И он – так медленно и гремя запирает их. Я с ним (“из вежливости”): оборачиваемся – стоит моя Варя на коленях перед иконой (в “сенцах” церкви) и так горячо, со слезами (у нее не глаза, а *все лицо* плачет)... На движения наши встала, вся великая и покойная...

Зажег он все свечи. Все ничуть не торопясь. “Теплота” приготовлена. До сих пор не помню, кто “держал венцы”... Все вообще как сон и замороженность.

“Ну теперь выпейте теплоты”...

Сам читал, произносил и пел, за “попа, дьякона и дьячка”.

И сказал, кончив с амвона:

– Вы знаете, что жена ваша ничего от вас не имеет. Вся крепость ее – только в вашей душе. Сберегите ее...

Немного больше, сложнее. Хорошо сказал – и было это “настоящее”. Варю он как и “протоиерей” – отец и все “их родства круг” – любили и уважали и “желали всего доброго”. Вообще она удивительна по пробуждению *всех* доброты к себе: как сама и “плачет о мире”.

И вышли. И запер церковь. На всю жизнь я ему благодарен, и никогда не судил “ни за что” и вот только невестка его – года 3 назад – рассказала об “оргиях”.

А так – “весел и любил”.

Скушал редиску после тифа и умер, года через 3 после венчания. *Отнюдь* не думаю, что “наказание Божие”: и вообще что наш брак “должен быть” – это для меня, “нерушимая стена” веры.

Брак этот мне все открыл. Всему научился. Варя стала для меня “книгой закона”».

Было ли все именно так на самом деле и можно ли верить Розанову даже в письмах, если сегодня он говорит одно, а завтра другое? Однако в данном случае важно то, что В. В. написал это свертоткровенное даже для него письмо («Документ»!) в один из самых ужасных, беспросветных периодов своей жизни, эту жизнь переломивших – в сентябре 1910 года, вскоре после того как Варвару Дмитриевну разбил паралич. Внутреннее состояние его в те дни было кошмарное, истерзанное, что, впрочем, не мешало ему при всей своей пронзительности и боли оставаться порозановски болтливым и чутким к интимным подробностям, и все равно эта история в духе платоновской «Реки Потудани» в каком-то смысле не просто не порочит, а, напротив, преображает и возвышает главную участницу провинциальной семейной драмы конца позапрошлого века – Варвару Дмитриевну Бутягину, урожденную Рудневу, и ее окружение.

Религиозная женщина, которая «пала» для того, чтобы спасти своего возлюбленного от ужаса «импотенции», ее благочестивейшая, якобы ничего не ведающая, а на самом деле наверняка обо всем догадывающаяся и беспокоящаяся не токмо о духовном спасении, но и о житейском будущем дочери и внучки (пусть хоть такая будет у них защита!), изболевшаяся

сердцем, вынужденная пойти против Амвросия мать, благоразумный левит, который не стал запрещать тайное венчание, выбрав из всех зол наименьшее, и другой, возможно, менее достойный священник, который, в сущности, попросту нажился на чужой беде («Когда принимал от В. В. деньги, руки у него ходенем ходили», – сокрушенно рассказывала Варвара Дмитриевна много лет спустя С. Н. Дурылину), но все равно оставил в душе Розанова благодарный след по контрасту с бессердечными церковными законами^[20]. Однако дело не только в этом, но еще и в том, что немислимое, возмутительное соединение религии и пола, которое нашему герою часто ставили и продолжают ставить в укор, нашло в этом сюжете самое непосредственное, живое воплощение, особенно если иметь в виду, что слово «воплощение» и происходит от слова «плоть».

Вытащить из Белого

Если Брянск и Елец города известные, то затерянный в Смоленской губернии (а ныне находящийся на западе Тверской области) Белый не всякий на карте укажет. Даже учитель географии, ставший к тому моменту коллежским советником. «Вы не можете себе представить, что такое г. Белый, – описывал свое новое местожительство Розанов. – Это две пересекающиеся друг друга улицы, обе уходящие в поле. Куда бы Вы ни пошли, поле не исчезает из виду, т. е. оно видно через полуразрушенные заборы сбоку. Весной концы улиц затопляются; постоянные ветры, почему-то сквозные, и мы с женой уже оставили попытки гулять, ибо не было почти ни одного раза, чтобы на другой день не были простужены, с головной болью. В течение вот уже месяца грязь стоит такая, что в церковь, за несколько шагов, приходится ездить, а идя – буквально утопаешь, несмотря на глубокие резиновые калоши. Кругом лес; сам город стоит в яме между небольшими возвышенностями. Жителей 6000. 3 церкви, из коих одна при Духовном училище. И в этой деревне – громадная, 2-х этажная прогимназия».

В Белом он ощущал себя по-розановски. С одной стороны, жил с любимой женщиной и еще больше, чем раньше, писал, публиковался, делая себе имя, с другой – был вынужден заниматься тем, что за десять лет надоело ему до дрожи, и сил на эту работу больше не оставалось. «Лично я живу очень счастливо; очень любим и люблю; пишу и не чувствую усталости; уроками, правда, скучаю – но нужно же было мне при довольно отвлеченном складе души, при глазах, вечно закрытых на конкретное, – выбрать такие предметы, как историю и географию, где и нет ничего, кроме конкретного. Это несчастье в избрании профессии; к счастью – она не одна у меня», – докладывал он Страхову.

Чрезвычайно яркое воспоминание о Розанове-учителе Бельской гимназии и его конкретной географии оставил один из его учеников, некто Владимир Оболянинов, который впоследствии эмигрировал в Америку и уже в 60-е годы XX века прислал письмо в редакцию американского русскоязычного «Нового журнала»:

«В девяностых годах прошлого века я жил в городе Белом быв[шей] Смоленской губернии, и в 1891 и 92 гг. состоял учеником первого класса местной шестиклассной прогимназии. Преподавателем географии у нас был Василий Васильевич Розанов... Среднего роста, рыжий, с всегда

красным, как из бани лицом, с припухшим носом картошкой, близорукими глазами, с воспаленными веками за стеклами очков, козлиной бородкой и чувственными красными и всегда влажными губами он отнюдь своей внешностью не располагал к себе. Мы же, его ученики, ненавидели его лютой ненавистью, и все, как один... свою ненависть к преподавателю мы переносили и на преподаваемый им предмет. Как он преподавал? Обычно он заставлял читать новый урок кого-либо из учеников по учебнику Янчина “от сих до сих” без каких-либо дополнений, разъяснений, а при спросе гонял по всему пройденному курсу, выискивая, чего не знает ученик. Спрашивал он по немой карте, стараясь сбить ученика. Например, он спрашивал: “Покажи, где Вандименова земля?”, а затем, немного погодя – “А где Тасмания? Что такое Гавай? А теперь покажи Сандвичевы острова”. Одним словом, ловил учеников на предметах, носящих двойные названия, из которых одно обычно упоминалось лишь в примечании. А когда он свирепел, что уж раз за часовой урок обязательно было, он требовал точно указать границу между Азией и Европой, между прочим, сам ни разу этой границы нам не показав. Конечно, ученик... начинал путать, и мы уже заранее знали, что раз дело дошло до границы между Азией и Европой, то единица товарищу обеспечена. Но вся беда еще не в этом. Когда ученик отвечал, стоя перед партой, Вас. Вас. подходил к нему вплотную, обнимал за шею и брал за мочку его ухо и пока тот отвечал, все время крутил ее, а когда ученик ошибался, то больно дергал. Если ученик отвечал с места, то он садился на его место на парте, а отвечающего ставил у себя между ногами и все время сжимал ими ученика и больно щипал, если тот ошибался. Если ученик читал выбранный им урок, сидя на своем месте, Вас. Вас. подходил к нему сзади и пером больно колол его в шею, когда он ошибался. Если ученик протестовал и хныкал, то Вас. Вас. колол его еще больней. От этих уколов у некоторых учеников на всю жизнь сохранилась чернильная татуировка. Иногда во время чтения нового урока... Вас. Вас. отходил к кафедре, глубоко засовывал обе руки в карман брюк, а затем начинал производить [ими] какие-то манипуляции. Кто-нибудь из учеников замечал это и фыркал, и тут-то начиналось, как мы называли, избивание младенцев. Вас. Вас. свирепел, хватал первого попавшего... и тащил к карте. – “Где граница Азии и Европы? Не так! Давай дневник!” И в дневнике – жирная единица. – “Укажи ты! Не так!”^[21] – И вторая единица, и тут уж нашими “колами” можно было городить целый забор. Любимыми его учениками, то есть, теми, на которых он больше всего обращал внимание и мучил их, были чистенькие мальчишки. На двух неряшливых бедняков из простых и на одного бывшего среди нас еврея он не обращал

внимания... Мы, малыши, конечно совершенно не понимали, что творится с Вас. Вас. на наших уроках, но боялись его и ненавидели. Но позже, много лет спустя, я невольно ставил себе вопрос, как можно было допускать в школу такого человека с явно садистическими наклонностями?.. О том, что он был женат на любовнице Достоевского Аполлинарии Сусловой, бывшей старше Розанова на 16 лет, я узнал позже, в девяностых годах она уже его оставила и в г. Белом ее не было».

Никаких оснований доверять одиночному мемуару вроде бы нет. Однако если сопоставить его с тем, как вспоминал Розанов в своем дневнике и изобразил в «Кашеевой цепи» Михаил Пришвин (получивший неудовлетворительную оценку за то, что не знал, где находится остров Цейлон), если вспомнить слова самого учителя географии про «идти в класс, чтобы мучить и мучиться», то картина складывается довольно убедительная. И даже та подробность, что Розанов любил дергать нерадивых учеников за ухо, странным образом соотносится с его собственными строками из письма Страхову, когда он вспоминал свою учебу в Нижегородской гимназии: «Я уже сидел на новых партах, с подвижными спинками, с аккуратными преподавателями, которые боялись не только нас за ухо взять, но и сказать “ты”».

Из всего этого следует, что сам Василий Васильевич как учитель не боялся ничего, будучи представителем, так сказать, старой, неаккуратной школы с неподвижной спинкой, не возбраняющей учителям тыкать и таскать учеников за ухо, и в конечном итоге в городе Белом, где «волки разорвали свинью между собором и клубом», географ наш педагогически выгорел и свой глобус пропил. Результатом его педагогической деятельности стала статья «Сумерки просвещения», которую Розанов впоследствии назовет «великим отмщением за гимназистов» и в которой с позиций «консервативного романтизма», как определил розановский метод известный либеральный публицист П. Б. Струве, разбомбил систему среднего образования в Российской империи.

«За “Сумерки просвещения” меня могли как угодно *наказать* в министерстве, и если ничего не сделали, то лишь потому, что мое “теперешнее положение” – учительство около свиней и волков – представляло собою то естественное наказание, больше которого не было в руках округа. Хуже было (и *возможно* для округа) вовсе “исключить из службы”: но тогда естественно и понятно для округа я перешел бы всецело к литературной деятельности, и в округе отлично знали, что “тягостнее будет посидеть в Белом”».

Впрочем, стоит заметить, что мнение начальства разделилось. «К. П.

Победоносцев прочел Ваши “Сумерки просвещения» и отдает полную справедливость верности и глубине мыслей, выраженных в этой статье, – писал Розанову его новый знакомый Сергей Александрович Рачинский. – Но он справедливо осуждает причудливость и темноту Вашего слога... Нужно, нужно вытащить Вас из Белого! Эти недостатки слога, очевидно, плод Вашего полного одиночества. Мысли, не находящие никогда случая выразиться устно, не созревают до письменной формы, всем доступной...»

Русская партия

Нет сомнения, что Розанов весьма сочувственно читал эти строки, но все же к полному переходу на творческую работу был не готов. Журналистская деятельность не приносила достаточного дохода, и если бы его уволили со службы с «волчьим билетом», трудно сказать, как бы он стал выживать. Тем более что в эти же годы произошло еще одно очень важное событие в жизни бельского педагога, о чем он доложил своему литературному опекуну: «Из своих новостей скажу серьезную и смешную: первая – у нас дочь Надя, кой $\frac{1}{2}$ года и коя оживляет и радует всю нашу семью. Никогда не мог понять, как можно мысли о людях или мечты о них предпочитать настоящим людям? иначе как можно ценить, уважать и любить искусство и публицистику <больше>, чем свою семью. Мне кажется это преступлением. Еще недавно, нося Надю, закинув через плечо, я думал: до какой же отдаленности от жизни нужно было дойти гг. литераторам, чтобы *измену идее* считать преступлением, а *измену семье, о ней беззаботность* – считать обыкновенным. А по-моему, можно изменять всяким идеям, но не изменяй живым людям. Вот я без должности, грозит голод жене и малютке дочери, которые, знаю, любят меня иначе, чем франко-германо-английские публицисты. У меня – “легкое перо”; мне предлагают участие в журнале, кой я презираю, идеи его считаю вздором. Чему изменить: своей прежней деятельности или семье: о, без всякого сомнения – печатному хламу. Ведь очень честный муж должен же пойти с шарманкой, положим, без всякого сознания ее пользы и служения через нее чему-нибудь; и если в литературе он ее вертел налево – отчего ему вдруг не начать вертеть направо, с мыслью, что вся эта дребедень через 10 лет забудется; а голод малютки и жены – да каких! это никак не забудется. – Кто знал нужду и любит конкретного человека – иначе рассуждать не может. Это я когда-нибудь разовью печатно: подлецы, сколько издевались над мольбой “жена – дети; не гоните со службы”. А ведь это самый человеческий крик; ведь разным Акакиям Акакиевичам только это из человеческого и оставалось, вернее – оставлено было; и вот надо же вырвать это последнее: пускай гусиное перо только скребет, и больше ничего – это нужно нам, а его там отеческие потроха – это нам не нужно. Нужно быть очень тупым, чтобы не питать некоторой доли сильнейшего неуважения к литературе. Нет, это слишком резиновые мозги. Хорошо делал Дост., что почти всегда описывал литераторов жуликами и

проходимцами; они таковы и есть – в значительной степени».

В эти строках, адресованных опять же сурьезному, до мозга костей преданному литературе Страхову, весь будущий Розанов, которого станут упрекать за беспринципность, безыдейность, аморализм, продажность, сотрудничество с изданиями разных политических направлений. Здесь все его еще не написанные «опавшие листья» с их подчеркнутым презрением к литературе и литераторам и декларацией первенства частной жизни перед общественной, и, похоже, это произвело впечатление даже на получателя письма. Николай Николаевич пожурил в ответ своего подопечного очень ласково и даже как-то растерянно, не зная, что возразить.

Впрочем, из Белого все равно нужно было под любым предлогом бежать, но тут Розанов получил письмо от «лучшего литературного критика 90-х годов», как он сам позднее его аттестовал, Юрия Николаевича Говорухи-Отрока. «Что касается до Вашего желания променять учительство на журналистику, то заклинаю Вас всеми святыми, не предпринимайте в этом направлении никакого решительного шага, не повидавшись со мной и не посоветовавшись с Н. Н. Страховым. Вы можете совершенно и на всю жизнь погубить себя. Нужна чрезмерная нравственная и умственная выносливость, кошачья живучесть, чтобы, сделавшись журналистом, не обратиться в журнального *смерда*, не погубить окончательно своего дарования. И вот что я Вам скажу: я зарабатываю журналистикой от 5 до 6 тысяч в год, но если бы мне предложили место учителя в уездном городе на 2 тысячи жалованья, – я сейчас же и охотно бросил бы журналистику. Я не перестал бы писать, конечно, но бросил бы, чтобы избавиться от обязательного писания. А Вы, сколько я могу судить, человек далеко невыносливый и поэтому для Вас журналистика была бы чистою гибелью».

Розанов, однако, этим увещаниям не внял. «Непременно нынешний же год брошу Белый: помилуйте – в здешней аптеке хина не горька и капли Иноземцева – производят расстройство желудка. Это важнее, чем отказ “Моск. Вед.” печатать мои фельетоны», – писал он Страхову, и вот, кстати, еще один подступ к знаменитой вольной розановской эссеистике.

Но все же работу в гимназии он бросил не наобум. Василию Васильевичу помогла в его дальнейшем трудоустройстве «русская партия». То есть, конечно, она так не называлась и не была вообще никоим образом ни оформлена, ни зарегистрирована, да и сам Розанов позднее против этого названия выступал, ссылаясь на «Дневник писателя» Достоевского^[22]. И тем не менее были в Российской империи влиятельные консервативные круги, наследники славянофилов, поздние славянофилы, ревнители

традиционных ценностей, которые вошли в силу в царствование Александра Третьего и принимали нашего учителя за своего. А неформальным местным представителем и предводителем этой партии в Смоленской губернии был Сергей Александрович Рачинский, который и сообщил Розанову об интересе Победоносцева к его статье, а самому Константину Петровичу написал: «Еще забота – у меня завелось новое дите. Это В. В. Розанов, статьи коего в “Русском вестнике” Вам, конечно, известны, и толстую книгу коего (“О понимании”) вы, конечно, не читали. Человек он прекрасный, искренне благочестивый и церковный, и притом писатель положительно талантливый. Учительствует он в Бельской прогимназии и учительством тяготеет».

Ставший фактически вторым – ну или, если считать Суслову, – третьим розановским опекуном (тут стоит заметить, что роль Страхова как наставника в жизни Розанова стала постепенно угасать, да и сам Николай Николаевич не мог либо не хотел своему ученику помогать в делах житейских или же – чего нельзя исключить – обиделся на то, что Розанов не воспользовался его помощью при переводе из Ельца), Рачинский был личностью воистину замечательной. Есть огромная несправедливость в том, что имя этого человека, профессора Московского университета, вышедшего в отставку и уехавшего в середине семидесятых годов XIX века в Смоленскую губернию заниматься народным образованием, сумевшего создать там несколько образцовых сельских школ, переводчика Дарвина, корреспондента и оппонента Льва Толстого, просветителя и благотворителя (он потратил в 1889–1897 годах на строительство школ в Бельском уезде 100 тысяч рублей собственных средств, и было это в 13 раз больше, чем израсходовало на них земство, и в 32 раза больше – чем Министерство народного просвещения), мало кому сегодня известно, а если и упоминается, то чаще всего в связи с личностью его протеже. Именно он с его обширнейшими столичными знакомствами, известный благодаря своему подвижничеству даже в царском дворце и отмеченный монаршими наградами, стал проводником В. В. в «высший свет», а точнее – в чиновничий Петербург. И это, конечно, факт поразительный, как в смоленской глуши, среди непроходимых лесов и болот, наш герой встретил столь влиятельного человека и нащупал дорожку, по которой ему было суждено прийти к литературной победе.

Перед учителем двухэтажной прогимназии лежало два пути наверх – прямой и нет. Первый – связанный с Победоносцевым и возможной службой в Синоде. «Характер Розанова представляется симпатичным, и мне хотелось бы пристроить его к себе», – писал обер-прокурор С. А.

Рачинскому, но что-то не сложилось, в том числе из-за расхождений стилистических. «Какая жалость: слог невозможный», – отозвался о будущем лучшем стилисте Серебряного века Победоносцев. И тогда Розанову пришлось пойти вторым путем. Его покровителем в Петербурге сделался другой, чуть менее крупный столичный чиновник, но тоже церковник и даже православный богослов, один из инициаторов создания Императорского Палестинского и Географического обществ, почетный член Петербургской академии наук, поклонник хорового пения, игры в городки и страстный собиратель фольклора, а также молодых российских талантов.

«Вашею литературною деятельностью сильно заинтересован Третий Иванович Филиппов, – сообщал Розанову Рачинский. – Он хотел бы перетащить вас в Петербург, дать вам более или менее фиктивную, но хорошо оплаченную должность в своем ведомстве, и притом сделать из вас своего литературного сотрудника по вопросам церковно-государственным. Мне поручено на счет этого плана зондировать почву, т. е. вас... Скажу вам прямо, что этого благополучия я для вас не желаю. Третий Иванович действует путями не всегда прямыми. Самолюбия он безмерного. Самостоятельной мысли в подчиненных он не терпит...»

При этом в оригинале (неотредактированном при публикации) фраза про пути звучала так: «Третий Иванович действует путями кривыми и темными, его тайный орган – “Гражданин”». Последнее было намеком на одну из самых консервативных русских газет, презираемую даже консерваторами, и на ее издателя – князя Мещерского, известного своими нетрадиционными сексуальными предпочтениями.

Однако Розанову выбирать не приходилось, ему не терпелось вырваться из педагогического плена, а к содомии он всегда относился снисходительно, и так, после одиннадцати лет рабства учительского началось шестилетнее рабство чиновничье. Но зато в Петербурге. И, конечно, не для того, чтобы сделать бюрократическую карьеру, а чтобы – как писал Розанов впоследствии: «я этих петербуржцев научу, научу, научу, переучу...».

Чужой среди своих

«В приемной кабинета Т. И. Ф-ва я ходил взад и вперед с час, – и как сейчас помню (“всегда мысль не о том, что к *сейчас относится*”) пытливо и страстно размышлял, отчего *тело погребенного фараона* клалось приблизительно на высоте $7 [1/3]$ – считая снизу – пирамиды (общей высоты ее), и так как камера с телом была собственно “вписана в треугольник”, – если представлять пирамиду в разрезе, – то из каких именно египетских идей все это могло вытечь? из каких тенденций мысли? из каких вкусов? Как вдруг высокая дверь отворилась, – и ко мне медленно и маленькими, усталыми шажками стал подходить человек невероятно большого объема. Подняв глаза, я уже знал, что это Филиппов. Вид его был благ, мягок, добр; и седые волосы по-русски были расчесаны на две стороны, – пробором по середине, по-крестьянски. Я все смотрел. Когда, подойдя ко мне и ничего не сказав, он нагнулся и, трижды поцеловав, сказал: “Еще отдания Пасхи не было” (т. е. “христосуются”). Я ничего не сказал. Он вздохнул. И что-то сказал. Что – я не помню. В “сию неизъяснимую минуту” и возникла та антипатия между нами, отчета в которой я никогда не мог себе отдать, но которая заключалась в “терпеть не могу” с обеих сторон. Жизнь – в шутках, улыбках, остроумии; жизнь во всяком случае – в движении; здесь же – в тихой приемной (никого не было) и особенно в тихо склонившейся ко мне фигуре я увидел или почувствовал такое отрицание движения, такое до *преисподней* доходящее запрещение шутить, говорить и двигаться, что почувствовал, что я умираю, и точно сделал движение – выскочил из могилы. “Выскочить из могилы”, должно быть, он и прочел на моем лице; и, очевидно, в душе его шевельнулось: “А, так вот как...” И с тех пор началось мое закапывание...»

Так писал В. В. позднее, когда его мучителя давно не было в живых, в «Опавших листьях». Розанову, как уже говорилось, трудно верить и еще труднее не верить, так одновременно он субъективен и убедителен. Однако, во-первых, ничего предосудительного Третий Иванович не сделал – хотел лишь похристосоваться с человеком, которого считал своим единомышленником, и не был виноват, что простодушно ошибся. А во-вторых, если взглянуть на Т. И. Филиппова другими глазами, если прочитать его переписку с Достоевским, Леонтьевым, Майковым, да даже с Победоносцевым (с которым они, правда, друг друга терпеть не могли), если вспомнить его роль в судьбе Аполлона Григорьева, которого он

пригласил в редакцию «Москвитянина», помочь Мусоргскому, если вникнуть в суть его разногласий с Аксаковым и Катковым, в его позицию по болгарскому вопросу, отношение к старообрядчеству, то перед нами возникнет совсем другой образ. Даже Татьяна Васильевна Розанова признавала в мемуарах, что ее отец «часто был несправедлив к Третью Ивановичу, которого многие хвалили за его широкие литературные интересы и за его доброжелательное отношение к подчиненным».

Конечно, он не был идеальным государственным мужем. Этого человека сегодня опять же мало кто кроме специалистов по истории помнит, а Розанов его, можно сказать, навсегда изничтожил, сделав своего рода историческим изгнанником, но между тем именно Третьий Иванович написал год спустя после кончины розановского кумира Константина Леонтьева: «Зато он не лишен был истинных и трогательных перед кончиною утешений в любви и глубоком уважении своих юных последователей, в восторженной оценке В. В. Розанова...»

Помимо этого о Филиппове в письмах к В. В. очень высоко отзывался и сам Константин Николаевич: «Вы не знаете, что значил для меня этот человек в течение 10 и более лет. Только у Филиппова я уже с начала 70-х годов видел и ясное понимание моих целей, и горячее, твердое, деятельное участие».

«Если Т. И. Филиппов читал Ваши статьи и очень хорошего о них мнения, то вот Вам покровитель, который может Вас совершенно устроить. Он великий любитель литературы и постоянно благотворит писателям», – сообщал своему подопечному Страхов.

Наконец и сам Розанов в марте 1893 года, накануне отъезда из Белого, отправил Третью Ивановичу письмо, в котором выражал «искреннее и глубокое уважение» к мыслям своего будущего покровителя и фактически изливал ему душу: «...Не буду неискренен и скажу прямо, что той верности собственного душевного строя исторически-установившейся Церкви, какой желал бы я очень, очень глубоко – у меня еще нет, она не достигнута. Через воспитание, в течение долгих годов учения – мы отходим от Церкви; но когда в зрелом возрасте пытаемся возвратиться к ней – путь слишком длинен, чтобы его быстро пройти; однако дойти до желанной цели я не теряю надежды, ибо “стучащим отверзется”. Пока же, на этом длинном возвратном пути, сколько есть во мне сил и умения, стараюсь будить во всем нашем обществе, столь совершенно атеистическом, это течение к закрытой для него двери; сколько Бог даст мне выполнить – это будет видно в будущем.

С какою благодарностью читал я в письме Вашем одобрение моих

трудов – не буду говорить, Вы это поймете без слов. А я-то трудился, ожидая и для себя со временем участи Константина Николаевича, с простою радостью выразить то, что занимало мой ум и тяготило сердце. Есть великая отрада в этом труде, незаменимая, ни с чем не сравнимая; но видеть, что и там, вдали, этот труд признается, что мысли, вот здесь зародившиеся, проходят через чью-то далекую мысль и тревожат чужое сердце, – это награда, которая могла быть заслужена лишь гораздо более продолжительным трудом, чем мой. Слова же Ваши “о времени, когда божественный дар слова ценился как святыня” – я приму как завет, и предостережение, и указание. Думаю, что если не несчастье какое-нибудь в жизни, сумею и смогу сохранить его.

С истинным и глубоким уважением
остаюсь В. Розанов»^[23].

Ну и как было Третью с таким почтительным и деликатным человеком не похристосоваться?

Письмо это любопытно еще и потому, что в нем Розанов презрительно отозвался о двух издателях, один из которых впоследствии станет его настоящим, безо всяких скидок спасителем и благодетелем, а второй – с ним у него, правда, никаких отношений не сложится – известен в истории русской литературы тем, что именно он основал в 1890 году серию «Жизнь замечательных людей». «...эта настойчивость и умелость как-то досталась в удел людям, во всех отношениях ничтожным, Суворину, Павленкову и пр., которые засыпают Россию своими изданиями».

Так что все вышесказанное про розановское «красное словцо» не только к Филиппову относится, но и ко многим, кого острый на язык, раздражительный В. В. навсегда сразил, срезал, припечатал в переписке ли, в «Опавших листьях», в критике, публицистике. Однако если Карамзину, Грибоедову, Гоголю, Салтыкову-Щедрину, Чехову, да даже и Герцену с Белинским, Добролюбовым, Писаревым и Чернышевским от розановских резких оценок и высказываний не убудет, как не убудет от них Владимиру Соловьеву или Гиппиус с Мережковским, то с деятелями «меньшего калибра» (с тем же Рачинским, например) ситуация более сложная. А что касается Третья Иванова, то он к своему подчиненному оказался чересчур строг как раз потому, что быстро прозрел: не того приютил, не тому помог. Не стал новый петербургский чиновник правоверным членом консервативной русской логи, не сделался «объединяющим центром и надежным руководителем и вдохновителем нашей осиротевшей после смерти Леонтьева молодой семьи», чего от него ожидали, а – сбежал, переметнулся на сторону противоположную, и на то у В. В. были свои

личные причины...

Город пышный, город бедный

«Петербург меня только измучил и, может быть, развратил», – признавал позднее Розанов, но порядок действий при этом был именно таким: сначала измучил, потом все остальное.

Он поселился с женой на Петербургской стороне, на Павловской улице. По тогдашним меркам это была почти окраина города (Зинаида Гиппиус потом вспомнит «дощатые тротуары глухой Петербургской стороны»). Осенью 1893 года умерла от менингита Надя, о которой ее отец писал Страхову.

«Первая Надя была удивительна, – вспоминал В. В. много лет спустя в «Последних листьях». – По дням она была дремлива и сияла ночью. Но и днем: у нее были огромные или, вернее, огромно раскрываемые темные глаза, в высокой степени осмысленные, разумные. И она смотрела ими перед собой. Раз мама пришла и сказала: “Вообрази: какой-то генерал встретился и сказал: Извините, что это за ребенок: у него такие глаза”. А ночью я ее ставил на зеленый стол (письменный) перед лампой. И чуть цепляясь пальчиками ног за сукно (я ее держал в руках, ей было 7–8–9 месяцев), она вся сияла, горела нездешним разумом. И улыбалась нам с мамой. Или уходил (неся) в боковушку. С улицы горел фонарь, газ, я ставил ее на подоконник. И вот она четверть, половину часа не отрывая глаз смотрела на волнующееся пламя. Как мотылек. И как мотылек сгорела в каком-то внутреннем пламени».

Татьяна Васильевна Розанова цитирует в своих воспоминаниях нравоучительный автограф Розанова на фотокарточке, где сняты вдвоем тридцатисемилетний счастливый отец и восьмимесячная крошка на руках.

«Дорогой моей Наде, когда она будет большая, любящий отец 22 июля 1893 года.

С. Петербург, Петербургская сторона, Павловская улица, дом 2. Кв. 1 В. Розанов.

Заповеди же ей

1. Помни мать. 2. Поминай в молитвах отца мать. 3. Никого не обижай на словах и паче делом. 4. Поминай в молитвах бабушку Александру, которая приехала к твоим родам и выучила тебя аукать и подавать ручки. 5. Помни сестру Александру и тетку Павлу, которые любили с тобой возиться и играть и баловать тебя. 6. Береги свое здоровье. 7. Ума будь острого, учености посредственной, сердца доброго и простого. 8. Ничего нет хуже

хитрости и непрямотушия, такой человек никогда не бывает счастлив.

Ну прощай, 11 ч. ночи, писать пора.

Мама твоя читает “Петербургский листок”. Все мы счастливы; что-то будет потом.

Еще раз твой любящий отец

Василий

Все говорят, что ты и я сняты тут точь-в-точь похожи, и что ты всегда бываешь такая, когда я держу тебя на руках (люблю с тобой обедать и чай пить).

Это написал тебе на память, если буду жить или умру».

Умерла она, не дожив до годика, и девочку похоронили на Смоленском кладбище близ могилы Ксении Петербургской, а у Розанова началась никакая не фиктивная, как ему было обещано, но самая настоящая чиновничья жизнь в Госконтроле (аналог современной Счетной палаты – контроль за госзакупками, борьба с коррупцией и т. д.), скудная, трудная, кропотливая, для которой он годился немногим больше, чем для преподавания. «В голове стучат шурупы с полукруглыми головками, плоское и круглое железо, шпингалеты и все прочее, что приобретает Главное Общество Российских железных дорог и на чем ворует, а я предполагаюсь в роли его учителя и поимщика; но я никогда не мог уличить кухарку в воровстве говядины, – как же уличу Главное общество в воровстве шурупов?»

Впрочем, его новый начальник полагал, что этот радостный стук может оказаться для молодого писателя весьма и весьма полезным, ибо «сообщит точность его суждениям и выражению мыслей, в чем он более всего нуждается», а также «даст ему возможность сократить размеры собственно писательского труда к несомненному улучшению его качества». Но Розанов был слишком независим и горд, чтобы позволить кому-либо рассуждать и о качестве, и о количестве своего письма.

К тому же он уже тогда считался восходящей звездой, о чем знал даже граф Лев Николаевич Толстой, коему Страхов писал 29 июня 1893 года из Эмса, не вникая в «терки» своего подопечного с Филипповым: «Потом, перед отъездом из Петербурга, меня очень занимала “колония славянофилов”, которую я открыл на Петербургской стороне. Т. И. Филиппов, Госуд[арственный] Контролер и известный ревнитель православия, набрал к себе в Контроль целую толпу писателей. 1. Аф. В. Васильев, 2. Каблиц, 3. Т. Соловьев, 4. Н. Аксаков, 5. Романов, 6. В. В. Розанов. О последнем Вы кое-что знаете, и он-то, перебравшись недавно в Петербург, свел меня с некоторыми из них. Какие умные, чистосердечные и

скромные люди! Розанов во всех этих отношениях – звезда между ними. Мне придется, кажется, больше всего внушать им всякое вольнодумство: они почти все с таким же жаром отдаются консерватизму, с каким когда-то нигилисты бросались в нигилизм. Во всяком случае, кружок мой заметно изменился и оживился. Розанов – удивительное милое существо».

«Я был какая-то “начинающая знаменитость из провинции”, – подтверждал свою репутацию и сам В. В., делая, однако, акцент на делах денежных, – и вот, после “нехорошей встречи” с Тertiем (сразу оба не понравились друг другу, необъяснимо – почему) началось “спускание меня по государственной службе”, где кусательную сторону составляло конечно жалование: после 150 р. в Белом, где я за квартиру в 8 комнат платил 25 р., я получил “прикомандированный к Афоньке” – 100 р., с квартирой в 37 р. из 4 комнатухек “во двор”. Ну, и провизия – уже не как в Белом, где пара “рябцов” (рябчики) неизменно стоила 30 коп., т. е. 15 к. рябчик, и говядина – 10 к. “черкасская”, и молоко – латышка Штэкмо носила – почти даром. А жалование убавилось на 50 р.».

«Была в доме бедность. Такая невидная, чистенькая бедность, недостача, стеснение. Розанов тогда служил в контроле. И сразу понималось, что это нелепость», – вспоминала Зинаида Гиппиус.

Особенно остро эту нехватку ощущала хозяйка дома, но никогда не роптала, мужа ни в чем не обвиняла, терпеливо неся свой крест (и при этом наверняка не раз поминала одну тысячу рублей, взятых с ее мужа за по сути бесполезное венчание в Ельце). «Перед праздником, – с горечью вспоминала В. Д., – прибегает девочка дворника; если не заплатите за квартиру, дров не принесем! а у нас нет ничего, Вася в Контроле служил».

Он не ошибся в жене. Аполлинару бы так, скорей всего, не смогла и принялась бы изводить мужа бесконечными жалобами и называть в очередной раз ничтожеством. А Варя...

«И она, пока я считал в Контроле, сносила все в ломбард, что было возможно. И все – не хватало. Из острых минут помню следующее. Я отправился к Страхову, – но пока еще не дошел до конки, видел лошадей, которых извозчики старательно укутывали попонами и чем-то похожим на ковры. Вид *толстой ковровой* ткани, явно *тепло укутывавшей* лошадь, произвел на меня впечатление. Зима действительно была *нестерпимо* студеная. Между тем каждое утро, отправляясь в Контроль, я на углу Павловской прощался с женой, я – направо в Контроль, она – налево в зеленую и мясную лавку. И *зрительно* было это: она – в меховой, но *короткой, до колен*, кофте. И вот увидев этих “холено” закутываемых лошадей, у меня пронеслось в мысли: “Лошадь извозчик теплее укутывает,

чем я свою В..... такую нежную, никогда не жалующуюся, никогда ничего не просящую». Это сравнение судьбы лошади и женщины и судьбы извозчика и “все-таки философа” (“О понимании”) переполнило меня в силу возможно гневной (т. е. она *может* быть гневной, хотя вообще не гневна) души таким гневом “на все”, “все равно – на что”, – что... можно поставить только многоточие. Все статьи тех лет и, может быть, письма тех лет и были написаны под давлением единственно этого пробужденного гнева, – очень мало, в сущности, относимого к тем предметам, темам, лицам, о которых или против которых я писал». И в другом месте: «Я считаю все эти годы в *литературном отношении* испорченными».

Едва ли это была справедливая оценка, он становился все известнее, и его позиция вырисовывалась все отчетливее. В том числе общественно-политическая, близкая к революционности, но не социалистической, не левой, а, напротив, ультраконсервативной, ультрамонархической и при этом действительно очень эмоциональной, гневной, возмущенной, уже тогда провокационной. «Отец был спокойно-консервативно настроенный человек», – вспоминала Т. В. Розанова, однако согласиться со словом *спокойно* в этом суждении едва ли возможно. По крайней мере если говорить о его первых петербургских зимах, когда в статье о Ходынке как народной расплате за убийство Александра Второго В. В. писал: «Да будет же благословенно 18 мая 1896 года! Да будет благословенна пролившаяся там кровь! Бог спас нас. Невозможно представить себе, как восстановилось бы прежнее чувство в государях наших. Нужно было нечто столь же интимное, столь же ужасное, трогательное, но только обратное по смыслу первому марта (1881 года, убийству Александра II. – А. В.); и, конечно, мы не могли бы ни придумать, ни сделать этого; для рук человеческих это и вообще было неисполнимо. Нужно было произойти великому, неслыханному несчастью, – несчастью на глазах, или почти на глазах, Государя, с этим именно, отвергшим любовь Его, человеческим стадом, и, наконец, несчастью во имя любви к Нему, в миг высказывания этой любви. Только в таком особенном сочетании, не рассчитанном, не предугадываемом, не построимом даже в воображении, факты могли затереть кровавое пятно первого марта, точнее: вдруг как бы снять скорбь и чувство *отделенности* от народа с сердца Государева. И это именно 18 мая совершилось...»

Не приемля слабое, беззубое и вместе с тем «*атеистическое и революционное*», состоящее «сплошь из дурачков» правительство, отрицающая подлую печать, которую «захватили нигилисты» и которая обманывает общество и не повинуется народному духу, Розанов писал своему

будущему издателю Петру Петровичу Перцову: «Вот отчего мы призываем очищающую атмосферу от миазмов *грозу*; мы зовем черную, монашескую, старо-русскую, церковную революцию против революции хлыщей и пижонов, вальсирующих и канканирующих над задавленной, оплеванной ими Россией».

Разумеется, это все не могло пройти незамеченным, и понятно, как воспринималось либерально мыслящей интеллигенцией, задающей тон общественному мнению в России. У В. В. стало больше и друзей, и врагов, иногда – что очень по-розановски – менявшихся местами. «Вот, значит, о Вас говорят, интересуются, пожалуй, ругают, но во всяком случае *творят* Вам *известность* без малейших к тому с Вашей стороны усилий», – справедливо отмечал в письме Розанову его новый друг и единомышленник, «гениальный тунеядец» Иван Федорович Романов (Рцы). А В. В. в это же время сам то ругался, то мирился с философом Владимиром Соловьевым, который после полемики на религиозные темы обозвал своего оппонента Иудушкой, и прозвище это надолго к нашему герою приклеилось. Розанов позднее писал, что не воспринял его как убийственное оскорбление, хотя в ответ назвал своего обидчика «танцором из кордебалета», «тапером на разбитых клавишах» и «блудницей, бесстыдно потрясающей богословием». Это не помешало их личному, по инициативе Соловьева, знакомству и общению, однако за своего ученика оскорбился его старший товарищ.

«Ничего не понимаю в том, что вы рассказываете о Соловьеве, – писал Розанову Рачинский. – Быть у вас ему следовало, но не иначе, как с повинною в брани, коею он вас осыпал в угоду редакции “Вестника Европы”. Но и этого мало: в этой брани он должен был покаяться печатно. Одно из двух: или вы – Иудушка, и в таком случае вам и руки подать нельзя. Или назвавший вас этим именем недостойн, чтобы руку подали ему вы, пока не снимет он с себя позора, которым он себя покрыл. А то пришел, как ни в чем не бывало, с визитом, попросить книжечки, побеседовать об антихристе... (Кстати, то, что вы говорите о последнем, очень умно.) Хороши, нечего сказать, наши литературные нравы *fin de siecle*! И вспомните, что Соловьев, каков бы он ни был, не заурядный фельетонист по стольку-то за строчку. Мысль его вращалась в самых высоких сферах философии и богословия; вырос он в среде нравственно чистой; ему было доступно общение с лучшими людьми России... Печально и страшно!»

Но Розанова больше задевало другое, о чем позднее рассказывал в «Кукхе» А. М. Ремизов. «В Контроле когда-то служил и Розанов. Невесело вспоминает: “Едешь, бывало, на конке наверху. А Вл. С. Соловьев в коляске

катит. Нет, вы этого никогда не поймете, никогда, никогда!”».

Жизнетворец

Итак, наш герой пострадал за идею, назвав впоследствии поворот, случившийся в его жизни в 1893 году, «изуверским», а последовавший за ним период – «Леонтьевско-Катковским», но потом между ним и славянофилами пробежала черная кошка, впервые объявившаяся в просторном кабинете Т. И. Филиппова. Это было неизбежно. При том что «наши» и между собой не могли зачастую найти общего языка, и у них «своя своих не познаша» (так, например, Рачинский «физиологически» не выносил своего однокурсника Леонтьева), но уж Розанов-то точно был другим, иной породы и природы, абсолютно беспартийным – сам себе партия! – человеком, не способным следовать никакой общей, пусть даже достаточно размытой идеологии.

«Они все, Тертый, Аксаков, Афанасий (тоже длинная борода) – были тусклы, скучны, невыносимы и неудачны в литературе: и это их как-то “связывало” и объединяло, внутренне дружило и “сердце сердцу весть подавало”, – писал В. В. много лет спустя П. П. Перцову в пору нового разлада с уже другими «нашими». – И вот – славянофилы. Захлебываются Хомяковым, И. С. Аксаковым и “всеми Аксаковыми, сколько их не писало”, Самаринскими – и тоже “сколько их ни писало”: и с какою-то адскою злобой, не нужно им и беспричинно, без вызова с его стороны (так, “молчу”) – прямо ненавидят одного только Розанова, и по той причине, что (кроме одного Рцы) он скучает с ними и “речь не плетется”. Но я бы пожелал видеть человека, у которого “плелась бы речь” с Афанасьем».

Скорей всего, он даже не считал нужным свое пренебрежение скрывать. Он был звездой, они – нет. А значит, ему не пара, и Розанов пошел по свету искать себе равных, хотя бы в приближении. Причем он не просто ушел, а ушел сердито, расплевавшись. Да что там расплевавшись? Кроткий, безвольный, боязливый, вечно ведомый, упорный только в мечте В. В. двинулся открытой войной против «заединщиков» конца XIX века.

«Мои убеждения тогдашние – все плод рикошета; личного отталкивания от петербургского славянофильства (несколько вовсе неизвестных литературных имен)... контроль, чванливо-ненавидяще надутый Т. И. Ф., редакции “своих изданий” (консервативных), не платящие за статьи и кладущие “подписку” на текущий счет, дети и жена и весь “юридический беспорядок” около них, в душе – какая-то темная мгла, прорезаемая блёсками гнева: и я, “заверотив пушки”, начал пальбу “по

своему лагерю” – всех этих скупых (не денежно) душ, всех этих ленивых душ, всех этих бездарных душ. Пальбу вообще по “хроменьким, убогеньким и копящим деньжонку”, по вяленьким, холодненьким и равнодушным».

«Озираясь на все это, на этих людей, которые противны, как гробы, я думаю как-нибудь отречься от славянофильства (т. е. печатно)!\», – писал он в августе 1895 года Рачинскому. «Вам, батюшка, надо выплюнуть все славянофильство, особенно в заключительной его фазе, с безголовым болтуном Ив. Аксаковым во главе – иначе Вы не вступите в самонужнейшую фазу истории нашей, фазу собирания сил, сосредоточия мысли, крепости мышц и решимости», – давал напутствие Розанов Перцову, а на самом деле – себе.

«Я сам был славянофилом, и не помню ни дня, ни часа, ни года, когда перестал быть славянофилом... Славянофильство как-то выпарилось, выпало из меня, как из пузырька без пробки – духи, остаток духов, духи на доньшке. Может быть, вообще славянофильство – испаряющаяся пахучесть? Может быть. Это было бы приятным “надгробным утешением”. Я думаю, славянофильство потому “погибоша аки обры”, что у них “стрела не звенела”. Они были чрезвычайно “травоядны” и уже до чрезмерности не хищны. Ни коготка, ни клювика. Точно дьякон Псалтырь читает. Слушали, слушали. Потом перестали слушать. Потом он перестал читать. И нет ни дьякона, ни Псалтыри, один резонанс...» – писал он в 1901 году, а три года спустя в нововременской статье «Поминки по славянофильству и славянофилах» вскользь обронил: «Все вообще славянофильство похоже на прекрасно сервированный стол, но в котором забыли посолить все кушанья. И все они, от этой одной ошибки повара, получили удивительно сходный, однообразный и утомительный вкус; попробовать еще – ничего, но есть по-настоящему – невозможно. Таковы их стихи, рассуждения, пафос, негодование. “Не солоно! Ни капельки соли!” И всякий кладет ложку; или, переходя от сравнения к делу – редко кто славянофильскую книгу дочитывает до конца или даже до середины. Горестная судьба!»

Однако важнейший его пункт, розановский протест, вопль был связан не с травоядностью славянофилов, не с тем, что их соль утратила силу, а может, и солью-то никогда не была, не с идеологией и историческими фазами и даже не с тем, что эти «архилакеи ходят в поддевках и лижут ж-пу у Тертая», но с делами личными, семейными, с тем, что он выше назвал «юридическим беспорядком», а именно – его жена не считалась его женой, его дети – а у него в 1895 году родилась дочь Татьяна, затем в 1896-м – Вера, в 1898-м – Варвара, в 1899-м – сын Василий и последняя в 1900-м –

Надежда – не считались его детьми и были записаны на имена своих крестных родителей.

Подобных случаев в империи было много, очень много, в том числе и в литературной среде, но все же важно заметить, что таких многодетных отцов, как герой этой книги, в русской литературе Серебряного века не было. Кого бы из крупных писателей мы ни вспомнили – Горького, Брюсова, Вяч. Иванова, Волошина, Леонида Андреева, Блока, Белого, Сологуба, Бальмонта, Анненского, Бунина, Ремизова, Куприна, Корнея Чуковского, Алексея Толстого, Ивана Шмелева, Бориса Зайцева, Чулкова, Ходасевича, Георгия Иванова, не говоря уже о Гиппиус с Мережковским или Клюеве и Кузmine – это всё были люди бездетные, либо – один-два, максимум три ребенка и в таком случае, как правило, от разных жен. Розанов и здесь оказался уникален: по сути дела, он стал вторым после Льва Толстого многодетным отцом в истории большой русской литературы^[24], и именно его многодетность, его семейственность предопределили в его жизни практически всё, и в том числе авторскую стратегию, внимание к этим, а не другим темам. Причем дети в семье появились на свет в тот период жизни, когда ее глава еще не был ни относительно богат, ни безусловно знаменит, и вряд ли то был акт жизнотворчества, претворения в жизнь ветхозаветных патриархальных теорий, стремление кому-то что-то доказать и отличиться. Нет – они с Варварой Дмитриевной вопреки обстоятельствам и болезням жены рожали одного за другим детей, считая это единственно возможной, естественной, нормальной формой супружеской жизни, и тем, кто сегодня любит безапелляционно рассуждать о розановском «антихристианстве» и выносить писателю моральный приговор, это не худо бы иметь в виду. Все было много сложнее и запутаннее и в его жизни, и в его смерти.

«Благословение же Божие нашему союзу я вижу в непрерывном Варвары чадородии, в безупречном нашем счастье, в непоколебимой верности; и когда “волос человеческий” без воли Божьей не падает, столь огромные дары не суть без воли Божьей», – писал Василий Васильевич с полной внутренней убежденностью в 1899 году в своем втором завещании, и то, что ни государство, ни Церковь не могли, не хотели этих детей, эту семью признать и узаконить, когда Сам Господь за нее, выглядело в его глазах абсурдным, несправедливым, неправедным, раздражало, унижало и оскорбляло его более всего на свете. Но обижался он не только и не столько за себя.

«Знаете, главный мотив, и слава Богу, *былой* вражды к Церкви, что она обидела Варю, и как все это было в тайне – но онтологически обидела, –

объяснял Розанов много лет спустя о. Павлу Флоренскому. – Варя же *никого в жизни* не обижала, и, больная, ежедневно читала (и все один его) Акафист Скорбящей Бож. Мат. Это сопоставление *вечно* молящегося человека (как никто) с “дисциплинарным” (ц. термин) отражением ее точно сожгло мою душу, это было 15 лет сжения в одну точку. Варя за это не имела ни гнева, ни горечи, а лишь скорбь за несчастье, а у меня перешло в гнев».

Так оно и было, и на «квадратных славянофилов», на консерваторов, на православных, на церковных, на тех, у кого «бороды лопатой», он был разгневан особенно. «А, так вот *откуда* мое несчастье, вот от *каких* благочестивцев, старающихся о возрождении Руси, о сиянии православия, – и благовествующих, что настало, с ними и с их “церковной школой на Руси”, благодатное царство на земле. Эта догадка через несколько лет дала мне (в 1897 г.) толчок повернуть все “к язычеству”. “Лучше танцующая Дункан, чем ваши мякинные и со вшами бороды лопатой”. Больше в Дункан правды, больше *ясности*, стократно больше *доброты*: потому что с ней – *природа* (язычество). А вы – всего только мертвецы с нашитыми по позументу крестиками (орнаментация одежд)».

Дункан, впрочем, появится в столице лишь в 1912 году, когда и Розанов станет совсем иным и много всякого разного про церковь понапишет. А на тот момент он был еще стойкий консерватор, не уклонившийся покуда ни в ереси, ни в соблазны, – и ему не могут пойти навстречу, сделать для него исключение и изменить закон, чтобы не человек был для субботы, но суббота для человека, когда и вола, упавшего в яму, вытащить не грех?

А тут:

«Задавило женщину и пятерых детей.

Тогда я заволновался и встал».

Кстати, позднее это состояние розановского надрыва очень хорошо почувствовал и понял двадцатитрехлетний Александр Блок, который ничего про положение дел в семье Розанова не знал, но писал о В. В. в письме Андрею Белому: «...вся пружина его громадного (по-моему) творчества держится на трагедии (т. е., как всегда – борьбе, страдании и беспокойстве)».

Розанов искал любые способы, как переломить ситуацию в свою пользу, как узаконить брак, какую найти юридическую лазейку. Можно предположить, что именно тогда и возникла в его голове идея подправить историю взаимоотношений с Аполлинарией Прокофьевной, сдвинув даты и задним числом обвинив первую жену в том, что за пять лет до его второго

венчания она изменила ему с евреем Гольдовским, а потом и вовсе мужа бросила и, несмотря на его неоднократные слезные просьбы, не пожелала возвращаться. А стало быть, его новый брак – законен и справедлив. Он, как уже говорилось, написал подробное прошение митрополиту Петербургскому Антонию, все рассказав и про злую первую жену, и про милосердную вторую, и про незаконное венчание (заметим в скобках, что обвенчавший его с Варварой Дмитриевной священник к тому времени уже скончался), и про деточек, которые ни в чем не виноваты, и про христиан, которых он боится, ибо они суть люди «жестokie или уклончивые». «Наша хата с краю – ничего не знаем»; «тебе, батюшка, крест – ты и носи».

А кроме того, В. В. попробовал действовать через Анну Григорьевну Достоевскую, с которой был знаком еще с 1893 года, когда в знак благодарности за «Легенду о Великом инквизиторе Достоевского» она прислала ему в дар собрание сочинений покойного мужа, и между нею и Розановым завязалась переписка.

Считавший себя «наиболее упорным толкователем мыслей» Достоевского Розанов не раз вместе с Варварой Дмитриевной навещал в Петербурге вдову писателя, и однажды речь зашла о его бедственном семейном положении. Несложно представить, как поразила Анну Григорьевну история с участием женщины, к которой она когда-то ревновала своего супруга, опасаясь, что он уйдет от нее к разлучнице, к своему «вечному другу» Полине^[25]. И вдруг много лет спустя демоническая, фантастическая Аполлиария Прокофьевна как призрак прошлого вновь появилась на ее горизонте, да к тому же в таком странном качестве, словно кто-то писал про них про всех роман.

Больше того. Выскажу предположение, что именно она, Анна Григорьевна Достоевская, и раскрыла самому Розанову или же Варваре Дмитриевне (что было ей по-женски проще) подоплеку взаимоотношений Аполлиарии Прокофьевны с Федором Михайловичем, прояснила и дополнила ее недостающими деталями и подробностями. И если это так, то лишь в конце девяностых годов, давно расставшись с Сусловой, В. В. и узнал, что, оказывается, в свое время «женился на Достоевском», мистически соединился с ним, приобщился, познал через тело Аполлиарии и пр. и пр., и вся его последующая «достоевская» мифология, все сравнения «Суслихи» с героинями Достоевского, пошли тогда и отсюда.

«Розанов, тесно сотрудничавший с Мережковскими в начале века, отличался от остальных членов их ближнего круга, отчасти потому что не принадлежал к атмосфере *fin de siecle* с ее утопическими прожеками: ему

не хватало искусно сконструированной биографии с мифологическим потенциалом – необходимого условия символистского житнетворчества», – в принципе очень верно написала Ольга Матич, но на это как раз и можно возразить: вот он, пример такой конструкции!

Поэтому еще раз подчеркну: знал или нет изначально В. В. о характере отношений Федора Михайловича и Аполлинии Прокофьевны, он в ту пору этому значения не придавал и влюбился и женился на ней вовсе не по той причине, что она была возлюбленной его кумира. И точно так же ни Страхову, ни Рачинскому он не сказал о сем факте ее биографии ни слова просто потому, что это все было для него тогда не важно, а вот Мережковскому, Гиппиус, Брюсову, в их разговоры, в их дневники, в письма, в их воспоминания, чтобы передалось всем будущим розановедам, филологам, философам – это было в самый раз!^[26]

Конечно, доказать, что все обстояло именно так, я не могу и категорически на своей версии, которая разрушает множество других остроумных филологических построений, не настаиваю. Но что можно утверждать наверняка – вдова Достоевского была настолько переполнена как собственными женскими воспоминаниями, так и сочувствием к молодой многодетной паре и так жаждала ей помочь, а к тому же была хорошо знакома с обер-прокурором Синода Победоносцевым (который, как мы помним, Розанова тоже знал и, несмотря на темный стиль, ему пока что симпатизировал), что шанс выручить из беды «униженных и оскорбленных» родителей и их детей был велик как никогда...

Фрагменты переписки Василия Розанова и Анны Достоевской, относящиеся к этому сюжету, есть смысл процитировать как эпистолярную новеллу.

Бедные люди

В. В. Розанов – А. Г. Достоевской

до 4 февраля 1898 года

«Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Не знаю, как Вас и поблагодарить за участливость, с которой Вы выслушали вчера Варю правда об очень тяжелом нашем положении. Иногда я представляюсь себе несчастным по всем жизненным линиям: нужда – но разве она одна; Варя Вам рассказала, оказывается, о Сусловой: каково же ее положение, т. е. Вари, и положение детей. Сколько хотел я раз написать Победоносцеву, но именно то, что характер моих сочинений несколько религиозный, мне было мучительно стыдно пред ним сознаться в том, что все так жестоко и несправедливо называют “блудом”. Варя есть само самопожертвование, и она так же целомудренна, как Суслова, по справедливой Вашей догадке, цинична (я женился на ней на 3-м курсе университета; она уехала от меня, влюбившись в молодого еврея, через 6 лет нашей жизни, и жива еще – живет в Нижнем в своем доме). Раз Вы знаете о Сусловой, не можете ли Вы, дорогая и добрая, заикнуться Победоносцеву и о положении моих детей. За что малолетние страдают – непостижимо, и конечно они страдают не по Христу, а по суемудрию человеческому; почему жена, бросающая мужа, имеет все гражданские права; почему женщина, которая как самарянка склоняется над израненным и кинутым человеком – не имеет никаких прав? Все это не по Христу. Когда я думаю об этой несправедливости, у меня голова идет кругом, и я чувствую величайшее в себе раздражение; просто чувствую, что от этого весь мой характер и вся литературная деятельность исказились. И при этом нужда, доходящая до самых унижительных форм, и при непрерывной почти слабости жены (малокровие, нервы, женские болезни). Что же я оставляю своим трем дочерям малолеткам: пенсии – нельзя, они не “мои”, а какие-то “Николаевы” и “Александровы” по чудовищному закону, отнимающему детей от родителей; какая же их судьба ждет? Проституция? – вот заря будущего для меня, и награда за поистине тяжкий, безысходный труд, в каком я живу, не ложась спать раньше 4-х часов ночи, и совершенно изнеможенный нервами. И когда я оглянусь на эту темь несправедливости, я очень, очень начинаю понимать самые радикальные тенденции и порывы. Помилуйте, все злое наверху и вас душит; а все доброе под низом...

Крепко жму Вашу руку и еще раз благодарю Вас горячо, горячо.

Глубоко Вам преданный
В. Розанов».

А. Г. Достоевская – В. В. Розанову
4 февраля 1898 года
«Глубокоуважаемый Василий Васильевич!

Прочла Ваше письмо и вижу, что Вы находитесь в тяжелом настроении. Мне от всего сердца хотелось бы помочь Вам, но только укажите, как это сделать. Но прежде чем будем говорить о делах, позвольте мне сказать Вам несколько слов: Простите меня, но мне представляется, что Вы слишком трагически смотрите на Ваше положение и на будущность Ваших малюток. Я вполне понимаю, что Вы страдаете от того несчастного положения, в которое поставлены, страдаете не только за себя, но еще больше за детей и за милую Варвару Дмитриевну. Я вполне понимаю всю несправедливость Вашей судьбы и согласна, что Вы страдаете “не по Христу, а по суемудрию человеческого”. Но что тут поделаешь, раз установившиеся законы таковы и трудно ждать их изменения. С этим обстоятельством надо примириться, и Варвара Дмитриевна показывает в этом случае добрый пример. Она говорила мне, что вполне счастлива; что ее ложное положение не было бы для нее тяжело, если б оно не отражалось так на Вашем здоровье и настроении, если б Вы не придавали этому обстоятельству такого трагического значения. Ведь Ваше ложное положение есть несчастное стечение обстоятельств и каждый человек с душою может только жалеть и сочувствовать Вам. – Вас мучает будущность Ваших девочек. – Но ведь это еще можно поправить, их можно узаконить или приписать (не знаю, как называется это в законах). За последние годы вышло несколько законоположений, благодаря которым родители могут узаконить своих незаконнорожденных детей, и для этого не требуется ни больших влияний, ни больших средств. Если для узаконения их потребуется влияние Победоносцева, я с удовольствием берусь хлопотать у него об этом. Я знаю две семьи, где были узаконены дети и получили фамилию отца. Я непременно разузнаю все подробности, как совершаются узаконения детей, и Вам сообщу в непродолжительном времени. Очень возможно, что Вы устроите узаконение Ваших малюток и тогда они будут Вашими наследниками и в пенсии, если бы Вы (чего Боже избави) скончались, не успев их воспитать и поставить их на ноги. Но допустим, что узаконение малюток Вам не удалось (а оно наверно удастся), то и тогда не следует вперед так мучиться судьбою их. Будьте убеждены, что в случае несчастья Бог поможет деткам, чужие люди придут им на

помощь и устроят их дальнейшую судьбу...

Искренне преданная А. Достоевская».

В. В. Розанов – А. Г. Достоевской

9 февраля 1898 года

«Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Воистину – Вы ответили мне как сестра, горячо, быстро и открыто... Спасибо Вам горячее и за доброе чувство к Варе: она не избалована им; и слишком, слишком нуждается в ласке. Разве все такие как Вы? разве она не чувствует, что право оскорбить ее – остается у всякого? и хоть грубые люди – но разве не пользовались, даже иногда не нарочно, и она бедная вся дрожит, когда мельком, в разговоре, кто-нибудь упомянет слово “наложница”. Это слово (она ужасно неопытна) стало ее кошмаром, гонящимся за нею звуком: и сколько, сколько раз я ее убеждал не думать, что чуть она имела в виду, или что они “что-то знают” о ней. Верно она Вам говорила (я говорил Ник[олаю] Николаевичу] Стр[ахо]ву), что мы все-таки повенчаны, без чего ее старушка мать не хотела ее отдавать: “мне легче живой лечь в могилу, чем видеть свою дочь потерявшею себя”; и обвенчал ее деверь, брат покойного ее мужа, а теперь старушка ее мать только и дышит нами, обоих нас без памяти любя. И вот, подите же, судьба какая: именно эта встреча и сделала меня религиозным писателем, т. е. пробудила отвращение ко всему светскому и суетному, и обратила мысль к вечным основам жизни, и к вечным человеческим чувствам...

Ваш преданный В. Розанов».

В. В. Розанов – А. Г. Достоевской

13 марта 1898 года

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Боюсь, не захворали ли Вы?

Пишу это письмо Вам, чтобы напомнить о предложении Вашем по истечении 3-ей недели Великого поста съездить к Победоносцеву и поговорить о моих детях. Зная Вашу точность и деловитость, и что слово Ваше “мимо” не идет, я и не хотел Вам писать, но Варя тревожится, а я ей объясняю, что у Вас *самой* что-нибудь не ладно. Да хранит Вас Бог. Варя Вам кланяется.

Преданный Вам В. Розанов.

А. Г. Достоевская – В. В. Розанову

16 марта 1898 года

«Глубокоуважаемый Василий Васильевич!

Я не писала Вам потому, что, к большому моему горю, не могу сообщить Вам что-либо утешительного по поводу беспокоящего Вас обстоятельства. Но расскажу все по порядку. Мне необходимо было повидаться с К[онстантином] П[етровичем] П[обедоносцевым] по делу моего сына и чтобы застать его *наверно*, я пошла к нему в приемный день. Разговор наш затянулся, и я не успела перейти к Вашему поручению, как дежурный чиновник доложил о приезде какого-то высокопоставленного лица, которого надо было принять немедленно. Тогда я сказала К. П., что подожду его, потому что имею другое дело, относящееся до незнакомого ему лица. “Какое дело?” – “По поводу усыновления детей”. – “В таком случае, пока я занят, поговорите с моим помощником-юристом, с которым я всегда советуюсь, и передайте мне, что он Вам скажет”. (Надо Вам сказать, что в приемные дни у К. П. всегда присутствуют специалисты по различным вопросам, с которыми он советуется или к которым он направляет своих посетителей для объяснения больших подробностей.) Я обратилась к указанному мне юристу и рассказала ему Ваше дело (конечно, не называя Вашего имени) и получила ответ, что приписать детей в формуляр отца при существующих условиях – дело невозможное, беспримерное, и что не только К. П., но и сам Государь не в праве этого сделать, так как это противозаконно. Юрист предложил мне такой исход: обратиться к чувствам великодушия и доброты Вашей жены (Аполлинарии Прокофьевны), описать ей печальное положение дел и просить, чтобы она, одновременно с Вами, обратилась в Суд – и выразила желание удочерить Ваших девочек, сделать их своими приемными дочерьми. Окружной Суд, получив просьбу Апол. Прок. и Вашу, постановит благоприятное решение, девочки Ваши получат Вашу фамилию и следовательно могут быть записаны в Ваш формуляр. Очень возможно, что Апол. Пр. и не отказалась бы подать такого рода просьбу, так как, почем знать, может быть, в ее душе и существуют великодушные чувства; может быть, она и сознает свою вину пред Вами и желала бы что-либо сделать доброе для Ваших детей.

Но тут возникает другой вопрос. Представьте себе, что Суд признает Апол. Пр. приемною матерью Ваших девочек, и вот Ап. Пр., как женщина взбалмошная, захочет воспользоваться своими правами приемной матери, захочет взять одну из девочек к себе на воспитание. Вам придется отстаивать своих девочек от ее попечений. По-моему, этот исход не годится; если он и доставит законность Вашим детям, зато он подвергнет их и Вас и милую Варвару Дмитриевну таким неожиданностям и неприятностям, что лучше отказаться от этого намерения.

Второй исход, предлагаемый юристом – это развод, на кот[ор]ый, может быть, Аполл. Пр-а и согласилась бы, разумеется, с тем, что Вы возьмете вину на себя. Почем знать, может быть, Ап. Пр. желала бы быть свободной, чтобы вновь выйти замуж (она так фантастична), и согласилась бы на развод. Тогда, сделавшись вновь свободным, Вы могли бы просить Окружной Суд о признании Ваших девочек Вашими приемными дочерьми, и они получили бы законность и Ваше имя. Но развод стоит больших хлопот, а потому трудно осуществить.

Когда я спросила юриста, нет ли третьего исхода, он ответил: “Вы говорите, что жена значительно (на 20 лет) старше своего мужа, значит есть вероятность, что она умрет ранее его и таким образом дело уладится само собою”. Затем я спросила юриста, как поступить в случае смерти Ап. Пр.? (что так возможно, ей теперь лет 58–59, а в эти годы почти всегда умирают женщины, проводившие бурную жизнь). Он ответил, что следует обвенчаться вновь вторично, а тогда узаконить детей не представит особого затруднения. Когда же я ему сказала, что ведь брак был уже совершен, то он посоветовал (в случае смерти первой жены) заявить Окружному Суду о том, что в таком-то году, в таком-то городе был совершен брак таким-то священником, но по недосмотру его не записан в церковную книгу. Тогда произведут дознание, и если найдутся свидетели брака (диакон, дьячок, шафера, сторож или кто-либо), то брак будет признан законным, а следов[ательно] и дети законными.

Я знаю, что желать смерти ближнему – не христианское дело, но когда я подумаю, сколько зла принесла разным людям Ап[оллинария] Пр[окофьевна], то, право, не могла бы огорчиться, узнав о ее смерти. Но не нам судить. Будем надеяться, что Господь устроит так или иначе Ваше семейное счастье.

К тому же, стоит ли огорчаться, что Ваши девочки не носят Вашу фамилию: вырастут, выйдут замуж, и это обстоятельство не повлияет на их счастье и будущность. Вся задача лишь в том, чтоб поднять деток, вырастить и воспитать их, а для этого Вам надо беречь себя, беречь свое здоровье и не беспокоить себя печальными мыслями. Вы христианин – положитесь на Господа. Он устроит Вашу судьбу и судьбу Вашей семьи!..

Искренно Вас уважающая и преданная А. Достоевская».

В. В. Розанов – А. Г. Достоевской

вторая половина марта 1898 года

«Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Сердечно Вас благодарю за умный, осмотрительный и внимательный

опрос юрисконсульта Победоносцева; да, мудреная это вещь, но расторжение связи отца с ребенком есть столь явно демоническая тенденция, что она крайне опасна для существа религии и церкви, если только содержится в ее принципах. Победоносцев с сердцем и далеким, проницательным умом; он полон жажды мира; и знает, что до времени скрывающиеся под водою камни обнаруживаются в полую воду. Религия и церковь вся держится на твердых родительских чувствах; и противопоставлять их, – повторяю, не столько для них, сколько для существа церкви, существенно опасно. Конечно, моих детей я никогда не брошу, не пойду “в путь века сего”; но что косвенно, через переименование их в “Николаевых” и “Александровых”, когда они по плоти “Розановы”, мне как бы подсказывается: “брось их”, “брось любящую тебя жену”, самоотверженную, трудящуюся, – потому что “записанная за тобою” гуляет на стороне: повторяю, это не потрясая любви моей и сознания долга, косвенно и отдаленно тревожит фундамент церкви. Приписать детей в мой формуляр – это формальность, которая кровного ущерба никому не приносит; от Сусловой у меня не было детей; она сама ко мне никогда не вернется; пользоваться проституцией, мне предлагаемой “обычаями”, дозволенную “законами” и терпимою церковью – я не хочу; а следовательно и церковь имеет долг “помочь в субботу вылезти из ямы впадшему в нее”; т. е. она имеет долг сказать: живи брачно, не грязнись в проституции, и не отрицайся детей своих. Это круг понятий, довольно ясный и существенно небесный, Божеский. Мне было бы все-таки отрадно, если бы Вы хотя переслали мои два письма, – которые я Вам дал, и это – Константину Петровичу. Он с сердцем человек, в нашу пору уже единственный (или из немногих) по проницанию. Вы же написали о детях один исход, указанный юрисконсультом: “можете Вы лично обратиться в суд с просьбою об усыновлении детей – и возможен случай, что суд просто забудет опросить и жену Вашу, согласна ли она на запись в формуляр Ваших детей”. Вот эту забывчивость Конст. Петрович мог бы внушить суду; и судьба детей моих могла быть устроена. Несколько строк частного письма – и “впавший в яму в субботний день” был бы вытащен.

Глубоко преданный Вам В. Розанов».

Ужо тебе!

Увы, этого не случилось. Человек так и остался для субботы, и никто заблудшую овцу из незаконной ямы вытаскивать не стал. Однако тут вот что еще стоит заметить. Сергей Николаевич Дурылин, на чье воспоминание я уже ссылался, впоследствии писал о Сусловой: «Для Розанова это несогласие этой дамы на развод грозило ссылкой в Сибирь: он не просто жил с Варварой Дмитриевной и имел от нее детей, которые не могли носить его фамилии. Это было бы полбеда. Дело в том, что В<асилий> В<асильевич> был *тайно обвенчан в церкви* с Варварой Дмитриевной. Если б это открылось (Победоносцев знал это, но, по благородству своему, молчал), Вас<илий> Вас<ильевич>, как двоеженец, подлежал бы не только церковным, но и гражданским карам – разлучению с женой, с детьми и ссылке на поселение».

Нет, не так все было! Как никто не собирался вытребовать по этапу первую жену, так никто не думал отправлять на поселение мужа второй и отнимать у них общих детей.

«“Мою историю”, оказывается, все знали, – писал позднее Розанов Павлу Флоренскому, – Рачинский (учитель) – от меня. Победоносцев (с Рачинским на “ты”), митр. Антоний и, кажется, “весь святейший Синод” (оказывается, по письму летом ко мне – *Никон Вологодский* знает, коего в жизни я ни разу не видал). Все ко мне лично необыкновенно относились, чувствовал, что любят меня (м. Антоний, и – почти уверен – Победоносцев; Рачинский – сухарь – нет)...

Почему же все меня любившие и уважавшие люди промолчали? Почему? Почему?

Много лет думал:

– Да Христом испуганы. Он сказал: “Суть скопцы... Царства ради Небесного”. И еще: “Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух”.

И – все Евангелие.

“Его” боятся... И молчат. И трепещут. “Действительно – беззаконие”...

В “Сибирь” бы...

А уж дети во всяком случае “не Розанова, а чьи-то...”»

Однако едва ли дело было в буквальном следовании евангельским заповедям. Россия, да и весь христианский мир давно от них отошли и рассуждали житейски. А особенно в больших городах и в том обществе, к

которому Розанов принадлежал. Да живи ты, как хочешь, плодись, размножайся, воспитывай деток, законных, незаконных, рожденных в браке или внебрачных, и не обессудь, что мы не можем дать им твое отчество и фамилию, ибо таковы законы, не *нами* установленные и потому не подлежащие отмене с *нашей* стороны, но опять же чья жестокость искупается их неисполняемостью, а раз уж ты заговорил про субботу, то мы не формалисты и ни в чью личную жизнь не лезем. Права сто раз была мудрая, здравомыслящая, трезвая Анна Григорьевна: выскочат дочери замуж и все равно поменяют фамилию, но для него это все было – *невыносимо*. Только как иначе могло быть, если Розанов вспоминал, например, такое: «...и когда померла моя старшая девочка Надюша, и я в Петербурге в полиции выправлял разрешение на пропуск на кладбище, мне пришлось выслушать злобное издевательство 22–25-летнего, в мундире, чиновника над “ребенком вдовы (имя рек) – хе-хе-хе”. Подлец знал, что я отец, и что ребенок в гробу лежит у меня дома; тут же в полиции, стоял огромный образ св. Николая Чуд., с горящей лампадой: и этот образ около этого издеательства над отцом и матерью умершего ребенка больно-больно, какой-то потусветной горечью, кольнул меня».

И похоронена первая Надя была не как Розанова, а как Надежда Николаевна Николаева по фамилии своего крестного. Вписать фамилию настоящего отца родителям запретили. Не положено-с!

Можно сколь угодно и весьма обоснованно критиковать Розанова за бесчисленные яростные нападки на Церковь, за «нетерпение сердца», за нежелание нести свой крест, за дефицит кротости, смирения и прочих христианских добродетелей, можно укорять и осуждать за формальное прелюбодеяние, как это делали и при его жизни^[27], и делают сейчас^[28] – но, правда, как ему было *это* пережить? С его-то страхами, его мнительностью, тревогами и опасениями? «У меня 5 детишек, между 4 и 10-ю годами, семья, склеенная незаконно (тайный брак, 1-ая жена меня оставила в 1886 году и жива, вторая – всю себя положила для меня): стало быть, это абсолютные сироты без меня, умру я – и они (4 дочери) – через 10 лет в “% проституции”, – писал он Горькому. – Я когда об этом Влад[имиру] Соловьеву (т. е. что дочери будут, верно, по полной необеспеченности, проститутками) написал, – то он перешел к “другим философским темам”, просто не интересуясь кровью и жизнью, и я тотчас, не за себя, а как бы за мир – почувствовал к нему презрение, и это было настоящей причиной, что мы вторично “сатирически” разошлись».

Состояние розановской глубочайшей надломленности, внутренней скорби запечатлел незадолго до своей смерти и Н. Н. Страхов в письме Л.

Н. Толстому. Тут примечательно, что если двумя годами раньше тот же автор тому же корреспонденту аттестовал В. В. как «звезду», то теперь мнение Николая Николаевича о его подопечном кардинально переменялось: «А Розанов – какое странное и жалкое существо! Он очень даровит – в том смысле, как он употребляет это слово; но он не может справиться с своим дарованием. Он пишет вдохновенно, но смутно и часто бестолково. Да и ни с чем он не умеет справиться; с женою, с дочерью-ребенком, с знакомыми, со службою – везде он, добрый и умный, находит поводы к тяжелым, мучительным отношениям. Я все боюсь за него, как будто он в постоянной опасности. Он далеко не здоровый человек, и сам за собой, кажется, смотреть не может. А я-то когда-то воображал, что это – крепкий молодец, провинциальный учитель гимназии, привыкший к своей глухой жизни! Оказался – мухортник, очень милое и очень слабонервное существо».

Может, и мухортник, конечно, только вот у самого Страхова детей не было и розановского страха, его отцовских чувств он был попросту не в состоянии понять, как не мог он прочувствовать и то подавленное состояние, в котором В. В. находился после смерти первой дочери, когда ему казалось, что своих детей у них с Варварой Дмитриевной уже не будет. И можно лишь догадываться, как был он безумно счастлив, когда один за другим они стали появляться на свет божий, как переживал, как боялся, как трясся над своими незаконными деточками и как опасался, что они тоже могут заболеть вслед за первой Надей и умереть.

«Крестница Ваша захворала вчера к ночи, так что сегодня чуть свет звали доктора, – писал Розанов Страхову в коротеньком не датированном письме в 1895 году, объясняя, почему пропустил две «литературные среды». – Без всяких почти предварительных приступов (был сильнейший только насморк) – мечется, плачет, впадает в забытие и несколько раз уже была рвота. Доктор еще не был, но предварительно велел обтирать голову мокрой губкой, поставить кругом живота согревающий компресс и клистир. И я бы все-таки не так беспокоился, если бы ее забытие и рвота не напоминали очень болезни умершей нашей девочки Нади».

Нет, не для Страхова была та история. И не для Владимира Соловьева^[29]. Им это все – компресс, клистир, мокрая губка, детская рвота – было неведомо. Они всё больше про литературу, про высокие материи, про тайны бытия и про премудрость Софии. Хотя – забегаю вперед – тот факт, что розановские дети выжили и выросли, что болезнь первой Нади ни у кого из них не повторилась, – было, и правда, чудом самым настоящим, нарушением чина естества, тайной и милостью Божьей.

Но дело заключалось не только в личных заботах, тревогах, обидах, страхах, переживаниях и житейских неудачах непризнанного отца и оскорбленного незаконного супруга, не в одной лишь его отдельной, по-прежнему нескладывающейся жизни. Наделенный невероятной интуицией, слабонервный, милый Розанов как будто чувствовал, что его частная и не такая уж на самом деле ужасная брачная история, вызванная несовершенством российских законов (бывали случаи куда страшней, когда незаконных детей убивали, подбрасывали, оставляли на папертях или в лесу, о чем он сам напишет в «Семейном вопросе в России» или в письме Антонию^[30]), есть симптом духовной болезни, поразившей весь организм империи. Огромная страна рушилась не потому, что ее хотел уничтожить брат казненного гимназиста из Симбирска, сказавший, по преданию, в ответ на слова некоего чиновника «Куда вы, молодой человек, лезете? Перед вами стена» – «Стена, да гнилая. Ткни и развалится» – нет, не потому, что гнилая была. А потому, что слишком твердая, жесткая, самоуверенная, глухая, потому что опаздывала, не отвечала времени, не хотела меняться, была катастрофически негибкой, нечуткой, и сама приближала свой конец, слиняв по грехам своим через два десятка лет в два дня. Самое большее в три.

Он не мог тогда высказать всего в публицистике, потому что цензура (так была запрещена его предостерегающая консервативная статья «О подразумеваемом смысле нашей монархии»), но в письмах Рачинскому сформулировал все очень четко: «Монархи губят себя излишней бюрократией, и нет Геркулеса, который сломил бы эти Авгиевы конюшни канцеляризма, и, вероятно, что они погибнут: что один – французский уже погиб».

Но его не слушали, а если и слушали и даже в чем-то соглашались, то ничего не делали. В лучшем случае жалели, как ту шелудивую собаку, с которой сравнит Розанова Леонид Андреев. И даже Победоносцев, на которого В. В. возлагал большие надежды, писал о своих впечатлениях розановскому опекуну, причем, что характерно, мнение его точь-в-точь совпадало со страховским: «Сейчас был у меня Розанов, послав вперед себя прилагаемые писания и книжку “Русск. Вестника”.

Я вышел к нему и беседовал с ним. Боже мой! Жалость подумать, что у нас происходит с людьми, способными мыслить, но развивающимися в углу и в отчуждении от людей!!

Я ужаснулся, взглянув на него. Изможденный, кожа до кости, дикий, блуждающий взгляд! (...) Мне жалко этого человека. Боюсь, что он кончит нездорово».

В конечном итоге так и вышло, только вот кончил нездорово не один лишь Василий Васильевич Розанов, но вместе с ним и вся православная русская монархия, которая так дорога была и Константину Петровичу, и Николаю Николаевичу и о которой с тревогой и болью, когда ее еще можно было спасти, писал изможденный посетитель с диким блуждающим взглядом. Но его не послушали, и тогда, расстреляв все патроны по своим, «слизью обмазанный», «сердитый господин средних лет, в очках, с редкой бородкой, с угрюмым и раздраженным видом», «хитрейший змий Розанов», Козел, сатир, юрод, каким запомнился В. В. своим современникам, хитрый рыжий костромской мужичок, зародившийся в воображении Достоевского и мысливший, по слову Бердяева, «не логически, а физиологически», сменил прицел, и именно с этого момента грандиозный метафизический розановский бунт развернулся во всю силу. «...во мне взбунтовался мещанин против аристократа, магната, герцога с обширных поместий, даже мещанишко малый, необразованный, но “со своими неотъемлемыми правами” – против страшного ума и силы, взбунтовалась Вандея против “победоносного” Парижа, принесшего “новый свет человекам”», – писал он позднее Н. Н. Глубоковскому.

«В. В. Розанов, будучи верным сыном православия, завопил от страшной боли, от боли религиозной. Он – не пустяшно религиозен. Он принадлежал церкви всей душой. Он вышел из консерваторов; все либералы считают его архиреакционером. Такой человек, находясь в лоне церкви, завопил от нестерпимой боли таким голосом, что, клянусь, если бы перевели его книги, то его бы услышала вся Европа, но в нашем обществе, по нашей лени и косности, почти никто его не слышит. Это явление – громадное; я думаю, серьезнее Фр. Ницше».

Так говорил Мережковский. Но Ницше здесь ни при чем. То был бунт русский, мятеж маленького человека, не помнящего своего родства чиновника Евгения из «Медного всадника», Акакия Акакиевича Башмачкина, наделенного при этом талантом их создателей, и направленный не против русского консерватизма и даже не против царской власти, но против Той, Что выше: «И поднялся “весь Розанов” на “всю Церковь”». И стал тогда неказистый русский человек с Петербургской стороны кем-то вроде ветхозаветного инсургента.

Чего же ты хочешь?

Свое «восстание» философ позднее описал в одном из «опавших листьев»:

«Раз я стоял во Введенской церкви с Таней, которой было три года.

Службы не было, а церковь никогда не запиралась. Это – в Петербурге, на Петербургской стороне. Особенно – тихо, особенно – один. В церковь я любил заходить все с этой Таней, которая была худенькая и необыкновенно грациозна, мы же боялись у нее менингита, как у первого ребенка, и почти не считали, что “выживет”. И вот, тихо-тихо... Все прекрасно... Когда вдруг в эту тишину и мир капнула какая-то капля, точно голос прошептал:

“...вы здесь – *чужие*. Зачем вы сюда пришли? К кому? Вас никто не ждал. И не думайте, что вы сделали что-то ‘так’ и ‘что следует’, придя ‘вдвоем’ как ‘отец и дочка’. Вы – ‘смутьяны’, от вас ‘смута’ именно оттого, что вы ‘отец и дочка’ и вот так распоясались и ‘смело вдвоем’”.

И вдруг образа как будто стали темнеть и сморщились, сморщились нанесенною им обидою... Зажались от нас... Ушли в свое “правильное”, когда мы были “неправильные”. Ушли, отчуждились... и как будто указали или сказали: “Здесь – *не ваше место*, а – других и настоящих, вы же подите в *другое место*, а где его адрес – нам все равно”.

Но, повторяю, жулик знает, чем “отвертывать замки”, а “кто молится” и счастлив – тоже знает, что он – *молится* именно и – именно счастлив; что у него “хорошо на душе”; и вообще что *в это время*, вот, может быть, на одну эту минуту в жизни, – он сам хорош.

Опять настаиваю, что дело в кротости, что я был именно и всегда кроткий, тихий, послушный, миролюбивый человек. “Как все”.

Когда я услышал этот голос, может быть и свой собственный, но *впервые эту мысль сказавший*, без предварений и подготовки, как “внезапное”, “вдруг”, “откуда-то” – то я вышел из церкви, вдруг залившись сиянием и гордостью и как *победитель*. Победитель того, чего никто не побеждал, – даже того, кого никто не побеждал.

– Пойдем, Таня, отсюда...

– Пора домой?

– Да... домой пора.

И вышли».

Виктор Григорьевич Сукач написал в примечаниях к этой сцене, что «этот биографический факт можно считать началом так называемого

антихристианства Розанова». Это верно лишь в том случае, если считать все «опавшие листья» фактами, а не текстами, но не факт, что именно так и происходило в реальной жизни. Недаром прочитавший перед самой смертью «Уединенное» Суворин записал в дневнике: «Когда я читал, я все думал: а все-таки Розанов не все говорит, что знает, главнейшим образом, что чувствует. А это было бы очень интересно».

Однако в данном случае есть документ, позволяющий подтвердить этот сюжет и узнать о нем больше. Речь идет о письме Розанова уже упоминавшемуся выше профессору богословия Николаю Никаноровичу Глубоковскому, в котором воспроизведена та же самая сцена ухода из церкви, но протестное состояние В. В. выражено еще сильнее, пронзительнее, надрывнее, чем в «Опавших листьях», и, как мне представляется, именно его можно считать неким пиком или концентрированным выражением розановского религиозного мятежа:

«Теперь слушайте: любил я с крошками детьми (когда мать нездорова или что) ходить в церковь, к Введению, на Петербургской стороне. Я всегда был задумчив, и рассеян. Психология мечтателя и созерцателя. Я не вижу того, что другие все видят – годы: за то могу год – не отводя глаз, рассматривать песчинку, которой другие не замечают. Вот моя практическая слабость и теоретическая сила (так произошла книга “О понимании”). Теперь будьте страшно внимательны: стоя в церкви, с такой безграничной любовью к этой церкви, ко всему, всему в ней, виду, житию, священнику, дяку, всему и к молящемуся люду я как-то однажды подумал:

– А ведь все это меня не любит.

Не умею передать. Слов не было. Было ползучее чувство морфологическое, клеточное передвижение в душе, и озарение из них как молнией.

– Я, моя Варя (жена), эти вот дети, которых я сюда привел, всему этому храму противны, чужды, ненавистны, как “беззаконники”, нарушившие их “святые уставы”, и в основе и отдаленно все мы “враги Христосовы” или “Христос наш враг” просто по существу: “Суть агнцы Царствия Ради Небесного”, “хорошо вдаять в брак, а лучше не вдаять” (Ап. Павел), а вообще все это “мазаны” и “непомазаны” (Щедрин). Ну, в письме не напишешь. С глубокой медлительностью, вот “как яблочко зреет”, вся безграничная моя любовь к церкви – безграничный идеализм скромного, теплого семьянина, терпеливого как “осел”, невзыскательного, негордого – обратилась (через годы) в столь же неумолимую ненависть (ярость) ко всему “Сему Царству”; не говоря уже о храме, но и к Тому, Кто дал 1-й толчок к девству, первый сворот от ветхозаветного идеала семьи – прочее и

прочее. Словом, все совершилось органически – идеи, догадки, сопоставления потом пришли, хотя шли быстро, “открытия следовали за открытиями”, раз я стал в позу отрицания всего, ненавидения всего. Тут поверьте, не только храмы не удерживаются, наше “старенькое, добренькое православие”, но ничего не удерживается, и мне представляется и чувствуется сплошной ложью, хорошо прикрытою и хорошо разукрашенною и запутанною в необыкновенно искусный узел (Иисус завязал). Словом, ум мой беден: развязывать всего я не умею, я обыкновенный человек: но потенциально во мне, на моем личном примере – христианство не то чтобы умерло: но его как религии никогда и не было. Вы знаете: умер человек, от скарлатины: и тезис “человек бессмертен” – румяна, все равно из-за смерти одного. Не умею доказать. Все люди бессмертны (положим – все Адамы, и еще до греха): вдруг один умирает. И тогда ясно, что “смерть есть”, “бессмертия нет”. Так в моем примере:

“Христианство – свет”

“Христианство – добро”

“Христианство – любовь”

“Христианство – Бог”, “Бог наш, иного не знаем”.

Но стою я (вот тогда в церкви) – глубоко несчастный, глубоко грустный, глубоко правый (да! да!) с детьми – малютками, женой – такой наивной самоотверженной, ко всему и вся никогда себя не помнящей, и та добрая старушка в Ельце, все обиженные, оттолкнутые гордой (да! да!) церковью, такой самоуверенной (суть ее!) гордецами апостолами (как ап. Павел противопоставил себя Моисею!) и основой всей гордости – Иисусом, Который сказал: “Я – Бог” (в вариантах, в оттенках) – вот и только, и это как “Иван умер от скарлатины”, один – умер: его смерть есть и бессмертие миф): так из моего примера обнаруживается:

Церковь – гордыня (Не правда ли? не правда ли? Суть в этом “святатые”, “не поправимые”, нельзя нарушить соборных постановлений и даже самых глупых мнений св. отцов). Церковь – злой дух.

Церковь – лживые, лицемерные уста.

ВСЕ = ЛОЖЬ

Вот! Вы умом своим все это “укомплектуйте”, раздвиньте строки в томы и получится моя личная и литературная история. Мое положение личное до того неделимо стойко, не по моему усилию, а по своей сути, что, я уверен, скорее вся церковь разъедется, рассыплется, как дресва (песок) из гранита (выветрившегося), чем я хотя на вершок сдвинусь с места. И пусть я негодяй, лом (“лом – всякий человек”); не во мне дело, а в моем вот тогда молящемся в церкви, я помню тот час свой, помню, что он был прав,

помню весь колорит правоты, вот этот смиренный с наклоненной головою, так хотящий бы поцеловать руку у <мо>лоденького священника, так слушающий дьячка. Все помню.

И

– Не надо!

– Не наш!

– Вон!

– Черт!

Тогда я ответил: – Черти!

Вот так просто! Теперь я Вам скажу другое: я верю, что со мною Бог, вот “как бы чувствую Его за пазухой”. До сих пор (50 лет) во мне сохранились это мое вечное трудолюбие, абсолютная трезвость мысли, спокойствие души, после – это малое; сохранилась (без преувеличения) моя скромность, просто “недуманье ничего о себе”, особенно никакого *нрзб.*, безграничная расположенность к людям (даже к врагам, напр/имер/ литературным), презирающим меня – (ей! эй!), простота, глубокая житейская наивность, и я думаю: “да неужто это от черта? Неужто со мною черт? Не явно ли, что Бог меня хранит, что он недалеко от меня. И прочее. И тогда резюмирую: думаю: в истории должно было что-то случиться “в роде меня”, дабы раскрылась какая-то (может и точь-в-точь так, как я думаю) неправда церкви и христианства, и вот все это, я, моя личная судьба. 1-й брак, – до того идеалистический, и 2-й вне всякой чувственности (тут интересные подробности: дело в том, что между 2-мя браками я в половом отношении “испортился”, стал импотентным – почти совсем: и когда произошел “духовный роман”, – я со скукою сказал невесте (ей 26 лет), что “неспособен”, “кажется совсем и вот-вот на доньшке”. Тогда она, моя самоотверженница – сказала, что это грустно конечно, но что она будет – жить со мною духовно, без сожития, и гасила мое отчаяние: когда потом я “расцвел” просто от здоровой и молодой женщины. Но этого возможность я тогда не знал) – все это устроено, создано Провидением, чтобы “вышло все, что вышло”.

Устал и пошел спать.

Друг мой: я уверен, что все это совершилось для “судьбы” и “истории”. И как мне никогда не приходилось излагать, т. е. вот особенно тогдашнего отчаяния в церкви, – то сохраните эти строки и по моей смерти».

Тут, собственно, нечего и комментировать. Разве что вспомнить то нежное, умиленное письмо, которое В. В. послал Страхову десятью годами ранее, с описанием всенощной во Введенской (тоже!) церкви в Ельце. И

сравнить с этим. Там было *вхождение* во храм, здесь – *выход* из него.

«Церковь сказала “нет”. Я ей показал кукиш с маслом. Вот и вся моя литература», – очень точно и афористично сформулировал он свою историю позднее.

Так из малого выросло великое, из частного общее, из личного – общественное, а вернее, для Розанова разницы между этими противоположностями не существовало. Отрицание церковными властями его нового брака, непризнание его жены и детей, его собственная семейная история стали маленьким прологом, одним из миллионов ручейков, ведущих к общенациональной смуте, которая в итоге смела Российскую империю, поколебала Церковь, но и саму розановскую семью уничтожила. Русский Иаков с его семейной драмой, если вспомнить столь драгоценную для Розанова историю богоизбранного народа, так и не стал русским Израилем, и его тяжба с Богом ни к чему путному не привела. В. В. не меньше другого своего великого современника заслужил горькой чести прозываться «зеркалом русской революции», однако складывается впечатление, что хотя у розановского восстания были вполне очевидные, понятные причины, цели его были столь же неочевидны. В самом деле, чего добивался он своей критикой исторического христианства и современной Церкви? Какую мишень хотел поразить? Какого искал результата? Не черной же консервативной революции в самом деле? А чего тогда? Реформирования государственных институтов? Решения семейного вопроса? Но для этого слишком сильный был замах, да и не в ту сторону, тем более что своего он частично добился, только для этого не надо было нигилистически крушить все подряд. Но, похоже, Розанову просто было важно высказаться, выплеснуть, взбудоражить, спровоцировать, ошпарить, будировать, дать выстрелить так долго сжимавшейся внутри его существа пружине, а к чему это приведет? Не его тема.

Интересно еще и то, что в «Опавших листьях», уже после того, как семейная ситуация опять же отчасти разрешилась в его пользу, автор взглянул на нее с другой стороны: «Но тут надо понять так: теперешнее духовенство скромно сознает себя слишком не святым, слишком немощным, и от этого боится пошевелиться в тех действительно святых формах жизни, “уставах”, “законах”, какие сохранены от древности. Будь бы Павел: и он поступил бы, как Павел, по правде, осудив ту и оправдав эту. Без этого духа “святости в себе” (сейчас) как им пошевелиться? И они замерли. Это не консерватизм, а скромность, не черствость, а страх повредить векам, нарушив “устав”, который привелось бы нарушать и в других случаях и для других (лиц), в случаях уже менее ясных, в случаях

не белых, а уже серых и темных. Пришлось бы остаться, с отмененным “Уставом”, только при своей совести: которая если не совесть “Павла”, а совесть Антониев, и Никонов, и Сергиев, и Владимиров, и Константинов (Поб.) то как на нее возложить тяжесть мира? “Меня еще не подкупят, а моего преемника подкупят”: и станет мир повиноваться не “Уставу”, а подкупу, не формализму, а сулящему. И зашатается мир, и погибнет мир. Так мне и надо было понять, что, конечно, меня за... никто не судит, и Церковь нисколько не осуждает..... и нисколько не разлучает меня с..... а только она пугается это сделать вслух, громко, печатно, потому что “в последние времена уже нет Павлов, а Никандры с Иннокентиями”. Потому что дар пророчества и первосвященничества редок, и он был редок и в первой церкви Ветхозаветной, и во второй Новозаветной. Аминь и мир».

Да, все так и было; они понимали, что порядки надо менять, но не решались, боялись тронуть, взять на себя ответственность, опасались последствий, осторожничали, выжидали, тянули время, резали хвост по частям, а может, просто потеряли всякую государственную силу и стали политическими импотентами, и тогда это решительно сделали за них энергичные красные дьяволята во главе с симбирским младшим братом, насчет своих моральных качеств ни разу не усомнившиеся, ничего не страшась, отменившие все таинства и упразднившие препятствия для моментального устройства личной и семейной жизни. Но так и хочется спросить Розанова в 1918 году, когда над Русью с грохотом опустился железный занавес и грянул Апокалипсис нашего времени, зато никто не мешал гражданам свободной России разводиться и жениться, сколько душевненьке угодно: этого ль Вы, Василий Васильевич, хотели?

Слово и тело

Однако это будет позднее, а в ту пору розановская мысль восстала не только против Нового Завета, Христа, монашества и скопчества, которое В. В. рассматривал как христианство, доведенное до логического конца, и впоследствии высказал все, что об этом думает, в своих известных сочинениях, а также в докладах на заседаниях Религиозно-философского общества. Сопутствующим явлением, своего рода физиологическим, психологическим, патологическим, философическим, онтологическим осложнением, ответвлением или разветвлением этого бунта в его творчестве сделалась *тема пола*. Более того, в каком-то смысле она ему предшествовала и этот мятеж подпитывала и им же вдохновлялась. Был ли вызван этот особенный интерес его брачными проблемами, особенностями склада души, физиологией, психологией, возрастом, детскими пороками^[31], автоэротизмом, травмами, комплексами, сексуальными расстройствами, генами, духом времени или же всем вместе взятым – сказать трудно. Когда в 1991 году на излете перестройки журнал «Литературное обозрение» выпустил номер, посвященный эротике в русской литературе, в нем были опубликованы три «распоясанных письма» Розанова к Зинаиде Гиппиус, которые в первую очередь интересны соединением «низа» и «верха».

«Там на том свете (ты грозишь) – хоть распори-пори меня, а на этом хочется поиграть “белыми грудями”. Да и не только поиграть – а больше. Да и не только грудями – а больше, – писал он в одном из них. – Ты это письмо “товарищам” не показывай: боюсь их гнева. И они слишком серьезны, без твоего милого вдохновенья к дурачествам, чему я так симпатизирую. Ей-ей: жизнь до того серьезна, и так заботна, что хочется *неудержимо* “распоясаться”... Да, Зина: сколько я думал: отчего я “это” все так люблю, и от юности, от отрочества так любил, и, ей-ей, благоговел пред “миррой сладкой, падающей с пальцев ее...” (Песнь песней). Отчего, Зина, скажи? Неужели это – не вечное? Неужели это *порок* и только? Неужели тут нет более глубокого основания и сущности? Дм. Серг. как-то сказал: “Да... Бог вышел из vulv’ы; Бог должен был выйти из vulv’ы – именно и только из нее”. Он теперь, подлец, это забыл, а тогда (года 3–4 назад) это меня поразило, и я “намотал себе на ус”».

Характерен ответ Гиппиус: «Вы, Вася, человек добрый, я это знаю, однако вы тоже и Васька Каин. Думаю, на том свете вас в конце концов простят, но сначала здорово сечь будут. И не то, чтоб насильно, а сами

будете просить: ох, дери меня, как сидорову козу, дери, пока я спокойствия душевного не получу, потому что не могу вынести, что я глупый, о такой простой вещи не догадался, человеческое с Божьим перепутал и концы в воду спрятал!»

Но опять же Розанов не был бы самим собой, если бы держал эти мысли внутри себя, с ними боролся, их стыдился, исповедовал, каялся, нет – это все не про него; он нес их в свои тексты, пускай и в других выражениях, яростно споря с теми, кто придерживался иной точки зрения. «Мы говорим о плотской любви, о половом влечении мужчины и женщины – да извинят нам термины, уже всюду начавшие повторяться, – писал он в статье с характерным названием «Семя и жизнь». – Это – “низменный инстинкт”, определяет его г. Вл. Соловьёв в статье “Судьба Пушкина” (“Вестн. Евр.”, сентябрь 1897 г.); “животное и грязное чувство, лживо изукрашенное поэтами”, определяет г. Меньшиков (“Элементы романа”, в “Книжках Недели” за сентябрь – октябрь, 1897 г.); “преступление, сообща творимое мужчиной и женщиной”, как формулировал уже давно, но памятно гр. Л. Толстой в “Крейцеровой сонате” (...) Жизнь. Она начинается там, где в существах возникают половые различия; и эти последние начинаются там, где появляется жизнь. Растения – и те не лишены пола, но совершенно лишены – камни. Глубоко поэтому, и как бы выявляет мысль всей природы, наименование подруги первого человека “Евою”, что значит одновременно и “женщина” и “жизнь”: т. е. указывает, что “женщина” – это и есть “жизнь”, что в ее половых отличиях, и соответственно, конечно, в половых различиях ее друга, и лежит тончайший субъективный нерв жизни. Но полнее и отчетливее – что же это такое? Не без причины пол ищет мрака, любит ночь. Это он сам есть темнота, но уже не окрест человека, но в человеке. Темнота не как грех – о, нет! – но как важное. Человек имеет день в себе, в своей организации, в своих проявлениях: ну, торговать, конечно, нужно днем – не просчитаешься; но придумывать рифмы – ночью, иначе ошибешься. На биржу мы спешим утром, но замечательно – в храм идем или ко “всенощной”, или к “утрене”, т. е. или перед полуночью, или сейчас за полночью; в обоих случаях по темным еще улицам и до восхода солнца. Пол – это начинающаяся ночь в самой организации человека: в том смысле, что ясно анатомическое и сухо анатомическое его расчленение теряет здесь ясность, сухость и вместе рациональность свою. Всё, приближаясь сюда, становится трансцендентно, т. е. не только окружено это трансцендентными по необъяснимости своей бурями, “огнем поедающим”, но и вообще как-то переливается в значительности своей за край только анатомических терминов. Это –

второе темное лицо в человеке, и, собственно, оно есть ноуменальное в нем лицо: от этого – творческое не по отношению к идеям, но к самым вещам, “клубящее” из себя “жизнь”; но оно так густо застлано от наших глаз туманом, что, в общем, никогда его не удавалось рассмотреть».

Эта, насыщенная философскими терминами, не самая известная, не самая радикальная розановская статья, опубликованная в 1897 году в «Биржевых ведомостях», была на эту тему первой или одной из первых, и посыл ее очевиден: свои права есть у дня, свои – у ночи, свои – у души, свои – у тела, и те и другие достойны признания и уважения, но общественное мнение признавать этого не хочет, загоняя телесное в подполье, в туман. За ней последовали другие, более определенные, резкие, провокационные, атакующие, и так совершилась своего рода «сексуальная революция» в творчестве философа, о чем известила на все времена своих читателей энциклопедия Брокгауза и Эфрона. В ней о Розанове в 1899 году вышла статья (что тоже было само по себе немалое достижение), в которой, в частности, говорилось: «Р. примкнул сначала к “Московским Ведомостям”, затем обнаружил довольно определенную славянофильскую окраску в духе К. Н. Леонтьева и, наконец, выступил решительным противником некоторых основных идей догматики. Статьи Р. о браке (1898) были поворотным пунктом в этом отношении. Много было сказано здесь такого, что повергало в неподдельное изумление как единомышленников, так и противников Р.».

Один из тех, кого Розанов неподдельно своими новыми взглядами действительно изумил, был его покровитель, земский педагог Сергей Александрович Рачинский, как мы помним, некогда аттестовавший свое «дите» как образцового, благочестивого православного церковного человека. Именно ему Василий Васильевич принялся излагать новые идеи в письмах из Петербурга. Вообще понять, для чего в качестве реципиента своих ошеломительных открытий философ пола избрал никогда не женатого, много лет ведущего полумонашеский образ жизни в смоленской глуши смиренного «сухаря» и во всех смыслах этого слова *ботаника* Рачинского, довольно затруднительно.

Сам Розанов, размышляя над их разногласиями, впоследствии писал: «Он – церковен, соблюдал все посты, и чтобы “вступить в распрю с Церковью” – это ему и на ум не могло придти. Я же своим положением семейным (женитьба от живой жены), самым фактом его, был приведен в положение спора, и такого, по страстности моего темперамента, что – или ей выжить и мне умереть (расстаться с женой и слабеньким ребенком) или мне жить – и тогда ей умереть. Я решил мстить за Варю и Надю. Во мне

была именно месть. Я ничего не хотел кроме мщения. Но “мщение” и сложное, огромное (повернуть все и вернуть к “культу фалла”, зерно язычества, зерно и юдаизма, “культ семени и крови” по ученым – стало приходить мне на ум к концу 1896 года; первые “ласточки” его – “Семя и жизнь”, “Смысл аскетизма”, особенно – “Кроткий демонизм”...»

Последняя статья, опубликованная сначала в 1897 году в «Новом времени», а после вошедшая в книгу «Религия и культура», обратила на себя внимание двух известных писателей.

30 марта 1899 года Чехов писал Розанову: «У меня здесь бывает беллетрист М. Горький, и мы говорим о Вас часто. Он простой человек, бродяга, и книги впервые стал читать, будучи уже взрослым, – и точно родился во второй раз, теперь с жадностью читает всё, что печатается, читает без предубеждений, душевно. В последний раз мы говорили о Вашем фельетоне в “Нов<ом> времени” насчет плотской любви и брака (по поводу статей Менышикова). Эта статья превосходна, и ссылки на ветхий завет чрезвычайно поэтичны и выразительны – кстати сказать».

Если вспомнить, что двумя годами раньше Чехов уподоблял Розанова могильной плите, заросшей мохом, ненавистью и обидой, то прогресс был налицо (хотя пройдет еще три года, и в письме Миролубову он назовет В. В. городовым, но потом похвалит за статью о Некрасове – словом, будет порозановски иметь на Розанова разные точки зрения). Однако на тот момент двум классикам, безусловно, понравилось. Иное дело Рачинский – настоящий школьный учитель, каким не сумел или не захотел стать Василий Васильевич. Когда петербургский журналист попытался в своих эпистолах заняться половым просвещением старшего товарища, а заодно поведал и ему печальную историю брака с Аполлинарией и второго венчания, Сергей Александрович дал своему подопечному суровую педагогическую отповедь.

«Дорогой Василий Васильевич.

С немалым затруднением, по возрастающей нечеткости вашего почерка, но и с глубоким интересом прочел я вашу скорбную повесть. Что сказать мне вам по ее поводу?

Именно по обстоятельствам, которые вы мне изложили, и по условиям вашей теперешней счастливой семейной жизни, и не следует вам говорить о браке, о половых отношениях в том изысканно-отталкивающем тоне, который вы себе усвоили. Предоставьте Zola et comr эти апофеозы плоти, эти возведения полового акта в какое-то всеобъемлющее таинство. Очень хорошо вам известно, что акт этот гораздо чаще бывает грязен, чем свят, и может быть освящен лишь великим целомудрием духа, при коем нет

никакой нужды в ваших психо-физиологических копаниях. Это-то целомудрие следует насаждать, а не колебать писаниями, подобными вашим.

Затем – в вашем письме проглядывает стремление обосновать ваши философские конструкции на том, что вы сами пережили. Но согласитесь, что частности вашей жизни и биографии в высшей степени случайны и исключительны. На таких данных ничего общего не построить. Не осуждаю вас, но не могу не осуждать попыток возводить в общее правило явления, столь исключительные и болезненные. Очень я рад, что узнал историю вашей жизни. Это дает мне право настойчиво повторить вам: бросьте всякие печатные толки о браке и половых отношениях. Пишите о вещах, относительно коих ваш кругозор не омрачен^[32].

Знаю, что редакции петербургских органов очень ценят и поощряют именно те ваши писания, которые я осуждаю. Но ведь это только потому, что от них пахнет клубничкой. Итак, будьте тверды и не гневите Бога, столь милостивого к вам... Дело моралиста – не подавление или апология этой похоти, а приведение ее в Богом указанное русло, ясно намеченное христианским учением о браке и вместе с тем естественное; а также признание тех освященных церковью исключений, в коих воздержание является не самоискажением, а подвигом законным... Умоляю вас, прекратите в ваших письмах ваши толки о поле, о церкви и наших законах о браке. Разбирать, опровергать этот поток парадоксов и ругательств, не имеющих ни малейшей фактической подкладки, кроме бывающих личных, и тогда заслуженных злоключений, – мне решительно некогда. Идут постройки, посадки. Начинаются экзамены. Ведь в вашу веру вы меня не обратите. Довольствуйтесь петербургскими дамами».

Вращение земли

Вероятно, трудно было бы дать более точный, одновременно язвительный и уважительный в духе христианской этики ответ, а кроме того, очень хороши тут постройки, посадки, экзамены и вы, Вас. Вас., со своими глупостями. Но Розанова это все взбесило, и в комментариях к их переписке и «Опавших листьях» он много чего сердитого про Рачинского, тогда уже покойного, написал. Возможно, что и знаменитое «Я не такой подлец, чтобы думать о морали», возникло в его голове уже тогда, когда Сергей Александрович поучающе заговорил про «дело моралиста».

Эта розановская агрессия позднее весьма огорчила издателя «Нового времени» А. С. Суворина. «Я прошу Вас перечесть то, что Вы написали о Рачинском, обзывая его Хлестаковым, Ноздревым, крепостником, лицемером и т. д. Конечно, он отвечать не станет, и на такие заушения обыкновенно не отвечают. Вы говорите, что он не знает народа, что он не был в избах, – единственно на том основании, что он не сказал о том в своей книжке. Вы читаете от его имени, влагая в его уста презрительные монологи к народу. Вы и сколько раз упрекаете его за то, что Богданов-Бельский писал его портрет. Вы ссылаетесь на каких-то священников, которые читали его книгу, и потому она скверная книга, точно священники – соль земли и авторитеты в педагогике... Неужели можно вылить ушат оскорблений на человека, который прожил двадцать лет в деревне, в школе, в постоянном общении с крестьянскими детьми? Я этого не понимаю».

Розанов правоту своего начальника признал, и это тоже, к слову сказать, драгоценнейшее качество нашего героя – признавать и исправлять свои ошибки. Публикуя в 1913 году суворинское письмо, В. В. снабдил его примечанием: «Не постигаю, как мог такую грубость допустить. Это – просто пошлость допустить такие слова о Рачинском; но в те годы я, по специальным поводам, был очень раздражен “против всех их” (Рачинский, Победоносцев, М. П. Соловьев)». А еще позднее, в 1916 году, публикуя письма самого Рачинского, написал: «Сергей Александрович Рачинский – тяжелая и непоправимая на мне вина лежит перед ним: перед его годами, заслугами перед Россией. Его “портрет en tout (полный рост)” один из самых красивых за весь XIX век. Да простит он меня с того света. Я истинно, истинно и глубоко перед ним виноват».

Но это все опять же случится позднее, а в ту пору разозлил В. В. не только скучный, пресный ортодокс. Характерна заочная полемика Розанова

с другим и куда более серьезным авторитетом его провинциальной поры Константином Леонтьевым. В 1915 году В. В. охарактеризовал те внутренние споры со своим кумиром так: «*Успокаиваться и отходить от Л[еонтье]ва* я начал только около 1897-го года, 1898 года, когда... *terribile dictu* начал отходить (дело прошлое и можно рассказывать) от христианства, от церкви, от всего “скорбного, плачущего и стenaющего”».

Леонтьев тут вообще очень важен, потому что, отталкиваясь от его философии, которая некогда елецкого педагога так увлекла, цитируя его слова: «“Я бы обрадовался секте скопцов”, – говорит Л-в в одном из приведенных писем», – Розанов переходил в наступление, вспоминая еще одного властителя русских дум конца века: «Но почему не взять секту обратную, столь же живучую, страстную, мистическую?.. В 1894 году, только что познакомившийся с Соловьевым и со мною, покойный Ф. Э. Шперк передал мне, не без удивления, весьма сочувственные слова Соловьева о принципе оскотпления как радикального средства отвязаться от угнетающей нас “плоти”. Да и в самом деле, к чему это вечное бегство от непобедимого врага, которого можно умертвить минутою боли? Какой выигрыш, какая свобода для духа!! “Бороться” с врагом?.. Но есть ли смысл в борьбе, когда в ней вечно бываешь побежден? Лежать под сидящим на тебе “бесом” (= плоть) – какая красота для праведника?! Одно движение ножа над тем, что должно умереть и к умерщвлению чего направлены все прижизненные усилия, что, наконец, все равно не живет, а составляет вредный придаток вроде червеобразного отростка слепой кишки, – это в самом деле мудрость! Соловьев, так же как и Леонтьев, как и заморивший себя постом Гоголь, не усматривали положительного, светлого и праведного содержимого в том, на что посягновение совершил уже Ориген. Между тем “мистицизм”, коего жаждал Леонтьев, да и все они три, мог двинуться и не по пути скопчества, но по противоположному пути, – к окончанию того “ледникового периода”, с которым мы сравнили весь круг скопческих идей. Тогда все пойдет не к ссыханию, не к отчаянию (психология их трех), а к расцвету, к дождю, к радуге, увиденной Ноем, и словам Божьим о ней: “вот тебе знаменье, что это не повторится еще”».

Или как цитировал Розанова в «Кукхе» А. М. Ремизов:

«В минуту совокупления, – сказал В. В., – зверь становится человеком».

– А человек? Ангелом? Или уж?

– Человек – Богом».

В сущности, вот конспект его философии просветления, освящения плоти, эроса, культа любви, половодья, плодородия, чадородия,

семейственности в противовес льду, аскезе и воздержанию, да и вообще любым «отклонениям» от полноценной семейной жизни и деторождения, что, как уже говорилось, имело прямое отношение и к Страхову, и к Рачинскому, и к Победоносцеву, и к Соловьеву, и к Леонтьеву. Ни у одного из этих замечательных мужей своих детей не было, и все же случай Константина Леонтьева был особенный, связанный не только с отсутствием семьи.

О склонности своего корреспондента к содомии Розанов писал Страхову еще в 1892 году: «Я спрашивал одного очень умного старого доктора о пороке К. Ник.; он мне сказал, что это необъяснимый порок, большею частью врожденный и непреодолимый. Он дал мне за прежние годы один том “Архива судебной медицины”, весь посвященный этой теме, где я прочел несколько посмертных признаний подобных людей, где они говорят о пробуждении в себе ненормальных инстинктов в 12–13-летнем возрасте и пр. У этих людей “мозг женщины в мужском теле” – говорит в объяснение один французский ученый. Это уродство, страшное, необъяснимое, ужасное – как и гермафродитизм. Я обрадовался очень этому объяснению, потому что оно успокоило мое сердце: Леонтьев был редко чистосердечный человек, с редкой отзывчивостью на всякую нужду, с любовью к конкретному, индивидуальному, с привязанностью к человеку, а не только к мозговым абстракциям. По письмам ко мне я успел положительно полюбить его. А грехи его – тяжкие, преступные грехи – да простит ему милосердный Бог наш; а главное – да простит ему его великую вину перед женой, неискупимую, страшную. Вот в том, что, будучи таковым, он все-таки женился и сделал несчастною неповинную женщину – его тягчайшая вина; верно, он думал исцелиться ею, но не исцелил, а другую погубил».

На это Страхов сердито отвечал: «О Леонтьеве я очень хорошо все знал, но не хотел говорить Вам; знаете: *de mortuis etc.* Вот он Вас обольстил своим умом и своею эстетичностью; между тем это одно из отвратительных явлений. Религия, искусство, наука, патриотизм – самые высокие предметы вдруг подчиняются самым низменным стремлениям, развратной жажде наслаждения и услаждения себя. И все это получает особый оттенок; в религии – “священное волшебство”, как прекрасно выразился Арх. Антоний, и сладострастная борьба между грехом и страхом; в науке – дилетантизм с подчинением любимым целям; в искусстве – услаждение всякою пакостью, мужеложством, роскошью, всякою внешнею красотой (интересно, что Леонтьев не имел никакого понятия о достоинстве стихов и даже о размере); в патриотизме – мечтания

об аристократии, о всякой власти и гордости и т. п. Мне известно немало людей подобного направления; таковы процветающие до сих пор кн. Мещерский, поэт Апухтин и пр. Другие идут в эту же сторону, но на полпути удерживаются совестью и умом. Лучше не буду никого наказывать. Меня очень возмущает это нравственное уродство, и я с ним никак не в силах помириться. И подобные господа осмеливаются нападать на Л. Н. Толстого и выставять его заблудившимся и вредным. Эти сгнившие сифилитики приходят в ужас от человека, у которого иногда на полчаса высыпает крапивная лихорадка».

Позднее Розанов написал об этих вещах в «Людах лунного света» – книге, к которой, несомненно, мысли о Леонтьеве его подтолкнули, и это важно подчеркнуть, потому что не только «проклятые» декаденты, не один лишь «порочный» Серебряный век, но и блистательная консервативная русская мысль вела нашего героя в «лунную сторону» и открывала ему ее глубокую историческую перспективу^[33].

«О Леонтьеве я все очень хорошо знал. Со слов Рцы (начало переписки с ним – из Белого), да отчасти и комментируя (в душе) слова Рачинского (С. А.): “Я отскочил от Леонтьева-студента с каким-то ужасом и омерзением”, – я, должно быть, сообщил Страхову, что Леонтьев был *utriusque naturae (sexus) homo* [обоих полов человек (*лат.*)], – с влечением к субъектам своего пола. Теперь, после “Люди лунного света”, я смотрю на это совершенно спокойно, с мыслью – “не мое!”, и далее этого не простирая осуждения. Это явление в античном мире было спокойно принято и вошло в открыто законом нормируемые явления; его философски и религиозно объяснял Платон, сам состоявший в категории людей этого цикла. Но затем под влиянием Библии, для которой, как для закона чадородия, люди *utriusque sexus* были в высшей степени враждебны (хотя в Талмуде есть одно место, говорящее о жителях Содомы, что “они забыли Бога *от счастья*”, и вообще говорящее о них (*без отворачивания*)... – под влиянием ужаса к Содому и Гоморре, точно занавес железный упал около этого явления, – и отделил его от зрителей, слушателей, от законодателей, царей, ученых, иереев. Явление, однако, продолжало существовать. Но оно никогда даже не называлось полным именем и вслух, – и это умолчание было всего более причиной такой страшной вражды к нему, вражды и презрения, злобы и омерзения, что этот “грех” стал тягчайшим отцеубийства и детоубийства. Затем были попытки защитить его, своим крахом еще углубления презрения к нему. Прошли, таким образом, тысячелетия абсолютной мглы над “мужелюбием” мужчин и “женолюбием” женщин».

Однако это миролюбивое и такое современное замечание относится к 1913 году, когда Розанов письма Страхова публиковал и комментировал, а пятнадцатью годами ранее мысль В. В. двигалась из «лунной мглы» в направлении противоположном, солнечном, в Египет и в Израиль, «в мир улыбок, смеха, зелени и молодости, в юный и утренний мир язычества». И дальше: «Могу сказать о себе: рожден был в ночь, рос в сумерках, стал стариться – стал молодеть». Это ликующее, влекущее к противоположному полу розановское мироощущение описал впоследствии с присущими ему образностью и красноречием С. Н. Дурылин: «Его “глазок” проникал в сердцевину жизни, в бездонный колодезь бытия, – и черпал, черпал оттуда тайну – простой бадьей на веревке, руками, старыми, с синими жилками, руками с табачной желтью на пальцах. Философы и профессора, разные – “ологи”, смотрят в колодезь в увеличительное стекло, освещают внутренность сруба электрическими фонарями, что-то измеряют, с чем-то сравнивают – и ничего не видят. Сердцевина бытия. Стержень вселенского вращения. Когда-то Писемский говорил с матерым цинизмом, с грубой точностью:

– Думаешь, земной шар вокруг оси вращается? Нет, врешь: вокруг женской дыры.

И это же В. В. сказал с такой нежностью, с такою глубокой радостью и святостью бытия, так сумел расположить вокруг этой ямины бытия и Элладу, и Иудею, и Египет, и Сикстинскую Мадонну, и Лермонтова, и “Коринфскую невесту”, все, все великое, прекрасное, все стержневое, первопричинное земли, – что до звезд возвысилась его хвала, до звезд синих и сочувственных, которые он так любил и в которые так верил». А в другом месте Дурылин не менее образно писал: «Жизнь – как бокастая баба: она перевертывалась с боку на бок, со спины на жопу, – а Вас. Вас. смотрел, не жмурил глаза, когда не “лик”, а “жопа” поворачивалась перед ним, и все повороты бытия любил, и каждым зачаровывался. Это называют “импрессионизмом мысли” – одни, переверточничеством – другие».

Легкомысленный волк

Разумеется, это все тоже было, мягко говоря, весьма и весьма удалено от христианства, и можно было бы сказать, что розановский путь – это путь Павла, ставшего Савлом, только едва ли сам В. В. с такой оценкой согласился бы. Для него новый ход его мыслей был не изменой прежним идеалам, но – развитием, движением вверх, вниз, вперед, назад, во все стороны. Розанов расширялся как сверхновая звезда после вспышки и, если можно так выразиться, хотел быть, да и в каком-то смысле был вопреки собственным утверждениям и Павлом и Савлом одновременно^[34], соединяя, неся в себе, а не взаимно уничтожая гремучую смесь христианства, язычества и иудаизма.

«...я молился двумя молитвами, так сказать на запад и на восток – безо всякой догадки о их противоречии, – писал он одному из самых важных его корреспондентов на рубеже веков П. П. Перцову^[35]. – В первый же раз когда я догадался, что христианство даже и отдаленно не имеет радости о детях (иначе как об учениках церковно-приходской школы), чувства семьи, да и вообще ничего египетского, – я вдруг проклял всю свою Саванароловскую проповедь, стал собирать разодранные “соблазнительные картинки” и не без бесовской улыбки, а частью с благочестием и во всяком случае с внутренними слезами стал ставить их в передний угол “образом”. Вот моя перемена. Перемена ли? Вы видите – почти нет».

Собственно смесь бесовского и благочестивого, ангела смеха и ангела слез, пререкающихся между собою, – все это очень розановское, интимное^[36], но не декларативное, как, скажем, у Брюсова в его знаменитых, горделивых строках про всюду плавающую свободную ладью. Розанов при всех фантастических полетах и заскоках своей мысли оставался в повседневной жизни человеком смиренным, мирным, богобоязненным и робким.

В этом смысле очень характерно несколько комическое воспоминание А. Н. Бенуа, относящееся к чуть более позднему периоду: «Сидели мы в тот вечер в просторном, но довольно пустынном кабинете Дмитрия Сергеевича, я и Розанов на оттоманке, Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна поодаль от нас, на креслах, а Александр Блок (тогда еще студент, как раз незадолго до того появившийся на нашем горизонте) – на полу, у самого топящегося камина. Беседа и на сей раз шла на религиозные темы, и дошли мы здесь до самой важной – а именно до веры и до

“движущей горами” силы ее. Очень вдохновенно говорил сам Дмитрий Сергеевич, тогда как Василий Васильевич только кивал головой и поддакивал. Вообще же настроение у всех было “благое”, спокойное и ни в малейшей степени не истерическое. И вот, когда Мережковский вознесся до высшей патетичности и, вскочив, стал уверять, что и сейчас возможны величайшие чудеса, стоило бы, например, повелеть с настоящей верой среди темной ночи: “да будет свет”, то свет и явился бы. Однако, в самый этот миг, и не успел Дмитрий Сергеевич договорить фразу, как во всей квартире... погасло электричество и наступил мрак. Все были до такой степени поражены таким совпадением и, говоря по правде, до того напуганы, что минуты две прошли в полном оцепенении, едва только нарушаемом тихими восклицаниями Розанова: “с нами крестная сила, с нами крестная сила!”, причем при отблеске очага я видел, как Василий Васильевич быстро-быстро крестится».

То был абсолютно естественный и органичный жест убежденного еретика, остававшегося в душе христианином. Да и вообще порывать со своими бывшими союзниками и соработниками заблудший В. В. не собирался, пребывая в убеждении, что и в церкви ему все его грехи и ереси прощают, поминают и числят по-прежнему своим.

Публикуя в 1913 году письма Суворина, Розанов не случайно сделал следующее примечание: «Но и Соловьев (от меня лично) и Победоносцев (через Рачинского) знали о *личном мотиве* этого “поворота всех мнений”, – и знали, что тут я нравственно прав, а в учреждениях и законах Церкви есть небрежная недоделанность, а может быть и неясность и более, чем только неясность, в самом *учении* и *духе*. Вообще же знали, что я нравственно прав: и как оба были очень нравственные люди, вполне благородные, то не поставили ни одного препятствия, ни какой “задоринки” мне в писаниях, хотя могли бы».

Так это или не так, вопрос спорный, во всяком случае, М. П. Соловьев (чиновник Синода, отвечавший за связь с печатью) предостерегающе писал Розанову 18 мая 1898 года: “Василий Васильевич! Под гнетом духа любодаяния пишете Вы последние статьи Ваши”^[37]. Да и Победоносцев отзывался об эволюции В. В. ничуть не лучше. «Розанов – образчик того, что может случиться с человеком без настоящей культуры и характера, когда он попадает из трущобного угла своего в пандемониум журнального писательства», – писал он Рачинскому в сентябре 1898 года, а позднее выразился и того резче: «Розанов, я думаю, близок к сумасшествию. Теперь он ходит в публичную библиотеку исследовать Сирийские и Египетские культы любострастия».

Возмущение обер-прокурора человеком, которого он не так давно хотел взять к себе на работу церковным цензором и всячески продвигать, понятно. Но сам В. В., несмотря ни на что, продолжал дружить с батюшками и любить церковный уклад, что очень точно подметила Зинаида Гиппиус: «Но к Розанову льнуло и православное духовенство, несмотря на его жестокие статьи по поводу христианства и Христа... чувствовалась в нем какая-то семейная теплота. А что он “еретик” – не беда: еретик всегда может вернуться на правый путь. И он, Розанов, считался в духовном мире немножко *enfant terrible*, которому многое прощалось... “церковники” – приятельствовали с Розановым, прощая резкие выпады по их адресу, вот почему: он, любя всякую плоть, обожал и плоть церкви, православие, самый его быт, все обряды и обычаи. Со вкусом он исполняет их, зовет в дом чудотворную икону и после молебна как-то пролезает под ней (по старому обычаю). Все делает с усердием и с умилением. За это-то усердие и “душевность” Розанова к нему и благоволили отцы. А “еретичество”... да, конечно, однако ничего: только бы постороже хранить от него себя и овец своих».

То же самое подтверждал и Николай Бердяев: «Розанов был врагом не Церкви, а самого Христа, который заморозил мир красотой смерти. В церкви ему многое нравилось. В церкви было много плоти, много плотской теплоты. Он говорил, что восковую свечечку предпочитает Богу. Свечечка конкретно-чувственна, Бог же отвлечен. Он себя чувствовал хорошо, когда у него за ужином сидело несколько священников, когда на столе была огромная традиционная рыба. Без духовных лиц, которые почти ничего не понимали в его проблематике, ему было скучно».

С другой стороны, розановские «находки» в Публичной библиотеке, так возмущившие Константина Петровича, изменили его положение в обществе. Консерватор, славянофил, ортодокс, каким он прибыл из провинции в Петербург, В. В. в общем-то никому особенно любопытен не был. Просто еще один. Да, задиристый, более яркий, более талантливый и радикальный, чем прочие, составивший себе определенную известность, и что? А вот Розанов язычник, Розанов антихристианин, египтянин, Розанов с темой пола, Розанов, по выражению Гиппиус в ее рецензии на книгу «В мире неясного и нерешенного», «великий плотовидец» – иное дело. Его высказывания, его выпады казались новыми, острыми, неожиданными, а главное – в высшей степени современными и вызвали огромный общественный интерес.

Это не значит, что В. В. «переобулся», как бы мы сказали сегодня, по расчету. По расчету он вообще не делал ничего, и никакой сознательной

стратегии, как мне представляется, у него не было. Опять же не Брюсов и не Мережковский. Суть Розанова – не столько в идеологии, сколько в сверхчуткой и подвижной реакции организма на воздействие внешней среды, и причина его эволюции заключалась в составе его личности, ее впечатлениях, в глубокой персональной обиде, а также в предлагаемых обстоятельствах, от которых он всегда сильно зависел, и не случайно писал Перцову: «Странно, я даже Михайловского крикуна стал любить; это оттого, что у меня нет тесноты в деньгах эту зиму (слава Богу!): но когда дома нет денег, а они необходимы – я ужасен, т. е. угрюм, темен и никого не люблю. Мой консерватизм тем объясняется, что в те дни было очень мне трудно жить, и я прямо всех винил и всех ненавидел».

В какой-то момент ему стало чуть легче, консерватизм улетучился, яко дым (но недалеко, чтобы всегда успеть вернуться), а вот последствия его переоценки прежних взглядов, его «полевления» и движения в сторону молодого древнего солнца оказались такими, каких, наверное, никто не мог ожидать, и в первую очередь он сам.

Розанов – взлетел!

Он больше не был страдающим интеллигентом, никто не мочился на его пухлые, сданные на вес книги, никто его не унижал, не подавлял, никто не посмел бы теперь презрительно писать о нем: «Какой-то Розанов, пишущий всего без году неделя, составивший себе скромную известность своими выходками мистического бреда...» Нет, отныне с ним по-настоящему считались, его покупали, о нем спорили. И те розановские сочинения, что благодаря Перцову стали выходить в Петербурге в самом конце девятнадцатого века, а уж тем более те, что появились в начале двадцатого, ждала иная участь, нежели у его первого философского труда, изданного за свой счет в 1886 году в Москве.

Новый Розанов цеплял, мог нравиться, не нравиться, с ним соглашались, а чаще нет, обзывались, плевались, оскорбляли, но – всё написанное им читали. Его нельзя было не заметить, пройти мимо, он будоражил, охотно поддавался на провокации и провоцировал сам, писал всё легче и виртуознее, и всё шире становился узкий круг людей, у которых его крамольные мысли встречали и сочувствие, и понимание и с которыми он странным образом входил в резонанс.

«*“Нерешенной” загадкой пола* все были отравлены. И многие хотели Бога для оправданья пола», – написала в своем дневнике начала века Зинаида Гиппиус, а много лет спустя в мемуарах развивала эту мысль: «Шел ли Розанов от Бога к полу? Или от пола к Богу? Нет, Бог и пол были для него – скажу грубо – одной печкой, от которой он всегда танцевал. И,

конечно, вопрос “о Боге” делался благодаря этому совсем новым, розановским; вопрос о поле – тоже. Последний “вопрос” и вообще-то, для всех, пребывал тогда в стыдливой тени или в загоне; как же могло яркое вынесение его на свет Божий не взбудоражить, по-разному, самые разные круги?»

И прежде всего – круги декадентские. Можно было бы сказать, что это они, русские «цветы зла», «мысленные волки» Серебряного века звероуловили отбившегося от консервативного стада, удалившегося из-за личных невзгод и дурного характера от общения со Христом, заблудившегося в петербургском тумане среди каналов, конок и газовых фонарей простодушного провинциала, заманили в свои обольстительные модернистские русалочьи сети, совратили и сбили с толку, когда бы не известно, чьи сети были шире и привлекательнее, кто кого уловил и кто первый сделался декадентом.

«...возникло слово “декадент”, и я тоже был из первых», – писал он позднее в «Уединенном», а в письме Перцову признавал: «И я (сам декадент, конечно) – узнаю “родные души”, узнаю – безгласно, без говора, без доказательств...»

Психологически это очень понятно! Василий Васильевич Розанов был декадентом от юности своей, от бедного детства, отрочества, от Костромы, Симбирска, Нижнего, от своей несчастной матушки, за которой был вынужден ухаживать, от садиста семинариста Ивана Воскресенского и «хлыстовской богородицы» Аполлинару Сусловой. Вся его жизнь, его воспитание, его взросление, его впечатления и ощущения, его консерватизм и славянофильство были декадентскими по духу и таковыми оставались до конца дней. Розанов идеально совпал со своим временем, родился не раньше и не позже и шел по жизни, принимая и не принимая, вбирая и отталкиваясь от всего, что попадалось на его пути. Все было ему позволительно и все полезно, все вызывало в нем страшный интерес, жизнь будоражила и кружила голову этому «вечному мальчику», который и жил на полную катушку, как и душа, и тело просят («Увидишь крест – перекрестишься. Увидишь груди – потрогаешь. Вот моя (и всемирная) “натуральность”»), – исчерпывающе описал он самого себя позднее в «Мимолетном»), и лишь хотел казаться безвольным, пассивным, ватой, как себя впоследствии аттестовал. Но нет, ничего подобного – самоволия, самоуправства, самолюбия, самообладания, самоотверженности, самолюбования, самоуничтожения и всяких прочих «само» у него было более, чем достаточно.

«...от детства 3–12 лет в Костроме и по сей день – какая же это fuga

самоуединения, самоожесточения, самопрезрения и вражды, вражды, вражды... с просветами умилений, слез прощения, – писал он Перцову. – Вот моя психика духовного сластолюбца, – и вместе духовного самоуправца... Но чудовищно, что это “самоуправство” соединено с ужасною хрупкостью души: нет менее твердого, более раба впечатлений, человека, чем я».

И, конечно, петербургские декаденты, с кем он познакомился не позднее весны 1897 года (известны письмо Гиппиус Розанову от 11 апреля 1897-го, в котором она «от имени всей нашей маленькой колонии» выражает «особенную радость по поводу Вашего приглашения», и письмо Розанова Перцову, где он пишет о Мережковском, что «мы провели вечер в очень интересной беседе, с полуслова понимая друг друга»), были сильнейшим из его впечатлений. Эти странные новые люди с их дурацкими забавами, спорами, розыгрышами, поисками и экспериментами выглядели намного интереснее правильных консерваторов. Помимо личных счетов, материальных претензий, обид и обманутых ожиданий поздние славянофилы были в розановских глазах стары душой, эпигоны, унылые бездари и неудачники^[38], а декаденты, которых он еще совсем недавно, по собственному признанию, «представлял какими-то онанистами-гадами», оказались молоды, нахальны, успешливы. А главное – одарены, и, как невероятно талантливый человек, сам он почувствовал свое с ними сродство, что было гораздо важнее любых идей. «Переделка позитивистского человека в декадента есть самое замечательное, что я пережил или зрителем чего Бог дал мне быть. Это – перелом, и он не меньше, чем от католичества к реформации».

«Да, батюшка, я стал любить декадентов, – писал Розанов Перцову. – Они своими “фиолетовыми руками” сделали то, чего не мог сделать Катков своими громами, Страхов своей рассудительностью, образованностью и тихой борьбой. Потянуло новым в воздухе, мы входим в эпоху “тривиум” и “квадриум”, т. е. III–VI–VIII века по Р. Х. Все сумеречное и неясное нам нравится, все Аракчеевско-Спенсеровски ясное – противно под самой язвительной для них формой: оно не опасно, не враждебно, оно просто скучно. Собственно я был яростным консерватором не по любви к консерватизму, но по ненависти к либерализму... Но видя, что “фиолетовые руки” восторжествовали и либерализм сам “спасается куда можно” – я становлюсь внутренне свободным. Да, больше сумрака, больше неясности! больше поэтического, больше святого! К черту политика и да здравствует арфа!»

А позднее выразился о «новых людях» еще более отчетливо: «О

декадентах Павел Александрович Флоренский^[39] впервые сообщил мне “с ног сшибательную вещь”, которая и в голову ни мне и никому в мире не приходила, что когда впервые стали попадаться на глаза ему декадентские “странности”, то он будущему епископу Евдокиму, а тогда ректору Духовной Московской Академии и редактору “Богословского Вестника” читал их элементарности и бессмыслицы – и *сравнивал* их с “продуктами раннего христианства”, египетского отшельничества и прочее, говоря “ведь это по стилю души – одно и то же”, то ректор был изумлен и сказал: “конечно, это – один строй и музыка души”. А, батенька? И вот, входит ко мне П. П. П. “и прочие” – и я (сам декадент, конечно) – узнаю “родные души”, узнаю – безгласно, без говора, без доказательства, и хотя мы с “Дмитрием Сергеевичем” – рассорились, но в сущности-то ведь мы – одно и то же. Флоренский, конечно, тоже декадент и слишком декадент. Он как-то сказал мне (тоже – удивительно!): “я не считаю себя ни умным, ни замечательным человеком, но новым человеком – считаю”».

Вот так – декаденты – чуть ли не первые христиане, и именно об этом, кстати, писала в своем раннем дневнике Зинаида Гиппиус, упоминая и Розанова:

«В октябре тысяча восемьсот девяносто девятого года, в селе Орлине, когда я была занята писанием разговора о Евангелии, а именно о плоти и крови в этой книге, ко мне пришел неожиданно Дмитрий Сергеевич Мережковский и сказал: “Нет, нужна новая Церковь”.

Мы после того долго об этом говорили, и выяснилось для нас следующее: Церковь нужна, как лик религии евангельской, христианской, религии Плоты и Крови.

Существующая Церковь не может от строения своего удовлетворить ни нас, ни людей, нам близких по времени.

После того мы поехали в Петербург. Но медлили говорить с другими.

Однако я сказала Дмитрию Сергеевичу: поговори. Потому что мы собирались уехать на целый год.

Он написал два письма: одно Дмитрию Владимировичу Философову, а другое Василию Васильевичу Розанову, без определенных объяснений, а лишь с намеками.

И было у нас два разговора: один с Дмитрием Владимировичем Философовым, а другой с Василием Васильевичем Розановым.

Оба они мысль о Церкви приняли к сердцу, хотя и не одинаково, а каждый сообразно своему существу. Розанов все потерял, кроме жизни, искал, но не знал, хочет ли принять Христа (...)

Четырнадцатого сентября девятисотого года приехали мы, я и

Дмитрий Сергеевич, в Петербург, где нашли дела людей, ищущих веры и недовольных, в прежнем положении, а сочувствие единомышленников – ослабленным и охолодившимся.

Розанов, занятый своими мыслями, усмотрел опасное в тайне, о которой мы просили, и, тайны не признавая, открыл кое-что, по-своему объяснив, жене. И она ему не советовала говорить с нами».

Новое время

Об отношении Варвары Дмитриевны к духовным поискам ее супруга – чуть позже, а еще одним человеком, который в те же годы зорко приглядывал за золотым пером «выходца из мерзости запустения» (еще в 1893 году он написал Розанову: «у Вас есть имя»), в своей знаменитой газете печатал и платил очень хорошие гонорары и кого сам В. В. по недоразумению назвал некогда «ничтожным», но потом свое мнение резко переменял, был никакой вовсе не декадент, но, наоборот, вполне себе консервативный издатель Алексей Сергеевич Суворин. Кто знает, возможно, именно розановская провокационность, отчаянная смелость, смесь противоположных начал и война против всех и вся и стала для него главным аргументом при принятии кадрового решения. При этом они вовсе не были полными единомышленниками, и в самом жгучем для Розанова вопросе Суворин придерживался иных взглядов.

«Из крупных и памятных вещей приведу весь вопрос о разводе, который я много лет проводил в “Новом Времени”, – вспоминал Розанов позднее. – Суворин много о нем говорил со мной, и у него сочувствия к разводу не было. Он был к этому спокоен или чуть-чуть даже враждебен. Уже по тому враждебен, что это задевало Церковь, которую он любил по памяти матери-протоиерейши (о ней он много рассказывал). Но, видя, что это меня “очень забрало”, да и убеждаемый (в разговорах) примерами, случаями, какие я ему рассказывал, он пропустил на страницах газеты многолетнюю борьбу за развод».

Встреча с Сувориным была для нашего героя подарком судьбы, как когда-то знакомство со Страховым, с Леонтьевым и Рачинским, а в житейском, материальном смысле, пожалуй, еще важнее. Именно издатель, который прямо заявлял: «Но я до могилы останусь верным своему правилу: не насиловать волю сотрудников», – был нужен Розанову. И именно такой отчаянный журналист был нужен и самой знаменитой российской газете, чтобы привлекать новых и удерживать старых читателей. Весной 1899 года Суворин предложил Розанову перейти в постоянные сотрудники редакции «Нового времени». «Не знаю, как Бога благодарить, и какое горячее сказать Вам спасибо за устройство меня в “Нов. Вр.”», – отвечал ему В. В. – Ведь я все нервы вымотал с большой семьей на 150 руб. жалованья, когда эти самые “150 р.” получал одинокий, в уездном городе, в 1-й год государств, службы».

«Вот почему за спасенье и доброту я прямо люблю Суворина: славянофилы даже не пернули, хотя изо дня в день, живя на одной лестнице, прямо видели мои страдания и из-за нужды литературную гибель – последней даже радовались. Это цыганская сволочь. Ну – тяжелые воспоминания. Теперь светлее», – писал он позднее Перцову.

Заключенный между хозяином и работником договор (3000 рублей в год постоянного жалованья плюс 15 копеек за строку статей, заметок и фельетонов, ежегодный полуторамесячный отпуск с сохранением жалованья, обещание «любовно хранить интересы друг друга, делая все к возможному обоюдному споспешествованию») позволил чиновнику особых поручений VII класса Государственного контроля В. В. Розанову оставить ненавистную государственную службу, этот «скотски-жульнический вид существования», а – «служи бы я дальше в Контроле или учитель был – я бы неизбежно помешался и был недалек от этого. Суворин немедленно меня отправил отдыхать в Италию, дав (подарив) 1000 руб. Я еще ничего у него не наработал и не заработал. А когда я зашел “наверх” поблагодарить и в конце “болтовни” стал говорить благодарность – он не понял, о чем я говорю (т. е. забыл свое назначение и доброту)», – вспоминал В. В. в «Мимолетном».

Так наш герой, наконец, смог целиком посвятить себя журналистике, о которой столько насмешливых и даже оскорбительных слов потом произнесет, называя газеты печатной водкой («Проклятая водка. Пришло сто гадов и нагадили у меня в мозгу... *Печать* – это пулемет, из которого стреляет идиотический унтер»), и можно представить, с какой величайшей радостью, с каким наслаждением сорокатрехлетний философ послал Счетную палату Российской империи, госзакупки, борьбу с коррупцией и лично Тertia Ивановича Филиппова (которого в этой коррупции не раз, справедливо нет ли, подозревал) по известному адресу и сделался вольным тружеником пера. Может быть, в тогдашней России самым вольным во всех смыслах этого слова.

В. В. писал много, очень много. По своей плодovitости, трудоспособности, неутомимости и вместе с тем неиссякаемой одаренности Розанов в Серебряном веке – чемпион. Никто с ним не сравнится! Каждодневный, но при этом едва ли каторжный труд газетного поденщика, ставшего или, вернее, так – не перестававшего при этом быть великим русским мыслителем. Обладатель не менее великолепной, чем у В. В., литературной фамилии Юрий Николаевич Говоруха-Отрок жестоко ошибся, когда писал Розанову о его якобы невыносливости и неспособности прожить в столице журналистским трудом. Ничего

подобного! У его адресата были и силы недюжинные, и поразительное умение писать с легкостью необыкновенной (недоброжелатели потом назовут эту легкость «словесно-духовным поносом», «словоизвержением» – но попробовали бы так сами!) на любые интересующие его темы, а интересно ему было – **все**.

«Я чувствовал себя “грешным”, когда “не пишу”, и, по правде, таких грехов у меня не было – я вечно писал», – вспоминал он в «Сахарне» и действительно писал безо всякого труда, без усилий, без редактуры, не задумываясь, не мучаясь в поисках нужного слова, ни на чем не экономя; писал, как выразился Павел Флоренский, пальцем, и этот палец очень долго не уставал, а точнее, уставал, конечно («устал» – одно из самых часто встречающихся слов в концовке розановских писем), но обладал поразительной способностью быстро восстанавливаться – недаром позднее Розанов скажет в «Опавших листьях», что секрет писательства на кончиках пальцев.

«У него были очень характерные и интересные руки: пальцы были не длинные, но с очень выразительным окончанием с выпуклыми крепкими ногтями, несколько утонченными к краям, и как бы созданные для творческой писательской работы», – писала в мемуарах дочь Розанова Татьяна Васильевна.

«Меня поразили дрожащие кончики пальцев, как жирные десять червей, он хватался за пепельницу, за колено З. Н., за мое...» – недобро вспоминал Андрей Белый, хотя когда-то в письмах Блоку отзывался о Розанове не без уважения^[40], а сама Зинаида Николаевна восхищалась в своих воспоминаниях: «Писанье, или, по его слову, “выговариванье”, было у него просто функцией. Организм дышит, и делает это дело необыкновенно хорошо, точно и постоянно. Так Розанов писал, – “выговаривал” – все, что ощущал, и все, что в себе видел, а глядел он в себя постоянно, пристально... Писать Розанов мог всегда, во всякой обстановке, во всяком положении; никто и ничто ему не мешало. И всегда писал одинаково. Это ведь не “работа” для него: просто жизнь, дыхание».

Еще более характерное свидетельство о розановской «кухне» (или, может быть, «спальне») можно найти в ремизовской «Кукхе»: «В. В. Розанов сказал: когда он в ударе и исписанные листы так само собой не просохшие и отбрасываются, у него *это* торчит, как гвоздь».

«Он не стеснялся, если нужно было (по ходу мысли), касаться “альковных тайн”, а однажды поведал, что когда пишет, то “для вдохновения” держится левой рукой за “источник всякого вдохновения” (“лучше пишется”)), – подтверждал сие обстоятельство Эрик Голлербах.

Но, пожалуй, самое красочное описание всех тайн и превратностей розановского метода, его волшебной музыки и экстатических состояний можно найти, как всегда, у С. Н. Дурылина (цитирую по «Розановской энциклопедии»): «В. В. Розанов говорил Садовскому: “Когда я пишу, у меня член стоит (слышал от Садовского)... А В-й В-ч? Ну какой же он писатель? То, что он сказал Садовскому, верно: у него не писательство (чернила! – сажа, разведенная в воде!), а совокупление с человеком, с природой, с миром, с Богом (он и сам говорил, что его чернила разведены на человеческом семени). Оттого... оттого он и не писатель, и история литературы всякая изблюдает его из себя; оттого он был, есть и будет такой чужой писателям: он пишет, когда у него “стоит”. Они все – когда у них не “стоит”».

И отсюда совершенно понятна розановская мысль в «Уединенном»: «...дураки этикие, все мои сочинения замешаны не на воде и не на масле даже, а на семени человеческом».

Ну и как было Суворину такого сотрудника упустить?!

Свой среди чужих

Собственно начиная именно с этого момента – перехода в «Новое время» и тесного знакомства с петербургскими декадентами, что уже само по себе было оксюмороном, лишь одному человеку доступным (характерна запись в гиппиусовском более позднем мемуаре: «Мы все держались в стороне от “Нового времени”; но Розанову его “суворинство” инстинктивно прощалось: очень уж было ясно, что он не “ихний” (ничей): просто “детишкам на молочишко”, чего он сам, с удовольствием, не скрывал»^[41]), он и становится окончательно тем самым Розановым великим и ужасным, о котором до сих пор отчаянно спорят, называют русским Фрейдом, русским Ницше, сравнивают то с Передоновым, то со старшим Карамазовым, то с Хлестаковым, то со Свидригайловым, то со Смердяковым, то с Голядкиным, то с Башмачкиным, то с Великим Инквизитором, то со всеми ими вместе взятыми – он и становится тем Розановым, без которого невозможно представить себе русскую литературу. Все, что было с ним раньше, – Ветлуга, Кострома, Симбирск, Нижний, Москва, Брянск, Елец, Белый и ранний чиновничий Петербург, Страхов, Леонтьев, Соловьев, Победоносцев, Филиппов, Рачинский, Шперк, Рцы, Говоруха-Отрок, славянофилы, – это была своего рода многоэтажная прогимназия, где его учили, наставляли, мучили, дрючили, испытывали, гнобили, покровительствовали и приуготовляли к тому, чтобы войти в новое столетие новым самостоятельным человеком.

Как новый человек он окончательно покинул угрюмую славянофильскую лестницу на петербургской окраине, переселился на респектабельную Шпалерную улицу в просторную квартиру с пяти комнатами с окнами на Неву и Петропавловскую крепость и завел привычки, соответствующие его новому положению.

«Обыкновенно, в час дня, подавался завтрак – котлеты или что-нибудь легкое. После завтрака отец ложился в кабинете спать на кушетку, мама накрывала его меховой шубой, и в квартире водворялась полная тишина, – вспоминала Татьяна Васильевна Розанова. – Обед состоял из трех блюд. Щи или суп с вареным, черкасским мясом (часть мяса 1-го сорта). Мясо из супа обыкновенно ел только отец, и обязательно с горчицей, и очень любил первое блюдо. На второе подавалось: или курица, или кусок жареной телятины, котлеты с гарниром, изредка гусь, утка или рябчики, судак с отварными яйцами; на третье или компот, или безе, или шарлотка; редко

клюквенный кисель. После обеда мы должны были играть в детской, а отец шел заниматься в кабинет, разбирать монеты или читать... Домашней прислуги было трое: кухарка, няня и горничная; дрова носил на 5-й этаж дворник, белье большое приходила стирать прачка раз в месяц, маленькие стирки лежали на обязанности горничной. Горничная должна была по утрам чистить всем обувь и пальто, открывать парадную дверь на звонок, подавать к столу кушанья, мыть с кухаркой посуду; по утрам мести и вытирать пыль в комнатах; раз в месяц приходил полотер и натирал полы (папа этот день очень не любил и уходил из дому куда-нибудь); глажение всего белья лежало на горничной».

Но ограничить жизнь домашним кругом В. В. не захотел. Он позировал Баксту, посещал разнообразные литературные собрания, нахамив на одном из них Федору Сологубу^[42], и стал устраивать воскресные обеды с литераторами у себя.

«Квартира была большая, светлая, с видом на Неву, – вспоминал один из них. – Гостиная и кабинет завалены были книгами; много редких фотографий; какие-то особенно православные иконы, статуэтки Изиды, католической Мадонны. Все как-то значительно, необыденно, какая-то глубокая культура в рамке русской крепкой семейственности. Это было то, по чему мне тосковалось, и я стал аккуратным посетителем розановских воскресений, изредка заглядывал к Вас. Вас. и в другое время. В столовой в воскресные вечера был всегда изящно сервирован чай. На столе торты, вино, фрукты. За самоваром обычно сидела жена Розанова – Варвара Дмитриевна или его падчерица – Александра Михайловна Бутягина (автор нескольких талантливых беллетристических произведений)^[43]. На другом конце большого стола, поджав под себя одну ногу и непрерывно куря, восседал Василий Васильевич. Шел ему тогда 48-ой год. Вот его внешний облик: рыженький, худой, небольшого роста, с маленькими близорукими рысьими глазами, чуточку лукавыми, с высоким голосом и с какими-то немножко шаркающими мягкими шажками. Был он застенчив и не любил больших речей, публичных выступлений. Беседа больше шла около него – с ближайшими соседями по столу. Остальные либо прислушивались, либо вели свои разговоры. Общество у В. В. бывало достопримечательное: кое-кто из Дух. Академии и Рел. – фил. общества, из редакций перцовского “Нового пути”, “Мира искусства”, а изредка, очень изредка кто-нибудь из “Нового времени”. Там его недолюбливали. А некоторые, как Меньшиков и Буренин, и вовсе не переносили. Понимал и любил его один старик Суворин, также отогревший и Розанова, изнывавшего в провинции в

бедности и не на любимом деле, как в свое время пригласил Чехова. Много за это отпустился грехов А. С. Суворину. Встречал я у Розанова Мережковских, Бердяева, Ремизовых, Белого, Сологуба, Вяч. Иванова, Бакста, о. Петрова, И. Л. Щеглова, Е. А. Егорова. Бывала и молодежь, студенты, литераторы: Пяст, Евг. П. Иванов, Н. Н. Ге, музыканты, В. В. Андреев, Зак. Бывали и просто молодые люди. Вспоминаю прелестную барышню, дочку – *horribili dictu* – какого-то чиновника из знаменитого департамента у Пантелеймоновского моста. Розанов звал ее Венерой – и она действительно была очаровательна. Очень преданы Розанову были молодые Ге и Иванов. В. В. среди них напоминал греческого философа в своей гимназии. Они вопрошали – а он разрешал все их недоумения. Беседы тянулись долго – часов до 2-х ночи».

Можно предположить, что эта жизнь ему невероятно нравилась. Это была действительно та гимназия, в которой он готов был учительствовать и проповедовать бесконечно. Его стихия, в которой люди были ему интереснее, чем тексты, и хотя многие вещи он и его «ученики» понимали по-разному, да и вообще представлять русский модернизм как некое единое стройное учение еще более бессмысленно, чем считать таковым позднее славянофильство, тем не менее именно Розанов вместе с Мережковскими создал знаменитые Религиозно-философские собрания – площадку диалога Церкви и интеллигенции, просуществовавшую два с половиной года с весны 1901-го по осень 1903-го, покуда ее не упразднил Победоносцев. История этих собраний, дискуссии, доклады (Розанов свои не читал, волновался – поручал другим, а сам слушал с места) много раз описаны, как прекрасно описан и сам Розанов той поры. О нем можно прочитать замечательные воспоминания Бердяева, Бакста, Андрея Белого, Бенуа, Зинаиды Гиппиус, которые рисуют великолепный образ, чаще отталкивающий, реже обаятельный, как, например, в простодушных строках П. П. Перцова: «Сперва он тоже побаивался этих “декадентов”»: “Вы видели, какая у них люстра? – боязливо спрашивал он меня (у Дягилева висела резная люстра в форме дракона). – Разве Страхов пошел бы к ним больше одного раза?” Но Розанов ходил и раз, и два, и десять, и пятнадцать – и наконец убедился, что Дягилев, Философов, Александр Бенуа, Бакст, Нувель, Мережковские – самая естественная его аудитория и самые близкие попутчики. Именно на встречах с ними, под страшной люстрой, он привык развивать вполне откровенно весь ход своих идей; здесь он получал уверенность в себе после назидания М. П. Соловьева или благодушно-импрессионистической беседы А. С. Суворина. И этот кружок, конечно, первый понял, кого он имел в лице Розанова».

С последним утверждением Петра Петровича можно поспорить хотя бы потому, что цену Розанову в самом прямом и насущном смысле этого слова назначил именно Суворин, а вовсе никакие не Дягилев^[44], Философов и компания, и работавший бесплатно в декадентских «Вопросах жизни» В. В. этого никогда не забывал. Когда издатель «Нового времени» увеличил своему сотруднику оклад до трехсот рублей, Розанов написал ему: «Приношу Вам самую горячую благодарность за повышение гонорара, и приношу эту благодарность от детей своих и усталой жены. Дай Бог мне на деле отплатить Вам за нее, т. е. хорошо и удачно, счастливо работать для Вашей газеты. Так как этот шаг Ваш был чисто добровольно, не связан ни с какою нуждою собственно для Вас, то тем паче я ценю свободное движение Вашего сердца. А в скольких “высоких богословах” я обманулся в жизни, в “высоких христианах”; и вот мне протянул руку помощи человек, который никогда не говорил о своей религиозности».

И после смерти Суворина вспоминал: «Бедный и милый Суворин. Вечная ему память. Дети мои никогда не должны забывать, что если бы не он, я при всех усилиях не мог бы дать им образования. И бедные дети, эта милая Таня и умный Вася, – жались бы в грязных платицах в углу, без книг, без школы».

Однако с декадентами он тогда, действительно, дружил очень, и в качестве самой яркой детали той пестрой, жутко мутной, нездоровой (хотя когда какая эпоха здоровой была?) и все же бесконечно интересной поры я бы остановился на истории, случившейся в Петербурге белой майской ночью 1905 года на квартире поэта Николая Минского, тем более что этот сюжет отзовется в розановской публицистике, посвященной делу Бейлиса. Но это случится позднее, а пока обратимся к письму поэта Евгения Иванова его доброму другу Александру Блоку.

Мистерия

«Милый Сашура.

Пишу тебе о некоторого рода событиях, происшедших в городе в белые ночи по отъезде твоём. Как я уже говорил Александре Андреевне у Минского, по предложению Вячеслава Иванова и самого Минского было решено произвести собрание, где бы Богу послужили, порадели, каждый по пониманию своему, но “вкупе”; тут надежда получить то религиозное искомое в совокупном собрании, чего не могут получить в одиночном пребывании. Собраться решено в полуночи (11 ¹/₂ ч.) и производить ритмические движения, для расположения и возбуждения религиозного состояния. Ритмические движения, танцы, кружение, наконец, особого рода мистические символические телорасположения. Не знаю, в точности ли так я передаю, но смысл собрания, предложенного Минским и Ивановым, в воскресенье 1 мая у Розанова был именно таков. Собрание для Богообручения с “ритмическими движениями”; и вот еще что было предложено В. Ивановым – самое центральное – это “жертва”, которая по собственной воле и по соглашению общему решает “сораспяться вселенской жертве”, как говорил Иванов; вселенскую же распятую жертву каждый по-своему понимает. “Сораспятие” выражается в символическом пригвождении рук, ног. Причем должна быть нанесена ранка до крови. Минский в конце сказал, что к себе он никого не приглашает, а если кто желает, пусть приходит, Английская набережная дом № 5. Просил соблюсти все сказанное в тайне.

2 мая действительно собрание состоялось. Я узнал это вчера от падчерицы Розанова Александры Михайловны. Я рад, что узнал об этом именно от нея, человека молодого, искренне жаждущего найти то дорогое, утерянное счастье жизни, и в то же время склонного к осмеянию всякого рода таинственных мистических действий. Хотя сам я не пошел на это “собрание”, но от души желал им всякого успеха, желал, чтоб им удалось действительно в единстве, вкупе пребывании найти единство веры в незнанных верах и почувствовать богобратство и богосестринство свое: и знаешь что, им немного это удалось. Получился некоторый плюс, о котором Ал. Мих. говорит совершенно серьезно; получилось какое-то любовное единство, некая особенная близость, которая продолжалась на другой день, когда они встречались в редакции: совершенно посторонние люди вдруг стали близкими. Я не сомневаюсь в искренности Ал. Мих., а если правда

то, что получилась эта особенная близость, то уж это очень много, потому что это плюс. И Розанов сам совершенно серьезно, глубоко проникновенно говорит об “этой ночи”. “Мы бы опять с Шурой (падчерица) пошли, но Варенька (жена) не выносит этого и заболела оттого, что мы ходили”.

Ну а что же было?

А. Мих. пригласила с собою одного милого и интересного молодого человека, бывающего у них, музыкант, ученик консерватории, блондин-еврей, красивый, некрещеный; он незнаком с Минским, а пошел только по приглашению Ал. Мих. Был Бердяев с женой, Ремизов с женой, Сологуб, Розанов, Венгеровы оба, кажется, Мария, Минские и Иванов Вяч. с женой. Последняя была в красной рубаше до пят, с засученными по локоть фасонно рукавами (вещь рискованная – балаганом пахнет). Вечер начался с того, что ели и пили в столовой чай и печенье. Розанов прервал говорить, ну что же, господа, мы все здесь сидеть будем да болтать... и пошли в зал. Сели на пол прямо, взявшись за руки. Огонь то тушили, то снова зажигали, иногда красный. Сидели, сидели, вдруг кто-то скажет “ой, нога затекла”. Смех. Потом “ой, кто-то юбку дергает”. Смех. Ал. Мих. вспоминает все это с содроганием. Говорит, Минский был ужасен. Тишина не делалась. Больше всех смеялся Бердяев, как ребенок смеялся, это – хорошо. Жена Бердяева произвела на Ал. Мих. сильное впечатление своей религиозной серьезностью и силой: накануне у Розанова она совершенно отрицательно отнеслась к этому собранию, называя искусственными самовозбуждениями, ненужными тому, кто верит, и смешными. И вот это опять важно, она была серьезна. Больше всего делал и говорил Иванов. Он был чрезвычайно серьезен, и только благодаря ему все смогло удержаться. И сиденье на полу с соединенными руками произвело действие. Кажется, чуть не два часа сидели. И вот тогда решили после объяснения начать избирать жертву. Да, забыл, что во время сидения в комнате каждый менялся местами со своими дамами. Потом вышли в другую комнату. Потом стали кружиться. И Ал. Мих. говорит, ничего не вышло: “Котильон”. Воображаю жену Иванова, ты ведь видел ее, в красной рубаше, полную, плечистую, вертящуюся. Потом вот о жертве и избрании жертвы, которая “сораспалась” бы. И как только спросили “кто хочет?”, поднялся молодой человек, приведенный Ал. Мих., и сказал: “Я хочу быть жертвой”. Поднялись волнения. Одни не хотели его, другие хотели. И когда решили большинством голосов его избрать, то начали пригоставливать. Я все же рад, что не Минского распинали – это было бы нечто чудовищное до отвращения, и рад, что молодого человека – это лучше. Иванов подошел и говорит: “Брат наш, ты знаешь, что делаешь, какое дело великое” и т. д.

Потом все подходили и целовали ему руки. Ал. Мих. кричала, что не надо этого делать, что это слишком рано, что не подготовлен никто; ее перебили, говорили “вы жалеете” даже с многозначительными улыбками: “Вам жалко”.

Но вот наступила минута сораспинания, Ал. Мих. говорит, что закрыла глаза, похолодев, и не видала, что они делали. Потом догадалась. Кажется, Иванов с женой разрезали жилу под ладонью у пульса, и кровь в чашу ... Дальше показания путаются. Но по истерическим выкрикиваниям жены Розанова если судить, то этой крови все приобщились, пили, смешав с вином. Впрочем, А. Мих. как-то тут говорит неопределенно, я не расспросил, позабыв в тот момент расспросить, а жена Розанова, которая слышала по рассказам Вас. Вас. обо всем, и пришедшая в состояние бешенства и даже заболела на неделю нервами, жена Розанова говорит, что пили кровь все, и потом братским целованием все кончилось. Потом опять ели апельсины с вином.

Когда вышли на набережную Невы (Английская), то, говорит А. Мих., в свете кончающейся белой ночи и разгоревшейся зари почувствовали мы чрезвычайно нечто новое – единство. Потом поехал к ним молодой человек. Ночью не спала, и всю неделю по два часа по ночам не спала. Это важно. Потому что здесь наверное томление глубокой освященной любви, уже счастье жизни. Вообще думаю, во всем этом собрании главными действующими лицами были этот молодой человек и Ал. Мих.

Но жена Розанова встретила эти собрания, которые будут повторяться, встретила в штыки и взяла обещание с Вас. Вас. и падчерицы больше не ходить на них.

Я очень благодарю Бога, что не пошел. Это было бы для меня ужасно. Очень рад, что несколько удалось, но масса здесь бесовщины и демонически-языческого ритуала, кровь проливают. Главное, что все совершенно все же вне Христа... Тут мое молчание...»

Муж и жена

Это была, конечно, игра, шалость, домашний театр, недаром Блок писал Андрею Белому: «Что Ты думаешь о “жертве” у Минских? (не скандал ли это?). Я думаю, что это было нехорошо, а Евг. Иванов писал, что почувствовалась близость у всех, вышедших на набережную из квартиры Минского в белую ночь. Но Люба сказала, что близость чувствуется также после любительского спектакля».

«Тут необходимо вспомнить об одном характерном проявлении того времени, вызвавшем ложные и нелепые резонансы и пересуды, – рассуждал в автобиографической книге «Самопознание» Николай Бердяев. – Дионисическая настроенность, искание необыкновенного, непохожего на обыденность, привели группу писателей того времени к попытке создать что-то похожее на подражание “дионисической мистерии”. В этом духе был устроен всего один вечер на квартире у Н. М. Минского. Вдохновителем был В. Иванов. Надеялись достигнуть экстатического подъема, выйти из обыденности. Выражалось это в хороводе. В этой литературно надуманной и несерьезной затее участвовали выдающиеся писатели с известными именами – В. Розанов, В. Иванов, Н. Минский, Ф. Сологуб и другие. Больше это не повторялось. Вспоминаю об этой истории с неприятным чувством. Пошли разные слухи и проникли в печать. Долгие годы спустя в правой обскурантской печати писали даже, что служили черную мессу. Все приняло крайне преувеличенные и легендарные формы. Я не вижу ничего хорошего в том “дионисическом” вечере, вижу что-то противное, как и во многих явлениях того времени. Но ничего ужасного не было, все было очень литературно, театрально, в сущности легкомысленно. Дионисическая настроенность, искание необыкновенного, непохожего на обыденность».

Бердяев писал свои воспоминания много лет спустя в эмиграции, чего-то недоговаривая или действительно не помня, но нам в этой ситуации важен даже не сам Розанов сотоварищи, а его семья. Понятно, что ему-то все было дико интересно, и ничего предосудительного, расходящегося с идеалом семейной, смиренной, богобоязненной жизни, открывшейся на его «нравственной родине» в Ельце, он в этом действе в ту пору не находил, и больше того, Бердяев в мемуарах не совсем прав: подобный случай был далеко не единственный.

«Собрались мы тогда у милейшего Петра Петровича Перцова, в его отдельной комнате, – вспоминал А. Н. Бенуа. – Снова в тот вечер

Философов стал настаивать на необходимости произведения “реальных опытов” и остановился на символическом значении того момента, когда Спаситель, приступая к последней Вечере, пожелал омыть ноги своим ученикам. Супруги Мережковские стали ему вторить, превознося этот “подвиг унижения и услужения” Христа, и тут же предложили приступить к подобному же омовению. Очень знаменательным показался мне тогда тот энтузиазм, с которым за это предложение уцепился Розанов. Глаза его заискрились, и он поспешно “залопотал”: “Да, непременно, непременно это надо сделать и надо сделать сейчас же”. Я не мог при этом не заподозрить Василия Васильевича в порочном любопытстве. Ведь то, что среди нас была женщина, и в те времена все еще очень привлекательная, “очень соблазнительная Ева”, должно было толкать Розанова на подобное рвение. Именно ее босые ноги, ее “белые ножки” ему захотелось увидеть, а может быть и омыть. А что из этого получилось бы далее, никто не мог предвидеть. Призрак какого-то “свального греха”, во всяком случае, промелькнул над нами, но спас положение более трезвый элемент – я да Перцов (может быть, и Нувель, если только он тогда был среди нас). Розанов и после того долго не мог успокоиться и все корил нас за наш скептицизм, за то, что мы своими сомнениями отогнали тогда какое-то наитие свыше».

Все это, безусловно, было очень и очень по-розановски, но вот что касается Варвары Дмитриевны, этой, по словам В. В., удивительной, самой нравственной в мире женщины, которая не могла солгать даже в мелочи, которую мама забрала из гимназии, когда девочке поставили четверку за поведение – на что они намекают? – «тихая, молчаливая Муза, 20 лет меня со спины крестившая», – что испытала она, когда ее муж пустился во все духовные и плотские тяжкие?

Е. П. Иванов не случайно употребил в письме Блоку слово «бешенство». Кроткая Варя не оставила воспоминаний жены философа, и можно только предполагать, какими глазами добрая Ксантиппа наблюдала за тем, что происходит в ее семье, и гадать, с какой нежностью думала она про Елец («Бывало, мама лежит на кушетке, а я сзади нее, за ее спиной, и слушаю ее неторопливые рассказы об Ельце, о бабушке, о первом маминном муже. Милая мама, – больше всех в жизни ее любила, и она тем же отвечала мне», – писала ее дочь Татьяна Васильевна) или город Белый, пусть даже единственным местом гулянья там было *смирное кладбище*. Но, продолжая вспоминать известный роман в стихах «А мне, Онегин, пышность эта, Постылой жизни мишура» и дальше по тексту про «модный дом и вечера», не будет большой натяжкой предположить, что она не

меньше пушкинской героини мечтала бы отдать «всю эту ветошь маскарада» и «этот блеск, и шум, и чад» за свое бедное елецкое жилище и те места над Быстрой Сосной, где они впервые встретились: он был тогда одинок, несчастен, осмеян, страдал от полового бессилия и, чтобы спасти его мужскую честь и уберечь от попытки самоубийства, которая «Сибирем пахнет», она ослушалась свою мать, пренебрегла советом оптинского старца и нарушила одну из главных церковных заповедей. Даже первые годы жизни на Петербургской стороне, когда они были бедны, голодны, раздеты, разуты и лошадей укрывали с большей тщательностью, чем ее, были ей милы. И как жутко стало теперь в богатом и славном доме знаменитого супруга с прислугой и с окнами на державную Неву и именитыми гостями, составлявшими элиту Серебряного века, которых она терпеть не могла («Недаром “друг” так сопротивлялся сближению с декадентами», – писал позднее Розанов в «Уединенном»), но ради Васеньки вынуждена была принимать и молча слушать их ученые разговоры, ничего в них не понимая, тяготясь и желая, чтобы все эти темные, ядовитые, исподтишка надсмехавшиеся над ней людишки куда-нибудь поскорей да свалили.

Позднее это очень точно выразил о. Павел Флоренский, когда, поздравляя в 1911 году Варвару Дмитриевну с именинами, писал ей: «Вам дан дар великий и почетный, “Варвара”. Варвара – великомученица не только потому, что умерла мученически, а потому что жила мученически, безропотно неся тяготу постылой жизни. Но разве терпеливое, о Господе, несение домашнего, семейного креста, наконец креста болезни, не то же мученичество? Варвара жила в пышной и светской обстановке, как в какой пустыне, заперлась в комнате. А Вы разве в Петербурге не вынуждены запереться от суеты и лжи окружающей жизни? Варвара сделала себе три окошка, чтобы помнить о Троице. И у Вас – три окошка: муж, дети, молитва, и чрез свое “устройство” этих трех окон Вы тоже можете созерцать Свет Невечерний. Варвара, наконец, была именно немой (“варвара” – не умеющая говорить) среди пустых словопрений, окружавших ее; и Вы, когда все говорят кругом Вас, живите Варварой».

А с другой стороны, если так подумать, как бы здесь понравилось Аполлинии Прокофьевне Розановой, урожденной Суловой, – вот бы где она блистала, будь чуть помоложе, а впрочем, роковая муза, нижегородская «Катя Медичи», наконец-то осененная именем Достоевского, могла бы царить в этом салоне и в свои почтенные годы, но – увы! – судьба оказалась насмешлива по отношению к обеим розановским женщинам и не дала ни одной из них то, чего каждая желала.

В начале нового века через семью Розанова прошла трещина, которой никогда не будет суждено зарости. Мы не знаем наверняка, читала или нет воцерковленная, но при этом не шибко грамотная, «грузная, розовощекая и строгая какая-то», как вспоминал ее Андрей Белый, Варвара Дмитриевна те сочинения своего мужа, которые в конце концов так возмутили церковную общественность, что уже не кроткие Победоносцев с М. П. Соловьевым, а неистовый саратовский епископ Гермоген (по слухам, сам себя оскотивший) предложил предать Розанова заодно с Мережковским, Каменским, Арцыбашевым и Леонидом Андреевым анафеме: «Воспевая гимны священным блудницам, Розанов проповедует разврат, превозносит культ Молоха и Астарты, осмеивает евангельское учение о высоте девства, восхваляет язычество с его культом фаллоса... извращает смысл монашества и клеветает на него и издевается над духовенством... хитрость и лукавство гнусного и безбожного еретика, желающего проскользнуть и лишь умереть православным христианином, при отрицании почти всего православия»^[45].

Догадывалась ли, что глубоко почитаемый ею протоиерей Иоанн Кронштадтский, чей портрет висел у нее в комнате, записал у себя в предсмертном Дневнике: «Господи, запечатлей уста и иссуши пишущую руку у В. Розанова, глаголящего неправильную хулу на Всероссийский съезд миссионеров... Господи, защити Церковь Твою, поносимую от писаки Розанова. Высоко поднял он свою голову против Церкви Твоей! Смири его!»^[46]

Какие-то слухи до нее, несомненно, доходили. Не могли не доходить. Гнала она их прочь? Пыталась на мужа воздействовать? Перевоспитать? Убедить? Судя по розановским письмам, она просила его: «Перестань спорить с церковью. Она “святая”...» Но у него в ответ: «и опять – еще сильней негодование...» Сама она позднее, уже после смерти мужа, рассказывала Дурылину: «В нем было два человека. Иногда я на коленях его просила: “не пиши этого. Не печатай”. Он всегда мне давал первой прочесть и первая книга его – мне». То же самое, но в более приглаженном виде вспоминала и Татьяна Васильевна: «Мама газеты никогда не читала, кроме папиных статей... читала также все папины статьи в газетах. Эти статьи прочитывала она очень внимательно и серьезно, часто папу останавливала, когда видела, что он уж очень резко выступает в печати, всегда говорила: “Вася, это ты нехорошо написал, слишком резко, – обидятся на тебя”, или же “Слишком интимно пишешь о детях, это не надо в печать помещать”. И большей частью отец слушал мать, выбрасывал

целые куски написанного или даже не отдавал вовсе в печать. Папины книги она читала все, по несколько раз от доски до доски и как-то интуитивно очень все понимала, хотя образования у нее не было, и писать она почти не умела».

Возможно, все так и было, только вот непохоже, чтобы Розанов ее действительно слушал или давал читать *всё*, им написанное. И тогда она – замолкала. Если приручить мужа не получилось даже у закаленной Суслихи, чего уж там говорить про смиренную Варвару Дмитриевну?

Еще летом 1891 года, то есть сразу же после венчания, Розанов писал Страхову о своей второй жене: «Она, правда, – нескончаемая доброта и нежность, без всякой распушенности и даже слабохарактерности. Я потому так надеюсь на свое исправление в будущем, что, будучи сам несколько отступающим от нормы, окружен буду любовью и вниманием людей в высшей степени нормального уклада жизни и нормального состояния духа; как очень впечатлительный и поддающийся влияниям человек сам выправлюсь в полное соответствие с нормою».

Но вот этого-то как раз и не произошло, и какое угодно определение можно подобрать к герою нашей книги, но только не связанное со словами «норма», «нормальный», «исправление» или «правильный». Напротив, чем дальше, тем его расхождение с нормальным укладом жизни и правильным состоянием духа становилось острее. А что касается сильного характера Варвары Дмитриевны, то, возможно, он таким когда-то и был. Однако если называть вещи своими именами, то жизнь с Розановым эту женщину сломила, о чем и предупреждал ее сокурсник и друг Чехова Григорий Иванович Россолимо, к которому она ездила на консультацию в далеком 1890 году, перед тем как связать со впечатлительным и поддающимся влияниям В. В. свою несчастную судьбу.

Проклятые опыты

Розанов свою «мамочку» боготворил, это правда. Звал своей совестью. Писал: «Без “беляночки” (жена) – нет меня. Ах, как бы хотел я сказать всему миру: “Что вы думаете, гадаете, сомневаетесь о ‘Розанове’ (критика): ‘Розанова’ – нет. ‘Есть’ кто-то за ним. Молчаливый. Грациозный. Весь поэзия и смысл. Весь дума и вдохновение. Вот ‘это’ он только ловит, чует, прислушивается; вдумывается в ‘поучение’, ему открывшееся – и тогда пишет. Без нее – нет меня, как литератора; нет как ума и как силы. Ничего нет: но когда она – за мною: я – всемогущ”». А в письме Флоренскому утверждал: «Варю я оцениваю “как высшее существо на земле” (без преувеличения и без иллюзии)». Правда, в другом письме уточнял: «Теперь уже ее характер несколько испорчен, она бывает криклива и гневлива: но какой агнец милый и добрый была в начале, и сколько бесконечной любви ко мне, к детям, к ее старушке-матери (тоже чудный человек)».

«Как В. В. Розанов любил свою Варвару! – вспоминал много лет спустя Корней Чуковский. – Здесь была его святыня – эта женщина с неприятным хриплым голосом, со злыми глазами, деспотка. Ее слово было для него – закон. Меня она терпеть не могла. Не выносила, насколько я помню, и Бердяева. “Фальшивые люди!” – говорила она».

Деспотична она была или нет – а Чуковский мог быть сам пристрастен и злопамятен, – но все равно складывается впечатление, что женское счастье давалось Варваре Дмитриевне тяжело и просило за себя слишком высокую цену, а все дифирамбы, спетые ей мужем в «Уединенном» и «Опавших листьях» («20 лет живу в непрерывной поэзии... В друге мне была дана путеводная звезда... Судьба с другом открыла мне бесконечность»), а также в письмах разнообразным корреспондентам, были слова, слова, слова, на которые он был великий мастер, что позднее очень точно сформулировал поэт русского зарубежья Ю. П. Иваск, когда писал о Розанове: «...на самом деле, даже в семейном кругу, он оставался одиночкой, неврастеником-романтиком декаданса; он обожал свою болящую жену, Друга, но и субъектом и объектом его песни песней был все тот же Василий Васильевич – отнюдь не патриарх, а нарцисс. Все его самые заветные слова всегда о самом себе...»

Ей было трудно, очень трудно с ним («Уже года за три до 1911 г. мой безымянный и верный друг, которому я всем обязан, говорил: “Я чувствую, что недолго еще проживу... Давай эти немногие годы проживем хорошо...”

И я весь замирал. Едва слышно говорил: “Да, да!” Но в действительности этого “да” не выходило», – признавал он и сам в «Уединенном»), и скорей всего, в какой-то момент она просто махнула рукой, да живи ты, Вася, как хочешь, со своими фальшивыми дружками и подружками, ходи куда хочешь и делай все, что тебе заблагорассудится. Однако когда это коснулось ее детей, да к тому же Али, старшенькой, рожденной еще в первом браке, той, которую Зинаида Гиппиус запомнила «девочкой лет 8–9, с подтянутыми гребенкой бесцветными волосами», что «косилась и дичилась в уголку», то Алину маму это действительно взбесило. Она охраняла свою уникальную семью, как могла, разрываясь между совершенно неподходящей ей ролью хозяйки сомнительного литературного салона, посетителей которого терпеть не могла (а вот если бы в него приходили скучные эпигоны славянофилов, с этими, верней всего, поладила бы), и охранительницей семейного очага.

«Мама была очень хорошей хозяйкой и за здоровьем детей очень наблюдала. День был строго распределен. Нас, детей, будили в восемь часов утра, мы умывались, одевались и, прочитав “Отче наш” и “Богородицу”, шли здороваться с папой и мамой в спальню», – писала Татьяна Васильевна. Однако на самом деле все было далеко не так благолепно в доме на Шпалерной улице.

Позднее об этих извивах весьма недобро написал А. Н. Бенуа: «Разливала чай жена Василия Васильевича, разносила же стаканы его падчерица – девица рослая, хорошо сложенная, но, несмотря на правильные черты лица, нисколько не привлекательная. Мы ее про себя прозвали “барашком”, и действительно, нечто овечье, что было в ее выражении, подчеркивалось курчавыми светлыми волосами, частью заплетенными в косу, положенную кольцом вокруг головы^[47]. Обеих этих женщин Розанов ценил безмерно, и это свое отношение к ним постоянно выражал вслух, гордясь ими и цитируя их слова и мнения, хотя бы и самые обыденные. Злые языки утверждали, что он равнодушен к падчерице, но, во всяком случае, он был “по уши влюблен” в жену – женщину немолодую, некрасивую и вообще, на посторонний взгляд, лишенную всего того, что в наше время получило кличку *sex appeal*. Для него же она представляла какую-то квинтэссенцию женственности и женской прелести. Мало того, движимый своим супружеским энтузиазмом, Розанов не боялся разных нескромных определений и описаний, основанных на его супружеском опыте и служивших подтверждением его эротических теорий, причем сплетал свою изощренно тонкую наблюдательность с почти ребяческой наивностью. Редкие собеседования с ним обходились без сообщений каких-

либо подобных новых “открытий и наблюдений” психологического и физиологического порядка, причем, однако, это делалось без тени легкомысленной или пошловатой скабрёзности – вроде той, что царит в нецеломудренных анекдотах или в островах, имеющих ход в мужской компании. Манера его касаться этих довольно-таки скользких тем исключала всякую их “неприличность” и в то же время оставалась вдали от какого-либо “научного подхода”, чисто материалистического, “базаровского” оттенка. Розанов приходил в сильнейшее волнение, если встречал отклик в собеседнике, и, напротив, принимался остро ненавидеть и презирать тех, кто оказывался не одаренным желательной ему чуткостью, особенно что касается такой Афродитиной области».

Можно осторожно предположить, что некрасивая Варвара Дмитриевна сколько могла закрывала глаза, уши, молилась, чтобы не быть оскорбленной, может быть, плакала, переживала, краснела, по-женски ревновала, догадываясь о его изменах, пусть и не очень многочисленных, но все-таки случавшихся – например, с писательницей Вилькиной^[48], женой того самого Николая Минского, на чьей нехорошей квартире произошел сеанс черной магии, или о прочих приключениях, которые Розанов деликатно называл «опытами», а о Варваре Дмитриевне в этой связи отзывался: «И только, по “ясновидению” чувствуя мои проклятые “опыты”, она стала пуглива к людям, сурова и осуждающа. Ах, еще не знает моя душа, что делать с этими “опытами”. Сказать ей – убить; не сказать – убиться самому. Тоска, тоска, тоска. Как уголь в душе, и душит меня. Чад. Дым».

«Сердце и идеал было во мне моногамично, но любопытство и воображение было полигамично. И отсюда один из тягостных разрывов личности и биографии», – писал он в «Опавших листьях».

Некоторые отголоски сцен из супружеской жизни можно расслышать также в мемуарах А. М. Ремизова, но уже с другой интонацией и иными подробностями.

«У нас в Казачьем переулке.

Вечером за самоваром В. В. Розанов.

Разговор любовный. О чем – из головы вон. Запомнился конец.

– Вот Варвару Дмитриевну я никогда не обманывал, это единственный человек.

– Как же так: вот вы к нам пришли, а В. Д. говорите, в “Новое Время” ходите, – это же обман.

– Ну вот еще! Я считаю себя до пояса свободным, а от пояса вниз верен В. Д.

- Бедная Варвара Дмитриевна, как мало ей принадлежит.
- Ты ничего не понимаешь: очень много принадлежит.
- А у вас же был роман с гувернанткой!
- Ну, так что? Я только с грудями делал, больше ничего».

Влага жизни

Написанная несколько лет спустя после смерти Розанова ремизовская «Кукха» – это самое теплое, самое волшебное и нежное воспоминание о Розанове, да и вообще, наверное, самый беззлобный, никого не осуждающий мемуарный текст начала века, не столько даже мемуар, сколько объяснение в любви, разговор с ушедшим в надзвездье близким человеком. Ремизов писал эту книгу в эмиграции, пережив трудные годы революции и Гражданской войны в России, которую в 1921 году покинул, и тосковал по оставшимся друзьям и по тем далеким временам, когда все они были вместе. Писал, не претендуя ни на какие открытия, ни на полноту образа, фрагментарно, склеивая кусочки воспоминаний, разговоров, бережно собирая записки, письма, рисунки и подробности навсегда исчезнувшего быта, но именно он сумел сделать то, что не удалось никому, – запеленговать непознаваемый летающий объект по имени Василий Розанов и вычислить его траекторию.

Книга была опубликована в 1923 году в Берлине в издательстве Гржебина в очень красивом оформлении и принесла автору критические тычки от милосердной и высокоморальной русской эмиграции, обвинившей Ремизова в неприличии, непристойности, пошлости, безвкусице, порнографии и пр. Однако все эти рецензии схлынули и интересны лишь специалистам, «Кукха» же осталась. И настоящий, подлинный Розанов – там.

«Человек измеряется в высоту и ширину. А есть и еще мера – рост боковой. Об этом часто. Но без этого Розанов – не Розанов. О Розанове все можно говорить – “он уж не знает страха смутиться перед людьми”. И надо: Розанов один – сам по себе – на своей воле. Хочется мне сохранить память о нем. А наша память житейская, семейная, – нет в ней ни философии, ни психологии, ни точных математических наук».

Познакомились же Алексей Михайлович и Василий Васильевич в 1905 году после возвращения Ремизова из ссылки, куда он угодил еще в студенческие годы за политику, и, несмотря на разницу более чем в двадцать лет и весьма несхожий жизненный путь и опыт, не было у В. В. на тот момент более близкого друга, не было дома, куда бы он так часто заходил и где встречал то тепло, то понимание и снисхождение, то «милое вдохновение и дурачество», без которого наш философ не мог, не любил, не умел существовать.

Розановы и Ремизовы жили рядом (в 1906 году семья В. В. переехала со Шпалерной в Большой Казачий переулоч, а Ремизов жил в Малом Казачьем), дружили семьями, вместе справляли именины («Бывало, что именинные гости собирались не вечером, а с утра после обедни прямо к пирогу. И так за полночь: и обедали, и отдыхали, и чай пили, и еще раз чай пили, и ужинали. Обыкновенно на именинах, когда полагалось, чтобы все честь честью “по-семейному”, подымались самые непоказанные разговоры. Начинал, конечно, сам В. В. Розанов»); на лето, когда семья Василия Васильевича снимала дачу, звали Ремизовых на уху с живыми налимами. Помогали ему найти литературный заработок. Именно Ремизов придумал Обезьянью Великую Вольную Палату, пародию на Религиозно-философское общество, а также на народившиеся в России после первой русской революции политические партии, навечно назначив своего друга вместе с Шестовым и Гершензоном старейшим кавалером и фаллофором (то есть носителем фаллоса, удоношей) обезвельволпала. Иногда они тоже шалили, не так пафосно, как в доме у Минского, а именно дурачились – рисовали, например «х(оботы)»; случались в Казачьем переулке и эротические перфомансы в духе Серебряного века, после которых Розанов писал хозяйину:

«Не буду приходить к Вам на сеансы. Все это моя распущенность, которую надо воздерживать. Потом бывает на душе не хорошо. Само по себе я ничто в этой области не осуждаю: ни легкое “нравится”, ни тяжелое “залез под подол”. Но все хорошо в своей обстановке: и вот этого-то у меня и нет. Этот легкий полуобман, лукавство, черствость души – ах, как все это производит “душевный насморк”».

Но все равно приходил и «чихал», и «кашлял», и «сморкался». И в переносном смысле, и в прямом. Ремизов его не осуждал, не ужасался, не раздражался, не «лечил» и не поучал, а добродушно посмеивался, как, например, в рассказе «Эротическое общество»:

«В воскресенье я пошел один к В. В. Розанову.

С. П. была у Бердяевых и собиралась вместе с Л. Ю. Бердяевой попозже. Ни Н. П. Ге, ни Е. П. Иванова не было.

А обыкновенно в воскресенье они являлись первыми. А может, и были и ушли:

В. Д. – на крестинах,
Александры Михайловны тоже нет,
а В. В. болен.

В халате, с завязанным горлом – вата лезла и к ушам и к носу – самое что ни на есть жалкое и зяблое, а говорил – едва-едва.

Сидел гость – стрютский, такие появлялись иногда у Розановых, в застегнутом сюртуке, приглаженный, а в выражениях самых почтительнейших.

Видно было, что с первых же слов он надоел В. В.

Я отошел в противоположный конец к полкам и стал перебирать книги.

И вот во время рассказа о какой-то земельной реформе – говорил гость – в прихожей звонок: Серафима Павловна и Лидия Юдифовна.

– А Варвара Димитриевна на крестинах! – сказал В. В., и мне показалось, куда чище, чем отвечал надоевшему гостю.

Горло у него действительно болело, но не в такой степени.

Я заметил, что и С. П. и Л. Ю. стоят в нерешительности и не садятся и не уходят.

Да и неудобно сразу уходить, но и оставаться тоже... У обеих по красной гвоздике.

– А откуда у вас цветы и почему одинаковые?

В. В. сказал это совсем уж чисто.

– Мы поступили в одно общество, – ответила С. П. и живо и твердо.

– В какое?

– В эротическое.

– Мы собственно и приехали, как делегатки, просить вас быть почетным членом за ваши большие заслуги в этой области.

– Перестань глупости говорить, я хочу действительным.

И это уж сказал В. В. так, как будто у него никакого и горла не болело.

И вдруг сжался, как пойманный, – и вата еще больше полезла, точно хотела прикрыть все лицо и с очками:

этот гость скучнейший, который почтительнейше слушал!

В. В. засуетился, шаря по столу.

– Знаете, замечательное заседание Государственной Думы, речь Жилкина! – и, сунув гостю “Новое Время”, повел его в столовую, – прочитайте, замечательное!

А вернулся один и уж совсем другой: к черту всякие заседания, и горло – наплевать!

– Ну, рассказывайте, рассказывайте!

– Там три отделения: мужское, женское и смешанное.

– Я в женское.

– Мы не можем. Вы там сами скажете.

– Ну, едемте! едемте!

И В. В. сорвал с шеи повязку.

Лидия Юдифовна и Серафима Павловна пошли в прихожую одеваться.

Я и еще раз однажды увижу В. В. таким – на любительском спектакле на представлении “Ночных плясок” Ф. К. Сологуба в зале Павловой, когда я поведу его за кулисы, где в тесноте кулисной он может быть подлинно, как “бози”, т. е. делать все, как хочется и как воображается.

В. В. все делал с неимоверной быстротой: сбросил халат, нашарил воротничок, галстук, манжеты – он ничего не видел, ничего не замечал, все забыл и обо мне, и о скучнейшем госте, почтительнейше читавшем в столовой уже читанную (конечно!) газету.

Он весь красный, губы вздрагивали, руки махались, словно на лове.

Ну, вот и готово.

Подмигнул кому-то и выскочил в прихожую.

– Василий Васильевич, – слышу, – мы вас обманули: никакого общества нет. Мы нарочно, пошутили.

– А так вот как!

– За это я вас должен поцеловать.

Они к двери —

и он за ними.

Они по лестнице вниз – Розановы жили на самом наверху – нет, он догонит!

На площадке:

– Ну, давай поцелую.

Увернулись и дальше —

и он за ними.

И опять:

– Давай поцелую!

С. П. перегнулась к лифту —

а там будто В. Д. поднимается:

вернулась!

– Варвара Димитриевна! – сказала она крепко, как зазвенела, – мы вас не застали.

И вдруг В. В., ну это мгновенно, ну, как мыш, пысь —

И только слышно, как там, на самом наверху, дверью хлопнул.

И опять горло и голосу нету и скорей халат и лечь бы уж...»

Все счастливые семьи...

Это было, конечно, славное для В. В. время. Так долго шедший к успеху, к признанию, столько испытывавший и потерявший на этом пути, не раз остававшийся в жизни на второй год при том, что эти годы ему никто не возвращал, он много работал, общался с самыми разными людьми, здоровье его не подводило, вдохновение не оставляло и силы не покидали. «Розанов говорил мне: когда я не ем и не сплю, я пишу», – записал позднее в дневнике К. Чуковский, а сам В. В. писал в «Мимолетном»: «...ни одной вялой строчки на таком неизмеримом протяжении всех трудов и с 1882 г. (кончил университет) – ни одной вялой, безжизненной, плетущейся строки.

Удивительно. Вполне удивительное горение. Сколько же было “запасено в мне дров”, чтобы сложить такой чудовищный костер. Целая барка, “беяна”, как на Волге, и еще – дрова, дрова, березовые, чтобы ярко пылали.

Елового – ни одного.

Удивительно.

Я думаю – удивительно и прекрасно.

“Я, м. б., и глуп, но во мне б. очень много дров”».

Но главное было даже не это творческое горение, а то, что осуществилась семейная утопия, которая и была целеполаганием и сверхзадачей всех розановских писаний. Как ни трудно приходилось порой его жене с таким непростым спутником жизни, у самого Василия Васильевича получилось именно то, о чем он мечтал и к чему стремился. Счастливый отец, любимый муж, авторитетный отчим, добытчик, кормилец, настоящий глава семьи. Его радовали дети, каждый со своим характером, своими любимыми игрушками, привычками, жестами, талантами, детскими обидами, шалостями, ревностью, и ему так нравилось за всем этим наблюдать, их любить и чувствовать любовь детей к себе.

«“Штопаные чулки” моих детей – мое оправдание в мире, и за них я пройду в Царство Небесное, – писал он позднее в «Сахарне». – Это было лет 6 назад, пожалуй, – 10.

Перед мамой лежала груда чулочков, и, подняв одну пару, мама сказала:

– Ты видишь, больше нельзя носить.

Я всегда сердился на покупку всего носильного. “Одевать” нас должен Бог и “погода”. “Платье – глупости” (в сущности, необходимы квартира и

еда).

Лениво я взял чулок. И что́ же увидел:

Большими, мягкими, как подушечка, штопками (“штопали чулки”), как пятаками или как сосисками (продолговаты), были усеяны не “пятка”, не “носок”, что естественно и ожидается, но самое *туловище* их, длина, около икр и выше... “Первоосновы”, как говорят философы о мире, – только остаток, “по чему штопать”.

Вся душа моя как засветилась и запрыгала. Я думаю – были слезы. В душе они были. Я прижал чулочек к груди:

Вот, Варя, когда я буду умирать, положи эти или *такие точь-в-точь чулки* в гроб мой. Это оправдание моей личности и жизни.

– Не “оправдание”, а лучше: это то́, что́ я люблю и уважаю. И для *этого* жил, и для *таких* жил.

(*позвали завтракать*)».

Так вспоминал он в тяжелом 1913 году свою самую счастливую легкую пору, когда и зарабатывал столько, чтоб можно было на чулках и не экономить, но уж такая бережная ему попалась хозяйка...

О жизни этого дома впоследствии написали две женщины – самая старшая и самая младшая дочери Василия Васильевича. Мемуары первой известны больше, мемуары второй – хотя в литературном отношении они более совершенны – меньше. Но и та и другая вспоминают свое детство с невероятной теплотой, нежностью и изяществом. Пора этого счастья продлилась в семье не очень долго, но важно подчеркнуть, что она была, и если ни доброе отрочество, ни тем более светлую юность подарить своим детям у родителей не получилось, да и вся Россия уже входила тогда в пору национального несчастья, все-таки детство у маленьких Розановых было счастливым, совсем не таким, как у их отца в Костроме. По крайней мере совершенно точно иным был тон их воспоминаний.

«...как только родители уехали, все двери в квартире настежь и начинается игра “в разбойники”. Паша (няня. – А. В.) должна изображать разбойника, а мы убегаем, прячемся и кричим. Она нас ловит и должна нас туго вязать веревкой, в этом вся соль игры. Стулья все повалены, в комнатах полный беспорядок, няня замучилась с нами. Когда родители приезжают, видят в ужасе эту картину, и нам, конечно, попадает, – вспоминала старшая, Татьяна. – Заводилой в этих играх была я. Но были и другие игры – спокойные. В детской ставились стулья подряд, связывались веревкой. Это был поезд. Мы куда-нибудь уезжали. Впереди на стуле сидел Вася, он был машинист, а мы, пассажиры, – садились на другие стулья с поклажей. Так мы сидели часа два тихо и спокойно ехали. Но потом нам

надоело, мы разбрасывали в разные стороны стулья, ссорились, поднимали шум, и папа сердился у себя в кабинете».

«Когда мы шалим и не слушаемся, папа сажает нас на буфет. Это очень страшно, – писала младшая, Надежда. – Ноги едва достают до дверец. Если меня обидели, я убегаю в столовую, где прячусь между буфетом и стенкой и там потихонечку плачу, но я очень обижаюсь, когда меня не ищут и не утешают, и тогда я начинаю шуршать обоями и плакать в голос...

Мы, дети, лежим на полу в детской, кругом обрезки газет и журналов: мы наклеиваем картинки – военных всадников, корабли, море – в большие тетради. (Это все, что я помню о войне с Японией)... У нас троих (“погодки”), самых маленьких, есть прозвища: Варю зовут “Белый конек” – у нее совсем беленькие волосы и голубые глаза – она очень капризна; Васю – “Черносливчик” – он тоже беленький, но глаза у него темно-карие; а меня – “Пучок”. Маленькая я каталась по полу вроде шарика, и папа находил, что я похожа на пучок редиски. Это название сохранилось за мной навсегда, так что по имени меня звали редко. Папа еще звал меня “Дюймовочка”, а потом “Русалочка” (Аля), но это уже позже, когда мне прочли сказки Андерсена.

Утром, когда мы просыпаемся, наша любимица – румяная, веселая няня Паша – приносит в детскую большой таз с губкой, и нас всех обтирают водой. Вася вскрикивает и кричит: “Меня первого! Поскорее! Я должен писать статью!”

Мы с Васей очень дружны и всегда рассказываем друг другу свои сны. Васе чаще всего снится, что он летает по комнате в виде перышка, а потом хочет лететь в прихожую, но тут появляется страшный, черный, курчавый человек и гонится за ним, и Вася в страхе просыпается. Часто нам снится рай и ангелы. Об этом мы рассказываем друг другу шепотом, просунув головы через решетки кроваток (мы спим голова к голове). Проснувшись, Вася зовет меня и говорит, что кто-то сейчас стоял около него и рукой закрывал ему глаза, не давая раскрыть их, он только чувствовал, что рука очень нежная, совсем особенная, не такая, как у людей, но он никак не мог раскрыть глаз, когда же рука соскользнула, он только на один миг увидел, как от него отлетел Ангел...

Папу мы обожаем и совсем не боимся, хотя он иногда вскакивает из-за письменного стола (если мы очень расшалимся) и кричит и пытается ухватить кого-нибудь за ухо... В эти минуты яростное лицо его очень страшно, и мы все его боимся... Маму мы все боимся, папу нисколько...

Ухо – здесь очень кстати, как свидетельство о неистребимости провинциальных учительских замашек у В. В. («Ты уж лучше опиши, как

ты ее за ухо драл», – говорила в «Опавших листьях» и Варвара Дмитриевна мужу как раз в связи с его старорежимными методами воспитания дочери), а вообще воспоминания Надежды Васильевны так живо и непосредственно написаны, что жалко их обрывать. Она, несомненно, обладала не только огромным литературным талантом, но также отличной памятью и чувством юмора (что любопытно, самому Розанову в принципе несвойственным при всей необъятной его палитре). Но главное в ее книге – это благодарность жизни, отцу, матери, сестрам, единственному брату, гимназическим подружкам, учителям за то хорошее, что в этой жизни было. Может быть, по контрасту, может быть, потому, что очень скоро начнется кошмар, но пока что – было упоение и восторг души.

«Шалили мы ужасно. Мы порой сами пугались, чувствуя, что никакая узда для нас не существует. Глядя на маму, я думала, что когда я вырасту и у меня будут дети, я привяжу к их ногам длинный-длинный шнурок и буду держать его все время в руке, чтобы они не свалились с крыши и не потонули бы. Мы сами удивлялись, как мы носили еще свои головы. Как-то мама перед отъездом на дачу, предвкушая все волнения, связанные с нашими шалостями, купила большой кнут и повесила его “для устрашения” на стену. Мы обязаны были взирать на него, как на медного змия, но предпочитали его вовсе не замечать, и, так как ущерба от этого не получалось, то вскоре он обратился в семейную реликвию. Но для мамы он служил нравственным подпорьем, и она одна на него взирала с верой. Варя находила мамин поступок “крайне незелегантным”...

Иногда мы едем в гости всей семьей – отец, мать и нас пятеро детей. На нас надеты серые драповые пальто, все одинаковые, и такие же капоры с закрученными вверх хоботками. Мы эти костюмы ненавидим. Варя втихомолку подрезает свое пальто ножницами.

Конечно, в такие минуты папа чувствовал себя Авраамом, заключившим завет с Богом».

Именно так все и было. Он действительно ощущал себя патриархом, родоначальником в буквальном смысле слова, уверенным в том, что его славный род будет продлен. И дела не было никому из его детей (кроме разве что старшей дочери), в законном или нет браке состоят их папа и мама, а если и есть в доме какие-то шероховатости, противоречия, нестроения, то, скорее всего, они этого пока что не осознавали, и ничто не нарушало чудесной картины их мира.

Дочь жены от первого брака была матери и отчиму помощницей, а своим единоутробным сестрам и брату доброй воспитательницей. «Старшая сводная наша сестра Аля – Александра Михайловна Бутягина –

нас всех объединяла своей любовью... много нам интересного рассказывала и была нам близкой и родной», – вспоминала Татьяна Васильевна Розанова.

«Аля любила нас страстно, даже до болезненности. Иногда она вставала ночью и наклонялась над нашими кроватями, прислушиваясь – “дышим ли мы?”, так как вечно была полна страхов, что с нами что-нибудь случится. Мы отвечали Але той же нежностью и даже влюбленностью... Аля очень много внесла в нашу духовную жизнь... С Алей всегда был как бы “немножечко праздник”», – писала в мемуарах Надежда, и культ семьи, который наш философ проповедовал в своих сочинениях, стал фактом жизни в этом доме, хоть экскурсии води и показывай.

Символисты назвали бы это жизнетворчеством, а для В. В. это было просто обыкновенное человеческое семейное счастье, которое он заслужил, выстрадал, вынынчил, выпестовал.

Летом снимали дачу на финском взморье в Аренсбурге, в деревне Лепенене возле Териоки, в Гатчине, под Лугой или в Сиверской. Если дача бывала недалеко от Петербурга, то глава семьи оставался в городе, приезжая к жене и детям на выходные. Сохранился очень трогательный его рассказ о том, как он выбирал своим девочкам подарки. Розанов написал об этом в ненапечатанном очерке «Чему я смеялся» в 1902 году и в «Опавших листьях». В очерке более подробно, обрисовывая характер каждой из маленьких дочерей, и даже трудно понять, какая из них ему больше нравится и за кого он сильнее тревожится. В «Листьях» мимолетнее, спрямляя время и уже с грустью, как воспоминание о том, чего не вернуть.

«Это когда-то давно-давно, когда все были крошечные и в училища еще ни одна не поступала, – я купил, увидя на окне кондитерской на Знаменской (была страстная неделя) зверьков из папье-маше. Купил слона, жирафу и зебру. И принес домой, вынул “секретно” из-под пальто и сказал:

– Выбирайте себе по одному, но такого зверя, чтобы он был похож на взявшего.

Они, минуту смотря, схватили:

Толстенькая и добренькая Вера, с милой улыбкой

– **слона.**

Зебру, – шея дугой и белесоватая щетинка на шее торчит кверху (как у нее стриженные волосы)

– **Варя.**

А тонкая, с желтовато-блеклыми пятнышками, вся сжатая и стройная жирафа досталась

– **Тане.**

Все дети были похожи именно на этих животных, – и в кондитерской я оттого и купил их, что меня поразило сходство по типу, по духу.

Еще было давно: я купил мохнатую собачонку, пуделя. И, не говоря ничего дома, положил под подушку Вере, во время вечернего чая. Когда она пошла спать, то я стал около лестницы, отделенной лишь досчатой стеной от их комнаты. Слышу:

– Ай!

– Ай! Ай! Ай!

– Что это такое? Что это такое?

Я прошел к себе. Не сказал ничего, ни сегодня, ни завтра. И на слова: “Не ты ли положил?” – отвечал что-то грубо и равнодушно. Так она и не узнала, как, что и откуда».

По морде даст

Был Василий Васильевич великим домоседом, но иногда все же путешествовал с семьей по России и за границу – так, год спустя после канонизации святого Серафима съездил в Саров, в другой – плавал по Волге (отсюда и превосходные путевые очерки «Русский Нил», в которых он вспоминал костромские, симбирские и нижегородские годы). Побывал в Италии, написав впоследствии книгу «Итальянские впечатления», которую высоко оценил Блок. Видел Швейцарию, Германию, Кавказ. Посетил Ясную Поляну, куда очень давно еще через знакомство со Страховым стремился попасть, и, наконец, после нескольких настойчивых писем фактически вынудил Толстого прислать ему приглашение. Возможно, по этой причине здесь случилась своего рода неудача. Помнил или нет хозяин яснополянского дома те противоречивые характеристики, которые давал своему протеже покойный Страхов, позабыл или нет Лев Николаевич наделавшую шума десятью годами ранее статью В. В. в «Русском вестнике» «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого», автор которой, обращаясь к учителю жизни на «ты», учил его жизни сам, однако в итоге самой великой супружеской чете в России гости из Петербурга не показались, и после их визита граф написал своему брату Сергею Николаевичу: «Был у меня на-днях Розанов. Мало интересен».

Еще суровее оказалась Софья Андреевна, отметившая в дневнике: «Были скучные, некрасивые Розановы». А их сын Лев Толстой-младший записал слова отца: «Я сказал Розанову две вещи. Первое, что меня очень удивило, что он на вопрос, каковы его религиозные верования, не мог дать мне определенного ответа, и второе, что он пишет очень хорошо, но беда в том, что в его писаниях ничего понять нельзя». «Отец, – пишет далее Л. Л. Толстой, – был поражен его малой образованностью».

Едва ли Розанов об этих отзывах знал, но самое интересное, что его оценка личности Толстого была в чем-то схожа. Розанов точно так же обвинил своего великого собеседника в необразованности. «Когда я говорил с ним, между прочим, о семье и браке, о поле, – я увидел, что во всем этом он путается, как переписывающий с прописей гимназист между “и” и “I” и “й”; и, в сущности, ничего в этом не понимает, кроме того, что “надо удерживаться”. Он даже не умел эту ниточку – “удерживайся” – развернуть в прядочки льна, из которых она скручена. Ни – анализа, ни – способности комбинировать; ни даже – мысли, одни восклицания. С этим

нельзя взаимодействовать, это что-то imbecile (слабоумное. – А. В.)». И в другом месте: «Толстой был гениален, но неумен. А при всякой гениальности ум все-таки не помешает».

Ясная Поляна Василию Васильевичу тоже не приглянулась: «Мебель тяжела и неудобна. Да, кажется, ее и мало. Нет этих безделушек, ковров, низенького сиденья, где нужно, и вообще всего того, взглянув на что, скажешь: “Как здесь тепло. Верно, здесь живут счастливые и милые обитатели”. Этого впечатления нет; веет суровым».

Однако Толстой был исключением, и как человека малообразованного Розанова никто в России кроме графа Т. не воспринимал, как, впрочем, никто кроме Розанова не воспринимал таковым и Льва Николаевича. Но тут уж точно – гора с горою не сходится, пусть даже толстовская была много выше, но ведь и розановская какая оказалась немаленькая!

Слава В. В. росла, хотя и с привкусом скандальности. Причем эта скандальность касалась как его литературных трудов, так и повседневного поведения, между которыми он по большому счету не видел разницы и существовал по принципу: пишу, как живу, и живу, как пишу, делая и то и другое в высшей степени и вольно, и фривольно. И именно фривольность сделала своего рода визитной карточкой нашего героя и едва ли не больше всего запомнилась его современникам. Конечно, мало кто из них был пуританином, но Розанов превзошел в своей непосредственности и распушенности всех, причем превзошел именно на словах. Дурная репутация сильно опережала его в действительности вовсе не такую уж и распутную натуру.

«Сам он был очень живой и юркий, говорил как бы про себя – скороговоркой и часто в шутливом тоне, а если о чем-нибудь спорил, то всегда сердито, раздраженно и убежденно, до того, что вставал из-за стола, топал ногами и даже убегал, – писала об отце его старшая дочь. – Он вообще был очень экспансивен, жив, несдержан, но очень откровенен. Он никогда не притворялся, никогда не показывал того, чего в нем нет. Воспитанным человеком он не был».

Очень мягко сказано!

Характерно одно из воспоминаний о том, как В. В. оказался в гостях на званом обеде рядом с недавно повенчавшейся супружеской четой и «стал расспрашивать, как они это делали, спрашивал ее, больше, чем его, и наставлял ее, как надо, а потом, оборотившись к мужу, сказал: “Такие, как вы, не умеют делать!” Левашов (молодой муж. – А. В.) не знал, кто такое Розанов, и не понимал его тона – все ведь сказанное Розановым с величайшим вниманием было проникнуто доброжелательством и

уважением к теме – Левашов вспылел, обозвал Розанова негодяем. Только хозяин успокоил, а то был бы и мордобой».

«В подробности сексуальной жизни каждого близкого он входил с азартом, пытаясь давать подчас непрощенные “советы”, – вспоминал А. В. Руманов. – Иногда Розанов нарывался на прямые скандалы со стороны людей, не допускавших вторжение в этот запретный тайный мир».

В каком-то смысле эта безнаказанность и всякий раз появляющийся вовремя «избавитель-хозяин» его избаловали и породили уверенность в том, что ему можно то, чего нельзя другим. Ему всегда простят любые шалости, все неприличные поступки, провокационные вопросы, хулиганские письма (как, например, жене Федора Сологуба Анастасии Чеботаревской: «А знаете, что я в “Опавших листьях” описал Ваш хороший (и д. б. вкусный) бюст? Не показывайте Федору Кузьмичу, а то черт его дери “по морде даст”, что в мои года не хорошо»), шутки, выпады, оскорбления, как прощают сотрудничество в газетах с разными направлениями, и долгие годы все так и было, о чем он сам написал в «Опавших листьях»:

«Перипетии отношений моих к Мережковскому – целая “история”, притом совершенно мне непонятная. Почему-то (совершенно непонятно почему) он меня постоянно любил, и когда я делал “невозможнейшие” свинства против него в печати, до последней степени оскорбляющие (были причины), – которые всякого бы измучили, озлобили, восстановили, которых я никому бы не простил от себя, он продолжал удивительным образом любить меня. Раз пришел в Религиозно-философское собрание и сел (спиной к публике) за стол (по должности члена). Все уже собрались. “Вчера” была статья против него, и, конечно, ее все прочли. Вдруг входит Мережковский с своей “Зиной”... Я низко наклонился над бумагой: крайне неловко. Думал: “Сделаем вид, что не замечаем друг друга”. Вдруг он садится по левую от меня руку и спокойно, скромно, но и громко здоровается со мной, протягивая руку. И тут же, в каких-то перипетиях словопрений, говорит не афишированные, а простые – и в высшей степени положительные – слова обо мне. Я ушам не верил. То же было с Блоком: после оскорбительной статьи о нем, – он издали поклонился, потом подошел и протянул руку. Что это такое – совершенно для меня непостижимо. Я же всем им ужасные “свинства” устраивал (минутные раздражения, которым я всегда подчиняюсь)»^[49].

Несколько лет спустя найдет коса на камень и все в одночасье переменится, начнется не просто мордобой, а избивание «большого писателя с органическим пороком», но пока что – в первое десятилетие

нового века – предприятие Василия Розанова процветало. И даже хорошо известное розановское увлечение нумизматикой, начало которого относится еще к 1898 году, а теперь – «У меня римских 1300. Греческих 4500. Больше, чем есть в Московском университете (150 лет собирали дураки, и меньше моего собрали!!!)», – писал он одному из своих корреспондентов – отражало не только его страсть к древним культам и культурам, но и владение деньгами, на фоне чего как страшный сон остались ненавистное учительство в русской провинции и унижительная голодная служба в столичном Госконтроле.

Даже Суслиха с ее вечным отказом давать развод перестала его мучить и куда-то провалилась, став частью большого, постоянно развивающегося мифа, и В. В. всякий раз с новыми подробностями и сравнениями рассказывал об особенностях их интимной жизни всем заинтересованным лицам, так, похоже, и не узнав, как на самом деле поживает его законная состарившаяся супруга. А она, оставшись после смерти отца одна, взяла на воспитание сиротку, с которой однажды случилось несчастье – купаясь в Оке, девочка утонула. Побывавшая несколько лет спустя после этого в Нижнем Новгороде Зинаида Гиппиус приводила в своих воспоминаниях слова соседки Аполлинии Прокофьевны: «Она очень злая. Такая злая, прямо ужас. Ни с кем не может жить, и с мужем давно не живет. Взяла себе, наконец, воспитанницу. Ну, хорошо. Так можете себе представить, воспитанница утопилась. Страшный характер».

Впрочем, больше доверия вызывают воспоминания племянника «тяжелой старухи» Евгения Павловича Иванова (их цитирует в своей книге Л. И. Сараскина): «Через несколько лет приехавшая к нам для дачного отдыха в село Черное Нижегородской губ. воспитанница ее Саша, оказавшаяся необычайно добрым, мягким и преданным своей покровительнице человеком, тонет во время купания в Оке. Живо воскрешаю перед глазами этот момент, когда о несчастье в ранние утренние часы приехал я с моим покойным отцом П. П. Ивановым предупредить тетку о случившемся. Помню тяжелые переживания сознавшей свое полное одиночество ослабевающей женщины».

После этого Аполлиния Прокофьевна продала дом в Нижнем, переехала в Крым и прожила там остаток дней, своим неверным супругом никак не интересуясь. «Стану я читать такого фальшивого, чиновного и продажного человека!..» – заявила она своему племяннику.

Не знал Розанов и того, что в мировоззрении Розановой произошли известные перемены: нигилистка в юности, она вступила в Императорское Палестинское общество и совершила паломничество на Святую землю, а

позже стала активным членом «Союза русского народа», заняв в нем пост товарища председателя, а потом и вовсе председательницы Покровского отдела общественной организации в городе Севастополе и 55-ю позицию в имперском списке. Если учесть, что все это происходило в те годы, когда ее супруг, по его собственному выражению в письме беллетристу Горькому в 1911 году, и сам «зачерносотенничался» и стал печататься в «Земщине» (печатном органе «Союза русского народа»), то единство их взглядов, несмотря на взаимную глубокую личную неприязнь и отсутствие общения, кажется весьма примечательным в духе известной русской поговорки про мужа и жену.

Качнуться влево

Впрочем, это все опять же случится позднее, а тогда, в самом начале девятисотых, в жизни В. В. произошла одна существенная добрая перемена, вследствие чего Суслова стала ему попросту ненужна и неинтересна. Благодаря ли розановским статьям, посвященным теме семьи в России («С каждым годом у Вас, глубокоуважаемый Василий Васильевич, является все больше и больше поклонников, – писала Розанову в 1901 году А. Г. Достоевская. – Ну и всколыхнули Вы наше спящее царство или вернее болото своими статьями о детках. Только и слышишь об этом разговоры и радуешься, что над этим вопросом начинают задумываться»), или же просто вопрос, что называется, «созрел» и «перезрел», но только порядок признания рожденных вне зарегистрированного церковного брака детей в империи был в 1902 году изменен. Определением С.-Петербургского окружного суда от 22 сентября 1904 года четыре розановские дочки и его единственный сын получили фамилию отца и уже как Розановы отправились учиться каждый в свою школу, которую мама для них тщательно и придирчиво выбирала. Сама не шибко образованная («Папа пробовал ее учить, но потом махнул рукой», – вспоминала Татьяна Васильевна), она хотела дать хорошее образование детям даже вопреки тому, что ее супруг придерживался в этом вопросе взглядов патриархальных.

Их брак по-прежнему так и оставался непризнанным, но Розанов – что было весьма в его духе – к семейной теме на время несколько подостыл, чтобы снова вернуться к ней в «Листьях», а пока переключился на другие. Например, на первую русскую революцию, за которой следил очень внимательно, опубликовав впоследствии из статей на эту тему книгу с превосходным гимназическим названием «Когда начальство ушло». Однако еще более отчетливо розановское отношение к событиям 1905 года, его удивление, возмущение, восторг, надежды и разочарования революционной поры можно почувствовать в письме А. М. Горькому, написанном в ноябре того тяжелого для России года, и на этом сюжете есть смысл остановиться подробнее.

Казалось бы, далекий от политики, погруженный в частную жизнь консерватор и идейный монархист, каким, несмотря на свое декадентство, оставался автор реакционного «Нового времени», В. В. должен был революцию сразу же безоговорочно осудить, отнестись настороженно или

хотя бы остаться равнодушным, ан – нет!

«Сшиблись грудь с грудью весь русский идеализм, – который только теперь обнаружил свои маленькие размеры, в смысле человеческого состава, – и последний цинизм. Вот уж судьба! Рок, fatum! Нельзя было предвидеть в 1903 году. Михайловский-то умер: вот бы посмотрел. Да и все, милые, сошли скорбные в могилу без всяких надежд или с какими-то тусклыми, не верными, робкими. Знаете ли, до чего разрослось движение: сегодня за обедом 2 дочери из приготовительного класса гимназии Стоюниной говорят: “а к нам подошли девочки (т. е. подружки-приготовишки) и спрашивают: ‘вы (т. е. Розановы) за кого – за рабочих или за царя?’” (каково разделение?!)) – “Ну, за кого же вы?” – “Конечно, за рабочих”; – “А ты?” (сын 5–6 лет): “я за царя”. Ну, подумайте. И девчонки что-то понимают, не так сболтнули: верно думают: “рабочие – это бедные, царь – богач; мы за рабочих”.

Так что теперешнее движение абсолютно объемлет всю Россию. Это не бывало. Революции, кроме, может быть, 1-й французской, совершались в городе и городом, столицею, “группами” жителей, но не страню в ее составе. Это удивительно и ново.

“Пролетарии” – хорошо. Я бы только лучше писал и говорил на митингах: “бедняки”, “не имущие”, или просто: “рабочие”. Ведь должны понимать безграмотные, дети, деревенские бабы. Ведь не со “словарем русско-иностранных слов” им ходить на митинги. Раз встал весь народ или вот-вот встанет, должно быть все “по-русски”.

Удивительное явление, удивительные события. Раз 2 рабочих наборщиков (1-ая забастовка, около 12 октября) переспорили всех видных сотрудников “Нов[ого] Вр[емени]” (Гольштейн, Меньшиков, Столыпин, Пиленко), отстаивая право наборщиков “не набирать лживых статей”. Жена, заехавшая случайно в редакцию и из прихожей слушавшая этот спор, шедший в коридорчике, сказала мне: “как мне тебя жаль, В., ты действительно работаешь среди сволочи, людей лживых и циничных до мозга костей”. Сотрудники рабочим говорили: “да неужели ж вы будете нашими цензорами”. Те ответили: “цензорами вашими мы не хотим быть, а когда 9-го января нам прислали вечером и днем одни статьи с описанием событий, а потом ночью набор этого был уничтожен и нам прислали другие статьи с полными описаниями, где все было скрыто и замазано, – то мы вправе не набирать такой фальшивой газеты или вот таких фальшивых номеров”. Речь прямая и мужественная.

Ну, да это Вам известно лучше меня.

Задача мира воспринять мечту. Мечта не есть фантазия. Не есть роман.

Мне думается иногда, что Бог сотворил сперва мечту и потом человека: так что она древнее даже и человека, и хоть забывается на года, способность ее теряется на века: но никогда окончательно, и, когда она будится – все ее понимают как что-то совершенно родное, всем близкое, всем сразу понятное – и идут за ней как за “старой бабушкой” младенцы. Мечта – это и красота (“лучше сгореть на костре, чем утонуть в помойной яме” – в Вашем письме), и истина, и справедливость – доброта. Как хорошо, что у Вас есть тоска ее. Даже больше – что есть способность ее, есть она уже воочию. Это и есть “звезда над вами”, мой друг, – уж простите за фамильярность. И не гасите ее, ищите ее, еще ярче ее зажигайте».

Горький в ответ посоветовал Розанову уйти из «Нового времени», чему, естественно, В. В. не последовал^[50], и никакого сближения между волгарами не произошло. Как и с Леонтьевым они переписывались, но никогда лично не встречались. Однако «детскую болезнь левизны» у человека, относительно недавно призывавшего к революции монашеской, черной, церковной против либеральных пижонов и беспочвенных хлыщей, впоследствии отметил розановский ученик в Елецкой гимназии, а ныне философ-идеалист с марксистским прошлым Сергей Николаевич Булгаков.

«...разве Вы сами в 1905–7 гг. не капитулировали, и притом непостижимым для меня образом, пред “левизной” и не разъясняли, “почему левые побеждают?”» – вопрошал он в письме своего учителя, а Петр Струве вспоминал, как на одном из заседаний Религиозно-философского общества «Булгаков в прениях заметил Розанову, что они поменялись ролями: когда-то Булгаков, будучи гимназистом, благоговел перед писаревщиной, а Розанов стоял на почве идеализма; теперь же Булгакову, ставшему идеалистом, приходится возражать Розанову...».

Еще одним свидетелем розановского разворота в сторону революции стал Далмат Александрович Лутохин, в ту пору студент Технологического института, близкий к революционному движению. «В начале 1905 года, перед моим отъездом за границу, – вспоминал он Розанова, – он... хотел, чтобы я связал его с начавшей выходить при участии Ленина газетой “Новая жизнь”. Редактором ее был хорошо знакомый Василию Васильевичу поэт и философ Н. Минский, но к нему он почему-то не обращался... Через кого-то из журналистов я передал редакции о тяге Розанова в революционную газету – через пару дней со скрытой усмешечкой – мне передали, что Розанова привлечь в газету категорически отказываются».

Если это действительно было так, а с Розанова станется, то все же скорее говорит не об изменении политических убеждений философа пола в

пользу «марксизма-ленинизма», а просто: почему бы к «Новому времени», «Русскому слову», «Вопросам жизни» и «Миру искусства» не прибавить еще и «Новую жизнь»? Это было бы очень по-розановски, и в «яичнице из всех партий» (см. далее письмо Флоренскому), которую он хотел поджарить на своей личной сковородке, большевистский желток был бы нелишним. А то, что ему отказали, – ну и дураки, право, такое вдохновенное, такое *стоящее* перо потерять. Впрочем, у Минского, если это именно он как редактор решал, мог быть зуб на Розанова из-за жены...

Свое же, пусть не окончательное, ибо ничего окончательного у Розанова никогда не было, но, пожалуй, наиболее полное суждение о первой русской революции Василий Васильевич сформулировал в письме известному революционеру, восемнадцать лет просидевшему в Шлиссельбургской крепости, другу Карла Маркса и члену Первого интернационала Герману Лопатину:

«Революция?.. Смесь мечты (В. Н. Фигнер), теории (когда она покрывает действительность?), и... ужасной, ужасной слепоты. Еще что? Знаете ли, иногда мне мерещится, что с той и другой стороны хочется крови, просто “хочется” и просто “крови”, и эта мистика “ворочает горами” террора и реакции. Просто, – “древние жертвы” отменены, кровь перед глазами не льется в храмах; а “кровушки” хочется каждому человеку, хочется обонять ее, потрогать пальцами, увидеть. И когда этого даже нет в съеденной котлете (но ведь тут пролитой крови не видели глаза едящего): тогда пошел человек на человека с ломом, партия на партию, террор на реакцию и обратно. Террор вырос у архимирных людей, В. Фигнер, Морозова, уничтоживших и в мысли войну, и казнь и прочее. Это узкая щель, в которую пролезла жажда крови у абсолютно мирных людей, и потому-то она так интенсивна, что так узка, – как “ниточка”... Только мне ужасно жаль бедную Россию, которая решительно валится на бок. А с той и другой стороны так самовольно “стреляют”... Гением, высшей мыслью не обвеяна наша революция. Высшим пониманием».

Однако это письмо было впервые опубликовано Петром Струве в «Русской мысли» в 1923 году, и здесь, конечно, очень важен мотив отмененной «древней жертвы» и крови, которую каждому хочется «обонять» и «потрогать пальцами», откуда прямой путь к самой скандальной розановской книге, но в действительности отношение этого человека к политическим переменам в России оставалось во многом непонятным его современникам, да и потомкам тоже. Так все-таки за кого он был? Поддерживал правительство или нет? За церковь был или против? За евреев или нет? За декадентов или против них? Или и то и другое? Или не то и не другое? Но где, в таком случае, настоящее его лицо? В «Новом времени»? В «Русском слове»? Наконец, стремился он к подобной неопределенности и беспринципности сам или же все происходило помимо его воли? От легкомыслия, шалости, игры, охоты за гонорами или просто от его безразмерности, невмещаемости ни в одну из политических ванн?

Не будь В. В. так талантлив, всех этих вопросов, скорее всего, не возникало бы, но сей бодливой корове Бог дал рог, – и дух больного русского времени, дух Азефа и Распутина в наибольшей степени в литературе, в публицистике и журналистике выразил именно бывший гимназический учитель с похотливой козлиной бородкой, о ком писал Михаил Пришвин в дневнике: «Извилина в подбородке, обывательский глазок, смерд и <1 нрзб> дряблый, и все это дряблкое богоборчество и весь он как гнилая струна, и кривой (сбоку) подбородок с рыженькой бородой и похоть к Татьяне^[51]... он живет этой похотью... это его сила», – и кого Блок в письме Андрею Белому назвал извозчиком – читай, выразителем опасной, враждебной стихии, едва ли не Судьбы: «Письмами, подобными Твоему последнему, Ты схватываешь меня за локоть и кричишь: “Не попади под извозчика!” А извозчик – В. В. Розанов – едет, едет – день и ночь – с трясущейся рыженькой бородашкой, с ямой на лбу (как у Розанова)».

Суть этого бесконечного и на первый взгляд хаотичного броуновского движения была подмечена Блоком очень точно. Розановские статьи всё чаще встречали отпор, возражения, насмешки, провоцировали дискуссии, оскорбления и журнальную, газетную войну, и в этом взвихренном облаке В. В. ощущал себя как в родной стихии. Сколько людей жаждало его унижить, оскорбить, отлучить от литературы, но по большому счету ни у

кого это так и не получилось. Владимир Соловьев умер, и не было в России на тот момент более острого и яркого полемиста, нежели наш герой. Никто не умел «срезать», как он. Даже Буренин, хоть он и дал Василию Васильевичу прозвище «Мистицизм Мистицизович Миква» – но острота была так себе, на троечку.

«Оспариваемый и пререкаемый, умеющий вызывать какую-то особенную, глубокую до нежности и ласковости, читательскую любовь одних, раздражающий других одним своим именем, вызывающий чужих людей на интимнейшую переписку и странно не задевающий душ других, – Розанов совершает свою литературную карьеру, подходящую вот уже к рубежу четверти века, – подводил предварительные итоги розановского пути литературный критик и издатель А. А. Измайлов. – Откуда-то с проселочных дорог, из темных закоулков, из “Русского вестника”, “Русского обозрения”, плохо читаемых, еще менее уважаемых, из газет, где появление его имени было очевидной и не очень логической случайностью, – через несколько десятков лет он вышел на большую улицу литературы и стал на том месте, которое теперь видно со всех улиц и переулков. Ни предубеждения против журналов и газет, которым он давал свое имя, ни враждебный гул прогрессивной критики около его статей, ни самый характер его писаний, всегда серьезный и метафизический, ни самый стиль его, еще так недавно неясный, тяжеловатый, избыливающий словами в скобках и кавычках, примечаниями под строкой, отступлениями, – ничто не воспрепятствовало восходу его звезды».

Разбирать подробно прихотливые отношения философа с каждым из его именитых современников, его участие в различных редакциях, журналах, обществах, заседаниях и прочих проектах, на которые так богат был Серебряный век, перечислять отзывы, оценки, характеристики можно бесконечно долго. Розанов объял, пронзил, окутал это фантастическое время, и о его участии в играх и забавах далекой прекрасной эпохи подробно, дотошно написали почтенные ученые мужи А. Н. Николюкин в жэзээловской биографии и В. А. Фатеев в тысячелистнике «Жизнеописание Василия Розанова», хотя, на мой взгляд, самый точный и емкий портрет философа можно найти в небольшом биографическом очерке В. Г. Сукача «Василий Васильевич Розанов». Наконец, существует блестящая, насыщенная интереснейшим фактическим материалом «Розановская энциклопедия» – труд большого числа специалистов, серьезных розановедов, который можно читать как роман. Но опять-таки в качестве единственного, одновременно уникального и вместе с тем в чем-то типичного примера взаимодействия В. В. с прогрессивной

общественностью и русским литературным миром обратимся к полемике нашего протагониста с молодым, чрезвычайно амбициозным литературным критиком, а впоследствии известным детским писателем Корнеем Ивановичем Чуковским, тем более что Розанов и сам признавал: «Ч. был единственный, кто угадал (точнее сумел назвать) “состав костей” во мне, натуру, кровь, темперамент. Некоторые из его определений – поразительны... Но он не угадал моего интимного. Это – боль, какая-то беспредметная, беспричинная, и почти непрерывная. Мне кажется, это самое поразительное, по крайней мере – необъяснимое».

Однако это уже более позднее суждение, а начиналось все иначе.

В 1906 году двадцатичетырехлетний Чуковский написал весьма едкий и по-своему остроумный отзыв на книгу Розанова «Ослабнувший фетиш», которая как раз и касалась революционной темы. Называлась рецензия «Прохожий и революция» и начиналась так:

«– Что здесь случилось? – спросил рассеянный прохожий.

– Революция! – отвечали ему.

– А, революция! Знаю, знаю! слышал! – сказал рассеянный прохожий, засеменял дальше и, придя домой, написал книжку “О психологических основах” русской революции».

Дальше следовала пространная цитата из Розанова и ехидный комментарий автора статьи:

«В комнате становилось темно. Рассеянный прохожий – В. В. Розанов – любит писать в этот час, когда все знакомые предметы вдруг становятся какими-то загадочными, непонятными, и когда портрет Страхова, висящий над его столом, можно принять за Маркса, а Каткова за Герцена.

Он – В. В. Розанов – “мечтатель”, “визионер”, “самодум”, он – “в подполье”, “в своем углу”. Вся сила его, все очарование удивительного его таланта в том, что он ничего не знает, а только “догадывается”, ни о чем не думает, а только “мечтает”, только улавливает в сумерках своего подполья какие-то тени, и шепчет вам о них своим нервическим, прерывистым шепотком.

– Экономические причины? – шепчет он. Конечно, конечно! Голод, холод, произвол, угнетение, – конечно, все это революция. Но главное, главное – революционные “мечтания”, “фантастика” революционная, – идеал “какой-то невидимой республики”... Тут, надо думать, в комнате стало совсем темно. И пред духовным взором г. Розанова предстал фантастический какой-то эс-эр, каких на самом деле совсем не бывает. И полюбил его Розанов, и позавидовал ему, и какое-то снисхождение к нему почувствовал. Сам-то он старше, солиднее, умнее, но почему “отрокам и

отроковицам не верить”, что при республиканском строе яблони будут расцветать раз в мае, во второй раз в октябре, и третий раз в декабре?..

Почему им не “кричать”, не доказывать, не агитировать”, не пропагандировать эти яблоки?

– Пусть делают, что хотят! – разрешает г. Розанов и, улыбаясь видению, засыпает у себя на диване»^[52].

Трудно сказать, читал ли сам герой эту остроумную, но все-таки достаточно поверхностную гляцевую рецензию, однако четыре года спустя Василий Васильевич побывал на публичной лекции Корнея Ивановича, посвященной только начинавшемуся тогда кинематографу, и оставил свой не менее колючий отзыв:

«Высокий-высокий тенор несется под невысоким потолком, если опустить глаза и вслушиваться только в звуки, можно сейчас же почувствовать, что это не русский голос, не голосовые связки русского горла. Из ста миллионов русских мужиков, из десяти миллионов русских мещан и уж, конечно, ни один “господин купец” и ни один “попович” не заговорят этим мягким, чарующим, полуженственным, нежным голосом, который ласкается к вашей душе, и, говоря на весь зал, в то же время имеет такой тон, точно это он вам одному шепчет на ухо... “Те не поймут, но вы поймете меня...” И слушателю так сладко, что лектор его одного выбрал в поверенные своей души, и он совершенно расположен действительно верить не то очень искусному, не то очень талантливому чтецу... Но какое соответствие между голосом и человеком. Если голос вас чарует, то человек вас манит. Темный-темный брюнет, точно опыленный углем, он весь вместе масленился, и если бы я не боялся некрасивых сравнений, – я нашел бы в нем сходство с угрем, черной змееобразной рыбкой финских вод, которую взяв вилкой, буфетный посетитель поднял из тарелки с маслом... Масло так и блестит, а угорь черен. В буфете это не очень красиво, но в человеке, на чтении, перед огромной, замершей во внимании аудиторией, очень красиво. И я всеми инстинктами души чувствую, что читает или, точнее говорит, сильный оратор, сильный вообще человек, с удачей, с большими надеждами в будущем, с хорошей судьбой в будущем, но все это как-то для себя, для чтеца, а отнюдь не для публики, до которой интимно ему дела нет, ни для города, в котором он читает, ни для страны, в которой он читает».

Независимо от того, можно ли было считать эти строки запоздалым ответом, цели своей они достигли, и нетрудно представить, с какими чувствами чувствительный Корней Иванович прочитал розановский «отчет» – про полуженственный голос, про маслянистого угря и про свою нерусскость. Ответ критика заставил себя ждать несколько месяцев и

вылился в открытое письмо Чуковского Розанову, опубликованное 24 октября 1910 года в газете «Речь».

Мой до дыр

«Дорогой Василий Васильевич! Вас теперь принято очень бранить, но давайте я Вас пожалею. Вы так нуждаетесь в жалости, – бедный, Вы очень устали. Я читал Ваши последние книги; в них как будто есть и тревога, и пафос, но это меня не обманет. “Спать хочется!” – вот скрытое и, право, единственное Ваше настоящее слово теперь. Для виду Вы в своих статьях жестикулируете и ставите знаки восклицания, но как бы вдохновенна ни была каждая Ваша статья, – из каждой мне слышится голос – А, впрочем, черт с вами! Делайте, что хотите. Оставьте меня в покое».

Если вспомнить знаменитое розановское «я не ищущ истину, я ищущ покоя», то Чуковский кажется недалеким от этой истины, но статья его интересна еще и тем, что в ней в сжатой, общедоступной форме автор рисует тот образ Розанова, каким воспринимали его многие из современников (да и потомков тоже):

«Беременный живот для Вас дороже, чем лицо Рафаэля, чем голова Леонардо. Когда вы захотели похвалить когда-то Достоевского и Толстого, вы сказали: “беременные”, “чресленные” писатели (“В мире неясного и нерешенного”, с. 18) – и пусть читатель достанет прошлогодние “Весы” (восьмую книгу), – какими жаркими и душными словами Вы славите там эти неоскудевающие чресла библейских иудейских женщин. Вас всегда влекла к себе Библия – универсальный родильный дом – и, совсем не замечая Бога – Духа и убегая от Бога – Сына, Вы знали, и видели, и ощущали в этом мире, в этом родильном доме – только Бога – Отца, Бога – Акушера, Бога Сарры, Авраама, Иакова. Эта страстная, безмерная любовь к цветущей, чресленной, рождающей плоти, – как я чувствовал ее в каждой Вашей строке. В самом стиле Ваших писаний была какая-то телесная возбужденность, ненасытимость, какая-то полнокровность и похоть, – и если Вы правы, что гений есть половое цветение души, воистину Вы были гениальны, – и как убога наша “логика” и наша “грамматика” рядом с Вашим “чревным” и “чресленным” мышлением. Вы словно не мозгами тогда думали, а соками всего своего тела, – все так терпко, и томно, и душно на Ваших страницах. Мы все фрунтовики перед Вами, скалозубы, скопцы, наши строки так формальны и пресны, – мы умеем излагать лишь наши мысли и чувства (да и то до чего отдаленно); – Вы же всегда на бумагу клали всего себя, со всей своей “физикой”, со всей “физиологией”; и это делало самые вздорные, самые дикие Ваши слова такими же

несомненными, как “несомненен” всякий организм, как бы он ни был уродлив, – а Ваши статьи почти всегда бывали организмами, живокровными, животрепещущими, – хотя сколько гомункулусов, выкидышей, недоносков, мертворожденных... Все Вам мило в области пола, все бури и смерчи. Карамазовщина и Свидригайловщина, Содом, как и Вифлеем, здесь все благословляется Вами и обожествляется Вами, и уходите себе с Богом сюда от рабочих депутатов, от Гапона, от революции, конституции – ведь ради этой же святыни Вы, обычно столь робкий (“я каждого полицейского считаю своим начальством, а в конке – даже кондуктора конки”), не побоялись восстать против Бога и восстать так страстно, что люди верующие все в один голос закричали про вас: Антихрист!!!».

И обвинительный вывод, к которому приходит автор:

«Вам все – “все равно”: быть ли со Христом или против Христа, любить ли Его или ненавидеть – не здесь Ваша святыня, не здесь молитва. Святыня Ваша – “чресла”; ей Вы не изменяли никогда, а на все остальное “наплевать”».

Не менее сердито набросился на Розанова другой его гонитель, Петр Бернгардович Струве, написавший о ту же пору статью «Замечательный писатель с органическим пороком», в которой обвинил Розанова в нигилизме, неряшливости и бесстыдстве, которое и есть «существо его “художественной натуры”».

Тут вот что еще стоит отметить. За «нравственный релятивизм» и отсутствие четко выраженной позиции Розанова задолго до Чуковского и Струве корил человек прямо противоположных взглядов – Михаил Александрович Новоселов, бывший толстовец, ставший одним из самых стойких, верных православных христиан русской церкви в XX веке и заслуживший от своих единомышленников почтенное прозвище *авва*. Еще в 1903 году, в пору Религиозно-философских собраний, где Розанов вдохновенно рассуждал о семье и браке, Новоселов возражал ему и его поклонникам: «Я не отрицаю глубин в его писаниях... Замечу лишь мимоходом, что глубины бывают и “сатанинские”... Но дело не в этом, а вот в чем. Я не могу вполне серьезно относиться к человеку и не сомневаться в нравственном достоинстве его писаний, когда у него, как у писателя, на неделе семь пятниц, и слишком подчас развязное отношение к самым серьезным вопросам жизни». И в другом месте, характеризуя розановский идеал почти так же, как несколько лет спустя автор будущего «Мойдодыра»: «“Просто хорошая, добрая, милая семья” – вот альфа и омега не только данного, но, кажется, и всякого вопроса жизни. Не мешайте

каждому жить так хорошо, просто, мило, в этом все благо ваше».

Сам Чуковский, никакого отношения к тем собраниям не имевший, едва ли этим обличительным речам внимал, но поскольку претензии у столь разных людей повторялись, В. В. был к ним готов и ответил на приглашение к диалогу или же вызов на дуэль двумя статьями в «Новом времени», снабдив каждую эпиграфом, как ответным выстрелом.

Первый: «Разница между “честной прямой линией” и лукавыми кривыми, как эллипс или парабола, состоит в том, что по 1-ому летают вороны, а по 2-ым движутся все небесные светила».

Второй эпиграф – слова самого Петра Струве: «Розанов не то что безнравственный писатель, он органически безнравственная и безбожная натура».

Обе статьи построены в форме диалога, где оппоненты ведут допрос, а подсудимый отвечает, и по сути его ответы есть некое розановское кредо или, лучше сказать, пользуясь более поздним выражением русских формалистов, «обнажение приема»:

«— Сколько можно иметь мнений о предмете?

— Сколько угодно... Сколько есть мыслей в самом предмете, ибо нет предмета без мысли, и иногда – без множества в себе мыслей.

— Можно иметь сколько угодно нравственных “взглядов на предмет” и убеждений о нем?

— Сколько угодно.

— На каком расстоянии времени?

— На расстоянии 1 дня или 1 часа, при одушевлении – нескольких минут.

— Что же у вас 100 голов и 100 сердец?

— Одна голова и одно сердце, но непрерывно тук, тук... И это особенно, когда вы “спите”, вам “лень” и ни до чего дела нет... Когда я снаружи засыпаю и наступают те “несколько минут”, когда вдруг 100 убеждений сложатся об одном предмете.

— Где же тогда истина?

— В полноте всех мыслей. Разом. Со страхом выбрать одну. В колебании.

— Неужели же колебания – принцип?

— Первый в жизни. Единственный, который тверд. Тот, которым цветет все, и все живет. Наступи устойчивость – и мир закаменел бы, заledenел...

— Скажите, что вы думаете о 1905–06 годах?

— Да и нет. Горесть и радость.

— Но разделите.

– Разделяю. Радость – оживление, расцвет лица, упоение надеждами. Живость движения. Был на митинге – незабываемо. Русь шумела как хороший лес в бурю...

– Программы?

– Я в них не вслушивался от лени, а лень у меня наступает, когда я вижу неважное, мелочь, глупости. Программы хороши, когда их исполняют художники, а не ремесленники... Я вообще возненавидел политику... она дело жестокое, грубое, “дипломатическое” к тому же, т. е. хитрое и лгущее. Помня и зная это, я затворился дома, т. е. стал тихим, кротким анархистом, по наружи всех почитая, а внутри... ничего не думая кроме как “завтра” и “сегодня”, как пророки в пустыне. Для меня важно, чтобы сегодня не шел дождь, а остальное в Божьей воле. Мало. Тихо. И не понимаю, почему же я за это бесчестен... Пока было хорошо, я говорил хорошо. А когда стало худо, я стал говорить худо... Чем страстнее я любил и люблю революцию, чем внимательнее я в нее (в лица ее) вглядываюсь, чем в ней я больше понял, тем мнения мои о ней дальше разойдутся».

Или как позднее он напишет в «Опавших листьях», опять же отвечая своим критикам: «Как я смотрю на свое “почти революционное” увлечение 190... нет 1897–1906 гг.?

Оно было право.

Отвратительное человека начинается с самодовольства. И тогда самодовольны были чиновники. Потом стали революционеры. И я возненавидел их».

Вот и все. И что на это возразишь? Какие приведешь аргументы?

Он был непошибаем. Принимайте меня таким, какой я есть, и не пытайтесь ничего во мне исправить. Все равно не получится^[53].

Но в душе все равно переживал.

«На меня Струве и еще один соц. – дем. обрушились за то, что я показываю два лица (а у меня их 10) в политике, и почти без иносказаний называли подлецом. Вот негодяи!! – писал В. В. одному из самых душевных своих корреспондентов. – Да кому из этих болванов я давал “присягу в верности”. Тайная мысль меня влечет предать все вообще партии, всем им “язык” и “хвост” показать, “разбить яйца и сделать яичницу” из всех партий...»

А в «Листьях» уточнил: «Папироска после купанья, малина с молоком, малосольный огурец в конце июня, да чтоб сбоку прилипла ниточка укропа (не надо снимать) – вот мое “17 октября”. В этом смысле я “октябрист”».

Новые люди

Претензии к Розанову со стороны Струве были понятны: он вознегодовал, в том числе из-за того, что аморальный журналист печатался в газетах с разными направлениями – «Новом времени» и «Русском слове». Это возмущало также и его бывших друзей Гиппиус и Мережковского, которые, вернувшись из парижской эмиграции еще более полевевшими, не могли простить В. В. его отхода от революции. «З. Н. слышать не хочет даже имени Розанова после статьи о русской революции – называет его “явлением”, а не человеком, пакостью, разлагающейся грязью», – записывал в своем дневнике в сентябре 1910 года секретарь Религиозно-философского общества Сергей Платонович Каблуков (тот самый, над чьей фамилией будет иронизировать Розанов в «Уединенном» – «Хуже моей фамилии только “Каблуков”»: это уж совсем позорно»)^[54].

О том, как Василия Васильевича от либерального «Русского слова» нелиберально отстранили, впоследствии вспоминал журналист А. В. Руманов: «Когда в “Русском слове” начали сотрудничать Мережковский, Гиппиус и Философов, они сначала вполне терпимо относились к соседству с Розановым, но с обострением политической обстановки это соседство оказалось для них неудобным, и они поставили издателю “Русского Слова” Сытину условие: они или Варварин. Сытин поручил своему представителю в Петербурге эту деликатную миссию: надо было сообщить Розанову, что его сотрудничество прекращается, и одновременно предложить ему ряд материальных компенсаций. Произошла следующая сцена: – Василий Васильевич, ваши фельетоны такие длинные, а “Русское Слово” так дорожит местом, что нам придется отказаться от их печатания. – Розанов в ужасе: – Что же мне делать? – Но первого числа вы регулярно будете получать жалованье. – Как? Я буду получать жалованье, если даже ничего не поместите? – Да, и притом в течение целого года».

«Об “изгнании” Розанова из “Русского слова” (визит Руманова к нему). У меня при таких событиях все-таки сжимается сердце: пропасть между личным и общественным, – написал в своем дневнике в декабре 1911 года Александр Блок. – Человека, которого Бог наградил талантом, маленьким или большим, *непременно, без исключений*, на известном этапе его жизни начинают поносить и преследовать – все или некоторые. Сначала вытащат, потом преследуют – сами же. Для таланта это драма, для гения – трагедия. Так должно, ничего не поделаешь, талант – обязанность, а не право. И

“нововременство” даром не проходит».

Оно не прошло, это правда, но пройдет еще несколько лет и когда не станет ни либеральной, ни консервативной газеты, а на смену им придут «Правда» да «Известия», Розанов напишет П. Б. Струве: «Перестаньте на меня сердиться: сотрудничество в “Русском слове” и в “Новом Времени” – просто горе задавило; больная с 1911 уже очень тяжело жена, и 5 человек детей да падчерица, все в поре учения и отданные самонадеянно в частные школы, т. е. страшно дорогие. Неужели Вы не можете понять, что “нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет”, неужели неясно, что, “отрекшись от литературной знаменитости” (“Единая программа”), я не только не был подл, но клянусь и клянусь, что если где я был прав, то в том именно, что поставил больную женщину и маленьких детей выше всей этой чехарды политики и публицистики, которая, Вы видите, к чему в конце привела».

Эти горькие строки, конечно, расходятся с былой розановской горделивостью и самоуверенностью, да и писались они в трагическом 1918 году, когда перед В. В. замаячил призрак самой настоящей нужды и голода и речь шла о яичнице уже не политической, но самой обыкновенной, ставшей несбыточной мечтой почище любых публицистических сравнений («2–3 горсти крупы, пять круто испеченных яиц может часто спасти день мой», – кротко попросит у своих читателей один из самых высокооплачиваемых русских авторов в «Апокалипсисе нашего времени»). И всё же заметим, как это перекликается с письмом Страхову, написанным еще в далекие, мирные и сытые времена в городе Белом в тихом девятнадцатом веке в связи с рождением первой дочери. Сколько бы лет ни прошло, как бы Розанов ни менялся, как бы ни менялась жизнь вокруг него, одно оставалось для него неизменным и перекрывало все другие расчеты – любой ценой зарабатывать деньги на семью, и не было среди русских писателей первого ряда того, кто на протяжении многих лет столько времени и сил отдавал бы поденной работе, как он. Житейские обстоятельства продолжали влиять на этого человека, или, говоря языком не то исторического, не то диалектического материализма, даже не бытие, а скорее быт определял его сознание. Странно, конечно, применимо к ярчайшему русскому идеалисту, да еще, похоже, весьма субъективному, однако по сути все обстояло именно так.

И все же не Петр Струве и не Корней Чуковский были настоящими собеседниками на розановском пиру. В начале нового века на глазах у В. В. рождалось талантливое поколение новых московских (не чета старым петербургским) славянофилов, любомудров, русских мальчиков, с

которыми он считался и которые считались с ним, хотя почти ни в чем и не соглашались. «Среди печати и общества, до такой степени затянутого философскими и политическими пошлостями, до такой степени болтливых и праздных, вдруг являются люди, которые самою жизнью становятся серьезны, которые взяли другой тон личных отношений, связей и совсем другой тон литературного выражения, – писал Розанов позднее в статье, посвященной молодому московскому славянофильству. – Главное здесь именно то, что это не литературная школа, а жизненная школа; что главная их добродетель – скромность и молчание. Вообще тут много таких качеств и оттенков, что, и не принадлежа нисколько к кружку, глядя на него со стороны, можно было не только любить и уважать их, уважать хорошим братским или хорошим чужим уважением, из лагеря другой партии, будучи других убеждений, но можно было и порадоваться целостною радостью за Россию, видя ее, так сказать, в «хороших родах». Господи, ведь сколько праздного рождается; ведь каждый день приносит сколько пустоцвета!»

А самым глубоким, самым важным, самым непраздным, полноцветным и плодоносящим среди этих замечательных молодых людей оказался его земляк (по отцу) Павел Александрович Флоренский, и это родство было не пустым звуком. «Нужно нам, в самом деле, ознаменовать свою принадлежность к родине предков, тем более что эта родина из фаллических – фаллическая (“Кострома” – название фаллического божества), из блудливых – блудливая (“Кострома” – блудливая сторона), из церковных – церковная и из монархических монархическая. Все вместе показывает, что она корнями в землю и с ветвями в небо, т. е. живая», – писал он Василию Васильевичу, и это отсылка в духе самого Розанова к разным сторонам бытия – и к духовному верху, и к телесному низу – весьма характерна. Именно Флоренский лучше и глубже всех в розановском феномене разобрался и, если так можно выразиться, подвел под него гносеологическую и святоотеческую основу. Выше я приводил рассуждения отца Павла о значении святой Варвары в жизни супруги Розанова Варвары Дмитриевны, но вот что писал священник о небесном покровителе самого В. В. – Василии Великом: «Приветствую Вас с днем Вашего Святого, во многом столь определившего Вас. Ведь это едва ли не единственный из свв. оо. “обычай человекав изучил... и естество сущих изъяснил...” Это он, чуть ли не единственный из свв. оо., питал грандиозные планы объединения всех враждующих партий и потому был терпим до послабления духоборам. Это он, опять чуть ли не единственный, имел не мало мудрости змеиной и склонности к тонкому ведению дел, переходившему в хитрость. Это он – то, что у В. В. называют

“двуличностью” и что он сам, по справедливости, называет “многомочностью”».

Заочное знакомство двух философов относится к 1903 году, когда Флоренский, тогда еще студент физико-математического факультета Московского университета, написал маститому автору журнала «Новый путь»: «Я не знаю Вас как личность, не знаю даже имени Вашего, но могу все-таки не колеблясь высказать мысль, что Вы пророк в существенном смысле, т. к. Вы постигаете То, что оформливается Логосом, первобытную Мощь».

В конце письма была приписка: «P. S. Очень хотелось бы иметь от Вас несколько слов, конечно, если это не покажется Вам слишком навязчивым».

История эта чем-то напоминала почтительное письмо учителя географии из Ельца знаменитому петербургскому критику Н. Н. Страхову, однако Розанов в отличие от своего литературного опекуна неведомому московскому студенту отвечать тогда не стал, и настоящее эпистолярное общение меж ними началось лишь в 1908 году. Но зато какое!

Душа моя Павел

Флоренский вобрал в себя все – и лево и право, и церковность и античность, и дух и плоть, и консерватизм и декадентство, и русских и евреев, и нумизматику и журналистику – и был в этом смысле Розанову конгениален. В сущности, эти двое были как авгуры, разговаривавшие на своем птичьем, костромском блудливом, святом языке, прекрасно друг друга понимавшие, ценившие, то и дело яростно спорившие и ни разу друг с другом не заскучавшие. В отличие от Сергея Александровича Рачинского, богобоязненного и смиренномудрого человека прошлого века, разговоры на все сомнительные темы сразу же пресекшего, Павел Флоренский, «человек новый и сам декадент», по определению В. В., не гнушался розановского интереса к плоти, и в пространных эпистолах сначала к преподавателю Духовной академии Троице-Сергиевой лавры, а потом и к священнику отцу Павлу Розанов мог позволить себе вывалить все, что в глубине его существа бродило, мешалось и варилось, как в каком-то огромном чану, и при этом знать, что не будет ни отвергнут, ни осмеян, ни осужден, а – понят.

В. В. рассуждал о тайнах мироздания и христианстве, о греческих монетах и своих пристрастиях и взглядах на интимную сферу. Он отрицал все подряд, от догмата о непорочном зачатии до современного отношения церкви к семье, нападал на Христа и объявлял церковь виновной в «каждом пьяном на улице, в каждом распутном в бардаке, в каждом удавившемся, в каждом картежнике», ибо все человеческие пороки проистекают, по Розанову, от бессемейности и невозможности разводиться. Написанные латинскими буквами слова «фаллос» и «вульва» были в его письмах едва ли не самыми часто встречающимися и служили наиболее надежным средством самопознания: «Мне кажется, у меня мозг fall’ообразен и особенно vulv’ообразен, – правая ½ – fallus, левая – vulva: и их соотношение напоминает мне душу, особенно во время писания, да и всегда, в свободную минуту».

Он не исповедовался, не каялся, а просто делился опытом и «опытами», признаваясь Флоренскому в самых разных вещах, вплоть до единственного, из любопытства испытанного опыта содомии, которую ради удобства обозначал буквой S, на что Павел Александрович терпеливо и кротко отвечал: «Уж если Вы про Христа пишете невесть что, то право же S является лишь наивностью».

Из всего огромного эпистолярного наследия Розанова его практически десятилетняя (1908–1917) переписка с Флоренским – наиболее насыщенная, откровенная, самая розановская, острая и шальная, да и сам Павел Александрович был наиболее глубоким и любопытным из его корреспондентов, так что, строго говоря, Михаил Васильевич Нестеров с полным основанием мог бы изобразить на своем известном полотне вместе с отцом Павлом не Сергея Николаевича Булгакова, но его елецкого учителя, а еще лучше – всех троих, связанных весьма непростыми отношениями.

Флоренский спорил с Розановым, не соглашался по очень многим вещам («Несмотря на все мое глубокое уважение к Вам, несмотря на мою личную любовь к Вам, Вы – враг мне, и я – Вам»), обвинял его в нелюбви к истине и христианству, требующему «самоотвержения», «а Вы хуже огня боитесь всякой трагедии, всякого движения». Он заботливо и педагогически пугал Розанова адскими муками: «Смотрите, Василий Васильевич, как бы Вам не было в аду такого наказания: посадят Вас в комнату, где со всех сторон будут торчать фаллы, где только и будет действительность, что под углом зрения пола. И восплачете Вы ко Христу, которого оскорбляете. Замучаетесь, стошнит Вас. Будете протирать руки, чтобы идти на какие угодно муки, лишь бы не видеть всего под углом зрения пола, и тщетно будет Ваше отчаяние: “Где сокровище Ваше, там и сердце Ваше будет”». «Скажу Вам прямо. Ваше противление Христу (Которого Вы понимаете, конечно, лучше, нежели я, вследствие чего Ваше отрицание не отрицание каких-нибудь социал-демократов, а гораздо злокачественнее) вселяет в Вас бес. Вы притягиваетесь к христианству, возделаете его, но притягиваетесь содомически. Свой содомизм в отношении к святыням Вы проектируете на эти святыни. А между тем стоит Вам отказаться от самоутверждения, сказать Христу без всяких условий, смиренно: “Господь мой и Бог мой!”, как иллюзия исчезнет мгновенно. Вот Вам и объяснение». И подводил итог: «Если мое слово нужно Вам, то вот оно: ну, известный писатель, бездонно-глубокозрительный В. В. Розанов слегкомысленничал. Виноват, но заслуживает снисхождения».

Так они поменялись местами, и уже не Розанов, а Флоренский казался более старшим, мудрым, терпеливым, да в сущности и стал настоящим наставником и новым розановским духовным поводырем и опекуном. Правда, вести такого неподатливого, невнимательного послушника было весьма непросто, и иногда Флоренский замолкал, не отвечал на письма, заставляя многомочного В. В. нервничать и каяться: «Теряясь в догадках, отчего Вы мне не пишете, я думал, что Вы меня не то чтобы не любите, а

недолюбливаете, за суету, мутность, тщеславие, “опыты” (больше всего), худоватое отношение к Церкви (Б. даст совсем войду в нее)».

Случалось, Розанов сам первый хотел из этого «романа в письмах» выйти, чтоб только не терзаться: «Вот перемена: стал скучать с Вами. Писать не хочется. А бывало, только мысленно и говорил с Вами. “Истожили Вы мое терпение” и “любовь лопнула”. Fatum». Или в другой раз: «Забудьте меня и не пишите никогда. В Ваших путях я совсем не нужен. Даже для “ученых справок”, не говоря о дружбе».

Но – не выходил, и переписка возобновлялась, продолжалась, и с годами в этих розановских метаниях, сомнениях и страхах, как и в неумеренном влечении к «сладкому», становилось все больше детского, незащитного, как будто В. В. действительно рос наоборот, не вырос, не превращался в подростка с бушующими гормонами, а взрослый, мудрый Флоренский со снисхождением к заблудшей овечке писал: «Дорогой Василий Васильевич! В моей жизни было несколько моментов, когда мне было до боли жалко Вас и хотелось написать Вам, обнять и поцеловать Вас тем поцелуем, каким мать целует маленького, больного ребенка». И в другом письме: «Какой Вы милый ребенок, большой, великий, но не понимающий иногда самых явных положений в жизни»^[55].

И как больного ребенка он прощал своего корреспондента за все его шалости, поиски, эксперименты и «опыты», снисходил до них, не бросал Розанова и выносил за скобки то, что отторгало в нашем герое других, нормальных, здравомыслящих людей, один из которых позднее с недоумением вспоминал: «Ничем он казалось болен не был; отличался семейными добродетелями – и только неприятной была сладимость, с которой он воспринимал все женское. Гипертрофия интереса к Полу (для него именно полу с большой буквы) и привела к размягчению его мозга, очень сильного, но особенного; как женщина он был алогичен, мыслит озарениями, не приводя в систему острых своих афоризмов, был в них капризен, как художник. Увлечение одной стороной бытия делало его равнодушным к другим, отсюда и объяснения того, что мы называем его аморализмом».

Эти суждения студента Д. А. Лутохина на первый взгляд кажутся вполне разумными, но не случайно с их автором дружбы у Розанова не сложилось, а дружили с ним, переписывались те немногие, кто умел над этими особенностями его личности подняться и не считал Розанова «половым идиотом», а пытался ему помочь, поддержать.

«Павел Флоренский недавно вызывался (конфиденциально) свояченицей Розанова для его ободрения ввиду острого маляра, в который

он впал, дойдя, очевидно, до крайней точки по линии пола, – писал С. Н. Булгаков А. С. Глинке-Волжскому. – Я не видел его, воротившись, но знаю, что Розанов ему каялся, собирался ехать говеть к Троице и пишет в “Новом времени” статьи за церковь. Не знаю, чего все это стоит».

Однако в Лавру Розанов покуда не собрался, продолжал писать как за церковь, так и против, а «половой маразм» его с годами становился все острее (недаром перед смертью Розанова его дочь Надежда записала слова отца: «Если бы не о. Павел Флоренский, я бы весь погиб в половых извержениях. Он был истинный, великий, православный священник»), и стоили все эти благие намерения и сборы, действительно, не очень много. Только вот какая штука. Можно и сегодня, особенно когда введены в научный оборот ранее неизвестные документы, относящиеся к интимной жизни философа пола, не опубликованные при его жизни произведения, а также всякого рода «распоясанные письма» и ниже пояса мемуары, обсуждать его, осуждать, сокрушаться, уличать за то ли двуличие, то ли легкомыслие, то ли подростковое любопытство, за личное бесстыдство или же нарушение заповеди, соблюдение которой еще Пушкин считал самым трудным. Можно и отцу Павлу сто лет спустя попенять за то, что слишком ко многому в личности своего великовозрастного «духовного чада» относился он чересчур терпимо, и вспомнить, например, резкое письмо, которое взыскательный философ Иван Ильин позднее написал Ивану Шмелеву как раз в связи с картиной Нестерова, припоминая и отсутствующего на ней Розанова: «Ради Господа, не присылайте мне портрет – Флоренского-Булгакова кисти Нестерова. Видел я его у самого Михаила Васильевича и, стоя перед портретом, говорил ему о том *духовном* *гное*, который он ясновидчески увидел и передал. А у него (у Нестерова) – все лицо трепетало от *радостного ликования* – ибо я говорил верно. Потом он мне рассказал: “Был у меня на днях отец Флоренский. Долго смотрел портрет. Когда он уходил, я ему говорю: ‘Эх, отец Павел, я бы Вас еще нарисовал бы в духе Розанова Паном с дудочкой’. ‘Нет, – ответил тот мрачно, – довольно уж!’ – Все эти люди – не умевшие отличить духа от *пола... вдохновения от соблазна, созерцания от выдумки, ответственности от кокетства*. По-ме-лом их! Брандспойтом! Дезинфекция, дезинсекция, дератизация!

Что – они – Вам?!

‘Э, дяденька, – сказал мне один опытный грибоискатель, – что же Вы поганок-то набрали?’”»^[56].

Спору нет, очень легко по заслугам снять со стены портрет и

вычеркнуть В. В. из селиверстовской «Русской думы»^[57], выбросить как поганку из корзины с благородными боровиками, подберезовиками, подосиновиками и подмаксимовиками и устроить идейную охоту на крыс, тараканов и лягушек, но много ли в этом проку и много ли мы приобретем, отказавшись от розановского наследства?

Розанов есть Розанов, и ничего к этому ни прибавить, ни убавить, разве что попытаться его разъять, разделить на части и брать то, что каждому кажется удобным. И многие так и делают, отчего В. В. предстает в иных толкованиях православным консерватором, в других – либералом, в третьих – модернистом, в четвертых – националистом, а он был – всем этим сразу и ни от чего не собиравшись отказываться. Один из самых известных фрагментов из «Опавших листьев» – «Вывороченные шпалы. Шашки. Песок. Камень. Рывины. – Что это? – ремонт мостовой? – Нет, это “Сочинения Розанова”» – есть художественное свидетельство того, что никому из читателей и почитателей В. В. не удавалось и не удастся легко и с приятностью прогуляться по садам его словесности. Ни правым, ни левым. Однако когда один из последних биографов Розанова, написав о нем много-много «букав», заявил после этого в одном из интервью, что теперь В. В. «разъяснен» и вся таинственная «антиномичность» Розанова представляется сегодня обычной для декадентского Серебряного века раздвоенностью, то согласиться с этим ну никак не получается. И «раздвоенность», и «растроенность», и «раздесятиренность» его была необычной, и уж тем более «разъяснен» этот человек вряд ли когда-либо кем-либо будет. Не на того напали. А если искать у современных писателей, высказывавшихся о Розанове, самые точные слова, то таковые встретились автору этой книги у прозаика Анатолия Королева в его эссе «Имя Розы»:

«С синей высоты эфира “имя Розы” имеет совсем другой вид. Перед нами на колючих кустах судьбы, на терниях, на частоколе терновника (тут уже рдеют и капли страстей Христовых) раскрывается роза, женское начало любви, приманка, ловушка нектара, половой орган цветка. В мужском имени Розанов открывается воронка женского имени, причем древнего, возможней всего, иудейского имени и уж точно восточного, а не северного – РОЗА. Эта роза делает феномен Розанова парадоксальным слиянием, соитием, эмблемой женского и мужского начала. Оно увеличивает во сто крат всеохватность этого имени. Роза окольцовывает пространство. Роза – вход в тайну. Роза даже может читаться как путь в матку истины, в святая святых.

Эта ужаленность Василия женским именем Роза и создает тот поразительный эффект спиритуальной половой манкости и энергии

розановской мысли. Возможно, в этой ранке гнездится увлечение Розанова иудаизмом, не отсюда ли его крик: Все! Ухожу в еврейство.

Итак, синее имя Василий в соотношении с алостью Розы порождает из точки творящего имени феномен радужной розановской мысли, на цвет, запах и крик которой вот уже который год летят медоносные пчелы читателей и почитателей Василия Розанова, сине-розового херувима отечественной культуры».

По-моему, сказано замечательно, образно, поэтично, только вот у херувимов не бывает жен и детей, и речь не только о «царе Василии», как называет Королев своего героя, но и о розановской семье, о его домашних, о тех, кого он так любил, считал главным в своей жизни и называл «малым храмом бытия своего, тесной своей часовенкой», и вне этой любви вот уж точно не может быть ни понят, ни разъяснен. В. В. по-прежнему оберегал свою семью, заботился о ней, ей служил – это все правда, его дети подрастали и воспитывались в хороших условиях, не зная ни в чем нужды, он их баловал, нежил, они учились в престижных школах, ездили отдыхать на курорты или за границу, ходили в театры («Папа взял ложу, и мы отправились всей семьей»), но вся эта идиллия оказалась очень хрупкой и оборвалась в один момент. И не потому, что кончились вдруг средства. Они кончатся позднее. А тогда случилось другое, более страшное.

«Осенью 1910 года мы переехали на новую квартиру в Казачий переулок, 4^[58]. Мама с папой приехали раньше нас, чтобы убрать квартиру, а мы приехали с Украины через несколько дней, – вспоминала Татьяна Васильевна Розанова. – Помню, утром, на другой день, сидим мы за утренним чаем, за столом в столовой. Мама очень оживлена, много рассказывает о поездке за границу, о хороших тамошних порядках, о том, как она с папой ездила кататься с искусственных гор после своего лечения. Все казалось благополучно, но у нас екало сердце, мы были удивлены: маму мы не узнавали, у нее было странное выражение лица и не свойственная ей говорливость. Мы, дети, притихли... Вдруг мама как будто поперхнулась чем-то и начала медленно на один бок сползать со стула... Мы страшно испугались, не понимая, в чем дело. Отец вскочил со стула, бросился к ней, думал, что она поперхнулась хлебом, неосторожно начал стучать ей по спине, давать глотать воду, но ничего не помогало, объяснить она ничего не могла, что с ней случилось, – язык у нее онемел. Бросились за врачом, была ранняя осень, все знаменитые врачи были в отъезде, пришлось вызвать с лестницы случайного врача Райведа, и он сразу определил – паралич».

Дурная болезнь

«Когда я приоткрыла дверь в одну из комнат – то увидела папу... Он лежал ниц перед иконой и рыдал. Казалось, кто-то подрубил ему ноги, и он всем телом рухнул на пол, – вспоминала другая дочь, Надежда Васильевна, тогда десятилетняя девочка. – Не помню, когда нас пустили к маме... Она лежала в постели, а мы толпились у ее ног. Она смотрела на нас и, мучительно кося рот, пыталась что-то сказать... Нам, детям, объяснили, что мама переутомилаась с устройством квартиры, и с ней случился нервный удар. Так мы и думали, пока не стали взрослыми».

Болезнь жены стала главным несчастьем в разноцветной жизни Василия Розанова, и тут, конечно, напрашивается соблазн сделать на этом основании строгий нравственный вывод в духе Ивана Ильина, что причиной всему стала розановская безответственность, чересчур вольное поведение, те пресловутые религиозно-эротические поиски, проклятые «сеансы» и «опыты» («О, мои грустные “опыты”... И зачем я захотел *все* знать. Теперь уже я не умру спокойно, как надеялся...» – писал он и сам в «Уединенном»), тот нездоровый интерес к полу и к плоти, в результате чего праведная женщина заболела от переживаний и взяла на себя грехи неверного супруга, расплатившись за них своим здоровьем. Можно вспомнить старца Амвросия, с самого начала прозорливо советовавшего Александре Андриановне Рудневой не подпускать «нахлебника» Розанова к ее дочери. Однако на самом деле, мой читатель, все оказалось и так, и не так, но в любом случае и гораздо злей, и гораздо страшней.

Варвара Дмитриевна была больна уже довольно давно, по сути, едва ли не с самого начала их совместной жизни, но определить в точности диагноз ее заболевания долго никто не мог. Она находилась под наблюдением врачей, проходила обследования, лечилась, лежала в больнице, перенесла три операции и после одной из них заразилась тифом, терпела, страдала, молилась, читала акафисты Серафиму Саровскому и прижимала к груди фотокарточку с Иоанном Кронштадтским, но беда все равно пришла.

«26 августа я сразу состарился.

20 лет стоял “в полдне”. И сразу 9 часов вечера, – записал Розанов в «Уединенном». – Теперь ничего не нужно, ничего не хочется. Только могила на уме».

И дело было не только в тяжелой болезни, еще в юности подкосившей

Варвару Дмитриевну, но и во врачебной ошибке. Причем ошибке, совершенной доктором с мировым именем, основоположником рефлексологии и патопсихологического направления в России – Владимиром Михайловичем Бехтеревым.

«Величественный шарлатан, с такой германской походкой, погубил и мамочку, объявляя себя (в “указателе”) врачом по нервным болезням, 5 лет ездя к страдающей “чем-то нервным” и не понимая, что означают *неравномерно расширенные зрачки*. Видел их 5 лет и не понимал – что это? почему?

Да и сколько врачей видели эти зрачки. Мержеевский (в Аренсбурге), Розенблюм (в Луге), Наук, княжна Гедройц, Райвид, и никто не сказал:

“Вы видите это, это – *глубокое страдание, надо лечить*”.

И мамочка была бы спасена.

Карпинский 1-й сказал, и уперся, отверг нелепый диагноз Бехтерева (“Уверяю вас, что ничего нет”) и схватился лечить 14 лет запущенную болезнь. Дай Бог ему всего доброго. Карпинский – доброе, прекрасное имя в моей биографии, благодетель нашей семьи. Как Бехтерев – погубитель».

Эта горькая запись в «Опавших листьях» была прокомментирована в наши дни двумя учеными-медиками В. И. Прохоренковым и М. В. Родиковым в статье «Загадка болезни жены В. В. Розанова», опубликованной в 2004 году в журнале «Сибирское медицинское обозрение». Как пишут авторы статьи, жену Розанова обследовали многие врачи и профессора, и одним из первых стал профессор Харьковского университета Я. Анфимов, который диагностировал у пациентки в 1898 году спинную сухотку и посоветовал Розанову: «Вернувшись в Петербург с Кавказа, покажите светилам тамошним, прежде всего Бехтереву, и проверьте мой диагноз». А дальше, как замечают ученые, Бехтерев диагноз Анфимова отверг.

«Уверяю вас, что у нее этого нет!» Сказал он это «твердо» и «радостно». «Ничего не понимая в этом, мы из чрезмерного, смертельного испуга, при котором у обоих “ноги подкосились...”, перешли к неудержимой радости, “из смерти выскочить”, конечно, как безумные».

С мнением Бехтерева не согласился член Русского общества нормальной и патологической психологии доктор А. И. Карпинский. «Да позвольте! Бехтерев или не Бехтерев сказал, но если исчезли эти и те рефлексы (зрачка и сухожилий), то, значит, разрушены мозговые центры, откуда выходят эти движущие (заведующие сокращением) нервы. Значит их – нет! А болезнь – есть...»

Карпинский предложил срочно начать лечение. Если бы оно было

начато раньше, то не было бы ни «раннего склероза артерий... ни перерождения сердечных клапанов, ни – в зависимости от этого – удара».

До конца жизни Розанов винил себя: «А здоровье “друга” проглядел... Как с головной болью каждый день поутру: “Почему не позвал Карпинского?” “Почему не позвал Карпинского?” “Почему не позвал Карпинского?”».

И проклинал Бехтерева:

«Ах, Бехтерев, Бехтерев, – все мои слезы от вас, через вас... Если бы не ваш “диагноз” в 1896 (97?)-м году, я прожил бы счастливо еще 10 лет, ровно столько, сколько нужно, чтобы оставить детям 3600 ежегодно на пятерых, – по 300 в месяц, что было бы уже достаточно... Если бы Бехтерев увидел нашу мамочку, лежащую на кушетке, зажав левую больную руку в правой... Но не видит. Видит муж. У них нет сердца. Как было не спасти, когда он знал по науке, что можно спасти, есть время и не упущено еще оно».

Не имея на руках собственно медицинских документов того времени и основываясь лишь на записях самого Розанова, сказать, так ли это в точности было, сложно, но тем не менее современные исследователи определенно называют заболевание Варвары Дмитриевны и рисуют следующую клиническую картину.

«Заражению сифилисом В. Бутягина подверглась в период замужества с М. П. Бутягиным, который “медленно погибал... от неизвестной причины... со страшной медленностью слепнул... коротко и бурно помешавшись, – помер”. Необходимо вспомнить исторический фон, на котором проходила жизнь этих людей. Во второй половине XIX века сифилис был широко распространен среди населения средней полосы России. Целые деревни страдали от “дурной болезни”. Значительная часть таких больных в допенициллиновую эру лечения сифилиса адекватного лечения не получала и если не гибла от поздних форм инфекции, то передавала заболевание своим потомкам. Чего стоят, хотя бы, названия деревень у Н. А. Некрасова в поэме “Кому на Руси жить хорошо” – Безносовка, Курносавка и т. п. ^[59] Зная причину трагического конца самой В. Бутягиной, несложно связать причину смерти ее бывшего мужа (из духовного рода) с сифилисом. Учитывая, что М. П. Бутягин скончался вскоре после женитьбы, оставив молодую вдову и двухлетнюю дочку, можно предположить, что он страдал заразной формой сифилиса. Клинические признаки заболевания – медленно прогрессирующая слепота и следующие за ней короткие и бурные психические нарушения – свидетельствуют о том, что М. П. Бутягин скончался от сифилитического

поражения нервной системы. За сифилитическую этиологию его заболевания свидетельствует факт передачи сифилиса их потомству – дочери Александре. Заражению сифилисом от М. П. Бутягина подверглись только его жена и родная дочь Александра, у которой, вероятнее всего, был врожденный сифилис. Дети от брака с В. В. Розановым родились через 10–16 лет после рождения у Варвары Бутягиной первого ребенка. При этом ни они, ни сам В. В. Розанов сифилисом от В. Бутягиной уже не заразились. Как это объяснить? Скорее всего, сифилитическая инфекция у В. Бутягиной к моменту брака с В. В. Розановым в 1891 г. (через 8 лет после рождения зараженного плода) носила поздний характер... Трагизм судьбы В. Бутягиной состоит в том, что если бы на этом этапе ее заболевания было начато энергичное противосифилитическое лечение, то последующей катастрофы не произошло бы. История болезни В. Бутягиной – классический пример врачебной ошибки, которая, как это ни прискорбно, не редкость и в наши дни! Ошибка корифеев неврологии стоила жизни жене В. В. Розанова, принесла философу “неподдельное горе и реальное страдание”, вызвала осуждение и негодование...»

Надо признать, выглядит это все достаточно убедительно, и к этой печальной истории болезни стоило бы добавить случай с «первой» Надей, родившейся в 1892 году и умершей год спустя от менингита – болезни, которая с большой долей вероятности была следствием именно нейросифилиса, передавшегося девочке через плаценту матери. В сущности, то же самое грозило всему потомству Варвары Дмитриевны и Василия Васильевича, вот почему рождение у них вслед за этим пятерых здоровых детей стало настоящим чудом. Однако за это чудо мать заплатила жестокую цену, да и для самого Розанова то обстоятельство, что он женился на прекрасной, очень религиозной, происходившей из известного церковного рода (одним из предков В. Д. Бутягиной был знаменитый проповедник архиепископ Иннокентий Борисов) и рожденной по обету, богоданной женщине^[60], которая в юности заразилась от своего первого мужа, сына священника и брата священника, дурной болезнью^[61], о чем юной девой она наверняка помыслить не могла в самом кошмарном сне, – все это стало самой жуткой гранью его жуткой судьбы, на фоне которой действительно кажутся мелкими все литературные распри и дразги, все нападки на В. В. хоть Владимира Соловьева с его Иудушкой, хоть Петра Струве, хоть Корнея Чуковского, хоть Новоселова, хоть Ильина, хоть епископа Гермогена, хоть Гиппиус и Мережковского, Венгерова и Андреева, хоть зоилов и ортодоксов современных. Все это так, между

прочим...

«Не спас я мамочку от страшной болезни. А мог бы. Побольше бы внимания к ней, чем к нумизматике, к деньгам, к литературе.

Вот одна и вся моя боль. Не “Христос”, нисколько.

“Христос” и без меня обойдется. У него – много. А у мамочки – только я.

Я был поставлен на страже ее. И не устерег. Вот моя боль», – писал Розанов в «Уединенном», а в письме Флоренскому признавался: «Друг мой: вот как помню себя, с гимназии – грусть, грусть, тяжело, тяжело. Ведь мы с мамочкой никогда “не погуляли”. Первая половина жизни (лет 10) – нужда до того горькая, страшная, до того *безнадежная в будущем*, что мы только плакали. “Нет исхода”... Затем что-то радостное во время “Нового Пути” и “Мира искусств”. И – затем эта болезнь мамочки: подкрававшаяся незаметно, коварно, *сзади*. Ах, болезнь – всегда “сзади”, всегда мы ее не видим».

Важно еще и то, что Розанов о характере и происхождении болезни жены знал, как знала это и она сама, как знала и ее старшая дочь. «Я Вам не говорил, чем она больна: ее муж, – любимейший, – умер от (Карпинский по признакам) прогрессивного паралича на почве сифилиса, и она получила заражение, павшее на мозг же, и у нее произошла сухотка спинного и головного мозга!! Отсюда получилось, ранее, в 45 лет “перерождение” всех кровеносных сосудов, т. е. склероз, состарение их, и миокардит, т. е. воспалительный процесс мускульной ткани сердца, а на почве перерожденных сосудов произошел в 47 лет удар: когда закрылась проходимость некоторых кровеносных сосудов в мозгу. И это открыть через 30 лет после заражения!! Теперь уже все запоздало, и она несчастная изуродована: вся левая сторона тела полувисит, ослаблена, с потерей чувствительности и ослабленной способностью движения. Вся жизнь испорчена медицинским недосмотром. И тут, конечно, виноват муж, который должен за всем смотреть, должен бы ее сохранить. Вот мой ужас... Вот и радость денег, смысл денег, нравственность денег, а также и объяснение: почему это “учителя в Ельце Б. привел в дом Рудневых”, и вся наша история. Шурочке тогда б. 7 лет. Что бы они обе стали делать без меня, и мать, с *tabes cerebri spinalis* (сухотка головного и спинного мозга, от 1-го мужа, + от прогрессивного паралича), и эта Шурочка, инвалид в работе, с 30 лет, имея домик, приносящий при постояльце – Юр., при 3-х нахлебниках – “их хлеба и сами (3 женщины) прокармливаемые”.

Ужас. Ужас».

И еще один «опавший лист»:

«Моя страданица. И опять говорила: “Я снова видела во сне Михаила

Павловича. Так ясно. И он спрашивал: скоро ли ты, Варюнчик, придешь ко мне? Я жду тебя»».

Это и был первый муж Варвары Дмитриевны, в которого она была с детства влюблена, за которого вышла замуж фактически против родительского благословения и который стал причиной всех ее бед. Почему, что и как там произошло, каким человеком был на самом деле Михаил Павлович Бутягин, какой была в молодости Варвара Дмитриевна, мы не знаем и вряд ли узнаем. Младшая дочь Розановых Надежда писала: «Кажется, мама молоденькой страстно любила танцевать», что, конечно, не совсем вяжется с образом благочестивой православной юницы, которую мама забрала из гимназии за четверку по поведению, но еще меньше увлечение танцами юной девы может считаться серьезным грехом. Да и была ли эта страсть к танцам на самом деле? Розанов в «Уединенном» цитировал слова своей тещи: «Варя никогда не была веселая. Бывало, в девушках – все шумят, возятся. Она сидит где-нибудь отдельно, в уголку».

Что же касается виновника ее несчастья Михаила Бутягина, то известно о нем лишь то, что он был старше жены на двенадцать лет, работал учителем (правда, не в гимназии, а в церковно-приходской школе), и, возможно, его болезнь была трагической случайностью. А может быть, опасения родных Варвары Дмитриевны относительно выбора дочери возникли не на пустом месте и родители хотели уберечь «хорошую девочку» от взрослого «хулигана». Но она их все равно ослушалась, и Розанова это восхищало.

«“Верность” В-ри замечательна, – писал он в «Смертном»: – ее не могли поколебать ни родители, ни епископ Ионафан (Ярославль), когда ей было 14 лет и она полюбила Мих. Павл. Бутягина, которому была верна и по смерти, бродя на могилу его (на Чернослободском кладбище, Елец)... И опять – я влюбился в эту любовь ее и в память к человеку, очень несчастному (болезнь, слепота), и с которым (бедность и болезнь) очень страдала.

Ее рассказ “о их прошлом”, когда мы гуляли ввечеру около Введенской церкви, в Ельце, – тоже решил мою “судьбу”.

Моя В-ря одна в мире».

Все это так, но справедливости ради, архиепископ Ионафан (в миру Иван Наумович Руднев), родной и очень заботливый дядя Варвары Дмитриевны^[62], впоследствии действительно корил свою племянницу в одном из писем за то, что «жизнь ее прошлая и настоящая была нехороша». А самому В. В. писал в январе 1899 года в том же духе: «Прошедшее у вас и Вари было нехорошо. Если первая ваша жена жива: то вам трудно

достигнуть счастья и благополучия...»

Вы – гениальны!

Михаил Пришвин, которого Розанов некогда изгнал из Елецкой гимназии и с которым неожиданно для себя встретился на одном из заседаний Религиозно-философского общества в Петербурге, написал в своем великом Дневнике о том, что счастье – это измерение жизни в ширину, несчастье – в глубину.

Его учителю досталось с лихвой изведать и то и другое, и, наверное, не случайно именно в годы болезни жены («Вот и я теперь убогая» – у нее при обильно текущих слезах, *губы вытягиваются*, как у бессильного защититься ребенка, в лепешечку: и лицо имеет выражение такого горя, что я «готов разбиться о пол». Но *кто* видал это?» – писал Розанов Флоренскому) В. В. и создал книги, благодаря которым мы сегодня о нем так много говорим. Они возникли именно тогда, на этом изломе его жизни и судьбы, были ее порождением, тем самым герценовским, хотя Розанов Герцена и терпеть не мог^[63] – «мы не врачи, мы – боль» – высказыванием и попыткой словами выразить и зарастить свою личную рану, зашептать свою боль.

«Болит душа, болит душа, болит душа... И что делать с этой болью – я не знаю. Но только при боли я и согласен жить... Это есть самое дорогое мне и во мне... Хотел ли бы я посмертной славы (которую чувствую, что заслужил)?

В душе моей много лет стоит какая-то непрерывная боль, которая заглушает желание славы. Которая (если душа бессмертна) – я чувствую – *усилилась бы, если бы была слава.*

Поэтому я ее не хочу.

Мне хотелось бы, чтобы меня некоторые помнили, но *отнюдь не хвалили*; и только при условии, чтобы помнили *вместе с моими близкими.*

Без памяти о них, о их *доброте*, о *чести* – я не хочу, чтобы и меня *помнили.*

Откуда такое чувство? От *чувства вины*; и еще от глубокого чистосердечного сознания, что я не был хороший человек. Бог дал мне таланты, но это – другое. Более страшный вопрос: был ли я *хороший человек* — и решается в отрицательную сторону.

(*Луга – Петербург, вагон*)».

Это было настолько прямо, искренне и пронзительно в устах человека не слишком прямого и лукавого, что именно на этом контрасте и возникло

чудо «Уединенного» и «Опавших листьев», которые стали главным событием в жизни писателя, не написавшего ни одного романа, ни повести или рассказа.

То были сочинения новые, необычные, опередившие свое время, оказавшие огромное влияние на всю последующую литературу, книги, которые можно раскрыть наугад на любой странице и читать. Все остальное в наследии Розанова интересно сегодня скорее специалистам, историкам литературы, критики и журналистики, а вот «розановские листья» ветер занес в далекое будущее, и вся его русскость, вся сердечность, жалость во всех возможных смыслах этого слова – от жалеть, жаловаться и жалить – выплеснулась в них и едва ли нуждается в каких-то объяснениях, комментариях, тут уж у каждого из нас воистину «свой Розанов» и свои любимые места и цитаты.

В. В. очень хорошо и сам понимал уникальность своего сочинения. «Безумно люблю свое “Уед.” и “Оп. л.”. Пришло же на ум такое издавать. Два года “в обаянии их”. Не говорю, что умно, не говорю, что интересно, а... люблю и люблю. Только это люблю в своей литературе. Прочего не уважаю». А в письме Э. Голлербаху вспоминал: «Не помню кто, Гершензон или Вячеслав Иванов – мне написал, что “все думали, что формы литературных произведений уже исчерпаны”, “драма, поэма и лирика” исчерпаны и что вообще не может быть найдено, открыто, изобретено здесь: и что к сущим формам я прибавил еще “11-ую” или “12-ую”. Гершензон тоже писал, что это совершенно антично по простоте, безыскусственности^[64]. Это меня очень обрадовало: они знатоки. И с тем вместе что же получилось: ни один фараон, ни один Наполеон так себя не увековечивал. В пирамиде – пустота, не наполненная, Наполеон имел безбытийственные дни. Между тем, “Оп. л.” доступны и для мелкой жизни, мелкой души. Это, таким образ., для крупного и мелкого есть достигнутый *предел вечности*. И он заключается просто в том, чтобы “река текла как течет”, чтобы “было все как есть”. Без выдумок. Но “человек вечно выдумывает”. И вот тут та особенность, что и “выдумки” не разрушают истины факта: всякая греза, пожелание, паутинка мысли войдет. Это нисколько не “Дневник” и не “мемуары” и не “раскаянное признание”: именно и именно – только “листы”, “опавшее”, “было” и “нет более”. “Жило” и стало “отжившим”: пирамида и *больше* пирамиды, главное – гораздо *сложнее*, а в то же время – клад в карман. И когда я думаю, что это я сделал “с собою”, сделал с 1911 года: то ведь конечно настолько и так ни один человек не будет *выражен* так и вместе опять субъективен: и мне грезится, что это Бог дал мне в награду.

За весь *труд* и *пот* мой и за *правду*».

Известно, что «Уединенное», уже после того как в 1912 году книга была издана и разошлась, запретила за порнографию цензура, а автора, коллежского советника В. В. Розанова, Петербургский окружной суд постановил «заключить под стражу в доме арестуемых на десять дней, книгу “Уединенное” уничтожить, со всеми принадлежностями тиснения, без всякого на то вознаграждения».

«Запретили за “е... м...” и “ж...”», микву и попа с фаллом *in statu erectionis in templo*», – раздраженно написал В. В. Флоренскому в апреле 1912 года, а в прошении на Высочайшее имя кратко попросил, чтобы его освободили от уголовной ответственности. Российская бюрократическая машина на сей раз над автором смилостивилась, и 19 июня 1913 года газета «С.-Петербургские ведомости» опубликовала сообщение о результатах судебного процесса: «В СПб. судебной палате слушалось дело по обвинению В. В. Розанова в порнографии, по 1001 ст. улож. о нак., за его известную книгу “Уединенное”, конфискованную комитетом по делам печати. Окружной суд, как известно, признал Розанова виновным и приговорил его к десяти дням ареста, постановив книгу уничтожить. Палата от наказания автора “Уединенного” освободила по указу об амнистии и постановила освободить от конфискации книгу по изъятии из нее нескольких отдельных мест, в общем не превышающих десяти страниц».

Вся эта история столетие спустя кажется полным бредом и еще одним симптомом чудовищной слепоты Российского государства – нашли, за кем и за чем охотиться! И тем не менее книга была очень по-разному принята не только властями, но и критикой, причем скорее отрицательно (собственно, с названий этих рецензий я и начал свое повествование о Розанове), однако было у нее и много разных поклонников – от людей именитых до никому не известных читателей, оценивших не только необычную форму, но и ее откровенность, исповедальность, интимность, иначе называемую розановскими недругами «бесстыдством».

Одна из самых ярких – и не пойми, положительных либо отрицательных – рецензий принадлежала Зинаиде Гиппиус (под псевдонимом Антон Крайний): «С первых же строк этой напечатанной книги вас охватывает страх. Еще не разобрался, еще не понял, что же, собственно, тут ужасного, а первый глубокий внутренний голос уже твердит: “Нельзя! Нельзя! Не должно этой книге быть!” Против ее существования, против того, чтобы она была сдана в типографию, набрана, вышла черным по белому, и цена обозначена – 1 р. 50 к. – против всего

этого кричит мое естественное человечество и даже оскорбленная “личность”».

В сущности, превосходная реклама!

«Встретил В. В. Розанова и сказал ему, как мне нравятся “Опавшие листья”. Он бормочет, стесняется, отнекивается, кажется, ему немного все-таки приятно», – отметил в дневнике 27 апреля 1913 года Блок.

«...нашел на столе “Уединенное”, схватил, прочитал раз и два, насытила меня Ваша книга, Василий Васильевич, глубочайшей тоскою и болью за русского человека, и расплакался я, – не стыжусь признаться, горчайше расплакался, – писал А. М. Горький. – Какой у Вас огромнейший талант, какая жадная, живая, цепкая мысль. Рано Вы родились или поздно, но Вы удивительно несвоевременный человек... Был бы я на Руси – пошел бы сейчас к Вам и десять часов говорили бы мы с Вами обо всем, что значительно в мире... Если же переживу Вас – пошлю на могилу Вам прекрасных цветов, – прекрасных, как некоторые искры Вашей столь красиво тлеющей, сгорающей души».

Еще одним читателем, кого «Уединенное» невероятно увлекло, стал неведомый тогда Розанову, а впоследствии сыгравший очень важную роль в его судьбе молодой литератор Сергей Дурылин. «Вы были врач моей тайной боли, помощник прилежно таимой скорби, – и если в ответ на свою боль встречал розановскую боль, и в отзыв своему радованию – розановское радование, то было при боли – не больно, при радости – учетверялась радость, – написал он Розанову в январе 1914 года. – Если бы мне сказали: вот истребят все книги, вышедшие за последние десять лет, оставь себе две – я бы оставил “Уединенное” и “Столп” Флоренского; если бы сказали: оставь одну – я бы оставил “Уединенное”; если бы вовсе велели истребить – я бы украл, спрятал в ухо в комочке, страничку из “Уединенного”... “Уединенное” – самая тихая и простая книга, потому что болеют и радуются-то ведь в тишости. Там есть страницы, строчки тишины единственной. И как все – кто до этой боли своей допишется у нас в России – становятся тихи и просты».

Однако быть может, самый примечательный с точки зрения истории литературы эпистолярный отзыв – хотя, скорей всего, сам Розанов и не придавал ему большого значения – принадлежал молодой женщине, поэту (она не любила слово «поэтесса»), еще тоже никому не известному, чьим стихам, как драгоценным винам, покуда не настал тогда свой черед:

«Я ничего не читала из Ваших книг, кроме “Уединенного”, но смело скажу, что Вы – гениальны. Вы всё понимаете и всё поймете, и так радостно Вам это говорить, идти к Вам навстречу, быть щедрой, ничего не

объяснять, не скрывать, не бояться. Ах, как я Вас люблю и как дрожу от восторга, думая о нашей первой встрече в жизни – может быть неловкой, может быть нелепой, но настоящей. Какое счастье, что Вы не родились 20-тью годами раньше, а я – не 20-тью позже!.. Милый Василий Васильевич, я не хочу, чтобы наша встреча была мимолетной. Пусть она будет на всю жизнь! Чем больше знаешь, тем больше любишь. Потом еще одно: если Вы мне напишете, не старайтесь сделать меня христианкой.

Я сейчас живу совсем другим.

Пусть это Вас не огорчает, а главное, не примите это за “свободомыслие”. Если бы Вы поговорили со мной в течение пяти минут, мне не пришлось бы Вас просить об этом.

Кончаю мое письмо самым нежным, самым искренним приветом, пожеланием здоровья Вашей жене и Вам. Напишите мне о Вашей семье: сколько у Вас детей, какие они, сколько им лет?

Всего лучшего.

Марина Эфрон,

урожд<енная> Цветаева».

Розанов, правда, гораздо теснее общался с младшей сестрой Марины Ивановны Анастасией, но что касается «Уединенного», то возможно, один из секретов этой, «почти на праве рукописи» изданной книги заключался в том, что ее автор не делал никакой тайны не только из своей жизни, но и из жизни своих близких и не очень знакомых людей. Они все превращались в листочки на его магическом древе, и не всем это пришлось по нраву.

Так, один из героев-читателей был очень недоволен следующим «листком»: «Одна умная матушка (А. А. А-ова) сказала раз: “Перелом теперь в духовенстве все больше сказывается в том, какое множество молодых страдает бесплодием”. Она недоговорила ту мысль, которую через год я услышал от нее: именно, что “не жены священников не зачинают; а их мужья не имеют сил зачать в них”. Поразительно».

Розанов настолько прозрачно зашифровал фамилию «умной матушки», что ее возмущенный муж, участник Религиозно-философских собраний почтенный протоиерей Иоанн Альбов отчитал автора: «Стыдно Вам – старому человеку – свои бесстыдные и нескромные бредни говорить от имени скромной женщины, которая к Вам так хорошо относилась. Что Вам далась наша бездетность?! Ведь по-Вашему – это несчастье! А над несчастьем не глумится, особенно в печати, ни один мало-мальски порядочный человек. Это все равно что в печати назвать Вашу незаконную жену по-народному и по-народному же Ваше сожительство с нею. Кажется, уж моя жена по-хорошему относилась к обоим Вам. Но Вы ее все-таки

запачкали. Стыдно, стыдно и грешно!!!»

Вряд ли Розанову сделалось стыдно, этические пределы в его вселенной были сильно размыты или вовсе отсутствовали, а то, что мы сегодня называем английским словом «privacy», в ней попросту не существовало. В. В. брал материал для своих сочинений везде, где мог, ничего не стесняясь, ничем не брезгуя, он, если воспользоваться платоновским (Андрея Платонова) определением сущности писательского ремесла, был похож на ежа, который катится по земле и к его иголкам прилипает все подряд. Но все же глумления, злой насмешки, сознательной хулы, ерничества с его стороны тоже не было. Это не его дух, не розановский стиль, где были сплетены грязь, нежность и грусть, из которых, по слову философа, и состояла его душа. И быть может, точнее всего эту розановскую безграничность и бездонный внутренний разлад понял и выразил еще один его великий младший современник, лично с ним не знакомый, но очень высоко оценивший.

«Анархическое отношение ко всему решительно, полная неразбериха, всё нипочем, только одного не могу – жить бессловесно, не могу перенести отлучение от слова. Такова приблизительно была духовная организация Розанова. Этот анархический и нигилистический дух признавал только одну власть – магию языка, власть слова. И это, заметьте, не будучи поэтом, собирателем и нанизывателем слов, а будучи просто разговорщиком или ворчуном, вне всякой заботы о стиле, – писал в 1922 году в статье «О природе слова» Осип Мандельштам. – Одна книга Розанова называется “У церковных стен”. Мне кажется, Розанов всю жизнь шарил в мягкой пустоте, стараясь нащупать, где же стены русской культуры. Подобно некоторым другим русским мыслителям, вроде Чаадаева, Леонтьева, Гершензона, он не мог жить без стен, без акрополя. Всё кругом подается, всё рыхло, мягко и податливо. Но мы хотим жить исторически, в нас заложена неодолимая потребность найти твердый орешек кремля, акрополя, все равно как бы ни называлось это ядро, – государством, обществом или церковью. Жажда орешка и какой бы то ни было символизирующей этот орешек стены определяет всю судьбу Розанова и окончательно снимает с него обвинение в беспринципности и анархичности».

Качнуться вправо

В «Опавших листьях» можно также почувствовать очередной разворот розановского корабля и своего рода возвращение на оставленные в конце XIX века консервативные и государственные позиции, которые, трудно сказать, имел в виду или нет Мандельштам.

«Я понял, что в России “быть в оппозиции” – значит любить и уважать Государя, что “быть бунтовщиком” в России – значит пойти и отстоять обедню... Я вдруг опомнился и понял, что идет в России “кутеж и обман”, что в ней встала левая “опричнина”, завладевшая всею Россиею и плещущая купоросом в лицо каждому, кто не примкнет “к оппозиции с семьей”. И пошел в ту тихую, бессильную, может быть, в самом деле имеющую быть затоптанную оппозицию, которая состоит в: 1) помолиться, 2) встать рано и работать».

Розанов вновь обращается к дорогим именам своих литературных наставников 1880–1890-х годов, с которыми заочно спорил в пору увлечения декадентами на рубеже веков, однако теперь, отвечая Горькому на вопрос, почему же он некогда стал консерватором, В. В. пишет о кумирах провинциальных лет с перевесом прежних симпатий.

«Знаете ли вы жизнь Страхова Н. Н.? И знаете ли вы жизнь Кон. Леонтьева? Первый читал по-латыни, по-гречески, французски и немецки и был специалистом по философии, по биологии и по физике. Стахеев мне передавал: – “Бывало придешь к нему – и он скажет: дайте 1 р., я пошлю за чаем. У меня нет: а вы гость – и я вас должен напоить”.

Когда я его спросил об этом, Страхов ответил:

– Ну, да! Я люблю Россию, и мне писать было негде; я жил переводами, перевел Историю философии Куно-Фишера, переводил Тэна и проч. На обед и квартиру хватало, а на чай – не всегда.

Такова же была и жизнь Конст. Леонтьева: и его журналистика также “казнила и погребала”, просто от того, что он не отрекся от России и не побежал за немецко-еврейской социал-демократией. А вы пишете, что “страдальцами” были Щедрин и Михайловский. Полноте: стоит какой-то ужас обмана, и вы Бог знает зачем с свободной душой и с биографией человека из народа поплелись за колесницей, которая давила и давит все бедное, все гордое, все честное, все не сдававшееся. Каткова я исключаю: он – не знаю “кому брат”, но он не наш, не мы. Я говорю о Гилярове-Платонове, Страхове, Кон. Леонтьеве (почти и только!), о Говорухе-

Отроке... Скажите, какие “несчастненькие” эти Михайловский, у ног которого была вся Россия, и Щедрин, которого косого взгляда трепетал Лорис-Меликов.

Да вы поглядите, как Философов (сын тайного советника и главного военного прокурора) и Мережковский (его отец был придворным) перекинулись в социалистов, зная, что только тут успех и что, не будучи социалистом, русский писатель подохнет с голоду, если он не в “Нов[ом] Вр[емени]”. Мережковский несколько раз просил меня устроить ему свидание с стариком – Сувориным, “хоть на полчаса”, но я, зная отвращение Суворина к декадентам и неуважение специально к Мережковскому, как к неумному человеку, и к Философову за его “мужелюбивые” наклонности, не хлопотал о свидании, зная, что ничего не выйдет. Хотя лично мне было бы в высшей степени приятно и практически полезно, если б в редакц[ию] “Нов[ого] Вр[емени]” вошли эти друзья мои. Это было в 1902–1905 гг.

Тогда, зная, что “или Новое Время или умри с голоду, если не социалист”, – они перешли в социализм.

Нет, Алексей Максимович: вы – мечтатель, вы – сновидец (для литератора это и отлично) и не знаете истории русской литературы, не знаете судьбы русских писателей, не знаете чудовищного черного погреба, в котором она копошится, как червь в гробу: и оплакиваете в золотых веревочках людей, и топчете ногами замученных праведников русской земли.

Вы просто фактов не знаете».

Конечно, назвать Мережковского социалистом можно с очень большой натяжкой. Однако Розанову важно было в тот момент себя и своих былых, вновь оживших «замученных праведников русской земли», противопоставить тем идолам, с которыми когда-то он искал сближения и так весело шалил. Теперь же его пути с ними расходились всё дальше, взаимные обиды при-и преумножались, и В. В. писал в «Опавших листьях» о духовном перевороте, случившемся в его душе после несчастья с Варварой Дмитриевной: «И я бросился (1911 г., конец) к Церкви, одно в мире *теплое, последнее теплое* на земле. Вот моя биография и судьба... Иду в Церковь! Иду! Иду!»

Однако еще отчетливее, подробнее эти покаянные слова прозвучали опять-таки в его письмах: «Ужасно хочется церкви, ужасная потребность в ней, в молитве, в священнике, в добром слове именно духовном: а я так органически (вы это понимаете) ушел от этого, “в корне отошел” и “уже не срастусь” иначе как искусственно и исторически. Ужасно в душе у меня, и

не знаю, что делать. Ведь какая странность в моей биографии: я 8 лет “гоню церковь”, “как Домициан” (сочинения): и в эти самые 8 лет, в сущности, только “церковный дух” и любил: все их “маслецо”, свечечки, слова “богоумильные”, все, все, самый колорит. Вот странность, вот дикость!!^[65]... А Варя за перегородкой. Моя Варя. Какая вера у меня: Бог ее провел передо мною, дал в утешение и руководство и в указание. Но я недостойн (“опыты”) и “Бог берет ее у меня”», – писал он Флоренскому.

А Церковь уже давно шла ему навстречу и не держала зла. В 1908 году епископ Вологодский Никон (Рождественский) писал Розанову:

«Многоуважаемый Василий Васильевич.

Прошу извинения, что, не будучи лично знаком с Вами, позволяю себе писать Вам, как старому знакомому и близкому мне человеку. Впрочем, мы знаем друг друга как работники пера, а это письмо останется между нами...

Вот уже три дня, как внутренний голос говорит мне: пиши, пиши к Розанову, грех тебе будет, если не напишешь... И я сажусь за свой ремингтон, после всенощной в великий праздник Рождества Христова, чтобы кратко побеседовать с Вами.

Прочитал я Вашу статью об о. Иоанне и вспомнил Ваше письмо, когда-то, лет 10 назад, посланное Михаилу Петровичу Соловьёву, письмо, в котором Вы с полной откровенностью, как пред духовным отцом, поведали этому хорошему человеку все свои семейные тайны... Помню, он прочитал мне это письмо, чтоб посоветоваться со мною: что ему делать? И я дал ему совет – не знаю, выполнил ли он его – вернуть письмо Ваше Вам, чтобы тайны Вашей исповеди не попали кому-либо в руки из посторонних людей.

Я грешен пред Вами: мне казалось, что всё потеряно, что Вы так далеко зашли со своими умствованиями в вопросах веры, что уже не вернуть Вас к Господу Спасителю... А вот же выходит, что в Вас еще не совсем замерло чувство православной веры, чувство понимания истинной церковности: Вы сумели оценить великого старца Божия отца Иоанна. Вы не убоялись сказать открыто пред целым светом, что верите в чудеса, совершаемые силой Божией в Церкви Православной, что в ней, яко носительнице истины Христовой, и ныне есть истинные Божии избранники, чрез которых Господь изливает Свою благодать на верующих... Ведь если бы Церковь наша была еретична, если бы она была заражена богопротивными учениями... то ея служители не могли бы получать дар такой благодати: Бог лжецам не потатчик.

Радуюсь за Вас, что Вы еще не утратили способности, ставя себя лицом к лицу с Своею совестью, говорить только то, что велит эта совесть.

Хочется верить, что Вы не обидитесь сими моими словами: в них, по крайней мере, нет лести... ТАКИЕ грешники недалеко от царствия Божия. Доселе Вы бродили “около стен церковных”: теперь хочется думать, что Вы заглянули и за порог церковный. Благоухание смирения Христова коснулось Вашего духовного обоняния чрез смиренную личность великого Божия служителя, и Вы вспомнили, что он не одинок, что есть и Филареты, и Серафимы в нашей Церкви...

Дорогой Василий Васильевич! От всего сердца хочется сказать Вам: довольно блужданий по распутьям лукавыхмышлений человеческих: пора домой, к родной матери Церкви; она давно ждет Вас с распростертыми объятиями; Вы еще можете ей послужить пером своим, можете много загладить своих против нея прегрешений!.. Пора! Мы переживаем времена грозные, и кто знает? Может быть, скоро грядёт “ин”, о ком предрёк Христос, человек беззакония, сын погибели, превозносяйся паче всякого Бога...

Желаю Вам милости Божией.

Никон Епископ Вологодский и Тотемский».

Письмо это, с учетом личности автора, одного из самых «черносотенных» иерархов Русской церкви и к тому же гонителя монахов-имяславцев, которым сочувствовал одно время и сам Розанов, а еще больше о. Павел Флоренский, едва не претерпевший за это большие неприятности, весьма примечательно. Однако достигло ли оно цели и произошло ли действительно возвращение блудного философа, этого «гениального противника христианства», в лоно Церкви, стал ли «Савл» снова «Павлом», особенно если учесть, что примерно в это же время Розанов опубликовал книгу «Люди лунного света», которую православной никак не назовешь, и, больше того, именно она сподвигла епископа Гермогена продвигать и дальше дело об отлучения ее автора от Церкви словами: «Вот до чего может дойти человек, если дать ему свободу умствовать о том, что совершенно вне сферы его компетенции», – все это большой вопрос. Во всяком случае, письмо Розанова литератору Б. А. Грифцову от 24 апреля 1911 года, недавно опубликованное А. В. Ломоносовым в книге «В. В. Розанов: ближние и дальние», свидетельствует о том, что гордое христорборческое настроение не покидало автора «Уединенного» и в эти новые старые времена^[66].

В. В. по-прежнему имел «десять точек зрения» на один предмет, и оттого красивая схема, предложенная некоторыми современными исследователями, согласно которой духовный путь Розанова можно рассматривать, как историю христианина, в какой-то момент швырнувшего

себя и свои убеждения в горнило сомнений, искушений и обольщений модернизма и вышедшего из всех испытаний еще более окрепшим в вере, – версия эта при всем ее оптимизме кажется весьма условной, приблизительной и не совсем розановской.

Сам философ в 1914 году в «Мимолетном» следующим образом описал этапы своих духовных исканий: «Славянофилом я был только в некоторые поры жизни. Во-первых, я был им в детстве (младенчестве): памятник Сусанину в Костроме, пение песенки окружающими (Рылеева):

Куда ты завел нас, не видно ни зги
вскричали враги.

Ненависть к полякам, которые устраивают пожары (слухи 1869–70 гг.) и чтение “Тараса Бульбы”.

В Симбирске (II и III классы) в Нижнем (IV–VIII кл.) – отчаянный нигилизм, позитивизм, матерьялизм. Ненависть к начальству, любовь к “простецкому” и народу, любовь к Некрасову, жажда озорства, “вреда аристократам” и какого-то неясного переворота. Все будет *по-другому*.

В университете первые посещения сходов и поразивший на них галдеж, грязные студенты из семинаристов, старавшиеся занять хоть 5 рубл. (я жил на 20 р. в месяц от брата Коли) и затем “куда-то затеряться”, “интерес к судьбе” (року), к “загадке” (в жизни и в душе) и вообще мистицизм.

Делаюсь консерватором. Читаю “Леса” Печерского (чрезвычайное впечатление). Открытие (философское) целесообразности и сейчас за этим – вера в Бога (подробнее об этом в книге о Страхове).

Все учительство я уже был народником, русским, “с Сусаниным”, ненависть в университете к Некрасову – была наибольшая. Щедрина никогда не читал, кроме “где попадется” (в гостях) страницы две.

Переезд в Петербург. Афанасий и Тертый. Ненависть к славянофилам, к бороде, поддевке, фразе и обману.

– Вот они какое жулье.

Примыкаю к декадентам (знакомство через Перцова). Встреча со Шперком (славянофил-декадент). Запутанность семьи. Ненависть к церкви.

– Окончательно перехожу к язычеству и жидам.

Нужно разрушить Европу и христианство: *idée fixe*.

Религиозно-философские собрания. Окрыляюсь. Лечу. Счастлив. Денег пока нет, но заработаю. “Вообще все хорошо”.

Мама посматривает и не возражает. Но сама – другое.

Пустота литературы и вообще “мелькания”. – Писатели – пустые люди.

Примыкаю, полупассивно, к революции. “Ничего особенного”. “Но ведь и в чиновниках что же особенного”.

День за днем – сутки прочь. Болезнь мамы. Удар. Нужда церкви и все теперешнее.

Религия гроба. Ужас гроба. “Все темно”. “Ничего не вижу”. Не понимаю ничего».

Из этого беглого пестрого конспекта жизни следует, что все же не убеждения, не идеи и даже не вера были первичными в его жизни, а – внешние события, обстоятельства, ощущения, встречи, знакомства, впечатления, чувства, за которыми он следовал. Отсюда и такое внимание к зрению, слуху, а также обонянию и осязанию; отсюда идеал обывательской жизни, отсюда чай с вареньем в ответ на вопрос нетерпеливого юноши «что делать?», отсюда такая тоска и крен в ветхозаветность, отсюда претензии к христианству, которое, по Розанову, все – про иную жизнь, с которым хорошо умирать, но не жить, а Розанов – именно про жить здесь и сейчас.

«Хотел ли бы я очень воскресения?» – спрашивал он себя и давал ответ: «Не знаю». Зато наверняка знал другое: «Я хочу “на тот свет” прийти с носовым платком. Ни чуточки меньше».

Ничего небесного, потустороннего, никаких поисков Царствия Небесного, которое силой берется («дальтонизм к Вечности (не обижайтесь, я по дружески!)» – очень точно поставил Розанову духовный диагноз отец Павел Флоренский), все – плотское, сердечное, семейное, родовое – которое и есть для В. В. бессмертие – вот что такое Розанов, и не случайно один из самых популярных, часто цитируемых «опавших листьев»: «Много есть прекрасного в России, 17 октября, конституция, как спит Иван Павлыч. Но лучше всего в чистый понедельник забирать соленья у Зайцева (угол Садовой и Невского). Рыжики, грузди, какие-то вроде яблочков, брусника разложена на тарелках (для пробы). И испанские громадные луковицы. И образцы капусты. И нити белых грибов на косяке двери. И над дверью большой образ Спаса, с горящею лампадой. Полное православие. И лавка небольшая. Всё – дерево. По-русски. И покупатель – серьезный и озабоченный, в благородном подъеме к труду и воздержанию... В чистый понедельник грибные и рыбные лавки первые в торговле, первые в смысле и даже в истории. Грибная лавка в чистый понедельник равняется лучшей странице Ключевского» – есть торжество розановского *земного*, материального православия.

Этот «Чистый понедельник» В. В., безусловно, стоит бунинского, но кроме того – никакого философского отстранения, высшего знания, мудрости, абстрактного мышления, ничего такого, что возникает в сознании, когда представляешь отрешенного философа, мудреца, поднимающегося над суетой и мелочами жизни, в Розанове тоже не было. В. В. по сути и есть воплощение мелочей, суеты сует, быта и опровержение того, что «все проходит». У него и в нем не проходило ничего. Может быть, потому, что образ жизни у этого философа был совсем не философский.

«Наша жизнь в корне изменилась, дома было очень мрачно, отец часто плакал. Мама мало говорила, ко всему стала безучастна, сидела в кожаном глубоком кресле или лежала на кушетке. Сама она больше не могла ничего делать, даже причесаться. Все должна была делать горничная или я, когда бывала дома, – вспоминала Татьяна Васильевна Розанова. – Хозяйство уже вела Домна Васильевна; она же разливала чай за столом. Мама теперь обыкновенно лежала на диване, больная, требовала, чтобы все двери были открыты, и наблюдала, что мы делаем в своих комнатах».

Понятно, как тяжело было в болезни привыкшей к хлопотам по хозяйству Варваре Дмитриевне и как портился ее и без того непростой характер, однако паралич жены стал не единственным несчастьем в семье Василия Васильевича. Еще одной печалью и заботой оказались взрослеющие дети, начиная с самой старшей, рожденной еще в первом браке Варвары Дмитриевны беленькой, востренькой Шурочки, которая в отличие от других детей знала разные времена и периоды семейной истории, очень непросто привыкала к «новому папе» («В день свадьбы мамы с отцом Алёу увезли в “Казачи” (под Ельцом). У Али остались болезненные воспоминания об этом времени», – писала в мемуарах Надежда Васильевна Розанова), звала его чаще Василием Васильевичем, реже «папочкой» и страшно тосковала о своем родном отце, хотя почти его и не помнила.

А вот Розанов о падчерице заботился. Он таскал ее не только в нехорошую квартиру на Английской набережной, но и на Религиозно-философские собрания в здание Географического общества, и на расположенную по соседству башню «певучего паука» Вячеслава Иванова, он поругался из-за нее с Блоком^[67] и, наконец, едва не пострадал из-за Али в годы первой русской революции, которую восторженная барышня приняла еще ближе к сердцу, чем он сам. В. В. написал об этой истории в «Мимолетном» десять лет спустя, и, к слову сказать, подобное непосредственное использование личного биографического материала в литературных целях – это тоже все очень розановское, провокационное,

новое.

В самом деле, сложно представить, чтобы Лев Толстой, например, принялся публично описывать семейные неурядицы, приведшие к его «бегству из рая». Для этого у него существовал дневник, не предназначавшийся автором для печати. Розанов же – и в этом его отличие от очень многих его предшественников и современников – никаких потаенных или же завещанных потомству дневников не вел, ничего никуда не прятал, не откладывал, не скрывал, не шифровал, а отправлял прямоком в редакцию (другое дело, что не все ему удавалось опубликовать, особенно после 1914 года). Так что не одному отцу Иоанну Альбову от него досталось.

Разумеется, расценивать его биографические тексты как стопроцентный исторический документ было бы неразумно, и всегда надо делать скидку на вольные или невольные неточности, сознательные и нет искажения, тенденциозность, субъективность, замалчивание тех или иных фактов, однако всё равно черты времени и места, а также характеры героев проглядывают в его семейных сочинениях весьма определенно.

Новое время

«В 1905 году (1904? 1906?) у меня был обыск. Подошли прямо к письменному столу “барышни” (падчерицы), выдвинули все 3 ящика и стряхнули содержание их в глубокий мешок и запечатали (понятые). Ушли. Я был вежлив с полицейским офицером, и он б<ыл> вежлив. Ничего грубого, жестокого. Жена подняла было голос: и это мне показалось до того *нестерпимо-деликатным* в отношении офицера, что б<ыло> единственной минутой, когда я заволновался. Для человека невинного обыск – решительно *ничего*, а когда он *виновен* – то для чего *виновен*? “Терпи” – закон виновного.

Тут даже интересно сказать, как вышло дело, чтобы увидеть, *кто* же мошенники, “беспокоящие нас по ночам” или *из-за* кого “беспокоят”.

Толстый, мягкотелый и окончательно глупый швейцар Никифор вошел на цыпочках и шепотом конфиденциально сказал мне, что “у вас эту ночь придут с *обыском*”. Я выпучил глаза: как? что? почему? – “Так что полицейский офицер сказал: *придут с обыском*”. – “Из-за чего??!!” – “Так что, значит, револьвер хранится...” – “Какой револьвер??? Хорошо. Уходи”. И войдя в столовую и затем к “барышне” в комнату, где была и ее мать, – сказал непонятное и удивительное сообщение швейцара. Мать – безумно перепугалась (больное, и опасно, сердце), а “барышня”, вся побледневшая, выдвинула правый ящик письменного стола и, взяв письмо из него, порвала в клочки и вынесла в сортир. Все так быстро, что я даже не спросил, что это, – не догадался о связи с обыском. Затем с нею сделался (с “барышней”) невыносимый припадок, и был позван (приехал уже после обыска) по телефону наугад д-р Греков (хирург известный). Через месяц уже я узнал, что она дала *свой адрес для пересылки письма*, не к ней, но к революционерке к одной, бывавшей у нас “как друг” и родная в доме всю зиму:

– Послушайте, – не позволяйте Вы *дать свой адрес для письма ко мне...* Оно должно прийти на этих днях... Вы смотрите на *штемпеля почтовые*, – *какого города*: если из Ростова-на-Дону – то *ко мне...* Ведь у Вас *самых* в Ростове-на-Дону *нет знакомых*?

– Нет.

– Значит, письмо *не Вам*, а *будет мне*. Если я дам *свой адрес*, то письмо перехватят и прочтут. А письмо – *ответственное...* Хорошо? Вы же вне подозрения, и мало ли кто может Вам писать из Ростова-на-Дону?

– Хорошо, хорошо. Пожалуйста, пожалуйста!

Письмо пришло, а революционерка эта (пропагандировала на фабриках), бывавшая у нас не менее как через два дня на третий или через день, на *этот раз не была в течение двух недель* и пришла уже после того, как и получено было “письмо из Ростова-на-Дону”, и произошел обыск... *без результата.*

Ни о чем не догадываясь (рассеянность, занятость детьми, коих 5 и все учатся), мы продолжали дружить с революционерками (две сестры, жившие душа в душу друг с другом), и они обе опять “через день или два” каждая завтракали или вечеряли у нас, иногда ночевали у нас. “К которой шло письмо” и вообще она дала “закал барышне” – не была очень развита: кончила гимназию, кажется с медалью, лютеранка, атеистка и, кроме “рабочего движения” у нас и в Германии, ничем не интересовалась, – и была скучна. Но ее сестра (тоже революционерка) была обширно образованная и, главное, развитая девушка, с знанием и любовью к Гёте, с грезами и мечтами, с начатками и зародышами религиозных чувств. Она была “до того русская”, что, нуждаясь для пропаганды обучать в одной школе на фабрике, – перешла в православие. Она мне особенно нравилась, и, собственно, на этой 2-й сестре и была основана наша дружба с ними обеими. Вот, месяца два спустя, я спрашиваю эту “интересную” сестру, – все опять-таки рассеянно:

– Знаете, какая беда могла бы выйти. Ведь у Шурочки (“барышня”) порок сердца: а об обыске она сказала: *Если бы меня увезли и за мною затворилась тюремная дверь – я бы умерла (“разрыв сердца”).*

Раз “не умерла”, то и говоришь о “прошлом” спокойно. Я не упрекал, но у меня были слова: “Как ваша сестра *была так неосторожна*”.

Она (талантливая) всегда была нежна, глубока (и мысли, и тембр голоса), – и я был поражен, когда ее голос зазвучал холодно и формально:

– Что же, *раз идет борьба* и другие люди и сидят в тюрьме, и их даже казнят, – то отчего же вашей Шурочке *не сесть в тюрьму*?

Я был поражен и не нашелся ничего сказать.

Но задумался. И нет-нет, все возвращусь к этому факту.

– Положим, *они борются*? Но ни Шурочка, ни мать ее, ни я и вообще никто из нашей семьи не борется. Сочувствуем – да. Их – гонят. Отчего им не дать приют, не спрятать, не помочь в какой-нибудь мелочи, хоть спрятать прокламации, которых сам и не стал бы читать, или их дурацкий “типографский шрифт”, коим они печатают свои замечательные произведения. “Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало”. Молоды. Борются. А я люблю видеть турнир. “Все же движение” и “меньше сна в

нашей России”.

И действительно, я сам взял бы и “шрифт”, просто даже не интересуясь революцией. “Известно, обывательские люди”и как не порадеть “соседу”.

Удивительно, что и эта, развитая и глубокая, не понимает, что нельзя *третьих лиц* совать в борьбу и *опасность*, когда они вовсе сюда не идут... Какая-то неразвитость, односторонность революционного понимания.

Проходили годы. И год на 3-й, 4-й я стал допытываться:

– Что же такое вышло и что такое случилось? Да нет другого разрешения проблемы, как то, что сидевшая 2 (чуть ли не 3?) недели дома пропагандистка на фабриках – поджидала ареста Шурочки, – после которого и явилась бы к нам, с удивлением, негодованием на “подлое правительство” и упреками мне, как “я могу молчать, когда делаются такие мерзости”. Я довольно рассеян и мог бы “вознегодовать” (ведь я о всем-то догадался через годы) и из “ни то, ни се” в отношении революции – перейти в ярые. Все они – тусклые и бездарные, а у меня “перо в руках”. Вообще я очень мог бы помочь, – и меня и с других сторон “тянули”. Тогда этот решительный удар, моя “ярость”, горе семьи, “мать чахнет от увезенной куда-то дочери” сыграли бы свою роль. Я нашел бы “слова”, которых у революционеришек нет, и “составил бы момент во влиянии на общество”... Словом, это очень понятно в счетах революции, которым горе и несчастье Шурочки и ее матери и всех пяти (еще малолетних) наших детей было нужно не само по себе, а как *возбудитель ярости в видном русском писателе*. Они целили совсем в другого зверя, и – не “удалось”, но кинули в жерло 7 человеческих, малолетних и больных, жизней.

Против их всех воли, и вообще на “них” не обратив никакого внимания.

Кто ж деспот? и где “обыкновенный мошенник”, – тот ли полицейский офицер с понатыми, который меня “обыскивал”, или эти “друзья нашего дома”, которых так искренно и глубоко мы любили две зимы?»

Секта

История эта мало того что любопытна сама по себе и удачно дополняет книгу «Когда начальство ушло», а также процитированные в предыдущих главах письма Розанова Горькому и Лопатину и полемику с Чуковским и Струве, проясняет, уточняет отношение нашего протагониста к революции и революционерам с их вечным духом провокации. Но помимо этого она стала прологом к новому пируэту в судьбе Александры Михайловны, о чем В. В. позднее поведал в мемуарном очерке «Сибирский странник», вошедшем в книгу «Апокалипсическая секта».

У девушки здесь, правда, другое имя – Лиза, но это обычный розановский прием. А сюжет заключается в том, что из революции героиня, на столе у которой стоял портрет Веры Фигнер, уходит в религиозную общину, куда опять же, судя по всему, привел ее вездесущий отчим. В этом смысле его заслуги в образовании и формировании личности Али трудно переоценить, однако если задуматься, то весь этот «роман воспитания» отчасти смахивает на странную и несколько зловещую рифму к тому влиянию, какое оказал когда-то на самого Розанова семинарист-нигилист Иван Воскресенский. Конечно, В. В. свою падчерицу не мучил, не гнобил, не сек за курение, не заставлял носить навоз, поливать огороды и пропалывать сорняки, он вовсе не желал ей зла и не вымещал на ней свои комплексы, не жил за счет ее матери, а напротив – девушку развивал, просвещал, помогал печатать ее рассказы, знакомил с интересными людьми и, наконец, дарил, раскрывал перед ней свою богатую уникальную личность, но именно по этой причине сравнение с костромским нахлебником тем уместнее, что розановские не просто метания из крайности в крайность, а одновременное существование в разных, зачастую исключаящих друг друга состояниях, с чем сам он психологически довольно легко справлялся в силу безграничности, «расплывчатости» (собственное выражение Розанова) и эластичности своей натуры, – все это слишком тяжело давалось его возлюбленной падчерице, безжалостно расшатывая ее нервную систему. И здесь в который раз можно вспомнить доктора Россолимо и понять гнев полупарализованной Варвары Дмитриевны и ее бессилие что-либо в жизни дочери изменить.

Именно под сильнейшим влиянием Розанова (недаром в последнем предсмертном письме он попросит у нее прощение за все свои «великие прегрешения перед ней») впечатлительную, ранимую Алю несло на всех

парах, и она не могла с этим жизненным потоком справиться и остановиться, перевести дух. «Что-то стихийное и не человеческое. Скорее “несет”, а не иду. Ноги волочатся. И срывает меня с каждого места, где стоял», – писал В. В. о себе и жизни своей в «Опавших листьях», но только вот Александру Михайловну срывало и несло еще быстрее и дальше, и никаких спасительных якорей у нее не было, а православный опыт девушки, о котором пойдет речь, оказался и довольно странным, и весьма недолгим, в итоге уведшим ее далеко от церкви в сторону.

Возглавлял же общину, куда попала Аля, молодой священник, коего Розанов в своем очерке называет Ярославом Медведем, хотя на самом деле единственного иерея по фамилии Медведь в Санкт-Петербурге начала века звали Романом. Впрочем, Ярославом называл его не только В. В.^[68] Батюшка сей происходил из Малороссии, был духовным чадом Иоанна Кронштадтского и производил впечатление на тех, кто его знал, довольно своеобразное. Зинаида Гиппиус называла его в своих воспоминаниях чудачливым, а сам Розанов – «угрюмым и томительным». Но именно к нему домой Василий Васильевич несколько раз приходил вместе с Александрой Михайловной и Варварой Дмитриевной. Розанову, по его словам, там показалось не слишком интересно, а вот Шуру увиденное увлекло, захватило и потрясло до слез. Девушка подружилась с женой священника матушкой Анной, стала часто в этом доме бывать, и очень скоро он сделался ей роднее того, где она жила.

«“Лиза” – близкий нам человек, девушка лет 23-х... без детей и свободная, стала больше и больше вовлекаться в посещения, и уже ходила одна – или “к церковной службе”, но непременно – “туда”, или с кем-нибудь из детей, с одним, с двумя. К церковной службе, и “так” вообще, к чаю... – писал Розанов в «Сибирском страннике». – Я не мог не умилиться. Что может быть прекраснее и идеальнее образа, судьбы, как обращение и превращение умной, но эгоистической девушки в чудную молитвенницу, в “заботницу” по дому, около детей, – которая не только сама религиозна, но и детей “приводит к Богу”. Признаюсь, эти уединенные молитвы я даже связывал с полом. Думал, просто пришел “возраст”, – и из рассеянной девушки *стало* вырастать что-то более содержательное и прекрасное. “Все хорошо”. На этом мы и остановились, не углубляясь в дальнейшее. “Тяга”, однако, развивалась все далее и превратилась в потребность быть “непрерывно в том обществе”. Окончилось переездом Лизы в “тот район” города, где была “батюшкина церковь”. Оказывается, в “районе этом” было еще несколько прозелиток, самых разнообразных слоев общества, которые все в сущности составляли “одно братство” или, вернее, “одно посестрие”,

так как кроме священника да “уважаемого странника”, из Сибири родом, и еще одного почтенного архимандрита, – крайне аскетического образа жизни, ученого, с литературными трудами, – других мужчин в этом “кружке” не было. Я называл – “кружок”: но у меня неудержимо стучало в голову – “корабль”. Были все явные признаки “хлыстовского корабля”, без его имени. “Корабль” этот неудержимо узнавался по присутствию особенной в нем “тяги”, – именно какой-то “духовной трубы”, которая вовлекала отдельные души, явно уже *врожденно-предрасположенные*, в свой могучий вихрь, сущность которого оставалась непонятною, и которому явно не было сил противиться. Формально, – ничего особенного. Усиленно молятся: но кому же это “запрещено”? и как вообще это порицать? Но в сердцевине, в “нерассказанной сказке”, вовсе не это: члены “кружка” или “корабля” повернулись спиной ко всему миру, – и хуже, чем его “отрицают”: они его вовсе не чувствуют, не ощущают, не видят, не знают. А “знают” только друг друга, и вот “друг к другу” они уже повернуты лицом, горячи, интимны, “не надышатся друг другом”».

Конечно, Розанов мог быть и был весьма субъективен, но все же сектантская община, намек на хлыстовский корабль, вообще на враждебный миру хлыстовский *притягательный* дух был совершенно прозрачен, и главной мишенью для автора оказался «священник-хлыст», похитивший у родителей их чадо и – что для философии Розанова очень важно и в его понимании преступно – не живущий плотской жизнью со своею матушкой («Они только кажутся мужем и женою. Может быть и жили в начале... *Теперь*, во всяком случае, не живут»).

«Батюшка находился в тайном идейном соперничестве со мною, – и как ученик Влад. Соловьева, и как “иерей”, – а в то время (Религ. фил. собрания) я довольно соперничал с ними. Он приходил, чтобы сказать и показать:

– Смотри, как *ты раздавлен*, ты и весь дом твой – все вы *тут сидящие*, со своими “Религ. филос. собраниями”. Вот у вас была даровитая овца, – кровь ваша, плоть ваша. Но сказал Христос: “Не от плоти и не от крови рождается человек, а от духа”. Где же *сила* вашей крови, вашего родства, вашего воспитания или отсутствия воспитания: вот пришел *Я*, носитель духа и духовного нового рождения, и родил духовно в сию овцу новую веру, новую религию, – родил в нее новую душу: и теперь она совсем – *не ваша*, а только – *моя*».

Эта история тогда попала в печать, и в 1907 году известный церковный деятель священник-публицист о. Николай Дроздов в статье «Сибирский пророк» писал: «Девница после пятилетнего уклонения от причащения –

ныне причастилась, стала любить службы и беседы в одной из столичных церквей <у священника М.>, а равно и беседы в домах, где бывает “пророк”... никакой “пророк” не уполномочен Богом разбивать скрижали Завета, где неизгладимо начертано: “чти отца и мать”».

Прав или не прав был Розанов в суровой оценке священника Медведя, ставшего в годы советских гонений на Церковь новомучеником и ныне прославленного в лике святых, но если говорить об Але, то для нее пребывание в той общине оказалось не духовным просветлением, не новым жизненным опытом беспокойной ищущей девицы, а чем-то вроде психоза, судорожным метанием, чьей оборотной и более отчетливой хлыстовской стороной и стало последовавшее за тем равнодушие и к Православию (девушка уклонилась в протестантство и стала водить дружбу с миссионерами), и – к своим домашним.

«Домой она только заходит».

– Что, мамочка, лучше? О да, конечно, лучше: ты сегодня можешь сидеть (т. е. лежишь). Гораздо лучше...

И, отвернувшись, ловила улыбку подруги где-нибудь наискось.

– Ничего, мамочка, я приду! приду! Сегодня я спешу в Публичную (библ.). Прощай. Завтракать не буду. И уже дверь хлопнула.

Она всегда была уходящей или – мелькающей».

Еще резче Розанов отзывался об Але в письмах о. Павлу Флоренскому: «Еще *наши дети* ездили (езжали) в больницу, охотно, любовно, и сострадательно, а противная *скушающая* морда Саньки Бутягиной показывалась на полчаса... Видеть этот (камень) в Санькиной душе по отношению к матери, которой она ни одного никогда нежного слова не сказала, не положила ей ни разу на щеку любящей ладони, ни прижалась ни разу, – был истинный УЖАС. Но зная греческую и необъяснимую (гипнотическую) любовь их, матери к этой ничтожной козявке – я никогда слова ей не сказал».

И в другом письме: «Не знаю, до 23 лет Шура была талантлива: но она остановилась, притупилась, потеряла свой “глазок” на вещи, обеззубетась около Медведя (поп) и около “подруг”, и не замечая, что подруги ее совершенно тупые существа (“ученые барашки”). У нее в душе и уме встал “шаблон”, и она за ним ничего не видит. Мысль, что “женщины будут равны мужчинам”, “потом”, “когда Мы” и т. д. – это их пафос теперь».

Последнее замечание в этом письме можно рассматривать как свидетельство ростков феминизма на розановском дворе, и характерна сексистская реакция В. В. в разговоре с юными поборницами женских прав начала XX века:

«— Да женщины, залезая в науку и литературу, ничего не делают, как только рабски копируют мужское...

— Это ПОКА, п. ч. женщина была РАБОЙ.

Вообразите: это в 1914 г., а не в 1863 г. Скучно и противно.

УСТАЛ».

Он не только устал, но был страшно зол, раздражен и не пытался своего раздражения скрыть, однако помимо всего этого было еще одно и куда более серьезное, в прямом смысле этого слова *роковое* обстоятельство, касавшееся Александры Михайловны.

«У Розанова была падчерица — Шура, высокая девушка, дочь его второй жены попадьи Варвары Дмитриевны, — писал в 1968 году в мемуарной части своего дневника Корней Чуковский. — Раз — около 1907 г. — она назначила мне свидание у памятника Пушкина в Петербурге и сказала мне: “Я сифилитичка. Посмотрите!” (И показала болячки во рту, на шее.) “Я сама себе отвратительна. У моего отца (священника) был сифилис”. Что мне было делать? Я предложил ей — на этот день — забыть обо всем и пойти со мной гулять по городу. Мы пошли к Неве. Я читал ей стихи Брюсова, Белого, Блока. Она слушала с упоением. “Еще!” — говорила она, едва я прекращал свое чтение. На следующий день она повесилась».

Насчет повесилась — это, конечно, такая же нелепость, как и то, что В. Д. была попадъей. Вероятнее всего, в сознании Чуковского (который сам снабдил свои записи «Что вспомнилось или собачья чушь» примечанием «писано в больнице при высокой температуре») наложились судьбы Александры Михайловны и дочери Розанова Веры. Но вот что касается сифилиса, то это правда: Алю в отличие от ее сводных сестер проклятая наследственная болезнь не миновала^[69], и можно лишь догадываться, как искорежила она и без того непростую ее жизнь и что пришлось испытать незаурядной девушке, попавшей в переплет безжалостных обстоятельств и неимоверно сильных человеческих влияний.

«Аля боялась “тяжелой наследственности”. Безумие и слепота вечной угрозой стояли в ее душе. Она была убеждена в неминуемой своей печальной судьбе. Когда у Али бывали сердечные припадки, ей казалось, что она слепнет, и тут она рвалась из рук и кричала. Она боялась смерти, но еще больше боялась слепоты. К слепым у нее было чувство, смешанное из острой жалости, страха и любопытства. В каждом слепом она видела своего отца, — вспоминала Надежда Васильевна. — Аля кричала, что она умирает и слепнет, и, слыша ее крики, я бросалась на кровать, зажимая пальцами уши, молилась и плакала от страха и жалости».

Но дело было не только в ней самой, ее болезни и личных бедах и

невзгодах, а еще и в том, что ее авторитет среди младших сестер оказался сильнее авторитета родительского, и именно шаблонная, растерявшая свой талант «обеззубевшая», мятежная сифилитичка Аля своему вотчиму за все его «уроки декадентского» вольно или невольно отомстила, фактически если не разбив, то изрядно потрепав его семью, а виной тому оказались... евреи.

Это – Вы!

Точнее, конечно, не сами евреи, а розановское к ним отношение. На тему «Розанов и еврейство» написаны сотни исследований в разных странах и на разных языках. Вопрос этот и по сей день остается едва ли не самым острым, раскаленным и часто обсуждаемым в биографии нашего персонажа, и вряд ли он когда-либо будет окончательно решен. Однако если попытаться остаться на почве фактов и не переходить в область оценочных суждений, картина окажется примерно такова.

Василия Розанова действительно давно притягивал еврейский народ. Он находил в его обычаях и образе жизни то, что ему доставало в русских, – семейственность, живучесть, плодovitость и умение поддерживать друг друга. Он полагал – справедливо или нет, – что в еврейской семье никогда не произойдет того, что сплошь и рядом происходило в семьях русских, и прежде всего в его собственной, начиная с самого детства.

«Около евреев мне тепло, а греюсь только около них. Все тепло жизни я беру только у них», – цитировал Розанова А. В. Руманов.

«Проще всего привести к Розанову еврея. Спросишь по телефону, назовешь – никогда не откажет: какое-то особенное пристрастие и любопытство к евреям. И весь вечер проговорит. И уж, конечно, ни с кем не спутает», – вспоминал в «Кукхе» Ремизов.

«Очень любопытно было в Розанове совмещение психологического юдофильства с политическим антисемитизмом. Он питал органическое пристрастие к евреям и, однако, призывал в свое время к еврейским погромам за “младенца, замученного Бейлисом”. Одновременно проклинал и благословлял евреев», – писал первый биограф Розанова Э. Голлербах.

«Всю жизнь Розанова мучили евреи. Всю жизнь он ходил вокруг да около них, как замороженный, прилипал к ним – отлипал от них, притягивался – отталкивался. Не понимать, почему это так, может лишь тот, кто безнадежно не понимает Розанова, – рассуждала Зинаида Гиппиус. – Евреи, в религии которых для Розанова так ощутительна была связь Бога с полом, не могли не влечь его к себе. Это притяжение – да поймут меня те, кто могут, – еще усугублялось острым и таинственным ощущением их чуждости. Розанов был не только архиариец, но архирусский, весь, сплошь, до “русопятства”, до “свиньи-матушки” (его любовнейшая статья о России). В нем жилки не было нерусской; без выбора понес он все,

хорошее и худое – русское. И в отношении его к евреям входил элемент “полярности”, т. е. опять элемент “пола”, притяжение к “инакости”. Он был к евреям “страстен” и, конечно, пристрастен: он к ним “вожделел”».

То было, действительно, нечто похожее на влечение рода недуга, и В. В. в разные периоды своей жизни отзывался о евреях восторженно, заинтересованно, сердито, ревниво, резко, ужасающе и никогда равнодушно. Впрочем, строго говоря, это ведь касалось не только евреев, а всего, о чем он писал.

«Конечно, умнее меня было много людей на Руси (Гиляров-Платонов, Рцы, Фл.) (хотя, пожалуй, им менее “удалось”, чем мне, и в сфере изобретения мысли), – но мне кажется (иногда), ни через одну русскую душу не прошло столько гнева и умиления, – записывал он в «Мимолетном» в июле 1914 года. – По количеству прошедшего гнева и прошедшего восхищения – мне кажется, душа моя первая.

“И не устала”.

И никогда не устанет.

И мое прозвище – “Р. разгневанный” и “Р. умиленный”.

В сущности, я непрерывно этими чувствами волнуюсь.

На меня точно валится океан – гнева, океан – умиления. И плечи мои омывает. И голову мою заливают. Когда бы я ни был – я никогда не спокоен. “Равнодушной”, “безразличной” минуты – я не знаю ни одной. “Равнодушным” я себя никогда не помню. Это что-то странное. Необыкновенное.

Гуляю. Купаюсь. Набиваю папиросы. Обедаю. Чай пью. Все равно. Шум и волны – справа и слева (как когда купался возле Риги). Именно – выше головы моей. И именно – омывают.

Это – чудесное явление. По существу, чудо. И я рожден и живу “в чуде”.

Страхов мне давно сказал поразившее меня наблюдательностью замечание:

“В вас есть *a-prior*’ные негодования и восторженности: и довольно безразлично и для вас случайно – что под них попадет”. Он сказал как-то ловчее и удачнее: но мысль та, что ранее, нежели какой-нибудь предмет явился перед моими глазами, встретился в жизни мне, представился моему воображению, – я уже “люблю” или “ненавижу”. Так сказать, люблю и ненавижу “с ожиданием”. Вообще – любовь и ненависть – первое и безыменное. Оно – сперва. Имя приходит – “потом”, “во-вторых”.

– И тогда, – договорил Страхов, – вы обливаете любовью или презрением предмет.

Это – глубочайшее замечание, какое мне в голову не приходило (“менее умен”) и которое формулирует основную мою стихию.

Действительно...

Я “потом люблю”.

Т. е. – предмет.

А сперва – поднялась волна: Сладкая.

Горькая.

Плеснула на А – вышло “горькое А”. Но могло бы и “сладкое А”. Удивительно. И на Розанова, господа, не очень-то “полагайтесь”».

К евреям эти розановские перепады гнева и умиления, негодования и восторга, сладости и горечи, эти предостережения господам на Розанова «не полагаться» относятся на все сто. В. В. действительно благословлял и проклинал древний народ, возносил и ниспровергал, интересовался его бытом, отношением полов, воспитанием, откровенно предпочитая иудаизм христианству, и говорил об этом на заседаниях Религиозно-философского общества, недаром Александр Бенуа назвал его в своих мемуарах «жидовствующим», Николай Минский дал Розанову прозвище «новый Моисей», Перцов звал «древним израильянином», Гиппиус – «вечным жидом», а Юрий Иваск – «беспокойным иудеем по натуре».

Розановских разнообразных высказываний о евреях не счесть, но, пожалуй, самое образное и емкое можно найти в книге «В темных религиозных лучах»: «Иудей есть желток того пасхального яичка, скорлупу и белок которого составляет эллинизм; скорлупу раскрашенную, литературную, с надписями “Христос Воскресе”, с изображениями, живописью, искусствами. Мало ли что на скорлупе можно написать: целую эллинскую цивилизацию. Но скорлупа со всеми надписями хрупка, а белок мало питателен и не растителен. Важнее всего внутри сокрытый желток и в нем зародышевое пятнышко; это и есть *жид* с его таинственным обрезанием, вечный, неугасимый! Его сколько ни пинают христиане – не могут запинать до смерти. Это – “пархатое” место всемирной истории, крайне непрезентабельное на вид, но которым весь мир держится... Еврей есть *душа* человечества, его энтелехия».

Считать ли эту цитату враждебной, дружественной либо амбивалентной по отношению к Израилю, каждый волен решать для себя сам, но главное, что образ тут – неподдельный, розановский, который ни с кем и ни с чем не спутаешь. А кроме того, как бы это парадоксально ни звучало, – весьма автобиографический. Розанов тоже ведь был сродни еврейскому желтку, которого пинали и пинают все кому не лень и при жизни, и после смерти, а попробуй вынь его из эпохи, которая на нем

держится и чьей душой он был? Или как написала в «Поэме конца» мимолетно полюбившая В. В. Марина Цветаева: «В сем христианнейшем из миров поэты – жида!»

Это ведь и к кумиру ее мятежной юности относится, особенно если вспомнить небольшой фрагмент из «Старого Пимена»: «И, чтобы все сказать одним словом тогда семнадцатилетней Аси – Розанову, в ответ на какую-то его изуверско-вдохновенно-обличительную тираду:

– Василий Васильевич! На свете есть только один такой еврей.

(Розанов, бровями) —? —

– Это – *Вы*».

Группа крови

Анастасия Ивановна Цветаева впоследствии писала Горькому о том, что не терпит Розанова «за одержимость полем, за дикости о евреях... Розанов путался в отношении к евреям, а я таинственно и с тоскою за судьбу их, сплошным восхищением люблю». А в мемуарах добавляла: «Стыдила его за безобразную книжку о деле Бейлиса».

Примерно так же относилась к В. В. и Анна Ахматова. Вот как вспоминала один из разговоров с ней на розановскую тему Лидия Чуковская:

«— А Розанов? — спросила я. — Я так его люблю, кроме...

— Кроме антисемитизма и половой проблемы, — закончила Анна Андреевна».

И в другом месте: «Я спросила, знала ли она Розанова. — Нет, к сожалению, нет. Это был человек гениальный. Мне недавно Надя, дочь его, говорила, что они все любили мои стихи и спрашивали у отца, знал ли он меня. Он не знал меня и, кажется, стихов моих не любил, зато очень любил Мариэтту Шагинян: “Девы нет меня благоуханней”. А я у него все люблю, кроме антисемитизма и половой теории.

Я опять подивилась совпадению наших нелюбвей. И пересказала один розановский рассказ в “Опавших листьях”, который всегда возмущал меня: как пожилая дама, мать, посоветовала студенту, влюбленному в ее младшую дочь, жениться лучше на старшей, ибо была озабочена “зрелостью” старшей дочери. Студент послушался (экая скотина!), женился на старшей, и теперь дама нянчит внука-здоровяка... Анна Андреевна махнула рукой.

— Ничего этого не было. Ни дамы, ни дочерей, ни внука. Все это он сам, конечно, выдумал, от слова и до слова... Гениальный был человек и слабый».

Был ли гениальный Розанов человеком слабым, по крайней мере в тот период его жизни, о котором сейчас идет речь, и что останется у героя, если изъять у него антисемитизм и половую проблему, как сострил один из наших современников, — все это предмет для дискуссий, но что можно утверждать наверняка: провокация была сущностью его натуры, и философ наш, говоря словами лермонтовского Печорина, любил врагов не по-христиански, умея их себе на беду разозлить и возбудить всеобщее негодование. Так, еще в пору Религиозно-философских собраний он

призывал отправлять молодых в первую брачную ночь в храм – идея, которая, естественно, взбеленила консервативное общественное мнение – то самое, которое Розанов и сам в какой-то мере выражал.

«Отсюда такое недоумение и взрыв ярости, когда я предложил на Религиозно-Философских собраниях, чтобы новобрачным первое время после венчания предоставлено было оставаться там, где они и повенчались, – писал он впоследствии в «Опавших листьях», – потому что я читал у Андрея Печерского, как в прекрасной церемонии постригаемая в монашество девушка проводит в моленной (церковь старообрядческая) трое суток, и ей приносят туда еду и питье. “Что монахам – то и семейным, равная честь и равный обряд” – моя мысль. Это – о проведении в священном месте нескольких суток новобрачия, суток трех, суток семи, – я повторил потом (передавая о предложении в Рел. – Фил. собрании) и в “Нов. Вр.”. Уединение в место молитвы, при мерцающих образах, немногих зажженных лампадах, без людей, без посторонних, без чужих глаз, без чужих ушей... какие все это может родить думы, впечатления! И как бы эти переживания протянулись длинной полосой тихого религиозного света в начинающуюся и уже начавшуюся супружескую жизнь, – начавшуюся именно здесь, в Доме молитвы. Здесь невольно приходили бы первые “предзнаменования”, – приметы, признаки, как у вates древности. И кто еще так нуждается во всем этом, как не тревожно вступившие в самую важную и самую ценную, – самую сладкую, но и самую опасную, – связь... Мне представлялась ночь, и половина храма с открытым куполом, под звездами, среди которого поднимаются небольшие деревца и цветы, посаженные в почву по дорожкам, откуда вынуты половицы пола и насыпана черная земля. Вот тут-то, среди цветов и деревьев и под звездами, в природе и вместе с тем во храме, юные проводят неделю, две, три, четыре... до ясно обозначившейся беременности...»^[70]

Рехнулся, сошел с ума, помешался, осатанел, кощунник^[71] – вот самые мягкие определения и попытки объяснить линию его поведения. Однако пройдет несколько лет, и еще сильнее рехнется Розанов в глазах общественности либеральной, когда станет нападать на евреев, которых до той поры превозносил, обвинит их в ритуальных жертвоприношениях, а заодно и во всех русских бедах, и даст своему народу несколько лицемерный и прежде всего им самим не исполняемый совет: «Вот что, мои милые русские: такое всеобъемлющее недоверие и от таких древних времен – не может не иметь под собою какого-то основания, которого если вы не видите, то все равно оно есть. И поэтому всячески сторонитесь

евреев и не вступайте ни в какие отношения с ними. Хотите ли совет настоящий и лучший и действительный: если, идя по улице, вы издали увидите фигуру “как будто еврея” – потупьте глаза и так образ, не увидите его. Знайте, что в ту или иную сторону вы повернетесь, если встретитесь с ним глазами. В глазах есть сила: и “взглянувши друг на друга” с евреем – вы уже несколько перестали быть русским и несколько объевреились. Это не надо. И увидя комнату (гости), где разговаривает еврей, – не входите в нее; и если где вы сидите – придет еврей и начнет говорить еврей – заговорите, заспорьте с кем-нибудь третьим, чтобы не только его не слушать, но и не слышать. Берегите ум от евреев: т. е. в основе и предохранительно берегите глаз свой и ухо свое от еврея».

Все это не помешало ему в конце жизни покаяться и благословить ветхозаветное племя Авраама, Исаака и Иакова и их потомков, почтительно назвать их братьями и отцами «со старшинством историческим и культурным» и искать у них помощи и защиты. Как решить сие противоречие, как объяснить розановскую эволюцию – опять же вопрос интерпретаций, но важно заметить, что при всех метаниях (или колебаниях – вспомним еще раз ответ Чуковскому и Струве: колебания – единственный твердый принцип, на который можно опираться) неизменным для В. В. оставалось одно: **кровь**. И отношение к этой крови колебалось у Розанова от игривого до жутковатого.

«Влюбленный однажды, полушутя, в еврейку, говорил мне: – Вот рука... а кровь у нее там какая? Вдруг – голубая? Лиловенькая, может быть? Ну, я знаю, что красная. А все-таки не такая, как у наших...» – вспоминала Зинаида Гиппиус, а сам В. В. за два года до убийства Андрея Ющинского писал Блоку: «И вот тут зарыт в нас древний Каин, это древнее – “дай полизать крови”, от которого (по-моему) люди только и отделялись древними жертвоприношениями».

Последнее суждение перекликается с процитированным в одной из предыдущих глав письмом Розанова Герману Лопатину и показывает, что причина розановского расхождения с передовым общественным мнением в России заключалась не просто в радикализме его суждений или же мнимой либо реальной ксенофобии, но прежде всего в том, что в отличие от большинства своих опьяненных прогрессом современников он так же пьяно смотрел не в будущее, а в прошлое, был зачарован его мифами, верил в силу и мощь оживающих призраков древних времен и в их обычаях находил объяснение происходившему вокруг здесь и сейчас. В этом смысле В. В. жил как бы наоборот по отношению к современному ему обществу, двигался по встрече, нарушая все мыслимые и немыслимые правила,

вызывая возмущение публики и стражей как либерального, так и консервативного порядка, и в ту пору, когда определенная часть русского еврейства стремилась к ассимиляции, по крайней мере культурной (характернейшие примеры из розановских знакомых – Гершензон, Руманов, Аким Волынский, а также неведомые ему Осип Мандельштам^[72] и Борис Пастернак), для Василия Васильевича именно архаичные черты оставались главными, определяющими и неизменными в человеке. А в евреях – особенно. Его и притягивала и страшила их сохранившаяся древность, она была для него источником их власти, влияния, обаяния и опасности, и кровь была воплощением этой силы. «Сила еврейства в чрезвычайно старой крови... Не дряхлой: но она хорошо выстоялась и постоянно полировалась (борьба, усилия, изворотливость)», – с уважением писал он в «Опавших листьях», и когда несколько времени спустя станет яростно отстаивать версию ритуального убийства Андрея Ющинского, то случится это именно потому, что будет внутренне, психологически к такому развитию событий давно готов.

В. В. был националистом – причем, если угодно, пещерным – в самом точном, глубоком, архаичном, оценочном и безоценочном смыслах этого слова. Страшно политически некорректный, ярый противник космополитизма («Космополитизм наш и родил революцию», – писал он в одной из своих статей), он не признавал никаких общечеловеческих ценностей, что так огорчало многих из его прогрессивных, культурных корреспондентов; даром, что ли, один из них сокрушался: «Тяжело мне видеть в Вас, что Вы чувствуете национальность, что я считаю звериным чувством».

«Зачем напрасно Вы всегда, говоря со мной, видите еврея? – жаловался другой. – Это накладывает на меня нелегкую ответственность, будто я представляю еврейство».

Однако Розанов смотрел на вещи именно так. Любой человек был интересен ему своими национальными и половыми признаками, которые он зачастую смешивал, и не случайно его интерес к еврейству – это прежде всего интерес к интимной жизни древнего народа.

«В поле – сила, пол есть сила. И евреи соединены с этою силою, а христиане с нею разделены. Вот отчего евреи одолевают христиан, – писал он в «Опавших листьях». – Тут борьба в зерне, а не на поверхности, – и в такой глубине, что голова кружится. Дальнейший отказ христианства от пола будет иметь последствием увеличение триумфов еврейства. Вот отчего так вовремя я начал проповедовать пол. Христианство должно хотя бы отчасти стать фаллическим (дети, развод, т. е. упорядочение семьи и

утолщение ее пласта, увеличение множества семей)».

Розанов очень подробно обсуждал эти вещи в переписке с Флоренским, настроенным, по отношению к евреям, в отличие от него, более однозначно, и никогда В. В. не повторил бы вслед за отцом Павлом: «...еврейства я боюсь. Не столько даже боюсь, сколько отталкиваюсь *tota anima que corpore* (всей душой, всем телом) от него. Все мне в нем чуждо, ничего “своего”».

Причем Розанов не просто не повторил бы эти слова, а написал бы с точностью до наоборот: боюсь, да^[73], но всем телом, всей душой к нему влекусь, ничего чужого, все мне там родное, все «свое». И это – главное в сюжете «Розанов и евреи». И когда он хвалил, и когда порицал, и когда защищал, и когда нападал, делая это по-розановски яростно, вдохновенно и безоглядно, то лишь потому, что это все было для него свое или по крайней мере нечто очень близкое, понятное.

Больше того, сквозь призму еврейства В. В. был готов рассматривать и русскую литературу. Вот одно из самых парадоксальных даже для него суждений, высказанное в рецензии на книгу Акима Волынского о творчестве Достоевского. Статья эта была опубликована в сентябре 1909 года в московском журнале «Критическое обозрение» и содержала довольно жесткую критику в адрес Волынского, который, по образному слову В. В., «стоит мещанином около великого пьянства аристократа-Достоевского, жида-Достоевского». И дальше: «Начиная с Гоголя и вот входя в Достоевского, в русскую стихию хлынула грязная и могучая “жидовская” волна с Мертвого ли моря, с чистых ли вод Геннисаретского озера, не знаем: но явно не арийская и антиарийская, какая-то восточная, азиатская, с этим перламутровым отблеском, которым покрываются вонючие лужицы и черное богатство нефти. Ни Гоголь, ни Достоевский не суть арийцы по духу: как эта странность произошла – необъяснимо; но как *факт* – она когда-нибудь будет признана. Ни Гоголь, ни Достоевский, несмотря на великий культ к Пушкину, – не имеют ничего в себе пушкинского и, в сущности, совершенно “выели” (как выедает кислота) пушкинскую стихию в русском сознании, пушкинскую ясность, пушкинский покой, пушкинское счастье. “Съели наше счастье” великие русские мистики, начиная от Гоголя. И повели к тем тревогам духа, к каким вели Палестину ее “пророки” и Рим повел ап. Павел».

Примечательно, что эта статья была написана по заказу и настойчивой просьбе не кого иного, как заведующего литературным отделом «Критического обозрения» Михаила Осиповича Гершензона, с которым В. В. состоял в руководстве Обезьяньей палаты и кого считал, к стыду

русских, лучшим историком русской литературы. Именно Гершензон был первым, кто прочитал и отозвался на розановский текст. «Я дважды с изумлением прочитал Вашу статью, – писал он. – Вы гениально написали портрет Вол., так и просятся сравнения: Веласкес, Гойя, – бесконечно хорошо; Вы большой художник. И в то же время я чувствую здесь – простите – что-то inferнальное. Подумайте: ведь это живой человек, он прочитает это, – каково ему будет?»

Каково было Волынскому, догадаться несложно – он Розанова не простил и впоследствии ответил ему очень жесткой рецензией на «Уединенное» и «Опавшие листья» – но ведь если так посудить, то и ни одному из названных автором русских классиков – ни Гоголю, ни Достоевскому – в страшном сне не приснилась бы розановская аттестация. А вот самому В. В. она подошла бы, да еще как!

Это именно он, Василий Розанов, заключал в себе черное богатство нефти, настоящую цену которой человечество узнает несколько десятков лет спустя, это он вел своих близких и дальних к тревогам духа, это он был отрицанием арийского начала, воплощая в себе восточный, азиатский дух, и можно без конца спорить о том, был ли Розанов более фило-либо антисемитом, но и в том, и в другом случае он оставался совершенно точно по собственному же слову *объевреившимся*, вне еврейства, без еврейства, вдали от него свою жизнь не представлявшим, и с годами это качество лишь усугублялось. Но при этом вопреки своему же опять-таки предостережению и русскости ни капли крови не терял, и, сравнивая два родных ему народа («В общем, русский с евреем братья навек, а все остальные нации сплошное недоразумение или внушают “гадливость”»), Розанов с горечью замечал, что русская судьба страшнее, трагичнее еврейской. Вот что его мучило. Это особенно хорошо чувствуется в его переписке с упомянутым выше Гершензоном, где русско-еврейский диалог достигает редкой для этой темы интеллектуальной честности и глубины.

В ответ на даже не обвинение, а скорее сожаление Гершензона, человека в высшей степени культурного, образованного, гуманного и интеллигентного, по поводу его, Розанова, «отношения к евреям, страха перед пейсами» В. В. написал строки, которые часто цитируют как программные: «Антисемитизмом я, батюшка, не страдаю: но мне часто становится жаль русских, – как *сирот и детей жалеют*, – безвольных, бесхарактерных, мило хвастливых, впечатлительных, великодушных, ленивых и “горчайших пьяниц”. Что касается евреев, то, не думая ничего о немцах, французах или англичанах, питаю почти гадливость к “полячишкам”, я как-то и почему-то “жида в пейсах” и физиологически

(почти половым образом) и художественно люблю и, втайне, в обществе всегда подглядываю за ними и люблюсь. Это вытекает из большой моей fall'ичности, то есть *интереса* к полу и отчасти восторга к полу – в отношении сильного *самочного* племени. Мне все евреи и еврейки инстинктивно милы... Евреев еще оттого я люблю, что им *религиозно* врождено чувство глубокой ничтожности вещей и дел человеческих и личностей человеческих (“прах перед Лицом Господа”), что сообщает им глубину и серьезность мысли, души, жизни. В сравнении с ними “подбиты ветерком” все нации, – кроме, может быть, русской (тоже «прах перед Лицом Господа»)»^[74].

Это было написано в сентябре 1909-го, а ровно два года спустя в Киеве был убит Столыпин, и смерть русского премьера от руки террориста-еврея взорвала розановское сознание...

Что ему в них не нравилось

«П. А. Столыпин крупными буквами начертал на своем знамени слова: “национальная политика”. И принял мучение за это знамя. Социал-демократия здесь только прикраса. Человек своего племени только воспользовался оружием революции, средствами конспирации, чтобы совершить деяние, желательное и революционерам, но ему-то лично страстно желаемое по мотивам совсем другим!

Это показывает, как правильна точка зрения, кладущая национальную идею в зерно политики. Центробежные силы в стране не ограничиваются сдержанным ропотом, но выступают вперед с кровавым насилием. Они не хотят примириться с главенством великорусского племени; не допускают мысли, чтобы оно выдвигалось вперед в руководящую роль. Им мало того, что торговля, промыслы и ремесла частью перешли и все более переходят в их руки; перешли к ним хлеб, леса, нефть; им хотелось бы вообще разлиться по лицу Русской земли и стать над темным и, к несчастью, малообразованным населением в положение руководящего интеллигентного верхнего слоя. Этой вековой и жадной мечте политика П. А. Столыпина, везде отстаивавшего первенство русского племени, стояла поперек горла.

Вот мотив злобы, исступления и злодеяния».

И Розанов евреям этого не простил. Именно так – обвинив в убийстве русского премьера весь еврейский народ, что было опять же тысячу раз нелогично, абсурдно, неpolitкорректно, безрассудно, но именно поэтому – абсолютно по-розановски.

«Я заострился против евреев (убили – всё равно Столыпина или нет), – но почувствовали себя *вправе* убивать “здорово живешь” русских: и у меня (простите) то же чувство, как у Моисея, увидевшего, как египтянин убил еврея. Мне это больно, немножко даже страшно (Иегова), но – факт, и куда его дену... Что делать, после смерти Столыпина у меня как-то все оборвалось к ним (посмел ли бы русский убить Ротшильда или вообще “великого из *ихних*”). Это – простите – нахальство натиска, это “по щеке” всем русским – убило во мне все к ним, всякое сочувствие, жалость... Да, евреи, *теперь* – холодны мне», – писал он Гершензону и изливал свои обиды оттого, что евреи считают себя и умнее, и талантливее русских. «А у меня, дорогой, именно когда беру Ваши книги в руки – душа плачет: куда же русские девались?»

То, несомненно, было выкрикнуто на пределе отчаяния, это действительно болело в нем, жгло, и когда Михаил Осипович отвечал Василию Васильевичу (и то отвечал на грубые выпады лишь потому, что, несмотря ни на что, Розанов очень высоко ценил), когда писал, и весьма убедительно писал, что жизнь русского народа совершается так «глубоко-самобытно и неотвратимо», что никакие евреи не могут на нее повлиять, что любое влияние извне, не важно какое, латышское, еврейское, грузинское, пойдет русскому духу лишь на пользу, подобно тому как любая инородная примесь улучшает качество металла, что он, Розанов, наглухо заперся в своем фантастическом мире и евреев не знает и судит о них по нескольким ему известным людям, что причина розановского страха перед евреями «психическая и только психическая», и «если бы Вы дали себе труд углубиться, – Вы бы нашли этот психологический узел, и тогда все Ваше отношение к евреям распуталось бы; я не говорю – улучшилось бы, – этого я не могу знать, – но уяснилось бы», – то В. В., получая эти разумные, оптимистичные, трезвые письма, ощущал, предчувствовал иное: что-то случилось, что-то происходило с Россией такое, от чего любое внешнее воздействие может ее погубить, и горестно возражал:

«Евреи – выживут, а русский народ погибнет – в пьянстве, распутстве, сводничестве, малолетнем грехе.

Вы скажете: “пьяному и развратному туда и дорога”. Вы так скажете – о чужом. А “родному” и *пьяный сын дорог*, и распутная дочь – драгоценна^[75].

Нет, не легкомыслие у меня, не минута: а жжет душу, гнетет душу.

Знаю, что не по внешности, а **внутренно** эти статьи бесконечно литературно роняют меня: но человек кричит из писателя».

То был диалог рассудка и интуиции, сознательного и бессознательного, и надо заметить, что Гершензон как человек очень чуткий до определенного предела все понимал: «Вы не как все, Вы действительно ищете право быть совсем самим собою... и потому никогда не мерял Вас аршином морали и последовательности, и потому “прощая”, если можно сказать тут это слово, Вам Ваши дурные для меня писания просто не вменял: стихия! А закон стихий – беззаконие».

Впрочем, и у Розанова при всей его эмоциональности и стихийности было свое видение позитивного решения еврейского вопроса.

«Мне кажется, евреи делают великую ошибку, ошибку для своего счастья, ошибку для своего *futurum*, затормошившись в русскую журналистику, которой жизнь – 1 день, и думая, что они “преуспевают” Шиповником. Даже непонятно, как такой умный народ мог опуститься до

такой пошлости. “Мы несем Псалтырь, а не Шиповник”, “мы понимаем ТРУД царя, а не шпыняем его правительство” (один день жизни) – вот ПУТЬ евреев. От мужика до министра все бы оглянулись на эту серьезнейшую нацию, идущую торжественно с Богом и Законом, с Царем и повиновением, с великою святою семьею, коей они дали первые тип и образец. “Что же один Розанов говорит о разводе, – он ‘нововременец’ и ему жить тоже ‘1 день’”: было бы иное, если бы Слонимский, Гершензон, Столпнер стали советовать русскому правительству, как устроить семью. Словом, великое еврейство могло бы идти параллельно русскому народу, “неся сосуд с маслом на голове” и отнюдь не переходя в русский кабаk и русскую журналистику. И как правительство, так и народ принял бы это еврейство Псалтыри, как приняли “яко своего” Давида и отчасти даже Соломона. А то – адвокаты, банки и часовщики: мы – задыхаемся. Задыхаемся мелкой торговой злобою... А Бог в деньгах – честный расчет, исполненный вексель, “каждому за труд его”. Русские этого не понимают и... конечно, погибнут, подшивая подолы у Ривок через 100 лет».

В сущности, Розанов предлагал евреям оставаться евреями, жрецами, арбитрами, носителями высшей ветхозаветной мудрости, не вмешиваясь и не смешиваясь с повседневной русской жизнью и русской печатью; он советовал им ради сохранения своего драгоценного семейного уклада продолжать жить за спасительной чертою оседлости, в своеобразном культурном гетто («Знаете ли, я люблю “гетто жидовское”, их вечный гам, сутолоку, руготню») – идея, вряд ли Гершензону понравившаяся, ведь он-то как раз и ощущал себя и был частью русской культуры и нового открытого времени. Но так или иначе их диалог, дискуссия и взаимное уважение («Вообще “спор” евреев и русских или “дружба” евреев и русских – вещь неконченная и, я думаю, – бесконечная») – все это было очень важно, умно, полезно и поучительно.

Но потом случился суд над Бейлисом («пора Бейлиса несчастная», – напишет Розанов позднее), и возмущенный даже не тем, что присяжные признали приказчика невиновным, а тем, что либеральная общественность, включая его бывших декадентских друзей, стеной встала за еврея, а до убиенного русского мальчика никому нет дела^[76] («...о как хотел бы я, взяв на руки тельце Андрюши, пронести его по всем городам России, по селам, деревням, говоря: – рыдайте, рыдайте, рыдайте»)^[77] и следствие не ищет настоящих убийц, В. В. открыто, яростно, вопреки совету Флоренского, который его в целом в этом вопросе поддерживал, но благоразумно советовал не подставляться: «Подумайте, надо ли печатать статью о

Бейлисе! Хотя я нисколько не сомневаюсь в существовании ритуальных убийств вообще, но в данном процессе собрались прохвосты со всего мира, кажется, и распутать, кто прав, кто виноват, никак нельзя отсюда, со стороны», – Розанов ослушался, выступил в печати и – подставился.

После этого переписка с Михаилом Осиповичем на несколько лет прекратилась, но еще раньше Розанов написал Гершензону: «Я о Вас часто думаю. И когда пишу дурно о евреях: всегда я больно думаю – “это будет больно Гершензону”». А тот ему отвечал: «Ваши писания о евреях делают мне очень больно. И главное – их тон... нехороший, фальшивый, мелочно-злой».

Так, еще более «злая и нехорошая» книга «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови», а вернее, опубликованные в 1913 году частью в «Новом времени», частью в печатном органе «Союза русского народа» газете «Земщина» розановские статьи, впоследствии в эту книгу вошедшие, привели к бойкоту В. В. не только со стороны Михаила Осиповича, но и многих его друзей и знакомых. И евреев, и русских. Произошло то, чего наш герой, скорее всего, психологически не ожидал. Ему всегда в конце концов всё прощали, все его шалости и серьезности, все поступки и проступки, все завихрения, все нападки, все его заскоки, все неприличные высказывания и жесты, а тут – нет. Не случайно о ту же пору Флоренский написал Розанову о реакции не кого-либо, а именно Гершензона: «Одно слово – “зон”. На Вас сердится так, что трясется весь, говорит В. В. нагадил (или что-то в этом роде, не помню выражения) в моем собственном доме (т. е. в еврействе); намекает, что чего доброго мы, м. б., и употребляем кровь (вот уж, поверьте В. В., Гершензон *не* употребляет крови, не из таких!); статьею В. В. причиняет нам материальный убыток; “Вы не были евреем и не знаете, каково еврею подать после этих статей руку В. В.” и т. д.».

Все эти события, включая изгнание Розанова из Религиозно-философского общества, одним из отцов-основателей которого он являлся («Розанов был столпом и соловьем Религиозно-философских собраний, существовавших не по закону, а по благодати до 1903 г.», – признавал его роль А. В. Карташев), опять же хорошо известны и были не раз описаны, в частности, речь о них идет в мемуарах Зинаиды Гиппиус, имевшей к этому факту самое непосредственное отношение:

«Ко времени “дела Бейлиса”, так взволновавшего русскую интеллигенцию, Розанов, не без помощи Флоренского, начинает выступать против евреев – в “Земщине”. Статьи, которые отказывалось печатать даже “Новое время”, – радостно хватались грязной, погромной

газеткой.

Были ли эти статьи Розанова “погромными”? Конечно, нет, и, конечно, да. Не были, потому что Розанов никогда не переставал страстно, телесно любить евреев, а Ф<лоренский>, человек утонченной духовной культуры и громадных знаний, не мог стать “погромщиком”. И, однако, эти статьи погромными были, фактически, в данный момент: Розанов в “Земщине”, т. е. среди подлинных погромщиков, говорил, да еще со свойственным ему блеском, что еврей Бейлис не мог не убить мальчика Ющинского, что в религии еврейства заложено пролитие невинной крови – жертва.

А Ф<лоренский> сказал тогда сестре: если б я не был православным священником, а евреем, я бы сам поступил, как Бейлис, т. е. пролил бы кровь Ющинского. В это время к Розанову не только писательские круги, но и вообще интеллигенция – относились уже довольно враждебно. Повторяю: какая “совместность” человеческая может терпеть человека-беззаконника, живущего среди людей и знать не желающего их неписаных, но твердых уставов? Нельзя “двурушничать”, т. е. печатать одновременно разное в двух разных местах. Нельзя говорить, что плюешь на всякую мораль и не признаешь никакого долга. Нельзя делать “свинства” (по выражению самого Розанова), например – напечатать, в минуту полемической злости, письмо противника, адресованное к третьему лицу, чужое, случайно попавшее в руки. И нельзя, невозможно так выворачивать наизнанку себя, своих близких и далеких, так раздеваться всенародно и раздевать других, как Розанов это делает в последних книгах.

– Нельзя? – говорит Розанов. – Мне – можно. “На мне и грязь хороша, потому что я – я”.

– А вы все – “к черту!..”

Он прав, что ему – можно. Но “все”, – люди, посылаемые к черту, – правы тоже, знать не желая, почему “Розанову можно”, и отвечая ему таким же “к черту”.

Всенародное самовыворачивание Розанова, хотя и оскорбляло многих, было еще терпимо: уединенный человек, говорит из своего уединения. Но статьи в “Земщине”, такие, в такой момент – делали Розанова “вредительным” общественно (чего он, конечно, не понимал). От него уже надо было – общественно – защищаться.

Такой защитой было, между прочим, и публичное исключение его из числа членов Религ<иозно-> философского общества...

Хочу сознаться, увы, что на мой тогдашний взгляд Розанов был еще слишком “человек”; и предельная безответственность его как человека мне была нестерпима. Сколько несправедливых слов было сказано,

несправедливых и бесцельных, – и как я о них теперь жалею!»

Была ли мемуаристка искренна, когда об этом писала, – сказать сложно; в целом тон ее воспоминаний о В. В. очень дружелюбный, почти что нежный, даже в тех местах, где они кардинально расходились, но все-таки это мемуары, написанные Зинаидой Николаевной в эмиграции, и чувство вины перед человеком, принявшим смерть в большевистской России, у Гиппиус, несомненно, было. Тогда же, в 1913–1914 годах, между ними практически шла настоящая маленькая война накануне войны большой, отдельное интеллигентское сражение как предчувствие всеобщего людского безумия.

«В этот же злополучный 1914 год в нашей семье разразились следующие события, имевшие громадное влияние на всю последующую нашу семейную жизнь, – вспоминала Татьяна Васильевна Розанова. – Моего отца, Василия Васильевича, по желанию Мережковского, Зинаиды Гиппиус и ее двоюродного брата В. В. Гиппиуса исключили из Религиозно-философского общества за его правые статьи в “Новом времени” против евреев во время “дела Бейлиса”^[78]. Дело было очень громкое, в нем принимали участие адвокаты, врачи^[79], и все настаивали, что в XX веке невозможны такие фантастические изуверские случаи. Отец же настаивал на своем и указывал на Каббалу и Талмуд, где видел намеки на возможность этого ритуального убийства... Из-за “дела Бейлиса” вся семья наша очень волновалась. Аля восстала против отца и даже ушла из дому с Натальей Аркадьевной Вальман и поселилась в отдельной квартире на Песочной улице. Мы, дети, тоже сильно переживали эти события. Ведь мы учились в либеральной гимназии, где большинство было богатых евреев, и все они у нас допытывались, неужели правда, что отец ваш такого мнения об евреях?^[80] Сестра Вера, будучи уже послушницей монастыря, очень защищала отца и даже присутствовала на религиозно-философском собрании, когда отца исключали... После этой истории к нам приехал Вячеслав Иванов (поэт) и возмущался, как возможно исключение из Религиозно-философского общества человека, который иначе думает, чем все. Но с тех пор положение отца резко изменилось, никто у нас из прежних знакомых не стал бывать, кроме Евгения Павловича Иванова, который продолжал нас посещать. Отец в это время много переписывался с Флоренским...»

Вопли патриота

Переписка с Флоренским, относящаяся к этому сюжету, была опубликована несколько лет тому назад, и всех интересующихся можно отослать к 29-му тому 30-томного розановского собрания сочинений. Но примечательно, что в Религиозно-философском обществе Розанову были предъявлены претензии не только за статьи по еврейскому вопросу. Первым пунктом обвинений стал его небольшой, весьма хлесткий фельетон на злободневную политическую тему, опубликованный весной 1913 года, читая который сегодня ловишь себя на мысли – сто с лишком лет прошло, и ничего в России не изменилось.

НЕ НАДО ДАВАТЬ АМНИСТИЮ ПОЛИТИЧЕСКИМ ЭМИГРАНТАМ

«Молю вас, остановите кампанию “Нового Времени” против амнистии. У меня нет средств общения с вами, кроме письма, которое идет 3 дня. Я хотел телеграфировать вам, но боялся, что вы были бы удивлены моей смелостью – настойчиво беспокоить вас».

«Кому будет плохо, если сотни и тысячи несчастных, истерзанных, замученных жестокой судьбой, вернутся в семьи? Зачем поддерживать эту жестокость, это посрамление всего лучшего, что есть в не окончательно загаженной человеческой душе? Я спрашиваю вас, во имя чего это новое надругательство, новый черный позор? Кому помешают полутрупы, из которых, может быть, половине суждено только приехать умереть в России? Зачем еще мучить, травить, изгонять? Видали вы эмигрантов за границей? Наблюдали вы их беспросветную жизнь, их муки? Кто искупит их, чем они будут искуплены?

А тюрьмы, клоповники, очаги тифа, низости человекообразных зверей, гнусные насилия? Вы вместили в душе вашей много, очень много. Страшно вас читать, мучительно о вас думать. Как бы я хотел вас умолить, чтобы вы сами вам одному известными способами и путями сделали что-нибудь, что нужно сделать, – за что вы отдадите отчет (Богу? – В. Р.), когда наше “чтение” окончится и нужно будет сдавать экзамен по “прочитанному”, – когда настанет вечный (!), как вы раз писали, после “Со святыми упокой”, как вы тоже писали.

Вот, можно сказать, вопль души, – в частном письме, мною сейчас полученном, от корреспондента из Вены, который перебросился до этого

письма со мною одним-двумя письмами на историко-религиозные темы. Корреспондент мне лично вовсе неизвестен. Фамилия – русская или, может быть, польская (на “-ский”).

Отвечаю таким же воплем, и, может быть, тоже отчаяния.

Что же нам делать с этими детьми, проклявшими родную землю, – и проклинавшими ее все время, пока они жили в России, проклинавшими устно, проклинавшими печатно, звавшими ее не “отечеством”, а “клоповником”, “черным позором” человечества, “тюрьмою” народов, ее населяющих и ей подвластных?!! Что вообще делать матери с сыном, вонзающим в грудь ей нож? Ибо таков смысл революции, хохотавшей в спину русским солдатам, убиваемым в Манчжурии, хохотавшей над ледяной водой, покрывшей русские броненосцы при Цусиме, – хохочущей и хохотавшей над всем русским, – от Чернышевского и до сих пор, т. е. почти $\frac{1}{2}$ века? Об этой матери в этой “загранице” они рассказывают, что она всего только блудница и всего только воровка, которую давно надо удавить на грязной веревке, и звали сплестать эту петлю на родину кого попало, – шваба, чухонца, армянина, еврея, поляка, литовца, латыша. “Давите эту собаку Россию, давите ее ко благу всего просвещенного и всего свободного человечества: ибо она насылает на человечество мор, голод, болезни и всего больше клопов”. Вот литература эмигрантов, засыпающая вас, сейчас как вы переедете через Вержболово и границу. Был ли из этих “эмигрантов” хоть один человек, который обмолвился бы добрым словом о родине, добрым вздохом о России? *Напечатайте, если есть доброе слово.* Нет ни одного! *Ни одного слова доброго за много лет!!* Что же вы мучите Россию, что же вы тянете жилы у старухи 900-летней старости, 900-летнего труда, 900-летнего терпения, которая собирала дом свой 900 лет, и вот напоследок “деточки”, обратясь к северу, югу, востоку и западу, восклицают: “Тащите все по бревнам, по доске, тащите кому что надо, – бери один крышу, другой стены, третий забирай печь, убивайте скот ее, коровенку ее, лошадь ее, жгите гумно и хлеба, ломайте соху, и борону, и грабли, и заступ, и серп, и прялку!”

Вот смысл революции.

Они захотели, эти “деточки”, – “могилки на родной стороне”. Нет у них “родной стороны”. Родная сторона их – “заграница”, там, где в Ницце покоится величественный прах Герцена. И все они “величественные”, эти эмигранты: “великий” Лавров, “великий” Кропоткин, “замечательный философ” Плеханов и “пророчесственная” Екатерина Брешковская, не говоря уже о праведнице и сотруднице “Русских Ведомостей” Вере Фигнер.

Величия столько, что не оберешься, и кто же “за границей”, читающий “эмигрантскую литературу” и слушающий “эмигрантские разговоры”, не знает той истины, что есть две России: клоповник к востоку от Вержболова и “рай в изгнании” – к западу от Вержболова. Это – “райские люди”, все наши эмигранты, невинные, непорочные, без грехопадения в себе и только немного нуждающиеся в деньгах. Вот некоторое “мамашино наследство” им интересно, а нисколько не “могилка на родине”. Переехав сюда, они сейчас же найдут применение талантам и врожденному усердию нашептывать, внушать, распространять. Они будут нашептывать нашим детям, еще гимназистам и гимназисткам, что мать их – воровка и потаскушка, что теперь, когда они по малолетству не в силах ей всадить нож, то по крайней мере должны понатыкать булавок в ее постель, в ее стулья и диваны; набить гвоздочков везде на полу... и пусть мамаша ходит и кровянится, ляжет и кровянится, сядет и кровянится. Эти гвоздочки они будут рассыпать по газеткам. Евреи сейчас им дадут “литературный заработок”: в “Копейке” ли, в “Шиповнике” ли, в “Энциклопедии ли Брокгауза и Эфрона” будут платить полным рублем за всякую клевету на родину и за всякую злобу против родины... Вернуться в Россию ищут не евангельские “блудные сыны”; и *больше*, нежели Христос указал сделать отцу в отношении возвращающегося “домой” сына, – вы не можете и никто не может требовать от России. *Раскаявшегося* – да, отец примет и Россия примет. Но *нераскаявшегося*, по-прежнему злобного, по-прежнему с криком и шепотом “жги, уноси, растаскивай, ломай”, кто же примет и какой отец обязан принять в свой дом?!

Христос – не указал.

А я отвечу корреспонденту: не нужно.

Не нужно звать “погрома” в Белосток, не надо “погрома” звать и в Россию: ибо “революция” есть “погром России”, а эмигранты – “погромщики” всего русского, русского воспитания, русской семьи, русских детей, русских сел и городов, как все Господь устроил и Господь благословил...

Что расхвастались?

Сидите смирно!..

...Наша мать – не “воровка”, вы напрасно блудили и блудите языком; и эта мать – не франтиха-блудница, как вы тоже расславляли в “эмиграции”. Она все сосчитала, все подвиги записала; мать эта – была героиней, бывали минуты – становилась она и святою, мученицею; теперь и *пока* и *вовсе не вечно* – она чиновница и экономка. Но и это – порядочное занятие и лучше, чем шляться за границей и болтать попусту.

Вообще, наша мать – почтенная.

И почитающие ее сыны не хотят, чтобы она прощала и возвращала тех негодных сынов, которые ей изменили и предали врагам дом свой.

И если они вернутся: раскроются раны и заточатся вновь кровью всех *настоящих* мучеников русских, погибших при Цусиме, в Манчжурии, в Турции, в Польше, на Кавказе.

Вот наши герои.

Нам не нужно других.

Выбор нужно сделать такой: чтобы Россия *отвернулась* от своих тысячелетних хранителей и оберегателей, проливших за нее кровь и точивших мозг свой в труде для нее, и, уж воистину перерядясь в мачеху, в нарядную кокотку, – вдруг поклонилась Плеханову...

Не будет.

Не будет гадостей.

И эмигранты не вернутся.

“Дом” их сожжен ими самими. Сожжен ими в сердце своем. Нет у них “родной земли”. Нет им ни жизни, ни могилы в проклятой, “отреченной” земле.

Отреклись – пусть отречение будет полным. Ни киселя, ни помады, ни крапленых карт».

Дело Розанова

«Новое время», где уже не было старика Суворина (он умер годом раньше), печатать этот разящий текст не стало – испугалось. И автор отдал его в «Богословский вестник», орган Московской духовной академии, выходивший под редакцией Флоренского, что вызвало одобрение у славянофилов («Как хорошо, что Вы привлекли В. В. Розанова в Б. В.! В “Анафеме” тон могучий, местами – прямо потрясающий. Воображаю, как прогневит 2-я статья левый лагерь», – писал В. А. Кожевников Флоренскому) и предсказуемое раздражение у одного из «столпов» Религиозно-философского общества и главного обличителя Розанова Д. В. Filosofova, когда тот крыл В. В. на торжественном судебном заседании поздним вечером 26 января 1914 года:

«Для нас религиозные ценности тесно связаны со свободой, и те, которые пользуются ими в целях насилия над совестью и даже жизнью, – для нас нетерпимы. Относиться к Розанову только эстетически, любоваться его талантливостью, – это значит презирать Розанова, не считать его реальной силой. Те, кто во имя отвлеченного начала не хотят сделать выбора между Розановым и нами, те, кто во имя ложно понимаемой культурности находят, что писания и общественные выступления Розанова – только талантливая литература, не больше, не хотят видеть, что за этой литературой скрывается страшное влияние на жизнь, что для миллионов людей, которые стонут от насилий, чинимых розановским лагерем, решительно все равно, – будут ли их мучить талантливо или бездарно. Культурным воздержанием вопроса не решишь. Надо сделать выбор...

С точки зрения “свободы слова” нельзя бороться с Розановым. Он проявляет свое святое право на свободу мнений. Но такая свобода нам кажется мерзостью из мерзостей, потому что это издевательство насильника, потому что эти слова ежедневно переходят в дело, потому что во имя насилия здесь привлечено имя Христа, который будто бы миловать не указал. И заметьте. Статья помещена в “Богословском вестнике”, органе Московской Духовной Академии; ей как бы дана санкция церкви. Конечно, богословский журнал не есть голос церкви, но, разрешаемый духовной цензурой, он впредь, до дальнейших опровержений, все-таки выражает этот голос, и статья Розанова не могла быть понята читателями иначе, как руководственное мнение правящих кругов церкви, как мнение редактора, П. А. Флоренского, который состоит профессором Академии, готовит

русских юношей к пастырской деятельности. О, мы, по мнению отвлеченных поклонников свободы слова и терпимости, низко пали: в наши мирные, отвлеченные рассуждения врывается политика. А вот “Богословский вестник” политикой, и притом погромной, заниматься вправе, – это Христос указал; и когда “душа” петербургского Религиозно-философского общества (выражение Кассия из “Нового времени”) отводит свою душу на страницах богословского журнала, мы должны молчать, твердо следуя доводу: “Не судите, да не судимы будете”. Нет, мы не верим, мы не хотим думать, что Розанов действительно душа Религиозно-философского общества. Это наваждение. А если он и вправду душа, то нам здесь не место. Пусть Общество, наконец, выскажется, пусть определит, где именно его душа, но да не будет оно двоедушным».

Мнения собравшихся, как и положено в порядочном интеллигентском собрании, разделились. Обсуждение было бурным и продолжительным, и стенограмма этого заседания, выступления Вяч. Иванова («Многие говорили: мы судим Розанова писателя. Вот я и хотел указать, что писатель не судим... писатель целиком взятый, столь нежный и целостный организм, что разбивать его на части и вырывать их из контекста нельзя. Тогда пришлось бы исключить и Достоевского, и Сологуба, и, конечно, Мережковского исключили бы 100 раз и т. д. Мы исключили бы и Гоголя, если бы жили в эпоху “Переписки с друзьями” и проч., и всякий раз поступали бы смешно и неплодотворно»), А. В. Карташева («Весь суд над Розановым есть суд этого принципиального, религиозно-социального порядка, а не суд над моральными качествами частного человека. Уж если на то пошло, то я должен признаться, что среди нашего Общества мне известны лица морально гораздо более предосудительные, чем Розанов, насколько я его знаю. Розанов, если хотите, добропорядочный обыватель среднего калибра. Нападать на его частную нравственность с нашей стороны было бы верхом нелепости... Да, мы хотим разделить с Розановым, чтобы имя его не мешало нашему Обществу служить религиозной силе, освобождающей и самую религию, и самого человека, до конца освобождающей религию от всех позорящих ее оков и прежде всего – от позорящей ее роли служительницы всяческого порабощения. Мы хотим, чтобы Религиозно-философское общество не было местом убежища для усталых и сбившихся с пути, потерпевших кораблекрушение политиков после 1905 года, чтобы оно не было местом отдыха для современных модернистов, все понимающих, всем интересующихся и все превративших в пустую, бесплодную забаву оскотиненного ума и сердца, а хотим, чтобы здесь было место, где духовно здоровые элементы Общества находили бы

вдохновение и поддержку в нравственной ревности о правде Божьей на земле, как на небе. Под именем Розанова мы от глубины души боремся с величайшими культурными и религиозными соблазнами того националистического и церковного лагеря, для которого Розанов так характерен. Нам совершенно не важно, в какую юридическую форму облечь наше разделение с Розановым, важно лишь провозгласить, что мы не с его лагерем, что мы не в духовном общении ни с ним, ни с его пакостями, ни с его идеалами! Пусть его лагерь не оцепеняет комара, не занимается юридической мелочью, “исключен” или “не исключен” Розанов. А пусть честно и серьезно считается с нами и знает, что мы не крючкотворствуем и не вертимся, а идем напрямик, что мы его честные и гордые враги!»); П. Б. Струве, который сам не присутствовал, но передал свой текст («Я вполне определенно считаю Розанова морально невменяемым. Поэтому в его деле, на мой взгляд, отсутствует основное субъективное условие разумного суда над человеком»); крик души Е. П. Иванова, сохранившийся, правда, не в стенограмме, а в воспоминаниях поэтессы Елены Михайловны Тагер («Как “Рыцарь Бедный”, стоит перед толпой худощавый, рыжеватый Е. П. Иванов, мольбой и рыданием звенит его тихий голос, отчаяние на его бледном, страдальческом лице: “Богом молю вас, – не изгоняйте Розанова! Да, он виновен, он низко пал, – и все-таки не отрекайтесь от него! Пусть Розанов болото, – но ведь на этом болоте ландыши растут!”»); ультиматум Д. С. Мережковского, который весь вечер промолчал, мрачно наблюдая за тем, как рушится его сценарий, а потом рявкнул: «Или мы, или Розанов!»; наконец молчание А. А. Блока опять же в воспоминаниях Тагер («А Блок? Он непроницаем. Чем больше шумят и волнуются в зале, тем крепче замыкается он в себя. Неподвижны тонкие правильные черты. Он весь застыл. Это уже не лицо, а строгая античная маска. С кем он? За кого он?... Ведь Аничковы его личные друзья. Е. П. Иванову он стихи посвящал... Убедили его эти люди? Согласен он с ними? Не понять. Звонок председателя. Философов объявляет: ввиду важности вопроса – голосование тайное. Голосуют только действительные члены общества; каждый сдает в президиум свою именную повестку. Те, кто против исключения Розанова, – поставят на повестке знак минус; те, кто голосуют за исключение – поставят на повестке знак плюс. В напряженной тишине Философов вызывает поименно всех действительных членов. Блок пробирается меж рядов. У него в руке полусвернутая повестка. Он идет мимо меня, – я успеваю заглянуть в этот белый листок – и явственно вижу: карандашом поставлен крест... Плюс! Он за исключение! Он проницателен! “Ландыши” не соблазнили его...»)^[81] – всё

это читается и сегодня с огромным интересом и косвенно еще раз доказывает, как недалеко мы от собственного прошлого ушли или же постоянно возвращаемся на круги своя^[82].

Однако еще менее известно, хотя не менее важно то, что в том же 1914 году, правда уже осенью, Святейший правительствующий синод, в течение нескольких лет неспешно рассматривающий «Дело по ходатайству Преосвященного епископа Саратовского о предании автора брошюры “Русская Церковь” В. Розанова церковному отлучению (анафеме)», вновь вернулся к этому вопросу и выступил с заявлением, в котором дал оценку новым сочинениям писателя (в том числе книге «Люди лунного света»): «При таком характере и содержании книги эти, в случае распространения среди большого числа читателей, особенно людей, не могущих критически отнестись к ошибкам и заблуждениям автора, могут произвести большой соблазн среди верующих».

Таким образом, на В. В. нападали с самых разных сторон, и вопрос о предании его церковной анафеме стоял, что называется, на повестке дня. А если к этому прибавить судебное преследование в 1912 году за «Уединенное», о чем уже шла речь выше, то наш тишайший, боящийся городских проповедник частной жизни, этот «шалунок у Бога», как сам он себя называл, «Монтень с авоськой», как окрестил его позднее философ Мераб Мамардашвили, и вовсе получается каким-то хулиганом-рецидивистом, вызывающим тотальный общественный гнев – и у Церкви, и у государства, и у передовой интеллигенции, и даже у националистов, которых он, к слову сказать, никогда не считал своими, как не считали его своим и они^[83]. Однако «анафема» либеральная переживалась и им самим, и его домашними намного тяжелее и имела для подсудимого куда больше, как это в России бывает, последствий. Одно из свидетельств тому – то самое «восстание» Александры Михайловны Бутягиной, о котором вспоминала Татьяна Васильевна Розанова. В. В. и сам написал об этом происшествии в небольшой статье «Напоминание по телефону», опубликованной в «Новом времени», а впоследствии вошедшей в «Отношение...» и также имеющей непосредственное отношение к еврейскому сюжету в его судьбе и в его семье.

Нетелефонный разговор

«...Передаю факт во всей сырости, как он произошел сегодня утром. Телефоню своему другу А. М. Коноплянцеву, биографу славянофила К. Н. Леонтьева, чтобы он изложил мне свои “несколько *положительные* мысли о ритуале крови у евреев”, – о чем он упомянул, *не пояснив*, в последний раз, как мы с ним виделись. И он в ответ мне телефонирует, несколько запинаясь в словах:

– Отношение к *крови*, и именно – к *человеческой крови*, может быть очень *серьезно*... Да как же вы не помните, Василий Васильевич, что в 1905 году вы и некоторые члены вашей семьи были приглашены к Минскому (еврей, поэт и философ, теперь эмигрант, – деятельный участник Религиозно-философских собраний) со специальной целью испытать причащение *человеческою кровью*... Тогда приглашали и меня, но я *испугался* и не пошел...

Ба! ба! ба!.. Да, действительно, – совсем забыл! Я в то время смотрел на “вечер” как на одно из проявлений “декадентской чепухи”, и кроме скуки он на меня другого впечатления не произвел, отчего я и забыл его совершенно. Но я помню вытянутое и смешное лицо еврея-музыканта N и какой-то молоденькой еврейки, подставлявших руку свою, из которой, кажется, Минский или кто-то “по очереди” извлекали то булавкой, то перочинным ножиком “несколько капель” его крови, и тоже крови той еврейки, и потом, разболтавши в стакане, дали всем выпить. “Гостей” было человек 30 или 40, собирались под видом “тайны” и не “раньше 12 часов ночи”; гостями был всякий музыкальный, художествующий, философствующий и стихотворческий люд: были Н. М. Минский с женой, Вячеслав Иванович Иванов с женой, Николай Александрович Бердяев с женой, Алексей Михайлович Ремизов с женой и проч. и проч. и проч. Мережковских и Философова не было тогда в Петербурге, они были за границей. И по возвращении написал, т. е. Д. С. Мережковский, резко упрекающее письмо Н. М. Минскому; Минский показывал мне письмо, и я смеялся в нем выражению Мережковского, что “вы все там *жида с лягушкою венчали*” и проч. Тогда Мережковский находился еще в хороших чувствах и на добром пути. Так как он отнесся к “делу” серьезнее меня, то, очевидно, и должен был менее меня забыть сие, во всяком случае, извлечение *человеческой крови* с целью ею напиться всем обществом.

Но А. М. Коноплянец даже *испугался* приглашения (его слова сегодня

по телефону). “У литераторов и в двадцатом веке вообще ничего серьезного быть не может”, – думал я, кажется не без основания, тогда; и пошел на собрание без всякой “думки”. Но, я думаю, основательна была и вторая половина моей мысли: “А у людей старой веры и старого *корня веры* это, конечно, вышло бы *серьезно, трагично, страшно*”. Вот именно вышло бы то, чего “испугался” Коноплянцев.

Во всем этом событии, – конечно, шутовском и бессодержательном, “литературном”, – замечательно, однако, то, что мысль о причащении *человеческою кровью* возникла не у кого-либо из русских, не в русской голове и мозгу (ни в одном русском литературном доме ничего подобного я не слышал!), а именно в *дому еврейском, в обществе по преимуществу еврейском и в мозгу еврейском...* Отчего из русских этого никогда никому в голову не приходило, – даже как позыва или случайно залетевшей в голову мысли? Нет *атавизма и наследственности*, нет бессознательных, безотчетных воспоминаний в застарелых, первобытных клетках мозга... В клетках, глубже всего заложенных и почти омертвевших, но не совсем умерших. А у евреев эти “старенькие клеточки” хранятся. У них действуют воспоминание, наследственность и атавизм. Поэтому Минские, муж и жена (оба евреи), хотя, конечно, тоже едва ли придавали “трагическое значение” событию и вообще-то “забавлялись” только, шутили: однако самая идея шутки, сам “Иван-Дурачок старый” – возник именно у *них*; возник как “комедия и водевиль”, пропорционально XX веку, – а не как “трагедия”, и может быть мистическая трагедия, времен былых и дальних, времен ветхозаветных и священных. Но что в Петербурге “комедия и кабачок”, – то где-нибудь в зарослях Вильны, в дремучих лесах Литвы и Белоруссии существует серьезно, великолепно и песенно. В “Ивана-Дурака” и его необычное счастье в Петербурге не верят, а в Вологодской губернии верят.

Возвращаясь к шуму о “кровавом навете”, где русские были так униженно “околпачены” евреями, давая свои “подписи” и “клянясь” в деле, в котором они ничего не понимают, я возвращаюсь особенно к Мережковскому тех времен, когда он упрекал Минского “за венчание лягушки и жида”. Каким образом он мог забыть, что у него под носом, в доме его друга и в мозгу его друга-еврея родилась мысль о причащении, т. е. об *испитии, о вкушении человеческой крови*; явилась эта мысль не в “темных средних веках”, не как “легенда”, – а как *осязаемый факт* на Английской набережной, в доме Полякова, в 1905 году, у весьма и весьма “просвещенного” Николая Максимовича Минского. Да и Карташов это знал, и Философов, и Зинаида Николаевна Гиппиус-Мережковская. Все знали. Каким же образом все клялись в Религиозно-философском собрании

на докладе Мережковского по делу Бейлиса, что это “ритуальное обвинение евреев унижает Россию”, что оно “позорит русский суд”, что “Россия лежит трупом у себя самой в дому” (слова Мережковского) и проч.?! Каким образом все могли слушать завывательные речи гг. Керенского и Соколова, как могли все клясться “не подавать руки тем, кто говорит о еврейском ритуале” (как будто кто-то ищет пожимать им руку), и прочее и прочее?..

Какой обман и насмешка над слушателями!..»

Несложно представить, какое впечатление произвела статья, в которой автор описал злополучное происшествие девятилетней давности, подвел под него теоретическую «пещерную» основу и превратил декадентский анекдот в зловещий конспирологический триллер с антиеврейской подложкой и далеко идущими намеками. А кроме того – если вспомнить уже цитировавшееся в одной из предыдущих главок письмо Евгения Иванова Александру Блоку, в котором была изложена во всех подробностях та история, – Розанов сознательно или нет исказил факты. Ведь идея самочинно «причащаться кровью» принадлежала вовсе не еврею Минскому, а русейшему Вяч. Иванову: «...вот еще что было предложено В. Ивановым – самое центральное – это “жертва”, которая по собственной воле и по соглашению общему решает “сораспяться вселенской жертве”, как говорил Иванов». И резал руку «жертвы», которой добровольно вызвался быть некрещеный еврей-музыкант, тоже Вячеслав Иванов: «Кажется, Иванов с женой разрезали жилу под ладонью у пульса, и кровь в чашу...» Таким образом, этот случай если и мог быть свидетельством, то скорее уж защиты, а не обвинения еврейского народа.

Конечно, самого автора того письма Евгения Иванова на «черной мессе» в доме у Минского не было, он писал со слов Александры Михайловны Бутягиной, и утверждать стопроцентно, что все было именно так, как рассказывала она и как изложил ее рассказ он, никто не возьмется. Розанову же вообще все могло запомниться или вспомниться несколько лет спустя совсем иначе. И тем не менее В. В. слишком уж решительно и однозначно возложил всю полноту ответственности за «декадентскую чепуху» на одного лишь Минского и его жену (последнее было и вовсе не слишком-то с его стороны благородно), безапелляционно связав случившееся со зловещим атавистическим зовом их еврейской крови, что, как уже говорилось, абсолютно укладывалось в его картину мира: «“Декадентов” есть много: декадент Андрей Белый, декадент Валерий Брюсов: но только в дому еврея Минского заговорили: “Не извлечь ли нам крови”».

Но главное, автор фельетона, причем скорее по легкомыслию, нежели злему умыслу, назвал имена участников давней истории. Для него это был своего рода фейсбук, а кроме того, Розанов был так увлечен борьбой, что едва ли задумался над тем, как к этому отнесутся невольные герои его опуса. А они, естественно, вознегодовали куда больше отца Иоанна Альбова, и вот уже самому автору пришлось оправдываться.

«Не жалея моих 58 лет и естественной слабости воли и неясности мысли, какая сопутствует старости, – тот молоденький член моей семьи, который вместе со мною был на вечере у Минского, поднял форменный “гевалт”, обвинял, что я “предал” своих друзей, что это – “«донос”, что участники вечера (в сущности – пустого) будут “привлечены к суду за кощунство”, что “ожидается через 5 дней возвращение в Россию амнистированного Минского и теперь он в Россию не будет пущен”; что в Петербурге “непременно явятся и потребуют у меня объяснений Бердяев-христианин”, а что “Ремизову не решаются показать номер ‘Нового Времени’, где названо его имя”. Таковой натиск испугал меня, и я упросил редакцию “Нов. Врем.” поместить на другой день мое “письмо в редакцию”, где я отрекся от своего рассказа, сказав, что все было “пуфом” и “глупостью”, о коих не “стоило говорить”. Быстрое отречение мое вызвало хохот всей печати, глумливое замечание Мережковского, что “пока Розанов доказал только, что он и другие русские причащались еврейскою кровью”, и т. п. Мережковский очень хорошо понимает, в чем дело, – понимает силу ссылки на *атавизм*, действующий у евреев; но он путал и лгал в этом случае, как и во все время процесса Бейлиса лгал касательно евреев и русских, касательно христианства и юдаизма, – по чисто газетным соображениям, которые доминируют теперь у него и над “третьим Заветом”, и над “религией Св. Духа”. Теперь я думаю, т. е. уже на третий день после напечатания статьи “сообщение по телефону”, я начал твердо думать, что даже наиболее “виновную” часть моего сообщения, именно *печатное название имен моих друзей*, – я не только вправе был, но и должен был сделать. Т. е., как и всегда, я прав был в первом движении сердца к правде. Кровь Ющинского стоит литературного этикета, и раны его выше того, что “принято” и “не принято”. Есть вещи, около которых *более не церемонятся*».

Мы все погибнем

Этим более поздним «бесцеремонным» комментарием писатель окончательно отрезал себя от бывших друзей, с которыми весело и вдохновенно провел почти полтора десятка лет счастливой, мятежной, насыщенной петербургской жизни. С ним просто стало неприятно, опасно иметь дело, и розановский дом опустел. Закончился праздник, угасло дней и ночей безумное веселье, от него отвернулись издатели, сократились доходы, а вскоре после этого случился *гевалт* в его собственной семье, и наш герой оказался на старости лет кем-то вроде короля Лири. Конечно, по иному поводу, нежели в «драме шекспировой», и в других совсем обстоятельствах, и все же именно семья, которой он служил, себя не щадя и считая ее высшей жизненной ценностью, его не менее сурово осудила, оттолкнула и чуть ли не предала фамильной анафеме.

«Знаете, семья наша почти расклеилась. “Такие прелестные и родители, и дети”, а ничего не выходит. “Мы – не жида”, и семья у русских редко “выходит”. Необъяснимые таинственные привходящие ингредиенты», – с горечью констатировал в письме Флоренскому ее печальный глава в августе 1915 года, уже по привычке сводя и противопоставляя русское и еврейское, а еще позднее заключал совсем безнадежно: «Бог не дал русским “семьи”».

О грустной, унылой семейной атмосфере вспоминала и Надежда Васильевна Розанова. «У нас в доме было довольство, совершенный внешний порядок и необъяснимая тягость». По ее мнению, главная причина этого заключалась в болезни матери, однако сам В. В. полагал, что несчастья в его семейной жизни и проблемы в отношениях с выросшими дочерьми идут от падчерицы, имевшей, как уже говорилось, огромное влияние на младших единоутробных сестер, и своя справедливость в этом суждении была.

Девушка, с которой Розанова связывали столь протяженные и непростые отношения («Порой очень нежные, а порой – полный разрыв. Аля держалась в семье самостоятельно и независимо. Папа ее очень ценил, хотя и враждовал с ней часто», – вспоминала Надежда Васильевна, а сам Розанов писал Флоренскому о «флиртующей ее натуре»: «от Бутягиной я видел только двуличный не то флирт»), начиная с какого-то момента стала считать мужа матери ни больше ни меньше, чем своим личным и идейным врагом. А он ее – своим, и дело Бейлиса свою разрушающую роль здесь,

безусловно, сыграло.

«Создалось два враждебных лагеря – отца и Али. Папа в эти дни казался внезапно состарившимся. Порой он был гневен, но чаще задумчив и очень опечален; а Аля была холодная и торжествующая, – вспоминала Н. В. Розанова. – Был папин кабинет и Алина комната. Я бегала между ними. Аля звала меня к себе и, усадив на диванчик, угощала шоколадом и говорила: “Бедненькая! Я не могу видеть, как тебя развращают эти гнусные разговоры!” А папа, когда встречался со мной, обнимал меня дрожащей рукой и говорил: “Посиди с нами, деточка. Не ходи ‘туда’. Там ‘зло’”».

Шоколад был упомянут, кстати, тоже не просто так. В другом месте своих мемуаров младшая дочь Василия Васильевича рассказывала о том, что будучи страшной сладкоежкой, она однажды украла у своей сводной сестры двадцать копеек и тайком купила на них шоколадные конфеты.

«С первого же момента, когда конфеты очутились в руке, – все очарование пропало. Я чувствовала только свое преступление. Придя домой, я убежала “кое-куда” и, плача, пихала их себе в рот, чтобы только поскорее покончить с ними, которые уже потеряли всякий вкус и стали отвратительны... Лучше бы, если бы я обманула папу и маму, которые бы рассердились, на шумели, но Аля никогда не станет громко бранить, а станет холодной-холодной и совсем чужой, но *все же останется ласковой*. И это хуже всего. Долго я боролась с собой и все же сказала Але и полностью почувствовала глубину своего падения. Аля отнеслась так, как я ожидала, – стала холодна, грустна, задумчива и подарила мне к Новому году открытку – хорошенькую девочку, держащую в руках котенка, в которой своим бисерным почерком писала очень ласково и так, чтобы поняла только я, что она хочет, чтобы я “кое в чем исправилась”».

И вот теперь этими кусочками шоколада Александра Михайловна как бы возвращала младшей сестре свое расположение, прощала и, можно сказать, подкупала ее, а та все чувствовала и оставалась на отцовской стороне. По меньшей мере так это вспоминалось Надежде Васильевне Верещагиной (урожденной Розановой) в 1937 году, когда она писала свои мемуары и никто в СССР уже давно не вспоминал ни Бейлиса, ни Розанова и вряд ли предполагал, что интерес к ним еще вернется.

«И так как папа был раздавленный и слабый, а Аля дерзновенно-торжествующая, то меня влекло к папе. Не разум говорил, а сердце. Я как губка впитывала все разговоры вокруг, и в голове моей был полный сумбур. То, что говорил папа, вызывало подчас во мне бурное негодование, порой отчаянье, потому что никак не связывалось с моим отношением к миру, и я

не могла принять “жестокость”, но между тем в словах его заключалась некая “тайна”, “влекущая глубина”, которая наполняла меня тревогой. Все то, что говорила Аля, было внешне благородно, возвышенно, человеколюбиво, понятнее для моего разума и совершенно просто. Аля говорила, “как все” (гимназия), и я для душевного равновесия охотно присоединилась бы к ней, но невольно смущенным сердцем я прислушивалась к папе и тянулась к нему».

Это не умственное, не рациональное, а именно детское, сердечное восприятие драматической взрослой истории тем важнее, что Надежда Васильевна в мемуарах, относящихся к делу Бейлиса и тогдашней общественной атмосфере, очень трогательно рассказала о дружбе со своей одноклассницей Эсфирью Старобин. Описывая последнюю с невероятной симпатией, очень живо, трогательно, душевно («Утром, по обычаю, опаздывая в гимназию, она брала извозчика и ехала на самом кончике сиденья, спустив ноги на подножку экипажа, в расстегнутом пальто, с шапкой, сбитой на затылок, отчего все ее пышные волосы разметались по ветру. Соскочив с извозчика, она по дороге сбрасывала пальто, испуганно озираясь, пролезала в класс, таща за оборванный ремень свой ранец, из которого с грохотом сыпались учебники, тетради, перья. Случалось, что она только успевала расположиться за партой, в дверях появлялся наш швейцар в ливрее Антон: “Барюшню Старобин извозчик спрашивает. Забыли-с заплатить”. Весь класс покатывался со смеху»), мемуаристка воспроизвела их с девочкой разговоры и споры, которые кажутся странной калькой и детской пародией на переписку Розанова и Гершензона, да и вообще на все непростые русско-еврейские споры и придают этой истории еще одно очень важное и достоверное измерение, сродни камертону.

«Я не помню в точности нашей беседы, но все сводилось к одному. Я убеждала ее, что не она, Этя, не Лилли и Сарра, очень славные девочки, совершают ритуальные убийства, но что это существует так же бесспорно, как то, что мы сейчас топчемся на углу Коломенской и Разъезжей. А она говорила, что семья ее нерушимо чтит субботу и выполняет все обряды по закону Моисея, но “пусть она будет не Этя”, если когда-нибудь это делается. Я уверяла ее, что они, евреи, не любят Россию и желают ее гибели, а Этя уверяла, что они страшно любят Россию и жаждут ее прогресса. Я говорила, что уважаю их религию, но они должны относиться серьезно, когда у нас идет закон Божий, и она вполне соглашалась и говорила, что вполне его уважает. Потом я уверила ее, что Мессия уже “был”, а она говорила, что “нет”, но придет. Я говорила, что очень люблю древнееврейский народ, который написал чудную Библию и “Песнь

Песней”, но, словом, я говорила все то, что говорил папа, а Этя все то, что говорила ее мама.

Этя говорила, что евреи признают большой талант моего отца, а я намекала “не без загадочной и скорбной усмешки”, что они его хотят убить.

После ряда прощаний мы снова топтались на месте и спорили, пока, наконец, не разошлись, но вполне дружелюбно.

И на другой день опять:

– Идем, Розанова!

– Идем, Старобина!»

Так дружили поверх взрослых распрей две хорошие, умные, талантливые девочки, русская и еврейка. Но сразу вслед за этим Надежда Васильевна воспроизводит, используя уже другую интонацию, то ощущение страха и ужаса, которые воцарились в доме Розановых после вердикта присяжных в суде.

«В вечер оправдания Бейлиса постоянно раздавались телефонные звонки: “Поздравляем Василия Васильевича с оправданием...” и смех в телефон^[84]. В папином кабинете горела одна настольная лампа, мама лежала на диване, а папа ходил сгорбленный, из угла в угол. Аля летела к телефону в черном шелковом платье, веселая, торжествующая и звонила подругам. Наташа пронзительно смеялась и, подхватив Алю на руки, кружилась с ней по комнате.

Нарочитость их поведения поразила меня своей жестокостью. Я спряталась от них, чтобы они не позвали меня к себе.

Потом, громко смеясь, они ушли в кинематограф^[85].

Вера стояла лицом к окну в полумраке своей комнаты. Она подозвала меня и шепотом рассказала, что раввины прислали папе письмо, в котором клялись, что один из его детей будет убит, как Ющинский, в отместку.

У меня стучали зубы. Вера прижала меня к себе и сказала: “Надя, мы все погибнем!”

Кое-как я добралась до постели и продрожала всю ночь».

Лунная тень

Трудно сказать, что это было – воспоминания или автобиографический роман о детстве, где вымысел мешается с явью, однако о схожей атмосфере в розановском доме осенью 1913 года и об угрозах в адрес хозяина и членов его семьи свидетельствовал еще один человек. Аарон Штейнберг, будущий член Вольфилы и впоследствии эмигрант, активный участник Еврейского конгресса, а в ту пору молодой журналист «Русской мысли», пришел в дом Розанова на Коломенской улице, чтобы понять, что заставило писателя, перед которым он преклонялся, «так резко переменить свои взгляды на евреев». Штейнберг вспоминает свои с Розановым споры (чем-то опять-таки напоминающие разговоры двух девочек из мемуаров Нади Розановой)^[86], а потом ссылается на анонимное письмо, которое показал ему хозяин дома.

«Василию Васильевичу Розанову – предупреждение. За ваши статьи в “Земщине” по поводу процесса Бейлиса вы будете соответственно наказаны. Еврейство вам этого никогда не простит. По старым своим заветам искоренит не только вас, но и все ваше семейство и все ваше потомство. Все это будет сделано согласно ритуалу. Сообщаем вам, что под зданием Большой Хоральной синагоги на Офицерской, в подвале, в затаенном углу стоит алтарь, на котором такие люди, как вы, враги евреев, приносятся в жертву во имя спасения великого еврейского народа и всего обращенного в еврейскую веру человечества. Бейлис будет осужден в Киеве, но мы не успокоимся, подадим кассацию: дело будет передано на новое рассмотрение, где обнаружится, что Бейлис ни в чем не виновен. Он будет оправдан. Вы же и вам подобные будете уничтожены».

Прочитав эти строки, Аарон Штейнберг пишет о том, что он «невольно улыбнулся». «Мне было ясно, что это подделка... Глупо было и то, что сообщался адрес, как бы специально затем, чтобы полиция занялась этим. Мне кажется, что целью этих людей было поиздеваться над Василием Васильевичем».

Конечно, не очень понятно, каким образом у написавшего свою книгу «Друзья моих ранних лет» в конце жизни автора сохранился в памяти текст этого «документа» и насколько он соответствовал «оригиналу». Однако независимо от того, кто за этой подделкой или подделкой стоял^[87], целью провокации было – Розанова запугать. И можно предположить, что по крайней мере в отношении его детей цель эта была достигнута. И больше

того, если смотреть на эту ситуацию с конспирологической, а еще лучше сказать, с мистической точки зрения, то потомство Василия Розанова было действительно искоренено. Не евреями, нет, и не по ритуалу, но только никто из детей В. В. его род не продолжил. И тут сокрыт самый больной момент даже не биографии философа, но его Судьбы, именно так – судьбы с большой буквы, которая – если вспомнить известное стихотворение – и за Розановым шла «по следу, как сумасшедший с бритвою в руке»^[88]. Понять ее логику невозможно, да и была ли вообще у той бритвы логика, неизвестно, можно ли ею хоть как-то управлять или ее хотя бы подправить – неведомо, был ли Розанов в высшем смысле этого слова за что-то наказан или проклят, – вопрос, который каждый, кто задумывается над его жизнью, волен решать по собственному усмотрению, но все же складывается впечатление, что обостренным вниманием к делу Бейлиса В. В. действительно посеял ветер не только в обществе, на которое, положим, плевать хотел, но и в собственном доме, составлявшем, как уже не раз говорилось, для него высшую ценность, и – получил бурю. И это – опять-таки главное в сюжете всей его жизни.

Дело ведь заключалось не в одном лишь обвиняемом и в конце концов оправданном киевском приказчике, о котором толковала тогда вся Россия^[89]. Существовало еще одно «лицо еврейской национальности», не такое известное, как прославившийся на весь мир Бейлис, но имевшее к семье Василия Васильевича самое непосредственное отношение.

В воспоминаниях Т. В. Розановой читаем: «Другой печальный случай вспоминается мне: молодой человек, Зак, музыкант, приходил к нам играть на рояле, так как своего инструмента у него не было. Он готовился к поступлению в консерваторию. Однажды он к нам не пришел в назначенный час. Через несколько дней мы узнали, что он покончил с собой, выбросившись из окна. Причина была та, что по ограниченной процентной норме для евреев он не попал в консерваторию. Это был довольно красивый, скромный и тихий молодой человек. Мы его очень, очень жалели и часто потом вспоминали».

Что касается трагической смерти музыканта, то здесь Татьяна Васильевна могла и ошибаться. Во всяком случае, А. М. Ремизов писал в «Кукхе» о своих встречах с Борисом Аркадьевичем Заком в эмиграции («После уж здесь, встретившись с музыкантом Б. А. Заком – он, тогда еще мальчик, бывал у Розановых по воскресеньям...»), но в любом случае нет сомнения, что речь шла о том самом молодом музыканте с «вытянутым и смешным лицом», в которого Аля была когда-то влюблена и чью кровь в

доме на Английской набережной в мае 1905 года, к ужасу Варвары Дмитриевны Бутягиной и стыду Николая Александровича Бердяева, с глубокомысленным видом «пила» элита Серебряного века, а Розанов потом использовал эту историю в своих конспирологических целях. И хотя трудно утверждать стопроцентно, что его падчерица так уж безумно любила добровольно вызвавшегося быть декадентской жертвой пианиста (но вспомним еще раз свидетельство Е. П. Иванова в письме Блоку: «...здесь наверное томление глубокой освященной любви, уже счастье жизни. Вообще думаю, во всем этом собрании главными действующими лицами были этот молодой человек и Ал. Мих.»^[90]) – что должна была чувствовать она, совершенно точно о нем не забывшая, в те недели и месяцы, когда ее отчим, известный публицист и гениальный воспитатель В. В. Розанов, принялся яростно писать против народа, к которому избранный ею юноша принадлежал?

Пытался еврейский музыкант на самом деле покончить с собой или нет, но униженным, пораженным в правах наверняка себя ощущал, а Александра Михайловна с ее обостренным чувством справедливости и женским состраданием все это тоже видела, понимала, и то было прямое для нее оскорбление, плевков в душу, еще один разрыв, еще один разлом, и не на страницах безликой печати, не в скандальном обществе религиозных философов, а среди близких ей людей. Не будет большой натяжкой предположить, что Алина холодность к Розанову, ее торжество, безжалостность и разрушающее влияние на его детей были вызваны и этой причиной в том числе. А может быть – прежде всего. Качнувшись от любви к ненависти, Аля мстила своему отчиму, мстила осознанно, намеренно, невольно осуществляя не физически, а духовно угрозы из подметного письма, однако ужас этой ситуации заключался в том, что в итоге сама оказалась потерпевшей стороной.

«Лицом она не была красива (единственно красивы были руки, – узкие и длинные), так как благодаря пороку сердца у нее на лице были красные пятна, от которых она вечно лечилась... Но все ее движения и ласки были исполнены женственного очарования, которое привлекало к ней всех, кто ее знал... Странные были ее глаза и улыбка, – ничего нельзя было прочесть в них – смеется она или грустит...» – вспоминала свою старшую сестру Надежда Васильевна.

«Косы удивительные: пепельные и жгутом в косе вокруг головы и даже к лицу подвиты. Запрыщавила немножко, но это от отсутствия мужчины, т. е. половой жизни; нет “обмена соков”, как говорит “писатель Розанов”. Это пройдет сейчас же под поцелуями любви», – писала про Алю

одна из гостей розановского дома в десятые годы, но никаких молодых людей мужеского пола у девушки больше не было, а только подружки, курсистки, революционерки, суфражистки, феминистки...

Понятно, что самую горькую роль в Алиной жизни сыграли отнюдь не Розанов и не евреи, а проклятая, унаследованная от родителей болезнь, но для Али все ее несчастья сплелись в один клубок. «Еще тяжелый крест на наш дом, семью: вчера, во время припадка, когда я 1-й раз его увидел, определилось, что у бедной Шурушки (что звала Вас в СПб., барышня, падчерица) – страшная *angina pectoris*, “грудн. (сердечная) жаба”. “Когда огненными щипцами рвет сердце, и душой овладевает смерть”... Шура во время припадка все трепетала в моих руках, как застреленная, и, наклоняясь, как корова к пойлу – хватала воздух, а дыхания не было... – писал Розанов Флоренскому еще до истории с Бейлисом. – На другой день спрашиваю: что чувствовала; она: “ужас, смерть вижу, умираю, чувствую, вижу, что умираю, а сердце щиплет и зажимает как железными щипцами”. 3-го в ночь б. припадок, сегодня в 1 час дня – опять: “Ничего не вижу, темно в глазах” (при открытых глазах и сияющем солнце), вскакивает, вытягивается во весь рост и падает. Припадок от 15 до 20 минут. Потом – слабость, до неспособности говорить, и тоска».

Последнее особенно важно. Болезнь калечила не только ее тело, но и душу, ломала и корежила ее незаурядную личность. В 1910 году, опять же задолго до главных семейных и общественных раздоров, Розанов писал своей падчерице (это письмо цитирует в своих воспоминаниях Татьяна Васильевна): «Вот и ты наша милая, за которую мама всё читает акафисты, в каком-то нерешительном туманном положении. Как хотелось бы тебе счастья, радости, не думай, что я говорю тебе о замужестве: теперь-то ясно вижу слова Евангелия: “не каждому это его удел”. Но как хотелось бы, чтобы ты посмеялась и иногда “от души” побежала куда-нибудь с подругами и вообще испытала “молодое обыкновенное”».

И странным образом отзывались несколько лет спустя в «Опавших листьях» эти слова о «молодом обыкновенном» и о Алиных подругах: «Зеня и Марта, потом усиленно одна Зеня, потом долгие годы только Марта, потом – “Вера” и всех залила “Женя” и наконец окончательно всех залила “Наташа”».

Это произошло в 1912 году, когда Але было уже под тридцать, и в ее выборе не было прямой вины ее воспитателя, если только можно говорить в таких случаях о вине. В конце концов, лесбийство сделалось в культурных кругах той блистательной поры едва ли не нормой, но опять-таки, как и в случае с делом Бейлиса, не будет большой натяжкой

предположить, что Розанов своим счастливым вдохновением, своим жадным интересом к «третьему полу», к Крафту-Эбингу и к «людям лунного света» вызывал духов Содома, притягивал их к собственному дому, и по Александре Михайловне его очередные «опыты» ударили сильнее всего.

Да, читатель, Аля Бутягина была несчастным, очень несчастным существом от самого своего появления на свет, а точнее, еще от материнской утробы. Родной отец отравил ее физически, приемный – духовно. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы эти слова прозвучали как осуждение в адрес человека, которого кто только не осуждал^[91], но факт остается фактом. История, так трогательно начинавшаяся в конце восьмидесятых годов позапрошлого века далеко от порочной столицы на берегах Быстрой Сосны – молодая кроткая вдова с шестилетней застенчивой белобрысой девочкой, уют, нежность, тепло, забота, домик возле старой церквушки (хотя справедливости ради – сифилис Варвары Дмитриевны и Али был родом из тех благословенных мест) – четверть века спустя обернулась страшной семейной драмой и расколом на безбожных берегах невских.

«Всего этого дети тоже не понимают, наши дети – по детству, Санька Б. – по тупости и потому, что “внимает” (внутренним ухом) только лесбиянкам, и вне Lesbos’а для нее нет мира, – писал Розанов Флоренскому. – Но у Саньки в руках все дети (начало лесбийского гипноза)... дети – в полной власти Ал. Мих., авторитета отца или притяжения матери в ней “0” или близко к этому. “Алечка! Алечка!” “Наташа – тоже ангел”. Среди этого Содома “дружб” я совершенно бессилён, зная, что тут “тяги” гипнотичны и неодолимы».

А в другом послании тому же корреспонденту несколько наивно и трогательно прибавлял: «Вот что, милый, скажите как-нибудь *при Тане*, что я “открыл Рюккерта” и вообще что-нибудь лестное. Тогда как для мамы я “умен” – все дети считают свою “Алечку” и Наташу в 100 раз умнее меня, и эта потеря авторитета, между прочим, и *умственного*, – ужасно мешает жить, “палка в колесо жизни”. Таня в 16 лет назвала меня раз “идиотом”... Но я догадываюсь, что это все алечкины внушения исподтишка».

Нелестно упоминаемая в этих письмах Наташа – это Наталья Аркадьевна Вальман, домашняя учительница немецкого языка у розановских детей и интимная подруга Александры Михайловны, к которой та ушла из родительского дома и, подобно крысолову из Гаммельна, ласками и кусочками шоколада пыталась увести за собой сводных сестер в очередную коммуну, на сей раз не революционную и не

религиозную, а лесбийскую.

О Наталье Аркадьевне сохранились воспоминания Надежды Васильевны Розановой: «Однажды Аля взяла меня с собой на курсы Раева и показала на одну курсистку. Она бежала вихрем по лестнице и, завидя Алю, с визгом схватила ее за руки и закружилась. У той девушки были жиденькие волосы, скрученные узелком на затылке, пронзительный голос и резкие движения. Ее широкая, длинная юбка нескладно путалась вокруг ног. Она походила на переодетого мужчину. Только темные глаза ее были странные, с тяжелым и упорным взглядом. У Али возникла с ней дружба, которая тянулась до конца жизни... Мы дети очень к ней привязались, и она занималась с нами языками... Аля очень любила Наташу, а та была рабски ей предана. На нас, детей, она оказывала определенное влияние». И в другом месте: «Наташа Вальман своим нигилистическим видом наводила страх на сергиевских жителей. Она была стриженная и походила на переодетого мужчину. Когда по дороге встречали мы богомольцев, они крестились и ахали. Ее принимали за антихриста».

«Папа с мамой ее очень не любили и еле терпели; с нами она была хороша, но старалась нас отдалить от родителей и скептически к ним относилась. Она вносила раздвоение в нашу семью», – со свойственной ей деликатностью и обтекаемостью вспоминала старшая Татьяна, но несложно представить, что значил для воцерковленной, консервативной и провинциальной во всех смыслах этого слова Варвары Дмитриевны подобный *столичный* поворот в судьбе ее старшей дочери, за которую она читала акафисты...

Оценка самого Василия Васильевича была по обыкновению гораздо грубей и эмоциональней. «Наташа есть лесбийский Распутин, которому “девок надо много”, и Бутягина ее “уступает” по заметной любви и Глаше, и “кого Наташа захочет”. А Наташа – Солдат. Все оне совершенно тупы, и Наташа – особенно, читая “мемуары папского двора по-итальянски”, не веря в Христа и плюя на христианство. Но семье и Шуре она кажется “гением, украшающим Россию” тем, что “такая образованная девица”. Шурка, вбегая ко мне в комнату, говорила: “Посмотрите, что читает Наташа”^[92], – писал он Флоренскому, в очередной раз приплетая евреев, без которых ему было, похоже, уже никуда. – Вообще оне УКРАШЕНИЕ РОССИИ. Русского они ничего не читают, только жидовские газеты и жидовские книги (Наташа *по отцу* еврейка, мать – немка, кажется). И вот наших детей оне тащат в этот омут “s” и жидовства, и полного равнодушия, если не ненависти еще, к “глупой, пошлой России”. “Весь свет с Запада”. Все это больно, все это страшно, но я – частью от 60 лет (20 апреля

исполнилось 60 лет) – ничего не могу сделать, говоря “Бог взял, Бог дал”, “ничего не могу и не умею”».

В сущности, это было горчайшее признание жизненного поражения и собственного бессилия – что может быть для мужчины страшнее?

Пустое вы говорите...

Упоминание «лесбийского Распутина» в письме о. Павлу Флоренскому было следствием крайнего раздражения В. В. На самом деле его отношение к фигуре самого известного и скандального русского мужика было намного объемнее и сложнее, как много сложнее и объемнее был и сам Григорий Ефимович Распутин. Тема «Розанов и Распутин» («И я не поручусь, что там в углу не поблескивают очки Розанова и не клубится борода Распутина», – не случайно написала позднее Ахматова, сводя их двоих в «Бродячей собаке») вообще крайне любопытна, и на ней есть смысл остановиться подробнее хотя бы для того, чтобы отвлечься от розановских дел домашних и не сводить рассказ о нем лишь к его семейным печалям.

Итак, эти два, без сомнения, весьма и весьма замечательных человека были по-своему чем-то похожи, и в жизненном пути обоих имелось немало общего, начиная с того, что каждого привела из провинции уже в немолодом возрасте в Петербург консервативная русская партия, пусть и разные ее круги, сделала на обоих ставку, но в своих ставленниках вскоре жестоко разочаровалась и повела с отступниками борьбу. Так, епископ Саратовский Гермоген (Долганев), некогда с Распутиным друживший, а потом с ним рассорившийся, попытался его оскотить, а Розанова, как уже говорилось, – предать анафеме, то есть в каком-то смысле оскотить духовно. И хотя ничего из этого сделать ревностному владыке не удалось, само его стремление весьма показательно, как показательны и непрекращающиеся по сей день споры о двух посетителях петербургского артистического кабаре – фигурах, безусловно, ярко выраженно декадентских, серебряновековых, провокационных, псевдоюродивых и как никто другой соединивших в себе идею пола и идею Бога. Однако если Розанов в большей степени считался в этой области теоретиком, то Распутин имел репутацию практика, и в этом смысле двое возмутителей общественного порядка в Российской империи замечательно друг друга дополняли.

«И Распутин, когда “радел”, то убеждал барынь, что он это делает для познания, свободен ли его “дух” от соблазнов и сможет ли перенести зрелище нагих женских тел без вожделения. А когда “вожделение” наступало и он его удовлетворял, то объяснял, что в “совершенство” еще не пришел и надо опять попоститься и потом опять порадеть. Так Григорий Распутин проводил свои дни в удовольствии, молитве и посте. Но

совершенно известно, что “скверны” брака он не признавал, “скверну” полового общения отвергал и на эту удочку поймал не одного аскета...»

Так писал Розанов в небольшой статье «Усердствующий Митрофан», на которую я уже ссылался в одном из примечаний, как раз говоря об их общем недруге – епископе Гермогене. В этих первоначальных розановских строках было выражено достаточно общепринятое уже тогда и столь же приблизительное мнение о Распутине, который на самом деле брака никогда не отвергал, да и все прочее, о чем писал В. В., было преимущественно из области слухов. Однако история Распутина тем и особенна, что в ней важнее всего в итоге оказалось не то, каким он был в действительности, а то – каким его воспринимали и как оценивали окружающие, и сюжет этот тянется поныне. Тем не менее опубликованная в «Русском слове» в декабре 1910 года как компромат на епископа, связавшегося с «хлыстом», розановская статья была призвана стать для ее автора чем-то вроде охранной грамоты на случай, если Гермоген попытается привести свои угрозы анафематствования в действие. Дело вскоре затихло, распутинская тема из писаний В. В. ушла, и вот несколько лет спустя в очерке «Сибирский странник», том самом, где Розанов рассказывал о своем знакомстве со священником Ярославом (Романом) Медведем и первом уходе из дома Александры Михайловны Бутягиной, автор вновь обращается к скандальной личности самого известного русского крестьянина. И тут мнение его о сущности Распутина заметно меняется. Можно было бы сказать, что Григорий Ефимович за это время в глазах Розанова вырос и чудесным образом преобразился, но изменился, скорее всего, не он. Изменился и преобразился – сам В. В. Розанов. А кроме того – влияние Распутина, его значение, слухи о нем – все это неизмеримо возросло, а неуклюжая борьба с ним в Государственной Думе и запрет употреблять его имя лишь прибавили «старцу» информационного веса. Невероятно чуткий к повестке дня, В. В. оказался, что называется, в тренде и повестку эту по сути взорвал.

«Однажды только, рано зашедши к священнику деловым образом, в будень, я встретил у него за сухим чаем (“без всего”) не то мещанина, не то крестьянина... Пока я болтал с священником и матушкой, он выпил свою “пару чая”, ничего не говоря, положил стакан боком на блюдечко (“благодарю”, “больше не хочу”) и, попрощавшись, вышел. Это и был “Странник”, – мужичонко, серее которого я не встречал.

От него “тяга”?!!

Влиявшая на непоколебимого и ученого архимандрита?!..

На эту изящную, светившуюся талантом женщину?!..

Какое-то “светопредставление”... Что-то, чего нельзя вообразить, допустить...

И что – *есть!!* Воочию!!

Совсем позднее мне пришлось выслушать два рассказа “третьих лиц”, и не увлеченных, и не вовлеченных:

– Разговор, – о каком-то вопросе церкви, о каком-то моменте в жизни текущей церкви, – был в квартире о. архимандрита: и мы все, я и другие присутствующие, были удивлены, что о. архимандрит, всегда такой определенный и резкий в суждениях, был на этот раз как будто чем-то связан... Разговор продолжался: как вдруг занавеска отодвинулась и из-за нее вышел этот Странник, резко перебивая всех нас:

– Пустое вы говорите, пустое и не то...

– И дальше – какое-то “свое решение”, нам не показавшееся ни замечательным, ни убедительным. Нужно было видеть, что произошло с о. архимандритом с момента, как вошел “Странник”, очевидно слушавший все из-за занавески, его – *не было*. “Нет о. архимандрита”. Он весь поблёл, принизился и исчез. Вошел в комнату дух, “духовная особа” такой значительности, около которой резкий и властительный о. архимандрит исчез и отказывался иметь какие-нибудь “свои мысли”, “свои мнения”, быть “своим лицом”, – и мог только повторять то, что “Он, сказал”...

Вспомнишь пифагорийское “Αὐτός εἶπεν”, “Сам изрек”, “Учитель сказал”».

Итак, не названный по имени по цензурным соображениям Распутин – отныне никакой не распутник, а учитель, вождь, пророк. Что же касается прочих упомянутых автором лиц, то изящная, светящаяся талантом женщина – это Ольга Владимировна Лохтина, которая сделала одной из самых верных последовательниц Распутина, после того как он излечил ее от невыносимых головных болей (о том, что одновременно с этим Г. Е. облегчал страдания цесаревича Алексея, ни Розанов, никто другой за исключением самого узкого круга лиц в России не знал, и может быть, зря...). Непокколебимый ученый архимандрит – епископ Феофан (Быстров), ректор Петербургской духовной академии, участник Религиозно-философских собраний, духовник Царской семьи, которого считали ответственным за возвышение Распутина, что было не совсем точно, и с которым, кстати, связано предание, будто бы Розанов принялся как-то раз излагать ему свои крамольные взгляды на монашество, тот в ответ молчал, молился про себя, а Розанов все говорил, говорил, потом остановился и произнес:

– А может быть, вы и правы.

Но это, скорей всего, красивая легенда, ибо В. В., монахов не любя, отзывался о Феофане весьма пренебрежительно.

Однако интереснее всего то, что следовало в очерке далее и касалось традиционной розановской темы:

«“Очаровательный Бейлис” и еще более – “Великий Шнеерсон”... У евреев, в их *течении хасидизма* (нет “секты хасидов”, а есть глубоко спиритуалистическое и мистическое *течение хасидизма* в еврействе) есть “цадики”. “Цадик” есть святой человек, творящий “чудеса”. Когда “цадик” кушает, например, рыбу в масле, то случится – на обширной бороде в волосах запутается крошка или кусочек масляной рыбы. Пренебрегая есть его, он берет своими пальцами (своими пальцами!!) этот кусочек или крошку масляной рыбы и передает какой-нибудь “благочестивой Ревекке”, стоящей за спиной его или где-нибудь сбоку... И та с неизъяснимой благодарностью и великим благоговением берет из его “пальчиков” крошку и проглатывает сама...

“Потому что из *Его* пальцев и с *Его* бороды”... и крошка уже “*свята*”.

Мы, собственно, имеем возникновение момента *святости*. Но этого мало, – начало момента, с которого *начинается религия*. “Религия – *святое место*”, “*святая область*”, “*святые слова*”, “*святые жесты*”... “Религия” – святой “*круг*”, круг “*святых вещей*”. До “*святого*” – нет религии, а есть только ее имя. *Суть “религии”, таинственное “электричество”, из коего она рождается и которое она манифестирует собою, и есть именно “святое”; и в “хасидах”, “цадиках”, в “Шнеерсоне” и “Пифагоре”, и вот в этом “петербургском чудодее”, мы собственно имеем “на ладонь положенное” начало религии и всех религий...*

Которое никак не можем *рассмотреть*.

“Ум мутится”, “ум бессилен”... “Ничего не понимаем”...

Странник, о коем я упомянул, утонул в море анекдотов о нем, которых чем более – тем гуще они заволакивают от нас существо дела... Одно, что можно *объективно* заметить в Сибирском Страннике, заметить “научно” и не проникая в корни дела, – это что он поворачивает все “благочестие Руси”, искони, но *безотчетно и недоказуемо* державшееся на корне аскетизма, “воздержания”, “не касания к женщине” и вообще *разобщения полов*, – к типу или вернее к музыке азиатской религиозной лирики и азиатской мудрости (Авраам, Исаак, Давид и его “псалмы”, Соломон и “песнь песней”, Магомет), – не только не разобщающей полы, но в высшей степени их соединяющей. Все “анекдоты”, сыплющиеся на голову Странника, до тех пор основательны, пока мы принимаем за что-то окончательное и универсальное “свою русскую точку зрения”, – точку

зрения “своего прежнего”; и становятся бессильны при воспоминании о “псалмах Давида”, сложенных среди сонма его окружавших жен. Думать, однако, что “действительный статский советник Спицын, женатый на одной жене”, как *религиозное лицо* стоит выше, нежели на какой высоте стояли Давид или Соломон, – нет возможности. Все эти “одноженные господа” суть именно “господа” и даже “гг.”, а не религиозные типы, не религиозные лица. Странник чрезвычайно отталкивает *европейский тип* религий, – и “анекдоты” возникли на почве великого удивления, как можно быть “религиозным лицом”, иметь посягательство на имя “святого человека”, при таких... “случайностях”. Но ведь, “взяв анекдот в руки” и вооружившись настроением анекдотиста, – это же самое можно бы рассказать о Магомете, о Соломоне, о Давиде, об Иакове и Аврааме, которые, однако, были *близки к Богу* и явили “знаки” своей близости. Вот эти-то “знаки” есть очевидно и у Странника: их читают те, кому это *открыто*. Это не “псалмы”, которые все могли бы *прочесть*. Таким образом, у него нет “знаков” *всеобщей убедительности*. У него есть какое-то *дело жизни*... Какое? “Исцелил” и “научил молитве” – вот все, что пока определено известно...

Но это “исцелился” – *личная* сторона дела. Но есть еще “история”... В *истории* Странник явно совершает переворот, показывая нам свою и азиатскую веру, где “все другое”... Потому-то его “нравы” перешагнули через край “нашего”. Говоря так, я выражаю *отрицательную* (“не европейская”) суть дела. В чем же лежит *положительное*? “Невем”. Серьезность вовлекаемых “в вихрь” лиц, увлекаемых “в трубу” – необыкновенна: “тяга” не оставляет ни малейшего сомнения в том, что мы не стоим перед явлением “маленьким и смешным”, что перед глазами России происходит не “анекдот”, а *история* страшной серьезности.

Я не назвал по имени Странника, его имя на устах всей России. Чем кончится его история – неисповедимо. Но она уже не коротка теперь, и будет еще очень длинна. Но только никто не должен на него смотреть, как на “случай”, “анекдот”, как на “не разоблаченного обманщика”. *Кто его знает* – перед теми все “разоблачено”: и, однако, “тяга”, “труба” – остается».

Странные есть мужики

Книга «Апокалипсическая секта», где был опубликован сей чудный очерк, вышла с интервалом в несколько даже не недель, а дней с «Обонятельным и осязательным отношением евреев к крови», в феврале 1914 года, и очередной двоящийся, троящийся, колеблющийся взгляд Розанова на один и тот же предмет, включая «очаровательного» Бейлиса и «великого» Шнеерсона, говорит сам за себя. Но главное здесь, конечно, – это неожиданное и при этом невероятно образное, точное и возвышающее розановское сравнение русского крестьянина с еврейским цадиком, то есть с человеком, кого иудейская молва наделяла сверхъестественными способностями и обожествляла. По идее для В. В. образца девятьсот тринадцатого года подобная ассоциация могла быть только уничижительной и никакой другой – кровь, маца, евреи-пауки, ритуальное убийство и пр. – но нет же! Ни одного дурного слова, никакой демонизации. Впечатление такое, что две эти книги написаны если не разными авторами, то разными руками одного и того же человека. В сущности, тут повторялась история с «Новым временем» и «Русским словом» с тем лишь отличием, что на обеих обложках значилась одна фамилия.

Но поражает не только это. В. В. написал своего «Сибирского странника» еще до того, как Григорий Ефимович поселился в квартире на Гороховой улице, где его поклонницы выпрашивали как «святыню» его грязное белье, а сам «старец» развлекался тем, что давал им облизывать свои пальцы, которые перед этим запускал в банку с вареньем^[93]. Розанов в каком-то смысле *предугадал и напороочил* распутинский культ, расцветший уже в последние годы жизни человека, которого нелегкая привела, на беду России, в ее гордую столицу, о чем так образно напишет позднее Николай Гумилев в стихотворении «Мужик»^[94], а розановская корреспондентка Марина Ивановна Цветаева сделает блестящий разбор этого стиха^[95].

Однако в контексте частной истории розановской семьи весьма интересен также краткий фрагмент воспоминаний Надежды Васильевны Розановой, где рассказывается о том, что Александра Михайловна Бутягина одно время была вынуждена жить у Тернавцевых, «так как по просьбе отца они спасали ее от Распутина, стремящегося привлечь Алю к себе».

Было это или не было, но само предположение о том, что Василий Васильевич и Григорий Ефимович в таком случае едва не схлестнулись из-

за девушки, на которой воистину сошелся клином белый свет, в очередной раз превращает розановскую биографию в остросюжетный семейный роман. Собственно, автор данного повествования и предложил свою версию произошедшего в уже упоминавшемся «Мысленном волке», но интересно, что и В. Г. Сукач во вступительной статье к книге Розанова «О себе и жизни своей» сделал весьма проницательное замечание или, лучше сказать, примечание: «Сам Розанов несомненно обладал природой “мага”». Есть глухие намеки, что Распутин преследовал падчерицу Розанова А. М. Бутягину. Личное знакомство Розанова с Распутиным также мало освещено. Но несколько фраз в письме (6 октября 1918 года) показывают, что Распутин боялся Розанова».

С последним утверждением согласиться сложно, ибо Распутин о Розанове, скорей всего, попросту ничего не знал и в отличие от своего «апологета» думать о нем не думал, а упомянутое письмо Голлербаху, написанное последней осенью в жизни В. В., содержит слишком много допущений и фантазий^[96], но вот мысль о «магической природе» двух великих современников, о высокой степени их влияния на окружающих и умении подчинять себе других есть не что иное, как попадание в самое яблочко. И если в случае с Распутиным эта «гипнотизерская сущность» всеми давно признана и донельзя мифологизирована, то некогда заочно угаданный доктором Россолимо розановский «магизм» именно на фоне Распутина становится более очевидным. Василий Васильевич и Григорий Ефимович были и в этом смысле – одного поля ягоды. Два невероятно сильных, очень заряженных, опасных для окружающих человека, чьи действия так часто не совпадали с их намерениями и приводили к прямо противоположным результатам, а те несчастные души, кто к ним вплотную приближались, зачастую становились жертвами этого магнетизма. О как угадала Ахматова, сводя их вместе!

Что же касается личного знакомства двух «колдунов», то известно о нем действительно немного. Уже после убийства Распутина Розанов писал П. П. Перцову: «...я безумно жалею, что не свел с ним (для любопытства) дружбы, дабы увидеть воочию древние таинства». О двух встречах Розанова и Распутина в 1915 году можно прочесть в мемуарном рассказе Надежды Тэффи, но здесь надо обязательно сделать скидку на подчеркнuto беллетристический характер ее текста, написанного уже в эмиграции и окрашенного в привычный для популярной писательницы иронический тон по отношению ко всем действующим лицам.

Подробно описав обед, на который были званы настырный, грубый, бесцеремонный в изображении Тэффи Распутин и несколько петербургских

литераторов, включая «суетливого» Розанова, автор вспоминала:

«Я повернулась к Розанову.

– Ради Бога, – сказал тот, – наведите разговор на радения. Попробуйте еще раз.

Но у меня совсем пропал интерес к разговору с Распутиным. Мне казалось, что он пьян. Хозяин все время подходил и подливал ему вина, приговаривая:

– Это твое, Гриша, твое любимое.

Распутин пил, мотал головой, дергался и бормотал что-то.

– Мне очень трудно сейчас говорить с ним, – сказала я Розанову. – Попробуйте теперь вы сами. Вообще, можем же мы вести общий разговор!

– Не удастся. Тема очень интимная, тайная. А к вам у него уже есть доверие...

– Чего он там все шепчется? – прервал нас Распутин. – Чего он шепчется, этот, что в “Новом времени” пишет?

Вот тебе раз! Вот вам и инкогнито.

– Почему вы думаете, что он пишет? Это кто-нибудь спутал... Вам еще скажут, что и я пишу.

– Говорили, будто ты из “Русского слова”, – спокойно отвечал он. – Да мне-то все равно.

– Кто же это сказал?

– А я и не помню, – подчеркнуто повторил он мой ответ на свой вопрос, кто, мол, рассказывал мне о радениях.

Запомнил, значит, что я ответить не захотела, и теперь отплачивает мне тем же: “А я и не помню!”

Кто же нас выдал? Ведь была обещана полная конспирация. Это было очень странно...

Подошел Розанов и, делая вид, что просто проходит мимо, насторожил ухо. Я засмеялась и, показывая на него, сказала Распутину:

– Да вот он меня не пускает.

– Не слушай его, желтого, приходи. А его с собой не води, он нам не нужен».

Мемуар ужасно смешной и нелепый, включая осведомленность Распутина о «Новом времени» и «Русском слове» и очевидную авторскую пренебрежительность, даже брезгливость и к В. В., и к Г. Е., так что даже знаменитое, опять же ахматовское «прямая речь в мемуарах – уголовно наказуема» здесь неприменимо ввиду явно недокументального характера текста. Однако если попытаться суммировать именно розановское отношение к человеку, оставившему у большинства его современников

столь нехорошую о себе память, то Распутин для Розанова есть явление не просто не случайное и *не анекдотическое*, но явление – великое, глубокое, знаменательное, историческое, стоящее в одном ряду с царем Давидом и царем Соломоном, и при всем при этом – очень русское. Да и вся Русь, по Розанову, получается благодаря Распутину не европейской, но азиатской страной.

«Гришка есть величайший феномен религиозной истории, куда важнее лютеранских мелочей... он был вовсе не мнимый, вовсе не воображаемый... а – подлинный, с верою в него как в бога... и имевший “точь-в-точь успехи”, как в Египте... – писал он Перцову. – Очевидно, он и был “форменно” богом в царской семье. Но тайна нескончаемая заключается в том, как он мог выучить, или, вернее, как мог передать или внушить музыку бесконечной нежности к себе, деликатности, молитвенности. Как он мог стать иконою. А он стал...»

О том, насколько все это имело отношение к реальному Г. Е. Распутину-Новому, а не было блестящей розановской фантазией, можно долго спорить, но в сконструированном им «сибирском страннике Грише» В. В. подчеркнуто соединил русское и еврейское, современное и ветхозаветное, и интуиция его в который раз не подвела. Ведь если учесть, что и сам Григорий Ефимович Распутин пришел в Северную столицу настроенным по отношению к евреям весьма враждебно (сохранилась его записка про «жидов и леворюционеров»), а затем свое мнение о них переменял и со временем сделался близок к еврейским финансовым кругам, то нечто розановское, хотя и гораздо более последовательное, в этом изменении увидеть можно. Сам В. В. ничего о «еврейском следе» в распутинской судьбе знать не мог, но удивительным образом в самый пик своей личной юдофобии сделал мужика из Тобольской губернии художественным воплощением и символом примирения и даже парадоксального единения двух народов, говорящим враждующим сторонам нечто вроде:

– Пойдем, Розанов!

– Пойдемте, евреи!

Позднее в «Мимолетном», уже прямо называя героя по имени, В. В. и вовсе пропел Распутину величание, противопоставив его ни больше ни меньше, как бывшему премьер-министру С. Ю. Витте:

«В сущности, Русь разделяется и заключает внутренне в себе борьбу между:

– Витте.

– И старцем Гришею, полным художества, интереса и мудрости, но

безграмотным.

Витте совсем тупой человек, но гениально и бурно делает. Не может не делать. Нельзя остановить. Спит и видит во сне дела.

Гриша гениален и живописен. Но воловодится с девицами и чужими женами, ничего “совершить” не хочет и не может, полон “памятью о божественном”, понимает – зорьки, понимает – пляс, понимает красоту мира – сам красив.

Но гений Витте недостает ему и до колена. “Гриша – вся Русь”. Да: но Витте

- 1) устроил казенные кабаки;
- 2) ввел золотые деньги;
- 3) завел торговые школы.

Этого совершенно не может сделать Гриша!!!! Гриша вообще ничего не может делать, кроме как любить, молиться и семь раз на день сходить в “кабинет уединения”.

Вся Русь».

И при этом Распутин для Розанова – это все равно не какое-то сонное либо темное царство, не обломовщина, не Иван-дурак, нет. Он – духовный контрреволюционер, реформатор, призванный развернуть Русь от Запада к Востоку, от Европы к Азии, от будущего к прошлому и привнести в традиционное «европейское», византийское, аскетически моногамное, бесполое православие недостающий ему ветхозаветный полигамный древний дух – то есть фактически В. В. зачисляет сибирского старца в свои не то союзники, не то пророки и проводники собственных радикальных реакционных идей, где религиозное сцеплено с физиологическим так, что не растащить никакой аскезой.

«Все “с молитвою” – ходили по рельсам.

Вдруг Гриша пошел без рельсов.

Все испугались...

Не того, что “без рельсов”. Таких много. Но зачем “с молитвою”.

– “Кошунство! Злодеяние!”

Я его видел. Ох, глаз много значит. Он есть “сам” и “я”.

Вдруг из “самого” и “я” полилась молитва. Все вздрогнули. “Позвольте, уж тысячу лет только *повторяют*”.

И все – “по-печатному”. У него – из физиологии».

И в то же время – и в этом весь Розанов! – Распутин у него глубже иных понимает сущность христианской традиции и святоотеческого учения. Вот рассуждения розановского Распутина о Льве Толстом и его конфликте с Русской Церковью.

«— Толстой глуп (он сказал более мягкое слово, которое я забыл). Он говорил против Синода, против духовенства – и прав. П. ч. выше, сильнее и чище их. Но ведь он не против них говорил, *а против слов, которые у них* (у духовенства). А слова эти от Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. И тут *он* сам и его *сочинения* маленькие.

Так просто.

Этого *анализа*, этого *отделения* никто не сумел сделать во время сложной и многолетней полемики и “за” и “против”, и за Толстого и против него, и за Церковь и против нее. Тараторили.

Сибирский крестьянин сказал *мысль*. Которая разрешает все.

Он несколько раз ее повторил (говорили вокруг и много). Только ее. Ее одну:

– Но ведь он задумал-то бороться не *с теперешними*, а *с Церковью*: а у Церкви – И. Златоуст, Василий и Григорий».

Заметим, что сей ход распутинской мысли есть не что иное, как перифраз розановских суждений в «Опавших листьях», когда В. В. пытался объяснить, почему современные «мелкие» иерархи не могут ничего изменить в вопросе брака и развода, а вот прежние, «крупные» – апостол Павел, например, смогли бы. Так Розанов отдает Распутину свою методологию, сближает, отождествляет себя с ним (в том числе это касается и оценки Льва Толстого, несомненно, очень розановской), и в этом смысле позиция В. В. кардинально расходилась с теми из его современников, кто высказывался о «Гришке» публично или в частной переписке негативно либо настороженно. Словно в пику всем им – Мережковскому, Гиппиус, Блоку, Белому, Булгакову, Бердяеву, Гумилеву, Пришвину, а также Меньшикову, Тихомирову, Шульгину и особенно Новоселову, издавшему в 1912 году книгу «Григорий Распутин и мистическое распутство», тотчас же запрещенную, но успевшую вызвать волнение в Государственной Думе и возмущение у государя, – Розанов, некогда начав с хлыста и развратника, в своем осмыслении феномена Сибирского странника поднимает его (а заодно и себя вместе с ним) на высоту поднебесную.

«Григория Расп. 2 раза видел – в “богеме”, – писал он Флоренскому. – Удивительное впечатление, и “все ясно”. Никакого хлыста, полная – темнота, но вполне гениальный мужик и, конечно, при Дворе интереснее с ним, чем с вылощенным камергером. Он мне во всех отношениях понравился. Новоселов плел о нем такую галиматью, что стыдно сказать. О женщинах он сказал: “Сам я их не искал и ничего у них не просил, но когда они меня любили, ждали, искали – и я любил и жил”.

“В этом для меня та граница, чтобы не было кому обиды”. “В чем есть зернышко (любви, похоти) – и уж оно вырастет: но смотри, чтобы не было от этого несчастья другому”. – “Боли” (я) – “Во-во, боли чтобы никому не было”. Он плясал “русскую” (не “присядку” – изумительно красиво, художественно, с чужою женою, и Измайлов мне сказал – “В эту ночь она ему отдастся”). Я с нею заговорил, “чем Распутин привлекателен” (ей лет 26, скромная, тихая, молчаливая, красивая, брюнетка). Она: “Знаете, есть мало мужчин, которые понимают наш особый женский мир. И в обществе самом утонченном мы бываем постоянно незаметно оскорбляемы. Григорий же – мужик: но его отношение к женщине проникнуто таким пониманием, деликатностью, что он сразу делается ближе всякого глупого молодого франта. Мужчины – грубы: он постоянно нежен, и душевною тайною нежностью, но которую женщина сразу видит”».

И как показали дальнейшие события в жизни Розанова, этой так ценимой женщинами нежностью и деликатностью он тоже был на своего таинственного героя очень похож, оказавшись в сей поэтической области не только крупным теоретиком, но и немножко практиком.

Под сенью девушек

«Случилась ужасная вещь. Я вообще (за всю жизнь) не знал “влюбчивых историй”. Я вообще – не влюбляющийся “с издетства”, и всегда больше любил любовь третьих лиц, а не “герой” и “лицо”, не “сам люблю и любим”. Ну хорошо. И случилось на 59-м году (перед “смертью”???), что *незаметно и неуловимо* (это всегда “мало-по-малу”), что в силу 2-х личных обещаний и одной переписки ко мне сперва привязались, потом “больше привязались”, потом “не могу без вас”, 4 девушки, 40, 30, 24 и 19 лет».

Так писал Розанов отцу Павлу Флоренскому в августе 1915 года, не столько каясь, сколько привычно делясь домашними новостями. А дальше следовало краткое описание взаимоотношений с каждой из этих прекрасных дам, трогательное, ироническое, с обычными розановскими подробностями: «2 из них, 40 и 19 лет, прямо захотели от меня “ребенка”... Ну что мне было сказать? Они меня нежили. Я их нежил. С 4-мя “на ты”. Обнимал и целовал – да. Грудь – да. “Кое-что”».

Вообще тот факт, что в жизни стареющего философа пола появилась не одна, а сразу четыре (иногда их число в его эпистолах сокращалось до трех, а иногда увеличивалось до пяти) женщины, на которых не то он, не то они на него заявляли права, выглядит несколько комичным и представляет нашего персонажа в его почтенных летах чуть ли не ловеласом, Дон-Жуаном, от чего он сам, впрочем, отнекивался («Я говорю – “не могу” (честно), да отчасти и “не хочу” и “нельзя” наконец. Но они все 4 чудесной души люди, деликатной, нежной, “не от века сего пустого и т. д.”») и кем никогда и не был: «Но клянусь: только был восхищен их душой, нежной, прелестной, “не от века сего”».

На сей счет существует известная поговорка про седину, голову, беса и ребро, а кроме того, Варвара Дмитриевна была в течение многих лет больна, и пусть Розанов и писал когда-то митрополиту Антонию, что половая жизнь никогда не была в нем горяча, мужчина все равно остается мужчиной. Однако дело, скорее всего, заключалось в причинах не только и даже не столько физиологических. Можно предположить, что объявленный вне закона либералами, брошенный многими своими друзьями, вырванный из привычного круга, поссорившийся по идейным причинам с собственными детьми, глубоко разочарованный, не привыкший к одиночеству В. В. испытывал нужду в новых учениках, в ученицах, в

молодых голосах и лицах, в поклонении, уважении и на старости лет вновь захотел стать гимназическим учителем, наставником, ментором. И ученики и ученицы у него нашлись, а причиной внимания к своей персоне писатель был обязан как раз «Уединенному» и «Опавшим листьям», которые сделались невероятно популярны у читателей и особенно читательниц.

«Розанов – опасный соперник, – писал художник А. И. Доливо-Добровольский. – Он чародей, влюбляющий в себя врагов. Над его книгами были пролиты слезы. Когда он умрет, русские женщины поставят ему памятник. Он поэт; он читал звездное небо и слушал морскую волну. Незыблемая прелесть его недомолвок будет еще долго трогать сердца».

«Невозможно прочесть “Уединенное” – и спрятать в шкаф. Я потрясена этой Вашей книгой... Я чувствую в 19 лет так же глубоко, как Вы чувствуете в 60. Вот весь смысл моего письма», – признавалась ему, как в любви, одна из самых юных его поклонниц, а он ей отвечал: «Спасибо, милая и добрая Настя, за письмо, которое не могло не взволновать меня как человека, как писателя. Я решил “загасить свечку” литературы и поговорить в “темноте ночи” просто как человек. И ты, милая и умная, 19-ти лет все поняла. Спасибо тебе, родная, и дай Бог тебе счастья. Не будь капризушкой и “гордецой” и выслушай простую истину 60-летнего: счастье девушки – все в замужестве».

Так поучал «хитрый змий» Розанов юную Анастасию Ивановну Трухачеву, урожденную Цветаеву, которая к тому моменту успела не только замуж выйти, но и сына родить, и с мужем развестись, и которая с Розановым подружилась, переписывалась, стала его кумой (В. В. «заочно» крестил ее сына Алешу), несколько раз встречалась и впоследствии описала их разговоры и свидания в известной книге своих воспоминаний. И в частности, самую первую встречу:

«Молниеносное, вне воли – глаза в душу – наблюдение: выше, чем думалось, среднего роста, ждала меньше, суше. Лоб – вроде папиного. Голова полуголая, как у папы. Те же узенькие золотые очки на старых глазах... Но глаза?! Нет, глаза совсем не похожи. Слаще, но вместо папиного спокойного, почти радостного благожелательства – и у папы шире глядят – уже, острее и хитрее, что ли?? И в этой неизбежной ему “хитрости” – тоска, и уже побарывают смущение, и уже источают ласку – какие путанные, какие исстрадавшиеся глаза!

Из-за них не сразу услышала голос. Из-за них не сразу нашла свой. Задыхнулась как-то, будто охрипла вдруг. Кажется, о порог споткнулась? И враждебный свет, яркий, из чьей-то стереотипной столовой, которая оказалась – его. Щурюсь (неприлично, к глазам лорнет не поднимаю) и от

этого вижу еще смутнее, чем чувствую. Нескончаемый переполох во мне. Но и не только во мне – в доме! Звуки шагов? Поспешное двиганье стульев? Ото всюду – люди. Девушки. Мальчик-подросток, головастый, на отца похожий. Но, раздвинув (детей? стулья?) впереди, – женщина. Пожилая, большая, добрая, настороженная, ласковая хозяйка. Мать детей и жена! Не понимающая. Читала ли мои письма? Чем встревожена? Какое глупое положение! И в сердцах на себя, внезапная трезвость... Подымаю глаза “воспитанные”. С улыбкой – руку. Великолепно обузданный голос (совсем как Марина! О, ее нет сейчас!):

– Цветаева...

Фамилия ли? Интонация? В нужный миг нужное движение к рукопожатию? Все стало в порядок: вмиг, как в театре, – вверх занавес!

Каждый актер – свое место. Нужные слова, и покой у стола, сразу ставшего столовым, и уже золото чая в светлом фарфоре – в моей руке. Не расплескать бы на блюде, ставя хрупкое сооружение на скатерть. Не потерять бы тон речи... (О, как, как ненавижу мещанство “семейного счастья”, как хочется прочь, с ним, из дома, в туман...)»

Анастасия Ивановна стала для Василия Васильевича, по ее собственному выражению, «весной в его старости», и как уже говорилось, была не единственной, кто возвращал Розанову молодость или Розанова в молодость. По мнению известного розановеда А. Н. Николюкина, другой прекрасной дамой, чьи письма утешали нашего героя на склоне лет, была слушательница Высших женских курсов Варвара Ивановна Стукачева, еще одной – учительница музыки в гимназии Стоюниной, где учились дочери Розанова, Вера Ивановна Рашевская. Еще одной – домработница Домна Васильевна Алешинцева, однако самой яркой оказалась девятнадцатилетняя московская курсистка Вера Александровна Мордвинова, которой впоследствии Юрий Иваск посвятил статью с характерным названием «Розановоравная Вера». «И вся переписка: общение двух душ (у которых гётевское избранное сродство). Душ очень земных, с земными интересами, с жалостью к земле, иногда и с земной радостью, но это именно души. С таким душевным строем нечего делать на земле – пусть и любимой».

Сама считающая себя некрасивой («...маленькая. Уродец (хромает). Все – лежит и думает»), она тронула Розанова поразительной смесью взрослого и детского, девичьего и женского, тронула той «розановщиной», которую он в ней сразу узнал, и потянулся к родственной душе, и познакомил девушку со своими друзьями. В частности, с С. Н. Булгаковым, который тоже был ею восхищен: «Ведь вот где-то в предместье, рядом с

“Степанычем” в какой-то конуре лежит целыми днями на диване 18-летняя курсистка родом из Ковно и – прямо из Достоевского, живьем. И в довершение всего – “хромоножка”, – я даже был поражен этой деталью общего ее сходства с Хромоножкой и другими вещами женщинами у Д-го. Хромота есть признак побежденного или не побежденного богоборства: Иаков, ночью боровшийся с Богом – впрочем, по Каббале это была, кажется, Шехина, но это здесь не важно, – хром был Байрон. Я, конечно, про чин говорю, а не про степень. Очень она даровита и, главное, очень самобытна, имеет свою стихию, к которой можно прислушаться, спросить и получить ответ».

Об отношениях Розанова и Мордвиновой очень хорошо написал современный философ В. А. Возчиков: «Юная курсистка чувствует себя с маститым литератором и философом свободно, вполне “по-взрослому”, справедливо даже сказать – на равных, подтверждением чему – те условия (не в “договорном”, конечно, смысле; речь, скорее, о пожеланиях, однако вполне конкретных), которые позволяет себе выдвигать девятнадцатилетняя девушка, мало того, что знаменитому ученому, но просто пожилому человеку, более чем в три раза ее старше. Дело даже не в содержании требований (характер Мордвиновой вовсе не “авторитарен”, просто ее волнует предстоящая встреча с выдающейся личностью!) – в самом факте их!.. Так, размышляя о будущем диалоге, Вера предусмотрительно оговаривает: “Еще сделаем условие: когда увидимся – ни слова об ‘умностях’ и разной философской галиматье. Для этого есть письма. А то вы затронете какой-нибудь интересный вопрос, и я забуду вас и начну философствовать: это уж от рук вон. Если это даже и случится, то вы не церемоньтесь: остановите резко”. В той же подборке писем читаем: “Но даю вам вперед совет перестать молиться на меня, перестать преклоняться. Этим, и только этим Вы меня расхолодите”. Полагаю, Розанов был не только восхищен своей неожиданной собеседницей-корреспонденткой, но и ошеломлен так внезапно нахлынувшей на него лавиной писем, содержание которых радовало свежестью чувства и открытостью богатого внутреннего мира. Судя по некоторым замечаниям Мордвиновой, Василий Васильевич даже попытался внести в столь неординарную переписку традиционно “уместную” стилистику, однако Вера Александровна не приняла ее. В частности, в одном из писем философ обратился к Вере как к “девочке”, конечно же, имея в виду юный возраст ее, на что Мордвинова высказалась определенно и обезоруживающе искренне: “Нет, Вас. Вас., девочкой я не буду. Я никогда девочкой не была. Знаете, мне врезался в память один разговор с мамой:

мне было лет 10–11, я как-то обронила: ‘я женщина’, а у мамы бессознательно вырвалось – ‘ты женщина??!’ – в этом бессознательно инстинктивном возгласе было и презрение (оно было) и насмешка. ‘Этакий карапуз и женщиной себя воображает’. И я 10-ти лет это почувствовала, но ни минуты не задумывалась над ‘девочкой’. <...> Я все делаю сознательно и это давно не порыв... И вы, и я, – мы каждый представляем из себя замкнутый круг: т. е. что-то, что нуждается только в себе, и не ищет в другом и ни в ком дополнения. О том, о чем мы говорили, – мы еще скажем настоящее безумное слово миру”».

А. Н. Николукин полагает, что эти отношения носили характер не только платонический и эпистолярный, и «для встречи с Мордвиновой Розанов специально отправился в Москву 7 декабря 1914 г. и пробыл там четыре дня. Там произошла их близость, после чего Мордвинова подписала свое письмо “Ваша любящая Вас В. Мордвинова”. Розанов описал это в одном из последних писем к Э. Голлербаху в октябре 1918 г.».

Фрагмент из письма Розанова, на который ссылается исследователь, любознательный читатель может найти в данном примечании^[97], однако считать ли это эпистолярное воспоминание фактом, а не эротической фантазией В. В. в голодном революционном году, – большой вопрос. Важнее другое – Вера Александровна Мордвинова, прожившая в эмиграции очень долгую и связанную с литературой жизнь, впоследствии Розанова вспоминать не хотела, писать о нем отказалась, а все его письма к себе уничтожила.

Все смешалось

Свои новые привязанности В. В. от жены скрывал, но вечное правило – нет ничего тайного, что не стало бы явным, – подействовало и здесь. В «Розановской энциклопедии» приводится письмо преподавателя кафедры систематической философии и логики Московской духовной академии Ф. К. Андреева Павлу Флоренскому, датированное 9 января 1916 года: «У Розанова был. Настроение дома ихнего – подавленное... В. Д. убита фразой из какого-то московского письма: “Васенька, приезжай, зацелую до смерти” (или что-то в этом роде). Но главная беда, конечно, в том, что, вообразив измену, она собрала вокруг себя детей, не разбирая пола и возраста, и объявила им: “Полубуйтесь, какой у вас папа!”... Вид у В. В. пришибленный донельзя».

Розанов и сам писал отцу Павлу: «И вдруг – все маме открылось. И детям. Ад. Тоска. Хуже и хуже... Так как мамочка (болезнь?) имела необдуманность и свою Саньку (Бутягина), а главное – наших детей, посвятить во все, читала уворованные у меня их письма ко мне, и вообще черт знает, что делала, чего ни одна жена в мире не делает... “Ты, папа, предатель мамы”. Мама: “Я умру под забором”. Это меня взбесило: я за тобой 20 лет ухаживал, один из семьи был непрерывно с тобой, и ты клеветешь, что я тебя оставляю».

И в другом письме: «И нельзя скрыть от себя, что мотивом гнева (ярости) Варв. Дим. было не боль, не что я ухожу, а что *появились соперницы*, сама мысль о которых нелепа, ибо никто и ни одна соперницею ей не выступал, никто из них не допустил бы, чтобы я охладел к семье... все поставили первым условием: никакого вреда Варв. Дим., никакой боли, страдания».

Психологически это был момент ключевой. В. В. действительно считал вправе вести себя так, как он пожелает, именно по той причине, что слишком много для семьи уже сделал и был обречен делать впредь. «Не будь моего ухода, Варя давно лежала бы в могиле, но я “строчил бесчисленные статьи” для леченья (деньги – леченья) и безотвязно жил при ней. И – УСТАЛ. Поистине устал. Болезнь, болезнь, болезнь, труд, писанье, газеты, сотрудники. Ничего кроме ТРУДА + УХОДА за больной», – писал он Флоренскому.

Семья же в лице жены и взрослых дочерей, принявших сторону матери, считала иначе, и конфликт был неизбежен. Мудрый отец Павел,

к нему его петербургский друг по обыкновению все рассказывал и кому послал несколько писем Мордвиновой, а тот их высоко оценил, но намеренно или нет потерял, тоже все понимал и отвечал, как и положено священнику, в духе высокой христианской педагогики:

«Прошу об одном Вас, дорогой Василий Васильевич, не допускайте “окамененное нечувствие” и озлобление в свое сердце. Когда виноват, то очень хочется озлобиться на того, пред кем виноват, чтобы предупредить обвинение себя встречным обвинением. И это – самое ужасное последствие греха, – что он влечет за собою множество других, непредвиденных и жестоких, и вовлекает таким образом в порочный круг, в котором все сильнее запутываешься... Мне хочется, чтобы дорогой Вас. Вас. обнаруживал на конце дней своих то наивысшее, чем обладает, и чтобы оно не заволакивалось дымом и грязью, против которых он всю жизнь, в существе дела, боролся».

Позиция отца Павла была выражена донельзя ясно: самое важное в этой ситуации – сохранить семью и не загубить под конец дело всей жизни. Но Розанов гнул свою линию:

«Ах, эта история с 3-мя любвями. Сломал я голову, о ней думая. Вы взяли это легко, предложив: “приключения”, “удовольствия Р-ва”. Какое тут удовольствие, какая радость. Мука, горечь, дым, гарь... Я знаю, вы монотеист (“гарем”=“терем”): но есть какая-то совсем другая психология, вот “Васеньки Розанова”...»

И вот тут его корреспондент был по-настоящему задет за живое: «Вы не поняли, что Вы возразили против всей своей деятельности, как мыслителя и писателя, сильнее, чем возразили бы 20 000 канонистов, что Вы *свели на нет* дело всей своей жизни. Для меня теперь все Ваши вопли о разводе, все Ваши прекрасные страницы о браке не из под кнута, слова о браке как о начале культуры – все это, м. б., и верное само себе, стало литературной трухой, о которой я всерьез не посмел бы заговорить теперь... Если даже жалость к жене, которую по Вашим словам все оскорбляли, если даже желание показать *urbi et orbi*, что можно без кнута, не удержали Вас от оскорблений высших, какие можно было нанести Варваре Дмитриевне, то, значит, все, что писали Вы о браке, – должно быть уничтожено и забыто. Не думайте, что я виню Вас (хотя знаю, что последнее было бы куда лучше для Вас). Я говорю лишь: “Все мы таковы же: а чтобы этого не было, нужна палка”. И больше ничего. Но это “ничего” мне более грустно, чем если бы Вы уже умерли».

Позднее, извиняясь за суровый похоронный тон, Флоренский прибавлял: «Должен сознаться: Ваши грехи почему-то очень тоскливо

переживались мною и как-то утомили, что ли, или обессилили. Если хотите, они сделали именно то, против чего Вы боретесь: утвердили меня в началах суровости в духе Леонтьева... Тут не в грехах дело, и не вообще, а именно в Ваших и притом *этих*, идущих вразрез с делом Вашей жизни. Такое у меня чувство, словно Вы оплевали все то, что защищали от нападок и оскорблений всю жизнь».

По идее, получив столь решительный отпор – лучше б Вы, Вас. Вас., померли и не портили свою биографию – от своего пусть не духовника в строгом смысле этого слова, но все же от человека, крайне авторитетного, уважаемого, В. В. должен был бы как-то одуматься, раскаяться, повиниться, измениться, но это все было не про него. Он по-прежнему считал себя не виноватым, а правым. Со всех точек зрения.

И с общей, метафизической, потому что именно таким был задуман, создан и выпущен в этот мир: «я – расплывчатый, “вата”, “все лезет”, “говно”, но параллельно же растягиваюсь на весь мир и “везде меня хватает”, и на Варю (мою и до известной степени “единственную”, solo) и на Валю, и проч... Я множественен, стадообразен, самая душа у меня стадообразна...»

И с конкретной, личной: «Знаете ли страшную историю: что “те истории” возникли отчасти на этой почве: я до того переутомился вечной тревогой души, вечным опасением (я ужасно страстлив, вечно “боюсь”), вечной грустью, болью – что “кинулся в холодную воду, чтобы освежиться”... И – УСТАЛ. Поистине устал. Болезнь, болезнь, болезнь, труд, писанье, газеты, сотрудники. Ничего кроме ТРУДА + УХОДА за больной. Знаю – мораль. И для морали – должен быть добродетельным. Но это – БОГ, БОЖЬЕ СОВЕРШЕНСТВО. И старые мои “опыты” с prostitute на этом же основаны: “вышел, бросил шапку оземь, напился и заснул”. Без всякого рассуждения, логика и психология. Есть “логика усталости” совершенно вне всякой морали. ХОЧУ УСНУТЬ. Закон сна – тоже без морали».

И чуть дальше, призывая простить его, писал: «Но в жизни бывают “экивоки”. “Никто, как Христос, без греха”. Что эти “экивоки” – только и объясняешь их грехопадение. Нет дерева без червя, нет камня без пятнышка, и даже на фабрике телескопы изготавливаются с “пузырьком сбоку”. Мамочка моя дорогая в старости имела любовником семинариста, все “наши” (братья и сестра) ругательски ругали ее за это (сами весьма и весьма “путаясь”), Господь же меня наставил ее не осудить (и в детстве), и я вот благодаря этому дожил из всех один до 60 лет».

Сравнение двух жизненных ситуаций – детской костромской и

нынешней, – возникшее в письме Флоренскому ассоциативно, с целью самооправдания, желания противопоставить себя безжалостным братьям и сестрам из своего страшного детства и вызвать сочувствие и жалость теперь, – оказалось на самом деле и очень точным, и очень глубоким. В сущности, та мерзость запустения, из которой Розанов вышел ребенком в Костроме и от которой, казалось, навсегда ушел, настигла его полвека спустя на берегах Невы, и хотя разница между двумя периодами его жизни была немаленькой, в главном – в отсутствии мира, дружбы, любви в его доме – все становилось до боли похоже, о чем еще раньше он написал в «Опавших листьях»: «То, чему я никогда бы не поверил и чему поверить невозможно, – есть в действительности: что все наши ошибки, грехи, злые мысли, злые отношения, с самого притом детства, в юности и проч., имеют себе соответствием пожилom возрасте и особенно в старости. Что жизнь, таким образом (наша биография), есть организм, а вовсе не “отдельные поступки”. Жизнь (биография) органична: кто бы мог этому поверить?! Мы всегда считаем, что она “цепь отдельных поступков”, которую я “поверну куда хочу” (т. е. что такова жизнь)».

И, пожалуй, самое точное подтверждение этой мысли, самое неудавшееся розановское «поверну куда хочу» и есть тот факт, что домостроителя, воспитателя из автора «Семейного вопроса в России» и апологета семейных ценностей не получилось, а малый храм его оказался поруган.

«У меня “таланта к детям” определенно теперь нет... – признавал Розанов с горечью. – У мамы великий талант “к мужу”, но таланта к детям тоже нет: она не находит, о чем с ними говорить. Она о них заботится, но это – другое: нужно входить в душу, связываться с душой».

И как итог:

«Заметьте, что от дочек (кроме их детства) я, кроме грубостей, мало что слышал... – Папа! Что ты так оступепел, ничего не слышишь, что тебе дочка говорит?... Подленький... Идиот», – приводил Розанов в письме отцу Павлу слова своей старшей дочери, самой близкой ему Татьяны. А другому своему корреспонденту, Э. Голлербаху, позднее жаловался: «Дети говорят невероятные дерзости: и раза два я дал по морде – сыну даже раз 10, и раза 2 Тане. Ужасно. “Ужас русской семьи”».

Все это не могло укрыться и от его современников. «Розанов строил свое ветхозаветное счастье на семье – семья его шумно распалась еще при жизни отца. Все его учение – импровизационная чепуха...» – писал в своих «Заметках» Борис Садовской.

В. В. полагал, что причиной тому было отсутствие в семье от первых

дней patria potestas, то есть отцовской власти. «... мы детям (я особенно) были братья, сестры (мама), и они выросши, “ходят нам по головам”, не замечая, что это родители».

Голлербах в своей книге о Розанове указывал на другую причину: «Его тяготение к половой проблеме, по-видимому, не встречало сочувствия со стороны “домашних”. Он заговорил, однажды, о новой своей “половой статье” восторженно, с подъемом. “Гадость ты написал, больше ничего”, – сказала одна из его дочерей с гримасой. В. В. затрясся в беззвучном смехе. – “Вот так лет пять она будет твердить – ‘гадость, гадость’, а потом поймет и еще как поймет...” Дочери часто с ним спорили, одна из них нередко прибегала к истерике, как аргументу неопровержимому. Жена В. В. просто засыпала на этих беседах (от болезненной слабости, но и от скуки). Видимо, она была вне круга Розановских мыслей. Но он очень ценил ее, считал “нравственным гением”, заботился очень. Иногда бывал с ней резок. Один раз ответил ей грубовато на какой-то вопрос. Но когда она вышла из комнаты, вдруг всполошился: “знаете, я, кажется, мамочку мою обидел, – пойду попрошу прощения”, и шаркающей, семенящей своей походкой прошмыгнул в соседнюю комнату. Пошептался там, пришел назад, сияющий: “ну, вот, все хорошо”».

Но что ей, бедняжке, калеке, оставалось, как не примириться с мужем хотя бы на словах, что было делать, как не прощать его снова и снова? И что оставалось ему, когда они были так прочно связаны и стали действительно частью друг друга?

В этом смысле очень характерно еще одно из розановских свидетельств в письме отцу Павлу: «Ах, я пережил летом ужасное впечатление: мне нужен был “Семейный вопрос”, и я привез на дачу. Потрепанный старый экземпляр. Вечерело. Мамочка взяла, открыла, что-то поводить глазами по страницам (сидела у окна), – и вдруг, упав головой на книгу – зарыдала. Это было так страшно, так страшно. Вот эта минута понудила было (но не понудила) кинуть тех 3-х (4-х), забыть, отвернуться, никогда не вспоминать. Никто мне не скажет таких проповедей, как эти слезы. У мамочки есть тайна: говорить реки слов, не выговорив ни одного. Вообще она поразительна, и я недаром 20 лет за ней “шел”. Кто ее знает извне – ничего еще не знает».

Однако дочери так легко «блудного отца» не прощали. Чем взрослее они становились, тем неприятнее он делался им с его неприличными темами, скользкими взглядами, интимным шепотком, с его юными подружками по переписке – их ровесницами, и они открыто высказывали главе семьи свое презрение. В начале этой книги я приводил фрагмент из

«Последних листьев», где В. В. вспоминал свою первую дочку, умершую в десятимесячном возрасте («Первая Надя была удивительна...»). Так вот этот «листок» кончился так: «Теперь все дети меня возненавидели (4 любимицы). Но та Надя меня любила»^[98].

И русское возрождение

Все эти семейные драмы происходили в розановском доме в те годы, когда в Европе шло безумие Первой мировой войны, и если вспомнить, что трещина мира проходит через сердце поэта, то в совпадении общего и частного можно увидеть неслучайное: Россия все быстрее влеклась к катастрофе и Розанов вместе с нею. Однако сам В. В. войну поначалу приветствовал. Да еще как!

«Что-то неопишное делается везде, что-то неопишное чувствуется в себе и вокруг... Какой-то прилив молодости. На улицах народ моложе стал, в поездах – моложе... Все забыто, все отброшено, кроме единого помысла о надвинувшейся почти внезапно войне, и этот помысл слил огромные массы русских людей в одного человека... В Петербурге ночью – то особенное движение и то особенное настроение, разговоры, тон, – то самое выражение лиц, какое мы все и по всем русским городам знаем в Пасхальную ночь. Поистине можем сказать, как в пасхальный искупительный день: “Да друг друга обьемем”. Так мы обьемем все друг друга перед великою и страдальческою “нужею”, как называют летописи всякий народный труд, и терпение, и страдание. Мы входим в историческую годину. Оттого-то мы все и помолодели, и приосанились, что теперь каждый день пойдет как исторический день, каждая неделя пойдет как историческая неделя, и всякий из нас, решительно всякий – большой и малый, старый и молодой, – уже сейчас делает историческое дело вот этим самым энтузиазмом своим, готовностью выносить, терпеть, нести жертвы для Отечества, которое воистину становится сейчас престолом и алтарем. Нам придется много терпеть, но и счастливы, однако, мы потому, что ведь редкому поколению выпадает на долю пережить настоящую историческую эпоху... Ныне мы все воины, потому что наша Россия есть воин, а с Россиею – мы все. Вот что подняло нас...»

Так начиналась книга «Война 1914 года и русское возрождение» (а вернее, первая статья «На улицах Петербурга», в нее вошедшая и опубликованная 18 июля 1914 года, на следующий день после объявления царского манифеста) – книга не самая в творчестве Розанова известная и не так часто упоминаемая, а между тем ясная, цельная и по-своему очень оригинальная. Блестящий образец патриотической военной публицистики. Настоящей, искренней, неспекулятивной. В отличие от многих русских интеллигентов, занявших позицию либо выжидательную, либо войну

осудивших, Розанов войну приветствовал, полагая, что она для России есть благо, война несет великое воспитательное начало и призвана вывести страну из того состояния гражданского безразличия, того «столбняка», в котором она находилась в предшествующие годы. В. В. называл войну благословенной, восхищался русскими солдатами и офицерами, оправдывал разгром германского посольства в Петербурге (слишком нескромного, целый дворец, а разгромивший его народ «прямее и лучше нас») и клял последними словами тупых, грубых, болванских немцев. Звал их безбожниками («они забыли Бога, с ними нет Бога – отсюда и зверства»), вспоминал «забытых и оправданных» славянофилов, чей час опять пробил, и срамил западников прошлых и нынешних. Поминал войну 1812 года, восхищался и таял перед нескончаемо идущей вереницей тяжелых всадников (потом именно к ней прицепится Бердяев и обвинит Розанова в «бабьих чувствах») и призывал Русь к мужеству и героизму.

Розановская «Война 1914 года и русское возрождение» написана так возвышенно, так патриотично, дидактично и государственно, так интересно, наконец, что хоть сегодня иди с ней в школьные классы, студенческие аудитории, солдатские казармы или телевизионные студии, воспитывай подрастающее и подросток поколение, утешай старшее и глаголь вслед за автором вечные и такие актуальные строки:

«Уже сейчас Россия неузнаваема. Где этот горький и часто низкий и циничный смех над собою? Где этот тон постоянного отрицания себя и преклонения перед всем чужим и, в сущности, мало знакомым? Как налет пыли, как поверхностная – более некрасивая, чем опасная – болячка, все это сметено очистительной бурей, поднявшейся у краев нашей державы. Как в лучшие времена истории, Россия стоит одна и неразделенная, – потому что на границе встал враг, угрожающий тоже нам “без разделений”, угрожающий нам всем... “Россия и все русские должны быть перед врагом нераздельны”. Но вот и еще воспитательная и до известной степени учебная сторона войны. Эти дни, когда зашевелились могучие части военного тела России, мы осязательно и зрительно ощутили воочию и плечом около плеча, что такое “Государство” и что такое “Отечество”... Это – совершенно неслыханное чудо, и преобразование вызвано тем, что “враг показался вблизи”, – враг опасный, не то что бывшие турки, о которых мы и заранее знали, что “победим”, – и что из мирного населения и обывательских рядов поднялись воины и оружие... Что может быть выше, что может быть героичнее, что может быть священнее этой готовности и решимости! Так умирали мученики за веру: и вот так же умирают воины за Отечество. Отечество вдруг представляется колоссальным складом

высших идеальных ценностей, какие вообще носимы народом, – но это-то “носимое”, как крест за воротом рубахи, остается вообще от нас и от постороннего скрытым. Но, когда “идут и умирают за *это*”, “за Русь”, “за веру”, за “единокровность”, – какое же может быть сомнение, что это все есть *великое сокровище*. Ибо умирают с готовностью и радостью, и значит, всей целой армии, всем вооруженным частицам народа это исчисленное – “вера”, “Русь”, “единокровность” – есть воистину драгоценность. И тогда у кого не поколеблется сердце перед тем, как напасть на это сокровище, начать его поносить и ругаться ему? А ведь мы “в мирные годы” только и делаем и делали, что это грубое отношение к родине и всем ее вековым святыням».

Конечно, после всех его лунных патологий и сумеречных урнингов, после «метафизики христианства» и болезненной заикливости на еврейском и половом вопросах – это было сродни выздоровлению, возвращению из обморока и морока. Да и Розанов – можно предположить – был уверен, что война закроет тот тягостный период в его жизни, который ей предшествовал, спишет все его грехи, неловкости и ошибки. Однако была в той бочке патриотического меда ложка либерального дегтя, и внимательные читатели Розанова не могли не обратить на нее внимание. Нечто похожее В. В. писал ровно десятью годами раньше, в 1904-м, когда началась война Русско-японская, также, по его тогдашнему суждению, призванная обновить «сонную русскую жизнь» и внести в нее творческое, созидательное начало. Неудачи в той войне скоро заставили нашего публициста изменить свое к ней отношение: «Экзамен японский отбросил нас за 1812 год назад... Нет России: по крайней мере в чем же она проявляется, что она есть? В недошедших валенках? В броненосцах на дне порт-артуровской гавани? В бегущем назад после прорыва князе Ухтомском? Нет, серьезно: в чем выражается, что Россия – есть?!»

Но теперь Розанов был уверен, что выводы из ошибок сделаны и все пойдет иначе.

«Мы живем в чудные дни. То, что представлялось совершенно непобедимым, и то, что казалось совершенно невоскресимым, побеждается с одной стороны и воскресает – с другой. На наших глазах, в каждой точке родины, точно показывается свеженький, молоденьких хлеб, – без старой ржавой “спорыньи” на нем. Поистине – молодой хлеб; поистине – новый хлеб. Что бы ни было, какой бы ни был ход войны, каковы бы испытания ни предстояли нам, мы будем помнить и будем утешены тем, что мы в них – выздоравливаем; что труд страдания будет вознагражден и уже вознаграждается сейчас сторицею».

Книга имела феноменальный успех у его правых друзей. Как никакая другая. Ее похвалил и поддержал куда более трезвый по духу отец Павел Флоренский и подтвердил собственными пастырскими наблюдениями за христоролюбивыми русскими воинами. С. Н. Булгаков поблагодарил автора «за самую прекрасную книжку Вашу, которую я местами читал с волнением и восхищением. Это истинно русские чувства, слова, и любовь к народу и солдату, и понимание, единственное по художественной силе выражения. Пишите побольше таких статей, и помогай Вам Бог! Рекомендую для чтения своей семье и всем знакомым, как лакомство. Жму Вам руку». С. Н. Дурылин писал Флоренскому: «Не разрешите ли Вы мне напечатать 2–3 страницы в “Богословском Вестнике” о книге Василия Васильевича “Война 1914 г. и возрождение”? Долг совести и безграничного преклонения пред мудростью и слезами этой книги велит мне просить об этом. Я остановлюсь само собою первое всего на “Русское религиозное воспитание и немецкие зверства” и укажу на эту статью, как на ось, вокруг которой может вращаться все понимание современных событий».

«Сердечное, горячее спасибо за Вашу чудесную книгу! И тем особенно ценна она, что вся-то она, по мыслям и в особенности по чувствам, читающему (русскому, конечно, православному, конечно!) уже знакомая, своя, родная: ничего в ней выдуманного, “сочиненного” нету! ее не “писатель” “сочинил”, а душа великого народа творчески создала, в жизнь воплотила, переживала, выстрадала и вымолила. Оттого в ней все – родное, русское и общее (не индивидуальное), православное, соборное, то есть братское», – сообщал Розанову московский славянофил В. А. Кожевников.

«Читаю принесенную мне С. А. Цветковым Вашу последнюю книгу – о войне. Не нахожу слов, чтобы выразить Вам свою радость по поводу ее. Скажу одно: Да воздаст Вам Господь за труд сей», – заключил не кто-нибудь, а сам авва Михаил Новоселов, доселе (а также далее) высказывавшийся о В. В. резко отрицательно.

Раскритиковал ее, и очень жестко, причем даже не саму книгу, а ее создателя, Николай Бердяев, и на бердяевской рецензии есть смысл остановиться подробнее, ибо известный философ-персоналист сформулировал в статье «О вечно-бабьем в русской душе» очень важные для понимания своего коллеги и страны, в которой они живут, вещи.

Но прежде – еще о детях Розанова.

Судьба девушки

Горше всех домашние нестроения тех грустных лет переживала старшая дочь Василия Васильевича Татьяна. «Таня... измученная и чуть не накануне самоубийства (что очень могло бы с ней случиться и против чего не была возможна никакая борьба, ибо она отчаялась в жизни, в людях, в дальнейшем своего “я” и особенно в родителях), – писал Розанов даже не самому отцу Павлу, но его жене Анне Михайловне, рассчитывая на женское понимание. – Сама по себе она чудный ребенок с безгранично доверчивой душой, и нежной, внимательной и чуткой. Дома случилось расстройство, о котором Вы, вероятно, знаете от о. Павла, и бедное ее сердшко попало в щель этого расстройства и тем раздавила это сердце. Такое горе было».

Это была та самая Татьяна, с кем заходил Василий Васильевич много лет назад во Введенскую церковь на петербургской, глухой, далекой стороне и ощущал себя в этом храме изгоем, та самая девочка, вторая после умершей в младенчестве Нади его дочка, за жизнь которой он так боялся в ее ранние годы, да и позднее тоже. Она была вскормлена, напоена этим отцовским животным страхом, и можно предположить, что и сама Татьяна Васильевна, «мечтательная и мрачная», по определению своей младшей сестры, «тревожно внимавшая отцу», понимала, а что не понимала, то ощущала, догадывалась и с раннего детства запоминала, вбирала в себя, впитывала тайны, связанные с ее семьей и с проклятьем, которое над ней тяготело. У нее был иной «роман взросления», нежели у ее сводной сестры Александры, но тоже очень непростой и по-своему очень горький. Надежда Васильевна Розанова недаром позднее писала в своих чудесных мемуарах о Татьяне Васильевне, противопоставляя ее другим сестрам: «Мы раздражали ее своей живостью, а она докучала нам своей грустью. В сущности, у нее почти не было “детства”, и мы в 16 лет прозвали ее бабушкой».

«Я была ригористична, прямолинейна, требовательна к себе, но еще более к другим. Я осуждала многих, особенно сестер за их легкомыслие, и эта черта моя делала, в сущности, меня несчастной. Родители мои любили и жалели меня, а сестры меня недолюбливали и боялись, – признавала она сама. – Я росла замкнутым, нервным и не по летам серьезным ребенком».

Насчет нелюбви сестер Татьяна Васильевна, скорей всего, ошибалась, но вот в том, что касалось ее собственной замкнутости и нервозности, – нет.

«Было что-то такое в ее детстве, чего мы не знаем, но что в свое время причинило ей страдание, о котором знали, вероятно, только родители и, испуганные ее недетской печалью, окружили ее особым вниманием, – с глубоким сочувствием писала Надежда Васильевна. – Таня рано узнала о “семейной тайне” и о “церковном преступлении”. Думаю, что это была одна из причин ее крайней нервности. Когда в 1917 году мама пришла сказать мне и Варе об этом факте, мы не поняли его значения. Смущенная неожиданным признанием, я, согласно своей натуре, первым делом взглянула на этот факт с “романтической” точки зрения, найдя и папу и маму не подходящими для “романа”, и в этом разрезе задала Тане несколько вопросов. Я вижу, как сейчас, ее внезапно посеревшее лицо и дрожащие губы – быстро, отрывисто она переставляла какие-то ненужные безделушки на столе, и постепенно голос ее перешел в взвизгиванье: “Вы глупые, ничего не понимаете, мама с папой очень плохо поступили, очень, очень плохо, они преступники перед церковью, это такой грех, мы еще не знаем, что будет”. Она заплакала. И если мы, все дети, чувствовали вечную тревогу, которой не могли найти объяснения, то Таня уже находила для нее почву: “Мы все будем несчастны”, – постоянно твердила она. Она часто лежала, повернувшись лицом к стене, и плакала. Одним вздохом с раннего детства Таня вобрала в себя все печальное, что было в семье, и сделалась в доме немного Кассандрой, которая все плакала и твердила о скорой гибели. Мы старались противостоять ее тревоге, но Таня всегда возвращала нас к ней, и мы тяготились Таней».

И вот напророченное старшей дочерью семейное несчастье случилось. И хотя выше я писал о том, что розановские дочери, не говоря уже об Але Бутягиной, без колебаний встали в семейном конфликте на сторону матери, для Татьяны это был самый трудный, болезненный и душераздирающий выбор. В отличие от своих сестер она была одинаково сильно привязана к обоим родителям и оттого переживала и мучилась за все происходящее вдвойне. В ее глазах семейная драма состояла не в том, что «папашку на старости лет бес попутал», а в том, что приключилось нечто вроде истории апокалиптического царства, поделенного надвое и обреченного на распад.

«Папа писал, что из всех детей “метафизически” он чувствовал связь только с Таней. Да и никто из нас не был похож на отца и в физическом плане и интимными сторонами души, – вспоминала Надежда Васильевна. – И мама, которая мир воспринимала трагически, в Тане нашла родственное существо и страстно привязала ее к себе. Они обе были деспотичны: мама ревновала Таню и не отпускала от себя; Таня смотрела на родителей как на маленьких детей, которых надо еще учить и которые всегда могут

наговорить глупостей, но за это именно особенно и любила их^[99]. Если мы все стремились уйти из дому, в котором всегда было как-то грустно, и порезвиться на стороне, то Таня стремилась как можно больше быть дома и непременно с родителями».

Только чему могла научить этих «маленьких детей» взрослая Кассандра теперь, когда количество сказанных глупостей перешло все пределы, и каково ей было находиться одновременно с обоими? О чем говорить? Укорять? Ругать? Пытаться помирить? Утешить? Но у нее уже не было на это сил.

Единственное, что ей оставалось, – из постылого родительского дома бежать. Она и сбежала. Уехала на несколько месяцев в Сергиев Посад, где ее опорой стал отец Павел – именно в его семье девушка нашла то, чего так недоставало в родительской часовенке.

«Кажется, Таня едет к Вам и будет жаловаться. Ну Бог с ней», – писал Розанов Флоренскому весной шестнадцатого года.

«Мне нравился их спокойный дом, тихие, послушные дети, заботливая теща Флоренского, Надежда Петровна Гиацинтова, приветливая жена Павла Александровича – Анна Михайловна, и интересные беседы с Павлом Александровичем, – вспоминала впоследствии сама Татьяна Васильевна. – Он видел отлично мое убитое душевное состояние; так рано пошатнувшееся здоровье, неудовлетворенность и недовольство собой, печаль о неустройстве нашей семьи, болезнь бедной матери, полная растерянность от всех обстоятельств жизни».

Из Сергиева Посада она вернулась в другом состоянии духа, просветленная, набравшаяся сил, потом опять уехала, а у отца не переставала болеть за нее душа. Татьяне было уже за двадцать, она окончила гимназию, не знала, что делать дальше, пробовала заниматься философией, преподавать («Тут я, под влиянием Лосского, увлеклась философией и надеялась, что я лучше буду понимать работы моего отца и в будущем могу быть полезной в издании его работ. Папа смеялся: “Зачем тебе философия, чтобы понимать меня? Это совсем необязательно”»), однако никакой личной истории у нее тоже, как и у Али, не складывалось. И это мучило его, как мучило бы любого отца – но В. В. особенно.

Хорошо ему было писать в «Опавших листьях» про чужих, далеких, незнакомых барышень: главное, девоньки, выйти пораньше замуж, да нарожать побольше детей. Хорошо было получать письма от читательниц, флиртовать и вступать с ними в легкомысленную либо назидательную, ни к чему не обязывающую переписку, хорошо было рисоваться перед читателем и рисовать ему свой женский идеал: «Волосы гладенькие, не

густые. Пробор посередине, и кожа в проборе белая, благородная. Вся миловидна. Не велика, не мала. Одета скромно, но без постного. В лице улыбка. Руки, ноги не утомляются. Раз в году округляется... главная добродетель в женщине... есть изящество манер, миловидность (другое, чем красота) лица, рост небольшой, но округлый, сложение тела нежное, не угловатое, ум проникновенно-сладкий, душа добрая и ласковая».

Наконец хорошо было писать в «Опавших листьях»: «Завещаю всем моим детям (сын и четыре дочери) иметь детей. Судьба девушки без детей – ужасна, дымна, прогоркла. Девушка без детей – грешница. Это канон Розанова для всей России».

Однако с той поры, как все это было написано, прошло несколько лет, и ни одна из его подросших дочерей ни к сладкому образу добродетельной женщины, ни к исполнению отцовского канона так и не приблизилась. И – опять же забегая вперед – не приблизится, а если приблизится, то не исполнит.

Сама Татьяна Васильевна позднее в мемуарах, размышляя о том, почему так произошло, писала: «Когда мне было лет четырнадцать, я была удивительно наивная и почему-то в моей голове сложилось представление, что замуж выходят только бедные девушки, чтобы пристроиться. И поэтому когда папа выражал желание, чтобы все его дочери вышли замуж и имели детей, я на папу очень обижалась и говорила, надув губы: “Папочка, мы верно тебе очень надоели, что ты хочешь от нас избавиться”. Почему же у меня было такое странное представление о замужестве? Думаю, потому, что у нас семейные люди редко бывали из-за незаконного брака отца».

С последним предположением мемуаристки согласиться сложно. На Розанова, положим, и могли косо смотреть в городе Белом и обходить стороной его дом («Варвару Дмитриевну все считали за содержанку бельского учителя Розанова, никто не принимал, переходили на другой тротуар, а она была – законная жена, но со своей фамилией», – писал в «Троицких записках» со слов самой Варвары Дмитриевны С. Н. Дурылин), но кого мог удивить его незаконный брак в Петербурге, и особенно в той среде, к которой они принадлежали?

Дело, представляется, было в другом. Насмотревшись на жизнь в родительском доме, на отношения отца и матери, на скандалы, конфликты, безутешные и бессильные материнские слезы, вообще на весь неудавшийся, рухнувший семейный проект, розановские дочери инстинктивно сторонились полноценной семьи, к ней не стремились, боялись, гнушались ее, и в этом смысле между писаниями, призывами и «канонами» В. В. и его повседневной жизнью разница была

сокрушительная. Тут получалось что-то вроде воспитания от противного, чего Розанов и сам не мог не видеть и, может, поэтому искал забвения от грустных мыслей на стороне. Да и мрачный Алин пример и Алино влияние на сестер стояли перед его глазами. Что, если и Таня, со сводной сестрой очень дружившая, побредет по той же дорожке?

Отец боялся эти мысли вслух произнести, но не думать об этом не мог.

«Сию я, рисую египтян, а думаю все о Тане.

Мама спит. Все дети ушли к “подругам”, – писал он Флоренскому, подразумевая под «подругами» именно Алю с Наташей, – хорошо (тихо), а только болит сердце о Тане. Она очень хороша, мягка, ни одного грубого слова, к Васе очень хороша; только как-то сама не весела, и раза 3 проговорила в болтовне: “Ой, я уж старуха”. Молоденькой себя никак не хочет считать, “не считает достойной”. Прелесть ее – чрезвычайная скромность: “Я всех хуже”, и – с болью. И думаю я, как и раньше часто думал, что избавит ее от внутренней неясной боли только замужество. Нет человека более ее склонного к “верности” и ко всем сопутствующим ингредиентам. Но у нее есть какая-то внутренняя органическая слабость, м. б. даже надлом внутренний и органический, который исцелит только приток силы, мужской силы. Это не мои “египетские теории”, и о других дочках я этого не скажу. Другие – дневные и крепкие, особенно Варвара, а Таня – ночная, тихая, затаенная (благородно-затаенная), и ей нужна вот дневная мужская сила, ясная и твердая. Только – честная и верная, честная в отношении всех людей и верная ей. Я думал, что в Посаде что-нибудь “склюется”. Не знаю и не понимаю, как вообще эти судьбы устраиваются. Тут явно “Божие благословение”, Божие благословение: но я не понимаю, почему бы мою Таню не благословить. Ее, которая так любит Бога и в самой себе такая достойная».

Примечательно, что, размышляя о потенциальном муже для своей прекрасной Татьяны, Розанов рисовал портрет человека, в сущности, тоже себе прямо противоположного. Может быть, поэтому такой ей и не встретился...

А теперь – к Бердяеву.

О вечном и о бабьем

Это было не первое столкновение двух мудрецов, если вспомнить доклад Бердяева «Христос и мир», прочитанный на заседании Религиозно-философского общества в декабре 1907 года в ответ на розановский доклад «О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира», сделанный месяцем раньше. Оппонент тогда обозвал основного докладчика «гениальным обывателем» и обвинил в том, что его «натуралистический пантеизм есть впавшая в детство старость человечества» – мысль с учетом вектора розановского развития, кажущаяся довольно точной^[100]. И вот семь лет спустя противники вновь обнажили перья.

В новом бердяевском критическом отзыве можно было расслышать, условно говоря, три важные темы. Первая – о великолепном розановском таланте, хотя это все по преимуществу относится к форме, к стилю, интонации:

«Вышла книга В. В. Розанова “Война 1914 года и русское возрождение”. Книга – блестящая и возмущающая. Розанов сейчас – первый русский стилист, писатель с настоящими проблесками гениальности. Есть у Розанова особенная, таинственная жизнь слов, магия словосочетаний, притягивающая чувственность слов. У него нет слов отвлеченных, мертвых, книжных. Все слова – живые, биологические, полнокровные. Чтение Розанова – чувственное наслаждение. Трудно передать своими словами мысли Розанова. Да у него и нет никаких мыслей. Все заключено в органической жизни слов и от них не может быть оторвано. Слова у него не символы мысли, а плоть и кровь. Розанов – необыкновенный художник слова, но в том, что он пишет, нет аполлонического претворения и оформления. В ослепительной жизни слов он дает сырье своей души, без всякого выбора, без всякой обработки. И делает он это с даром единственным и неповторимым. Он презирает всякие “идеи”, всякий логос, всякую активность и сопротивляемость духа в отношении к душевному и жизненному процессу. Писательство для него есть биологическое отправление его организма. И он никогда не сопротивляется никаким своим биологическим процессам, он их непосредственно заносит на бумагу, переводит на бумагу жизненный поток. Это делает Розанова совершенно исключительным, небывалым явлением, к которому трудно подойти с обычными критериями».

Вторая тема – критика содержания, но не столько этой конкретно

книги, сколько всех сочинений Розанова, и здесь после заздравного начала Бердяев переходит к «за упокою».

«Гениальная физиология розановских писаний поражает своей безыдейностью, беспринципностью, равнодушием к добру и злу, неверностью, полным отсутствием нравственного характера и духовного упора. Все, что писал Розанов, писатель богатого дара и большого жизненного значения, есть огромный биологический поток, к которому оценками невозможно приставать с какими-нибудь критериями. Розанов – это какая-то первородная биология, переживаемая как мистика. Розанов не боится противоречий, потому что противоречий не боится биология, их боится лишь логика. Он готов отрицать на следующей странице то, что сказал на предыдущей, и остается в целостности жизненного, а не логического процесса. Розанов не может и не хочет противостоять наплыву и напору жизненных впечатлений, чувственных ощущений. Он совершенно лишен всякой мужественности духа, всякой активной силы сопротивления стихиям ветра, всякой внутренней свободы. Всякое жизненное дуновение и ощущение превращают его в резервуар, принимающий в себя поток, который потом с необычайной быстротой переливается на бумагу. Такой склад природы принуждает Розанова всегда преклоняться перед фактом, силой и историей. Для него сам жизненный поток в своей мощи и есть Бог. Он не мог противостоять потоку националистической реакции 80-х годов, не мог противостоять потоку декадентства в начале XX века, не мог противостоять революционному потоку 1905 г., а потом новому реакционному потоку, напору антисемитизма в эпоху Бейлиса, наконец, не может противостоять могучему потоку войны, подъему героического патриотизма и опасности шовинизма».

В принципе это все было логично, и основные розановские вехи обозначены достаточно верно, хотя и не очень понятно, почему Розанов непременно должен был чему-то противостоять. И больше того, на самом деле он, конечно, противостоял, да еще как! – однако Бердяев, в отличие от Розанова, смотрел не назад, а вперед, не на Восток, а на Запад, и теперь в продолжение темы писал о том, что сделало, по его мнению, Розанова фигурой классической, и одновременно давал ответ, почему этот возмутительный автор остается таковым и столетие спустя, почему Розанова не перестают читать, перечитывать и без конца о нем спорить.

«Многих пленяет в Розанове то, что в писаниях его, в своеобразной жизни его слов чувствуется как бы сама мать-природа, мать-земля и ее жизненные процессы. Розанова любят потому, что так устали от отвлеченности, книжности, оторванности. В его книгах как бы чувствуют

больше жизни. И готовы простить Розанову его чудовищный цинизм, его писательскую низость, его неправду и предательство. Православные христиане, самые нетерпимые и отлучающие, простили Розанову всё, забыли, что он много лет хулил Христа, кощунствовал и внушал отвращение к христианской святыне, Розанов все-таки свой человек, близкий биологически, родственник, дядюшка, вечно упоенный православным бытом. Он, в сущности, всегда любил православие без Христа и всегда оставался верен такому языческому православию, которое ведь много милее и ближе, чем суровый и трагический дух Христов. В Розанове так много характерно-русского, истинно-русского. Он – гениальный выразитель какой-то стороны русской природы, русской стихии. Он возможен только в России. Он зародился в воображении Достоевского и даже превзошел своим неправдоподобием все, что представлялось этому гениальному воображению. А ведь воображение Достоевского было чисто русское, и лишь до глубины русское в нем зарождалось. И если отрадно иметь писателя, столь до конца русского, и поучительно видеть в нем обнаружение русской стихии, то и страшно становится за Россию, жутко становится за судьбу России. В самых недрах русского характера обнаруживается **вечно-бабье**, не вечно-женственное, а вечно-бабье. Розанов – гениальная русская баба, мистическая баба. <...> Он совершенно субъективен, импрессионистичен и ничего не знает и не хочет знать, кроме потока своих впечатлений и ощущений. Само преклонение Розанова перед фактом и силой есть лишь перелив на бумагу потока его женственно-бабьих переживаний, почти сексуальных по своему характеру. Он сам изобличил свою психологию в гениальной книге “Уединенное”, которая должна была бы быть последней книгой его жизни и которая навсегда останется в русской литературе».

То есть – по мысли Бердяева – хватит вам, Василий Василич, писать, вы уже все, что могли сказать, сказали, прибавить к этому вам нечего и незачем, и – вот приговор, который выносит Розанову и его поклонникам суровый философ-персоналист:

«Напрасно Розанов взывает к серьезности против игры и забавы. Сам он лишен серьезного нравственного характера, и все, что он пишет о серьезности официальной власти, остается для него безответственной игрой и забавой литературы. Он никогда не возьмет на себя ответственности за все сказанное им в книге о войне... Розанов со слишком большой легкостью и благополучием переживает весну от войны, сидя у себя в кабинете. Он пишет о героическом подъеме, хотя героизм чужд ему окончательно и он отрицает его каждым своим звуком... Каждая строка

Розанов свидетельствует о том, что в нем не произошло никакого переворота, что он остался таким же язычником, беззащитным против смерти, как и всегда был, столь же полярно противоположным всему Христову... “Розановское”, бабье и рабье, национально-языческое, дохристианское все еще очень сильно в русской народной стихии. “Розановщина” губит Россию, тянет ее вниз, засасывает, и освобождение от нее есть спасение для России... Русский народ победит германизм, и дух его займет великодержавное положение в мире, лишь победив в себе “розановщину”».

По сути, это было не просто отдельное, частное мнение, а – приговор, под которым бы подписались тогда очень многие. И в том числе – в его собственном доме.

Всякое дыхание

Единственным человеком, кто, несмотря ни на что, продолжал поддерживать отца во всех его невзгодах, была Вера, вторая по старшинству и, пожалуй, самая интересная из розановских девушек, с еще более горькой и необычной, чем у Александры Михайловны и Татьяны Васильевны, с самой розановской и с самой *ночной* судьбой.

Она родилась в 1896 году и воспитывалась матерью в том же благочестии, что и ее родные сестры. Покуда была маленькой, очень любила и маму, и папу, и последний записал в своей тетрадке трогательную историю о том, как четырехлетняя Верочка несла ему лесную ягодку.

«Ладонь все еще держит лодочкой, —

Разжимает пустую и говорит:

“Папочка. Я тебе несла, несла ягодку, и

Потеряла”».

Когда стала взрослее, то, по воспоминаниям ее старшей сестры Татьяны, сделалась грубиянкой, причиняла маме большие огорчения и заботы, и та ее не понимала и была от дочери далека и с ней холодна.

«В гневе с Верой никто не может справиться, хоть ей всего 10 лет. Она всегда безумеет, как безумеет в увлечениях, — писал Розанов в «Сахарне». — Сколько я могу объяснить психологию Веры, — у нее нет представления о существовании в мире обмана, лукавства, фальши. Я теперь припоминаю, что она и в детстве (младенчестве) все брала патетично и прямо, думая, что вещи говорят свою правду, что люди говорят свою правду; это в высшей степени серьезно; а кривого нет в мире. Отсюда постоянно расширяются на мир глаза и страшно серьезное ко всему отношение, которое “третьему” (всем нам) кажется комическим. Но в сущности это хорошо ведь. От этого она со всеми расходится и неуживчива. Не слушает никого, и с ней “нет sprawy”. Все боишься, как бы она не сломила себе шеи, и это очень может быть. Мир лукав и бездушен».

Догадывался ли он тогда, как его слово однажды отзовется?

Своего отца вторая дочь обожала, «день и ночь думала о его сочинениях, ночью писала ему любящие письма и оставляла у него на столе», — вспоминала Татьяна.

«Интересно, что думают ребятишки о своем “папе”, — писал Розанов в «Опавших листьях». — Первое “Уедин.”, когда лежала пачка корректур (уже “прошли”), я вдруг увидел их усеянными карандашными заметками, — и

часто возражениями. Я не знал кто. С Верой не разговаривал уже месяц (сердился): и был поражен, узнав, что это – она. Написано было с большой любовью. Вообще она бурная, непослушная, но способна к любви. В доме с ней никто не может справиться и “отступились” (с 14 лет). Но она славная, и дай Бог ей “пути”!»

«Папу я любила больше всех в мире, – говорила сама Вера в мемуарах младшей сестры Надежды. – Я очень мучительно пережила его творчество. Он имел огромное влияние на меня».

Вообще Вера занимала очень большое место и в жизни, и в воспоминаниях Надежды Васильевны Розановой, и странное то было влияние, и о самой Вере ее младшая сестра писала с таким душевным трепетом и болью, как больше ни о ком из своих родных.

«...думаю, что первого, кто “коснулся” бы ее, Вера растерзала, да и сама себя убила с отчаяния. Вера всегда пребывала в соприкосновении со смертью... В 15 лет, искушая себя “Тайной”, она выпила карболовой кислоты и обожглась. В испуге она бросилась к Але, и та повезла ее к врачу. От нас, детей, это скрыли. Наташа Вальман сказала, что в 15 лет Вера поражала своей усталостью от жизни, как будто она все взяла, все испытала и больше у нее не остается жизненных сил... И та же Наташа говорила: “Вера такой доброты, что кажется, будто она только и ищет случая отдать за кого-нибудь жизнь. Именно ищет его...” Флоренский сказал: “Вера была ребенком, который с детства играл с огнем”. И так близко подбегала к нему, что не раз вспыхивало платье: “Сейчас суну палец в огонь, потом руку, а потом и вся загорюсь”».

Надежда Васильевна писала свои воспоминания, когда Веры давно не было в живых, мучительно пытаясь разгадать загадку ее жизни и смерти, отыскивая в сестриной судьбе, в ее характере, привычках, словах, поступках грозные предзнаменования, и трудно понять, знала ли она, что на самом деле происходило в ту пору с Верой и по какой причине девушка могла пить карболку.

«У нас глубокое несчастье в семье страшное, расшибшее все мысли, – писал в год Вериного пятинадцатилетия Розанов Флоренскому. – Подмогатель, под предлогом “погостить” в село, в сосны, позвала Верочку (у которой подозревался туберкулез и 1 из 2-х врачей советовал еще в Великом посте послать ее в санаторию). Мы эту подмогу знали лет 10, – у нее в селе не бывали, на квартире были 1 раз, но у нее чудная святая сестра. – Ну. Обещала “смотреть как мать”, “беречь дочурку Верушку”. И – в каком-то исступленном сластолюбии (ей лет 40, вдова) свела со своим любовником 26 лет. По-видимому, механизм был тот: пусть он *возбудится*

около Верочки – и прибежит для удовлетворения к ней. Для этого (рассказ Верочки *post factum*) устроила спальни Верочки и этого 26-летнего музыканта-нахлебника *рядом (!!!)*, а сама спала в другом доме.

Ну – горе, унижение, несчастье.

Но:

Нашли, – после *писем* этого негодяя, к Верочке, что он “все хочет ее тела”, Дневник самой Верочки. Нужно заметить, что она “отбилась от родителей”, ни матери, ни меня, ни сестры старшей – никого не слушала, и мы просто “плюнули” на нелепого, испорченного, в высшей степени грубого ребенка (15 или 16? лет, крупная очень). И что же: в Дневнике открылась такая чудная душа... Прямо – святая, и глубоко невинная девочка, совсем младенец. В неписанных частях, дальше, стоит кратко: “Я пришла и легла к нему на постель и отдалась ему. Мне было хорошо”».

Сюжет, перекликающийся с известным рассказом Бунина, который будет написан чуть позднее, но очевидно, что-то подобное присутствовало в тяжелом, спертom воздухе Серебряного века, только Розанову было не до литературы. Он и правда не знал, что с потерявшей уже не ягодку, а – выражаясь языком мещанским – честь дочерью-гимназисткой делать.

«Вера совсем вырывает повод... Величайший страх, что она попадет в руки хулигана, который ее просто начнет перепродавать. Вот встреча с “фетишем” и что поделаешь».

Эти события происходили за несколько лет до его собственных «любовных приключений» и до второго ухода Александры Михайловны из дома, вызванного делом Бейлиса. «Санька Б.» была на тот момент ему еще союзницей, Шурушкой («советчица, – тоже *ужасно любит Веру*»), и они вместе, не привлекая больную мать, втайне от нее решали, то ли срочно выдавать оступившуюся девочку замуж, то ли: «Одно нахожу средство, одно спасение, чтобы она попала к благородному, сострадательному, великодушному человеку, хоть бы “так” (“не до жиру, быть бы живу”). Иначе она погибнет в самом грубом, голодном смысле. Просто ей надо удовлетворение, и постоянное, и у себя дома – а там ребенок и новая любовь и новая к дому (где *колыбель*) привязанность, и все относительно (душа) будет спасено».

Отец Павел был суров. С одной стороны, он находил намерение Розанова выдать дочь замуж разумным, причем не только в отношении ее самой, но и в плане розановских идей и представлений на эту тему: «То, что пишете о своих чувствах по поводу Веры, меня *в сущности* радует, ибо Вы вступили в цикл православных чувств и идей брака. Тут-то Вам и должно быть ясно, что есть глубокие онтологические основания

противиться разводу и т. д.».

Но с другой: «Не могу утешить Вас лживыми уверениями, что “это ничего” и т. п. и пустыми успокоениями. Увы! Мне думается, что “это” именно то, что *не* проходит для девушки никогда, – не в смысле мещанских понятий о “чести”, а в смысле какого-то нравственного надлома, после которого непременно должно или начаться восхождение к небу, или быстрое падение и огрубление».

Отец Павел оказался удивительно проницательным человеком, и дальнейшая судьба Веры Васильевны Розановой тому порукой, но, пожалуй, еще важнее в контексте розановской биографии то, что виновником всей этой ситуации Флоренский прямо назвал самого В. В., а конкретнее – его непомерное увлечение брачными темами: «... все то, что Вы говорили ранее и, часто, при детях, если не прямо утверждало, то подразумевало *легкое* отношение к подобным несчастьям, почти нормальность их, а нет, поверьте, ничего более *гипнотизирующего*, чем нашептывания *такого* рода. Что брачный вопрос невероятно запутался – в этом нет ни малейшего сомнения. Но решения, Вами предлагаемые, тоже не решают этих проблем, и Вы, думаю, сами видите это... ведь идеи целомудрия и порядочности никто не внушает, ни родители, ни воспитатели, ни литература; Верочка, с другой стороны, всем духом своего воспитания была лишена всякой сопротивляемости».

Это было сформулировано достаточно мягко по стилю, но очень жестко по сути: Вы ее такой воспитали, Вы давали пример своими взглядами, сочинениями, высказываниями, поступками, Вы, так гордившийся и щеголявший тем, что не думаете о морали и не знаете, как пишется слово «нравственность» и кто ее родители, свою дочь нравственно обессилили, лишили морального иммунитета, вот и пожинайте теперь плоды своего воспитания.

И это обстоятельство было для Розанова злее любой литературной критики. «Оттого-то Вы и сказали в письме ко мне: “Я в сущности, рад Вашему отношению к случаю с Верой, *п. ч. в нем Вы переходите на почву православного воззрения на брак*”. Вам нет дела до меня, до Веры, – только один интерес к тому, что еще *споривший и как бы сектант – убедился в своей ошибке и согласился с нами*. Для Вас – не жизнь, и – “не уврачевание ран”, а – победа», – обвинял он Флоренского, с чем тот, впрочем, не согласился.

Однако сути дела это не меняло, а сюжет с Верой имел продолжение. В 1914 году, опять же единственная из розановских дочерей, она присутствовала на заочной «гражданской казни» своего отца, когда того

исключали из Религиозно-философского общества.

«Вера мне говорила, что она пошла на это собрание с вызовом, показать свое презрение к толпе. Отец, в глазах Веры, был “пророком, гонимым в своем отечестве”, и не знаю, что творилось в ее разгоряченном мозгу, но думаю, она шла с мыслью о каком-нибудь страшном своем выступлении. Что-то такое непременно должно было твориться в ее душе. Здесь не было игры, “жеста”. Вера была искренна, даже по существу простодушна, так как вечно смотрела на мир “расширенными глазами” (В. Р.), крайне “патетично и прямо” (В. Р.), и то, что могло казаться со стороны “позой”, было только проявлением ее сметенного духа», – писала Надежда Васильевна.

«Она бедная сидела в кресле и плакала. Мне и теперь еще так жалко, когда вспоминаю ее, бедную, убитую горем, несчастную, с опущенной головой, с лентой в волосах и челкой, которая тогда входила в моду», – вспоминал непосредственный свидетель происходившего Аарон Штейнберг.

Литературный крах и скандал

Бердяевский отклик на книгу Розанова интересен еще и тем, что некоторое время спустя Николай Александрович написал статью «Темное вино», посвященную отставке обер-прокурора Синода, известного московского славянофила Александра Дмитриевича Самарина, которая случилась ранней осенью 1915 года и приписывалась не кому-нибудь, а Григорию Ефимовичу Распутину, якобы имевшему безграничное влияние на царицу. В действительности и у влияния этого были свои границы, и уход Самарина был вызван совсем другими причинами^[101], но Бердяев, как и подавляющее большинство его современников, был убежден в «распутинском следе» и писал об опасности «распутинщины» (не называя ее виновника по имени) примерно теми же словами, что писал он и о вреде «розановщины»: «Для России представляет большую опасность увлечение органически-народными идеалами, идеализацией старой русской стихийности, старого русского уклада народной жизни, упоенного натуральными свойствами русского характера. Такая идеализация имеет фатальный уклон в сторону реакционного мракобесия. Мистике народной стихии должна быть противопоставлена мистика духа, проходящего через культуру. Пьяной и темной дикости в России должна быть противопоставлена воля к культуре, к самодисциплине, к оформлению стихии мужественным сознанием. Мистика должна войти в глубь духа, как то и было у всех великих мистиков. В русской стихии есть вражда к культуре. И вражда эта получила у нас разные формы идеологических оправданий. Эти идеологические оправдания часто бывали фальшивыми. Но одно верно. Подлинно есть в русском духе устремленность к крайнему и предельному. А путь культуры – средний путь. И для судьбы России самый жизненный вопрос – сумеет ли она себя дисциплинировать для культуры, сохранив все свое своеобразие, всю независимость своего духа».

Таким образом, связь Розанова с Распутиным в глазах философа становилась не просто отчетливой, а делалась неким зловещим символом темных сторон национальной жизни в России, которой грозило на одном краю «вечно-бабье» (Розанов), а на другом «хлыстовско-языческое» (Распутин) начало, противоположное мужественному, срединно-царскому и христианскому пути.

Тут вот такая штука. С Бердяевым можно соглашаться или нет, можно самого его критиковать за индивидуализм и какой-то нерусский иногда

рационализм, обзывать «белибердяевым», можно увидеть в его статье о Розанове переклички с Чуковским, который, как мы помним, тоже укорял В. В. за то, что он лишь из «своего угла» любит революцию, наконец, можно и нужно увидеть очевидную полемику с новыми славянофилами, поднявшими книгу Розанова на щит, что Бердяева крайне возмутило, однако нельзя не признать одной вещи. Розановского победного патриотизма хватило ненадолго, и довольно скоро В. В. сам разочаровался в том, что так страстно проповедовал, и спасовал перед немцами.

«Мы начинали войну самоупоенные: помните, этот август месяц, и встречу Царя с народом, где было все притворно?»

«Германия победила Россию – это было очевидно с самого начала войны, кто победит, *трудолюбивая* ли Германия или пустая и болтливая Россия».

Это – тоже Розанов. Из «Апокалипсиса нашего времени» и из письма Голлербаху. Письмо было написано, когда война закончилась поражением России, но если сравнить «победный дух» розановской книги с его более поздними признаниями, то картина и впрямь получается невеселая. В. В. легко, слишком легко и скоро отказался от своих «милитаристских», государственно-патриотических убеждений, от концепции «войны как великой воспитательной силы» и «России-воина», когда что-то пошло не так, и это было, с одной стороны, очень по-розановски – фиксация момента, множество точек зрения на один предмет, чувственное впечатление, возведенное в ранг конечного обобщения, диалогичность философского творчества, по прямой линии летают только вороны и т. д. и т. п., но с другой – сводило на нет доверие к нему как к общественному деятелю, идеологу и поводырю, каким он время от времени все же пытался перед русской публикой предстать, призывая ее к чему-то духоподъемному.

«В. В. был чего-то очень взбудоражен. В трамвае, не обращая внимания на соседей, он ругательски ругал “войну”: – ослы, дураки, негодяи... Такое пересыпалось и имянно и вообще», – вспоминал Ремизов в «Кукхе».

«“Крах” давно поджидает Россию. И патриотизм Струве не спасет ее. Не Россия побеждала при Минихе, и именно и только побеждал Миних: грубый, здравомысленный, жесткий немец, – писал он в «Последних листьях» в апреле 1916 года. – Россия же всегда была темна, несчастна, ничему решительно не научена и внутренне всячески слаба...»

В этих резких колебаниях его личного маятника, в переходах от восхваления к ниспровержению, от силы к слабости было даже не «бабье», не женское – чего уж женщин попусту обижать, а тем более русских – и

даже не языческое, не стихийное, сколько просто шаткое, ненадежное, обывательское, легкомысленное и инфантильное^[102], и Бердяев, в сущности, именно эти потенциально уязвимые розановские места вскрыл. Рационально, жестко, холодно, высокомерно, но, в конце концов, что самое главное в книге Розанова?

Ее название: «Война 1914 года и русское возрождение». И дело отнюдь не в чаемом автором русском возрождении, а в войне *четырнадцатого* года. Как и очень многие русские люди, Розанов исходил из того, что эта война, начавшись в 1914 году, тогда же и закончится, как закончилась победой русского оружия война 1812 года, и когда вдруг оказалось, что это не так, когда на смену первым победам пришли поражения и потери, когда никакие немцы в ловушки попадать не пожелали, а, напротив, началось отступление наших войск и оказалось, что страна не готова к затяжным военным действиям, в тылу воровство, в штабах предательство и снова не хватает ни валенок, ни снарядов, когда потребовалось мужество терпения, Розанов от военной темы понемногу отошел, если не считать изданной в 1916 году небольшой книжицы «В чаду войны», – но достаточно сравнить хотя бы два названия...

Впрочем, сам Бердяев позднее, подводя некий итог своих разнообразных о Розанове высказываний, писал: «Розанов производил впечатление человека, который постоянно меняет свои взгляды, противоречит себе, приспосаблиется. Но я думаю, что он всегда оставался самим собой и в главном никогда не менялся».

И если это так, то главным и неизменным для В. В. оставалась частная жизнь, в которую он вновь погружался: в дела сердечные, в свои «четыре любви», в Египет, в живопись. Принялся писать продолжение «Опавших листьев», к которым чувствовал необычайную тягу, однако здесь столкнулся с тем, что друзья его не поддержали, и первым от них был не кто иной, как отец Павел Флоренский. А причина была не в содержании, но в форме, в стиле.

«Несмотря на множество страниц острых и бездонных, книга, прочитанная мною в один присест, оставила впечатление неблагоприятное. Самое главное это что Вы нарушили тот новый род “уединенной” литературы, который сами же создали. Афоризмы по неск. страниц уже не афоризмы, а рассуждения. А если так, то читатель уже не относится к ним бережно, как к малому ребенку, и не вслушивается в их лепет, а требует основных свойств рассуждения. Сами выступив из области “уединенного”, Вы, естественно, подлежите тем требованиям, которые предъявляются ко всему внешнему, неуединенному. Затем, в строках “Опавш. листьев” нет (во

мног. местах) непосредственности и гениальной бездоказательности прежних томов: чувствуется какая-то нарочитость и, в соединении с манерою уединенного, она производит впечатление деланной непосредственности. Это о форме. В содержании невыносимо постоянное Ваше “вожжание” с разным литературным хамством. Вы ругаете их, но тем не менее заняты ими на сотнях страниц. Право же, благородный дом, где целый день ругают прислугу и ее невоспитанность, сам делается подозрительным в смысле своей воспитанности. Что уж Вас так беспокоит, спрашиваю я, успех Чернышевского и проч., давно умерших. Отцветут “яко трава дние его”, их всех, отцвели уже. Народилось новое хамство, и тоже пройдет. И так будет до конца дней. Но думать об этом и заниматься этим не только скучно, но и вредно»^[103].

Все эти возражения касались второго короба «Опавших листьев», изданного в 1915 году, но еще в большей степени их можно отнести к продолжению излюбленного розановского жанра, где нарочитости, постоянного вожжания и ругани было гораздо больше. Однако автор остановиться уже не мог. Он «подсел» на изобретенную им форму и продолжал выпускать продукт, с которым не очень понятно, что было делать. В этом смысле очень любопытно опубликованное в «Розановской энциклопедии» письмо одной из дочерей В. В. к А. С. Глинке-Волжскому, который был в этом вопросе с Флоренским солидарен: «Он (Розанов. – А. В.) целый день ходил в глубоком раздумье и все время повторял Ваши слова о том, что не надо было издавать “Опавшие листья”. Насколько они на него подействовали, видно из того, что он сказал, что сам больше не будет издавать. Но несмотря на то, что он решил не издавать сам больше, все же эти бесконечные “Опавшие листья” он пишет все время, причем отдает их в разные частные руки, по-видимому, все же с намерением, чтобы они были изданы после его смерти. Сейчас я взяла одну из таких тетрадей “Опавших листьев”, которые столь слабы и по своему содержанию и по своей форме – что мне сделалось больно. Ведь если они будут изданы, то это будет просто литературный крах и скандал».

Автор этих строк, самоуверенная, бесцеремонная восемнадцатилетняя Варвара Васильевна Розанова, тайком рывшаяся в тетради своего родителя и безо всякой почтительности раскритиковавшая их содержимое, да еще «настучавшая» папиным друзьям, заслуживает того, чтобы сказать о ней несколько слов.

Две сестры, брат, щуки, караси, Шпалерная, Блок и Аполлон Григорьев

Отец называл ее в письме Флоренскому дневной и противопоставлял ночной Татьяне. И действительно, его третья дочь была абсолютно другой породы и природы человеком, и это, конечно, жутко интересно – какие разные росли у Василия Васильевича дети!

Сама она – при том, что единственная связала свою жизнь с литературой, – мемуаров, к сожалению, не оставила, зато ее живо вспоминали старшая и младшая сестры, и обе сходились на том, что названная в честь своей мамы Варвара была существом совершенно фантастическим и на родную мать и отца ничуть не похожим. Эту непохожесть ощущала и сама девочка.

«В детском возрасте это была блондинка, с голубыми глазами, с красивым ртом, с пухленькими ручками, с удивительно спокойным и невозмутимым выражением лица. Она до четырех лет не говорила, а только издавала раздраженно нечленораздельные звуки, так как не могла облечь в слова свои желания... Вот эта немота ее создала особенности ее характера. Она привыкла кричать, а если что было не по ней, она брала криком. Доходило до того, что на даче приходили и спрашивали: “Что вы бьете девочку, что она так кричит?”...^[104] Когда она немного подросла, то, чувствуя, что ею в семье тяготятся, она выдумала, что она подкидыш и что у нее нет ни папы, ни мамы, ни крестного отца с матерью... Росла Варя очень трудным ребенком, не любила читать, занята была очень своей наружностью и как-то не подходила к нам, старшим сестрам, которые вечно сидели над книгами. Училась она тоже неохотно и плохо», – вспоминала младшую сестру Татьяна Васильевна.

«Варя же была так непохожа на всех нас, что казалось, будто в наше семейное гнездо положили чужое яйцо, откуда вылупился птенец, вызывавший удивление и любопытство в самих родителях», – соглашалась с ней Надежда Васильевна, для которой Варя была сестрой старшей и куда более близкой, чем Аля или даже Таня.

«Крошечная, беленькая, неразговорчивая, – она поражала умом, наблюдательностью (над “вокруг”) и вечным сбережением себя. Все “свое” обдумает, еду ли, удовольствие ли, и съест и возьмет, не обращая внимания на других. “Эгоистка”, – с печалью думали мы (папа и мама)».

«Варя мечтала о танцах и всяком веселии... Варя приносила домой из школы одни только двойки и очень шалила за уроками... не любила читать, а любила гимнастику, с мальчиками ладила, и все ей нравилось, а занятия мало тревожили... сама Варя нисколько не унывала; она была в жизни удивительная оптимистка, ее интересовало только одно, – как сидит на ней юбка и как завязан бант, и вертелась дома весь день перед зеркалом».

В этих воспоминаниях Татьяны Васильевны проглядывает скрытая неприязнь, вызванная, скорее всего, их непростыми отношениями в двадцатые и тридцатые годы, когда они вынужденно жили вместе в Сергиевом Посаде, а вот Надежду Васильевну сестра скорее забавляла, хотя юбки запомнились и ей.

«В школе Варя принимала вид испуганного и зализанного котенка, так гладко за уши были притянуты ее толстые белые косички, но с этим она еще мирилась, но только не длинные юбки! Она соглашалась лучше безвыходно сидеть в карцере, чем отказаться демонстрировать свои хорошенькие ножки, даже в красных шерстяных чулках, и стоило только воспитательнице выйти из класса, как все булавки пускались в ход, и она из строгого английского костюма делала балетную “пачку”».

И в другом месте: «Она была очень недовольна, что у нас дома горничные не носят кружевных наколок на голове и вообще нет ни малейшего “шика”. Не соглашалась идти пешком до Царскосельского вокзала, чтобы товарищи по школе не заподозрили ее в бедности. Как-то приехав к Варе, я застала ее в уборной, – она стояла в группе девочек и, вертясь перед зеркалом, подкалывала себе юбку. Бросив на меня критический взгляд, достаточно ли я “шакарна”, она спросила громко, чтобы слышали все подружки.

– Надя, а как поживают наши лошади?

– Какие лошади, Варя? – растерялась я.

– Ах да! Я забыла – они ведь сдохли, – и, вздернув мой бант, энергично увела меня в класс. Этим вопросом она хотела показать, что у нас есть собственные лошади».

Фильм «Москва слезам не верит» с Ириной Муравьевой, чья героиня выдавала себя за дочь московского профессора из сталинской высотки, будет снят через семьдесят лет, а Варю склоняли и родители, и сестры, звали эгоисткой, отец с матерью наказывали физически за непослушание и ругали за плохие оценки. «В-я привезла на Рождество две двойки, по немецкому и арифметике. Ее встретили сухо, и почти не разговариваем. Она опешила. Заглядывает в глаза, улыбается виновно и заискивающе, но мы не обращаем внимания», – писал Розанов в «Сахарне».

А кроме того, Надежда Васильевна очень смешно вспоминала, как за обедом они с Варей торговались: Надя отдавала прожорливой сестре свою порцию второго, а та ей – сладкое. Однако летом тринадцатого года, когда Василий Васильевич и Варвара Дмитриевна поехали отдыхать вдвоем в Бессарабию и поняли, что без помощницы им не обойтись, они вызвали из Петербурга именно Варю, которая в свои пятнадцать лет одна совершила это далекое путешествие и силой характера, упорством, живучестью превосходила всех розановских дев, вместе взятых. Недаром отец писал о ней: «Варя не пропадет».

Что же касается еще одной, самой младшей дочери, Надежды, на чьи мемуарные свидетельства я так часто и с таким удовольствием ссылаюсь, то, по воспоминаниям Татьяны Васильевны, «это был прелестный ребенок: хорошая шатенка, с золотистым отливом волос, с умными серо-голубыми глазами, с очаровательным маленьким ртом, причем верхняя губа у нее была приподнята, так что были видны зубы, и весь рот как-то приветливо раскрывался в ласковой улыбке. Надя всех очаровывала, все были от нее в восторге... Подруг у нее было бесконечное количество».

Наверное, нет ничего более подходящего для взросления девушки, когда все ее любят, даже если приходится донашивать платья старших сестер, о чем сокрушалась позднее в своих мемуарах эта чудесная женщина. Надя была создана для счастья, с которым, увы, тоже разминулась, хотя поначалу-то все складывалось замечательно. Названная в память о «первой Наде», она родилась в 1900 году, уже на Шпалерной, в благополучный розановский период, росла красивой, грациозной, подвижной девочкой, была меньше своих сестер задета декадентским духом, да и собственный отец был в ее глазах так себе, средней руки литератор. «Если бы папа умел писать, как Лукашевич, или Евгения Тур, или Сенкевич...» Упоминание графини Салиас (Евгении Тур) в этом списке восхитительно: могла ли женщина, некогда так переживавшая за Аполлинарию Суслову и презиравшая ее молодого развратного мужа, предположить, что незаконно рожденные дети В. В. станут зачитываться ее книгами?

«В Надюше столько игры, что удивительно, – писал Розанов в «Мимолетном». – Она ест и играет (я запрещаю), пьет и играет, учит уроки и играет. Откуда это? Точно она взяла себе две жизни: свою – и той, первой, грустной Надюши, которая любила смотреть ночью на пламя газового фонаря».

Она читала рыцарские романы («– Папа, ты бы лучше вместо своего Шарлока Холмса прочитал “Айвенго”. – Интересно? – Ужасно интересно»),

обожала балет и сама мечтала стать балериной. Причем это была не просто жажда выглядеть красивой и привлекать к себе внимание, как у тщеславной Варвары, нет – то была настоящая, на всю жизнь страсть, мечта в истинно розановском смысле этого слова. В мемуарах Надежды Васильевны сохранилось поразительное описание вечера танцев, в котором участвовали ученицы Айседоры Дункан. «И как же затрепетала моя душа! Растерянная, не зная, что делать с собой, бессильная вместить в себе всю красоту, которая разбила мое сердце восторгом, я сидела, вцепившись в барьер ложи, не утирая слез, которые обильно текли по щекам, и чувствуя, что вот-вот они перейдут в неудержимое рыдание».

Маленькая Надя просила, умоляла родителей, чтобы ее отдали учиться в балетную школу, но ее детскими слезами и мольбами пренебрегли, и это стало трагедией всей ее жизни.

«Теперь, спустя двадцать пять лет, я с участием вспоминаю себя. Разве я могла передать свое отчаянье? Дома привыкли смотреть на меня, как на “маленькую”, и была бессильна рассказать свою душу, заставить их поверить, что Дункан раскрыла мне самое себя... (А ведь и теперь я думаю о себе так же, как и тогда.) Они же думали: “Девочке понравилось красивое зрелище, и вот ей взбрели в голову всякие фантазии, и начались всякие сумасбродства”. Они рассердились и ушли, предоставив меня “злым капризам”».

Вообще в ее воспоминаниях чувствуется глубокая личная обида на отца, который не захотел свою последнюю дочку понять и поддержать, занятый «собственными мыслями, куда мне не было доступа...».

Сохранился также дневник Надежды Васильевны 1917 года, где среди прочего она описывает свой пеший поход из Сергиева Посада в Хотьково вместе с Татьяной и их разговор с Павлом Флоренским на обратном пути. «Флоренский что-то говорил и пускал шпильки. Советовал нам брать пример с Васи, сказал, что “все вы эстеты до мозга костей”. Называл девочек “строптивыми” и насмешливо советовал перед сном читать “Укрощение строптивой”».

«Говорил он много. Многое меня удивило и не понравилось. Показало его мелкие стороны».

«Сестра Надя была либералка в молодости», – сделала примечание Татьяна Васильевна, публикуя этот фрагмент в книге своих воспоминаний, а в другом месте писала: «Я была ближе с отцом и матерью, а с сестрами и братом – далека, любила только младшую сестренку Надю, но она меня не любила... Мне она ужасно нравилась, я мечтала, что я окончу свою жизнь в ее семье, так как я была уверена, что она выйдет замуж. Но она, к моему

душевному страданию, не обращала на меня никакого внимания».

Судя по воспоминаниям младшей сестры, это было не совсем так, но в прихотливых сестринских отношениях кто ж разберется? А между тем именно эти две сестры – самая старшая и самая младшая – останутся с умирающим отцом, и благодаря им сохранятся его последние мысли...

Об их родном брате, единственном сыне В. В., известно не очень много, однако можно предположить, что Флоренский не зря ставил его сестрам в пример. Рос Василий Васильевич-младший настоящим мальчишкой, был еще дальше и от «розановщины», и от «нерозановщины», чем Надежда Васильевна, оставался абсолютно равнодушен к Але с ее «тараканами» (как, впрочем, и она к нему: «С Васей она двух слов никогда в жизни не сказала, Вася ей не интересен, глуп и туп», – писал Розанов Флоренскому), учился кое-как, книгами не только отца, но вообще никакими не интересовался, зато любил бегать, плавать, нырять, кататься на велосипеде и удить рыбу – в общем, был самый здоровый и самый нормальный член семьи.

Надежда Васильевна приводит в своих мемуарах совершенно гениальное Васино письмо отцу, написанное летом 1913 года, из которого видно, какой классный рос у Розанова пацан:

«Дорогой папочка. 19-го июня я поймал щуку на 1 фунт, величиною с $\frac{1}{2}$ аршина и налима $\frac{3}{4}$ фунта, а 18 поймал щуку $\frac{3}{4}$ фунта, также я ловлю карасей, так вчера я поймал их на $\frac{1}{2}$ фунта. И завтра у нас будет уха из 2 щук, которые равняются 1 $\frac{3}{4}$ фунта и 1 налима, который равняется + $\frac{3}{4}$ фунта и карасей, которые равняются $\frac{1}{2}$ фунта и того уже будет из 3 фунтов... Около нас находится монастырь. Монахи здесь совсем не похожи на монахов, они пьют и гуляют [\[105\]](#)... Вера и Таня сидят дома... Здесь очень много зверья, так я нашел барсучью нору... Я плаваю $\frac{1}{4}$ версты не отдыхая, научился посаженкой и теперь обгоняю тебя, ныряю под водой 3 саженьки, бросаюсь вниз головой с аршина высоты над уровнем моря. Ногами вниз я бросаюсь с 2 саженьях над уровнем воды... Здесь очень, очень весело. Мне даже не хватает дня, и я не прихожу даже пить чай».

«Вася мне очень нравится – бесхитростный, кажется, будет настоящий “мужик”, т. е. мужественный и прямой. В нем нет лукавства мысли. Хорошо, что он ребенок и перейдет прямо в парня, без философий. Мне не приходилось с ним много говорить, но втайне питаю к нему (уже давно) большую симпатию», – признавался Розанову отец Павел, вольно или невольно противопоставляя двух Василиев, а В. В. старший с гордостью

писал год спустя о своем сыне в одном из военных очерков: «Война будоражит головы всех. Мой сынишка 15 лет уже месяц крушит, бурлит, ворчит на маму, мне – слова сказать не смеет: оказывается, у мамы он требует, чтобы отпустила на войну. Говорю: “Ты должен за больной мамой ходить и сестер в старости холить”. Воротит морду, не слушает. Хотел выпороть, да с меня ростом: боюсь, сдачи даст. Ничего не поделаешь. Терпи, родители».

Впрочем, в письме Флоренскому Розанов написал о другом терпении. «И если даже ты получил пощечину от сына: вспомнив, что тебе было лучше, чем Авелю под костью ослиной, – все же забудь сыну».

...Что же касается «новых листьев», сурово раскритикованных Варварой Васильевной Розановой, то они при жизни автора опубликованы не были, и их издали много лет спустя, уже в девяностые годы двадцатого века, под названием «Сахарна», «Мимолетное» и «Последние листья». В них можно найти очень много интересного, и все же в целом той задушевности, исповедальности, интимности, не считая страниц личных, автобиографических, относящихся к собственному детству, отрочеству и опять же делам семейным, там было действительно меньше, а слов – больше, как если бы качество начало переходить в количество, и за обилием листвы не стало видно ни тонких веток, ни стволов, ни людских силуэтов «Уединенного», а из-за повторения приема помутнела ясность и обнаженность розановского письма. Да и настойчивое влечение автора к одним и тем же темам делало эти сочинения не столько провокационными, сколько утомительно-однообразными. Талант В. В. не то что бы угасал, но как будто остановился в развитии, законсервировался, замусорился и в отсутствие литературной жизни стал задыхаться. Почему так происходило, сказать сложно, но можно предположить, что привыкшему к постоянному общению с самыми разными людьми, к череде лиц, голосов, впечатлений Василию Васильевичу была тягостна его продолжавшаяся уже несколько лет отверженность.

В августе 1915 года он снова вернулся на Шпалерную улицу, где когда-то так блистательно начиналась его литературная жизнь и где собирались по воскресеньям многочисленные гости, беседовали, трапезничали и слушали его поучения, но и квартира была уже теперь не та, и город изменился, и сам В. В. стал совсем другим. Куда больше растерявшим, чем приобретшим, пережившим и свою славу, и богатство, и семейный лад, и благодарную аудиторию. Все это осталось в прошлом, а в настоящем – больная жена, ставшие чужими дети и будущее впереди – темное и непонятное. Не только у него, у всей страны, но розановский случай был

особенный.

Он по-прежнему тянулся к молодости и сотрудничал в эти годы со студенческим журналом «Вешние воды», где печатал среди прочего письма Мордвиновой и куда звал отца Павла Флоренского, но тот отказался, однако все это было не то. Не его уровень. Плохих новостей и огорчений в жизни вообще сделалось куда больше, чем радостей и вестей добрых. «Я был у Розанова раза два-три. Рыжеватый и подвижный, он был в жизни приветлив и несчастлив. Он переживал не только семейную драму, длившуюся многие годы, – болезнь жены, но и свою литературную отверженность. Никто о нем хорошо не писал», – вспоминал позднее литератор Григорий Викторович Рочко.

Однако если все же говорить о редких исключениях, когда о Розанове писали *хорошо*, то настоящим и очень неожиданным утешением могла бы оказаться для опального философа статья Александра Блока «Судьба Аполлона Григорьева», опубликованная в 1916 году в журнале «Золотое руно». В ней, размышляя о печальной жизни не попавшего в «интеллигентский лубок» поэта, над которым поглумились и Добролюбов, и Чернышевский, Блок ссылаясь именно на Розанова и писал: «...какая глубина мысли! Еще немного – и настанет тишина, невозмутимость познания; ожесточение оторопи сменится душевным миром. И близость с самой яркой современностью, с “Опавшими листьями” Розанова. Ведь эти отрывки из писем – те же “опавшие листья”. Вот уже пятьдесят лет, как Григорьев не сотрудничает ни в каких журналах, ни в “прогрессивных”, ни в “ретроградных”, – по той простой причине, что он умер. Розанов не умер, и ему не могут простить того, что он сотрудничает в каком-то “Новом времени”. Надо, чтобы человек умер, чтобы прошло после этого пятьдесят лет. Тогда только “Опавшие листья” увидят свет Божий. Так всегда. А пока – читайте хоть эти листья, полвека тому назад опавшие, пусть хоть в них прочтете о том же, о чем вам и сейчас говорят живые. Живых не слышите, может быть, хоть мертвого послушаете. – Во всем этом есть, должно быть, своя мудрость, своя необходимость».

Если учесть, что еще совсем недавно автор тех дивных строк и сам Розанова за «Новое время» укорял и, возможно, голосовал за его исключение из Религиозно-философского общества (но потом, когда его и самого отовсюду изгонят за поэму «Двенадцать», напишет в дневнике: «Бейлис и поход на Розанова в Религиозно-философском обществе»), изменение было налицо. Неизвестно другое – читал ли сам В. В. статью Блока? Читали ли ее Аля с Наташей, читали ли Татьяна, Варвара, Надежда, Василий-младший (впрочем, этот не читал точно)? Но главное – читала ли

ee Bepa?

Вера хочет умереть

Летом 1914 года Розанов сделал в «Мимолетном» пространную и очень важную запись, относящуюся к его второй дочери:

«10. VI.1914 Прошел дождь. И, думая, что Вера, запертая с утра до ночи в своей комнате, угрюмая, раздраженная и грубая, что-нибудь “дурное делает” у себя, – я вышел в сад.

Был 1-й час ночи. Все давно уснули. Я встал из-за монет (античные, определяю).

Комната ее была угловая с окном “уже по ту сторону” – и надо было почти продраться меж каких-то кустов вообще и деревьев сирени. Трудно. Далеко. И задетое дерево так и окатывает тебя вторичным дождем с листов дерева.

“Но наконец я увижу, что делает Вера ночью”.

И я терпел и лез, терпел и лез. А вот и полным светом освещенное ее окно.

Столик маленький, кой-какой, стоял в углу. Весь с книгами и тетрадями, довольно хаотичными. И моя Верочка, поставив локоть на стол и касаясь щекой кисти руки, сидела, устремив глаза в какую-то беспредметную даль.

Я довольно психологичен и написал “О Великом инквизиторе, – Достоевского”, – так что умею различать тени лица. Ни гнев, ни порок, ни тайное злоумышление от меня не укроется. И подозрительным придиричивым глазом я взглянул на “злую Веру”.

Я ее считал злой, потому что она была просто груба. К тому же не хотела наливать чаю. Я ее считал и глупой, п. ч. она была предана глупым темам гимназии.

Прокурор и отец судил свою дочь. Тайно и мысленно.

Передо мной сидело воздушное лицо. Комната – была. Лампа – да. Но заметно было, что она отсутствовала из комнаты. И даже отсутствовала вообще из нашего дома, в котором была так жестка и неудобна.

И перелетела куда-то.

Куда – я не знал.

Милое, доброе, в высшей степени умное лицо, горело какой-то задумчивостью; в котором я ясно видел, – не было никакого червячка. Вместе с тем, как можно бы ожидать в ее годы (15–16 лет), мысли не перенеслись к “кому-то”, кто завладел ее сердцем. Лицо было глубоко

свободно и самостоятельно. В лице была восхищенность, но общим миром идей, как будто она кого-то страстно убеждала и убедила. Спорила – и победила. Но самая победа разлилась по нему мягкостью и прощением, мягкостью и примирением. “Вот я шла трудной дорогой. В лохмотьях и через грязь. И все думали вы, люди (непременно вообще), что я иду через грязь, и в этих лохмотьях по любви к самой грязи и лохмотьям. И я не оправдывалась, не опровергала, потому что Вера гордая. Но я о вас же старалась и о вас же думала, – все люди (непременно ‘все’). Мне нужно было доказать трудную истину, которую вы все отвергали, но которая есть именно истина. И вот я пришла. Во мне нет больше сил, и я умру. Я умру, потому что я отдала из себя все силы, какие были, – и мне нечем больше жить. Я уже кашляю, и вы это знаете. Пусть. Мне ничего не нужно. А только вы будете помнить все, несчастные и злые люди, – что Вера была совсем не то, что вы о ней думали... И ты тоже, мой несчастный папочка, так глубоко ошибавшийся...”

Но я уже ушла, и не с вами. Нельзя ничего поправить, и все кончилось”.

Я долго стоял. Очень долго. С полчаса. Она не шевельнулась. И эта же чудная, чуть-чуть насмешливая улыбка в губах, – и вдохновенное лицо, героическое и вдохновенное. Что это было, – я не понимаю, но, очевидно, и для нее это была счастливейшая минута жизни. Ведь такие минуты вообще редки. Впрочем, о ней я не могу сказать, чтобы это было редко. Уже с 11-ти лет она точно куда-то ушла от нас. Телом с нами, душою далеко. Только именно в 11 лет мы, как-то войдя, увидели, что она намазала огромный гроб на стене у кровати, и внутри его чернилами же – точно пальцем водила:

Вера хочет умереть.

Мы все называли это “Верина чепуха” и потихоньку подсмеивались. Именно улыбки-то и смеха она и не выносила, – и потому разошлась с нами. Все “бытовое” и “домашнее” ей стало непереносимо. Она кричала и шумела на это и, хлопая дверью, – запиралась у себя в комнате.

“Вера в странствиях, – подумал я, – но – добрых. Господь с нею. У всякого свои пути”. И перекрестил через стекла окна.

Небо было беззвездное, совсем темное. И в тесноте сада стояла ночь.

Подойдя к маме, которая, как всегда, “на встречу” проснулась, я сказал:

– Знаешь, мама. Нам нечего беспокоиться о Вере. Она добрая. И ничего худого с ней не происходит. В ней нет злоумышления.

В самом деле именно с 11-ти лет, и даже раньше, всегда (об этом ниже)

она жила “вне себя”. И мысль, “куда устроить себя”, “как мне понравиться”, “что я буду делать с собою”, – ей точно не приходила в голову. Она всегда была “вне дома” – на земле, в звездах, скорее всего – в воздухе, летая, стремясь и, бедная, ушибаясь. Точно птичка сюда, туда... Крылышки устали, дома (точно) нет (в ее идеях).

Буду ли я, отец, и мы все “дома” затруднять ее. Часто видно, что она очень страдает. Да, а “забота о других до 11 лет”. Если я после 11 лет как потерял ее, то до 11 лет больше всех... даже не любил, а уважал ее.

Толстенькая, грузненькая, медлительная, в 6–7–8–9 лет она то “ловила и никак не могла поймать курицу” или “цыпленка”. А главное – всех-то, всех сестер и брата “оберегала от опасностей”, от собак, от волн моря, от подходящего поезда. Глаз ее – непременно на другом, чаще всего на резвушка Тане, которая “не щадила себя”, в беге, в проказах. И вот все за ней смотрит младшая ее на год Верочка.

“Таня, не подходи к собаке!”

“Таня, – в тебя плеснет волна”.

И бродит, бродит моя Верушка за Татьяной.

С 11, когда она “вышла из дому”, – и очевидно, что она ушла “спасать вообще людей”. С этим я связываю “Вера хочет умереть”. Так как спасти такую махину не очень легко, ни для 11, ни для 13, ни для 15 лет».

Корделия

В эту пору после всех своих личных потрясений Вера стала искать утешение в вере, но и тут все оказалось по-розановски непросто. Ее младшая сестра вспоминала одну из их прогулок в Троице-Сергиевой лавре (это было то самое лето 1913 года, которое Розанов провел с женой и дочерью Варей в Сахарне, а остальных детей отправил в Сергиев Посад под пригляд Флоренского): «Вера шла позади нас в розовом платье из легкой ткани. Она все больше отставала от нас. Я обернулась и посмотрела на нее. Меня испугала необычайная тяжесть в ее лице и во всем ее облике. Это не была тяжесть, которая идет от физической полноты. Нет. Вера была высока ростом и стройна, и платье на ней было воздушно. Но тем более меня поразила эта тяжесть. Мне стало очень тревожно и не по себе. Точно на весь этот сияющий день вдруг надвинулись тучи.

Мы шли с Верой вдвоем по узенькой мощеной улице Вифании мимо собора, Вера была очень бледна и молчала всю дорогу, время от времени искоса на меня взглядывая. Вдруг она взяла меня за руку: “Пойдем в собор!” Я сделала движение назад: “Вера, ты что?” В ее голосе мне слышались угрозы.

Был праздник Преображения, и вся церковь была украшена гирляндами свежей зелени с вплетенными в нее бумажными цветами, а у самого алтаря, справа, высилась гора, тоже вся разукрашенная цветами. По лицу Веры бродила недобрая усмешка. Неловко и в страхе я тоже попыталась улыбнуться. Сердце мое отчаянно билось. Тут было острое любопытство и страх.

Вера подвела меня к образу у левого притвора и, остановившись перед ним, плюнула в него».

А ровно год спустя:

«В конце лета мама вошла, хромая, в нашу комнату (младших) и, тяжело опустившись на кровать, сказала:

– Вера собирается идти в монастырь».

Как бы сказал по этому поводу все тот же Бердяев, русский человек – или нигилист, или апокалиптик. В Вере Васильевне Розановой сочеталось и то и другое, но, подобно своей сводной сестре, она не умела с этой гремучей, истинно розановской смесью сладить ^[106]...

Более подробно история ухода Веры в монастырь была описана ее отцом опять же в «Мимолетном» 1914 года:

«Перелом.

Верочка объявила матери, – точнее, спросила позволения (никогда ни на что не спрашивала позволения, буйная), – может ли она поступить в монастырь.

Я набивал папиросы и слушал. После ужина. Мама уже лежала в постели, и Верочка, сев на краю, – своим взволнованным и патетическим голосом, немножко баском (контральто) мотивировала:

– Послушай, мама. Мне надо с тобой объяснить. Прежние годы (в VIII кл. Стоюниной) я не сомневалась, что когда кончу, то поступлю на курсы, и именно на философское отделение (много читала все годы по истории культуры, истории искусства и литературы и по философии; Виндельбанда; и вообще брала книги у меня и у курсисток). Но эту зиму я стала колебаться; я нарочно ходила на публичные лекции, как и присматривалась к жизни и занятиям курсисток; наши курсистки (Аля, Наташа) занимаются серьезно, но это у них – личное. Сама по себе обстановка курсов ужасно мешает сосредоточению души и есть непрерывная толчея, мелькание и шум. Между тем как без тишины невозможно сосредоточение. И тишину дает только монастырь. Когда я была в Соловецком монастыре (последняя экскурсия), то, отойдя в сторону от класса, почувствовала такую общность себя со всем, что вижу, что сказала: *“Вот где мое место”*.

Потому мне хотелось пойти непременно и здесь в монастырь (Черемнецкий – около Луги, – пешком) одной, чтобы проверить свое чувство. Здесь я расспрашивала об условиях поступления в монастырь...

Зажавшись и целуя мать:

– И потом, мамочка, у тебя никто больше не будет таскать из буфета сладостей... а у папочки – книг... комната же моя освободится Васе (он без комнаты, спит в нашей спальне, а днем “притыкается” – где можно).

Я оглянулся, не плачет ли? – Нет.

– Ну, мамочка.

– Все-таки, милая Верочка, мне хотелось бы, чтобы ты кого-нибудь полюбила и вышла замуж.

– Я никакого к замужеству влечения не имею, и во всяком случае замуж не выйду (Вера).

– Полно, мама! Если мы с тобой живем счастливо, то ведь у нас особенная встреча, и такое уважение и любовь друг к другу... А рядовое замужество, чтобы стать за спину какого-нибудь самодовольного мужлана и всю жизнь ухаживать за его удобствами и покоем за то, что он “снизойдет” до тебя...

Нет, от такой судьбы избавь Бог всякую. И если она определенного влечения к замужеству не имеет – и не надо.

– Я за твое влечение, Верочка. Это – правильно. Курсы, гимназия и университет – самый пошлый шаблон, по которому идет стадо, и идет потому, что оно стадо. Все это – фразерство, пустомельство, и ты, верно, бежишь от толпы и общего пути. Ты, верно, сослалась (она раньше сказала), что тебя утомил шум и движение; и что этот шум и разговоры – отнимает, а не дает.

Она так хорошо все мотивировала. Сложнее (гораздо), чем я сказал здесь.

Мне была нужда выйти на балкон. Небо облачное, но и звездочки. Я сказал внутри себя:

– А внуки?

И первый раз в жизни почувствовал, что будут духовные внуки, что на земле слишком достаточно, до перегруженности физических внуков.

– Верочка совершит подвиг. Войдет добрым лицом в русскую жизнь, – доброю благородною фигурою. Войдя, я сказал маме:

– Я только что читал анкету мюнхенских студентов. Они все занимаются онанизмом, и так себя и расписывают с самодовольством. Да это и довольно известно по русским анкетам (в Мюнхене – тоже среди русских студентов), что же тут выходить замуж и очень вообще нужно. В замужестве, иначе как особенном, по счастью, – она не сохранит своей благородной личности. Я только радуюсь, что она особенная и на особенном пути.

Анкету я прочитал в июльской книжке “Русск. Мысли”.

Мама молчала и соглашалась.

Я думал:

– Да, *серьезный путь* в России теперь только религиозный. Но не присоединяться же к этой вобле...

Так вот откуда у Верочки “запирание на ключ” в своей комнате, которого мы так не любили, и столько раз в худом подозревали ее. “Что прячется”. Она сегодня проговорила маме:

– И знаешь, мама, меня еще в 1–2 классе тянуло к монашеству. Когда я бывала в монастыре, – он мне казался каким-то *царством*...

Так и сказала: в смысле “величия” и “достоинства”.

Я как-то горячее полюбил ее сегодня. А сколько именно Верочку я упрекал горькими внутренними упреками. Только недавно сказал:

– А знаешь, Верочка, – ты похожа на Корделию, со всеми сурова, не приветлива в дому: а я вижу по твоим взглядам мельком, как ты любишь

всю семью. И маму и меня.

Только у нее, сквозь молчание, всегда была чудная нежная улыбка. У нее улыбка “как царство”, повторю ее же слова.

Теперь спит. Господь с нею.

Все это лето (разные поводы) у меня росло уважение к семье своей. Они все хорошие, и – серьезно хорошие. Ни в ком – мелочи, пустоты, праха.

Что удивительно – ни в ком самолюбия и эгоизма. Это – отчетливо. Как хорошо, что их не хвалили, а все побранивали, – и в натуре, и про себя. (21 августа среда 1914 г.)».

Позднее Надежда Васильевна писала в мемуарах, что никто в семье не удивился бы, если бы в монастырь пошла старшая дочь – Татьяна, действительно очень верующая, очень серьезная, воцерковленная. «А Вера? С ее бурей?!.. Та Вера, в черном платье “декаданс”, с короткими волосами, которая танцевала мне по ночам, читала Сологуба, Блока, Уайльда, и эта в грубых деревенских сапогах, в черной косынке, повязанной до самых бровей, в длинной рясе... Невероятно!»

«Сегодня (31 декабря) Верочка уезжает в монастырь. Благословили ее с мамой и сестрами иконой Знамения Божьей Матери. Ее берет матушка Мария – дочь К. Арсеньева (в “Вестн. Евр.”), по указанию о. Алексея в Зосимовой пустыньке. Помолитесь о ней», – писал Розанов отцу Павлу в последний день 1914 года, и если вспомнить, сколько горьких, желчных слов в адрес монашествующих автор этого письма произнес^[107], то что это было – Промысел, ирония судьбы, насмешка, вразумление или урок?

Но В. В. был доволен. Или – делал вид, что доволен.

«Я Вам не писал о моей Верочке: знаете ли, что моя Верочка есть разрешение узла о монашестве. 1) Она пошла *sua sponte*^[108]: никто не напоминал, никто не упоминал. “Не было в дому никакой мысли ни у кого”. Вдруг отпросилась, – и непременно *одна*, – сходить в монастырь, верст за 16. “Вооружилась ножом для защиты невинности”. Взяла краюху хлеба, рубль денег – и пошла. Дня на 3. Как передала потом бонне, за *всенощной* написав “О *здрави* мамы болящей”, – подала вынуть частицу. Монах повертел в руках бумажку и сказал: “Вы лучше подайте *завтра* за обедней”. Т. е. неопытность в церковной жизни – “будто 1-й раз видит”. Выспросила все об условиях монашеской жизни. Любви и “несчастья в ней” (Лиза Калитина) – не было».

Последняя фраза звучит довольно странно с учетом того, что Розанов сам несколькими годами ранее отцу Павлу о своей дочери и ее драме

писал, но тем не менее В. В. был настроен благодушно: «До того любит монастырь, “и весь дух”, что только и бредит мыслью вернуться туда и “получить скуфейку”. И с этим – детское, милое, всегда улыбающееся счастьем лицо. Очень умна и рассудительна. Очень начитана, оч. любит Игнат. Брянчанинова “и все тамошние книги”. Для меня Верочка есть пример и образ того, “как вообще люди *натурально* идут в монастырь”».

И в другом письме: «У нее постоянная улыбка в лице. Видно, что она совершенно счастлива. Я очень рад. Она стала вся кроткая, богомольная, – хотя та же, “наша”... Вошла в монастырь, “как в свою перчатку”. Такая любовь к покорности “матушке”: а с родителями была груба и не обращала на них внимания. Я всему радуюсь: старый хороший русский путь... Она всякому “запрещению” радуется, как молодая мать своему “новорожденному”. Все это наблюдать – ужасная радость. Вот и подите: явно – врожденное. Никто о монастыре дома не говорил, ни одной монахини – знакомой»^[109].

Впрочем, у Вериной младшей сестры был более трезвый взгляд на эту ситуацию: «Монастырь, куда поступила Вера, был строгого устава. Все сестры несли какое-нибудь послушание, которое сменялось вскоре на другое, и обычно первым послушанием была работа на скотном дворе – наиболее тяжелая. Для Веры матушка сделала исключение и благословила ее на работу в трапезной. Если принять во внимание, что, живя в семье, Вера никогда не мыла даже чайной посуды, то можно представить, как трудно ей пришлось и какой неопытной должна она была себя чувствовать среди простых деревенских девушек, привыкших всю жизнь проводить в физическом труде. Мама говорила со вздохом: “Как-то она справляется там! Ведь она не знает, куда угли в самовар-то кладут, пар от дыма не отличит”».

Достать чернил и плакать

А потом случилась Февральская революция, которую В. В. Розанов поначалу восторженно приветствовал, как приветствовал революцию девятьсот пятого года, как приветствовал, покуда они не были проиграны, Русско-японскую и Первую мировую войны.

«Помню, в каком экстазе был В. В. в 1917 г. после февральской революции. Он тревожился, волновался, но вместе с тем восхищался событиями, уверял, что все будет прекрасно, “вот теперь-то Россия покажет себя” и т. д. В одном письме он говорил: “я разовью большую идеологию революции, и дам ей оправдание, какое самой революции и не снилось”», – вспоминал Эрик Голлербах, ставший одним из самых важных розановских корреспондентов в последние годы жизни философа.

«Поразительно, как “легко все случилось”, – писал и сам Василий Васильевич Флоренскому через несколько дней после февральского переворота, – забрали этих старцев в мешок и свезли всех в одну кутузку, какой-то “министерский павильон в Таврическом дворце”. И – “прежнего нет” и “все новое”. Так легко совершаются “апокалипсические времена”... Царь Николай II ушел с трона совершенно безболезненно. Ни – протеста, ни – жалобы, ни – сопротивления. Поехал на фронт “проститься”: Вы можете представить, “как бы расправился с Петербургом” Петр, Екатерина, Павел, да и всякий. Николай II простился, надел шапку и уехал, в сущности, “в кутузку”. Эта несопротивляемость его изумительна. Точно “вышел из комнаты” и “перешел в другую комнату”... Даже и событий никаких не было. “Стало трудно доставать булок в Петрограде”: *Больше решительно ничего не было.* Преспокойно народ умирал с голода в Казанской губернии в 1892 году. И как это было далеко, то никто этим и не беспокоился. Вдруг петербуржцы остались без булочек: и русской истории “бысть поставлена точка”. Оказалось, никаких “властей” и нет. Как не нашлось “власти”, чтобы устроить подвоз муки в столице, не нашлось “власти”, чтобы справиться с внутренним “немцем”, так не нашлось же власти, чтобы хотя забарахтать ногами, когда их свозили в кутузку. “Революция совершилась”, п. ч. и до революции был какой-то мираж, призрак яко бы “властительств” без всякого властительства на деле».

В этой даже не оценке, а именно что – впечатлении, фиксации момента – было много обывательского, легкомысленного, игрового, свойственного, впрочем, не одному только Розанову, но и очень многим жителям

Российского государства в семнадцатом году, и в этом смысле В. В. гениально ставил общественные диагнозы.

«Что же, в сущности, произошло? Мы все шалили. Мы шалили под солнцем и на земле, не думая, что солнце видит и земля слушает. Серьезен никто не был...» – писал он позднее в самом первом выпуске «Апокалипсиса нашего времени».

«В то время мы уже жили на Шпалерной улице в доме № 44, кв. 22, – вспоминала Татьяна Васильевна, – и могли наблюдать, что происходило, так как на нашей улице впервые затрещали пулеметы – тогда три дня к Петрограду не подвозили белого хлеба. Пулеметы установили на крышах домов и стреляли вниз по городovým, забирали их тоже на крышах, картечь падала вдоль улицы, кто стрелял – нельзя было разобрать, обвиняли полицейских, искали их на чердаках домов, стаскивали вниз и расправлялись жестоко... Однажды к нам ворвались в квартиру трое солдат, уверяя, что из наших окон стреляют. А когда они ушли, была обнаружена пропажа с письменного стола у отца уникальных золотых часов. Я уговаривала отца не поднимать шума, не заявлять о пропаже, иначе мы все можем пострадать. Сами мы, дети, выбегали на улицу, а сверху стреляли картечью. Не знаю, как из нас никто не был ни убит, ни ранен...»

Однако очень скоро на смену розановскому мимолетному восхищению («все расцвело, прежде всего расцвело. 20 дней – ни одного угрюмого лица на улице... прямо великолепные горизонты в будущем») пришли иные чувства: «Революция опять мне мерзит: не спал ночь и возненавидел русских крестьян: из какой-то деревни эти живоде́ры прислали в Петроград коллективное требование, чтобы Николая II *посадили в Петропавловскую крепость*. Когда я узнал этот ужас, я возненавидел весь русский народ, “и с дедушками, и с деточками”. Откуда это, Господи – откуда: откуда живоде́рня в душе? Что им? Что *он* им худого сделал. И Новосёлов с его пошлой Rasputiniad’ой мне стал так глуп и жалок. Ведь Новосёлов есть один из инициаторов революции. Отчего все так пошло и глупо в России».

«Помолимся о Царе нашем несчастном, который в заключении встречает Пасху, – писал он тогда же в «Последних листьях». – И о наследнике Алексее Николаевиче, и о дочерях Ольге и Татьяне (других не знаю, кажется, Анастасия).

О немке – нет...

Бедный наш царь был некрасив.

Но мы должны любить его и некрасивым».

«Нагулялись с республикой. Экая гоголевщина. Вонючая,

проклятая...»

Еще более обреченно оценка общей ситуации прозвучала в розановском письме дочери Татьяне, уехавшей в конце весны из Петрограда со слушательницами Бестужевских курсов в Рязанскую губернию (этот документ цитирует в одной из своих статей сотрудник Российской государственной библиотеки А. В. Ломоносов): «Чем больше думаю о положении России, тем больше склоняюсь к мысли о необходимости заключить даже сепаратный мир с Германией: России совершенно нечего делать, она совершенно не может, бессильна бороться с Германией, все “уханья” только пустые звуки. Держава вообще побежденная уже не может рассуждать, она должна или вынуждена вести себя пассивно, и принять условия, какие ей дает противник. Все эти “славянские народы” и “славянская политика” – чепуха. Мы разрозненные и слабосильные славяне, не имеем в ней силы, и Россия должна спасать только себя, увы – себя среди любых своих врагов. Как только “вылетел Царь” и мы получили возможность и необходимость заботиться о самих себе, так это “Великодержавное чувство” рассеялось как дым и пар, и мы возвращаемся к горестному Малодержавному чувству. Малороссия от нас откладывается, почти отложилась; Кавказу пришло тоже время; нас в сущности никто не любил, а только боялись, и когда время страха прошло – истина оказалась на лицо. Но не предавайся, дорогая, этим грустным мыслям».

Тут вот что любопытно: в мае 1917 года, когда Розанов писал эти печальные, далеко провидческие строки, практически ни у кого еще в России не было таких пораженческих настроений. Они придут позднее и захлестнут огромную страну, качнувшись от опьянения силой в четырнадцатом году к опьянению унижением и слабостью в восемнадцатом. «В трамвае ад, тучи солдат с мешками – бегут из Москвы, боясь, что их пошлют защищать Петербург от немцев. Все уверены, что занятие России немцами уже началось. Говорит об этом и народ: “Ну, вот, немец придет, наведет порядок”», – напишет Бунин в «Окаянных днях» о зиме 1918 года, и не будет большой натяжкой предположить, что те же самые люди, кто в августе четырнадцатого громили германское посольство в Петербурге и приветствовали вступление России в войну, теперь уповали на вчерашних врагов как на спасителей от большевизма. И так розановская шаткость стала предчувствием ли, отражением ли, воплощением шаткости всеобщей, всенародной.

Однако годом ранее, весной семнадцатого года, в это еще мало кто мог поверить. У победившего революционного народа жива была вера в то, что

Германия скоро будет разгромлена, а в России навечно восторжествуют демократия и свобода. И точно так же никто не думал о распаде самой страны и отсоединении Малороссии. Да и Розанов, согласно воспоминаниям Голлербаха, был до последнего времени настроен в этом чувствительном славянском вопросе иначе: «Разговор был жаркий, перекрестный, причем весь “жар” проистекал от Розанова, который весь был в потоке мыслей, образов, мимики, жестов. Он так увлекался порою, что впадал в “неприличие”. “Что? Автономная Украина?” – кричал он на девицу, набожно глядевшую ему в рот – “вот вам автономия!” – и кукиш взлетел к носу девицы»^[110].

И вот теперь такой же кукиш В. В. приставлял к носу собственному, и вчерашний «ватник», патриот-империалист, певец в стане русских воинов, женственно преклонявшийся перед мощью русского оружия, глядел на всю отечественную историю с неизбывной тоскою, возлагая надежды на немцев, и писал русофилу и немцу Петру Струве, некогда обвинившему его в органической безнравственности:

«Я всю жизнь боролся и ненавидел Гоголя: и в 62 года думаю: “ты победил, ужасный хохол”. Нет, он увидел русскую душеньку в ее “преисподнем содержании”. Ну, и как “спасали нас варяги” от новгородской “свободы”, так спасут забалтийские немцы от вторичной петроградской “свободы”. Тайная моя мысль, – а, в сущности, 20-летняя мысль, – что только инородцы – латыши, литовцы (*благороднейшая народность*), финны, балты, евреи – умеют в России служить, умеют Россию *любить* и каким-то образом *уважать*, умеют привязываться к России, – опять – непостижимым образом... “Русский” – это всегда “мечтатель”, т. е. Чичиков или Ноздрёв или Собакевич на “общеевропейской подкладке”. Гоголь сделал только какой-то неверный план в освещении, неверно поставил “огни”; Гоголь вообще был немножко не умен. Но глаза его были – чудища, и он все рассмотрел совершенно верно, хотя и пробыл в России всего несколько часов. Он всю нашу “Государств<енную> Думушку” рассмотрел, сказав, что ничего, кроме хвастовства и самолюбия, чванства и тщеславия, русские никогда и ни в какую политику не внесут. Это вовсе не “империалисты”, не “царисты”. Это *privats Menschen* – а в сущности – крысы, жрущие сыр в родных амбарах. И кроме запаха сырного ничего не слышащие. Это те же всё мужики, которые “нацарапали у помещиков по поместьям” и нарядились в наворованное добро... И вот, при всем этом, – люблю и люблю только *один* русский народ, исключительно русский народ... У меня есть ужасная жалость к этому несчастному народу, к этому уродцу народу, к этому котьке

– слепому и глупому. Он не знает, до чего он презренен и жалок со своими “парламентами” и “социализмами”, до чего он есть просто последний вор и последний нищий».

Из этого письма, как правило, цитируют одну только фразу про победившего ужасного хохла – действительно афористичную, яркую, а между тем не менее важен здесь розановский плач о гибели земли русской и падении русского человека как плач о самом себе. О своей семье, своих детях. И неизбывная жалость и отождествление себя и всего русского. И когда Розанов писал о своем видении русского пути Флоренскому, то впечатление такое, что писал он о своем характере, о своей сырой «вечно-бабьей» натуре: «Всю ночь сегодня думал о русской истории. И везде – слабость, слабость, слабость. Мы с Вами, конечно, не станем на сторону католичества и лютеранства, не пойдем за Бердяевым или Мережковскими и останемся при “старых слабых богах”, наших “угодниках”: ибо они нам всех милее, милее и бл. Августина, и Оригена. Но если взять собственно *работу* и *силу*: то несоизмеримость всего русского с западным – поразительна. Мы именно милая, тихая и замирающая страна... Русская история вообще не имела в себе силы сопротивления. Кому и когда она сопротивлялась? Нужно же было, чтобы каких-то 500 000 татар, собственно *орды* – т. е. хаоса “некрещеного”, завладела всею Русью и владела 240 лет, и русские барахтались под ордою и “ничего не могли поделать”. Тоже – половцы. Тоже – печенеги. “Ничего не можем сделать”. Одолели одного Наполеона: но ведь явно, что “Антихрист и шел в погибель”, придя с 500 000 армии “на край света” завоевывать державу “от Белого до Черного моря”. Туг победа не в Кутузове и не в Бородине, а в том, что Наполеон “забылся” и стал “безумствовать”.

Росла Русь. Почему? Да на Востоке – пески. Русь множилась и вращалась в пески, пустыни, степи. “Естественное распространение травы”. Все наши войны вплоть до Японской были пустые. “Побеждали персов и турков”, “завоевывали Кавказ”, “Кучук-Кайнарджирский мир”, и гимназисты ликуют. На самом же деле ни одной трудной войны и ни одной “дорого стоившей победы”. Суворов – единственная и притом действительно прекрасная и святая личность в “военных летописях России”. Петр был трус и при Полтаве, кажется, спрятался (вообще при Полтаве победил Меншиков). Затем Св. Александр Невский, Владимир Мономах. Димитрий Донской и Ермак Тимофеевич: все это более мифы, чем история. Суворов был и остался – один... Россия и всегда была *безгранично слаба*.

Мы – нация певучая, тоскливая, сказочная, плутоватая... Полная анархия. Анархичность русских, анархичность *от бессилия* – чудовищна. “Мы собственно ничего не можем”: и это самая суть русских. Суть – в какой-то тоскливой и скучной импотенции.

Солнышка мало: суть».

Это разочарование и саморазоблачение, сей одновременно нежный, влюбленный и самоубийственно нигилистический конспект русской истории есть не что иное, как вольное или невольное отрицание знаменитого пушкинского письма Чаадаеву от 1836 года: «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы – разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие – печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, – как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человека с предрассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал...»

В сущности, именно Пушкин из глубины веков дал ответ не только Чаадаеву, но и Розанову, однако есть начало, их объединяющее: В. В. был тоже из тех, кто «отечество не выбирает», свою страну любит такую, какая она есть, и ни при каких условиях от нее не отрекается. А уже частично цитировавшийся в начале этой книги «опавший листок» – «Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить именно когда она слаба, мала, унижена, наконец глупа, наконец даже порочна. Именно, именно когда наша “мать” пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, – мы и не должны отходить от нее... Но и это еще не последнее: когда она наконец умрет и, обглоданная евреями, будет являть одни кости – тот будет “русский”, кто будет плакать около этого остова, никому не нужного и

всеми плюнутого. Так да будет...» – отозвался в те разрушительные революционные дни особенно пронзительно, только вот с евреями все оказалось по-розановски непросто.

В египетском зале

В августе 1917 года на семейном совете было решено уезжать из Петрограда ввиду возможного захвата города немцами, да и в целом общего ухудшения ситуации. Обсуждали три варианта: Великий Новгород, где жил старинный знакомый и корреспондент Розанова еще с начала века протоиерей Александр Устьинский; Полтаву – там работал помощником прокурора родной брат Варвары Дмитриевны Тихон Дмитриевич Руднев, и наконец – Сергиев Посад, где несколько лет подряд отдыхали дети Розанова и где жил Флоренский.

В итоге на последнем и остановились, причем решение было скоропалительное, ибо еще 9 августа 1917 года отец Павел фактически попрощался с В. В.: «Кто знает, увидимся ли мы» – а четыре дня спустя, получив новое письмо из Петрограда с просьбой подыскать столичной семье жилье, несколько удивленный, поспешил ответить: «Имеется великолепный (по Посаду) дом преп. Беляева с удобствами. Советую не упускать его, ибо в Посаде квартир даже неудобных нет. Ц. 60–70 р. Это очень дешево... Относительно провизии неважно, но лучше, чем в Москве, а значит, гораздо лучше, чем в Петрограде... Дом Беляева удобен тем, что там вся обстановка, кровати, даже посуда и утварь. Подушки Вам хотят дать Александровы».

Примечательно, что это были те самые славянофилы Александровы, с которыми Розанов был знаком в пору своего первого периода славянофильства и с которыми тогда же отношения его не сложились, в том числе по причинам финансовым^[111], – совпадение, оказавшееся дурным предзнаменованием в новом повороте сюжета «В. В. и русская партия».

«Вы спрашиваете, отчего мы так “секретно” покинули Петербург? – писала Н. В. Розанова Э. Голлербаху уже после смерти отца. – Трудно Вам ответить, надо знать несколько странную психологию нашей семьи. Просто “решили”».

«В 1917 году семья В. В. Розанова переехала из СПб. в Серг<иев> Посад. Семья поселилась на Красюковке, ул. Полевая, в доме-даче священника Беляева, – писала она же в воспоминаниях, сохраненных ее старшей сестрой^[112]. – Дом был большой, двухэтажный, верх деревянный, низ – каменный – сырой и неуютный; дом требовал много дров и работы: 5 печей-голландок, белые деревянные полы. Дом был не по силам и не по нашим средствам тогдашним, а затруднение в переезде на другую квартиру

состояло в том, что большая библиотека В. В. Розанова и громоздкая мебель не уместались в утлых маленьких домишках Посада. <...> Надо было как-то перестроить весь обиход жизни на новый лад, а как все это сделать, мы не знали и не умели найтись в новых обстоятельствах жизни».

Ситуация была очевидной. Городская семья, привыкшая к центральному отоплению, водоснабжению и канализации, которые уже были повсеместно распространены в центральной части Петербурга, оказалась фактически в деревенских условиях, когда надо было самим покупать дрова, топить, таскать из уличного колодца воду, выносить ведра с отходами и нечистотами, а средств на содержание прислуги не было. И одно дело – лето, другое – зима, для которой этот прекрасный просторный дом был неприспособлен так же, как и его новые жильцы. Розановская любовь к быту и неумение этот быт самому налаживать обернулись против него^[113].

«Внизу помещалась большая комната – столовая, сырая, с зелеными пятнами по углам, – вспоминала Татьяна Васильевна. – К ней примыкала кухонька, в которой стояла длинная плита, на которой мама готовила обед для всей нашей семьи со старухой-нищенкой. Мама сама ничего не могла делать, у нее была парализована левая рука и частично правая нога, и она с трудом ходила, но все же еще руководила всем домом. А что готовилось на этой плите? В большой эмалированной кастрюле варились пустые щи, в них была свежая капуста, немного картошки, соль, мука, морковь и больше ничего. На второе же была каша из зерен пшеницы, без всякого масла, или пшенная, хлеба почти никакого не было; бывало, что фунт хлеба делили на пять человек, а то больше ели лепешки из дуранды, или из свеклы, очень редко из овсяной муки, это считалось уже очень вкусно. Изредка доставали где-то конину и тогда варили с ней щи, но она была такая сладкая, что с трудом ели. Да через день брали три крынки хорошего густого топленого молока у соседей – трех старушек».

На самом деле для революционного времени это был не такой уж и плохой стол, однако давно отвыкший от материальных тягот Розанов писал Садовскому: «...душа моя полна *глубокого отчаяния*, и с 4-мя детьми (2-я дочь, Вера, ушла в монастырь и *счастлива*) я замерзаю, в холоде и голоде. *Неужели ни один человек в России не захочет и не сможет меня спасти?* Что делать: научите, спасите, *осветите пути жизни*. Воображение мое полно мыслей, я могу и многое могу: но я – *ничего не умею*. Однако способен чистить сапоги, ставить самовары, даже носить воду, и вообще способен к “домашним услугам”. Не говоря о “чудных вымыслах”, к которым храню дар как Фет. *Крепостное право* я всегда рассматривал как

естественное и не унижительное положение для таких лиц или субъектов, как я: ну, что же, мы не находим себе места в мире, мы не находим модуса, формы труда. Мы не можем изобрести, придумать: как нам жить? И мы можем стать только за спину другого, сказав: “веди, защити, сохрани. Мы будем тебе покорны во всем. Послушны, работящи (о лени нет и вопроса). Мы будем все делать тебе. А ты дай нам, и с семьей, которая тоже идет в крепость тебе, – пропитание, хлеб, тепло, защиту”.

Мне всегда это казалось правдою и естественным состоянием неумелых, а следовательно, и беззащитных людей. И у Суворина я чувствовал себя беззащитным человеком, “которого только курица не обидит”. До того я слаб, мерзок и глуп, что не умел, пока был жив еще старик, попроситься ему “в крепость”. А теперешние молодые люди, его потомство, не поймут уже моей великой и спасительной мысли социального и (религиозного) крепостничества».

«Прежде я любил Розанова почти до обожания, – отзывался Садовской впоследствии в своих «Заметках», возможно, имея в виду в том числе и это отчаянное «рабское» письмо. – Соловьева не очень. Теперь наоборот... Никогда Соловьев, доживи он до 1917 г., не унизился бы так, как Розанов».

Осенью семнадцатого года, когда прижились, освоились и стало понятно, что семья осела на новом месте надолго, Татьяна Васильевна съездила в Петроград и сумела привезти оттуда часть мебели и библиотеку. Конечно, полностью воссоздать привычный уклад было невозможно, но тем не менее жизнь на некоторое время наладилась. Потом, когда угроза немецкого наступления отпала, младшие дети вернулись доучиваться в Петроград, где всё это время оставались Аля с Наташей Вальман. Вера спасалась в монастыре, а Розанов с женой, старшей дочерью и сыном привыкал к посадской жизни. Время от времени он ездил в Москву, где жили Булгаков, Бердяев, Гершензон и, поскольку дорога была трудна и отнимала много времени, а поезда ходили с перебоями, случалось, оставался в городе ночевать. Бывал он также и у своего давнего знакомого Онисима Борисовича Гольдовского, и бог знает, вспоминали ли двое Брянск, первую несчастливую розановскую книжку, коварную Аполлинарию Прокофьевну, доживавшую свой долгий век в Крыму, но концы и начала жизни действительно смыкались.

Еще двумя добрыми знакомыми В. В. в последние годы его жизни стали издатели – Виктор Романович Ховин и Георгий Адольфович Леман-Абрикосов. Первый выпускал в Петрограде журнал «Книжный угол», где Розанов печатал свои последние тексты (на одном из них было посвящение «Милому Ховину, так сумевшему понять меня и *защитить*, как никто

еще»), однако познакомиться лично им так и не удалось, и сохранилась лишь частично переписка, а о втором – москвиче, представителе знаменитой династии кондитеров Абрикосовых, основавших фабрику, которая ныне носит имя Бабаева, филологе, переводчике, выпускнике Тартуского университета – Розанов писал Голлербаху: «Леман же, о коем я думал всю ночь предыдущую, вот что такое: это... личность нравственно гениальная, абсолютно чистая и бескорыстная, никакое не “пузо” и “сам”, а скромнейший, милый, удобный человек, с женою-другом, которая и читает его письма и слушает его проекты и прекрасна как флорентинка из-под кисти Боттичелли. Но – “наш весь русский”. Вы понимаете, какая это рабочая сила в наш искореженный, неправильный век, в век тысячи зубных болей без единого пластыря».

И все же самым родным, самым близким спутником и собеседником В. В. в эту пору становится Сергей Николаевич Дурылин, чьи дневниковые записи и воспоминания о Розанове («Дурылин – на редкость человек», – писал В. В. Перцову) оказались наиболее полным художественным свидетельством о последнем периоде жизни уездного философа и – забегая вперед – о его кончине.

«Мы шли с Вас. Васил. в Музей Александра III смотреть египетский зал. Было устроено так, что мы будем смотреть одни с хранителем А. А. С., и сколько нам захочется. С В. В-чем – с “Из восточн. мотивов”, с “В мире неясного и нерешенного” – смотреть египетский зал – мумии, талисманы, фаюмские портреты! Я предвкушал не удовольствие даже, а потрясение.

Мы шли мимо храма Христа Спасителя. Купол его ослепительно блестел. Мы о чем-то говорили. Не о Египте. Так, о чем-то. И вдруг В. В. остановился, схватил меня за рукав пальто и, строго и возмущенно глядя в лицо, сказал:

– Какую глупость написал Достоевский в “Легенде об инквизиторе”, будто католичество тем погрешило, что ввело в религию авторитет и тайну! К-а-к-а-я же религия возможна без а-в-т-ори-тета и та-й-н-ы? – тоном величайшего изумления, точно у него что-то “ахнуло” в душе на глупость Достоевского, произнес В. В.

И пошел в музей через дорогу. Перед этим ни слова не было говорено ни о религии, ни о Достоевском. У него шла своя мысль непрекращающеюся волною, и никто никогда не знал, о чем бьет эта волна. Он и сам, я думаю, этого не знал, а всплеск – иногда высоко! высоко! дерзостно высоко! неудержимо силен и резок! – мы видели в виде такого вот его неожиданнейшего замечания, изумительного письма, в виде парадоксальнейшей статьи, неожиданнейшего утверждения, совершенно

противоположного тому, которое были вправе ждать от него.

В музее В. В. внимательно, но как-то скользяще, без зацепки, осмотрел египетский зал. Почти ничего не говорил. Было только приметно величайшее уважение, с которым он смотрел на дела рук, духа и культуры древних египтян, которые всегда были ему так дороги и любы. А в зале средневековой христианской Европы, где всё в музее – имитация и копии, перед дверями готического собора, пред христианскими надгробиями, он вдруг заговорил горячо, живо, с зацепкой – о христианском искусстве, о том, что оно выше всего, о том, что все скучно и мертво перед ним. Это было так неожиданно; что я выпучил глаза на него – и даже не мог, от изумления, поддержать этот интереснейший для меня разговор. Что же его “зацепило”? – Что-то, чего мы никогда не узнаем. Через его душу и мысль лились волны.

Однажды я его спросил в Посаде, узнав, что он только что вернулся из Москвы, зачем он туда ездил, когда ездить туда трудно, недешево, толкотно и неприятно.

– Я ездил поцеловать руку у Владимира Ивановича Герье. Ведь он мой профессор.

И это была правда. Я знаю, что он поцеловал руку у Герье.

О Буслаеве он не мог говорить без волнения и благодарного умиления.

Он был старый студент.

Он был дитя».

Скорее всего, так и было. На склоне лет Розанов не только возвращался в детство, но и оглядывал прошедшую жизнь, вспоминал всех своих учителей с благодарностью, да и по сравнению с тем, что наступило теперь, прошлое действительно казалось сказочным, а прежние упреки бессмысленными. В настоящем же российская история вырывала повод и неслась, не разбирая дороги, и еще раньше, весной и летом семнадцатого года, когда в страну вернулся и громко заявил о себе человек, некогда учившийся в той же гимназии в волжском городе, что и Розанов, В. В. поставил свой диагноз:

«Ленин отрицает Россию. Он не только отрицает русскую республику, но и самую Россию. И народа он не признаёт. А признаёт одни классы и сословия, и сманивает всех русских людей возвратиться просто к своим сословным интересам, выгодам. Народа он не видит и не хочет... России нет: вот подлое учение Ленина. Слушавшие его не разобрали, к чему этот хитрый провокатор ведет. Они не разобрали, что он всем своим слушателям плюет в глаза, называя их не “русскими”, а только “крестьянами”, вероятно, будущими батраками немецких помещиков-агариив.

В этом и состоит расхождение ленинцев с Временным правительством, которое имеет перед своими глазами уважаемую Россию и соблюдает ее интересы, честь и достоинство. Ленин обращает Россию в дикое состояние. Он очень хитер и идет против народа, хотя кричит, что стоит за народ. В его хитрости и наглом вранье надо разобраться. Должны разобраться, что он отнимает всякую честь у России и всякое достоинство у русских людей, смешивая их с животными и будущими рабами Германии.

Временное же правительство стоит за честь России. И оно должно стоять твердо, нимало не колеблясь ни в которую сторону, и даже до героизма и готовности пострадать. Оно уже рискнуло головами, борясь с Николаем II, и доставило России свободу. Оно должно помнить, что когда вся Россия присягнула ему в повиновении, то она присягнула никак не рабочим и не восставшим на царскую власть полкам, а присягнула на повиновение избранникам всего русского народа, от Балтийского моря до Великого океана и от Архангельска до Кавказа. Вот кому она присягнула и кому повинуетсся с уважением и любовью. Нужно не забывать этого явного происхождения русской революции и русской республики. Россия пристала не к рабочим и не к солдатам, а она пристала к избранникам всей России, всего народа, *всех ста пятидесяти миллионов*.

Россия шатается от безвластия.

Россия не повинуетсся и не обязана повиноваться Петрограду. А Петроград обязан повиноваться России. Вот слово, которое надо завтра привести в действие».

Статья эта, написанная для «Нового времени», опубликована не была и впервые увидела свет в парижском сборнике розановской публицистики «Черный огонь» в 1991 году, то есть ровно тогда, когда созданное Лениным государство прекратило свое существование. А в семнадцатом событиях шли по нарастающей, и в декабре рокового русского года Розанов писал Дурылину: «...все, что пекло душу в годы долгой “критики”, уже 30 лет, – о чем я стонал, выл, кричал: о Гоголевщине, о Гончарове, о Тургеневе, – о всем, о всем, что они все прошли “мимо тишины”, мимо “храма”, мимо святого на Руси, всего, всего святого и праведного в ней: что по существу дела вся литература была такою без’идеальною мерзостью, без’идеальною и еще бездельною, и вот она тунейдная и звавшая только революцию, вечно и всегда, в каждой строке журналов и газет – одну революцию, Парижскую или Берлинскую, или хоть Савойскую: наконец дождалась ее в виде Ленина и большевиков и красногвардейцев, и “лягушки, просившие Царя из своего болота”, получили наконец Царя – Троцкого и Ленина, а все “Временное правительство” под крепким замком в Петропавловке. Ох, устал писать. Не

могу. Склероз. Пусть это будет мое письмо и завещанием».

Маг и магги

Это «устал писать» все чаще и чаще встречалось в его письмах. Силы покидали нашего неустомимого героя, и хотя до Сергиева Посада общественные перемены доходили не так скоро, а в монастыре по-прежнему продолжали служить, революция чувствовалась и здесь. И главное изменение и отличие ее от всех предыдущих общественных потрясений заключалось лично для Розанова в том, что он не мог не ощутить хрупкость, ненадежность не только самого рушащегося, исчезающего на глазах старого мира, но и собственного положения в мире новом.

Жизнь в очередной раз стремительно поменялась, но если раньше он с полным правом писал о том, что его несет с собой стихия, то теперь новый поток выбрасывал философа вон, не брал с собой в обещанное народу светлое и грозное будущее. Литература, журналистика перестали приносить доход, а все былые заслуги В. В., говоря языком более поздних времен, обнулились. Это происходило не только с ним. Так, Михаил Пришвин угодил вскоре после октябрьского переворота как сотрудник правозэсеровской газеты «Воля народа» в Петропавловскую крепость и впоследствии вспоминал:

«Во время ареста... про меня кто-то сказал:

– Это известный писатель.

Арестующий комиссар ответил:

– С 25-го числа это не признаётся».

В случае с Розановым, которого Ленин аттестовал как «нововременца и полового психопата», писательская, журналистская известность не только не признавалась, но и в глазах новой власти однозначно свидетельствовала против ее обладателя. На Розанове стояло несмываемое клеймо политического реакционера и черносотенца, а могла ли быть худшая репутация в послереволюционные годы? Так В. В. в очередной и последний раз в своей жизни сделался мишенью и всеобщим врагом. Но теперь ему угрожали не мирные либералы, не косные церковники и не лукавые декаденты, а – новые власть имущие, и это была не бессильная бюрократическая царская Россия, не Синод, годами рассматривающий дело о его отлучении от церкви, а грозное молодое большевистское государство, которое не забывало, не прощало, не откладывало и не прекращало ничего.

В сентябре 1918 года Розанов писал сотруднику Музея Александра III

А. А. Сидорову, тому самому, кто водил его по египетскому залу: «Мы с С. Н. Дурылиным думали: “Что?” “Как?” Придут большевики совершать обыск, в Лавре особенно подозревается “контрреволюционный заговор”, – и в заключение к моему ужасу дочь Варвара, служившая в Совдепе, сказала: “Сослуживец мой, который к тебе, папа, очень враждебен, сказал мне: ‘Я не интересуюсь сочинениями Вашего отца, но он стоит в списке, у него будет произведен обыск’”».

Обыска не было, но двумя месяцами спустя Блок отметил в записных книжках: «Вл. Гиппиус принес известие, что... расстрелян В. В. Розанов (за брошюру о Николае II?). Сын его (Вася) умер (где-то в Нижнем, куда ушел чернорабочим), а дочь (Вера) – в монастыре».

В этой записи были фактические неточности, да и никаких брошюр об убиенном императоре и его семье Розанов не писал, а в том, что касалось государя, на которого у В. В. было, как всегда, несколько точек зрения, то самая сердечная и мудрая из них прозвучала так: «И мысль, что нет на Руси у нас Государя, что он в Тобольске, в ссылке, в заключении – так обняло мою душу, охватило тоской... что болит моя душа, болит и болит. Я знаю, что правление было ужасно, и ни в чем не оправдываю его. Но люблю и хочу любить Его. И по сердцу своему я знаю, что Царь вернется на Русь, что Русь без царя не выживет... Страшно сказать: но я не хочу такой России, и она окаянна для меня. Для меня “социал-демократическая Россия” – проклята».

В этом смысле он был, конечно, гораздо ближе к Бунину, чем к Блоку или к Брюсову, и с таким настроением делать в новом обществе ему было точно нечего, тут даже органическая эластичность не могла помочь.

Между тем материальные условия семьи и состояние здоровья Розанова ухудшались.

«Продуктов вне базара (среда, пятница, воскресенье) никаких. И в довершение (убийства) душевного сделалось “недержание мочи и кала”», – писал он Перцову.

«Жили продажей вещей, мебели, книг. Мы сменяли большой буфет орехового дерева на шесть пудов ржи, а дубовый стол – на картошку, – вспоминала Татьяна Васильевна. – Посуду всю меняли на яблоки, то на молоко. Кое-какую одежду, более нарядную, тоже меняли на продукты в деревню. Был такой старичок, который этим занимался, он хорошо к нам относился и с риском для себя привозил нам продукты, ведь везде стояли заградительные отряды и менять тоже не очень-то давали... Все же голод был ужасный, но тяжелее всего было матери и отцу, так как они были старые и отсутствие масла сказывалось больше всего на них. Они оба очень

похудели и стали какими-то маленькими и совсем слабенькими... Голод все увеличивался. Дров почти невозможно было достать, а дом был большой, наверху было пять комнат, одна большая, в которой был папин кабинет и впоследствии размещалась его библиотека, в других комнатах были наши спальни. Печи были большие, хорошие, голландские, требующие хороших дров. Керосин тоже стал исчезать, сидели с коптилками и по вечерам, захлебываясь, читали».

В архиве Флоренского сохранилось последнее отчаянное письмо Розанова, касавшееся именно старшей дочери, посланное 4 марта 1918 года, в Прощеное воскресенье: «Дорогой отец Павел! Не зашли ли бы Вы к нам. Очень надо видеть. Ушла вчера часов в 11 дня наша Таня, ушла с негодованием и презрением в душе, из нашего дома, сказав, что “пойдет искать где-нибудь *места*, работы”. Мы в муке и само-презрении. Может, Вы что-нибудь знаете, она что-нибудь Вам говорила, советовалась. *В. Розанов*».

Судя по всему, конфликт удалось уладить. Татьяна Васильевна позднее в своих воспоминаниях писала о работе в комиссии по охране памятников культуры, которую нашел для нее отец Павел, но моральная ситуация в семье была не менее тяжелой, нежели в пору недавних «опытов» ее главы. Только вот бежать теперь бедной Тане было некуда...

«Какое у Тани настроение? Поцелуй ее крепко и скажи, что я ее очень люблю и очень благодарна за поддержку семьи... Бедную Таню мне очень жаль, она истинная подвижница. Истинным настроением монашеским повеяло мне от ее спокойного среди всех испытаний письма, выдержанного, проникнутого глубокой верой и любовью. Я ее бесконечно люблю и уважаю», – писала из монастыря сестра Вера сестре Надежде.

Летом 1918 года Розанов отправил письмо в Совет Московского общественного управления архивным делом с просьбой зачислить его на одну из открывающихся должностей, описав в заявлении свой жизненный путь и делая акцент на работе педагогической и чиновничей, а о реакционном «Новом времени» благоразумно умалчивая, но на службу его все равно не взяли.

Больше успеха имело другое обращение.

«В Литературный Фонд.

Прошение о пособии коллежского советника

и газетного сотрудника Василия Васильевича Розанова.

Находясь в безвыходном положении вследствие полного прекращения какого-либо заработка, имея 63 года и страдая склерозом головного мозга,

угрожающего мне постоянным ударом по приговору лечивших меня в Петрограде врачей А. И. Карпинского, Леон. Роб. Шернваля и Ал. Ст. Жихарева, – обремененный семьею из больной жены и пяти человек детей, – прошу покорно Литературный Фонд изыскать какой-либо способ длительно помочь мне дожить печальный остаток дней, посвященных всецело литературе. И в случае, если бы Литературному Фонду удалось назначить мне пособие, прошу выслать оное по адресу:

Сергиев Посад, Московской губернии Красюковка

Полевая улица, дом священника Беляева

Василию Васильевичу Розанову.

С почтением остаюсь Василий Розанов

28 июля 1918 года».

Помощь была оказана, хотя и небольшая. Возможно, именно благодаря этим пособиям в розановских последних записях изредка появлялись строки, напоминающие лучшие страницы «Уединенного» и «Опавших листьев»:

«Ничего нет счастливее, ничего нет блаженнее, ничего нет истинно прекраснее, как ходить на базар. На этот деревенский базар у Троицы Сергия.

Присматриваться к яйцам, велики или малы, весенние (апрель) или осенние. К творогу, к сметане. О масле не помышляю (12 р. фунт). Какие говоры, речи. Отдельные выражения. Базарный язык – лучший в свете по жизненности. – Но может быть что-нибудь лучше есть в свете? Напр., Пушкин? – Нет... разве что...

Вот что, еще лучше есть в свете: есть белоснежный творог с обезжиренным молоком (чуть-чуть присыпав сахарных крошек)».

Этот чудесный творог стал для него едва ли не мерилем всех вещей. Недаром, описывая в одном из последних писем Голлербаху свою поездку в Москву осенью восемнадцатого года, Розанов с немалым пиитическим восторгом вспоминал обед, который дал в честь своего автора издатель Георгий Леман:

«Подали:

чудные рисовые котлеты.

И я съел три.

Кажется: суп. Не заметил. Или щи. И... главное, главное

ТВОРОГ

– и со сметаной, коей весь грустный год я даже не попробовал. И – с молоком. И – немножко сахара толченого. “Как прекрасное *БЫЛОЕ*”.

С мыслью и жалостью, что “мои” этого не имеют в Посаде, я все это кушал, и для творога еще раз подставил “как будто рассеянно” тарелочку».

Самому Голлербаху, впрочем, больше запомнилось другое из последних розановских дней. «Не раз приходилось унижаться ради куска хлеба. Писатель, всю жизнь упорно трудившийся, собирал окурки у трактиров и на вокзале, чтобы из десятков окурков набрать табаку на одну папироску. “Из милости” пил чай у какого-то книготорговца. Но все так же kloкотала в нем мысль, жажда жизни, жадный интерес к людям, – писал он в мемуарах. – Как человек, голодный и холодный, он “сдал”. Но как писатель не “поджал хвоста” и ни к чему не “примазался”. Бегство Розанова в 1918 г. в Сергиев Посад многие объясняли малодушным желанием скрыться с горизонта. Отчасти это верно. В. В. пережил состояние отчаянной паники. “Время такое, что надо скорей складывать чемодан и – куда глаза глядят”, говорил он. Но вовсе не был он трусом. В московской газете “Вертоград” он помещал статьи довольно рискованные и в своем “Апокалипсисе” обнаружил не малое бесстрашие. Осенью 1918 г, бродя по Москве с С. Н. Дурылиным, он громко говорил, обращаясь ко всем встречным: “Покажите мне какого-нибудь настоящего большевика, мне очень интересно”. Придя в московский Совет, он заявил: “Покажите мне главу большевиков – Ленина или Троцкого. Ужасно интересуюсь. Я – монархист Розанов”. С. Н. Дурылин, смущенный его неосторожной откровенностью, упрашивал его замолчать, но тщетно. Что бы ни творилось в России – он любил Россию, любил страстной, ненасытной, преданной любовью. Не слепая это была любовь, не зоологический патриотизм: вера, вера в Россию, нежность к ней безмерная».

Сергей Николаевич Дурылин ни о чем подобном, правда, не писал, но вспоминал: «Однажды в холодную осень 1918 г. вижу, он, в плаще, худой, старый, тащится по грязи по базарной площади Посада. В обеих руках у него банки.

– Что это вы несете, В. В.?

– Я спасен, – был ответ. – Купил “Магги” на зиму для всего семейства. Будем сыты.

Обе банки были с кубиками сушеного бульона “Магги”. Я с ужасом глядел на него. Он истратил на бульон все деньги, а “Магги” был никуда не годен – и вдобавок подделкой.

Удивительна, удивительна судьба его!

Василий Васильевич влезал в топящийся камин с ногами, с руками, с головой, с трясущейся сивой бороденкой. Делалось страшно: вот-вот загорится бороденка, и весь он, сухонькой, пахнущий махоркой, сторит... А

он, ежась от нестерпимого холода, заливаемый летейскими волнами, лез дальше и дальше в огонь.

– В. В., вы сгорите!

Приходилось хватать его за сюртучок, за что попало, тащить из огня...

– Безумно люблю камин! – отзывался он, подаваясь назад, с удивлением, что его тащат оттуда.

Это слово “безумно” у него не сходило с языка: “безумно хочется тепла”, “безумно хочу сметаны!”, “безумно хочу щуки!” – и ничего этого не было, не было, не было. Были ужасные, разваливающиеся, колючие лепешки из жмыха.

Это было зимою 1918 г.

В нем была величавая, детская, изумительная и изумляющая наивность.

Даже не детская: он был иногда наивен, как березовый листок, развернувшийся под солнцем на ветке и, вероятно, думающий, что солнце светит для него и будет всегда светить.

Ветку с листком сорвали. Она очутилась в венике. Веник употребили, на что обыкновенно употребляют веник.

А листок все ждал, что на него по-прежнему будет светить солнце.

Он ждал солнца. Он был наивен.

А может быть, он был мудр?»

Так это было или не так, но под конец жизни В. В. все больше приходил к тому, от чего ушел в детстве, – к голоду, холоду, беспросветности, – и выход из этого сжимающегося кольца нужды видел лишь в одном.

Бегство в Израиль

«По всему вероятно я перейду в еврейство (помешает только лень) (но, *став евреем*, – я уже обязан не лениться: нация вечной эрекции). Но из всего хода моих мыслей, с 1898 г. и несколько ранее, – это должно было последовать: в сущности, я вовсе не христианин и никогда им не был. Два человека, не знавшие друг друга, сказали мне: “На вас крещение *будто не подействовало*”. Да. Вовсе. Сказали это Рцы, около 1906 г., и Флоренский – в 1918 г., – оба с большой задумчивостью и удивлением. Собственно я *бывал* настолько христианином, насколько *с ним совпадает и еврейство*, насколько само христианство вышло “от корня Иуды”. Но везде, где начинается расхождение, я даже и минуты не колебался становиться на сторону евреев».

«Вы знаете, я переменялся к евреям. Я теперь полюбил их, и, думаю – *последнюю и вечную любовью*. Но тут много тайн. В основе: это есть самая нежная и *деликатная* (единственно по-настоящему деликатная) раса в истории. “Видел, видел, видел!!! Знаю, знаю, знаю!”».

Это – еще одна его точка зрения на известный предмет, еще один, практически уже аккордный виток взаимоотношений нашего героя и с еврейством, и с христианством.

Русскую революцию Розанов воспринял не просто как политический переворот и даже не как геологический катаклизм, но – как окончательное поражение Христа и торжество Израиля, и это – один из самых кардинальных выводов, к которому В. В. пришел в конце жизни. Конечно, в этом суждении было много отчаянного, нервного, болезненного, возможно даже юродского, но вряд ли конъюнктурного. Стремительное разрушение прежнего уклада русской жизни и православной цивилизации – то самое знаменитое «Русь слиняла в два дня. Самое большее в три» – стало в глазах Розанова свидетельством изначальной непрочности и порочности христианства по крайней мере в его национальном изводе. Однако при этом новый розановский разворот в сторону еврейства, качание его маятника случились несколько раньше.

«В сущности, мы ужасно похожи на жидов, и это наша честь, – писал он Флоренскому в одном из последних петроградских писем летом 1917 года. – С жидами спорить нам совершенно не пристало. Безумная ошибка. Они будут богатые и *скучающие*, мы около них – *радующиеся*, нищие; они нас будут *очень любить, очень ценить*. Вы знаете ли, что у евреев есть

безумная привязанность к русским, и – бескорыстная. Еврей русского ставит в 1 000 000 раз ценнее всякого немца, и он – ценнее и есть, “с душою”, “лучше”, поэтичнее, но – сволочь “в строительном отношении”. Русские – Лазарь, вечный; еврей – богач на лоне Авраамовом. И – связь неодолимая, связь вечная. Богач на лоне Авраамовом вечно и с завистью глядит на Лазаря, который копошится во вшах: и будет превосходно обирать эти вши, и превосходно *будет помогать русским* хоть сколько-нибудь не подохнуть. У русских была просто ошибка строить царство. Какое же “царство”, если русский не умеет “избы построить порядочно” и “прожить толком с семьею”. Много ли Вы видали “семей русских”. “Домов русских”. Ничего подобного. Русский – прощальга, мошенник и музыкант. Таким и ударимся в это, расположимся по этому плану. Революция, конечно, пройдет, конечно, восстановится царство, да что в том толку: оно будет такое же паршивое и глупое, как и предыдущее».

Так, по логике В. В., если не получилось и никогда не получится русское государство, если не удалась наша история и христианство на Руси потерпело поражение, значит – надо идти к евреям и подшивать подошвы у Ривок. Вот если угодно, новый и последний розановский завет.

«Могло ли лучшее христианское царство, одно еще верившее Христу и на Него уповавшее, разлететься в пыль в три дня без какого-то заблуждения в своей вере? Притом не в Петра и Ивана слабоверии было дело, потому что не Петр и Иван умерли. Умерло царство и заблуждение в вере царства. Что же, католики ли язвительные правы? Что же, лютеране болтливые правы? Или мелочь сеять? Пыль религиозная? – задавался он проклятыми русскими вопросами и сам на них отвечал: – Нет. Но мы молили. И гром поразил молящихся на самом месте молитвы. В три дня... В три дня! Не Апокалипсис ли? Я не о том, что все это похоже на Апокалипсис. Но не открылось ли действие Апокалипсиса? Не пришли ли уже сроки? И не опущено ли сказать о Лаодикийской Церкви, которая была не холодна и не горяча, и получила за “нехолодность и негорячесть” судьбу свою? Что такое собирается смешной собор в Москве? Вот вы собираетесь и убежите из города ранее, чем окончите ораторствования».

Упоминаемый здесь «смешной собор» есть не что иное, как Поместный собор Русской церкви 1917–1918 годов, на котором был избран после двух столетий синодального периода патриарх. Розановское пророчество, что все участники этого собрания вот-вот разбегутся, нимало не сбылось, однако расхождение В. В. не только с «провалившимся» историческим христианством, но и с Русской церковью в новых и очень трудных условиях ее существования «под пятой» стало еще одним фактом

его биографии.

«Теперь, когда славянофильство в его чаяниях так ужасно, так безумно провалилось, мы должны выходить “на берег Евфрата” и вообще искать “еще пастбищ для души”. “И повелел Бог Аврааму идти из земли Халдеев, из города Ур”. Так и Розанов: “И повеле Бог Розанову идти из лагеря славянофилов”, – и я ушел более чем только из лагеря славянофилов, ушел в сущности из Европы: “на берега Евфрата”, на берега Нила. О Господи, неужели это моя судьба?»

Против Христа

Была ли тут действительно судьба или все-таки личный выбор, сделанный под давлением обстоятельств и собственных страстей, опять же вопрос дискуссионный, но помимо всего прочего Розановым двигало чувство страха. Причем то был страх не просто перед какими-то конкретными евреями, комиссарами либо чекистами, не перед угрозой обыска, конфискации имущества или ареста, но перед силой более грозной и метафизической. В «Обращении к евреям», предшествующем предполагаемой публикации одиннадцатого и двенадцатого выпусков «Апокалипсиса», В. В. писал о своем разговоре с Флоренским: «Я выразил ему, что взгляд мой на евреев совершенно меняется, что я в нем по-прежнему вижу любимое дитя Божие, любимое и религиозно, любимое и в истории, и что поэтому малейшая обида, этому народу причиненная, и даже малейшая в отношении его подозрительность, не проходит без наказания ни в веке сем, биографически, ни в жизни будущей, за гробом». И дальше: «Но я убедился, что жив Бог Израилев, – жив и наказует, и убоялся. Содрогающая судьба М. О. Меньшикова – одно из знамений уже последних дней».

Меньшиков был расстрелян в сентябре 1918 года, и вряд ли В. В. знал, что его давний, еще с конца предыдущего века оппонент, сослуживец по «Новому времени» и, по мнению самого Михаила Осиповича, двойник^[114], сообщал своей жене, уже будучи арестованным: «Сейчас была Чрезвычайная Комиссия, я обвиняюсь в погромных статьях против евреев, один член сказал мне: будьте покойны, свободы вы не получите. Не унывай, дорогая, лишь бы жизнь оставили, а там воля Божия».

Как известно, жизнь ему не оставили. «Еврей-следователь лишил меня права прогулки и сказал, что мне “пощады не будет”, что мои погромные статьи в руках суда и будут предъявлены мне на суде. Дело мое плохо. Евреи, очевидно, решили погубить меня, и я доживаю последние мои часы. Ты не волнуйся, дорогая Манюша, перетерпи скорбь и после моей смерти мужественно, – писал он жене за день до смерти. – ЗАПОМНИТЕ – умираю жертвой еврейской мести не за какие-либо преступления, а лишь за обличение еврейского народа, за что они истребляли и своих пророков... Члены и председатель чрезвычайной следственной Комиссии евреи и не скрывают, что арест мой и суд – месть за старые мои обличительные статьи против евреев. Они называют их погромными, говорят, будто я

принадлежал к Союзу русского народа и пр. Обвинение сплошь ложное, но они ищут не правды, а мести. Самое лучшее, что угрожает мне, это вечное заточение (“Свободы вы не получите”, – сказал мне один еврейчик, совсем безусый мальчик, – я вам никогда не прощу”). Всего же вероятнее, подведут под расстрел. Я, сколько могу, przygotowляюсь к смерти и довольно спокоен, только жаль ужасно вас, моих милых и дорогих».

Розанов этого не знал, но скорее всего – не удивился бы. И совершенно точно не хотел такой судьбы и еще одной, на сей раз финальной с Меньшиковым параллели для самого себя – а понятно, что ему подобные обвинения можно было бы предъявить с неменьшим основанием. Он попытался изъять из продажи свои книги, написанные против евреев. То была, если так можно выразиться, одна из тех его точек зрения, которую он хотел бы теперь уничтожить, о чем он и попросил управляющего книжным магазином «Нового времени» Ю. О. Сосницкого. Однако, как писал сам В. В., тот не без иронии заявил его сыну, что «у папы Вашего может перемениться взгляд, и он может пожалеть о состоявшемся распоряжении, – во избежание чего книги лучше не истреблять, так как их на несколько тысяч рублей».

Эта история попала в еще не задавленную до конца свободную печать.

«...Я уверен был, что это никому неизвестно, – сообщил Розанов А. А. Измайлову, – о распоряжении, посланном мною месяца четыре тому назад на имя управляющего книжным магазином и книжными складами “Нового Времени”, г-на Сосницкого, моего приятеля и друга, – об уничтожении всех моих книг враждебных против евреев и написанных в связи с процессом Бейлиса (до тех же пор, Вы знаете, я не был враждебен евреям), – мне показалось, что и письмо это и вырезка из газеты есть что-то вещее, что я решительно чувствую на себе и около себя все время в Сергиевом Посаде, все время как издаю “Апокалипсис нашего времени”, все время как у меня окончательно созрела мысль, созрел план, созрели доводы пересмотреть еще раз спор между юдаизмом и христианством. Сосницкому я написал очень мотивированное, очень длинное письмо о всей той ерунде и вздоре, какая лежит какою-то прямо магическою подпочвою, я думаю – Христовою подпочвою, под всею тою ненавистью, какая, увы, пропитывает один только христианский мир, одни только несчастные христианские души, в отношении евреев... Проверь, чтобы в магазинах “Нового времени” и складах были действительно уничтожены, т. е. реально и на глазах, все четыре книги против евреев:

“Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови”. 2 р. 50 к.

“Европа и евреи”. 50 к.

“Ангел Иеговы” у евреев. 30 к.

“В соседстве Содомы”. 30 к.».

Помимо этого В. В. возобновил переписку с другим Михаилом Осиповичем – Гершензоном и послал своему давнему корреспонденту «Апокалипсис нашего времени» с дарственной надписью: «В мучительной 2.000-летней борьбе “Отрока возлюбленного, Израиля” – с Христом – в самом деле победил Отрок...»

А в самом «Апокалипсисе...» признавал: «И вот я думаю – евреи во всем правы. Они правы против Европы, цивилизации и цивилизаций... Живите, евреи. Я благословляю вас во всем, как было время отступничества (пора Бейлиса несчастная), когда проклинал во всем. На самом же деле в вас, конечно, “цимес” всемирной истории: т. е. есть такое “зернышко” мира, которое – “мы сохранили одни”. Им живите. И я верю, “о них благословятся все народы”. – Я нисколько не верю во вражду евреев ко всем народам. В темноте, в ночи, не знаем – я часто наблюдал удивительную, рачительную любовь евреев к русскому человеку и к русской земле.

Да будет благословен еврей.

Да будет благословен и русский».

Но, пожалуй, наиболее концентрированное выражение розановского сдвига в сторону иудаизма осталось опять-таки в неопубликованной части «Апокалипсиса»: «Я решил еще раз пересмотреть двутысячелетнюю тяжбу между юдаизмом и европейским “Мессией”, европейским, отнюдь не еврейским. Европейцы его приняли, евреи его отвергли. Между тем самая идея “Мессии”, – обещанного некогда “прийти и спасти род человеческий”, – есть идея еврейская, а не европейская, – и без сближения с евреями и их религиозною письменностью – никогда бы не могущая даже прийти на ум самим европейцам. В тайне вещей, в судьбах истории, это есть ожидание их заветного “гетто”. И вот что мне пришлось узнать. В еврейских “гетто” шепчутся, будто “Мешеах” (Мессия) придет, когда планета состареется, когда настанет для нее родовое истощение, обветшают силы человеческие до “неспособности производить далее”. “Придет” Мешеах, – когда вообще исчезнут зародыши человеческие, сморщатся, затянутся; не станет более семени; последнее зернышко в организме пропадет. Тогда “пришедший Мешеах” обновит, освежит, восстановит утробу человеческую; как бы соделается вторым Творцом человека, – в глубокой гармонии с Первым Творцом неба и земли. Это до того сообразуется со всем Ветхим Заветом, с тем вместе это так просто и естественно, так действительно, и нужно этого ожидать: ибо что же в мире стареет?! – что разительно, каким образом

этого никому не пришло на ум? Каким образом не пришло на ум библейским толкователям, что вот в чем “заключается живая причина” необходимого, неизбежного “избавителя мира”. Так это и сказано, и “обещано” уже при изгнании и первом “грехе человека”. Тогда все становится ясно: Ветхий Завет прямо переходит в Апокалипсис, как таковое “воссоздание” сил человека, с усилением еще, с обилием большим, чем даже было в Ветхом Завете: но совершенно вытесняется Евангелие, сморщивается, его не нужно более, – оно совершенно не нужно, – как морализирующая книжка, лишенная какого-либо космогонического значения, творческого, созидательного, зиждущего, “спасительного”. Именно “спасения”-то в нем и нет. Не “спасение” же это о “любви к ближнему своему”. Это просто сентимент и ничто. Все “заповеди Христа” даны на уменьшение, и ни одной – на обилие: “не надо семьи”, “дома”, “гнезда”... Христианство решительно ошибочно. Евреи правы. Это есть спокойная, а не взволнованная истина... Полею восстания против Христа сделается Россия»^[115].

Тень Тертia

Конечно, нет ничего проще, как обвинить нашего мудреца в малодушии, трусости, вероотступничестве и «низкопоклонстве» перед Израилем и «нацией вечной эрекции». «Я же чистосердечно себя считаю... почти не “русским писателем”, но настоящим и воистину последним еврейским пророком. Люблю же их беззаветно», – признавался Розанов летом 1918 года Измайлову. Однако помимо того, что В. В. действительно верил в то, что писал, его очередная перемена ума, а также конфессиональный, цивилизационный разворот и отречение от звания русского писателя – все это в известном смысле объяснялось, было подготовлено и спровоцировано обстоятельствами – что опять же очень и очень по-розановски – сугубо личными, житейскими, бытовыми. А именно – его глубочайшей, новой и еще более горькой обидой на московских и посадских славянофилов. «До чего здесь окаянный народ, видно из того, что я не только 500 р., но и ничего не могу выклянчить, и – у людей со средствами, многолетних друзей, “и таких богословов”. Ярость язычества от того у меня и вскипела. Это что-то ужасное, т. е. скупость богословов... И с жидами (мысленно) я примирился совершенно. Нет, батенька, такого НАСТОЯЩЕГО ЖИДА, как истинно-православный патриотический человек, – никогда не встретишь».

Так писал он о своих друзьях, к которым сбежал из Петрограда в Сергиев Посад, как убежал двадцатью пятью годами раньше к «маленьким славянофилам» из города Белого на Петербургскую сторону. И оба раза столкнулся с одним и тем же – со своим разочарованием в «русской партии» и – с разочарованием этой партии в нем самом. И это – момент ключевой. У В. В. хорошо получалось дружить с «нашими» издалека, обмениваться письмами, текстами, книгами, идеями и убеждениями, писать рецензии на их труды, защищать их от Бердяева и компании, вспоминать великих предшественников, перекликаться дорогими именами и отталкиваться от идейных врагов, но как только доходило до личного общения, а тем более в стесненных материальных условиях, будь то Петербург девяностых или Сергиев Посад восемнадцатого года, что-то опять не складывалось. Слишком разной породы и природы были эти люди. В сущности, тут повторялась история с Тертием Ивановичем Филипповым, искренне желавшим похристосоваться с человеком, которому дал приют, и получившим в ответ кислую мину и словесную фигу. И точно такую же, а

вернее, в стократ усиленную фигу получили новые славянофилы от того, кого пригрели в своем кругу, в «Апокалипсисе нашего времени».

Эту книгу знают даже те, кто у Розанова ничего не читал. И про слинявшую Русь, и про железный занавес, и про украденные шубы, и про русскую литературу, которая «есть такая мерзость – такая мерзость бесстыдства и наглости, как никакая литература», и, наконец, про саму Россию, «похожую на ложного генерала, над которым какой-то ложный поп поет панихиду. На самом же деле это был беглый актер из провинциального театра... Да, уж если что “скучное дело”, то это – “падение Руси”. Задуло свечку. Да это и не Бог, а... шла пьяная баба, спотыкнулась и растянулась. Глупо. Мерзко».

Эта невыносимая книга-поступок, книга-преступление стала последним криком розановского отчаяния, горечи, страха, ужаса и любви, голода и холода сергиевopосадских ночей, копотью керосиновой лампы, судорогой его больного ума и страстного сердца, сумасшедших фантазий, тоской о прошлом, страхом перед будущим и жаждой, чтобы оно скорее наступило, последним бунтом против Христа и одновременно истовой верой автора в то, что лично он и только он, В. В. Розанов, способен изменить и преобразить мир в его минуты роковые.

«На самом деле “Апокалипсис” должен бы печататься как в эпоху Реформации и Ульриха фон-Гутена 500.000 экземпляров – и тогда он должен бы и он смог бы, сможет произвести религиозный переворот (потому что сказать – “церковный” это мало), – писал Розанов Измайлову в июле 1918 года. – Но, Господи: услыши меня! Услыши, услыши! Может быть – чудо. Вот – добрый Измайлов; вот – Пропер: которого ведь я видел, который меня не знает: видел с покойным добрым и праведным Мих. Петровичем Соловьевым на даче у И. И. Ясинского. Поговорите с Пропером, будьте “Ангелом-Посланником”, может быть в самом деле “чудеса начинаются”. Господи. Я верю в Тебя. Любящий В. Розанов».

Станислав Максимилианович Проппер был биржевым маклером, приехавшим в Россию из Австрии в конце XIX века и сделавшимся издателем крупнейшей деловой газеты «Биржевые ведомости». Именно с ней хотелось бы сотрудничать теперь журналисту из Сергиева Посада примерно на тех же условиях, на каких он много лет подряд сотрудничал с «Новым временем». В. В., по сути, предлагал Пропперу «купить» его, можно сказать, закрепить, а Измайлову – выступить в этой сделке посредником^[116]. Розановское послание дышит безумной (Измайлов не случайно позднее назовет розановские письма к нему *психозными*) мольбой

о помощи и жаждой до издателя «Биржевых ведомостей» достучаться^[117], однако совершить сию невольничью купчую философу дано не было, и Проппер не помог, не спас, потому что о Розанове думать не думал, а несколько дней спустя и вовсе был арестован.

«Проппер – как Иов, внезапно лишившийся богатства, благ, семьи, сытости, положения. Обвиняют его, кажется, просто как буржуя, как бывшего издателя газеты. Не послужит ли к Вашему скудному утешению то, что человек, у которого Вы надеялись найти помощь в Вашем тяжелом положении, – оказывается в положении горшечника Вашего!» – писал Розанову по-прежнему сочувствовавший ему Измайлов.

Но вот что касается тех, кто розановскую «лебединую песнь» действительно услышал, в нее вник и в ужасе от нее отшатнулся, то их оценка оказалась негодующей, а то обстоятельство, что «инсurreкция против христианства» исходила от человека, который подле стен Троице-Сергиевой лавры пришел искать защиты, делало розановские высказывания в глазах православных друзей В. В. донельзя возмутительными и провокационными. Тон их дружеского неприятия и горького небратского приветствия колебался от попыток мягкого вразумления и снисхождения к слабости и немощи измученного житейскими невзгодами и потерями старика до фактически ультиматума и блокады.

«Дорогой Василий Васильевич!

Благодарю Вас за “Апокалипсис” и за письмецо. “Апок<алипсис>” я прочел раньше. Здесь “Розановские” – последние страницы 2-го, где с прежней свежестью красок и яркостью свидетельствуется Ваш собственный... мистический социализм. Да, это несомненно так, Вы – мистический социалист и переводите на религиозный язык то, что они вопят по-волчьи. Это – новый вариант первого искушения, искушения социализмом, и Вы снова приступаете к Тому, Кого Вы столь роковым образом *не* любите, с вопросом того, кто Его тогда искушал. Неужели же Вы сами этого не видите? или же видите, но таитесь? *Это именно* означает и Ваш новый поворот к еврейству “и” германству, – это не к Кабале, даже не к Талмуду и не к Ветхому Завету, но к Лассалю и Марксу, от коих отрекаетесь. Это – воистину так, с той, конечно, разницей, что они оба – кроты и щенки по сравнению с Вами, – *de rebus mysticis*. Это Вам с моей стороны в виде реванша за “позитивиста и профессора”. Но Вы, конечно, правы, что между тоном и музыкой Апокалипсиса и всего Нового Завета, в частности Евангелиями, разница огромная, и, однако, и то, и другое об одном и об Одном, а Вам с Лассалем и Марксом, “немцами и евреями”, не за что прицепиться к “Апокалипсису”. Да, Христианство не удастся в

истории, да и самая история не удастся, как не удастся более всего и русская история, что не мешает быть русскому народу единственным по предназначению. Слишком Христианство трудно, аристократично, художественно по своим заданиям, довольно одной неверной черты, и все рушится. Но оно прожжет историю в какой-нибудь точке (да и постоянно ее жжет), и начнется – “Апокалипсис”.

Насчет о. “Павла” всему, Вами сказанному, говорю: аминь, и без конца мог бы прибавить, но думаю, что здесь более приличествует молчание – для меня. Радуюсь, что повидал Вас после нескольких лет, надеюсь, вскоре и еще увидимся. Живется трудно и тяжело. *Мы побеждены*, как бы ни сложилась наша судьба, которая не от нас зависит, и по заслугам. Исторически чувствуем себя на Страшном Суде раньше смерти, истлеваем заживо. И все-таки – все остается по-прежнему, русский народ должен быть народом-мессией, и к черту “немцев” и К^о, да будут они ненавистны!

Привет семье Вашей. Жму руку.

С. Булгаков».

Впрочем, в письме А. С. Глинке-Волжскому, написанном двумя днями позднее, «сильный крепыш» Булгаков высказался более определенно: «В Сергиевом Посаде теперь живет Розанов. Он стар, нуждается, но переживает снова рецидив жидовствующей ереси и вражды к Христу. Об этом можете прочесть в выпускаемых им “Апол. наших дней”».

И это он еще не читал фрагментов неопубликованных, где В. В. прямо писал о том, как он толкает ногой «христианский мир» и как тот от его ударов рассыпается!

Оценка «Аввы» Новоселова была по обыкновению куда лаконичнее и жестче. «Скажите отцу Павлу, что, если будет продолжать общение с “антихристом” Розановым, мне придется отказаться от дружеского общения с ним (о. Павлом)», – писал он Марии Иосифовне Фудель в июле 1918 года. Однако надо отдать должное отцу Павлу – «Платон» оказался ему дороже истины.

«Сперва он очень противился изданию моего “Апокалипсиса”, но хотя я и не говорю с ним ничего о моей книжонке, он – по общему тону его отношения ко мне (это всегда чувствуется) не враждебен этому изданию, по страстному ненавидению им всей нашей культуры, то есть европейской культуры, западной, с атеизмом, с демонизмом, с пакостничеством и пакостью, в роде революций, в роде и в духе парламентов etc, – писал Розанов Перцову. – Нужно заметить, мой “Апокалипсис” не имеет такого дурного характера, как о нем думают. Я нисколько не “против Христа”, а вот моя мысль: не происходит ли поразительный атеизм Европы,

поразительная утрата чувства Бога в христианстве у христиан, именно от того, что они суть христиане, а не просто “божники”, “Божьи люди” etc.; от мотива, что этот атеизм – не феноменален, а эссенциален, “в существе дела зарыт”, “в зерне христианства скрыт”, и, как я думаю или вот в Посаде особенно начал думать, что атеизм этот и идет от таинственной беззерности Христа, что Христос в сущности не имел фалла, был лишен фалла, что он был “в половой организации” ни то, ни се, “Бог знает что”».

Как Флоренский все это вытерпел – одному Богу ведомо, однако ж – вытерпел. «А от меня, кроме одного Флоренского и С. Н. Дурылина^[118], отвернулись, т. е. перестали вовсе здороваться, все “московские славянофилы” из-за “Апокалипсиса”, дорогой Александр Алексеевич!» – продолжал жаловаться Розанов в Петроград Измайлову и, надо полагать, с удовлетворением читал ответ культурного столичного человека, не чета этим новым, но со старой бородой лопатой московским ретроградам: «Поражен отношением к Вам “московских славянофилов”. Неужели и эти, знающие Вас, не способны смотреть выше уровня, на котором поставлены глаза Ваших литературных собратий? В моей душе как-то раз навсегда уместилось совсем особенное Вас восприятие, и меня не испугает никакой Ваш уклон, никакой выкрик. Всего менее хочется заниматься подсчетом Ваших противоречий или непоследовательностей, – да их горы, да Вы весь из них, и в этом и есть суть того, что называется Розанов, и что в этой хаотичности своей, искренности, мимозной чувствительности мне и дорого и интересно. И от многих, кого ценю, я встречал близкую Вам формулу (Дорошевич). Неужели же москвичи – тоже только статистики, в данном случае подсчитавшие Ваши строки “в пользу” еврейства и учетские их».

Впрочем, хорошо было об этом рассуждать либерально настроенному Измайлову, вольно было ему заворуженно писать в откликах на первые выпуски «Апокалипсиса» о том, что Розанов – «без всякого сомнения, первый сейчас по углубленности, по еретической силе отрицания, по образности и своеобразию философский ум, Ересиарх. И после смерти Лескова, никто так не годится на это амплуа, как он. Почти ницшеанские прозрения... Это уже не “писатель пописывает, читатель почитывает”, – это вопль тоски и отчаяния, который звенит над вашим ухом, потому, что не мог не вырваться. <...> Это “исповедь горячего сердца” по типу Мити Карамазова, – с лирикой, плачем, растерянными воззваниями к Богу, как с похмелья, – полурев, полурыкание и вот-вот полущепот, полубормотание. Из-под насмешки, из-под анекдота, из-под гоголевой хохлацкой усмешки, он высвобождает психологию племени... видит, как, согнув выи, идут евреи через невообразимую равнину истории. Вещую и зловещую книгу

нового “Откровения” пишет сергиево-посадский тайновидец».

Может, из Петрограда это выглядело и так, но каково было никаким не тайновидцам и не пророкам, а простым посадским церковникам и обычным московским славянофилам слышать его *зловещее* слово, которое больно жалило их всех.

«Христианство – неистинно; но оно – не мочно. Христос не посадил дерева, не вырастил из себя травки; и вообще Он “без зерна мира”, без – ядер, без – *икры*; не травянист, не животен; в сущности – не бытие, а почти призрак и тень, каким-то чудом пронесшаяся по земле. Тенистость, тенность, пустынность Его, небытийственность – сущность Его. Как будто это – только Имя, “рассказ”».

И в другом месте: «Солнце загорелось раньше христианства. И солнце не потухнет, если христианство и кончится. Вот – ограничение христианства, против которого ни “обедни”, ни “панихиды” не помогут. И еще об обеднях: их много служили, ни человеку не стало легче. Христианство не космологично, “на нем трава не растет”. И скот от него не множится, не плодится. А без скота и травы человек не проживет. Значит, “при всей красоте христианства” – человек все-таки “с ним одним не проживет”. Хорош монастырек, “в нем полное христианство”; а все-таки питается он около соседней деревеньки».

И ладно бы он написал это несколько лет назад, когда все это могло бы считаться богословской полемикой, остроумными интеллектуальными спорами в духе Религиозно-философских собраний начала века, парадоксальным розановским взглядом на вещи, к которому все привыкли и «анфан-терриблю» русской литературы почти все прощали, но писать так *теперь*, когда Церковь из господствующей на глазах в одночасье превратилась в гонимую? Когда те самые люди в рясах, от которых еще вчера зависело, обвенчать или нет, развести или развод запретить, признать незаконнорожденных детей или не признать, – эти пузатые церковные жрецы и дряхлые бюрократы оказались в новом обществе не просто изгнанниками или лишними людьми, но самыми первыми его жертвами, а христианство, на которое В. В. ополчился, сделалось для большевиков главной мишенью?

Медуза

Розанов же не хотел очевидных вещей признавать и вел себя так же вызывающе, как и прежде, словно в положении Церкви ничего не изменилось, и своих яростных антихристианских настроений в общении с ближними не скрывал.

С. Н. Дурылин вспоминал о том, как однажды маленький, щуплый, замерзший В. В. в звездную ночь под праздник Богоявления восемнадцатого года вошел в маленькую келью, где собрались вернувшиеся от всенощной «наши», и буквально набросился на них:

«— Какая ночь! Звезды! Какие звезды! Халдеи, египтяне, арабы молились бы им, подняв к небу лицо, а *они* (с ненавистью: он писал тогда свои злые, последние, книжечки-выпуски: “Апокалипсис нашего времени”; прервался голос от вражды)... а они преют в тесноте, в духоте, под сводами, потеют, свечи коптят, жарюща, дышать нечем, каплет ярым воском сверху, — режут, как коровы, дымят угарными кадилами, глушат звоном... (задохся, протирает глаза неслушающимися, корявыми от мороза руками) ... дуrolомы!»^[119]

«Розанов — человек, который все понимает и ни во что не верит, — рассуждал позднее А. Ф. Лосев. — Мне рассказывал П. А. Флоренский: однажды был крестный ход, в память преподобного Сергия или какой-то другой праздник, — был ход вокруг Лавры. И в этом крестном ходе участвовал Розанов. Тоже шел без шапки, всё как положено... Тут духовенство, пение, и он идет. С ним рядом и шел отец Павел, и он-то потом мне сам рассказывал: “Розанов ко мне обращается и говорит: — А я ведь во Христа-то не верю... Я-то в Христа не верю...”».

Этим не просто неверием, но какой-то личной и в то же время порозановски фамильярной обидой на Спасителя, своими претензиями к Нему (а стало быть, на самом-то деле и глубочайшей, обиженной, личной верой) проникнуты многие из его «последних листьев».

«Ты предал и нашу Россию, до такой степени Тебя возлюбившую... И вот, настало ныне время и России, и народам оставить и Тебя... — обвинял Розанов Христа, как своего не то литературного оппонента, не то просто знакомого. — Христос не заступился за Россию. Ведь НЕ ЗАСТУПИЛСЯ? Почему Россия должна заступаться ЗА ХРИСТА? Почему она не может стать из христоЛЮБИВОЙ в христоПРЕЗИРАЮЩЕЙ?»

Впрочем, и самой России, и ее народу от негодующего человека

доставалось в те дни по полной. «Русская история, я думаю, проклята вообще. Русский народ вообще ничего не стоит. Мы все прокляты. У нас – никакого достоинства... Русские – гнилой, гниlostный народ. Россия – могила, – писал он С. П. Каблукову^[120]. – Больше всего провалился Достоевский с его “народом-богоносцем”. Народ оказался действительно вонюч и подл и форменный язычник. Здесь, в Лавре, образа сбрасывают со стен, и никто на эти действительно “ИДОЛЫ” не обращает внимания. Степень равнодушия к “вере отцов” до такой степени поразительна, русский оказался до такой степени даже не “вором”, а “воришкой”, “мелким жуликом” в истории и цивилизации, что – ужас».

Но при этом В. В. не был бы самим собой, если бы не написал в те же окаянные дни Голлербаху: *«До какого предела мы должны любить Россию... до истязания; до истязания самой души своей. Мы должны любить ее до “наоборот нашему мнению”, “убеждению”, голове. Сердце, сердце, вот оно. Любовь к родине – чревна»*.

И с ним же, с Эриком Голлербахом, перешедшим в ту пору в буддизм, он делился своим новым старым христорбществом и ставил вопрос о выборе веры, что называется, ребром, отказывая себе в возможности иметь даже традиционные несколько точек зрения на один предмет.

«Великий Четверг, ночь. Только что простоял “со свечечками”. И опять пережил это умиление. Но (так) как насчет “свечечек” у меня уже написано в “Апок.”, то слушал особенно внимательно и вразумительно. И вот – впечатление: “нет, что-то надо выбирать: или Вет. Зав. или – Новый. И тогда – только Новый, или же один только Ветхий”».

Выбор, сделанный на словах нашим героем, очевиден, как очевиден и новый, еще более яростный накат розановского антихристианства за полгода до смерти в письме тому же адресату в августе 1918 года^[121]. В сущности, именно в посланиях Голлербаху брань против Христа выразила себя еще более отчетливо и определенно, чем в опубликованных главах «Апокалипсиса нашего времени». Читать розановские письма той поры, равно как и неопубликованные фрагменты «Апокалипсиса», и правда жутковато, как если бы перед тобой был человек, в которого в прямом смысле этого слова вселился поэтический бес.

«Я взял маленькое зернышко...

Пшеничное, мягкое.

И раздробил им Голгофу и Христа.

Хотя они железные.

Я взял пахучесть половых органов...
Полевой фиалки...
И погасил мирру и ладан всех лампад мира.

И там, где было море слез, теперь улыбка...

Зернышко. Зернышко – прорастай сквозь Голгофу.
Зернышко, Зернышко, прорастай сквозь Голгофу...
Зернышко, Зернышко, прорастай сквозь Голгофу.

И побледнел Христос перед Розановым, который Ему напомнил о зерне».

Меж тем в стране началась гражданская война, большевики развязали красный террор, была расстреляна царская семья (но никакой реакции на это событие в розановских «листьях» нет – не знал, пропустил, не придавал значения?), а в белом русском Крыму в тот великий и страшный год – по Рождестве Христовом 1918-й, от начала же революции второй – умерли связанные таинственными нитями друг с другом и с сергиевopосадским инсургентом две строгие православные старухи: жена «провалившегося» Достоевского и его печальная возлюбленная.

О кончине Анны Григорьевны В. В. узнал от Измайлова, а о смерти Аполлинаруи Прокофьевны ему никто сообщить не мог, но едва ли это известие как-то взволновало бы его. Покуда Россия по-прежнему искала и строила утопию в своем страшном будущем, Розанов уходил все дальше в прошлое и давно был не здесь и не сейчас. Шаркающими старческими шажками философ ходил своей последней осенью по земле Сергия Радонежского, любовался «изумительным оранжевым видом», смотрел последний раз на «птичий бал» и провожал взглядом улетающих на юг птиц – далеко, должно быть в Египет же, к солнцу, они улетали – и грезил той таинственной, волшебной никогда не виданной им страной. А потом возвращался домой в голодное, холодное жилище с больной женой и двумя несчастными дочерьми, которым ничем не мог помочь.

Там он иногда занимался хозяйством («И вот я качаю воду, колодезь так труден. Вася, Варя уехали. У Нади почки бол. Таня – слабенькая... В бак кухонный входит 12 ведер. Сегодня маме мыться... Не дают папке работать»), съедал свой бедный ужин, садился за письменный стол и при тусклом свете коптилки писал о том, что христианство – это «религия

ужаса», что «христианство и Бог несовместимы», «христианство есть абсолютная бесполость и след. абсолютный атеизм», что «нужно именно потрясти христианству. Лопнуть. И из-под себя как пустого открыть опять Озириса. Который сотворит мир. Вырастит из себя. Вот отчего реставрация Египта – необходима... И мы будем петь хвалы египетскому фаллу...». А еще просил неведомо у кого: «Ох, устал. Лет бы 5 прожить. Натворил бы я великих дел. Кончивши Египет и разгадку...»

Ему действительно казалось в эти часы, что он приблизился к тайне бытия, и все это было еще ужаснее и абсурднее, чем майская ночь в доме Минского на Английской набережной в девятьсот пятом, чем все его декадентские шалости, вместе взятые, все условные измены жене с четырьмя девушками, все проклятые «опыты» – это был какой-то грандиозный личный провал, куда рухнула вся его шестидесятидвухлетняя жизнь и потянула за собой жизни его близких.

«Как можно быть христианином и сейчас же не сойти с ума? Можно оговариваться шуточками. Как только дело доходит до серьезного восприятия – начинается сумасшествие».

Возможно, в этих словах и есть ключ ко всему. Розанова всю жизнь разрывали крайности духа, и сколь долго его терпеливая, эластичная натура этого разрыва ни терпела, в какой-то момент он сам себя не выдержал и надорвался. От голода, холода, несварения желудка, неверных теней и гулких звуков в большом поповском доме. И все чаще стучал сморщенным кулачком и сучил худенькими ножками, сделавшись похожим на язычника, который обиделся не на истинного Христа Сына Божия, а на идола, которого за Христа принимал, когда что-то пошло не так, и принимался яростно его топтать. И только однажды, когда звездной сентябрьской ночью восемнадцатого года вдруг зазвонили в Лавре в колокол, оторвался на миг от своего безумия, замер, как будто что-то вспомнив, и посреди антихристианского, горячечного бреда написал: «Этот неизмеримо красивый гул пронесся. Я понял, до чего неизмеримо Православие. Вот революция. Советы депутатов. 4 часа. И этот звук – долгий, до того красивый – безумно. Он долго, долго гудел. И замирал так, что я плакал... Это было до такой степени величественно, неизъяснимо, что все сердце, вся душа кинулась: “туда! туда!”».

Но то был лишь редкий просвет, а потом снова пробуждался в нем полубес, и В. В. с восторгом толковал про юнейшего прекраснейшего Озириса и еще злее рычал на Христа – «Бога тьмы и гибели», «худшего из всех», «злейшего из всех».

«Попробуйте распять Солнце.

И вы увидите, который Бог.

Одно то, что неприлично – одно это только и прекрасно, возвышенно, религиозно.

Все прочее – пусто и не представляет никакого интереса».

Так что если уж говорить и о зернах и семенах, то доставшееся Розанову упало было на добрую почву и дало обильные всходы, но потом его заглушила египетская трава, не то склевали, унесли в сторону нерусского Нила хищные черные птицы. И хотя, продолжая евангельские параллели, можно сказать, что за несколько дней до кончины раб Божий Василий покается в своих заблуждениях почти так же, как благоразумный разбойник на кресте, все равно написанное им в Сергиевом Посаде против «бессеменного» Христа во славу фаллического египетского бога, спрятанное в неопубликованных посадских «листьях», осталось, а точнее возникло, вспыхнуло в истории нашей литературы после *смерти автора* на рубеже тысячелетий как факт, от которого никуда не деться и который требует осмысления.

В случае с Розановым этих осмыслений – взбаламученное море, да и потом, разбойник разбойником, а на ум приходит известная басня Ивана Крылова, где В. В. профессионально предстает в иной, более привычной ему роли сочинителя^[122]. С одной стороны, роль эта ему, реакционеру, консерватору и охранителю, вроде бы и не очень подходит – Крылов все же бил по атеизму, либерализму и позитивизму, в которых наш ветхий герой замешан совершенно точно не был, да и нельзя сказать, чтобы последняя розановская книга так уж сильно на кого-то повлияла и увела от Христа, но с другой – идеи материальны, и недаром собеседник А. Ф. Лосева (предположительно, то был его секретарь философ В. В. Биbihин) воспроизводит свой разговор с учителем: «Лосев был очень страстным и пристрастным в своих оценках. Как-то раз он в запальчивости сказал, что из всей русской литературы один только Достоевский думал о сохранении России, а другие работали на разрушение. Я решил осторожно расширить список писателей: – “А Леонтьев?” – “Ну, Леонтьев”, – согласился Алексей Федорович. Тогда я решил назвать имя своего любимого писателя – и тут Алексей Федорович взорвался: “Да твой Розанов для гибели России сделал больше, чем Ленин...”».

И это далеко не единичная оценка. Так, Горький в письме Пришвину, вспоминая розановское антихристианство, называл В. В. «одним из наших духовных революционеров», а суровый Иван Ильин писал, не случайно поставив на первое место Розанова: «...все эти группы русских предреволюционных публицистов – Розанов, Мережковский, Булгаков,

Бердяев, Вяч. Иванов, Белый, Чулков (а также и поэтов) – были сущими предтечами большевистской революции. Понятен их интерес к больной сексуальности, к черной мессе, к хлыстовству; их близость к партии социалистов-революционеров; их неспособность отличить “мадонну” от публичной женщины; их постоянное возвращение к сексуальному трактованию теологических тайн»^[123].

Впрочем, справедливости ради, запретив того, кто был «хуже Ленина», и спрятав от читателей все его слова, верные ленинцы розановское «тлетворное влияние» сами же на семьдесят лет заморозили. В. В. и здесь оказался парадоксален, а случилось все это после того, как розановские писания, его резкие даже не развороты, а судорожные метания, да и вообще его личность вызвали суровую оценку не только у его друзей, но и у их прямого антагониста и главного советского литературоведа 20-х годов.

«Розанов был заведомой дрянью, трусом, приживальщиком, подлипалой, – отнюдь не нежно и не деликатно написал в 1922 году Лев Троцкий. – И это составляло суть его. Даровитость была в пределах выражения этой сути... Незадолго до смерти писал со свойственным ему юродским кривлянием о евреях как о “первой нации в мире”, что, конечно, немногим лучше бейлисиады, хоть и с другой стороны. Самое доподлинное в Розанове: перед силой всю жизнь червем вился. Червеобразный человек и писатель: извивающийся, скользкий, липкий, укорачивается и растягивается по мере нужды – и, как червь, противен. Православную церковь Розанов бесцеремонно – разумеется, в своем кругу – называл навозной кучей. Но обрядности держался (из трусости и на всякий случай), а помирать пришлось, пять раз причащался, тоже... на всякий случай. Он и с небом своим двурушничал, как с издателем и читателем. Розанов продавал себя публично, за монету. И философия его таковская, к этому приспособленная. Точно так же и стиль его. Был он поэтом интерьерчика, квартиры со всеми удобствами. Глумясь над учителями и пророками, сам он неизменно учительствовал: главное в жизни – мягонькое, тепленькое, жирненькое, сладенькое. Интеллигенция в последние десятилетия быстро обуржуазивалась и очень тяготела к мягонькому и сладенькому, но в то же время стеснялась Розанова, как подрастающий буржуазный отпрыск стесняется разнузданной кокотки, которая свою науку преподает публично. Но по существу-то Розанов всегда был ихним».

Что на это сказать? Точка зрения Троцкого имеет право на существование, как и любая другая, хоть уничижительная, хоть восхитительная оценка личности героя этой книги, только что она меняет? Перефразируя и конкретизируя фразу, приписываемую будущему врагу

Троцкого товарищу Сталину про советских писателей, можно так сказать: *другого Розанова у нас нет*. И крамольную выскажу мысль: кто знает, как повел бы себя В. В., проживи еще при большевиках сколько-то, особенно если бы те вдруг по каким-то причинам, для пропагандистских, например, целей решили обеспечить его дровами, творожком и молочком? Может быть, и не стала бы тогда для него окаянной Советская Россия и нашлась бы для нее тысяча первая точка зрения? Но только если бы и нашлась, то, во-первых, очень ненадолго, мимолетно, а во-вторых, если бы Розанов ко всякой грубой силе, по слову Струве, не льнул, если был бы стоек, последователен, строг, дисциплинирован, ответствен, тверд и принципиален, не двурушник, не стадообразен и не ватник, если б летал по прямой, – то это был бы уже не Розанов, а кто-то другой – вот в чем вся штука.

«Розанов был маленький старичок с зорким взглядом, весь в облаках табачного дыма и какого-то особого “самозатвора” в этих облаках, за которыми целая эпоха русской интеллигенции. В этой эпохе – и настоящий ум, и пустая болтовня, и искренность в людях, и занятость только собой, и отрицание атеистического тупика, и нежелание настоящего подвига веры – в общем, “середка на половинку” маловерия и “вы, конечно, правы (‘насквозь прокурена душа’), но оставьте меня в покое с моими гениальными мыслями...”», – отзывался о нем один из самых замечательных русских людей XX века Сергей Иосифович Фудель. А уже цитировавшийся выше А. Ф. Лосев рассказывал Биbihину, «как однажды, чуть ли не на похоронах Розанова, спросил отца Павла Флоренского: что такое Розанов? – Видели медузу? Всеми цветами радуги переливается. А вытащи из воды на сухое – одна слизь».

К слову сказать, сам Биbihин с этим образом не согласился и вообще в споре между двумя авгурами встал на сторону В. В. ^[124], однако все сказанное выше столь разными людьми от красного комиссара до профессора-идеалиста и стойкого советского политзэка относится к области оценочных суждений, а вот в высшем смысле Судьбы споры со славянофилами и церковниками имели для нашего многоликого героя еще более трагические последствия, чем нестроения с евреями в несчастную пору Бейлиса.

«После большевистской революции Розанов жил у отца Павла Флоренского в Сергиевом Посаде в монастыре св. Сергия. Он написал там “Апокалипсис нашего времени”, в котором выступил с хулой на христианство, – вспоминал философ Николай Лосский, ученицами

которого были одно время Татьяна Васильевна Розанова и ее сестры^[125]. – Возмущенные этим, отец Павел, лектор Московской духовной академии Андреев и еще одно лицо, фамилию которого я забыл, пришли к Розанову. Как мне рассказывал Андреев, они заявили Розанову, что если он будет продолжать выступать с нападками на христианство, то они больше не будут его друзьями. Розанов ответил им, сознавая, очевидно, в себе или около себя какую-то демоническую силу: “Не трогайте Розанова; для вас будет хуже”. И действительно, в следующем году всех их постигло серьезное несчастье».

Отец сошел с ума

Какое именно серьезное несчастье постигло православных друзей Розанова, Лосский не пишет, но страшное горе пришло в семью самого В. В. за несколько месяцев до его кончины. В сентябре восемнадцатого года двое его детей – «дневная и крепкая», никогда не унывающая, жизнерадостная Варвара и ладный мужичок Василий Розанов-младший отправились на Украину за пропитанием, «на юг, к дяде Тише в Полтаву». Вася уже побывал там летом того же года и вернулся, предлагая своим родным перебраться в край, где нет большевиков, а жизнь и сытней, и спокойней. Однако едва ли Василий Васильевич и Варвара Дмитриевна могли тронуться с места. Да и вряд ли хотели...

«Теперь только тихая могила в уме, – еще раньше писал Розанов Дурылину. – Тихая, прекрасная могила. Да кофейку бы горячего перед ней. Ах, как сладко. Усталость. И чего-нибудь в желудок горячего. Дети шумят, убираются, “хочется почище в доме”. Вынес все судна после ночи. Варвара отказалась выносить: “некогда, я мету комнаты”. Таня – стряпает. Мама растерзана, больная, бродит. Но парализованной рукой моет чашки... О, как хочется мне быть крепостным рабом, и чтобы кто-то заботился, помог: когда склероз и я сам уже не могу себе помочь».

Письмо Горькому было и того горше: «Максимушка, спаси меня от последнего отчаяния. Квартира не топлена и дров нету; дочери смотрят на последний кусочек сахара около холодного самовара; жена лежит полупарализованная и смотрит тускло на меня. Испуганные детские глаза, 10, и я глупый... Максимушка, родной, как быть? Это уже многие письма я пишу тебе, но сейчас пошлю, кажется, а то все рвал. У меня же 20 книг, но “не идут”, какая-то забастовка книготорговцев. Максимушка, что же делать, чтобы “шли”. Вот, отчего ты меня не принял в “Знание”? Максимушка, я хватаюсь за твои руки. Ты знаешь, что значит хвататься за руки? Я не понимаю, ни как жить, ни как быть. Гибну, гибну, гибну...»

«Собираю перед трактирами окурки: ок. 100 – 1 папироса. Затянусь. И точно утешен», – писал он позднее Гершензону.

Однако если ему было в Посаде несладко, непонятно, куда и на что жить дальше, то для его выросших в Петербурге и привыкших к большому городу взрослых детей жизнь здесь и вовсе оказалась абсолютным тупиком. Татьяне найти работу с большим трудом удалось, но остальным делать в прекрасном городке близ монастырских стен было нечего.

«Мы дошли до такого горя, что вот дочь Наденька едет в СПб. в тайных намерениях, вместе с сестрою Варей (пишет чудно стихи), – поступить хотя бы в прислуги, – сообщал Розанов Семену Франку для передачи его просьбы Петру Струве, и это обращение за помощью к либералам говорило само за себя. – Объясните П. Б-чу (да он и сам поймет) горе нужды, горе полного и глубокого отчаяния...»

«Я же был в таком безумном испуге за судьбу детей. Именно – за будущее, за будущее! Это – темное, это ужасное будущее... – жаловался он другому своему корреспонденту и сам себя успокаивал: – Они сами себе проложат дорогу, мои кудерьки, они не “несчастливыми” родились, но ей-ей “в папашу” (а он довольно умен и в сущности, en grand – был счастлив)... Вот и у них – укусы, но – не “змей”, а – поцелуи Ангела, розы, невинные, чистые. Не разбирая почерки своих детей, я снес – пучком – к маме – и показал: “это вот почерк Нади”, “а то – почерк – Вари”. То-то они каждую ночь запираются, шушукаются, “тратят керосин” (кого в доме нет) и вообще как-то счастливы; а поутру ругаются; то-то они так грубы и не сдержаны с родителями, и вообще “как – я, вечный – творец”, со всегдашним моим – “некогда”, и “ну вас к черту”, “оставьте меня в ПОКОЕ”, который и есть (единственное) условие и необходимость, чтобы “ночной фиалке” распуститься и забла<го>ухать. О, я верю в ПРАВДУ (акростих), я верю – в ДОБРОБОЖИЕ. Верю, что Бог не оставит меня, а след. и детей моих, за пользу мною принесенную миру, людям, вот “письма студенчества”, вот “Семейный вопрос в России”, вот “Сумерки просвещения”, не говоря о шалостях “Ит. впечатл.”. Но это – ПОЛЬЗА, это – ЛУЧШЕ. С чувством заливающего счастья я обошел 3 кровати детей (Таня – судомойка. Варя – уехала “кормиться и работать” в Полтаву, Надя – “кухарка”, чудно и старательно готовящая обед; я – сторож дворник (катанье воды и дрова)...) поздравил с “рождением” Пучка, но и о других всех сказал счастливо, громко: Талантливы!! Все – талантливы; а главное – милые, благородные, чистые (вот она, “прозрачность души” в папе, всегда “крест накрест” выходящая в дочерях). Устал. Прощайте».

Это самое последнее письмо Розанова Голлербаху, в котором автор, бросаясь от отчаяния к надежде, чем-то похожий на Катерину Ивановну из «Преступления и наказания», когда та, прежде чем упасть замертво возле Екатерининского канала, вышла со своими деточками на улицу и принялась твердить всему миру о своем благородном происхождении, – письмо это было написано после того, как двое из его детей отправились на Украину.

«Дорогой Наденьке, в день ее Ангела 17 сентября 1918 г., когда мы так страдали в Сергиевом посаде, а она нам обещала сделать пирожок из

ржаной муки с яблочками в день Ангела, – надписал Розанов младшей дочери в день Веры, Надежды и Любви одну из своих книг. – А накануне отправили Варю и Васю прокормиться на юг, к дяде Тише в Полтаву».

По сути это было бегство двух самых сильных его детей с тонущего корабля, только кто мог предположить, к чему оно приведет?

«Они остановились в Курске у знакомого отца, некоего Лутохина^[126]. Вася заболел испанкой, его отправили в больницу, и через три дня он там скончался. Это было 9 октября 1918 года, там же на городском кладбище его и похоронили, – вспоминала Т. В. Розанова. – Отец был потрясен смертью сына: Лутохин прислал ему злое письмо, обвиняя отца в смерти сына, рассматривая потерю сына, как следствие наказания Божьего за сочинения отца. Отец тоже винил себя в смерти Васи, считая себя виноватым в том, что отпустил его легко одетым, почти без денег, и что раньше легко отпустил Васю на фронт...»

«Ушиб страха от революции (собственно голод и холод) до того во мне велик, что, потеряв единственного сына 18 лет, я просто не заметил смерти, не зная, что будем **к ночи есть**, – сообщал Розанов академику Нестору Александровичу Котляревскому. – Это же ужасы. Умер, схватив воспаление обоих легких, сгорел в 4 дня. Ужасы, ужасы. Я как-то даже скрываю (от знакомых) (от посторонних), боюсь признаться и сознаться. Какой-то лед бытия, и только накуриваешься до одурения, как в антарктическом поясе моряки напиваются ромом. “Спасти бы остальных”. “Что потеряно – не оглядывайся – смотри и зорко храни прочих”. Вот, друг мой, как. Революция хороша в “Zone blanche”, а пережить ее – такие ужасы, какие только мертвые в силах вынести. Да ведь мы и не живые. “Мертвые души”. И впервые за всю жизнь, когда всю жизнь волновался и ненавидел так Гоголя – вдруг открыл его неисчетные глубины, его бездны, его зияния пустоты. Гоголь, Гоголь – вот пришла революция, и ты весь оправдан, со своим заострившимся как у покойника носом (“Гоголь в гробу”). Прав – не Пушкин, не звездоносец Лермонтов, не фиалки Кольцова, не величавый Карамзин, прав **ты один** с “Повытчик – кувшинное рыло”, с “городом N” (какая мысль в этом “N”, – пустыня, небытие, даже нет имени, и в России именно нет самого имени, названия, это – просто “НЕТ”»).

«И вот всего второй день, как узнал о смерти сына моего, погибшего жалкой смертью в Курске, куда он уехал на работу и пропитание: и сад земной для меня есть все-таки сад. Ибо это всемирно. И да умолкнет всякая частная скорбь. А звали его Васей. Помолитесь о нем», – писал он в неопубликованной части «Апокалипсиса нашего времени», и этим словам о смерти сына предшествовал уже цитировавшийся выше большой фрагмент,

где Розанов рассуждал о Евангелии как о ненужной, морализующей книге, в которой «нет спасения», и в очередной раз противопоставлял в ущерб христианству иудейскую веру. Если кому-то угодно видеть в этом Божью кару – воля ваша, но по мне подобное соединение личной трагедии с новым всплеском христорчества было воплем нестерпимого розановского отчаяния и вопрошания, обращенного прямо в Небеса.

«Одни жида, одни жида, одни жида!! О, как я поверил, как я теперь верю в Бога их Бессмертного-Помогающего, Вечно живого. Когда наш – так мертв, – писал В. В. в последнем из дошедших до нас писем Измайлову в конце ноября 1918 года. – 2000 терпели, страдали. Всё перенесли. И вот – их Б оправдался. О, как оправдался!!! Непременно приму обрезание. Никакого – крещения. Эта водица, ха, ха, ха... Помогайте. Все забудьте. Себя забудьте. Одна мысль – сотрудничать у Пропера, у действительно великого Пропера, забыв всех этих прощальг Сувориных. Отчаяние. Бегите, помогайте. Униженный Розанов. Спешите, спешите Измаил! Сын Агари!!! Надевай шапку, и выходи из дома! Нет не алжирский лев перед Вами умирающий от перепуга, а собака без папиросы (“одно утешение”, “один Дух утешитель”), и хватает собака за штаны доброго милого Ал. Алекс.

– Что же, что же и Академия и Фонд, “старые верные казенные учреждения”, тоже выдали, тоже предали Розанова: ни копейки не выслали. Молите, просите. Немедленно пишите. Что же не выслали. Отчаяние полное. Лютое. В. Р.».

«Отец сошел с ума. Глаза безумные. Речи бессвязные, ходит все время, руки дрожат. И раздирающим душу голосом он кричит, стонет, мучит себя и других», – вспоминала предпоследние розановы дни его дочь Надежда.

А впереди была новая зима. Несчастья ополчились и наваливались на главу семьи одно за другим, как если бы и они пытались его безумие и непрекращающийся беспощадный бунт «вечного мальчика» остановить. А в конце ноября в довершение ко всем прочим бедам Василия Васильевича разбил паралич.

«Однажды он пошел в баню, а на обратном пути с ним случился удар, – он упал в канаву, недалеко от нашего дома, и его уже кто-то по дороге опознал, и принесли домой. С тех пор он уже не вставал с постели, лежал в своей спальне, укутанный одеялами и поверх своей меховой шубы – он сильно все время мерз, – писала в мемуарах Татьяна Васильевна. – В это время несколько раз присылали нам деньги – отец протоиерей Устьинский, папин друг, Мережковский, Горький^[127]. К папе приходил частный врач, приходила массажистка, он постепенно стал немного говорить, но двигать

рукой и ногой не мог, ужасно замерзал, все говорил: “холодно, холодно, холодно” и согревался только тогда, когда его покрывали его меховой, тяжелой шубой».

Розанов и крест

Остаток своих земных дней В. В. прожил, не вставая с кровати, лишенный возможности не только ходить, но и писать, и его последние письма и самые последние зимние «листья» записывала под диктовку отца Надя. Эти не тексты даже, не документы, а репортажи, прямые факты сердца, благодаря его дочери хорошо известны.

«От лучинки к лучинке, Надя, опять зажигай лучинку, скорей, некогда ждать, сейчас потухнет. Пока она горит, мы напишем еще на рубль.

Что такое сейчас Розанов?

Странное дело, что эти кости, такими ужасными углами поднимающиеся под тупым углом одна к другой, действительно говорят об образе всякого умирающего. Говорят именно фигурую, именно своими ужасными изломами. Все криво, все не гибко, все высохло. Мозга очевидно нет, жалкие тряпки тела. Я думаю даже для физиолога важно внутреннее ощущение так называемого внутреннего мозгового удара тела. Вот оно: тело покрывается каким-то странным выпотом, который нельзя иначе сравнить ни с чем, как мертвой водой. Она переполняет все существо человека до последних тканей. И это есть именно мертвая вода, а не живая. Убийственная своей мертвечиной. Дрожание и озноб внутренний не поддаются ничему ощущаемому.

Ткани тела кажутся опущенными в холодную лютую воду. И никакой надежды согреться. Все раскаленное, горячее представляется каким-то неизреченным блаженством, совершенно недоступным смертному и судьбе смертного. Поэтому “ад” или пламя не представляют ничего грозного, а скорее желанное. Это все для согревания, а согревание только и желаемо. Ткань тела, эти мотающиеся тряпки и углы представляются не в целом, а в каких-то безумных подробностях, отвратительных и смешных, размоченными в воде адского холода. И кажется, кроме озноба ничего в природе даже не существует. Поэтому умирание, по крайней мере от удара – представляет собою зрелище совершенно иное, чем обыкновенно думается. Это холод, холод и холод, мертвый холод и больше ничего.

Кроме того, все тело представляется каким-то надтреснутым, состоящим из мелких раздробленных лучинок, где каждая представляется трущею и раздражающею остальные. Все вообще представляет изломы, трение и страдание.

Состояние духа – его – никакого. Потому что и духа нет. Есть только

материя изможденная, похожая на тряпку, брошенную на какие-то крючки.

До завтра.

Ничто физиологическое на ум не приходит. Хотя странным образом тело так изнеможено, что духовного тоже ничего не приходит на ум. Адская мука – вот она налицо.

В этой мертвой воде, в этой растворенности всех тканей тела в ней. Это черные воды Стикса, воистину узнаю их образ».

Эту образную розановскую запись, которую он по привычке хотел продать за рубль, можно сопоставить с медицинским диагнозом, поставленным пациенту его лечащим врачом^[128]. Но главное – нетрудно представить, что испытывала восемнадцатилетняя жизнерадостная девушка, любимица своих сестер и подруг, некогда мечтавшая стать балериной, когда в большом холодном темном доме за тяжело умирающим, постоянно плачущим человеком его «показания» записывала...

«Ему хотелось друзей, он хотел быть окруженным ими. Тосковал, что не приходят, и боялся, когда уходят, – вспоминала она позднее. – В эти дни он диктовал мне свои мысли, ощущения, письма к друзьям, я предложила ему, он же был очень рад, когда я записывала с его слов. Не знаю, как выразиться иначе, но что-то вдруг большое произошло в нем, точно он вдруг вступил в какую-то новую плоскость, в новую сферу ощущений... все формы “бытия” изменились, точно уже краем своего бытия он коснулся иных миров. Его ничего не могло успокоить. Он кричал, плакал, о чем-то все просил, просил объяснить его странное состояние. “Я сам не знаю, что со мной происходит, не могу понять. У меня все удваивается, все ощущения принимают учетверяющую форму...” Он просил позвать Флоренского. Он ждал от него объяснений своего состояния, хотел натолкнуть его, чтобы о. Павел открыл бы ему. Он все твердил, что везде, на всех видит знак креста, и крестил всех окружающих. Во время болезни о. Павел очень редко заходил, объяснял это своей занятостью, но причина была не в этом. Холодный, кристальный, везде всегда любящий форму, – он инстинктивно боялся, трепетал перед обнаженностью человеческого страдания. Он испытывал мистический страх (так, на похороны Веры он пришел с огромным для себя принуждением и страхом). Отцу же он был необходим, он страстно ждал его... “О. Павел – таинственный, загадочный и пленительный”, – говорил В. В. Розанов последнее время... “Вы сами не понимаете, – говорил отец окружающим, – что такое происходит в мире. Образ мира меняется, происходит так сказать перемещение плоскостей”. Во время всей болезни он поражал страшной напряженностью мысли,

ясностью ее; до последнего почти часа она не покидала его. Начался 3-й период, период глубокой, тихой, углубленной радости. Он был весь счастлив, отчего вокруг меня так светло, скажите, объясните. Обнимитесь все, все... Он просил прощения у всех... диктовал письма к друзьям, и после весь тихий и радостный, слабым голосом обратился к маме: “Мама, поцелуемся во имя Воскресшего Христа! – Вернемся снова к Церкви, будем жить по-церковному, православному”. Как-то С. Н. Дурылин был у папы... В тот день ему было очень плохо. Он едва продиктовал письмо к друзьям, литераторам, евреям... Я спросила его: “Папочка, ты ничего не боишься?” – “Нет, я знаю, что я умру, но я ничего не боюсь...” “Мы нищие, нищие, и как хорошо, что мы нищие!” “Со мною только Бог!” Он как бы переходил при жизни еще в иной мир, в мир высшей реальности».

Но и эта реальность его не отпускала.

«Дети мои собираются сейчас дать мне картофель, огурчиков, сахара, которого до безумия люблю. Называют они меня “куколкой”, “солнышком”, незабвенно нежно, так нежно, что и выразить нельзя, так голубят меня... жена нежна до последней степени, невыразимо, и вообще я весь счастлив, со мной происходят действительно чудеса, а что за чудеса, расскажу потом когда-нибудь. Все тело ужасно болит», – диктовал он в одном из самых последних своих посланий и плакал, плакал, плакал...

В конце жизни В. В. примирялся с теми, кого обидел сам и кто обидел его. Со своими домашними, со своими близкими и дальними.

«Лихоимка судьба свалила Розанова у порога! – обращался он к Мережковскому, Гиппиус и Философову из своего последнего жизненного пристанища. – Спасибо дорогим, милым за любовь, за привязанность, сострадание. Были бы вечными друзьями – но уже кажется поздно. Обнимаю вас всех крепко и целую вместе с Россией дорогой, милой. Мы все стоим у порога, и вот бы лететь, и крылья есть, но воздуха под крыльями не оказывается... Восходит золотая Эос! Верю, верю в тебя, как верю в Иерусалим! Ах, все эти святыни древности, они оправдались и в каких безумных оправданиях. Целую, обнимаю вместе с Россией несчастной и горькой».

И в этом же письме к тем, кто когда-то принял его в свой орден, а потом изгнал из Религиозно-философского общества, прозвучали слова, которые опять же стали едва ли не крылатыми: «Творожка хочется, пирожка хочется. А ведь когда мы жили так безумно вкусно, как в этот голодный страшный год? Вот мера вещей. Господи, неужели мы никогда не разговеемся более душистой Русской Пасхой, хотя теперь я хотел бы праздновать вместе с евреями и с их маслянистой, вкусной,

фаршированной с яйцами щукой. Сливаться, так сливаться в быте, сразу маслянисто и легко».

К евреям обращал Розанов и свою наивную и трогательную предсмертную волю 10 января 1919 года: «Я постигнут мозговым ударом. В таком положении я уже не представляю опасности для Советской республики. И можно добиться мне разрешения выехать с семьей на юг.

Веря в торжество Израиля, радуясь ему, вот что я придумал. Пусть еврейская община в лице Московской возьмет половину права на издание всех моих сочинений и в обмен обеспечит в вечное пользование моему роду племени Розановых честною фермою в пять десятин хорошей земли, пять коров, десять кур, петуха, собаку, лошадь и чтобы я, несчастный, ел вечную сметану, яйца, творог и всякие сладости и честную фаршированную щуку.

Верю в сияние возрождающегося Израиля, радуюсь ему».

Еще неделю спустя продиктовал уже самые последние письма – к литераторам и опять же к евреям.

«Нашим всем литераторам напиши, что больше всего чувствую, что холоден мир становится, и что они должны предупредить этот холод, что это должно быть главной их заботой.

Что ничего нет хуже разделения и злобы и чтобы они всё друг другу забыли, и перестали бы ссориться. Все это чепуха. Все литературные ссоры просто чепуха и злое наваждение.

Никогда не плачьте, всегда будьте светлы духом.

Всегда помните Христа и Бога нашего.

Поклоняйтесь Троице безначальной и живоносящей и изначальной.

Флоренского, Мокрицкого и Фуделя и потом графов Олсуфьевых прошу позаботиться о моей семье и также Дурылина, и всех, кто меня хорошо помнит.

Прошу Пешкова позаботиться о моей семье».

«Благородную и великую нацию еврейскую я мысленно благословляю и прошу у нее прощения за все мои прегрешения и никогда ничего дурного ей не желаю и считаю первой в свете по назначению. Главным образом за лоно Авраамово в том смысле, как мы объясняем это с о. Павлом Флоренским. Многострадальный, терпеливый русский народ люблю и уважаю».

Несложно увидеть, что В. В. не только протягивал руку всем, на кого при жизни нападал и кто нападал на него, но и в каком-то смысле забирал свою фирменную яичницу из всех партий, наций, стран и религий в пакибытие. Только вот родную сторону взять туда было невозможно...

«Ну, прощай, былая Русь, не забывай себя.

Помни о себе.

Если ты была когда-то величава, то помни о себе. Ты всегда была славна».

И все же самое трогательное и важное из своих предсмертных посланий он адресовал подруге своей младшей дочери Лидии Хохловой, которая, по воспоминаниям Надежды Васильевны, узнав о болезни В. В., отдала ему свой завтрак. «Отец был тронут до глубины души этим порывом сострадания и тут же написал ей записочку, хотя рука едва повиновалась ему».

И если это так, то был последний раз, когда гениальная розановская рука, выведшая столько букв, столько ерничавшая и страдавшая, столько растекавшаяся мыслию по необъятному древу познания добра и зла, мятежная, дурная, прекрасная, неповторимая, благословенная и проклятая, прощалась в лице никому не ведомой девушки со всеми своими читателями, прошлыми, настоящими и будущими:

«Лидочке Хохловой.

Милая, дорогая Лидочка.

С каким невыразимым счастьем я скушал сейчас кусочек чудного хлеба с маслом, присланного Вами из Москвы с Надей.

Спасибо Вам и милой сестрице Вашей. Я хочу, чтобы, где будет сказано о Розанове последних дней, не было забыто и об этом кусочке хлеба и об этом кусочке масла. Спасибо, милая. И родителям Вашим спасибо. Спасибо. Благодарный Вам – В. Розанов. Эту записку сохраните»^[129].

Свидетельство о смерти

«Отцу становилось все хуже и хуже. За несколько дней до смерти отец попросил сестру Надю написать под его диктовку отчаянные письма друзьям, и в них не было преувеличения. Подходили мои именины. Папа их вспоминал, что-то удалось испечь, и он был очень доволен сладким пирогом с малиновым вареньем. После моих именин отцу стало еще хуже. Он просил Надю написать бывшим друзьям – Бенуа, Мережковским, обращение к евреям. Он со всеми примирился, ни на кого не имел зла. Как-то я его спросила: “Папа, ты отказался бы от своих книг ‘Темный Лик’ и ‘Люди лунного света’?” Но он ответил, что нет, он считает, что что-то в этих книгах есть верное, несмотря на то, что он был настроен в последнее время по-христиански и казался верным сыном Православной русской церкви», – вспоминала Татьяна Васильевна.

«Часто, часто он говорил: “Христос воскрес. Обнимемся все, все! Радость вокруг”, – записывала последние слова отца Надежда Васильевна. – Я спросила его: “Папочка, ты ничего не боишься?” – “Нет, я знаю, что я умру, но я ничего не боюсь, мне очень, очень хорошо”, – слабо, чуть удивленно, но спокойно и медленно сказал он».

И она же записывала в дневнике: «Последняя ночь. Отец уже едва говорил и был кроток и тих. Слабо стонал. Письмо от Веры из монастыря (тяжелое). Среда в 6 ч. вечера разговор с Варварой Дмитриевной: “Скажи, я умираю?” – да, я тебя провожаю, а ты меня возьми скорее к себе... Священник о. Павел Рождественский, – пришел первым и причащал В. В. Розанова и читал отходную. Ночь была ясная, снежная, холодная, звездная. Пришел о. Павел Флоренский. Он прямо прошел к В. В. и стал читать отходную. В. В. Р. слышал и пытался говорить. Стонать перестал, лежал тихо, раскрыв широко глаза. О. Павел просидел до 11 час. утра. В 12 ч. пришли С. Н. Дурылин и С. В. Олсуфьева. С. В. Олсуфьева положила на голову покров, снятый с изголовья преп. Сергия, и мы все молились, стоя на коленях, а С. В. читала молитвы. Дыхание В. В. Р. становилось слабее, слабее, он улыбался радостно, потом тень прошла по его лицу, и он тихо, незаметно умер. Было 23 янв. (5 февр.), среда 1919 г.».

Умер, окруженный все-таки «нашими»...

«В ночь с 22 на 23 января 1919 года старого стиля (5 февраля н. с.) отцу стало совсем плохо. Надя осталась с ним ночевать и прилегла рядом. Я вошла в его комнату и увидела, что у него уже закатились глаза. Тогда я

сказала Наде: “Беги за священником”. Надя побежала к Флоренским, но не могла к нему достучаться, тогда она побежала в Рождественский переулок, к отцу Александру. Он тотчас же пришел, но отец уже говорить не мог, и ему дали глухую исповедь и причастили. Это была среда.

Рано утром в четверг пришел П. А. Флоренский, Софья Владимировна Олсуфьева и С. Н. Дурылин. Мама, Надя и я, а также все остальные стояли у папиной постели. Софья Владимировна принесла от раки Сергия Преподобного плат и положила ему на голову. Он тихо стал отходить, не метался, не стонал. Софья Владимировна встала на колени и начала читать отходную молитву, в это время отец как-то зажмурился и горько улыбнулся – точно видел смерть и испытал что-то горькое, а затем трижды спокойно вздохнул, по лицу разлилась удивительная улыбка, какое-то прямо сияние, и он испустил дух. Было около 12 часов дня, четверг, 23 января старого стиля. П. А. Флоренский вторично прочитал отходную молитву, в третий раз – я. Мы молча стояли у его постели и смотрели на его лицо».

Так вспоминала уход отца Татьяна Васильевна Розанова.

«Глубокоуважаемый Петр Петрович! – писала ее сестра П. П. Перцову. – Сообщаю Вам о глубоком горе, постигшем нашу семью. 23-го января старого стиля в среду в 1 ч. дня скончался папа. 2 месяца он болел параличом, который произошел на почве сильных потрясений и продолжительной голодовки. Он похудал так, что походил на тень, я легко его переносила с кровати на руках, как ребенка. Надо было одно – усиленное питание – которое мы не могли ему дать при всем усилии. Он все слабел и слабел, и вот 23-го его не стало. Умер он совсем тихо, радостно, радостно, со всеми простился. 4 раза он причащался, 1 раз его соборовали, три раза над ним читали отходную, во время которой он и скончался. За несколько минут до **смерти** ему положили пелену, снятую с изголовья с мощей преподобного Сергия, и он тихо, тихо заснул под ней.

Похоронили его в монастыре Черниговской Божьей Матери, рядом с К. Н. Леонтьевым.

Много, много чудесного открыла его кончина и его последние дни и даже похороны. Милость Божия была на нем. Последние дни я была непрестанно с ним и записывала все, что он мне говорил».

Еще одно письмо Надежды Васильевны с описанием смерти Розанова опубликовал впоследствии Эрик Голлербах. Оно отчасти перекликается с ее письмом Перцову, но есть там и новые важные обстоятельства, и в нем больше – если так можно выразиться – торжества Православия: «... Получили Вашу телеграмму и так глубоко и больно почувствовали Вашу близость. Да, как часто, часто вспоминал папа своего “милого Эриха”, как

часто хотел видеть Вас, молча около Вас посидеть... И как все это кажется недавно... Два месяца он болел параличом. У него не действовала левая часть тела. Надо было одно усиленное питание, но его не было, достать было невозможно... Он все слабел, слабел. Последние дни я, 18-летняя, легко переносила его на руках, как малого ребенка. Он был тих, кроток. Страшная перемена произошла в нем, великий перелом и возрождение. Смерть его была чудная, радостная. Вся смерть его и его предсмертные дни была одна Осанна Христу. Я была с ним все время в дни его болезни и в его последние дни. Он говорил: “Как радостно, как хорошо. Отчего вокруг меня такая радость, скажите? Со мною происходят действительно чудеса, а что за чудеса – расскажу потом, когда-нибудь”. “Обнимитесь вы все... Целуемся во имя воскресшего Христа. Христос воскрес!” Он 4 раза по собственному желанию причастился, 1 раз соборовался, три раза над ним читали отходную. Во время нее он скончался. Он умер 23-го января ст. стиля, в среду, в 1 час дня. Без всяких мучений. Дыхание становилось все слабее, ему начала мешать слюна. Друзья, окружившие его, положили ему на голову пелену, снятую с мощей (изголовья) преп. Сергия, – слюна сразу перестала течь, он тихо, тихо уснул. Три раза улыбнулся, затем какая-то тень пробежала по лицу, будто ему было что-то горько, неприятно, почти физически, и он †. Его похоронили в монастыре Черниговской Божьей матери, рядом с любимым К. Н. Леонтьевым. И когда над могилой его служили панихиду, пели о “упокоении души новопреставленного Василия”, вместе с ним молились и о “упокоении души монаха Климента”. Много страшно чудесного открылось в последние дни его, в смерти и в его погребении. Об этом после. Я пришлю Вам, когда напишу, все, что он диктовал мне во время болезни...» «Да, воистину: “Посрамлю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну”. Такой свет, такая радость была вокруг него. Такая светлая кончина, такая Осанна Христу».

Описание смерти Розанова осталось также в письме Варвары Михайловны Бутягиной ее дочери Александре – той самой, кто так много значил в его жизни и в чьей жизни так много значил он.

«Милая, дорогая Шура!

О смерти не пишу, дети напишут. Он тебя каждый день ждал, за день до смерти перестал говорить о тебе. Умер как христианин.

Смерть была тихая, четыре раза приобщился, маслом соборовали, три отходных было^[130], от Сергия Преподобного воздух положили на голову его, и он как бы заснул, улыбка светлая была три раза... За несколько часов до смерти я услышала слабое: “Тоскливо”, сказано с такой безумной, за душу щемящей тоской, как могут сказать только умирающие, – “я умираю?” Я

говорю – “да, я тебя провожаю спокойно, только меня поскорее возьми к себе”. Я опустилась на колени. “Прости меня за то, что я тебя не понимала, что я необразованный человек”. Попросила перекрестить меня и простить за всё. Перекрестил, и его последнее слово было: “ты моя самая дорогая была и есть и мне жаль тебя оставлять”. Потом не могла разобрать слова... Я все не верю, что его нет. Все смотрю в окно и жду его. Целые дни в ушах: “мамочка, мамочка, дай папиросу”. День и ночь просил: “папиросу, дорогая мамочка”. Это самое ужасное – эти звуки слышать...»

«Василий Васильевич выбрал в христианстве самое бесспорное: он умер по-христиански», – безошибочно заключил в мемуарах С. Н. Дурылин [\[131\]](#).

Жизнь после смерти

В истории смерти Розанова, в воспоминаниях, свидетельствах и в реакции на нее самых близких ему людей было нечто похожее на смерть Льва Толстого, пусть и не в таких, конечно, масштабах, без сотен журналистов, съехавшихся в Астапово, и ежедневных газетных репортажей, над которыми В. В. некогда иронизировал в «Уединенном»^[132], да и время было уже совсем другое. И тем не менее подобно тому, как вся Россия ждала и обсуждала в ноябре 1910 года, отречется ли от своего учения яснополянский мудрец или отойдет к Богу непримирившимся, так и про Розанова нашлись и в 1919-м, и в последующие годы люди, кому было важно знать: покался ли он перед смертью в своих заблуждениях? Примирился с Церковью или умер ее врагом? С чьим именем на устах? Отказался ли от своих еретических писаний или взял их с собой? И если в случае с Толстым старец Варсонофий, специально приехавший в Астапово из Оптиной пустыни, так и не дождался, когда его пригласят к умирающему Льву^[133], то с Розановым все вышло с точностью наоборот – в священниках возле его одра недостатка не было, и покаяние им принесено было, и причастие принято.

Тем не менее антихристианская мифология возникла сразу же после того, как известие о смерти В. В. дошло до двух столиц, старой и новой, поменявшихся незадолго до того местами.

«В Москве повсюду ходит легенда, что папа прогнал покойного брата Васю, который хотел стать красноармейцем, и кажется, что даже выгнал его из дома, – писала Надежда Васильевна Розанова в уже цитировавшемся письме Голлербаху. – Перед смертью же действительно причастился, но после сказал: “Дайте мне изображение Иеговы”. Его не оказалось. “Тогда дайте мне статую Озириса”. Ему подали, и он поклонился Озирису... Это – евреи – Гершензон, Эфрос и др. Буквально всюду эта легенда. Из самых разнородных кружков. И так быстро все облетело. Испугались, что папа во Христе умер, и перед смертью понял Его. И поклонился Ему. А как там у Вас приняли папину кончину?»^[134]

Голлербах, публикуя свой ответ на это письмо четыре года спустя в небольшом мемуарном тексте, рассуждал диалектически. «Несмотря на тяжкие страдания, перед самой смертью душа Розанова озарилась необычайным горением. Огромный сдвиг произошел в нем, огромный

подъем. Для меня не было ничего неожиданного в том, что Розанов умер христианином, умер вполне “православно”. Он всегда утверждал, что религия есть самое важное, самое нужное, что жить без нее невозможно и никакую философию вне религии построить нельзя. Вопрос только о формах; и вполне естественно, что для умирающего Розанова православие, вера его предков, вера его семьи и друзей стала единственно возможной формой религиозного действия», – писал он, а следом ссылаясь на мнение двух человек, одним из которых был, вероятно, М. О. Гершензон, а относительно второго остается только гадать.

«Критик Г. сказал мне однажды о Розанове: “Жил он как курица и умер как курица” (т. е. малодушно, поджав хвост, примазавшись к Церкви).

Другой собеседник, проф. С., заметил возмущенно: “Непостижимо, как мог Розанов окунуться под конец жизни в самое банальное православие, в наибольшую церковность. Невероятная пошлость!”

На это Розанов мог бы ответить, что если в его жизни и была пошлость, она заключалась только в том, что он был писателем. Во всем же остальном эта жизнь была необычайна, и необычен в своей обыкновенности был ее конец».

Все это так, однако если учесть, что Голлербах в течение нескольких месяцев, предшествующих смерти Розанова, получал от В. В. пространные письма, исполненные неистовой брани против Христа и Нового Завета и полные любви к Древнему Египту и Иерусалиму, то поверить в столь радикальную перемену ума и русской души своего корреспондента честный немец был не готов. Оттого его оценка кончины философа делалась дальше нечеткой, отчасти шаткой, обтекаемой и по-розановски расплывчатой, как бы пытающейся всем угодить и примирить две исключаящие друг друга точки зрения.

«Клевету и сплетню не будем, однако, смешивать с легендой. Смерть большого писателя всегда порождает легенды, и, в сущности, нет такой легенды, которая не имела бы внутреннего основания, хотя бы слабого подобия правды. В “легенде” Гершензона, Эфроса и пр. есть доля внутренней правды, хотя и лишенной внешнего основания. В ней есть вероятие и доля правдоподобия. З. Н. Гиппиус вскоре после смерти Розанова передала мне от слова до слова рассказы про Иегову и Озириса, присоединила к нему еще Аписа, Изиду и Астарту. Такое обилие богов повергло меня в смущение, и я пытался протестовать, ссылаясь на свидетельства Над. Вас. Розановой. Но с женщиной спорить, разумеется, бесполезно, особенно со столь энергичной, как пленительная З. Н. Гиппиус, о которой покойный Розанов говорил с восторгом и страхом: “Не

женщина, а сущий черт”^[135]. Почитатели розановского иудаизма утверждают, что православное настроение Розанова было всецело подготовлено свящ. Флоренским. П. А. Флоренский действительно имел большое влияние на Розанова и старался укрепить его в православии, но я не допускаю и мысли, чтобы Флоренский мог бы “инсценировать христианскую кончину”. Повторяю, бессмысленных легенд не существует. Поэтому не станем отвергать “гипотезу Гершензона – Эфроса”, если даже она и лишена фактического основания. Но противоречие с самим собою (выразившееся в “христианской кончине”) несравненно более похоже на Розанова, чем идейная последовательность. Он жил “наперекор стихиям” и, подобно Уитмену, был “вместителен настолько, что совмещать умел противоречия”».

С. Н. Дурылин был гораздо лаконичнее и определеннее, записав в дневнике свой разговор с Григорием Алексеевичем Рачинским, председателем московского религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева (и что в контексте розановской биографии крайне примечательно – двоюродным братом бывшего розановского сначала опекуна, а затем непримиримого критика, убежденного христианина Сергея Александровича Рачинского) в марте 1919 года: «Первая же фраза Рачинского при встрече была: “А правда ли, что Розанов перед смертью поклонился Озирису?” – Ложь. Выдумали евреи»^[136].

На самом деле не евреи. Или по меньшей мере – не только они.

«За месяц до смерти и в разгар коммунистической революции Розанов был у нас в Москве и даже ночевал у нас. Он производил тяжелое впечатление, заговаривался, но временами был блестящ. Он сказал мне на ухо: “Я молюсь Богу, но не вашему, а Озирису, Озирису”», – вспоминал Николай Бердяев.

Понятно, что здесь явное нарушение хронологии, и за месяц до смерти Розанов никак не мог у Бердяева быть, но то, что в предсмертном бреду египетского бога В. В. вспоминал наравне с христианским, подтверждает и Флоренский. «Он диктовал мне перед смертью об Озирисе», – записал отец Павел, которого труднее чем кого бы то ни было из свидетелей ухода В. В. подозревать в искажении фактов в пользу «еврейской версии» о нехристианской кончине своего старшего друга. А кроме того, Флоренский написал два пространных письма, которые говорят сами за себя и едва ли нуждаются в комментариях.

Одно – Михаилу Васильевичу Нестерову:

«Дорогой, глубокоуважаемый Михаил Васильевич! С несказанною

радостью получил сейчас Ваше письмо... Начну с Вас. Вас. Да, он умер, 23 января 1919 г. после одной из бань, решительно ему запрещенных, его постиг удар; в параличном состоянии он пролежал несколько месяцев, очень неистовствуя и измучив родных. Но наряду с делами почти безумными с ним происходил и благотворный духовный процесс: В. В-ч постигал то, что было ему непонятно всю жизнь. Он “тонул в бесконечно холодной воде Стикса”, тосковал “хотя бы об одной сухой нитке от Бога”, между тем как стигийские воды проникали всё его существо. “Вот каким страшным крещением сподобил меня Бог креститься под конец жизни”, – сказал он мне при посещении его. Потом у него началось странное видение: “Все зачеркнуто крестом”. Я: “У вас двоится в глазах, В. В.?” – “Да, физически двоится, а духовно все учетверилось, на всем крест. Это очень интересно”. Мне он продиктовал нечто в египетском духе на тему о переходе в вечность и об обожествлении усопшего: “Я – Озирис и т. д.”. Много раз приобщался и просил его соборовать, он нашел тут священника о. Павла себе по нутру. Твердил много раз, что он ни от чего не отрекается, что размножение есть величайшая тайна жизни; но принял как-то и Христа^[137]. Были у него какие-то страшные видения. Когда увиделся с ним в последний раз, за несколько часов до смерти, то В. В-ч встретил меня смутно – уже пришептаннми словами: “Как я был глуп, как я не понимал Христа”. За последнее слово не ручаюсь, но, судя по всем другим разговорам, оно было сказано именно так. То, что он говорил затем, я уже не мог разобрать. Это были последние его слова. Перед смертью В. В-ч продиктовал своим бывшим друзьям, и в особенности тем, кого считал обиженным собою, очень теплые прощальные письма. Мирился с евреями. Погребение его было скромное прескромное, но очень благообразное и красивое. Собрались только самые близкие друзья, бывшие в Посаде. И гроб – Вы знаете, как тут трудно добыть гроб, – попался ему изысканный: выкрашенный фиолетово-черной краской, вроде иконной чернели, как бывает иногда очень дорогой шоколад, с фиолетиной, и слегка украшенный – крестиком из серебряного галуна. Повезли мы В. В-ча на розвальнях, по снегу, в ликующий солнечный день к Черниговской и похоронили бок о бок с К. Леонтьевым, его наставником и другом. Все было мирно и благолепно, без мишуры, без фальшивых слов, по-дружески сосредоточенно. Однако это был лишь просвет. А потом и пошло и пошло. Словно все бесы сплотились, чтобы отомстить за то, что В. В-ч ускользнул от них. – Для могильного креста я предложил надпись из Апокалипсиса, на котором В. В-ч последнее время (пропущено слово. – *Прим. изд.*) и на котором мирился со всем ходом мировой истории: “Праведны и истинны все пути Твои,

Господи”. Представьте себе наш ужас, когда наш крест, поставленный на могиле непосредственно гробовщиком, мы увидели с надписью: “Праведны и немилостивы все пути Твои, Господи”».

Второе письмо было адресовано курянину Михаилу Ивановичу Лутохину, вероятно, тому самому, кто обвинял Розанова в смерти сына. Оно, судя по датировке, было написано еще при жизни философа в начале сентября 1918 года, но по смыслу является обобщающей оценкой его личности.

«О Вас. Вас. сказать могу лишь очень немного, ибо иначе – надо говорить слишком много. Существо его – Богоборческое: он не приемлет ни страданий, ни греха, ни лишений, ни смерти, ему не надо искупления, не надо и воскресения, ибо тайная его мысль – вечно жить, и иначе он не воспринимает мира. Вас. Вас. есть такой шарик, который можете придавливать – он выскользнет, но который не войдет в состав целого мира: он сам по себе... Это – стихия хаоса, мятущаяся, вечно-мятущаяся, не признающая никакой себе грани, – хаоса не понявшего и не умеющего понять своей конечности, своей условности, своей жалкости вне Бога. Бейте его – он съжится, но стоит перестать его бить, он опять возьмется за свое. И потому Вас. Вас. надо глотать целиком – если можете и хотите, и отбрасывать целиком – если не умеете и не желаете проглотить. Меня удивляет, как это ни Вы, ни другие не видят непрерывности мыслей, настроений и высказываний В. В.: право же, он говорит теперь то же (в сущности дела), то же именно, что говорил раньше.

Спорить тут бесполезно, ибо В. В. не умеет слушать, не умеет и спорить, но по-женски твердит свое, а если его прижать к стене, то негодует и злится, но конечно не сдается. Если бы действовать на него не логически, а психологически, то он (и это не было бы корыстно, расчетливо, а произошло бы само собою) стал бы говорить иное, хотя и не по существу, а – по адресу. Например, если бы его приютил какой-либо монастырь, давал бы ему вволю махорки, сливок, сахару и пр., и пр., и, главное, щедро топил бы печи, то, я уверяю, В. В. с детской наивностью стал бы восхвалять не этот монастырь, а по свойственной ему необузданности обобщений, чисто детских индукций *ab exemplo ad omnia* – все монастыри вообще, их добро, ту их человечность, христианский аскетизм и т. д. И воистину, он воспел бы христианству гимн, какого не слыхивали по проникновенности лирики. Правда, этот гимн, если бы внимательно вслушаться в него, оказался бы восхвалением христианства не за христианственность, а за некоторые нейтральные черты в нем, но он был бы сладостно действен, общественно (т. е. для дураков, кои не умеют

разбираться в сути дела) более полезен, нежели все говоримые проповеди, вместе взятые. Но вот, приехал В. В. в Посад. Его монастырь даже не заметил, – конечно! – в Посаде выпали на долю В. В. все те бедствия, которые в гораздо большей степени в это же время выпали бы в СПб., в Москве и всюду. Наголодавшись и наголодавшись, не умея распорядиться ни деньгами, ни провизией, ни временем, этот зверек-хорек, что ли, или куничка, или ласка, душащая кур, но мнящая себя львом или тигром, все свои бедствия отнес к вине Лавры, Церкви, христианства и т. д., включительно до И. Х. Почва была подготовлена: семейные истории В. В., уже давно намозолившие ему шею, подготовили его бешенство против консистории, Церкви, Христа. Кое-что в словах его, ложно выраженное, содержит правильное постижение хода мировой истории. Но все же так это выражается, ложно, по основному направлению В. В-ча, по его складу духа, не приемлющему никакого “нет”, никакой задержки, никакого “должен”, – стремящегося излиться, как льется поток воды, и не переносящего ни малейшей препоны, на самое короткое время».

Ученик

К этой трезвой, логической, очень умной, как всегда у математика Флоренского (кого Розанов корил за уход в «сухую, высокомерную, жестокую церковность»), характеристике ни прибавить ни убавить, но, дерзновенно перефразируя известное высказывание героя Достоевского «ежели мне математически докажут, что истина вне Христа...» и далее по тексту, был человек, который именно с Розановым, а не с «истиной» предпочел остаться и который, к слову сказать, и фатального противоречия между В. В. и Тем, Кого тот в ослеплении и безумии своим гнал до своих последних дней исключительно, тоже не находил.

«И Вы думаете, что я могу сердиться на Ваши “А<покалипсисы>” и на Вас! – писал он Розанову. – Знаете, что я не думаю, – нет, а верю: это больше, чем думаю. – Если б Господь Христос пришел опять сюда, к нам, то могло бы случиться, что $\frac{9}{10}$ священников от него отвернулись бы: некогда, мол, не до того: у нас дело, – а В<асилий> В<асильевич> Ему бы последнюю корочку подал, несмотря ни на какие Ваши “А<покалипсисы>”. И потому я ни на минуту не верю, что Вы ушли от Него: помните, Он сказал притчу: “Один сказал: пойду – и не пошел, другой сказал: не пойду и не пошел”? Розанов больше, чем “сочинения В. Розанова”. О, как это знает и любит всякий, кто вошел в Вашу комнату, кто ел Ваш хлеб, как ел я...»

Это и был его настоящий ученик и настоящий наследник. Не Михаил Михайлович Пришвин, хоть он и называл себя таковым, даже не Эрик Федорович Голлербах, а – Сергей Николаевич Дурылин, на чье пространное свидетельство о последних днях Василия Васильевича я ссылался в примечании к одной из предыдущих глав. Именно он не то чтобы целиком «проглотил», а именно полюбил В. В., принял его как данность, как факт сердца, и это глубокое, сердечное восприятие Розанова – самое полное, влюбленное и нежное, самое розановское – пусть и станет прощанием с нашим главным героем.

«То, что он шептал на ухо, голосом, имеющим от тайны и глубины, то осталось перед глазами немногих, как синенький дым от его папироски. Папироска давно потухла, курить ее некому, да и сорта такого уж не делают. Остались примечания мелким шрифтом, с особыми курсивами: через 5–10 лет их никто не поймет, не услышит в них того же шепота. Книжки обростут мхом – и все будет кончено. Кому нужно – это “тихое”,

вверяемое уху шепотком, и в шепотке добирающееся до глубин, до вечных несказуемых тайн? Нет, папироска потухла навсегда. И никто не закурил от нее.

Все любимое в литературе у меня – “плавное” – на “л” и на “р”: Лермонтов, Лесков, Леонтьев, Розанов. В. В. был “грешник”. Так жена (при мне) и говорила ему, когда он ерепенился: “Я – язычник!” – Какой ты язычник! Ты просто – плохой христианин!

Должно быть, с ним и было так легко всем, что он был “грешник”. Нельзя без слез и улыбки читать его о святой Травииате (“Среди художников”). Зато – тут и тепло, тут и “уют” – и ласка какая-то, до корней, до ручьев подземных бытия... Как холодны и скупы перед ним “праведники” – Трубецкой, Флоренский^[138], Булгаков. У “грешника”, должно быть, хлеб мягче оттого, должно быть, что и рука мягче: не столь тверда и уверенна, как у “праведника”. Бороденка – зеленая: табачная зелень, и в ней совсем желтые, не от рыжины, а от табаку, волосенки, руки трясутся; на шее синие жилки; все прокурено: бороденка, нос, щеки, шея, даже уши обкурены. Пальцы на руках – коричневые от табаку. Какая уж тут праведность, когда губы сохнут без папироски, как без воды живой! Как другие не только “едят”, но и “объедаются” и “обжираются”, так и он не только “курил”, но и “обкуривался”. Весь обкурен и все кругом обкурено. Я не курю, я и дыму табачного не люблю. А вот его дым – от его папироски, вечной, неугасимой! – любил и тоскую по нем.

Увидать бы хоть на минутку опять алый огонек его неугасимой папироски. Полегчало бы на душе. Нет. Не увидишь. Все кончено. Могила. Вот грущу о нем и вспоминаю по “кусочкам”, по маленьким зацепочкам памяти – то за его бородку, то за дымок папироски, то за то, то за другое... И... Почему же с этой могилой меня не может время помирить. Как о невозможном счастье мечтал я о том, чтоб увидеть Лермонтова и Леонтьева живых. А его увидеть Бог дал; а то бы так же мечтал бы и о нем, о третьем, как о них. Я застал его “на самом кончике”, и вот этого “кончика” хватит, должно быть, на всю жизнь...»

Вера

Среди писем, которые Розанов продиктовал перед смертью, было обращение к детям: «Перед сокровищем Васенькой прошу прощения. Много виноват в его смерти. Грациозной Наденьке желаю сохранить ее грацию, великодушной и великой Вере желаю продолжения того же пути монашеской жизни, драгоценной и трепетной. Тане желаю сохранить весь образ ее души. Варе желаю сохранить бодрость и крепость духа, Алю целую, обнимаю и прошу прощения за все мои великие прегрешения перед ней, Наташу целую и обнимаю, любимому человеку Шуриному очень желаю добра и счастья».

Расскажем коротко, что случилось с каждым из них, хотя по большому счету с этого места надо было бы начать писать еще одну книгу, а эпиграфом к ней могли бы стать слова из дневника Пришвина: «Великий богоборец Розанов. Его семья, воистину, как в греческой трагедии, несет небесную кару за спор отца с богами».

Самая трагическая судьба оказалась у Веры, той, которую, если вспоминать не только Олю Мещерскую из «Легкого дыхания», но и Лару Гишар из «Доктора Живаго», «преступно рано сделали женщиной», которая еще одиннадцати лет от роду хотела умереть, а потом ушла в монастырь. Отец был до последнего уверен, что его дочь спасется там не только душой, но и телом, что в обители ей хорошо, она там счастлива и сможет пережить за монастырскими стенами ужас последних времен. Однако в действительности все оказалось не так.

В статье современного автора С. А. Болховитинова «Воскресенско-Покровский женский монастырь в Нежадово», посвященной истории этой славной обители, говорится о том, что «в начале 1915-го в монастырь послушницей поступила Вера Васильевна Розанова (1896–1919), дочь известного философа и публициста, окончившая гимназию Стоюниной. Особой она была психически неустойчивой, либералкой, общавшейся с декадентами. В монастыре чахоточная Вера провела четыре года, после чего игуменья исключила ее, скорее всего, за несоответствие монастырским требованиям. Жизнь девушки окончилась трагически – она повесилась вскоре после смерти отца».

Хотя с такой поверхностной, легкомысленной, я бы даже сказал, не по-христиански брезгливой оценкой личности Веры Розановой согласиться трудно, по факту все обстояло именно так. «От Веры скоро пришло очень

скорбное письмо с извещением, что она может к нам вернуться из монастыря, без всяких подробностей. Что случилось, мы не понимали, – описывала историю ухода сестры из монастыря весной 1919 года Т. В. Розанова. – Вскоре Вера к нам приехала. Она произвела на нас очень тяжелое впечатление, была какая-то убитая, объясняла свой приезд в отчий дом очень спутанно, чувствовалось, что она чего-то недоговаривает. Мы знали, что в последнее время она была учительницей при монастыре. При отъезде ей дали довольно значительную сумму денег, как бы плату за труд, она нам ее торжественно отдала, не понимая хорошенько, что на эти деньги в то время ничего нельзя было купить. Она сильно кашляла и до странности была голодна. Когда мы перед ней поставили горшок ржаной каши, очень неприятной на вкус, без масла, она весь его съела, значит, была истощена до последней степени. Позвали врача. Он установил вновь вспыхнувший туберкулез легких, назначил лечение, но это не могло помочь при тех ужасных условиях жизни, которые в то время были у нас. Сестра Вера производила очень странное впечатление, говорила о каких-то страшных грехах, что она обречена на гибель. В довершение нашего несчастья, мы все поехали как-то в Хотьково в церковь, где были похоронены родители преп. Сергия. По дороге в храм мы встретили странную женщину, по виду монашку, которая что-то страшное сказала Вере. Она совсем была потрясена. Что-то еще с ней приключилось в храме, мы подумали, не сошла ли она с ума. Когда мы вернулись из Хотьково, ей сделалось еще хуже. При ней неотлучно была сестра Аля, потом стал приходить к ней Сергей Николаевич Дурылин, в то время он был очень набожен, говорил с ней неосторожно, больше запугал ее, чем облегчил ее душевное состояние. Ей всюду мерещились бесы, она боялась их, говорила о самоубийстве. Мы как-то не верили ей, но сестра Аля очень боялась за нее и была при ней неотлучно».

6 мая 1919 года сам С. Н. Дурылин записал в дневнике: «Вера Розанова – молчит».

8 мая: «С Верой плохо. Петля. К о. Порфирию? с нею. Утешение. Всенощная в соборе».

20 мая. «Вечер у Розановых. Вера больна».

Но именно его, самого верного друга их дома, Татьяна Васильевна впоследствии обвиняла в том, что произошло с ее сестрой.

«В 1919 году, летом, в Троицын день, к нам пришел Дурылин и принес читать свой, только что им написанный, рассказ “Страница”. Рассказ этот был посвящен одной жене священника, которая мучилась такой невыразимой тоской, что ушла навсегда из дома странствовать... Рассказ

был печальный и странный, написан хорошо. Вера в Сергея Николаевича впиалась глазами. Все молча разошлись спать».

«В Духов день, 27-го, утром вбегает Надя – Вера повесилась перед утром, – записывал в дневнике сам Дурылин. – Я туда с Надей. Писать не могу об этом и дальше. Мальчики уехали. Веру обрядили. Письмо ее к игуменье. Варвара Дмитриевна тверда. Разговор с ней о В. В. Видения Александры Михайловны от могилы В. В-ча: рот в земле – ужас – знает, что с дочерью, и не может сказать. 28 вторник я ходил к Михаилу Александровичу, оттуда к о. Израилю. Вечером панихида».

«На другой день, рано утром, сестру Веру нашли на чердаке повесившейся. Надя первая увидела ее и после этого заболела душевно; с тех пор совсем изменился у нее характер, она стала очень нервной. Я увидела сестру Веру уже только в гробу. Лицо у нее было удивительно спокойное и красивое – какое-то умиротворенное», – вспоминала Татьяна.

«Сегодня 29-го ее похоронили возле В. В. Я еще каменный какой-то, – записывал Дурылин. – Молиться не мог. Мария Федоровна: “Как бы мы не были добрее Бога”. О. Порфирий: “Молиться можно. Она в безумии”. Я устал. Не могу я с людьми. Что я? Слаб. Той любви, какую нужно, чтоб быть с ними, у меня нет. Лицо у Веры белое и чистое. Сестры ощущают, что мир от нее. У меня не так. Вспоминаю, что живая она казалась мне похожей на мертвого В. В-ча. В гробу (1 нрзб.). Михаил Александрович: “Он-то выкарабкался, а она...” Бедная девочка! И страшно, страшно: ощущаю самоубийство как единственное дело, которое человек фактически может сделать вопреки Богу. И сейчас же Я изомрет».

«Церковь ее разрешила хоронить, так как священник нашел ее душевнобольной и разрешил предать земле по церковному обряду, – вспоминала Татьяна Васильевна. – Похоронили ее уже без звона, в том же Черниговском монастыре, рядом с могилой отца. На другой день пришло роковое письмо от игуменьи монастыря Евфросинии, письмо ее ласковое, полное обещаний через некоторое время взять ее обратно в монастырь, чего сестре очень хотелось, она тосковала о монастыре и о матушке и ждала этого письма ужасно. <...> Кто знает, если бы письмо не запоздало на один день, может быть, ничего бы и не случилось. Рок. Сестра Аля очень винила себя, ведь она каждую ночь ходила смотреть, как Вера спит, она боялась за нее, а тут в первый раз, усталая, не пошла ее навестить».

«Сжег бы книги В. В-ча, проклятые книги – “Темный Лик” и др», – написал тогда же в дневнике Дурылин, а несколько дней спустя в продолжение темы воспроизвел свой разговор с Флоренским и Новоселовым: «Потом я сказал-таки: “Вот Вам сжечь бы ‘Темный Лик’ и

‘Лунных’”. – Он: “Это все, Михаил Александрович, наивно. Тогда сжигать всего Розанова”. Я: “Но на ядовитых составах так и вешают ярлык: череп, смерть. Вот так и надо перед ‘Темным Ликом’ и ‘Людьми лунного света’”. – Он: “Да и не его одного. Все творчество всегда с этим. – Гоголя сжечь”. Я: “Да, сжечь”. – “У Пушкина ‘Жил на свете’ – яд, еще какой! У Жуковского некрофилия, любовь к сестре, любовь на могилах... Это нас отрезвили Александр III и Победоносцев, а раньше было иначе. И Достоевский весь...” – я: “Зосиму бы я первого сжег”»[\[139\]](#).

Дочки-матери

После трагической смерти Веры Васильевны оставаться в доме на Красюковке семья не смогла, не захотела и переехала в квартиру на Переяславской улице. Жили тяжело, с трудом зарабатывая на пропитание. Дрова приходилось заготавливать самим, однако зимой температура в комнатах не поднималась выше пяти градусов. Тогда же в 1919 году в Лавре произошло событие, которое потрясло Россию и в историческом смысле стало свидетельством национальной катастрофы с еще большей очевидностью, чем сама революция. То было вскрытие мощей преподобного Сергия Радонежского.

«При имени преп. Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверждает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной, – говорил учитель Розанова Василий Ключевский в 1892 году, выступая в Московской духовной академии, и его слова приводила потом в письмах Татьяна Васильевна Розанова. – Это возрождение и это правило – самые драгоценные вклады преп. Сергия, не архивные или теоретические, а положенные в живую душу народа, в его нравственное содержание. Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо, памятниками деятелей, внесших наибольшее количество добра в свое общество. С этими памятниками и памятьми срастается нравственное чувство народа; они – его питательная почва; в них его корни; оторвите его от них – оно завянет, как скошенная трава. Они питают не народное самомнение, а мысль об ответственности потомков перед великими предками, ибо нравственное чувство есть чувство долга. Творя память преп. Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведенные в нем траты. Ворота лавры преп. Сергия затворятся, и лампы над его гробницей погаснут только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его».

И вот четверть века спустя этот огонь был насильственно потушен, а нравственный запас оказался не просто истраченным, а растоптанным и выброшенным вон. Бог знает, что сказал бы Розанов, доживи он до того черного дня, но сохранилось свидетельство С. Н. Дурылина о реакции старшей дочери философа: «Таня Розанова – потрясенная. Она была в

числе 4 женщин, запертых в соборе и взятых как свидетели. “Не дай Бог никому пережить, что я пережила. Прав папа: мерзок человек, а русский человек – отвратителен”».

Несчастья по-прежнему преследовали семью Розанова. В 1920 году заболела Александра Михайловна Бутягина. Она приехала из Петрограда в Сергиев Посад вскоре после смерти отца вместе с Натальей Аркадьевной Вальман. Последнее обстоятельство не могло не огорчить ее маму, которая столько пережила с уходом мужа, что видеть проявление содомского греха в своей семье ей было тяжело. Алю она звала вернуться очень («Шура, дорогая, если ты можешь бросить свое имущество и приехать к нам. Обещать не могу, можешь ли ты заработок найти здесь. Я была бы очень рада и дети не такие сироты были бы, – диктовала она Надежде, и дальше как крик души: – Я очень слаба и мне хотелось бы на твоих руках умереть»), но вряд ли вместе с «любимым Шуриным человеком». Можно предположить, что Варвара Дмитриевна не раз вспоминала свою строгую матушку, которой было бы легче в могилу лечь, нежели увидеть дочь, живущей невенчанной с неразведенным мужчиной, а тут... Но не гнать же их было, да и с приездом Али стало действительно легче. И душевно, и физически. Плюс ко всему Наталья Аркадьевна оказалась в хозяйстве очень полезной и была в доме кем-то вроде мужчины, как бы двусмысленно последнее ни звучало. «Она была более сильная, чем мы, помогала пилить и колоть дрова», – вспоминала Татьяна Васильевна.

Впоследствии Але удалось устроиться на работу в Электротехническую академию, где давали хороший паек, Наталья Вальман стала преподавать в местной школе русский язык, и в общем все как-то смирились, стерпелись, привыкли, однако относительное благополучие это продолжалось недолго. Осенью 1920 года Александра Михайловна, которая и так не отличалась крепким здоровьем, простудилась на хозяйственных работах, куда принудительно отправляли всех жителей города. «Помню вечер. Вдруг Аля подняла голову с подушки и воскликнула: “Вот, вот, сейчас я видела бабушку и дедушку, они меня зовут к себе”, – вспоминала Татьяна Васильевна. – С тех пор Аля стала говорить о своей близкой смерти, у нее был все время жар и болела сильно голова, нашли у нее паратиф... Аля не спала по ночам, очень болели все суставы, и была крайне раздражительна и до крайности недоверчиво стала относиться к нам. Наталья Аркадьевна все ночи напролет читала ей Тургенева, которого сестра так любила...»

Флоренский устроил падчерицу Розанова в больницу при Красном Кресте. Несмотря на вызывающе нетрадиционный, по крайней мере в

условиях Сергиева Посада, образ жизни этой женщины, своим попечением священник ее не оставлял.

«Врачи не определяли ее болезни, не могли понять, что с ней, – писала Татьяна Васильевна. – Помню, последний раз я пришла к ней перед Рождеством, в обед с работы, принесла ей два платка вязаных – один белый, другой черный, на выбор. Она взяла белый, была очень ласкова со мной, улыбнулась печально на прощание. У меня сжалось сердце, – на лице сестры Али проступали черные, зловещие пятна; я поняла, что жизнь ее держится на волоске... за несколько дней до смерти нашли у нее туберкулезные палочки в почках и, вообще, миллиарный туберкулез. Спасти ее уже нельзя было... В гробу она лежала удивительно розовая. Мы страшно испугались: во время заупокойной литургии службу остановили, по церкви пошел шепот, что, может быть, это не смерть, а летаргический сон. Гроб оставили стоять еще на одну ночь. Врач был молодой, еще неопытный и не знал, что смерть от сердца дает такие явления. Ее отпевали на другой день и похоронили в Черниговском скиту, рядом с отцом и сестрой Верой. Ей было 40 лет».

На самом деле на три года меньше – тридцать семь, и то был ужас для матери, которая мечтала на руках у старшей дочери умереть, а вместо этого была вынуждена сама ее хоронить. Что испытывала, что думала, кому жаловалась, о чем молилась несчастная женщина, потерявшая за два года мужа и троих детей?

Весной 1921 года, несколько месяцев спустя после смерти Али, вернулась с Украины, где установилась советская власть, Варвара Васильевна Розанова, которую в семье считали пропавшей. Можно предположить: ей было не очень просто смотреть в глаза родным, после того как она оставила больного брата в Курске и долгое время ничего не знала ни о его смерти, ни о смерти своего отца и сестер. Однако Варя, по свидетельству старшей сестры, была человеком неунывающим. «Мне нельзя было падать духом. Я понимала, что в этот момент умирали не единицы, а тысячи. Кто от испанки, кто на фронте. И что бы ни случилось в дальнейшем, надо стойко выносить все. Жизнь меня очень закалила, и ко всяким фанабериям и “мистике” я отношусь крайне отрицательно...» – цитировала в воспоминаниях ее письмо Татьяна Васильевна и делала примечание, что «мистика» – «это камешек в огород старших сестер».

А вот Наталья Аркадьевна после смерти своей подруги, напротив, из Сергиева собралась уезжать. Вероятно, Варвара Дмитриевна была тому и рада, но Татьяну Васильевну известие об отъезде Вальман огорчило. «Я чувствовала нашу полную беспомощность, умоляла ее остаться, но она не

согласилась». С собой Алина подруга увезла рукописи Александры Михайловны и среди них большой роман, в котором описывалось самоубийство молодой девушки, можно сказать – роман-предчувствие или роман-послесловие к судьбе Веры Розановой.

«Теперь я так раскаиваюсь, что отдала эти рукописи Наталье Аркадьевне. Они наверное пропали», – с горечью вспоминала Татьяна Васильевна.

Еще раз Н. А. Вальман появилась в Сергиевом Посаде в 1938 году. «Она была какая-то странная, в ней было что-то очень неприятное, и я уже была рада, что она уехала. Про рукописи сестры она молчала, мы не спрашивали... боялись, что она будет что-то нам лгать и задержится у нас. Больше я ее не видела, а сестре Наде она писала дикие письма, сестра ей не отвечала. Так печально кончился этот эпизод. Она сыграла в нашей жизни и положительную роль, и отрицательную, так как совсем не подходила к нашей семье. Я с печалью вспоминаю о ее жизни у нас».

И потянулись трудные дни и ночи трех маленьких русских женщин. Надежда Васильевна работала в детской библиотеке, Варвара Васильевна воспитательницей в детском доме, откуда ее не выгнали оттуда за антипедагогическую самостоятельность^[140], Татьяна Васильевна служила секретарем в Электротехнической академии, и на всех Розановых девах стояло клеймо человека, фактически объявленного в новой стране вне закона. Никакого другого наследства Василий Васильевич ни своей вдове, ни дочерям не оставил^[141], а все их планы издавать его сочинения, собирать воспоминания о нем, публиковать письма от Горького и Блока, которые получила Надежда Васильевна сразу после смерти отца, все обещания и надежды, кружок по изучению творчества Розанова при Вольфиле, отделение по изучению языка Розанова, организованное Брюсовым, превосходная книга Шкловского о Розанове, страстный призыв Голлербаха смириться перед Розановым и признать его гениальность^[142] – все это, едва начавшись, было на многие годы оставлено и забыто.

«Забудьте вы о Розанове, погубит Вас этот несчастный реакционер», – сказал, по преданию, Эрику Голлербаху Корней Чуковский, который в каком-то смысле мог считать себя победителем в их с В. В. идейном противостоянии, и эта настоятельная рекомендация советского сказочника относилась ко всем, кто имел несчастье Розанова знать и смел его помнить, да и к самому Голлербаху, арестованному в середине 1930-х, в первую очередь. Другим «пострадавшим» от В. В. оказался издатель философской литературы Г. А. Леман-Абрикосов, тот самый, кто в октябре

восемнадцатого года угостил Розанова последними в его жизни рисовыми котлетами и последним творожком, а девять лет спустя был сослан на три года на север с формулировкой: «пропагандировал в антисоветских целях антисимитско (так в источнике. – А. В.) – церковного писателя Розанова, читал о нем доклады, пытался организовать кружок». Еще одним осужденным по делу того же кружка и по тем же мотивам стал Сергей Николаевич Дурылин, также получивший от рабоче-крестьянского государства трехлетнее наказание за чрезмерный к В. В. интерес^[143].

И наконец, примерно в эти же годы (в марте 1929-го) отец Павел Флоренский написал письмо в Париж издателю М. Л. Цитрону:

«Уважаемый Марк Львович.

Получив Ваше письмо относительно изданий сочинений В. В. Розанова, я имею сообщить Вам следующее. Непосредственно после кончины В. В. Розанова я действительно выразил согласие З. И. Гржебину на редактирование сочинений В. В. Розанова. Лично я никогда не разделял многих из его мыслей; но, зная его как одного из самых талантливых современников, полагал, что имею нравственное право редактировать его труды, – так же, как редактировал бы какой-либо извлеченный из недр земли текст древнего автора. По-видимому, так именно, надо думать, смотрит на подобные издания и власть, управляющая СССР.

Соответственно с этим я потратил тогда много труда, чтобы разобраться в хаотическом наследии В. В. Розанова и постараться из фрагментов создать за него книги, которых он фактически не осуществил, так как композиция книги всегда производилась им в процессе печатания. В этом отношении я добровольно выполнил свои обязанности и даже более, чем предполагал первоначально. Однако, пока шло время этой работы, З. И. Гржебин уехал за границу и исчез из моего поля зрения, несмотря на все усилия, я не мог узнать, как снестись с З. И.

Но за это время в процессе государственного строительства произошли естественные расслоения, и то, что было законно в первые годы Революции, стало нарушающим общекультурную политику в дальнейшие годы. Наша цензура стала запрещать то, что разрешалось сперва. Вдумываясь в принятый властью курс, я увидел, что действительно печатание сочинений В. В. Розанова (независимо от цензурных запретов) приходится считать несвоевременным. Лично я полагаю, что по миновании известных острых моментов культурной борьбы цензуре будут даны властью директивы более свободного пропуска в печать сочинений, которые хотя идеологически чужды задачам момента, но представляют общекультурный интерес. Прав я относительно будущего или ошибаюсь,

однако сочинения В. В. Розанова сейчас не могут быть напечатаны в пределах СССР, и Вы не можете сказать, что это простая случайность или недоразумение.

Будучи принципиально лояльным, я поэтому не считаю возможным для себя идти в обход общим директивам власти (отнюдь не затрагивающим совести) и стараться во что бы то ни стало напечатать книги В. В. Розанова хотя бы за границей, раз не позволяют это внутри страны. Дело даже не в юридической ответственности, а в сознании незаконности подобных действий, если не по букве, то, во всяком случае, по смыслу действующих у нас правил.

От своего согласия в редакторстве я не отказываюсь принципиально, но сочту себя вправе на деле содействовать Вашему изданию лишь с того момента, когда увижу, что таковое издание не стоит в противоречии с общим курсом советской политики.

В заключение позвольте выразить Вам свое сожаление, что не могу удовлетворить Вас. Поверьте, мне, затратившему в первые годы Революции много ночей отдыха на эту работу, не довести ее до благополучного конца более прискорбно, нежели Вам.

Однако *amicus Plato, sed magis amica veritas*^[144]. – П. Флоренский».

В сущности, то, чего не удалось добиться от отца Павла Новоселову, удалось сделать большевикам, и так, закономерно или нет, но именно В. В. Розанов оказался наизлейшим, архисквернейшим врагом советской власти, далеко опередив других героев Серебряного века. По крайней мере тех, кого к тому времени уже не было в живых. «Я знаю, что после моей смерти будут говорить хорошо обо мне», – писал Розанов в «Мимолетном» и – ошибся. Говорили – плохо, ужасно, а потом и вовсе как в рот воды набрали, вычеркнули, словно и не было никакого Розанова, приснился он, привиделся, как чудище, как Кощей.

А его уцелевшим детям надо было как-то устраивать свою жизнь в тех обстоятельствах, что были им даны. В 1922 году Надежда Васильевна вышла замуж за студента Электротехнической академии Александра Верещагина и, таким образом, младшая из дочерей Василия Васильевича первая вступила в брак. Т. В. Розанова вспоминала, как горевала она, когда сестра вышла замуж: «... о ее муже ходили неважные слухи, что он плохо жил со своей первой женой, – она уже умерла, и что у него плохое здоровье. Я умоляла ее не выходить замуж, но она не послушалась...»

Любопытно, что Дурылин еще раньше, задолго до всех своих злоключений, написал в дневнике, что Флоренский в шутку или всерьез сватал Надю за него, но Сергей Николаевич также, не то отшучиваясь, не то

всерьез, отвечал: «Найдите лучше из ваших семинаристов, а мне куда?»

Хотя, кто знает, может быть, если бы он и женился на Наде Розановой, род В. В., пусть и по женской линии, не оборвался бы, но – не судьба...

Впрочем, поначалу все складывалось у младшей дочери Розанова не так уж и плохо. Несмотря на то что в церкви молодые по новой моде не венчались (Татьяна Васильевна не без нотки осуждения называет в мемуарах их брак гражданским), после всего случившегося со старшими детьми Варвара Дмитриевна была рада тому, что пусть так, без церковного благословения, но у ее дочери вырисовывается что-то похожее на нормальную женскую судьбу, и, как вспоминала опять же Татьяна Васильевна, «мама... мою младшую сестру Надю полюбила тогда, когда последняя вышла замуж и уехала в Ленинград с мужем. Тут Надя была ей очень близка. Мама писала ей трогательные письма. Вспоминала с ней свою молодость и трудную необеспеченную жизнь с отцом в первые годы замужества, писала, что все образуется».

Можно предположить, что эти письма очень поддерживала Пучка (как звали Надежду в семье в ее детстве) и они были еще большим утешением для самой Варвары Дмитриевны в последние месяцы и дни ее страдальческой жизни. Она очень хотела, чтобы хотя бы кого-то из ее детей, хотя бы одного – миновало родовое проклятие...

В начале 1923 года вдова Василия Розанова окончательно слегла. «Врач определил мамину болезнь: камни в печени. Боли были ужасные, она не могла лежать совсем в одном положении, каждые пять минут надо было ее переворачивать. Недели через три выяснилось, что мама совсем безнадежно больна, что вылечить ее уже нельзя. Сестры медицинские выбивались из сил, такие страшные боли были, – вспоминала Татьяна Васильевна. – Смерть ее была замечательная по мужеству и религиозной осознанности. Впервые я видела такую величавую картину. Это была кончина праведницы. Она до последней минуты все крестилась. Взор был любящий, глубокий. Умерла в полном сознании».

Это случилось 15 июля 1923 года, и таким образом, Варвара Дмитриевна пережила мужа на четыре с половиной года, скончавшись пятидесяти девяти лет от роду. Похоронили ее не рядом с супругом и не с дочерьми, а на Вознесенском кладбище, так как Черниговский скит был к тому времени закрыт, а кладбище с могилами Розанова, его дочери и падчерицы разорено. Бритва-судьба шла по следу философа и даже за могильной чертой не давала ему покоя. «Кости Розанова, конечно, будут выброшены вон. “Разве они нужны России?”», – писал он когда-то все в том же «Мимолетном» и вот здесь оказался прав...

Надежда Васильевна Верещагина не застала маму в живых, успела только на похороны и вернулась в Петроград, а в Сергиевом Посаде остались жить две сестры, бывшие полными антиподами и совершенно не умеющие ладить друг с другом, – Татьяна Васильевна и Варвара Васильевна. Первая так сильно переживала смерть матери, что почти год после этого провела в больнице, а вторая меж тем вела богемный или полубогемный образ жизни, уезжала в Москву, где пробовала стать актрисой, мечтала о загранице, а еще писала под псевдонимом Варвара Белая стихи, которые решительно не нравились ее старшей сестре. «От этих стихов в стиле Игоря Северянина “Ты в карете, я в ландо” у меня кружилась голова от измученности, голода и переутомления», – вспоминала Татьяна Васильевна.

О взаимоотношениях сестер Розановых написал в своем дневнике Михаил Пришвин, который в 1926 году переехал в Сергиев Посад, и то обстоятельство, что он оказался в городе, где живут дочери человека, столь много значившего в его судьбе, не могло писателя не взволновать.

Скованные одной цепью

Пришвин узнал о смерти Розанова в Ельце. «Сегодня я назначен учителем географии в ту самую гимназию, из которой бежал я мальчиком в Америку и потом был исключен учителем географии (ныне покойным) В. В. Розановым», – записал он в дневнике 13 октября 1919 года, и остается только догадываться, как много в его личном и весьма успешном житнетворчестве это назначение на «должность Розанова» значило. Учителем он, правда, оказался таким же неважнецким, как и его покойный наставник, и продержался в отличие от В. В. на этой работе недолго. Из Ельца перебрался в Смоленскую губернию (повторив, таким образом, розановский же маршрут), а потом переехал в Подмосковье, и когда несколько лет спустя известный литератор А. С. Яценко попросил М. М. написать автобиографию для издаваемого им в Берлине словаря русских писателей, Розанову в пришвинском тексте было посвящено несколько веских строк: «В судьбе моей как человека и как литератора большую роль сыграл учитель елецкой гимназии и гениальный писатель В. В. Розанов. Ныне он скончался в Троице-Сергиевой Лавре, и творения его, как последующая литература, погребены под камнями революции и будут лежать, пока не пробьет час освобождения»^[145].

В том, что касается творений своего гениального учителя, Пришвин оказался прав, однако сам он его не забывал. Имя Розанова чаще, чем чье бы то ни было, встречается в дневниках «охотника за счастьем», который терпеливо выстраивал свою непростую конфигурацию взаимоотношений с советской властью и к середине 1920-х годов сумел отвоевать немалое литературное и жизненное пространство. Именно в этот период М. М. и повстречал в Сергиевом Посаде Т. В. Розанову, и записи в его дневнике, относящиеся к этому знакомству, суть штрихи не только к ее портрету, но и к лику ее отца – и к его жизни, и к его смерти.

«Был у дочери Розанова Татьяны Васильевны, – писал Пришвин 16 марта 1927 года. – “Хорошо, – говорит, – что вы любите природу, значит, человека не любите, нельзя его любить”. Совсем Розановская манера, и лицом, и натурой совсем Розанов. Она говорила, что Вас. Вас. приходил иногда со службы расстроенный, чем-нибудь его обидели, и он долго плакал, ложился в кровать и плакал, как ребенок. И она тоже мучится службой и тоже, наверно, плачет от нее».

Если учесть, что Татьяна Васильевна родилась в 1895 году, а Розанов

оставил службу в Госконтроле в 1899-м, то помнить о его слезах она могла слабо, но, может быть, воспоминания эти относятся ко времени его работы уже в газете у Суворина, где В. В. тоже приходилось порой несладко. Кроме того, в своих мемуарах Татьяна Васильевна писала о том, как трудно было ей самой и ее сестре Варваре на советскую службу поступить, и розановские страдания первых петербургских лет не то чтобы блекнут на фоне того, что пришлось испытать его дочерям, но скорее заставляют задуматься: а стоило ли, правда, с таким упорством пытаться ту старую, неповоротливую царскую Россию направлять то влево, то вправо, раскачивать и загонять, как старую клячу, чтобы получить вот такое:

«Был нэп, мы ничего не могли купить, так как не было денег и мы были без работы. Нас приняли на биржу труда и мы получали 6 рублей в месяц. Кроме того, нам грозила высылка из Загорска, если мы скоро не устроимся на работу. Помню, я ездила в Москву сдавать экзамены на машинистку 1-го разряда на московской бирже труда, чтобы поскорее поступить на работу. Помню на улице толпы сидящих безработных... В 1925 году я, наконец, устроилась работать в Историко-художественный музей и проработала там до 1928 года, то курьером, то машинисткой, какая была должность вакантной в то время».

Записи из пришвинского дневника дополняют эту драматическую историю.

«Вчера встретил Т. Вас. Розанову. Она мне нравится. Я ее причисляю к Берендееву царству... Я таких людей еще не встречал, в ней было мне то, чего я ожидаю себе найти в работе над детским рассказом. Это желанный человек, в свете лучей от которого насквозь все мои люди... Очень некрасива, невзрачна, но так оживлена, так игрива в мысли, что становится лучше красивой... Т. В. рассказывала, что когда ее позвали в ГПУ для допроса и там намучили ее глупыми вопросами до того, что, когда они зачем-то вышли из комнаты, она легла на диван и уснула. Это ее и спасло: геппеусты образумились и выпустили. И, кажется, это они же способствовали ее устройству на службу в музей: “Вам, – говорили, – там хорошо будет с монахами”».

И чуть дальше: «Дочь “гениального” Розанова (“Все, все мне говорят: ‘Ваш отец был гениальный’”) не в 19-м, а в прошлом году получила место курьера при музее и с ведома заведующего носила дрова по квартирам Музея. Трудно себе представить более слабую физически девушку, чем Т. В-на, и все же на глазах администрации она носила, конечно, не вязанками, а по пяти поленьев, да, по пяти поленьев $1\frac{1}{2}$ сажня в день! В этой беде ей

помогли не образованные люди, а два простых дворника. И едва ли эта помощь их исходила оттого, что они верили в Бога: им было просто жалко, и вот это и есть религия человечества естественная, та самая жалость к человеку, которой страдают и немногие боги, Прометей, Христос...»

Судя по всему, Пришвин и Розанова проводили вместе немало времени, и Татьяна Васильевна нашла в Михаиле Михайловиче внимательного и заинтересованного слушателя, которому когда-то так мечталось и не удалось с ее отцом подружиться и войти в его ближайший круг (как это удалось двум другим ученикам Розанова в Елецкой гимназии – А. М. Коноплянцеву и С. Н. Булгакову). И вот теперь судьба, куда более к Пришвину, чем к его учителю, благосклонная, эту упущенную возможность восполняла, и, возвращаясь домой после встреч с Т. В., М. М. записывал в дневнике ее по-розановски разноречивые свидетельства об отце: «В этот раз она сказала: Розанов был неверующий, он верил в себя, в свое открытие. Сегодня, напротив, говорила, что именно он был верующий, потому что ему <1 нрзб.> близок был Христос, и он кончил тем, что два раза причастился (странно, однако, почему она об этом говорила не горячо, а как бы вопросительно: что это значит?). Перед самым концом Розанов что-то увидел, и ему это большое надо было скорее сообщить Флоренскому. Послал Таню: беги, беги скорей. Но Флоренский почему-то не пошел... Есть люди, которые понимают в искусстве только трагическое. К ним принадлежит Т. В. Розанова. И это у нее из жизни: одна за другой сестры кончают самоубийством, сейчас подходит очередь к Вере, которая приехала смущать Таню, без того уже еле живую».

В последней записи много неясного. Упоминание о приехавшей Вере – это, конечно, ошибка (или неверная расшифровка пришвинской рукописи), речь, очевидно, идет о *Варе*, но вот что касается *нескольких сестер*, покончивших с собой, – то, что имел в виду автор дневника, сказать трудно. Понятнее другое:

«Еще рассказы ее о какой-то ее “боли”, которая началась у нее после чтения “Людей лунного света”, кстати, простудилась и думала, что боль от простуды. Пошла к докторам, ей сделали операцию, боль не перестала. Потом она стала мучительно работать над преодолением “Лунных людей” и когда преодолела, боль прошла. Таким образом, у этой девушки и у меня лучшие силы ушли на преодоление боли, причиненной одним и тем же (впоследствии любимым) человеком, ее отцом и моим учителем... Т. В-на – портрет Розанова. Ее лицо так просто, что на улице не заметишь. Она истощена и жизнью, и постом своим. И вот при всей своей невзрачности, при невозможности думать о ней как о женщине, она вносит в мою душу

атмосферу какого-то тончайшего сладострастия, что это? понять еще не могу. Она так утонченна, так умна душой, что все мои лучшие и интересные люди вспоминаются как примитивы... Будь она монашка с отрезанной от мира душой или же просто женщина в мире, все было бы обыкновенно, но она соединяет то и другое, она, по-моему, не фиксирована в христианстве, и утверждение ею Христа так же мучительно зыбко, как отрицание Христа Розановым: отец и дочь с разных концов проживают жизнь одинаково».

Эти тонкие, зыбкие, неуловимые отношения пятидесятипятилетнего мужчины и тридцатидвухлетней женщины колебались на грани романа, который так и не случился, но был близок к совершению, во всяком случае со стороны Пришвина. «Волнение от разговора с Н. не покидает меня, нетерпение новой встречи все растет, и эта встреча обещает ту сладостную соприкосновенность без конца в глубину, которая, вот именно я этого и боюсь, не перейдет ли потом в отталкивание, потому что всякая сладость физического ли порядка или преображенно-физического (душевного) должна же иметь конец, после которого и бывает всегда отталкивание. Но может быть, возможно, что эта встреча явится новым истоком творчества, около которого, быть может, я только стою теперь. Я на это очень надеюсь и потому в этом случае подойти крайне осторожно. Надо подумать еще, давать ли читать “Козла”. Словом, надо взять этот материал в руки и обойтись с ним крайне хозяйственно, бережно. На первых порах надо будет определить: все ли тут свое и нет ли чего от испугу (от влияния “душеприказчика”))».

И хотя Пришвин здесь шифрует имя Татьяны Васильевны, нет сомнения, речь идет о ней и о его сомнениях, а стоит ли давать ей читать начало автобиографического романа «Кашеева цепь» и как сложатся после этого их отношения. О том, что из этого прочтения вышло и что не вышло, чуть позже, а что касается самой Татьяны Васильевны, то она писала в воспоминаниях: «После сильного увлечения в юности философией, затем перенесенных ужасных лишений в гражданскую войну, после потери близких родных, трагической смерти сестры Веры, у меня началась реакция. Мне захотелось обыкновенной, простой жизни молодой девушки. Захотелось веселия и забвения. Хотелось радости, хотелось быть любимой. Но все это было мне чуждо по моей природе и потому неудачно. От всех этих переживаний я вынесла грусть о прошедшем, сожаление о частично неправильно прожитой жизни и более мягкое сердце».

Вряд ли она имела в виду Пришвина, когда говорила о неудачах в личной жизни, и уж тем более едва ли была готова ответить ему

взаимностью, разбить его брак и оскорбить его жену Ефросинью Павловну, которую очень уважала, но помимо всего прочего перед ее глазами стоял печальный опыт родных сестер. Ни у Надежды, которая жила в семье, где ею были недовольны свекр со свекровью и настраивали против нее своего сына, ни у Варвары семейная жизнь не складывалась. Выходить замуж абы как Татьяна Васильевна не хотела, а достойный, равный, разделяющий ее взгляды и убеждения человек (вспомним еще раз письмо Розанова Флоренскому, где он пишет о честном, верном, ясном женихе для своей дочери) ей не встречался. Сам Пришвин записал и, надо полагать, с большим сочувствием слова их общей знакомой Екатерины Тарасовны Александровой (жены того самого Александра, главного редактора «Русского Обозрения», кого Розанов так невзлюбил еще в свой первый славянофильский период в конце девятнадцатого века):

«Тарасиха о Тане Розановой.

– Очень хорошая, но все-таки человеком никогда не будет. Я так ей и в глаза сказала: “За глупого ты не пойдешь, а умный тебя не возьмет”».

Татьяна Васильевна, верно, и сама это хорошо понимала и позднее писала в одном из писем: «Я очень уважаю и преклоняюсь перед настоящей семейною жизнью, но это единичные явления в жизни, так же, как и настоящее монашество... И как ни трудно мне на старости лет, больной, быть одной – я не могу подумать без содрогания о совместной жизни с кем бы то ни было, и благодарю Бога, что Он не допустил меня смолоду в брак и тем сделать величайшую ошибку в своей жизни».

Слышал бы это ее отец...

А между тем ее сестра Варвара, которая не сумела ни покорить Москву, ни удрать в Европу, была вынуждена вернуться в Сергиев Посад и в середине 1920-х годов вышла замуж за писателя Владимира Николаевича Гордина, исполнив тем самым один завет Розанова и одновременно нарушив другой, гласивший: «Не выходите, девушки, замуж ни за писателей, ни за ученых. И писательство, и ученость – эгоизм». В. В., как всегда, попал в точку. Супруг его третьей дочери, выходец из бедной еврейской семьи, был старше своей, трудно сказать какой по счету, жены на пятнадцать лет, имел за плечами большой опыт литературной и журналистской работы, водил знакомство с Есениным и Рюриком Ивневым, то ссорился, то мирился с большевиками, но в общем-то в новую жизнь не влился и был в Сергиевом Посаде «лишним человеком».

«Это был пожилой человек, некогда красивый, с густой кудрявой шевелюрой, но совсем больной, – вспоминала Татьяна Васильевна, – у него был инфаркт, и он только что поправился, когда расписался с сестрой

Варей и она приняла его фамилию».

Нельзя исключать того, что последнее обстоятельство было если не решающим, то важным. Фамилия, которую ее обладатель когда-то не мог дать своим детям и сломал из-за этого такое количество копий, что, если поверить философу Алексею Федоровичу Лосеву, из-за этого рухнуло целое государство, – фамилия эта несла его дочерям угрозу. Однако Варе замужество не помогло, да и продлилось оно недолго.

«Работать он не мог, – вспоминала Гордина Татьяна Васильевна, – Варя тоже не работала, у него сохранились кое-какие старинные безделушки, и он их продавал, и на это они кое-как перебивались. Жили на Красюковке, на частной квартире сначала у одной хозяйки, а потом у другой – в холоде и голоде. Первые дни они приходили ко мне обедать, но потом я не имела возможности им помогать, так как работала на военном заводе и приезжала домой поздно, и тоже голодная и измученная до последней степени. Помню, как-то встретила их на улице, смотрю, у Вари из кармана торчит картошка; купила картошку и набила карманы пальто. Оба они были такие неприспособленные! Все их жалели и не понимали, что это за брак. Варя в то время была еще молодой и хорошенькой блондинкой, а он совсем старик. Но Варе нравилось, что он писатель, что у него волосы до плеч и не похож на остальных загорских жителей. Он любил нашего отца, с любовью говорил о нем, рассказывал при первом свидании со мной, как он был в Саровской пустыни, говорил с благоговением и благожелательством о Церкви... Я много плакала от этого брака и не знала, что же делать».

«Все союзы Гордина кончались <тем>, что женщины попрекали его своим трудом. Наконец, явилась Варя, такая же, как и он, не рабочая. Истерзанный попреками всех женщин, он нашел, наконец, такую, которая тоже ненавидела труд. Под конец он даже стал добывать немного для нее: достанет когда рубль, когда два. Обедали в “Коммунаре” (вдвоем 1-е блюдо). Последние 3 дня, кажется, ничего не ели. Но это было счастье, – писал в дневнике безжалостный Пришвин. – Вчера приехал Пяст и рассказывал о Гордине, что это действительно была артистическая натура, он редактировал одно время журнал “Вершинин”, в котором участвовал и Блок и другие. Как еврей, он там где-то у них добывал деньги и не всегда был на содержании женщин. Скупал мебель красного дерева, имел большую квартиру... Очень возможно, что эти роскошные вещи, какие-то гобелены и мебель ампирная (что еще?) были приманкой для женщин, и этот красивый и нежный еврей казался породистым барином. Они его содержали и приучили к легкомыслию в отношении труда по добыванию

средств существования».

Эта запись была сделана на следующий день после похорон Владимира Николаевича Гордина в январе 1928 года (Татьяна Васильевна в воспоминаниях ошибочно относит его кончину к 1935 году, и та же дата неверно повторяется в «Розановской энциклопедии»), а Пришвин записывал, размышляя над судьбами сестер, как если бы те были кем-то вроде «сиамских близнецов»: «Сестры. Таня содержит Варю, Таня – монахиня, Варя – блудница. Приходится спать на одной кровати. И самая страшная для Тани мысль, что они близки друг другу. Действительно близки, как совершенные противоположусы. И так монахиня узнаёт в себе блудницу. Еще близкое обеим сестрам, – это гениальность отца (<он> единственный в своем роде: и это до конца отстаивают) обе дочери унаследовали в полной мере. Таня сумела свою исключительную индивидуальность посвятить Богу и научилась трудом с грехом пополам укрываться от людей. Варя осталась “язычницей” и даже не замечает, что живет на чужой счет, она – властелин... Величайшее оскорбление для Вари, если ей скажут, что она похожа на Таню... У Розановых опять схватка: в этот раз Варя даже укусила Таню. И это дочери человека, посвятившего всю жизнь свою поэзии семейной жизни».

И – добавим – того, кто завещал своим детям в последнем письме, к ним обращенном зимой девятнадцатого года: «Только вместе, и вообще разделенья не желаю никому на свете, никому».

Дети Розанова, конечно, были не первыми и не последними, кто поссорился и разошелся после смерти родителей, однако конфликты между сестрами объяснялись в том числе и вопросами конфессиональными. «Я была очень религиозно настроена после смерти матери, а сестра Надя, вышедшая замуж за военного, попала в среду, чуждую мне и нашей семье, – вспоминала Татьяна Васильевна. – Ее окружали офицерские жены, кружили ей голову нарядами, и наши пути незаметно расходились».

В случае с Варварой это расхождение было еще резче. «Впоследствии, когда она вернулась из Москвы, я пыталась жить с ней в одной комнате. Тесно было ужасно. Второй кровати негде было поставить. То она, то я спали на сундуке. К довершению всего Варя вздумала снять мои иконы и повесила изображения каких-то балерин. Тут уже у меня лопнуло терпение, я просила ее уехать от меня...»

Козел и могила Розанова

Еще одно свидетельство, связанное с глубокой религиозностью старшей дочери Розанова, ее любовью к иконам и неприязнью окружающих к этой религиозности, можно найти опять же в пришвинском дневнике. Нижеследующая запись относится к лету 1929 года, когда Михаил Михайлович и его супруга Ефросинья Павловна попросили Татьяну Васильевну посторожить их загорский дом.

«Злое дело.

Тат. Вас. Розанова поселилась стеречь наш дом, всю комнату Ефр. П-ны она увешала образками, наверно, вполне отвела душу: в своей советской комнатке все свое богатство, наверно, ей развернуть неудобно. Все эти образки ее по своему письму столь убогие, что удивляешься, как развитое существо могло отказаться от инициативы в выборе. В том и ужас этого православия, что красоту его видеть и понимать могут люди, которые верить уже не могут. Я думаю, что “веру” Т. В-ны можно назвать усилием верить, а так как усилие вечно меняется в своем напряжении, то и она не живет, а как бы дрожит, часто даже, как дети, вместе и смеется и плачет. К сожалению, не моему, конечно, а ее, совершенно одной жить ей не удалось. С ней в нашем доме прислугой живет одна Маня, женщина уже лет под 50. У нее был муж, слесарь, такой хороший и умный человек, что и Маня долго казалась нам тоже очень неглупой. Он умер. Маня бросилась к нему в могилу. Насилу оттащили. Потом все молилась и просила у Бога смерти, чтобы встретиться с мужем. Вскоре после того умерла ее старуха мать, потом дочь, девушка, красавица 16 лет, и маленький сын, у всех были последствия чахотки. Маня все молилась и вдруг, года не прошло, вышла за одного вдовца замуж. В этом решении, может быть, играло роль и отчаяние, она молилась искренно, почти до кровавого пота, чтобы Бог взял ее к семье. Но если туда, оказалось, нельзя, то как же иначе жить: надо устраиваться по-крестьянски. Пошли неприятности, скандалы, побои. Мы взяли из жалости бедную женщину к себе в прислуги. Ей понравилось ее положение “прислуги”, она стала входить в него, разбираться, посещать собрания. Скоро ее выбрали “делегаткой” и дали ей красный платок на голову, а дело ее было собирать сведения о положении прислуг в своем квартале. Теперь, когда Маня осталась в нашем доме без нас и увидела, как Тат. Вас. развесила образа, она сказала ей:

— Вот, Татьяна Васильевна, говорят, этого ничего нет, Бога и ничего,

вы-то образованная и знаете, скажите мне...

– Я верующая, – ответила Тат. Вас. строго (вероятно, с большим, с чудовищным отвращением).

А Маня продолжала свое, что, по всей вероятности, так оно и есть, все обман и ничего нет.

Так живут теперь в нашем доме ех-атеистка, ныне образованная христианка, и ех-христианка, ныне делегатка.

Злое дело».

По сути дела, это даже не дневниковая запись, а небольшой и не слишком добрый сжатый рассказ, в котором выплеснулись и пришвинское раздражение, и неизжитая обида то ли на самого Розанова, то ли на его «холодную» дочь (которая вообще-то атеисткой никогда не была). Однако настоящим камнем преткновения в отношениях М. М. и Т. В. стал тот самый автобиографический пришвинский роман «Кащеева цепь», в котором автор вывел Розанова под гимназической кличкой Козел в настолько неприглядном виде^[146], что Татьяна Васильевна слушать его не пожелала, а много лет спустя вторая жена Пришвина Валерия Дмитриевна перед дочерью Розанова за Козла извинилась^[147]. История эта, как уже говорилось, была описана автором этой книги в биографии Пришвина и в «Мысленном волке», но самое важное, бесспорное и бесценное, что сделал оскорбленный ученик для своего сурового учителя, – он нарисовал чертеж закрытого кладбища в Черниговском скиту, благодаря чему много лет спустя могилу Розанова удалось восстановить.

«Дождь и после обеда. Мы ходили на могилу Розанова: мы с Е. П., Тарасиха и Таня. План могил. Могила В. В. Розанова на кладбище Черниговского скита в расстоянии 21 метра 85 сант. по бетонной дорожке от крайнего приступка паперти церкви Черниговской Богоматери; под прямым углом от этой точки на W как раз против 3-го слева окна 4-го корпуса в 3-х метрах находится центр могилы Конст. Леонтьева, и по той же линии к 3-му окну в расстоянии от $1\frac{1}{2}$ до 1 аршина находятся 3 могилы семьи Розановых, левая, по всей вероятности, В. В. Розанова.

Чугунный памятник К. Леонтьева опрокинут, центральная часть его с надписью выбита. Очертаний могилы Розанова на земле почти незаметно.

Корпуса Черниговского скита населены преступниками и проститутками (Исправит. дом имени Каляева). Тане Розановой одно время предлагали должность «ухаживать за проститутками». Такая злая ирония: Розанов писал так любовно о «священных проститутках» у дверей храма и вот лежит теперь прямо у храма, в котором не служат, окруженный

обыкновенными проститутками, и дочери его предлагают за ними “ухаживать”.

Тарасиха положила два красных яйца на могилу Конст. Леонтьева, тогда среди окружавших нас преступников было заметно движение броситься на них. Но они удержались, конечно, боясь нас. Что там было, наверно, когда мы ушли!

Тарасиха, конечно, черносотенка, а теперь стоит за Совет, за большевиков, ненавидит жидов, кадетов, Керенского. Сама при большевиках отлично живет. Через нее отлично, прямо насквозь понятно, почему черносотенцы были сразу поглощены большевиками и отлично устроились жить в кишках революции.

Розанов звал Тарасиху “бабой Ягой”. Это понятно: она груба, форсирует – де “Мадам сан жен”, а он любил внутренних, извне стыдливых людей. Розанов был сам нежный, тихий человек с таким сильным чувством трагического, что не понимал даже шуток, сатиры и т. п. Розанов мог быть, однако, очень злым».

Эту злость ни забыть, ни простить Михаил Михайлович Василию Васильевичу так и не смог. Но и нежность, и стыдливость его тоже запомнил...

После 1930 года отношения Пришвина с Розановой стали постепенно сходить на нет, ее имя все реже встречалось в его дневнике, а вот имя ее отца – напротив, все чаще. М. М. постоянно к Розанову обращался, перечитывал его сочинения и в лихие советские годы через уроки своего учителя постигал важные для себя вещи и все больше входил в «розановское наследство». В середине 1930-х он получил квартиру в Москве в писательском доме в Лаврушинском переулке, драматически развелся с первой женой и второй раз женился (об этом в его повести «Мы с тобой»), в Загорске больше не бывал, а с Татьяной Васильевной изредка все же виделся, например, в 1939 году на вечере в свою честь, куда она пришла вместе с художником Михаилом Васильевичем Нестеровым.

Помимо Пришвина и Нестерова в круг ее общения входили и другие славные, известные люди, для которых фамилия Розанов по-прежнему много значила. Так, в конце 1930-х годов дочь Розанова подружилась с внучкой Льва Толстого Софьей Андреевной Толстой и несколько месяцев прожила у нее в квартире в Померанцевом переулке (той самой, откуда в последний путь в Ленинград отправился в 1925 году муж Софьи Андреевны Сергей Есенин). Встречалась она и с Анной Ахматовой, которая рассказывала ей, что «однажды в жизни видела моего отца молодым, когда он был еще чиновником в Государственном контроле.

Говорила, что хорошо его помнит. Я же сказала, что мои сестры Варя и Надя очень любят ее стихи, и попросила подарить Варе фотографию. Она надписала ее. Варя была в восторге».

И все же, несмотря на редкие просветы и отдельные добрые встречи, судьба была по-прежнему к дочерям В. В. – не важно, поменяли они фамилию или нет, – беспощадна. Осенью 1942 года арестовали Варвару. «Был обыск, взяли какие-то ее стихи. Сначала она сидела в местной тюрьме, а потом ее отправили в Москву на пересыльную. В Москву проезда не было, узнать мы о ней ничего не могли. Когда она сидела с месяц в Загорске, Надя и я делали ей передачи, и она раза два посылала с оказией записочки. В конце концов она попала в Рыбинск, откуда ее освободили, но у нее не было сил вернуться, я за ней ехать не могла, так как в это время лежала в больнице. Надя работала, и ее не отпустили ехать за сестрой. Потом мы узнали, что она умерла 15 июня 1943 года от дистрофии в тюремной больнице. Но об этом стало известно позже – в 1945 году^[148]. На допросе ей задавали такие вопросы: почему вы любите уединение? Почему вас интересуют стихи, зачем сидите дома одна? Варя была очень экстравагантная, как-то читала в Москве модернистические стихи, в цилиндре, на каком-то литературном вечере. Думаю, что это ей повредило».

Ничего больше Татьяна Васильевна про историю ареста и смерти своей сестры не сказала, и понятно, что вопросов здесь больше, чем ответов, но писала она свои мемуары в начале семидесятых годов прошлого века, когда эта тема едва ли приветствовалась. А было Варваре Васильевне, той самой, которая, по слову ее отца, «не пропадет», сорок пять лет, и где она похоронена, неизвестно, как неизвестно и где похоронен ее брат Василий...

Татьяну Васильевну тюрьма тоже не миновала, и написала она об этом так же сдержанно и скупно. «Осенью 1944 года взяли и меня. Полагаю, что в связи с арестом сестры, но точно не знаю. Когда Варю арестовали, я дважды лежала в больнице с дистрофией. После этого я была очень плоха, и год меня продержали в тюремной больнице. Но так как ничего у меня не нашли, то и освободили 3 сентября 1945 года. Я решительно сказала, что не выйду из тюрьмы, пока мне не отдадут Библию, Евангелие и не вернут комнату. Мне все отдали и вежливо предоставили ту же комнату, где я и по сей день живу».

Судя по письму, которое ее сестра Надежда Васильевна послала доброму знакомому Татьяны Васильевны врачу Михаилу Михайловичу

Мелентьеву 7 марта 1945 года, речь шла не просто о тюремной больнице.

«Глубокоуважаемый и дорогой М. М.!

Спешу Вам написать о Тане. Таня через небольшой промежуток времени была направлена в *Институт имени Сербского*. Пробыла здесь до конца февраля. Комиссия признала ее психически больной, невменяемой и направила для *принудительного лечения на Столбовую*. Пока она была здесь, я два раза в неделю носила ей передачу. Сейчас дожидаясь теплых дней, чтобы поехать в психбольницу к ней, повидаться и утешить ее. Настроение ее, судя по запискам здесь, было очень спокойное и высокое, каким всегда отличается она в минуты самые тяжелые, самые ответственные. Она всегда обнаруживала в такие моменты внутреннюю ценность и просто героизм. Сейчас она без передачи, и я беспокоюсь. Все, что мне будет известно о судьбе ее, я напишу Вам.

Н. Розанова-Верецагина».

Была ли она действительно психически больна или же больница была средством наказания (либо, напротив, *спасения* от тюрьмы), сказать сложно, однако в книге воспоминаний М. М. Мелентьева опубликованы письма самой Татьяны Васильевны к чудесному доктору, ставшему ее настоящим другом.

«Дорогой М. М.!

Уже месяц, как нахожусь в *психиатрической больнице имени Яковенко на Столбовой*. Работаю в мастерской пошивочной. Чиню белье. Находят у меня психостению, и благодаря ей я тут – поблизости Москвы... Чуть топят. Количество еды для меня достаточно. Труднее всего отсутствие удовлетворения всяких культурных потребностей. Не знаю, как выдержу. Боюсь окончательно разболеться психически... Вы, верно, угадали, что болезнь моя в чрезмерной впечатлительности и в неумении уложиться в рамки обыкновенной действительности... *Меня никогда не оставляют одну, боясь, что я покончу с собою – не понимая меня, что я стремлюсь к уединению не от того, что больна, а потому, что много есть о чем подумать...* Мое спокойствие приняли за ненормальность, не понимая его источника – крепкую веру и уверенность, что все, что ни бывает с нами, нам необходимо и полезно».

Год спустя, когда Татьяна Васильевна вышла на свободу, Мелентьев написал ей: «Страшное у Вас осталось позади. Не будем вспоминать о нем. Одно скажу. Спасла Вас Ваша глубокая вера. Ваше совершенное спокойствие было непонятно, а Ваше равнодушие сбilo их с толку». И удивительным образом это рифмуется с записью из пришвинского дневника о том, как Татьяна Васильевна заснула во время допроса в

ОГПУ... [\[149\]](#)

Что же касается ее сестры, то Надежда Васильевна в отличие от Татьяны и Варвары советской тюрьмы избежала. Она профессионально занималась живописью, работала художником-исполнителем в Музыкальном театре имени Немировича-Данченко в Москве и на кинофабрике «Мосфильм», создавала иллюстрации к классическим книгам, и получалось у нее это не менее талантливо, чем писать мемуары. Однако и ей пришлось хлебнуть много горя. В середине тридцатых годов младшая дочь В. В. познакомилась с художником Михаилом Ксенофонтовичем Соколовым. То был очень незаурядный, необыкновенно одаренный, но при этом, судя по воспоминаниям, довольно конфликтный человек, старше ее на пятнадцать лет, находившийся в сложных взаимоотношениях и со своими коллегами, и с властью, и вообще с действительностью. Конечно, он был личностью совсем иного склада и масштаба, нежели муж Варвары Васильевны В. Н. Гордин, и все же нечто похожее – связь с пожилыми, болезненными, мало приспособленными к советской жизни, но очень сосредоточенными на себе творческими, эгоистичными людьми – стало их общей жертвенной женской судьбой, совсем не такой, о какой мечтал для них отец.

«От доверчивости вся наша семья погибла», – вырвалось несколько лет спустя в одном из писем Татьяны Васильевны, и хотя это было сказано по другому поводу, складывается впечатление, что розановские дочери были обречены на испытания и в браке, и в безбрачии.

В 1938 году Соколова арестовали за антисоветскую пропаганду сроком на семь лет, но – с правом переписки. В течение всего срока заключения Надежда Васильевна ему писала и поддерживала его, как могла, хотя сама, уйдя от своего мужа военного (и тут прослеживается нечто похожее на судьбу героини известного романа, только куда более прозаическое, бытовое), жила крайне трудно, не имела своего угла и скиталась по знакомым. В 1947 году, после того как Соколов освободился и получил разрешение жить в Москве, Надежда Васильевна вышла замуж за тяжелобольного, измученного мастера, скончавшегося на ее руках несколько лет спустя. Сама она пережила мужа на два года и умерла в год столетия своего отца, которое в СССР никак не отмечалось. Было ей тогда неполных пятьдесят шесть лет.

После смерти младшей сестры Татьяна Васильевна осталась единственной из прямых потомков Василия Розанова. Она жила в Загорске, все в той же небольшой комнате в коммунальной квартире, полученной еще в 1919 году после переезда с Красюковки. Среди ее друзей был учитель

русского языка и литературы Сергей Александрович Волков, некогда учившийся в Духовной академии, но так ее и не окончивший, всю жизнь проработавший в школе и обучивший, как писала Татьяна Васильевна, чуть ли не половину жителей Загорска. Неудачно кратко женившийся раздражительный холостяк, выпивоха, труженик, любивший посылать своим друзьям поздравительные открытки со всеми праздниками от советских до церковных, он придумал для Татьяны Васильевны прозвище «Rosa pova», которое я и вынес в название последней главы этой книги.

Татьяна Васильевна была женщиной очень верующей, дисциплинированной, строго соблюдала все посты и уставы, и ее часто можно было увидеть в открывшейся после войны лавре на долгих монастырских службах. А жизнь вокруг менялась, постепенно налаживалась, смягчалась, однако даже «оттепель» и возвращение в русскую или в советскую литературу, пусть и в урезанном виде, произведений Булгакова, Платонова, Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Бунина и других прежде гонимых писателей не открыли дорогу сочинениям ее отца. Заклейменный при жизни своими разнообразными литературными недругами от Владимира Соловьева до Алексея Толстого, а сразу после смерти Лениным и Троцким (на ненависти к кому бы еще могли сойтись все эти замечательные люди?), Розанов по-прежнему оставался врагом, реакционером и консерватором номер один, о чем так точно, иронично и нежно написал в своем эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика» один из самых прекрасных розановских читателей Венедикт Ерофеев^[150].

В. В. не был прямо запрещен, но овеян тайной, стыдливими умолчаниями и недоговорками, хотя иногда упоминания о нем все же появлялись. Например, в переписке Горького и Пришвина, опубликованной в 1963 году в знаменитом 70-м томе «Литературного наследства», где оба корреспондента писали о величии Розанова и его огромном значении в истории русской литературы^[151], а комментаторы этих писем вынуждены были по-прежнему называть В. В. «реакционным писателем», или же в воспоминаниях Евгения Иванова об Александре Блоке, напечатанных годом позже в Тарту. Несколько больше работ, посвященных Розанову, выходило на Западе на иностранных языках или на русском языке в эмигрантских изданиях. Татьяна Васильевна за последними, насколько было возможно, благодаря помощи своих знакомых следила, переписывалась с известным поэтом русского зарубежья, профессором-славистом Юрием Павловичем Иваском, увлекавшимся творчеством ее

отца. «Я лично не сомневаюсь в том, что В. В. Розанов самый выдающийся русский писатель XX века, гениальный мыслитель-художник, изумительный мастер слова. После него мог бы называть только Бунина, но эпитет “гениальный” к нему неприменим, а у В. В. Розанова были черты гениальности, – писал он Татьяне Васильевне и прибавлял: – Знаю Вас с ранней юности, – по писаниям В. В. Вы были для меня литературной героиней, как, скажем, Татьяна Ларина или Наташа Ростова». – «Вы пишете, что у вас связаны со мной образы Т. Лариной и Н. Ростовской. Интересно, что в юности это были мои любимые лит. героини. К сожалению, я на них не похожа, и жизнь моя была совсем другая», – отвечала она ему.

Незадолго до смерти Татьяны Васильевны Иваск прислал ей в подарок шубу, которую Rosa пова носила в свою последнюю зиму, и можно считать, что в каком-то смысле это была одна из шуб, украденных у доверчивой и легкомысленной русской публики во время русского апокалипсиса и теперь возвращенная по адресу...

Еще одним добрым другом Татьяны Васильевны стал замечательный литературовед (и впоследствии советский политзаключенный) Александр Николаевич Богословский, который к дочери Розанова искренне привязался и очень много ей помогал. В этом смысле одинокой и никому не нужной старость ее не назовешь, и то был, пожалуй, самый светлый и покойный, несмотря на неважное здоровье и бытовые трудности, отрезок ее пути. Судьба как будто немного смиростивилась, или же бритва ее, насытившись кровью и плотью, притупилась и уже не ранила так сильно худенькую и необыкновенно грациозную женщину, про которую ее родители думали, что она не выживет, а девочка пережила всех своих родных и представляла семью в глухие предрассветные годы.

Умерла старшая дочь Василия Розанова в 1975 году в восемьдесят лет, до розановского бума не дожив и работая над воспоминаниями о жизни своей семьи, которые закончила словами: «Отец мечтал для нас не о карьере, ни об учености. Ему больше всего хотелось, чтобы у нас были патриархальные семьи и много детей. Бедный папочка, самое главное его желание не исполнилось – ни у кого из нас не было детей».

Так рассеялся сей великий род, от которого остались только книги и имя.

Имя Розанова.

2020–2021

Основные даты жизни и творчества В. В. Розанова и членов его семьи

1856, 20 апреля – в городе Ветлуге в семье чиновника Василия Федоровича Розанова и его жены Надежды Ивановны Розановой (урожденной Шишкиной) родился сын Василий.

1861, конец зимы – смерть отца. Семья переезжает в Кострому.

1864 – появление в доме семинариста Ивана Воскресенского, «вотчим» Розанова.

1868 – поступает в Костромскую мужскую гимназию.

1869 – начало болезни матери. Воскресенский оставляет дом Розановых.

1870, июль – смерть Надежды Ивановны Розановой. Переезжает к старшему брату Николаю в Симбирск и продолжает обучение в Симбирской мужской гимназии.

1872 – переезжает вслед за братом в Нижний Новгород и учится в Нижегородской мужской гимназии.

1876 (или позднее) – знакомство с Аполлинарией Прокофьевной Сусловой.

1878 – оканчивает гимназию и поступает на историко-филологический факультет Московского императорского университета.

1880, 12 ноября – венчается с девицей Аполлинарией Сусловой (в замужестве Розановой).

1882 – оканчивает университет и уезжает в Брянск преподавать в Брянской мужской прогимназии. Начало работы над большой философской книгой.

1884, декабрь – пишет первое завещание.

1886, начало июня – выход в Москве книги «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания», изданной автором за свой счет.

1887, лето – расстается с женой и переезжает в Елец.

1888, январь – начало переписки с Н. Н. Страховым. Работа над переводом «Метафизики» Аристотеля вместе с П. Д. Первовым.

Лето – безуспешно требует развода у А. П. Розановой (урожденной Сусловой).

1889, весна – знакомство с Варварой Дмитриевной Бутягиной

(урожденной Рудневой). Конфликт с гимназистом Михаилом Пришвиным.

1890 – первые публикации в петербургских журналах.

1891, *апрель* – начало переписки с К. Н. Леонтьевым.

5 *июня* – тайно венчается с Варварой Дмитриевной Бутягиной.

Август – переезжает в город Белый Смоленской губернии.

Сентябрь – начало переписки с литератором И. Ф. Романовым (Рцы).

1892, *январь* – начало переписки с С. А. Рачинским.

6 *ноября* – рождение дочери Надежды. Записана по имени крестного отца как Надежда Николаевна Николаева.

1893, *апрель* – переезжает в Петербург и поступает на службу в Государственный контроль. Знакомство с кругом петербургских славянофилов.

6 *июня* – начало переписки с А. Г. Достоевской.

Сентябрь – смерть дочери Надежды. Похоронена на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

1894 – выход в Петербурге книги «“Легенда о Великом инквизиторе” Ф. М. Достоевского. Опыт критического анализа».

1895, 22 *февраля* – рождение дочери Татьяны. Записана по имени крестного отца как Татьяна Николаевна Николаева.

2 *июня* – аудиенция у К. П. Победоносцева.

1896, 26 *июня* – рождение дочери Веры. Записана по имени крестного отца как Вера Александровна Александрова.

Ноябрь – знакомство с издателем П. П. Перцовым.

1897, *весна* – знакомство с кругом петербургских декадентов.

1898, 1 *января* – рождение дочери Варвары. Записана по имени крестного отца как Варвара Александровна Александрова.

Зима – весна – переписка с А. Г. Достоевской в связи с семейными проблемами Розанова.

1899, 27 *января* – рождение сына Василия. Записан по имени крестного отца как Василий Александрович Александров.

15 *марта* – пишет второе завещание.

Апрель – уходит с государственной службы и поступает на работу в «Новое время».

Июль – переезжает на Шпалерную улицу, дом 39.

1900, 9 *октября* – рождение дочери Надежды.

1901 – выход книги «В мире неясного и нерешенного».

1903, 6 *марта* – поездка к Л. Н. Толстому в Ясную Поляну.

22 *марта* – выход книги «Семейный вопрос в России».

1904, *лето* – поездка в Саров.

22 сентября – Определением С.-Петербургского окружного суда дети Розанова получают фамилию отца.

1905, апрель – знакомство с А. М. Ремизовым.

2 мая – «черная месса» в доме поэта Николая Минского.

Октябрь – выход книги «Около церковных стен»; начало переписки с А. М. Горьким.

1906, январь – переезжает в Большой Казачий переулок, дом 4.

Начало октября – обыск в доме Розанова.

1907, июнь – поездка на пароходе по Волге, описанная в серии очерков «Русский Нил».

Осень – первый уход А. М. Бутягиной из дома.

1908, май – начало переписки с М. О. Гершензоном.

Декабрь – начало переписки с П. А. Флоренским.

1909 – знакомство с А. А. Измайловым.

Июль – переезжает на Звенигородскую улицу, дом 18.

Сентябрь – публикация рецензии на книгу Акима Волынского «Ф. М. Достоевский. Критические статьи» в журнале «Критическое обозрение».

1910, апрель – публикация книги «Когда начальство ушло».

26 августа – несчастье в семье Розановых: паралич у Варвары Дмитриевны.

Ноябрь – декабрь – публичная полемика с Корнеем Чуковским и П. Б. Струве.

Декабрь – выход книги «Темный лик. Метафизика христианства».

1911, февраль – начало переписки с В. И. Стукачевой.

Весна – выход книги «Люди лунного света. Метафизика христианства».

4 сентября – публикация статьи «Террор против русского национализма» в газете «Новое время».

1912 – выход книги «Уединенное».

Июнь – переезжает на Коломенскую улицу, дом 33.

1913, март – публикация статьи «Не нужно давать амнистию политическим эмигрантам».

Апрель – выход книги «Опавшие листья» (короб первый).

Лето – живет с женой и дочерью Варварой в Сахарне (Бессарабия).

28 октября – решение суда по делу Бейлиса. А. М. Бутягина навсегда уходит из дома.

18 ноября – публикация статьи «Напоминание по телефону» в «Новом времени».

1914, январь – начало переписки с С. Н. Дурылиным.

26 января – «изгнание» Розанова из Религиозно-философского общества.

Февраль – начало переписки с А. И. Цветаевой, выход книги «Апокалипсическая секта (хлысты и скопцы)».

Начало марта – выход книги «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови».

Сентябрь – начало переписки с В. А. Мордвиновой.

Ноябрь – выход книги «Война 1914 года и русское возрождение».

Декабрь – Вера Розанова уходит в монастырь.

1915, январь – публикация статьи Н. А. Бердяева «О “вечно-бабьем” в русской душе».

Июль – выходит второй короб «Опавших листьев», начало переписки с Э. Ф. Голлербахом.

Август – переезжает на Шпалерную улицу, дом 44-б.

1916 – публикация статьи А. А. Блока «Судьба Аполлона Григорьева» в журнале «Золотое руно».

Весна – уход Т. В. Розановой из дома.

1917, конец августа – переезжает с семьей в Сергиев Посад.

Ноябрь – начало издания «Апокалипсиса нашего времени».

1918, 28 июля – пишет письмо в Литературный фонд с просьбой о вспомоществовании.

Конец сентября – сын Розанова Василий и дочь Варвара отправляются на Украину.

9 октября – смерть Василия Розанова-младшего в Курске.

24 ноября – Розанова разбивает паралич.

1918, декабрь – 1919, январь – диктует дочери Надежде последние письма.

1919, 23 января (5 февраля) – смерть В. В. Розанова.

25 января – похоронен в Черниговском скиту Троице-Сергиевой лавры.

27 мая – смерть Веры Васильевны Розановой. Похоронена рядом с отцом.

1920, 20 декабря – смерть падчерицы Розанова А. М. Бутягиной. Похоронена рядом с отчимом.

1923, 15 июля – смерть второй жены Розанова Варвары Дмитриевны Бутягиной. Похоронена на Вознесенском кладбище Сергиева Посада.

1942, осень – арест Варвары Васильевны Розановой-Гординой.

1943, 15 июня – смерть Варвары Розановой от дистрофии в Рыбинске.

1944, осень – арест Татьяны Васильевны Розановой.

1945, 3 сентября – Т. В. Розанова освобождена из-под стражи.

1956, 15 июля – смерть Надежды Васильевны Розановой-Верецагиной. Похоронена в Абрамцеве.

1975, 11 мая – смерть Татьяны Васильевны Розановой. Похоронена в Москве на Хованском кладбище.

Краткая библиография

Бердяев Н. А. Самопознание. М., 1991.

Богданова Т. А. Новые материалы к биографии В. В. Розанова (из переписки В. В. Розанова и Н. Н. Глубоковского) // Проблемы источниковедческого изучения истории русской и советской литературы. Сборник научных трудов. Л., 1989.

Бочарова И. А. О «безвидной» дружбе (Письма В. Розанова к М. Горькому) // Вопросы литературы. 1989. № 10.

Бибихин В. В. «Время читать Розанова». Вступительная статья к публикации трактата В. В. Розанова «О понимании». М., 1996.

Варламов А. Н. Пришвин. М., 2002.

Варламов А. Н. Григорий Распутин-Новый. М., 2006.

Варламов А. Н. Мысленный волк. М., 2014.

Возчиков В. А. Любимая корреспондентка В. В. Розанова // Современное общество, образование и наука. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 марта 2015 г. Ч. 15. Тамбов, 2015.

Галковский Д. Е. Бесконечный тупик. М., 1997.

Голлербах Э. В. В. Розанов. Жизнь и творчество. Пг., 1922.

Гончарова Е. И. Контуры жакерии (В. В. Розанов и Мережковские) // Русская литература. 2006. № 4.

Дмитриев А. «Ущемленный в средостении славянофил» Рцы (И. Ф. Романов) в его неопубликованных письмах к В. В. Розанову // Русский Миръ. Вып. 8. СПб., 2008.

Дурылин С. Н. В своем углу. М., 2006.

Дурылин С. Н. Троицкие записки // Наше наследие. 2016. № 116.

Ерофеев В. Василий Розанов глазами эксцентрика. М.: Вече, 1973.

Иванова Е. В. О последних днях и кончине В. В. Розанова // Литературная учеба. 1990. № 1.

Иваск Ю. П. Розановоравная Вера (В. А. Мордвинова-Шварц) // Литературоведческий журнал. 2000. № 13/14. Ч. 2.

Иваск Ю. П. Письма А. Н. Богословскому // Литературоведческий журнал. 2000. № 13/14. Ч. 2.

Ильин И. А. Собрание сочинений. Т. 1: Переписка двух Иванов. М., 2000.

Казакова Н. «Свидетель Апокалипсиса» // Знамя. 2020. № 2.

- Катаев В. Б. Чехов плюс. М., 2004.
- Кацис Л. Кровавый навет и русская мысль. Историко-теологическое исследование дела Бейлиса. М., 2006.
- Королев А. В. Имя розы // Знамя. 2015. № 4.
- Кублановский Ю. М. Одиннадцатый // Новый мир. 2021. № 5.
- Кучерская М. А. Прозеванный гений. М., 2021.
- Ломоносов А. В. В. Розанов: Ближние и дальние. М., 2021.
- Лосев А. Ф. Из бесед и воспоминаний // Студенческий меридиан. 1988. № 10.
- Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 1990.
- Матич Ольга. Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России. М., 2008.
- Мелентьев М. М. Мой час и мое время. М., 2001.
- Меньшиков М. О. Материалы к биографии: [Сб. материалов]. (Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Т. IV.) М., 1993.
- Налепин А. Л., Померанская Т. В. Розанов@etc.ru. Псков, 2013.
- Николюкин А. Н. Розанов. М., 2001.
- Павлова М. М. «Распоясанные письма» В. Розанова // Литературное обозрение. 1991. № 11.
- Палиевский П. В. Розанов и Флоренский // Литературная учеба. 1989. № 1.
- Переписка В. В. Розанова и А. А. Измайлова (1918) // Наше наследие. 2016. № 116.
- Письма В. В. Розанова к Э. Ф. Голлербаху // Звезда. 1993. № 11.
- Пришвин М. М. Дневник 1914–1917. М., 1991.
- Пришвин М. М. Дневник 1918–1919. М., 1994.
- Пришвин М. М. Дневник 1920–1922. М., 1995.
- Пришвин М. М. Дневник 1923–1925. М., 1999.
- Пришвин М. М. Дневник 1926–1927. М., 2003.
- Пришвин М. М. Дневник 1928–1929. М., 2004.
- Ремизов А. М. Кукха. Розановы письма. СПб., 2011.
- Розанов. Pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. В 2 т. СПб., 1995.
- Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990.
- Розанов В. В. Сочинения. В 30 т. М.; СПб., 1994–2010.
- Розанова Н. В. Из моих воспоминаний // Литературоведческий журнал. 2000. № 13/14. Ч. 2.

Розанова Т. В. «Будьте светлы духом»: (Воспоминания о В. В. Розанове). М., 1999.

Розановская энциклопедия. М., 2008.

Рочко Г. В. Воспоминания попутчика // Новый мир. 1996. № 3.

Садовской Б. Записки (1881–1916) // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 1994.

Сараскина Л. И. Возлюбленная Достоевского. Аполлинария Суслова: биография в документах, письмах, материалах. М., 1994.

Сарычев Я. В. Розанов В. В. Логика творческого становления (1880–1890-е гг.). Воронеж, 2006.

Сергей Дурьин и его время. Кн. 1. М., 2010.

Суслова А. П. Годы близости с Достоевским. М., 1928.

Слоним М. Л. Три любви Достоевского. М., 2011.

Сукач В. Г. Жизнь Розанова «как она есть» // Москва. 1990. № 10–11; 1991. № 1, 2/4, 7/8.

Сукач В. Г. Василий Васильевич Розанов: биографический очерк. М., 2007.

Тлиф И. Х. «Корень рождения моего...» (К истории рода В. В. Розанова: статьи, архивные документы, воспоминания). Кострома, 2005.

Тесля А. А. «Славянофилы», «славянофильство» и В. В. Розанов: заметки к теме // Тетради по консерватизму. М., 2019. № 4.

Фатеев В. А. Жизнеописание Василия Розанова. СПб., 2013.

Федякин С. Р. Художественная проза Василия Розанова. Жанровые особенности. М., 2014.

Фетисенко О. Л. Из предыстории переезда В. В. Розанова в Петербург: Письмо Розанова к Т. И. Филиппову // Русская литература. 2006. № 4.

Цветаева А. И. Воспоминания. М., 1984.

Штейнберг А. Друзья моих ранних лет. Париж, 1991.

Энтелехия (Научно-публицистический журнал при Межрегиональном научном центре по изучению и сохранению творческого наследия В. В. Розанова и свящ. П. А. Флоренского Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова). Вып. 1–19. Кострома, 2000–2012.

Примечания

Любопытно, что со святым Себастьяном сравнивал самого Розанова критик А. А. Измайлов, о чем Венедикт Ерофеев едва ли знал. «Живет, кажется, с вечною стрелою в сердце, как Себастиан, и когда бы это ни было и где бы он ни был, – весь во власти одних вопросов». Розанов после этой статьи писал Измайлову: «Не скрою: 2 слова – “о стреле Себастиана” и “исповеданиях” всего дороже».

Большинство – не значит все. Конечно, и в советское время у Розанова были и читатели, поклонники, и исследователи: А. Н. Богословский, В. Г. Сукач, П. В. Палиевский, М. Т. Палиевский, В. В. Кожин, В. А. Фатеев, А. Н. Николукин, А. Л. Налепин, Т. В. Померанская, В. И. Сахаров и др.

Е. Е. Голубинский вспоминал немного иначе: «...сколько ни пил, никогда нельзя было заметить, что пьяный».

«Мы клянемся в этой истине: народ наш не имеет и тени той любви к Государю, какую имеет Государь к народу; это – тайна истории, тайна самодержавия. Мы знаем, как народ любит Государя; видели трогательнейшие свидетельства этого, и вообще это общеизвестный факт; но вот чего никто, кроме сердца Царева, не знает: что народ, толпа, улица, площадь *in concreto* еще несравненно более любимы Царем, – как отцом более любимы дети, нежели детьми отец, опекуном опекаемые, чем опекаемыми опекун, учителем ученики, нежели учениками учитель; и вообще властное, заботящееся, мощное более проникновенно – даже до страдания – любить сирое, маленькое, сжавшееся, что, может быть, за тысячью забот и нужд своих, даже за неопытностью, за духовною неразвитостью своею, не имеет ни сил, ни уменья, ни самого желания, догадки – ответить равною любовью».

Была еще одна, возможно, самая первая и самая взрослая. Ср. о ней в «Кукхе» А. М. Ремизова: «22. 9. Был В. В. Розанов. Рассказывал: когда он первый раз это сделал – ему было 12 лет, гимназистом, а ей, хозяйке, за 40 – так на другой день с утра он песни пел».

Впрочем, в автобиографическом очерке «Puer eaternus» Розанов вспоминал эту (или похожую) историю иначе: «Вдруг однажды она мне сказала:

– Василий. Иди ко мне спать.

Я спал на кровати с Сережей (брат). И расхохотался.

Она не продолжала и потушила огонь.

Мне в голову ничего не приходило. И подумать не смел, чтобы “я пришел ей на ум”. И лишь летам к 35 я догадался. “О несвязавшемся романе”.

Дело в том, что лишь из последующих мне рассказов семейных людей я узнал, что к этим годам “муж уже никогда не живет со своей женой”, и она, при очень больших силах, была много лет не “евши”. Тут все поймешь и все простишь.

Если бы все устроилось и в сдержанных формах – для меня наступила бы нормальная жизнь, я поздоровел, созрел. А она была, в сущности, “покинутая мужем жена”, т. е. вдова со всеми правами вдовы.

Мне было 14, ей около 36. Она – в полном цвету. Я “в возможности” до преизбыточества».

Зато есть такая запись от 13.03.1919: «13 го. Вьюга. Вчера отнес Розановым пакет В. В-ча с надписью: “Дневники и записные книжки. Воскресенье после смерти”. Оказались – статьи, письма, 1 записная книжка». А месяц спустя в записи от 8 апреля 1919 года Дурылин воспроизводит свой разговор со вдовой Розанова Варварой Дмитриевной Бутягиной, из которого следует, что это она рассказала ему о первом браке писателя: «Он был как ребенок. На первой жене из жалости женился. Ее принимали все за его мамашу. Ему нужно было к кому-нибудь прижаться».

Тут, конечно, нельзя не сослаться на письмо Розанова к Глинке-Волжскому, в котором В. В. воспроизвел свой диалог с Аполлинарией.

«С Достоевским она “жила”.

– Почему же вы разошлись?..

– Потому что он не хотел развестись с своей женой, чахоточной, “так как она умирает”...

– Так ведь она умирала?

– Да. Умирала. Через полгода умерла. Но я уже его разлюбила.

– Почему разлюбила?

– Потому что он не хотел развестись... Я же ему отдалась любя, не спрашивая, не рассчитывая. И он должен был так же поступить. Он не поступил, и я его кинула...»

Но опять же, если подобный диалог и имел место, то я почти уверен, что не в самом начале их знакомства.

Ср. у Дурылина: «Жить с нею долее значило бы для него не стать Розановым, автором “Сем<ейного> вопроса”, “В мире неясного”, всего, что писано им о поле и браке. Против нее вопияла вся его онтология, все зерно его писательства, дремавшее в нем и вырвавшееся наружу не пустоцветом (“О понимании”), а истинным цветением и плодом только с Варварой Дмитриевной: нашел он Рахиль свою – нашел и гений свой. Связано. Накрепко. Неразрывно. Вот кто была его Музой всегда – Рахиль бесписьменная, тихая, без шумной “близости” с Достоевским, без знакомства с Герценом и его Тучковой-Огаревой, но зато без “испанцев”, без “психопатологии”, с одной мудрой онтологией “ложа нескверного”, – с любовью великою, – вот кто была его музой – Варвара Дмитриевна. Этого тоже не могла никогда простить Медея. Она спала с Достоевским, рассуждала с Герценом, и вдруг от нее и при ней ничего, ничего не явилось розановского – ничего, кроме огромного – далекого от гения Розанова – трактатища “О понимании”, а при этой – при семейственной, скромной Рахили, которая с Герценом не только не разговаривала, но и не читала, рождается не только ребенок за ребенком с лона, не оскверненного ни с каким испанцем, но и книга за книгой рождается у Розанова, – и какие книги: “Легенда о Великом Инквизиторе” (СПб., 1893), “Сумерки просвещения”, “Религия и культура”, “Природа и история”, “В мире неясного и нерешенного”, “Литературные очерки”, “Около церковных стен” и т. д. Как же это перенести книжной Медее, что русская литература ей ничем не обязана, а скромной Рахили – всем? Впрочем, и ей обязана русская литература: ее, Медеиной, местью детям Розанова, ее упорным удерживанием этих детей от Рахили на положении “незаконных” (“законными” были бы дети от бесплодной Медеи) вызвана та страстная защита прав “незаконных детей”, которую Розанов повел так горячо и твердо в “Семейном вопросе в России”, в газетных статьях, что из русского законодательства исчез самый термин “незаконнорожденные”.

А она, действительно, имела в себе что-то фуриозное, – даже до комизма. Медее свойственно возиться с ядами. Она и тут не отступила от греческого прообраза. “Потом она (Медея № 2: ‘Тучкова-Огарева’, перешедшая к Герцену —) просила меня достать ей яду через моего доктора. Я, как особа без предрассудков, гуманная и образованная (– Медее ли стесняться в высокой оценке самое себя!), обещала ей, но я не знала, как

было приступить к моему доктору с такой просьбой...” (с. 119).

С добытчицей ли яда было жить бедному Василию Васильевичу, человеку семейному и тихому, с рыжей бороденкой и папироской во рту?»

Ср. в письме Б. А. Грифцову в 1911 году: «Женитьба... Ужасное несчастье. Прямо огненная мука, позор, унижение. 1-ая жена моя какая-то “французская легитимистка”, на 18 лет меня старше, талантливая, страстная, мучительная, я думаю – с психозом, который безумно меня к ней привязал».

Впрочем, позднее его отношение к университету сделалось более благосклонным. «Хорошее было время в университете в смысле профессоров, – писал он в 1916 году в статье «Еще – памяти русского историка (О С. М. Соловьеве)». – Тогда процветали в университете: С. М. Соловьев и сменивший его вскоре В. О. Ключевский, Вл. Ив. Герье... П. Г. Виноградов... И украшая университет, украшали Россию». Ср. также в воспоминаниях Анастасии Цветаевой: «Когда Розанов узнал, что урожденная я Цветаева, он радостно сообщил мне, что он вправе считать себя учеником папы, что слушал курс его лекций и никогда не забудет его ни как профессора, ни как человека».

Ср. с мнением философа В. В. Бибикина: «С Розановым стало легко, когда было решено, что он сладенький и свой. Но он стал такой; ведь сначала был совсем другой Розанов. Можно ли сказать, что Розанов книги “О понимании” не понят? Нет, нельзя так сказать, потому что тот Розанов просто не прочитан. Никем, потому что даже один из теперешних распорядителей его наследия, владельцев его имущества, комментатор, представитель и изъяснитель, говорит о той книге, что это какой-то трактат по науковедению, заслуженно не замеченный, Бог знает какой странный опус, где “предпринята попытка рассмотреть ‘понимание’ как научную категорию”. Другой специалист, тоже претендующий быть представителем, отзывается о его главной книге: какой-то “весьма схоластический трактат”... Все было бы в порядке, если бы сам Розанов сказал: да, с моим ранним трактатом произошел сбой, 737 страниц действительно какого-то скучного науковедения, на самом деле весьма схоластический трактат. Искания и ошибки молодости. Но нет, Розанов всегда говорил другое и прямо противоположное, скромно просил: прочитайте, посмотрите ту книгу “О понимании”, жалко, что вы ее у меня не знаете. А потом совсем резко, прямо черным по белому написал, что журналистика игра, а философия серьезно и что все время была бы философия, если бы не умирать с голоду. Мы знаем лучше: в его философии, нам кажется, ничего нет, как говорит еще один очень важный специалист; какие-то сырые досократики, поэтому другое мы печатаем, а то пока нет. В Розанове происходит разрушение литературы. Это всех радует, и вокруг этого разрастается еще одна литература. Но почему-то никому не пришло в голову, что в Розанове происходит разрушение не только литературы, но и литературоведения. Оно поставлено в том, что касается его, под вопрос. Чем? Опасной возможностью того – а я уверен, она и осуществилась, – что племя любителей розановской словесности будет иметь перед собой корпус Розанова, ходить по нему взад и вперед, уже по всякому, и говорить мимо него. Мимо по той же самой причине, по какой не читается молодой философ Розанов. Не может быть прочитано что-то на чужом языке, в котором не выучен алфавит. Алфавит к языку Розанова – его первая книга. Не знаю, в ту ли сторону мы даже все его строки читаем, пока не заглянули в алфавит. Там ключом ко всему Розанову мне кажутся вот эти места: “понимание есть”... Там, где, мы думаем, мы уже читаем и понимаем

Розанова, перед нами в зеркале пока еще наш портрет. Мы неосторожно подставились этому зеркалу. Розанов загадочно смотрит на нас из своей каменной задумчивости».

«— “А какова действительная научная ценность этого труда?” – спросил я однажды у большого специалиста философии, академика и друга Соловьева. – “Этот труд, – ответил он, – замечателен тем, что Розанов, не читавший Гегеля, собственным умом дошел до того, до чего дошел Гегель. Я думаю, что этого не нужно было делать, – проще было научиться читать по-немецки”...

Это была горькая истина, но это был и очень высокий комплимент Розанову как мыслителю».

Вот его полный текст, приведенный в книге Л. И. Сараскиной: «... Помните и знайте, что какое бы горе у меня ни случилось, когда бы мне ни пришлось, хоть в будущем далеком, вынести унижение и позор, первая мысль моя будет не о нем, а о Вас, не о позорящем меня человеке, а о Вас, меня позорившей и на меня [?].

Помните, что между мною и всяким обидчиком моим будете стоять Вы, первая ненависть моя к Вам; всякую обиду я буду переносить на Вас, буду принимать ее как бы от Вас – Вы первая начали, а другие только продолжают, и они чужие, для них я ничего не сделал, а Вы были любимой женщиной, для которой я дважды не пожалел жизни. *Ваша рука первая поднялась на меня.* С Вас начались все радости моей жизни. Вы рядились в шелковые платья и разбрасывали подарки на право и лево, чтобы создать себе репутацию богатой женщины, не понимая, что этой репутацией Вы гнули меня к земле, сделали то, что в 7 лет нашей счастливой жизни я не мог и глаз поднять светлых и спокойных на людей, тревожно искал в их словах скрытой мысли – не думают ли они, что я продал себя Вам за богатство. Все видели разницу наших возрастов, и всем Вы жаловались, что я подлый распутник; что же могли они думать иное, кроме того, что я женился на деньгах, и мысль эту я нес все 7 лет молча; знайте, что даже о Смирновых, даже о сестре Вашей, и Анне Асафьевне, и о Свиридовых я всегда думал, что все они меня считают подлым и алчным человеком, женившимся на Ваших деньгах. Легко мне было. Бог один видит мое сердце. Когда Ваша мать приехала в Москву и впервые я с нею увиделся, я обошелся сухо и ушел с Барановским играть в карты, чтобы не дать ей повода думать, что ищу ее расположения, жду от нее денег. А Вы рядились в шелк; занимались испанской историей и не видели, какую ежеминутную муку несет в сердце Ваш муж. Я нарочно ходил в отрепьях, звал Вашу мать и отца как чужих людей по имени и отчеству, хоть любил их и мне дорого бы было звать их отцом и матерью; но я вспыхнул, когда раз Свиридов сказал мне о покойнице *Ваша мамаша*. Сынок со стороны, ждущий наследства. Поченина раз заговорила о моей трудной жизни в университете, и я нашел из ее слов, что Вы хвастали, что содержали меня. Я и жениться решился на Вас, только получив стипендию, мысль, что на меня будут смотреть как на женившегося на деньгах, жгла меня еще до брака. Я нарочно не переводился из Брянска, не хотел искать ученой

степени, что предлагал мне Герье, упорно трудился над своей книгой, чтобы не жгла меня эта мысль более, чтобы увидели во мне серьезного и скромного человека, который очевидно не на деньгах женился, потому что ведет тихую и скромную жизнь, не ищет внешней обстановки и занят своею мыслью, ее развитием и осуществлением. Поняли Вы меня и оценили. О сжатых в башмачке ножках девчонки Салиас плакали, а в сердце мужа не заглянули. Перед всеми хвастали, как Вам присылали мать и отец деньги, на что я всегда смотрел с ненавистью. С семьями живут на мое жалованье, а Вы вдвоем со мной не хотели [?] это сделать, чтобы не было этих денег из Вашего дома в мою семью...

Мукой мужа Вы удовлетворяли Ваше тщеславие, знайте это, помните. Вы вечно тащили меня в гости и силились собирать у себя гостей, заводили необыкновенные лампы и огненного цвета пальто. Стыдитесь, изорвите этот позор мой, так мучивший меня столько лет. Вместо скромной и тихой жизни, вместо того, чтобы сидеть около мужа, окружить его вниманием и покоем в многолетнем труде, заставить других уважать и беречь этот труд, – что Вы сделали. Жена верная примет на себя все оскорбления и не допустит их до мужа, сбережет сердце его и каждый волос на его голове – а Вы за ширмами натравляли на меня прислугу, а воочию – всех знакомых и сослуживцев, во главе их лезли на меня и позорили ругательствами и унижением, со всяким встречным и поперечным толковали, что он занят идиотским трудом.

Спросили Вы меня хоть раз, о чем я пишу, в чем мысль моя. О бездарном ученом и лакее-пролазе Любавском Вы любили говорить; знакомство с ним могло льстить Вашему тщеславию, так как он оставлен при Университете, хоть все еще не попал в него и через 7 лет и все еще тужится над компилятивной диссертацией своей, подбирая цитаты из книг, жалкая карикатура, без какой-либо оригинальной мысли. А муж, над одной мыслью продумавший 5 лет и в 5 же лет написавший труд, о котором люди, которые и в переднюю не пустят Вашего Любавского, говорят, что он выше их собственных трудов – только потому, что он был не искателем и не кричал и не рассказывал уже о совершенном труде встречному и поперечному (а Ваш Любавский все кричит о замышляемых трудах) – Вы отстранились от этого мужа, подло предали его на ругательства и первые их начинали, ожидая за это похвал себе. Низкая Вы женщина, пустая и малодушная. Н. Страхов говорил мне лично, читая одно место в моей книге и невольно остановившись: “Просто завидуешь, как Вы пишете, какая точность мысли при совершенной легкости языка”, Радлов, профессор философии Александровского лицея, начавший по поручению нашего

министерства писать разбор моей книги, оставил его, даже скомпрометировав себя, и открыто сознался: “Я не имею и десятой доли того таланта, который есть у Розанова, мне и во сне не приснится написать такие страницы, как у него, – что же я буду указывать ему в чем-нибудь”. Ап. Майков искал моего знакомства и, сравнивая меня с Гротом, проф. философии в Моск. унив., сказал: “Я скажу Делянову, что у него учителя уездного училища читают философию в университетах, а профессора философии читают географию в уездных училищах”. И все эти люди и другие из их кружка, несколько более образованные, чем Вы, и Ваш Любавский, и Виктор Михайлович, перед коими Вы благоговеете, ласкали меня и говорили, как мне передавали: *какая светлая личность встает между нами*; и до того связалась моя душа с Вами, что все, что я ни слышал, все это мне отрадно было только потому, что поднимало из того позора и унижения, в который Вы меня ввергли, и мне сладко теперь сказать это Вам, что Вы ошиблись во мне и я оценен, но только не Вами, которая променяла меня на Саркисовых и Любавских. Мне сладко, что муку свою, видя Ваше отвращающееся от меня лицо, я перенес молча, гордо не искал ни в ком поддержки, даже в жене, и мое терпение награждено: к моей мысли прислушиваются и моего слова ждут. Вы меня унизили, а другие подняли. Пустая, пустая Вы женщина, не поняли ничего, что во мне было серьезного и скромного: видя одно, что теперь все и науку и философию любят ради тех должностей, которые они доставляют, боля душой за этот униженный кусок и за то, что наш русский народ не может возвыситься до него (только Вам это говорю), я молча живу в глуши и несую проклятую, мне ненавистную должность, принимаю унижения, от которых бы Вы разорвались, только чтобы не смел никто в будущем сказать, что русские неспособны бескорыстно что-нибудь любить, чем-нибудь без нужды и выгоды интересоваться. Одного слова моего достаточно, чтобы не сидеть здесь больше в глуши среди нравственных уродов, картежников и идиотов, и даже попечитель только посторонится и даст мне дорогу, по которой я захотел бы идти, и я не иду по ней, до конца жизни буду здесь сидеть, чтобы не погибла мечта моя, чтобы умереть мне с мыслью, что не унизил я имени своего народа среди всей грязи, которою она запачкана, я останусь светлою и чистою точкою.

Но я не драпировался в свою мысль, как Вы драпировались в Вашу любовь к Достоевскому и в свои вечные занятия средневековою историею, что все звучит так красиво и имеет такой красивый вид: тщеславная женщина: зачем Вы всякой знакомой показывали единственное письмо Достоевского, зачем Вы не сохранили его у себя. Он Вас ценил и уважал,

зачем же приписывать это к своей особе, как красивую ленту, и щеголять ею на площади: в Москве при мимолетном знакомстве с Шубиной у Анны Ив. Покровской Вы уже показывали его. Таковы же всегда были Ваши занятия средними веками: что другое Вы сделали, как, имея лишние деньги и зная французский язык, – понакупили книг, тщеславно разложили их на столе и по примеру своего неперменного Идеала Михайловского, но еще с меньшим успехом, чем он, подумали, что стоит несколько поначитаться этих книжек и составить по ним новую, чем приобретать сразу и ученое имя, и литературную славу. Жалкая Вы женщина, бедная, зачем Вы уродуете себя, вместо того чтобы без стыда носить простое и скромное платье, которое у Вас есть, Вы хотите рядиться в чужие блестящие поступки. Неужели Вы думаете, что можно что-нибудь сделать, не имея определенной мысли в науке, только имея книги, перо и чернила. Чернила-то у Вас есть, которыми бы Вы все написали, а вот мысли-то для чернил нет. Я никогда без боли не мог слышать, как, тщеславясь перед каким-нибудь Смирновым или перед Саркисовым, которые едва помнят о том, что такое средние века, Вы начинали толковать о своих занятиях Бланкой Кастильской, о которой они никогда не слыхали, или Колумбом, о котором еще имели понятие, и даже не совсем смутное. К чему этот позор Вы на себя надевали, разве Вы не могли заниматься скромно, и, ничего еще не сделав, уже шутили о том, что сделаете. Только я все это видел и болел за Вас, потому что любил Вас; и ни разу не сказал Вам об этом ни слова, думая, пусть хоть в воображении своем поживет. А Вы тут же сидели и говорили с высокомерием и снисхождением о ниже Вас стоящем муже: *чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало*. Больное Вы дитя, и только как больное и мало радости видевшее, я щадил Вас, и Вы этого не понимали. Ничего не поняли в наших отношениях, и прахом пошла наша жизнь. И теперь, все еще питаюсь какими-то мечтами, Вы думаете все время, что от чего-то спасаете меня, от кого-то оберегаете. Не сберегли себя, да и меня утопили, а в спасительницы других маскируетесь. Оставьте это, оглянитесь на свою прошлую жизнь, посмотрите на свой характер и поймите хоть что-нибудь в этом. Но никогда Вы ничего не поймете, так и умрете, не узнав, что Вы такие были и что за жизнь провели. Плакать Вам над собой нужно, а Вы все еще имеете торжествующий вид. Жалкая Вы, и ненавижу я Вас за муку свою. Бог Вас накажет [?] за меня. Только когда умирать будете, когда в предсмертной муке будете томиться – пусть образ мой, который один из людей Вас понял и оценил и Вы над ним же одним насмеялись [?] и замучили – пусть мой образ в эту предсмертную муку Вам померещится».

Ко всему этому стоит добавить характеристику, которую дал Сусловой Ф. М. Достоевский в 1865 году: «Аполлинария эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям. <...> Мне жаль ее, потому что предвижу, она будет вечно несчастна. Она нигде не найдет себе друга и счастье. Кто требует от другого всего, а сам избавляет себя от всех обязанностей, тот никогда не найдет счастья».

Так, Л. И. Сараскина оценивает этот сюжет следующим образом: «В переписке А. П. Сусловой и Е. В. Салиас 1880-х годов, насколько об этом можно судить по письмам Е. В. Салиас, причиной разрыва А. П. Сусловой с мужем называлась не ее история с О. Б. Гольдовским, а неверность В. В. Розанова – его связь с некой молодой учительницей (может быть, дочерью Д. Д. Кучинского, брянского доктора)».

Очень любопытны переклички между автобиографическими произведениями Пришвина и Гедройц, относящиеся к их учителю. И там, и там Розанова ученики называют Козлом, и там, и там он дергает ногой. Но все же следует иметь в виду, что Гедройц написала свой роман позже и могла что-то у Пришвина позаимствовать. Сам он, судя по его дневнику, ее роман не читал.

Вот что писал по этому поводу В. В. Бибихин в предисловии к изданию перевода Розанова и Первова в 2006 году: «У Первова и Розанова мы имеем первый или может быть даже до сих пор единственный органичный перевод Аристотеля, впервые осваивающий этого автора в традиции нашей мысли. <...> Попытка молодого Розанова создать русского Аристотеля, оставшаяся 115 лет назад почти совершенно не замеченной, как и его написанная в те же самые годы большая философская книга, напоминает о неразвитых возможностях нашей культуры. Будь наш культурный климат другим, мы знали бы не только публициста Розанова. Мнение о якобы оставлении им раннего увлечения неверно; о своих философских работах он никогда не забывал. <...> После Розанова никому из наших исследователей и переводчиков Аристотеля не удалось настроиться на верный тон. Философа поняли в России тяжеломерно и переусложненно, его отчетливость перевели в формализм. Алексей Федорович Лосев пережил бездонную глубину Платона, но в Аристотеле увидел мало что кроме дескрипций и дистинкций, приняв его за “первого профессора в истории философии”. <...> Как с известным нам журнальным Розановым, так и с Розановым-комментатором легко, весело; он всегда одаривает читателя; его увлечения интересны, многозначительны; все его трактовки текста так или иначе движутся в русле античной мысли. Аристотель у Первова и Розанова не косноязычная пифия, множащая перед нами неразрешимые загадки, а открытый всматривающийся во все ум. Люди в разные эпохи и в несхожих разноречивых обществах заняты одним. Они отвечают на вызов тайны».

Есть очень интересное воспоминание С. Н. Дурылина в его книге «В своем углу» как раз в связи с этой статьей, а вернее с критикой на нее: «Вспомнил, когда я впервые узнал о Вас. Вас-че. Живо помню: я мальчик, самое большее – мне 13–14 лет. Я читаю объявление о книге Михайловского “Литературные воспоминания и современная смута”, и особенно меня поражает в перечне содержания этой книги одна строчка: “О г. Розанове и его отказе от наследства”. Я был большой фантазер и большой литературщик и сейчас же состроил себе объяснение: Розанов, некий Розанов отказался от наследства, которое кто-то ему оставил, а он этих денег, этого имущества не принял, считая, что нехорошо принимать наследства, и о том где-то печатно объявил, а вот г. Михайловский и обсуждает теперь, хорошо или нет сделал г. Розанов и нужно или нет отказываться от денег по наследству... Я уже слышал тогда через Колю Михайлова смутное что-то о социалистах, о толстовцах, о том, что богатство – это что-то “от кражи” (имя Прудон я слышал еще вовсе ребенком, едва ли не в 7 лет от брата Пантелеймона, и тогда же его запомнил, но только одно голое имя), что-то нехорошее “от угнетения”, – и, должно быть, это “смутно слышанное” как-то выразилось во внимании моем к строчке из оглавления Михайловского: “О г. Розанове и его отказе от наследства”. Я это крепко запомнил – что вот некто Розанов отказался от наследства (деньги, имущество). Таково было мое первое, совершенно фантастическое знакомство с Вас. В-чем. И только десятки лет спустя я узнал, что отказался-то он не от “наследства” (никогда ни от кого не получал, не от чего было и отказываться), а от толстых книг Добролюбова и Чернышевского – и за то получил должное возмездие от их “идееприкащика” – Михайловского».

Ср. в «Уединенном»: «В мое время, при моей жизни создались некоторые новые слова: в 1880 году я сам себя называл “психопатом”, смеясь и веселясь новому удачному слову. До себя я ни от кого (кажется) его не слышал. Потом (время Шопенгауэра) многие так стали называть себя или других; потом появилось это в журналах. Теперь это бранная кличка, но первоначально это обозначало “болезнь духа”, вроде Байрона, – обозначало поэтов и философов. Вертер был “психопат”».

Но вряд ли в душе Варвары Дмитриевны. Ср. в воспоминаниях Н. В. Розановой: «Мама же говорила: “Терпеть не могу генералов и попов”... Мама не перенесла в наш дом традиции ее родни. Она редко говорила о ней, может быть, в силу замкнутости, а может быть, из каких-нибудь тягостных воспоминаний, так как незаконный и со стороны церкви преступный брак ее с отцом, вероятно, был осужден ее родней».

И в то же время сам писал в «Мимолетном» о своих гимназических годах: «Но хуже всего была география проклятая...»

Так, в статье «Два съезда», опубликованной в 1907 году, он писал: «Глубокое вырождение и упадок русских чувств констатировал уже четверть века тому назад Достоевский в “Дневнике писателя”. В ту пору, в разгар русско-турецкой войны, в противовес почти поголовному и уже старому, даже очень старому увлечению нашего общества исключительно европейскими воззрениями, теориями и вкусами, образовалась какая-то “русская партия”, кажется ничем ярко себя не выразившая. Кое-где были “коллективные постановления” бойкотировать английские товары и английские магазины в Петербурге и Москве, да несколько русских женщин нерешительно надели сарафаны и кокошники. И вот, когда это нерешительное движение вылилось в формирование русской партии, то Достоевский с глубокою тоскою и недоумением написал в “Дневнике” своем: “Боже! У нас есть *русская партия!* ” Он недоумевал: каким образом в стране, именуемой Россией и населенной русским народом, может возникнуть как что-то новое, обособленное и очевидно протестующее русская партия? Ибо ведь это знаменует собою, что вся Россия – уже не русская; т. е. что вся Россия шарахнулась куда-то в сторону от России же, т. е. от *самой себя!* Что же это такое?! И Достоевский развел руками при виде этого буквально кошмара: представим себе Древнюю Грецию и в ней “греческую партию” или современную Англию и в ней “английскую партию”. Представим себе Францию с “французскою партией”. Невозможно представить! Не было никогда и, очевидно, не будет! Но в России это случилось».

Подробнее об этом в статье О. Л. Фетисенко «Из предыстории переезда В. В. Розанова в Петербург: Письмо Розанова к Т. И. Филиппову».

Справедливости ради, шестеро детей было у М. О. Меньшикова, шестеро у И. Ф. Романова (Рцы), и это поразительный факт, как два таких разных человека – один прямой розановский оппонент, второй – в течение нескольких лет товарищ и единомышленник – были схожи с В. В. в этой очень важной семейной подробности.

Через два месяца после свадьбы Достоевский послал Сусловой письмо, в котором рассказал ей о своей женитьбе и закончил так: «Твое письмо оставило во мне грустное впечатление. Ты пишешь, что тебе очень грустно. Я не знаю твоей жизни за последний год и что было в твоём сердце, но, судя по всему, что о тебе знаю, тебе трудно быть счастливой. О, милая, я не к дешёвому необходимому счастью приглашаю тебя. Я уважаю тебя (и всегда уважал) за твою требовательность, но ведь я знаю, что сердце твоё не может не требовать жизни, а сама ты людей считаешь или бесконечно сияющими или тотчас же подлецами и пошляками. И сужу по фактам. Вывод составь сама. До свидания, друг вечный!»

Известно также, что Аполлинария своему бывшему возлюбленному ответила, и, прочитав этот ответ тайком от мужа, двадцатилетняя Анна Григорьевна записала в своём дневнике: «Я так была взволнована, что просто не знала, что делать. Мне было холодно, я дрожала и даже плакала. Я боялась, что старая привязанность возобновится и что любовь его ко мне исчезнет». Ср. также: «За чаем он спросил, не было ли ему письма, и я ему подала письмо от неё. Он или действительно не знал, от кого письмо, или притворился незнающим, но только едва распечатал письмо, потом посмотрел на подпись и начал читать. Я все время следила за выражением его лица, когда он читал это знаменитое письмо. Он долго, долго перечитывал первую страницу, как бы не будучи в состоянии понять, что там было написано, потом, наконец, прочел и весь покраснел. Мне показалось, что у него дрожали руки. Я сделала вид, что не знаю, и спросила его, что пишет Сонечка. Он ответил, что письмо не от Сонечки, и как бы горько улыбнулся».

И не случайно, кстати, передавая письма А. Г. Достоевской в Румянцевский музей, Розанов снабдил их следующей характеристикой: «Достоевская Анна Григорьевна

Конечно, лучшего он не мог сделать, как женясь на ней. NB. Апол. Прок. С-а была в 60-х годах, как раз перед женитьбой на Ан. Гр. возлюбленной Ф. М. Д-го».

«Они всю свою жизнь очень легко обходятся без постов и говения, без молитв и причащения, совершенно игнорируя даже существование Церкви. Лишь в одном жизненном вопросе им приходится еще считаться с Церковью – в вопросе брачном: вот почему они с таким бешенством набросились теперь на брачные законы Церкви, как на последнюю крепкую ее позицию», – писал главный редактор консервативных «Московских ведомостей», будущий основатель Союза русского народа В. А. Грингмут в статье «Православная церковь перед лицом интеллигенции».

См., например, статью о Розанове на сайте «Антимодернизм.ру»: «... против Христианства Р. В. выдвигал не теоретические возражения, а перечислял разрозненные и спорные факты несчастливых и неравных браков, расторжения незаконных и непризнания невенчанных браков, имея в виду, конечно, свой собственный незаконный второй “брак”».

Позднее это очень точно сформулировал в письме П. П. Перцову С. Н. Дурылин: «У великоросса Розанова, у костромича Вас. Васильевича, в исключение из этого печально-верного закона, был гений семейственности. Его писательский стол как бы не отодвигался от семейного очага. Крик грудного ребенка не только не мешал ему писать, но вдохновлял его на писательство. Можешь ли ты себе представить женатого Владимира Соловьева? И можно ли допустить, что огромное “оправдание добра” писано подле горящего семейного камина, под детские милые “агу” из соседней комнаты? Если б затеплить камин, а в соседней комнате баюкать ребенка, не написалось бы ни холодно-благородное “оправдание добра”, ни страшные “Три разговора”, а написалось бы что-нибудь другое, более теплое, тихое, религиозно-душевное, важное. Василий Васильевич первый в России – да и не в мире ли? – устроил свой писательский кабинет в детской, – и как приходило время писать, – так и затепливал – метафизически – камин. Оттого у него чернила теплые, и пишет он не холодным, а нагретым пером».

«Как-то сестра, много лет приезжает ко мне из Костромы, и рассказывает: “Какой случай у нас: в лесу нашли двухгодовалого ребенка. Умер с голоду; ползал – умер!” – “Как? Что?” – “Незаконный был: матери страшно было убить, она и оставила среди леса, в надежде, что кто-нибудь пройдет и возьмет. Так ребенок забился под елочку, сидел, может, и прошел кто-нибудь, – да не видал, а когда плакал, – никто не проходил. Только ползал-ползал, верно, долго, верно, маму искал; и материнское сердце искало его: да... Бог не велел, Бог указал стыд, Бог велел наказать таких. Ну, словом, вскрытие и – ‘умер голодной смертью’”».

Ср. в письме Голлербаху: «Затем я начал страдать – нет: а получил (мнимо) – гоголевский порок от того, что обширное овчинное одеяло, какое нами употреблялось ночью “в повалку”, давно проносилось, шерсть была только клоками, состояло оно почти из кожи только: и вот – едва сделаешь это – как во все время делал я – согреваешься – и затем крепко-крепко (от ослабления) засыпаешь. Это было задолго до образования семени: и я думал, что “умру”, когда вдруг раз – при повторении днем (“наслаждение”) у меня выбрызнуло 1-ое семя. Я был потрясен, испуган и главное “умру”. Нужно В. заметить, что все, которые пишут, что “от этого можно отстать” – лгут. Отстать от этого невозможно, это неодолимо. И вот слушайте впечатление от этого в пору писания “О понимании”. Мысль греха: трансцендентного. “Я – гибну”. “Я что-то нехорошо делаю”. “Я буду хворать”. “Вообще я негодный человек”. “Я ни к чему не способен”. “Простите звезды, прости – небо”. “Прости Боже, если Ты можешь”».

Примечательно, что похожий совет дал Розанову и М. П. Соловьев, которому В. В. также описал свою брачную историю: «Вам же паки говорю: оставьте свои мудрования о браке и не играйте христианством как мячиком. Мудрования Ваши неверующих забавляют, христиан смущают и вооружают против Вас».

Ср. в письме И. Ф. Романова (Рцы) Розанову от 29–30 сентября 1891 года, то есть еще при жизни Леонтьева (цит. по статье филолога, историка литературы, краеведа Андрея Дмитриева «“Ущемленный в средостении славянофил” Рцы (И. Ф. Романов) в его неопубликованных письмах к В. В. Розанову»): «“Истина удобопревратна” – о да, о да! В особенности, если искать ее под руководством таких дядек, как К. Н. Леонтьев. Я не всё его читал, но дерзну высказать самоуверенное утверждение, что понимать его я понимаю досконально. Огромный ум, но болезненно-извращенный. На одной его брошюре, присланной мне приятелем, я сделал приблизительно такую надпись: он обладает почти всею истиною, но это маленькое ничтожное “почти” отравляет всё, что у него есть истинного. Вы обедаете. Вам подают великолепный суп – чудо гастрономического искусства, но ваш сосед по рассеянности чуточку сплюнул в вашу тарелку... Впрочем, самую малость... Станете вы кушать суп? К. Н. Леонтьев есть именно тип не свободной, но лукавой Веры. Он опаснее самых злобных атеистов, точно так же как папизм бесконечно хуже безбожия Штраусов, Ренанов et cet.».

Ср. в докладе «О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира»: «Савл не довоспитался до Павла, но *преобразился* в Павла; к прежней раввинской мудрости он не приставил новое звено, пусть новую голову – веру во Христа, нет: он изверг из себя раввинство. Отношение в нем есть именно *Савла* и *Павла*: взаимно пожирающих друг друга “я”».

Ср. в воспоминаниях З. Н. Гиппиус: «Перцов – фигура довольно любопытная. Провинциал, человек упрямый, замкнутый, сдержанный (особенно замкнутый потому, может быть, что глухой), был он чуток ко всякому нарождающемуся течению и обладал недюжинным философским умом. Сам как писатель довольно слабый – преданно и понятливо любил литературу, понимал искусство.

Как они дружили – интимнейший, даже интимничающий со всеми и везде Розанов и неподвижный, деревянный Перцов, непонятно, однако дружили. Розанов набегал на него, как ласковая волна: “Голубчик, голубчик, да что это, право! Ну как вам в любви объясняться? Ведь это тихонечко говорится, на ушко, шепотом, а вы-то и не услышите. Нельзя же кричать такие вещи на весь дом”.

Перцов глуховато посмеивался в светло-желтые падающие усы свои, – не сердился, не отвечал».

Ср. в дневнике Пришвина: «Гениальность его существа в том и состоит, что он попал в какой-то люфт, свободно пристроился между Богом и Дьяволом, и свободно, как ребенок, играет то с тем, то с другим».

Получив это письмо, Розанов сочинил ответ, который до нас не дошел, но известно письмо М. П. Соловьева, в котором он развивает свою мысль: «Любострастная Лилита, богиня искусительница, от которой и халдеи, и евреи защищались заклинаниями до того, что закапывали черепки с ними под порогами своих домов, кружит над Вами... Могучая Лилит веет над Вами своими полупрозрачными покровами. Она ехидно улыбается при Ваших высоконравственных рассуждениях и подозревает, что под этими словами бессознательно скрываются растущие злободейные инстинкты, сожигающие Ваш мозг... Берегитесь Лилиты».

Позднее в письме Флоренскому Розанов отзывался об этом сюжете иначе: «Вы не знаете этого ужасного удушья литературы, когда подлецы и тупицы, когда Соловьев, “танцуя с Лесевичем”, давили всех этих воистину страдальцев за русскую землю, т. е. славянофилов. Я очень низко сделал, что тоже раз лягнул Хомякова. Но и меня переутомило зрелище: “ничего русского не выходит”, все “русское – не удастся”. И хотя я любил все это, но с каким-то отчаянием “махнул рукой”. Э, значит, РОК, тогда пусть СКОРЕЕ все проваливается к черту».

Кому Розанов писал: «Вы пришли в счастливую пору, когда брюсовское “на таких-то зеленых латаниях – тень стен” и проч. Повалило эту “ослиную самость” позитивизма... повалило именно БЕССМЫСЛИЦЕЙ и НЕПОНЯТНОСТЬЮ, но – с МУЗЫКОЙ. Завыл Спенсер в могиле, когда “объявился Балтрушайтис”, люди сняли штаны и стали ходить на четвереньках. “Вот вам позитивизм”. Это было отлично».

«Я ценю Розанова, но и он не вытанцовывается ни во что (боюсь, как бы не оказался *и он* пустоцветом). В самом деле: хотя бы в вопросе о браке: дает ряд глубинных созерцаний (с которыми я не согласен очень часто), бросает их мимоходом, высвечивает то здесь, то там жизнь; две альтернативы: или совокупить прозрения в одно целое, приделать к этому зерну ходы от обыденности, т. е. дать понять и “*малым сим*”, или же молитвенно преобразить себя, на себе показать. А то ведь нельзя же в сотый раз и все в тех же выражениях все то же писать... Брюсов верно пишет мне: “Он (Розанов) прилагает свои откровения, виденные им при ‘сапфирных’ молниях, к вопросу о петербургских мостовых. Не разобрав, в чем дело, он при всяком стечении народа начинает кричать: ‘Что? Пол? Мистическая тайна брака? Центр тяжести в сокровенном месте! Приложение силы в точке деторождения’”. И т. д.».

Ср. в письме Блока Розанову: «Великая тайна, и для меня очень страшная то, что во многих русских писателях (и в Вас теперь) сплетаются такие непримиримые противоречия, как дух глубины и пытливости и дух... “Нового времени”».

«— Что это, голубчик, что это вы сидите так, ни словечка ни с кем. Что это за декадентство. Смотрю на вас – и, право, нахожу, что вы не человек, а кирпич в сюртуке! Случилось, что в это время все молчали. Сологуб тоже помолчал, затем произнес, монотонно, холодно и явственно:

– А я нахожу, что вы грубы.

Розанов осекся. Это он-то, ласковый, нежный, – груб! И, однако, была тут и правда какая-то; пожалуй, и груб».

Ср. также у Дурылина: «Ф. Сологуб был робок, тих, незаметен, всегда “умался” перед людьми... так мало занимал места, что однажды в редакции “Мира искусств” Розанов, ничего не думая, плюхнулся на стул, а оказалось, сел на Сологуба».

Ср. в воспоминаниях Т. В. Розановой: «У нее было несколько рассказов, которые были некогда напечатаны в “Русской мысли” – “Вечернее”, “Безликое” (из жизни в Ельце) и “Сиреневое платье” (последний рассказ в духе Мопассана)».

Ср. в воспоминаниях А. Н. Бенуа: «Отмечу еще, что Розанов, привлеченный в сотрудники “Мира искусства” Философовым, пользовался ограниченным расположением последнего, а между ним и Дягилевым даже существовала определенная неприязнь. Ведь Сергей вообще ненавидел всякое “мудрение”; он питал “органическое отвращение” от философии; в религиозно-философские собрания он никогда не заглядывал... Со своей стороны, и у Розанова было какое-то “настороженное” отношение к Дягилеву. Дягилев должен был действовать ему на нервы всем своим великолепием, элегантностью, “победительским видом монденного льва”. Области светскости Розанов был абсолютно чужд, и, в свою очередь, Дягилев если и допускал в свое окружение лиц, ничего общего с “мондом” не имеющих, а то и самых подлинных плебеев, то все же с чисто аристократической брезгливостью он относился к тем, на которых быт наложил несмываемую печать “мещанства”. А надо сознаться, что именно эту печать Василий Васильевич на себе носил – что в моих глазах, разумеется, не обладало ни малейшим оттенком какой-либо срамоты».

В декабре 1910 года Розанов опубликовал в «Русском слове» небольшой фельетон под названием «Усердствующий Митрофан», в котором высмеял «одного господина, “с благочестивой бородой”, но совсем без головы, невзлюбившего современной русской литературы», который, «скорбя об уничтожении цензуры и надеясь на ее восстановление, много лет посвятил на составление обширного увража, куда занес выписки из “богомерзких” писаний Кузьмина, Арцыбашева, Каменского, Розанова, Горького, Мережковского, Протопопова, Андреева и, кажется, еще многих других литераторов». И дальше: «И его обуяла мысль, что всякое половое вожделение есть “скверна”, – мысль чисто хлыстовская и враждебная церкви, которая признает и утверждает благословением христианский брак. Поэтому он и набрал в кучу совершенно разнородных писателей, заметив у них то общее, что все они разрабатывают проблему пола. Но он не заметил, что в то время, как Каменский, Арцыбашев и некоторые другие услажденно описывают всякие “падения”, и в сущности описывают их хлыстовский “свальный грех”, но только разбитый на отдельные сцены, – другие писатели, как Мережковский и Розанов, стараются поднять к серьезному половую жизнь человека и в этом отношении не имеют другой задачи и другого понимания, чем какое церковь выразила, вводя венчание и утверждая институт брака.

Поистине: “своя своих не познаша”...»

Впрочем, год спустя, когда для Гермогена настали трудные времена, Розанов посетил опального владыку в Ярославском подворье (перед его ссылкой в Жировецкий монастырь) и опубликовал о нем статью в «Новом времени», где акценты были расставлены иначе: «Было страшно слушать, когда епископ Гермоген, с его славою на всю Россию, человек исторический, проговорил мне наивно, именно по детски: “Бывало, прежде чем решишься заговорить в заседании Синода – если что нужно, по чувству говорить свое и особое, то трясутся, трясутся ноги (под столом), прежде чем начнешь...”».

Впрочем, сам Розанов отзывался об Иоанне Кронштадтском очень высоко и посвятил ему несколько апологетических статей в «Новом времени», где, в частности, писал о том, что личность Иоанна Кронштадтского «является одной из самых достопамятных в истории XIX века... Ничего статуеобразного, мертвого не было ни в нем самом, ни в богослужении его...».

Ср. с воспоминаниями дочери: «Мама мне помнится еще молодой, красивой, статной, с прекрасной каштановой косой вокруг головы».

Ср. в дневнике К. И. Чуковского: «В 1905–1906 гг. был литературный салон у Николая Максимовича Минского на Английской набережной в доме железнодорожного дельца Полякова. Поляков (родственник Минского) предоставил поэту роскошную квартиру. Минский поселился там с молодой женой, поэтессой Вилькиной. Вилькина была красива, принимала гостей лежа на кушетке, и руку каждого молодого мужчины прикладывала тыльной стороной к своему левому соску, держала там несколько секунд и отпускала.

Однажды пошел я с нею и с В. В. Розановым на митинг. Когда ей нравился какой-нибудь оратор, она громко восклицала, глядя на него в лорнет:

– Чуковский, я хочу ему отдаться!

Брюсовский “Скорпион” напечатал книгу ее стихов “Мой сад”. Розанов написал к книге предисловие, не читая ее. “Я думал, что книга зовется ‘Мой зад’”, – оправдывался он».

См. в статье Розанова «Литературные симулянты»: «С лицом мертвеца, – соглашаюсь, красивого мертвеца, – и загробным голосом поэт Блок читает о землетрясении в Мессине и связи этого землетрясения... с русскою интеллигенцией. Не совсем об этом, а о том, что чувствует или должна чувствовать русская интеллигенция от землетрясения. Кажется, так. Мысль не была ясна, но было очевидно, что именно землетрясение и именно интеллигенция являются двумя полюсами, куда устремлена мысль Блока или куда устремлены его два глаза, недвижные, испуганные. Публика заглохла от ожидания. Вот мертвец заплачет или завопит. Но мертвец сел на стул, точно в гроб упал. Завопил Д. С. Мережковский. Он вопил или вопиял долго, сложно, непонятно, и на тему, и сверх темы, и через тему, куда попало. Так петух с отрезанной головой не разбирает, в который угол кухни ему скакать. Мережковский казался чрезвычайно испуганным чтением Блока. Казалось, ему отрезали голову и вырвали сердце, и он был полон отчаяния... Друзья, и Блок и Мережковский, что вам Цусима? Что Мессина, – как не лишнее литературное впечатление, вроде того, как северное сияние или гром для Ломоносова, писавшего в стихах: “Утреннее размышление о Божием величии по поводу грома” или “Вечернее размышление по поводу северного сияния”. То же самое, с разницей в оттенках и временах. Мережковский завопил, что от “внутренней Цусимы” у него переворачиваются кишки. Но так как он имеет обыкновение сообщать в газеты, что “выезжает из России” или “въезжает в Россию”, то очень хорошо известно и никто не забыл, что именно в то время, когда еще не настали, но могли наступить “известные события”, – он спокойно брал билет в обществе спальных вагонов с кратким маршрутом: “S.-Petersbourg – Paris”. Друзья мои, что вам до России? Не Мережковский ли, завоеывая или коммерчески приобретая себе левую славу, писал, что “он предпочел бы, чтобы *Россия не существовала вовсе*, если бы он знал, что Россия и свобода – несовместимы”».

«Из “Нового времени” я порывался выйти, особенно когда наступили “события”. Там меня связывает только сам Суворин: тут тоже, пожалуй, слабость: старик меня любит (он далеко не всех или скорее почти всех своих сотрудников не уважает), и это вызывает во мне не то что любовь, но очень ласковое к нему чувство», – писал он Горькому в ответ.

Думаю, что речь идет о Татьяне Николаевне Гиппиус, сестре Зинаиды Николаевны.

Ср. также в дневнике Чуковского: «Он подошел к революции, когда она разыгралась уже вовсю (до тех пор он не замечал ее). Подошел к ней: что здесь случилось? Ему стали объяснять. Но он “мечтатель”, “визионер”, “самодум”, человек из подполья. Недаром у него были статьи “В своем углу”. Вся сила Р[озано]ва в том, что он никого и ничего не умеет слушать, никого и ничего не умеет понять. Ему объясняли, он не слушал и выдумал свое. Это свое совпало с Марксом (отчеркнутые страницы) – он и не знал этого, и отсюда та странная (вечная у Розанова) смесь хлестаковской поверхностности с глубинами Достоевского – не будь у Розанова Хлестакова, не было бы и Достоевского».

Аргументы, конечно, приводились. Так, известно письмо Д. В. Философова Розанову (его цитирует в своей статье «Контурсы жакерии» Е. И. Гончарова): «Я читал Ваш ответ Струве. Он очень убедителен, но совершенно не выясняет дела. Что Вы, как человек впечатлительный, талантливый, многообразный, имеете тысячу разных мнений об одном и том же предмете, это никому не интересно. Это Ваше личное дело. “Широкий человек, слишком широк, я бы сузил!” Но общественность требует целомудрия, потому что в ней человек (все равно гений или швейцар) соприкасается с людьми. Вы как-то писали о половом акте, что он невозможен днем, на улице. Любовники запираются ночью, у себя, и если кто-нибудь постучит в дверь – акт становится невозможным. И нравы полицейские, которые не позволяют людям совокупляться в Летнем саду, на лавочке. Так вот, Ваши “общественные” выступления страшно нецеломудренны, производят невероятно циничное впечатление. Точно Вы ходите по улице с расстегнутыми штанами... Кто Вам возразил? Чуковский, который лежит перед Вами на животе, и как человек большого вкуса любящий “художника” Розанова, и Струве, который первый оценил Вас в прогрессивном лагере, т. е. восстали Ваши друзья. Врагов же Вы даже не задели. Сказать Струве, что он в руку сморкается, Вы не можете, что он не понимает Вас – также. Когда нападают не уличные хулиганы, не люди совершенно неспособные понять Ваше мирозерцание, надо очень подумать. Что же Вы Струве ответили? Ваш ответ можно резюмировать в двух словах: я декадент. Да, Вас(илий) Вас(ильевич), Вы оказались типичным декадентом. Декадентство Вы берете не как данное, которое должно быть преодолено, а как все оправдывающее мирозерцание. Ведь в основе декаденства – субъективизм. Настроение меняющееся ежедневно, вечное прислушивание к собств(енным) ощущениям. Разговор не о предмете, а о впечатлениях. Декадент может быть с годами епархистом (?), завтра черносотенником (sic!), послезавтра сд-ком. “Я всех и ничей”. Но перенесем это в область пола. Ведь и в том логичный декадент не признает никаких норм, кроме своих ощущений. Сегодня две любовницы, завтра три. Однако, как Вы отстаиваете семью, брак, ложе нескверно, сколько жертв Вы принесли этому нескверному ложу!! В браке Ваше декадентство подавлено, и Вы как бы в отместку за “брачное” страдание – разнуздываетесь во всю в обществ(енности), становитесь там подлинным

декадентом, sans foi niloi. И это Вам не простится, потому что главный враг жизни, которую Вы так любите, именно цинизм... Вы цинично утверждаете, что “талант” имеет право быть “декадентом”, сегодня преклоняться, а завтра плевать. Нет, этого права Вы не имеете, если уважаете свое я. Это не настоящая свобода, а капризы вольноотпущенного, прихоти мещанина во дворянстве, цинизм Нерона. Это не достойно Вас, и статьи Ваши омерзительны, не только по своему содержанию, но и потому, что писали их Вы...»

Подробнее об этом в вышеупомянутой статье Е. И. Гончаровой «Контуры жакерии (В. В. Розанов и Мережковские)».

Ср. у Ю. П. Иваска: «Оба они были друзьями. Эта дружба установилась не по “закону ли противоположностей” (которые будто бы сходятся)? Действительно, трудно найти более разительный контраст! Розанов – “гениальный вопрошатель христианства” (Мережковский), полный тоски по Ветхому Завету, искавший и находивший религию “святой плоти”, “святого пола” у древних евреев и древних египтян; о. П. Флоренский – у которого якобы “отсутствовала христология” (по Бердяеву, о. Г. Флоровскому) – был одержим образом грядущего завета Св. Духа и образом Софии (но иначе, чем Вл. Соловьев, о. С. Булгаков и другие богословы и поэты раннего XX-го века). Розанов – беспокойный иудей по натуре, “плотяной” и “душевный” человек; о. П. Флоренский – спокойный эллин, “духовный” человек. Семейному Розанову хотелось уподобиться библейским патриархам, а о. П. Флоренский – это новый гностик, новый Ориген (хотя идеологически он его и осуждал). Розанов – журналист, мало что толком знавший: египтолог без солидной подготовки, нумизмат, покупавший фальшивые монеты, а о. П. Флоренский – замечательный ученый, философ, филолог, математик, физик, даже изобретатель (персонифицированный университет и политехникум!). Розанов – гениальный художник слова; а Флоренский – вычурный стилист, импонирующий немногим. Казалось бы – они противоположны во всем».

Ср. еще у Ильина: «Трагедия России была в том, что этот больной уклон духа нашел себе осуществителей, сторонников и апологетов в составе русской интеллигенции; и то, что Достоевский вскрыл как недуг и язву, было подхвачено и насаждено в качестве духовного достижения. В. Розанов был прав не тогда, когда предавался этому уклону, а когда, обернувшись на свое прошлое, содрогнулся и признал, что его “темы” требуют прежде всего духовной чистоты ока и что он сам только напортил, касаясь их. А между тем за ним брели и доселе бредут еще некоторые круги русской интеллигенции, впервые, однако, устами автора “Диалогов” открыто признавшие сродство этого бесстыдства с бесстыдством революции».

Ср. также у современного поэта Ю. М. Кублановского: «Я не ханжа и не из брезгливых. Но у Розанова о семени, микве, содомии, египет. скотоложестве и проч. не могу читать без рвотного рефлекса. Любопытно, однако, что отцу Павлу все это нипочем. И он словно подливает масла в огонь, точнее, наоборот, гладит Розанова по шерстке, рассказывая об оргиях в Черниговском скиту и о имеющих за монастырскими стенами любовниц монахах. Гибла, гибла Россия, и лучшие из лучших тянули ее туда же» (Новый мир. 2021. № 5).

Имеется в виду галерея портретов русских философов XX века, созданная художником Юрием Селиверстовым.

Судя по всему, здесь в воспоминания Т. В. Розановой вкралась ошибка. Розановы жили в Большом Казачьем переулке с января 1906-го по июль 1909 года, после чего переехали на Звенигородскую улицу, где и происходили описанные далее события.

В 1907 году Розанов опубликовал в «Русском слове» (под псевдонимом В. Варварин) небольшую статью «К заботам о народном здоровье», посвященную распространению сифилиса в русских деревнях. В ней он, в частности, писал: «В Казани несколькими профессорами тамошней духовной академии, с г. Писаревым во главе, издается прекрасный журнал “Церковно-Общественная Жизнь”. Между прочим, под псевдонимом “Бытописатель” в нем помещает свои наблюдения и размышления сельский священник. Ряд статей и озаглавлен: “Из дневника сельского священника”. Прочел я последний его дневник и так и ахнул. Никогда в голову не приходило того, о чем рассказывает и чем затревожился этот священник; а между тем, дело так очевидно, бесспорно и каждый день губит или угрожает сотням и тысячам человеческих жизней, но только не явно и вдруг, а потаенно и медленно. И в какой момент, до чего невинным!

В дневнике от 23 ноября он записывает, что принесли в церковь окрестить шесть младенцев, с ними пришли и шесть кум, шесть кумовьев и шесть бабушек-повитух. Он всех записал в метрики. Вода была уже приготовлена, и он расставил бабушек по порядку: с мальчиками – впереди, с девочками – позади. Но только было приготовился начать крещение, как один из кумовьев подошел и прошептал ему:

– Батюшка, сердись – не сердись, а я с Феклистовым сыном своего крестника крестить не буду. У Феклиста-то и его хозяйки Маланьи носы-то стали проваливаться. Как бы от них и к нам эта болезнь не пристала, в одной-то купели да в одной воде коли будешь всех крестить. На селе-то давно уже все чураются их, сторонятся, значит, из одной посуды с ними не пьют и не едят.

Священник-“бытописатель”, конечно, исполнил его желание: ребенка больных родителей окрестил отдельно от прочих. Но, придя домой, он затревожился: “Ведь я и ранее тех же Феклистовых младенцев крестил заодно с другими, не меняя воды. Да и одна ли Феклистова семья на себе недосчитывает у себя носов? Сам я, хоть и пастырь, берегусь и не угощаюсь в этих домах. А о детях, о крещении и в голову не приходило. И что, если я при первом же таинстве незаметно и незнаемо распространил по селу сифилис”.

Признаюсь, когда я прочел это испуганное признание священника, я моментально и тоже испуганно вспомнил слова знаменитого московского

врача Захарьина. По смерти его печатались разные воспоминания о нем, припоминались слова и мысли, им сказанные, и вот между ними была следующая: “Бедная наша Россия! С горем и страхом смотрю я на нее. Как тело больного лишаем покрывается отвратительными мокрыми пятнами, так я вижу всю нашу Россию покрытою пятнами зловонных заразительных болезней, из которых на первом месте стоит сифилис. В редкой уже деревне кто-нибудь не болен им, а есть деревни и волости, где им заражена четвертая часть населения, половина населения. И болезнь, по законам своим, распространяется неудержимо. Что будет дальше? Народ не понимает. А ведь с сифилисом идет смерть народная, вымирающее, больное и уже с самого рождения своего заражающее потомство”.

Много лет с болью ношу я в душе это изречение Захарьина, но никогда мне не приходило в голову, что, может быть, священники сыграли здесь роковую роль, – сыграли просто по необдуманности, по неоглячивости. Общение в таинствах. Ведь, в самом деле, если на селе есть два-три зараженных сифилисом людей, то от них могут другие уберечься в *остальном обиходе жизни*, но при непременно общении при таинствах болезнь поползет».

В письме Флоренскому Розанов писал: «От зачатия (мать ее “вымолила”, дав обет, у Варвары Великомученицы – в Киеве – и зачала по обету, и беременная ею – ездила (на лошадях тогда) благодарить ее за исполнение. Она б. больна много лет “непрерывным выкидышем”, – и вот “если зачну и доношу – назову для Тебя ‘Варварой’”) – рассказ мне. Она и есть, и я верю “богоданная”».

И не потому ли, к слову сказать, знавшие об этом елецкие иереи согласились нарушить за одну тысячу рублей закон, что чувствовали перед невесткой неизбывную вину?

Ср. в воспоминаниях Т. В. Розановой: «В нашей семье сохранилась фотография архиепископа Иоанна, а на обороте фотографии была надпись моего отца: “Ионафан Архиепископ Ярославский, очень добрый, купил Шуре рояль, прислал через товарища по семинарии чиновника Писарева денег маме, когда она лежала в больнице в тифу, и все время присылал плату за учение в гимназии Шуре. В. Розанов”».

Ср. в «Мимолетном»: «И все-таки на конце всего скажешь: Бедный Герцен. Я его не любил, не люблю. Не уважал, не уважаю. Он чужой мне. Может быть, если бы где-нибудь у него не хватало таланта, я уже любил бы его. Но он был “счастлив, как бог”, а боги мне вообще противны. Так. И не могу забыть его. И где-то на далеком-далеком горизонте всегда будет облачко: “грусть о Герцене”».

Что касается М. О. Гершензона, то он действительно оценил розановскую книгу необыкновенно высоко: «Такой другой нет на свете – чтобы так без оболочки трепетало сердце пред глазами, и слог такой же, не облекающий, а как бы не существующий, так что в нем, как в чистой воде все видно и вместе трепетный, как самое сердце. Это самая нужная Ваша книга, потому что, насколько Вы – единственный, Вы целиком сказались в ней, и еще потому, что она ключ ко всем Вашим писаниям и жизни. Бездна и беззаконность – вот что в ней; даже непостижимо, как это Вы сумели так совсем не надеть на себя системы, схемы, имели античное мужество остаться голо-душевым, каким мать родила, – и как у Вас хватило смелости в 20-м веке, где все ходят одетые в систему, в последовательность, в доказательность, рассказать вслух и публично свою наготу».

Ср. также в «Уединенном»: «Как пуст мой “бунт против христианства”: мне надо было хорошо жить, и были даны для этого (20 лет) замечательные условия. Но я все испортил своими “сочинениями”. Жалкий “сочинитель”, никому, в сущности, не нужный, – и поделом, что ненужный. Церковь есть единственно поэтическое, единственно глубокое на земле. Боже, какое безумие было, что лет 11 я делал все усилия, чтобы ее разрушить.

И как хорошо, что не удалось.

Да чем была бы земля без церкви? Вдруг обесмыслилась бы и похолодела.

Цирк Чинизелли, Малый театр, Художественный театр, “Речь”, митинг и его оратор, “можно приволокнуться за актрисой”, тот умер, этот родился, и мы все “пьем чай”: и мог я думать, что этого “довольно”. Прямо этого я не думал, но косвенно думал.

(14 декаб. 1911 г.).

*

Пусть Бог продлит мне 3–4–5 лет (и “ей”): зажгу я мою “соборованную свечу” и уже не выпущу ее до могилы. Безумие моя прежняя жизнь: недаром “друг” так сопротивлялась сближению с декадентами. Пустые люди, без значения; не нужные России. “Слава литераторов да веет над нами”. Пусть некоторые и талантливые, да это все равно. Все равно с точки зрения Костромы, Ельца, конкретного, жизненного. Мое дело было быть с Передольским, Титовым, Максимовым (“Куль хлеба”): вот люди, вот русские. А “стишки” пройдут, даже раньше, чем истлеет бумага.

(14 декаб. 1911 г.)».

«Я – через 8 лет размышления разгадал тайну христианства, и наконец вот-вот теперь, эти 2 года – *1-й в истории цивилизации разгадал Личную Тайну Иисуса* и узнал 1-й в человечестве: “кто Он” или “Кто он”... Я думаю, это прямо неизмеримо. Таким образом при посредственных способностях и всей слабости девушки; все так сложилось во мне и вокруг меня, что нежность-то и преобразилась в “утонченнейшую ярость”, а кротость – в “храбрость курицы”, кидающейся на повара или Повара, хотящего зарезать ее цыплят. И...

Курица пошатнула весь столб христианства. Я совершенно точно знаю, после моей † сейчас же религия начнет меняться, преобразовываться. Что христианство не выдержит, и не может выдержать “напора” робкой курицы или разъяренной девушки, и когда мне “†”, то в то же время мне победа, а “†” всему теперешнему теизму, ну а с ним и культуре.

Но чтобы все это произошло, нужно было мне быть именно “костромичу”, “простецу”, “девушке”. 1000 и даже 1 000 000 Байронов ничего бы не сделало с христианством. *Не та категория*. Злом Иисуса не укусишь. Но поразительно, что он *от добра* – повалится, и тут раскрывается, что Он – не добр. “Эврика, эврика – он не благ!” Кто первый это открыл – повернул столб мира; кто это 1-й в себе *почувствовал*, ощутил, до великого страдания, но именно в простоте ясной и спокойной души – прямо начал новую цивилизацию.

Вот откуда моя забота “о священническом совете при Епископе”: *не мое поле* – но я и на нем работаю, как христианин, как Микула Селянович, как мужик. Просто – я добрый человек, работающий “и на врагов”. Даже христианам, моим врагам – работаю по крупице. Я-то христианам “устраиваю маленький развод”, устраиваю “совет при епископах”, а христиане, зная, что я религиозный и простой и добрый человек – не могут мне отдать моих 5-х детей, никакого зла им не сделавших, как и я им не сделал никакого зла, а моя добрая жена умела только молиться. “Темный лик” – он в костях моих зазвенел, он в костях моих зажег темное пламя; он потихоньку меня жалел, и наивная (я и наивен) закричала:

– Темный Лик! Темный Лик! Люди, смотрите – среди вас Темный Лик; он только делает вид, что плачет – он ни о чем не плачет, и Ему вы просто все не нужны, вы все жертва Его, бегите от него...»

В статье «Литературные итоги 1907 года», опубликованной в журнале «Золотое руно», Блок писал о Религиозно-философских собраниях: «Образованные и ехидные интеллигенты, поседевшие в спорах о Христе и антихристе, дамы, супруги, дочери, свояченицы в приличных кофточках, многодумные философы, попы, лоснящиеся от самодовольного жира, – вся эта невообразимая и безобразная каша, идиотское мельканье слов». Розанов решил, что под «сваяченицами в приличных кофточках» Блок имел в виду его падчерицу, и ответил поэту гневной статьей. Блок был задет и написал Е. П. Иванову о том, что, «не теряя к нему (Розанову. – А. В.) уважения вообще, не хотел бы подавать ему руки». Ср. также с воспоминаниями актрисы Драматического театра Комиссаржевской В. П. Веригиной: «В одно из посещений Галерной мы нашли Блока взволнованным и рассерженным. Он нам сейчас же показал номер “Русского слова” с ругательной статьей Розанова по его адресу... Александр Александрович, сердясь, говорил: “Это свинство, я не подам ему руки”, и действительно, так и сделал, высказав при этом свое негодование Розанову. Однако тот, как ни в чем не бывало, держал свою руку протянутой и говорил: “Ну вот еще, стоит сердиться, Александр Александрович. Вы задели мою свояченицу, я отомстил вам”». Впрочем, в «Опавших листьях» В. В. вспоминал этот эпизод иначе: «...после оскорбительной статьи о нем, – он издала поклонился, потом подошел и протянул руку».

Современный историк церкви С. Л. Фирсов объясняет эту разницу тем, что священник был назван при рождении Ярославом, но крещен Романом, так как имени Ярослав не было тогда в святцах.

Так, Д. А. Лутохин описывал в дневнике свой разговор с А. М. Ремизовым в 1924 году: «Он рассказывал о Розанове и о болезни Варвары Дмитриевны, что первый муж заразил ее сифилисом – и что наиболее поражена была падчерица В. В. – Александра Михайловна, что сам В. В. не был заражен».

Ср. у Ольги Матич: «Его первый доклад был посвящен древнему иудейскому обряду, согласно которому, в его представлении, молодожены совокуплялись в храме: он предлагал и Православной церкви ввести подобную практику. Это был характерный пример розановской провокации: он предлагал, чтобы после венчания пары оставались в церкви, пока не зачнут ребенка, как бы принимая на веру слова свадебного ритуала, что “брак честен, ложе не скверно”. Объединяя образы Ветхого и Нового Заветов, Розанов так описывает то, к чему приведет подобная практика: “пелена фата-морганы спала бы с глаз мира” и “раздралась бы завеса церковная”. Образ фата-морганы в интерпретации Розанова представляет собой покров иллюзии, заслоняющий от христиан правду половой жизни, а занавес символизирует девственную плеву, которая должна быть разорвана: нужно пролиться крови, дабы восполнить природу. Розанов обращается к стиху Нового Завета, где в момент смерти Христа раздирается завеса в храме, и это символизирует конец старой религии и победу новой. Его выступление было откровенно полемическим: в противоположность христианскому, духовному смыслу разодранной завесы розановский образ обожествляет дефлорацию и половой акт».

Ср. с мнением епископа Антония Храповицкого: «...это наши доморощенные богословы “Нового Времени”, уже открытые нигилисты, отрицатели догматов, будущей жизни, св. таинств, евангельских чудес, всего Ветхого Завета, принципиальные эротоманы, современные николаиты, интеллигентные хлысты, требовавшие на страницах “Нового Времени” таких невероятных вещей, чтобы после таинства брака супружеское совокупление совершалось в самом храме Божием – вероятно, при огромном количестве любопытных зрителей. Я думаю, что если бы для участия на Соборе пригласить в полном составе любую каторжную тюрьму, то она не могла бы в такой степени опозорить нашу св. веру и прогневать Бога, как подобные кандидаты в члены Поместного Собора».

А вот сам Мандельштам Розанова читал. Ср. его письмо В. В. Гиппиусу в 1908 году: «В Париже я прочел Розанова и очень полюбил его, но не то конкретное культурное содержание – к которому он привязан своей чистой, библейской привязанностью».

Ср. в письме Флоренскому от 7 декабря 1913 года: «Я пугливый человек, а испуг лишает сил. Я очень боюсь жидов. Они все захватывают и нас душат. Все, над чем я смеялся у Суворина (“Я боюсь евреев”), – я вижу теперь – правда, и мой смех был молод. Ничего так не жажду, как погрома и разгрома: “Вон, вон! Вон! Убирайтесь, куда знаете”. Никакого другого решения вопроса не может быть».

Ср. также в «Листве»: «“Я в Европе ничего не понимаю, и она мне совершенно не нужна. Не нужно ее христианство, не нужны ее царства, не нужны ее нации. Я – маленький торговец из Финикии. Живу – на время. Мне нужно – обрезание, мои дети и жена, бабушка и прабабушка. И эта вот лавочка, из которой я питаю их всех”. Вот философия еврея. Его философия, его религия и его политика».

В этом смысле прав современный философ и культуролог Андрей Тесля, когда пишет о том, «что эта “философия еврея” является одновременно и актуальным желанием самого Розанова, по крайней мере в той мере, в какой он выразился в тексте – а в нем, согласно ему же самому, он выразился весь, целиком (в чем и видел свой грех). Для Розанова “еврей” тем и страшен, что оказывается способен на практике к тому, к чему должен быть способен “русский”, как надлежит быть устроенной, по крайней мере отчасти, русской жизни – и чего Розанов в ней не находит».

Ср. в «Опавших листьях»: «Может быть, народ наш и плох: но он *наш* народ, и это решает все».

И это общественное равнодушие случилось не в первый раз. Ср. в статье Розанова «Отойди, сатана», опубликованной месяц спустя после убийства Столыпина в октябре 1911 года: «Несчастную и благородную семью Столыпиных точно распинают... Изуродовали 10-летнюю девочку – молчание; убили отца и мужа – молчание; но вот за убитого поднимает голос брат: и ему велят замолчать, ссылаясь на заповедь Христа о любви, которую он обязан теперь исполнить. Почему же “о любви даже и к врагам” (политическим) ничего не говорил в печати Мережковский, ничего не говорила Гиппиус, ничего не говорил Философов, ничего не говорила Соловьева, когда случилось несчастье на Аптекарском острове? Что, изранение 10-летней девочки сказало ли что-нибудь их сердцу? Ничего. “Не наша кровь пролита, все равно”».

Ср. также в «Мимолетном»: «А если бы вдруг “трупик мальчика” нашли у попа во дворе. Если бы его тащил за руку поп?

Еще лучше – монах, схимник, епископ “на покое” и вообще темный человек...

Подняла бы печать трезвон, и показало бы себя русское общество... Нет: показало бы себя “русское общественное мнение”».

Н. В. Розанова цитирует в своем дневнике слова В. В. Гиппиуса, касающиеся этого сюжета: «Когда я узнал о вашем приезде, я очень захотел вас увидеть, чтобы сказать об одном. Это грех моей жизни, это подлость, которую я сделал в жизни... Когда решили Мережковские исключить вашего отца из Религиозно-философского общества, то в их квартире происходили бурные заседания. Я выступал на них. Я говорил, что нельзя из-за политических выходов исключать таких членов, как Розанов. Пусть все, что он говорит, отвратительно, скверно, но его литературное значение от этого не меньше. Он остается как писатель. Я им прямо сказал: “Если бы это сделали Толстой, Соловьев, Достоевский, – исключили бы вы их?” На это Философов сказал, что им необходимо исключить его как вредного члена, что он мешает им для проведения их идей... Знаете ли вы о существовании в Религиозно-философском обществе ордена масонства? Он был основан Мережковским. И вот из-за этого они не могли оставить Розанова».

В этой достаточно хорошо изученной, собравшей обширную научную и ненаучную библиографию истории есть еще одно обстоятельство. Экспертом-психиатром, выступившим в защиту Бейлиса, был не кто иной, как Владимир Михайлович Бехтерев, коего Розанов считал главным виновником своего семейного несчастья. Сыграло это или нет какую-то роль в позиции В. В., утверждать сложно, но факт есть факт, а главное, это еще раз доказывает, как все было запутано, сплетено, будто нарочно подстроено в розановской судьбе.

Ср. в дневнике Чуковского: «Был у Розанова. Впечатление гадкое. Жаловался, что жидаы заедають в гимназии его детей. И главное чем: симпатичностью! Дети спрашивают: – Розенблюм – еврей? – Да! – Ах, какой милый. – А Набоков? – Набоков – русский. – Сволочь! – Вот чем евреи ужасны».

Если учесть, что сын Розанова учился в Тенишевском училище вместе с Владимиром Набоковым, то речь, скорее всего, идет именно о нем.

Впрочем, по свидетельству Аарона Штейнберга, Блок голосовал против исключения Розанова. «Надо сказать, что я был против исключения Розанова, хотя и не голосовал, так как не был полноправным членом Религиозно-философского общества. Я имел право присутствовать на собраниях без права голоса. В той ночной беседе с Александром Блоком я услышал от него самого, что он голосовал против исключения Розанова, так как был тогда склонен к очень отрицательному отношению к евреям. Я рассказал ему очень подробно о своей встрече с Розановым. Блок необычайно заинтересовался этим. Ему несомненно приятно было слышать, когда я сказал, что тоже был против исключения Розанова, сказал об этом его дочери и, кроме того, дал “честное слово”, что приду к ним».

Ср. также с очень интересной записью из дневника М. М. Пришвина 19 января 1914 года (то есть недель раньше, когда состоялось предварительное обсуждение розановского вопроса, но не было кворума): «Собрание Религиозно-философского общества для исключения Розанова. Когда-то Розанов меня исключал из гимназии, а теперь я должен его исключать. Не хватило кворума для обсуждения вопроса, но бойцы рвались в бой: всеобщее негодование по поводу этой затеи Мережковского. Сутолока, бестолочь, какой-то армянин в решительную минуту добивается слова, чтобы сказать: “В Религиозно-философском обществе аплодисменты не допускаются”. Кто-то просит изменить “параграф”. Гиппиус же [молчит] и щурится, изображая кошечку. Карташов взводит очи горе. Мережковский негодует. Вячеслав Иванов настроился на скандал. Чулков говорит об антиномии. Стахович спрашивает, что такое антиномия. Старухи-теософки, курсистки, профессора, литераторы, баптисты, попы, восточный человек, увесистые хайки и честнейшие ученые жида. Теряю всякую способность наблюдать, думать, разбираться, сберегать услышанное, хаос... Всем известно, что Мережковский влюблен в Розанова, и сам Розанов пишет в “Уединенном”: “За что (Мережковский) меня любит?” А вот теперь Мережковский хочет исключить Розанова из Религиозно-философского общества. Возмущение всеобщее, никто ничего не понимает, как такая дерзкая мысль могла прийти в голову – исключить основателя Религиозно-философского общества, выгнать Розанова из единственного уголка русской общественной жизни, в которой видно действительно человеческое лицо его, ударить, так сказать, прямо по лицу. И мало ли еще чего возмущались: говорили, что это вообще не по-русски как-то – исключать и много другое. Какая-то девственная целина русской общественности была затронута этим постановлением совета, и люди самых различных партий, толков и между ними настоящие непримиримые враги Розанова – все были возмущены. Словом, произошло полное расстройство общественных основ этого маленького Петербургского муравейника, где время от времени собираются чрезвычайно разнообразные люди высших интеллигентных профессий. И замечательно, что все эти расстройства общественного во имя самой общественности. Я очень хорошо понимаю Мережковского и лиц его окружения в совете. Понимаю мучительное состояние верующего или страстно желающего верить и в то же время проповедовать в обществе

воистину мертвых (мертвые восстанут, но когда!). Мережковский пытался уже испробовать организацию секций, в которых могли бы собираться более активные люди, подбирая молодежь, но эти секции [лишь только] говорили о Боге, а действия все равно никакого не было, почему? оставляю вопрос до будущего. Но вот настал подходящий случай – дело Бейлиса: вот где, казалось бы, можно высказать. Ожидали, что общество [временно] будет закрыто, но демонстрации не вышло, был до смешного жалкий вечер, где Ветхий завет перепутался с делом Киева, какая-то смесь, винегрет киевской черешни и ветхозаветной смоковницы. А в это самое время Розанов и писал свои наиболее возмущающие общество статьи. Конечно, виноват во всем Розанов, с ним работать нельзя, нужно отделаться. Совет ценою собственного существования поставил вопрос об исключении: если Розанова не исключат, Совет уйдет.

– Розанов тогда может быть здесь первый человек! – сказал Мережковский.

А в это время как раз кто-то крикнул:

– Это у вас от лукавого!

[Возможно], да, но не совсем, я вполне понимаю Мережковского, его душевное состояние и сломанные стулья. Возмущаются просто фактом исключения, но это не просто исключение, это должно быть созидание чего-то похожего на секту. Ведь Мережковский этим отсекает любимейшее существо, Розанова, который сам удивлялся: “За что он меня любит!” Розанов для Мережковского не просто облик Розанова, а “всемирно-гениальный писатель”, какой-то предтеча Антихриста, земля, Пан и мало ли, мало ли что. От всего этого нечистого он теперь отсекается, а члены Религиозно-философского общества возмущаются чисто по-обывательски. Мережковский вообще совершенно не способен быть в жизни, он не человек быта, плоти и крови. Я никогда не забуду одного его спора с социал-демократическим рабочим. В ответ на поставленный ему вопрос о необходимости в человеке сознания своего собственного бессмертия рабочий говорил:

– Накормите меня.

Тогда Мережковский, возмущенный грубостью ответа, вдруг неистово закричал:

– Пададь, пададь!

Это была, конечно, чисто философская “пададь”, то есть то, что падает, умирает, а рабочий принял за настоящую, ругательскую – и пошло, и пошло.

Вот то же происходит и теперь в Религиозно-философском обществе, и

все [наше] общество поступит по законам обычной этики: “падаль”, и не поймет, и не пойдет за Мережковским. Но не будем сильно обвинять обывателей, потому что ясно, в этом призыве Совета не хватает одного, тоже необходимого звена человечества, которое мы назвали бы мудростью».

Ср. в «Мимолетном»: «Да, они необходимы политически, но что же это такое: они придут к вам, изломают вашу мебель, истопчут сапогами ваш ковер, пусть бедный, но все-таки чистенький, а главное – разуются, поставят оба сапога около стула и если заметят, что вы не разделяете их взглядов на Антония Храповицкого или на киевского губернатора, то начнут вас колотить правым сапогом по левой скуле, а левым сапогом по правой скуле. Я патриот, но не желаю до такой степени страдать за отечество. Я желаю, чтобы мой ковер не рвали и мебель оставили в целости (“наши националисты”»).

- Ср. в «Сахарне»: «Вчера с вечера все звонили по телефону: один —
- Это квартира г. Розанова?
 - Да.
 - Кто у телефона?
 - Розанов.
 - Сам г. Розанов?
 - Да.
 - Поздравляю вас с окончанием процесса Бейлиса. Оправдали.
 - Кто говорит?
 - Поздравляю... от лица Шнеерсона...
 - От какого “Шнеерзона”?
 - О котором вы писали в вашей поганой газете.
 - От поганого дурака слушаю».

Ср. в «Сахарне»: «День оправдания Бейлиса. И “мне в нос” (были ссоры) в собственном дому “учащаяся молодежь” поспешила в кинематограф.

Есть “подруги” из евреек.

Я понимаю “кинематограф на радостях”. Но неужели у девушек никакого воспоминания о Ющинском?

Тут-то освещается все явление за 50 лет: и “Цюрих”, и наши там девицы. Все это уже *тогда* не русское движение... В собственных детях иногда я вижу ненавидение отчества. Да и как иначе? – вся школа сюда прет. Радуйся, Гоголюшко. Только не радуйтесь, мои дети».

«— Так вы хотите поговорить о ритуале? Пожалуйста, пожалуйста.

Поглядывая поверх плеча своего собеседника слева, размешивая ложечкой сахар в чае, я старался не разминуться с глазами Розанова. Я вкратце напомнил ему, что он писал о прирожденном вегетарианстве евреев, подчеркнул, что получил хорошее еврейское образование и точно знаю, что в еврейском религиозном обиходе нет и не может быть места для употребления человеческой крови, а потому...

— Такой молоденький, — прервал меня Розанов, — и уже хотите знать все тайны иудейской веры! Да об употреблении крови на Пасху известно, может быть, всего-то лишь пяти или, самое большее, семи старцам в Израиле.

— Так как же вы знаете?!

— Я? Я верю. Да я уверен в ритуале. А как узнал? Носом! И не смотрите на меня так, точно хотите испепелить. Конечно, я верю в ритуал. Помилуйте, как могло быть иначе? На чем держится еврейство целые тысячелетия — без земли, без государственной власти, даже без общего языка, и как еще держится, как сплоченно, как единодушно — этакое без крови невозможно. Я чую эту кровь носом (и в подтверждение он раза два втянул носом воздух и прибавил, как бы наслаждаясь: “Вот!..”). Помилуйте! Оглянитесь кругом! Как это происходит?! Чуть те, кому полагается за этим наблюдать, замечают, что народная сплоченность ослабевает, что единство Иудейского племени под угрозой, вот, как в наше время, так сразу пускается в ход наиболее верное средство: кровь! Чуете?.. кровь замученного, согласно с древним ритуалом, христианского младенца. Ничто не слепляет так людскую глину в твердый ком, как липкая человеческая кровь. Вы этого еще не знаете, а они знают... Посмотрите только, как все стали заступаться за какого-то безвестного Бейлиса... Да и “шабес-гой” не отстают, и прислужники евреев бьют в те же литавры, не исключая вашей “Русской мысли”. В России все плохо, хороши одни евреи... Так надо же кому-нибудь и за правду заступиться и на евреев пальцем указать. Да, я положительно верю в ритуал!

Я слушал Розанова, как во сне, не спуская с него глаз, — неужели действительно он верит? Но почему же чем более горячо и быстро он говорит, тем упорнее избегает смотреть мне в глаза? Неужели боится, что я могу увидеть его насквозь? А он продолжал, ища еще более убедительных

доказательств в пользу своей “веры”, продолжал еще более торопливо и все громче и громче:

– Да посмотрите сами: все наше для вас погано, мерзко. “Трефное”. Вот и вы, хоть и философ, не прикоснулись ни к чему, что моя дочь перед вами поставила. И не смотрите на меня так пронзительно, – сами знаете, что с этим и спорить невозможно. Трефное, так трефное.

Громким возбужденным своим голосом хозяин, может быть, и намеренно, вовлек в наш “диалог” весь стол. Покуда он делился со мной своими разоблачениями, я миг-другой употребил на то, чтобы разобраться в обстановке. Кроме Тани, я успел приметить известного драматического артиста Юрьева и еще одно как бы полужнакомое лицо – человека средних лет в оживленной беседе с молодой особой, похожей на Василия Васильевича, старавшегося одновременно уловить кое-что из разгоравшегося словесного поединка между хозяином и его еврейским гостем. Мое давешнее предположение, подумал я, не столь уже фантастично. Я попал, очевидно, на еженедельное розановское Воскресенье, как редкий “аттракцион”, как участник с еврейской стороны в полу-публичном диспуте о кровавом навете с самим Розановым, и публика, в частности, спорящий с дочерью, надо полагать, старшей, Розанова, господин уже начинает терять терпение... Все это побудило и меня безотчетно повысить голос:

– Ради Б-га, Василий Васильевич! – прервал на этот раз я его, смотря в упор в его водянистые глаза. – Вам же доподлинно известно, что если я не прикасаюсь к ветчине на вашем столе, то это не потому, что стол ваш, а потому, что ветчина – это свинина, да, нечто “трефное”, то есть пища недозволенная по еврейскому ритуалу, вот по тому же ритуалу, который строго-настрого запрещает евреям употреблять в пищу кровь! Вы, Василий Васильевич, ведь сами так хорошо об этом писали! Как же...

У меня чуть не сорвалось: “Как же вам не совестно!” Но я вовремя спохватился. Впрочем, Василью Васильевичу и без моего укора было совестно. Его седая голова как-то неестественно втянулась в плечи, и он растерянно обводил глазами стол. И ему, и мне пришел на помощь тот самый полуседой господин, которому давно, очевидно, хотелось вмешаться в диспут.

– Нет, Василий Васильевич! – пересек он хриплым голосом полстола. – В этом, как вы знаете, я с вами расхожусь. Я тоже не верю в ритуал...

Меня поразила весьма заметная еврейская интонация нового “диспутанта”, а Василий Васильевич почему-то развеселился и тут же, совершенно примирившись со мной, шепнул мне ласково на ухо: “Вы его

знаете? Это Эфрон, автор знаменитых ‘Контрабандистов’...” Именно это почему-то очень смешило Розанова. Автора юдофобской пьесы я видел в натуре впервые, но с детства помнил, какие скандалы были связаны с ее постановкой в Малом театре Суворина. Стало и мне смешно. По многим причинам. Мог ли я когда-либо предположить, что буду сидеть за одним столом с этим злостным юдофобом и что как раз он подаст голос за меня? Но всего комичнее было то, что завзятый юдофоб еврейского происхождения своим картаво-певучим говором как бы издевался над самим собой. Однако творец “Контрабандистов”, ничуть не смущаясь, продолжал:

– И в этом я тоже расхожусь, – особая пища не имеет ничего общего с ритуальным изуверством. Когда я в студенческие годы был старообрядцем, помню, как наши студенты приходили в университет со своей посудой, потому что им претило пить из общеупотребляемых кружек даже воду из-под крана. Вы разве никогда не слышали, Василий Васильевич?

– Ладно, ладно, – смеялся Розанов, – коли вы все против меня: и евреи, и старообрядцы, да и собственные мои дочери, бросим о ритуале. Но о евреях я все-таки доскажу...

Около нас остались лишь Эфрон и Таня. Интерес за столом иссякал. Мое появление не повело ни к какой сенсационной словесной дуэли, ни к какому кровавому бою быков. Но был разочарован и я. Мой первоначальный импульс был понять, с участием самого автора “Темного лика”, “Людей лунного света” и “Введения к Достоевскому” и прочего и прочего, что толкнуло его к столь загадочному самоотречению, но я никогда не ожидал, что услышу от него избитые вариации на затасканные темы Меншикова, нововременного эксперта по жидоедству.

– Нет, – продолжал катиться по наклонной плоскости Розанов, – скажите сами, как это объяснить без всяких ритуалов, что все евреи, как один, только и делают, что поносят Россию на чем свет стоит, не находят в ней ничего решительно хорошего и готовы продать за алтын?.. А у них-то самих разве все так благополучно? Неужели не за что хоть разок, для разнообразия что ли, себя самих поругать?!

– Вот тут, дорогой Василий Васильевич, – воскликнул восторженно создатель “Контрабандистов”, – я с вами совершенно согласен. Евреи страшно самолюбивы, они могут из самолюбия...

– Погодите, дорогой, хотя и вы не “гой”, – прервал Розанов неуклюжим своим каламбуром Эфрона, – дайте досказать. Дело не в еврейском самолюбии, а в их беспримерной настойчивости. Только и думают, как бы поскорее упрочить свою власть над нами... А для этого

нужно добывать деньги какими угодно средствами... Вот прошлым летом я наблюдал в Бессарабии, как еврейские лавочники постоянно обвешивали съезжавшихся на базар мужиков...

– Василий Васильевич! – вскричал я против воли. – Разрешите и мне слово вставить, и как ни разочарован был... [запись обрывается]».

Ср. также в письме Флоренского Розанову 1 февраля 1914 года: «Я спросил нашего крещеного еврея Сергея Федоровича Паперну, как относятся евреи к такому отношению, как у В. В. Розанова и у меня, т. е. с признанием религиозной глубины. Он отвечал: “Разумеется, таких, как Вы, они считают главными врагами. Пуришкевич нападает бессознательно, а Вы подкапываетесь под еврейство сознательно”. И что-то еще сказал, что этого они не простят или что-то в таком роде».

Из стихотворения Арсения Тарковского «Первые свидания».

Так, в книге о Михаиле Булгакове я цитировал письмо его двоюродного брата Константина Петровича Булгакова Надежде Афанасьевне Булгаковой: «Что ты думаешь про дело Бейлиса? Мне кажется, что его обвинят, почему-то такая у меня уверенность. Дело это выбило Киев из колеи. Страшно мне хотелось попасть хоть на одно заседание, но, кажется, это не удастся. Сильно ли им у вас интересуются? Здесь все следят за газетами. Если бы ты вошла теперь в столовую часов в 8 вечера, то ты бы ее не узнала. Нет воплей Лельки, избиваемой Ванькой, исчезли блошки, притихли балалайки. Все тихо. За столом, заваленным газетами, сидят, склонившись, все от мала до велика над Киевской мыслью, Новым временем, Южной копеейкой, Последними новостями, изредка проскальзывают номера Киевлянина, еще реже Двуглавого орла. В доме тихо и спокойно. Дебаты происходят уже за ужином и в то время, когда приходит Миша. Какого ты мнения об экспертизе Павлова? В Новом времени приблизительно числа 18-го, а может и позже, была одна статья, очень остроумная об экспертизе Павлова. Я дал ее прочесть одному лицу, которое было высокого мнения об экспертизе, чтобы посмотреть, какое она произведет на него впечатление. Когда он ее прочел, у него был вид, словно его ударили по морде. Процесс замечателен тем, что в нем масса битого народу. Я сперва начал подсчитывать, насчитал семь человек. Потом сбился и бросил. Сперва поколотили Шаковского, затем он кого-то колотил. Затем Вера Чеберяк била Мифле, а затем в свою очередь он бил ее, причем ее кто-то держал, чтобы она не спряталась, так как Мифле слепой. Потом кого-то били у какой-то канавы. Какое, по-твоему, самое глупое показание? По-моему, Дьяконовой. Больше, по-моему, завратся нельзя. Мне рассказывал один мой товарищ, который был на заседании, как раз когда она говорила, что весь зал сплошь хохотал. Между прочим, он говорил, что в зале суда настроение совершенно иное, чем описывается в “Киевской мысли”, и что ее освещение дела совершенно не соответствует действительности. То же говорит и Миша, у которого некоторые знакомые были там. А слыхала ли ты, почему показания Пранайтиса (?) так неудачны или до вас до Москвы это еще не дошло? А в Киеве ходят уже слухи, что он тоже подкуплен! В общем, тут сейчас весело».

Ср. также в воспоминаниях Д. А. Лутохина, который перечислял гостей розановского дома: «Зак – музыкант, давал уроки детям Розанова, и им как будто увлекалась А. М. Бутягина».

Ср. в письме Ю. Иваска А. Н. Богословскому: «В. В. паук, сосавший кровь семьи, Достоевского, России, всего мира, хр-ва, иудейства, но сам был счастлив, когда мечтал и писал. Розанов – великое разложение до самого конца, и это разложение было не только в нем и в его поклонниках... При наличии паучьего – тут же душевность, сердечность, и это еще ужаснее».

Не только читает, но и пишет. Не исключено, что именно перу Н. А. Вальман принадлежит рецензия на «Опавшие листья», опубликованная в 1913 году в «Историческом вестнике» за подписью Н. Вальманъ. Некоторые исследователи пишут об этом тексте как о рецензии Н. Вальмана, однако слишком много здесь личного, домашнего, говорящего о знакомстве автора с семьей Розанова и с ним самим, что дает основание полагать, речь все-таки идет именно о Наталье Аркадьевне. Приведем ее размышление целиком (в старой орфографии по оригиналу), тем более что оно по-своему высвечивает образ женщины, о которой В. В. наговорил столько резких слов:

«Говорить о книгѣ Розанова – значить говорить объ его душѣ. Въ его книгѣ вылилась его душа; вылилась подлинно, живо, стихійно. Стихійность – только этимъ словомъ объясняется его творчество; такое необычное, такое странное. Я не знаю писателя, чья интимная жизнь такъ непосредственно переливалась бы въ слово, передавалась имъ.

“Я – самый не реализующійся человѣкъ”, сказалъ онъ о себѣ въ “Уединенномъ” и сказалъ глубокую правду. Стремленіе реализоваться, быть свойственно человѣку; природа, стихія никуда не стремятся – она просто есть, таковъ и Розановъ. Его нельзя понять, какъ писателя, не понявъ его, какъ человѣка. Все когда-либо написанное имъ было лишь точной передачей словомъ своихъ душевныхъ переживаній – *каковыми бы они ни были*. Только себя писалъ онъ, хотя бы его слова говорили о церкви, общественности или о половомъ вопросѣ. Тѣмъ выпуклѣе вырисовывается это себя въ глубоко-интимной послѣдней книгѣ. Здѣсь, какъ и въ “Уединенномъ”, Розановъ раскрываетъ свою душу до ея почти несознанной глубины, раскрываетъ ее въ словахъ нѣжныхъ, художественныхъ, иногда тусклыхъ и усталыхъ, но всегда правдивыхъ, – какъ правдива природа, производящая рядомъ колосья ржи и его же глушащій василекъ.

Попробуйте забыть стихійность души Розанова – и придется часто ужаснуться его откровенному цинизму. На страницѣ 279 “Опавшихъ листьевъ” онъ пишетъ: “Я самъ убѣжденъя мѣнялъ, какъ перчатки, и гораздо больше интересовался калошами (крѣпки ли), чѣмъ убѣжденіями (своими и чужими)”. Розановъ беспощадно разбиваетъ путы и старой морали, морали смиренія и самоуничтоженія: “На мнѣ и грязь хороша, потому что это – я” (“Опавшіе листья”, стр. 270); не лучше ладить онъ и съ

моралью новой, утверждающей лишь свою волю, свое “хочу”. Циникъ, – скажетъ хладнокровно читатель. Нѣтъ, циникъ не могъ написать (для Розанова значить перечувствовать) слова: “Только горе открываетъ намъ великое и святое” (“Опавшіе листья”, стр. 321); циникъ не могъ так почувствовать религію:

Тихія, темныя ночи...

Испугъ преступленья...

Тоска одиночества...

Слезы отчаянья, страха и пота труда,

Вотъ ты, религія...

Помощь согбенному...

Помощь усталому...

Вѣра больного...

Вотъ твои корни, религія...

Вѣчные, чудные корни...

(“Уединенное”, 260 страница).

Ну, роль играетъ, интересничаетъ, скажутъ другіе, – и опять не то. Приведенныя выше выписки не могли вылиться изъ души фигляра, – актеру надо угодить зрителямъ, а Розановъ одинаково чуждъ всѣмъ – церкви и позитивистамъ, правой и лѣвой. Онъ чистъ, какъ природа, вѣрнѣе, амораленъ, какъ она, и, какъ она же, не подлежитъ этическимъ категоріямъ. Грѣшныя мысли приходили въ голову и святымъ – только тѣ, *сознавая* ихъ, боролись съ ними; обыкновенные люди *сознательно* же ихъ скрываютъ, а Розановъ, переживая ихъ стихійно, переливаетъ ихъ въ слово, – природа не скрываетъ порождаемыхъ ею гадовъ и ядовитыхъ растений.

Для природы нѣтъ хотѣнія помимо бытія, – для Розанова нѣтъ жизни, не переходящей въ слово. Всѣ мы въ жизни нерѣдко мѣняемъ свое отношеніе – къ людямъ и фактамъ: когда боленъ дорогой для насъ человѣкъ, мы не станемъ слушать Гофмана, который въ другое время доставляетъ намъ громадное наслажденіе. Только мы *сознаемъ* причину, измѣнившую наше отношеніе, – для Розанова не существуетъ этого регулирующаго сознанія, – отсюда его противорѣчивые отзывы объ однихъ и тѣхъ же людяхъ и явленіяхъ, отзывы, принесшіе ему столько тяжелыхъ обвиненій.

Стихія не сознаетъ самую себя; Розановъ, кажется, совершенно лишенъ чувства природы, пейзажъ не затрагиваетъ ни одной струны въ его душѣ.

Тотъ, кому приходилось много бывать на воздухѣ, знаетъ, что въ самой ликующей природѣ, въ ясномъ утрѣ и пѣснѣ жаворонка, въ пробужденіи

свѣжаго лѣса отъ ночного сна – чувствуется какая-то мистическая грусть, грусть увяданія и заката. Этой грустью напоена душа Розанова: “Грусть – моя вѣчная гостья” (“Опавшіе листья”, стр. 164); “Основное, пожалуй, мое отношеніе къ міру есть нѣжность и грусть” (“Опавшіе листья”, стр. 303).

Въ “Опавшихъ листьяхъ” есть портреты членовъ семьи самого автора. Только полной непосредственностью, стихійностью душевной жизни можно объяснить этотъ странный фактъ; для *писателя* – это цинизмъ; для *Розанова* просто само бытіе. Я ими (близкими людьми) живу, – значить, я о нихъ пишу. Для Розанова между жизнью и написаннымъ словомъ, пожалуй, нѣтъ даже простой послѣдовательности во времени, – онъ пишетъ, слушая музыку своей души.

“Опавшими листьями” назвалъ Розановъ свою книгу – но листья еще не пожелтѣли, они на стволѣ, полномъ жизненныхъ соковъ.

Н. Вальманъ».

Ср. в статье С. В. Фомина «Чисто ли твоё око? Григорий Распутин в восприятии Василия Розанова»: «М. Ф. Жербин, записавший рассказываемые его бабушкой (по происхождению лютеранкой) воспоминания, так передавал запомнившееся ему: “Судьба связала с Распутиным и мою бабушку Антонию Августовну. Будучи подругой дочери Карла Фаберже (они вместе учились в художественно-промышленном училище Штиглица), бабушка была приглашена в её дом на вечер, где присутствовал среди гостей Распутин. Во время чаепития Распутин опустил руку в вазочку с вареньем и предложил желающим молодым дамам облизать его пальцы. Желающие нашлись. Посмотрев на мою бабушку, на лице которой было отвращение, Распутин сказал ей: “Что, гордая очень?”».

Мужик

В чащах, в болотах огромных,
У оловянной реки,
В срубках мохнатых и темных
Странные есть мужики.
Выйдет такой в бездорожье,
Где разбежался ковыль,
Слушает крики Стрибожьи,
Чуя старинную быль.
С остановившимся взглядом
Здесь проходил печенег...
Сыростью пахнет и гадом
Возле мелеющих рек.
Вот уже он и с котомкой,
Путь оглашая лесной
Песней протяжной, негромкой,
Но озорной, озорной.
Путь этот – светлы и мраки,
Посвист разбойный в полях,
Ссоры, кровавые драки
В страшных, как сны, кабаках.
В гордую нашу столицу
Входит он – Боже, спаси! —
Обворожает Царицу
Необозримой Руси
Взглядом, улыбкою детской,
Речью такой озорной, —
И на груди молодецкой
Крест просиял золотой.
Как не погнулись – о, горе! —
Как не покинули мест
Крест на Казанском соборе
И на Исакии крест?
Над потрясенной столицей
Выстрелы, крики, набат;

Город ощерился львицей,
Обороняющей львят.
— «Что ж, православные, жгите
Труп мой на темном мосту,
Пепел по ветру пустите...
Кто защитит сироту?
В диком краю и убогом
Много таких мужиков.
Слышен по вашим дорогам
Радостный гул их шагов».

«Есть у Гумилева стих – “Мужик” – благополучно просмотренный в свое время царской цензурой – с таким четверостишием:

В гордую нашу столицу
Входит он – Боже, спаси! —
Обворожает Царицу
Необозримой Руси...

В этих словах, четырех строках, все о Распутине, Царице, всей этой туче. Что в этом четверостишии? Любовь? нет. Ненависть? нет. Суд? нет. Оправдание? нет. Судьба. Шаг судьбы.

Вчитайтесь, вчитайтесь внимательно. Здесь каждое слово на вес – крови.

В гордую нашу столицу (две славных, одна гордая: не Петербург встать не может) входит он (пешая и лешая судьба России!) – Боже, спаси! – (знает: не спасет!) обворожает Царицу (не обвораживает, а именно по-деревенски: обворожает!) необозримой Руси – не знаю как других, меня это “необозримой” (со всеми звенящими в нем зорями) пронзает – ножом.

Еще одно: эта заглавная буква Царицы. Не раболепство, нет! (писать другого с большой буквы еще не значит быть маленьким), ибо вызвана величием страны, здесь страна дарует титул, заглавное Ц – силой вещей и верст. Четыре строки – и все дано: и судьба, и чара, и кара.

Объяснять стихи? Растворять (убивать) формулу, мнить у своего простого слова силу большую, чем у певчего – сильней которого силы нет, описывать – песню! (Как в школе: “своими словами” лермонтовского Ангела, да чтоб именно своими, без ни одного лермонтовского – и что получалось, Господи! до чего ничего не получалось, кроме несомненности: иными словами нельзя. Что поэт хотел сказать этими стихами? Да именно то, что сказал.)

Не объясняю, а славословлю, не доказую, а указую: указательным на страницу под названием “Мужик”, стихотворение, читателем и печатью, как тогда цензурой и по той же причине – незамеченное. А если есть в стихах судьба – так именно в этих, чара – так именно в этих, История, на которой и “сверху” (правительство) и “сбоку” (попутчики) так настаивают сейчас в Советской литературе – так именно в этих. Ведь это и Гумилева судьба в тот же день и час входила – в сапогах или валенках (красных сибирских “пимах”) пешая и неслышная по пыли или снегу.

Надпиши “Распутин”, все бы знали (наизусть), а “Мужик” – ну, еще один мужик. Кстати, заметила: лучшие поэты (особенно немцы: вообще – лучшие из поэтов) часто, беря эпиграф, не проставляют откуда, живописуя – не проставляют – кого, чтобы, помимо исконной сокровенности любви и говорения вещи самой за себя, дать лучшему читателю эту – по себе знаю! – несравненную радость в сокрытии открытия».

«Кстати, знаете ли Вы таинственное слово, какое мне сказал Григорий Распутин? Но сперва о слове Феофана, “праведного” (действительно праведного) инспектора Духовной Академии в Спб. Сижу я, еще кто-то, писатели, у архимандрита (и цензора “Нов. Пути”) Антонина. Входит – Феофан, и $\frac{1}{4}$ часа повозившись – ушел. Кажется, не он вошел, а “мы вошли”. Когда Антонин спросил его: “Отчего Вы ушли *скоро*”, он ответил: “*Оттого*, что Розанов вошел, а он – Дьявол”. Теперь – Распутин: он танцевал, с замужнею, с которою и “жил”, и тут же, при ее муже, говорил об этом: “вот и жена его меня любит, и муж – любит”. Я и спрашиваю его: “Отчего вы *тогда*, Григорий Ефимович, ушли так скоро?” (от отца Ярослава, с женою коего он тоже “жил”, и о. Ярослав тоже “одобрял” это. Тут вообще какая-то Райская история, Эдем “общения жен и детей”). Он мне ответил: “Оттого, что я *тебя испугался*”. Честное слово. Я опешил...

Я помню, он вошел. Я – уже сидел. Ему налили стакан чаю. Он молча его выпил. Положил боком на блюдечко стакан, и вышел, ни слова не сказав хозяевам или мне. Но если это – *так*, если (он) не солгал в танцующей богеме, притом едва ли что знал (наверное – *не* знал) об Аписах и Древности: то как он мог, *впервые в жизни* меня увидев и не произнеся со мною даже одного слова, по одному *виду, лицу* (явно!) определить *всего* меня в ноуменальной глубине, – в той *глубине*, в *какой и сам* я себя не признавал, особенно – не признавал еще тогда. Я знал, что реставрирую Египет; все в атласах его (ученые экспедиции) было понятно; я плакал в Публичной Библиотеке, говоря: “да! да! да!” Так бы и я сделал, нарисовал, если бы “пришел на мысль рисунок”, но “самого рисунка не было на мысли”, не было *дерзости в моей мысли, смелости, храбрости* выговорить: а *чувство* было уже... даже и до поцелуя Аписовых яиц. То вот – Гришкин испуг: не есть ли это уже Гришино Чудо. Чудо – *ведения, уже – сквозь землю*, и скорее – моего *будущего*, нежели (тогда) моего “теперешнего”. Согласитесь сами, что это напоминает или вернее что это “истинствует” “сану Аписа” в его какой-то вечной истине. Т. е. что я + Гришка, Гриша + Апис есть что-то “в самом деле”, а не миф».

«4 девушки, две курсистки, 1 учительница музыки, и 1 “ни то, ни другое”, но симпатичнее всех на свете курсисток, и даже еще одна, уже пятая, и “почти одна”, на Кавказе (никогда меня и не выдавшая) хотели “отдаться” мне, отдавались мне, на почве лишь безграничного моего к женщинам уважения, на почве в сущности той, что я сам на женщину смотрю, ее почитаю и чту, как Аписиху. Причем 1 видела меня только один раз, была лесбийски связана с другою благороднейшею девушкою; и она, эта девушка, с которою она была связана, сама оставила меня “для ласк” с нею, и она меня стала “ласкать”, а потом и совокупилась со мною, когда “он встал”. Не чудо ли это, не сущее ли чудо? Чудо близости какой-то ноуменальной. И клянусь Вам, – о, слишком клянусь: из 4-х или даже пяти – не было ни единой сколько-нибудь развратной, сколько-нибудь распущенной, сколько-нибудь “позволяющей себе”... “все наши наслаждения” сводились к solo: “половые прикосновения”. Ни – любви, ни – “объяснений”. И вместе: и – любовь, и – нежность. В основе, на дне: безграничное мое уважение».

Ко всему этому можно добавить размышления Зинаиды Гиппиус, которая едва ли была осведомлена о личной жизни философа в 1910-е годы, когда их отношения фактически сошли на нет, но тем не менее понимала и чувствовала Розанова очень хорошо: «На ревнивых жен Розанову везло. Ну, та, первая, подруга Достоевского, – вообще сумасшедшая старуха; ее и нельзя считать женой Розанова. Но настоящая, любящая и обожаемая “Варя”, мать его детей, женщина скромная, благородная и простая – тоже ревновала его ужасно.

Ревновать Розанова – безрассудство. Но чтобы понять это – надо было иметь на него особую точку зрения, не прилагать к нему обычных человеческих мерок.

Ко всем женщинам он, почти без различия, относился возбужденно-нежно, с любовным любопытством к их интимной жизни. У него – его жена, и она единственная, но эти другие – тоже чьи-то жены? И Розанов умилялся, восхищался тем, что и они жены. Имеющие детей, беременные особенно радовали. Интересовали и девушки – будущие жены, любовницы, матери. Его влекли женщины и семейственные – и кокетливые, все наиболее полно живущие своей женской жизнью. В розановской интимности именно с женщиной был еще оттенок особой близости: мы, мол, оба, я и ты, знаем с тобой одну какую-то тайну. Розанов ведь чувствовал в себе сам много женского. “Бабьего”, как он говорил.

(Раз выдумал, чтобы ему позволили подписываться в журнале “Елизавета Сладкая”. И огорчился, что мы не позволили.)

Человеческое в женщине не занимало его. Ту, с которой не выходит этого особого, женского интимничанья, он скоро переставал замечать. То есть начинал к ней относиться, как вообще к окружающим. Если с интересом порою – то уже без специфического оттенка в интимности.

Смешно, конечно, утверждать, что это нежно-любопытное отношение к “женщине” было у Розанова только “идейным”. Он входил в него весь, с плотью и кровью, как и в другое, что его действительно интересовало. Я не знаю и знать не хочу, случалось ли с ним то, что называют “грехом”, фактической “изменой”. Может быть, да, может быть – нет. Неинтересно, ибо это ни малейшего значения не имеет, раз дело идет о Розанове. И сам он слишком хорошо понимает – ощущает – свою органическую верность.

“Будь верен человеку, и Бог ничто не поставит тебе в неверность.

Будь верен в дружбе и верен в любви: остальных заповедей можешь и не исполнять”.

В самом деле, можно ли вообразить о Розанове, что он вдруг серьезно влюбляется в “другую” женщину, переживает домашнюю трагедию, решается развестись с “Варей”, чтобы жениться на этой другой? О ком угодно – можно, о Розанове – непредставимо! И если все-таки вообразить – делается смешно, как если бы собака замурлыкала.

Собака не замурлычет. Розанов не изменит. Он верен своей жене, как ни один муж на земле. Верен – “ноуменально”.

Да, но жена-то этого не знает. Инстинктом любви своей, глубокой и обыкновенной, она не принимает розановского отношения к “женщине”, к другим женщинам. У нее ложная точка зрения, но со своей точки зрения она права, ревнуя и страдая.

Розановская душа, вся пропитанная “жалением”, не могла переносить чужого страдания. Единственно, что он считал и звал “грехом”, – это причинять страдание.

“Хотел бы я быть только хорошим? Было бы скучно. Но чего я ни за что не хотел бы – это быть злым, вредительным. Тут я предпочел бы умереть”.

Что же ему делать, чтобы не видеть страданий любимой жены? Измениться он не может, да и не желает, так как чувствует себя правым и невинным; страданий этих не понимает (как вообще ревности не понимает – никакой), но видит их и не хочет их. Что же делать? И он при ней из всех сил начинает ломать себя. Боится слово лишнее сказать, делается неестественным, приниженно глупым. Увы, не помогает. Во-первых, он, бедненький, не мог угадать, какое его слово или жест окажутся вдруг подозрительными. А во-вторых, ревновала его жена к духу самому, к неуловимому; в жесте ли, в слове ли дело? Не понимая, не угадывая, что может ее огорчить, он даже самые невинные вещи, невинные посещения понемногу начал скрывать от жены. На всякий случай, – а вдруг она огорчится? Чтобы она не страдала (этого он не может!), надо, чтобы она не знала. Вот и все.

В “секреты” розановские были, конечно, посвящены все. Он всем их поверял – вместе со своей нежностью к жене, трогательно умоляя не только не “выдавать” его, а еще, при случае, поддержать, прикрыть, “чтобы она была спокойна”.

Он действительно заботился только о ее спокойствии; о себе – как бы по неловкости не “согрешить”, т. е. недостаточно уверенно соврать. Ведь – “...я был всегда ужасно неуклюжий. Во мне есть ужасное уродство

поведения, до неумения ‘встать’ и ‘сесть’. Просто не знаю, как. Никакого сознания горизонтов...”

Очень прямые люди нет-нет и возмутятся: “Василий Васильевич, да ведь это же обман, ложь!” Какое напрасное возмущение! Прописывайте вы человеческие законы ручью, ветру, закату; не услышат и будут правы: у них свои.

“Даже и представить себе не могу такого ‘беззаконника’, как я сам. Идея ‘закона’ как ‘долга’ никогда даже на ум мне не приходила.

Только читал в словарях на букву Д. Но не знал, что это, и никогда не интересовался. ‘Долг выдумали жестокие люди, чтобы притеснять слабых. И только дурак ему повинуется’. Так, приблизительно...

Только всегда была у меня Жалость. И была благодарность. Но это как ‘аппетит’ мой; мой вкус.

Удивительно, как я удеывался с ложью. Она меня никогда не мучила... Так меня устроил Бог”.

“Устроил”, и с Богом не поспоришь. Главное – бесполезно. Бесполезно упрекать Розанова во “лжи”, в “безнравственности”, в “легкомыслии”. Это все наши понятия. Легкомыслие? —

“Я невестюсь перед всем миром: вот откуда постоянное волнение”.

Дайте же ему “невеститься”. Тем более что не можете запретить. Наконец, в каком-нибудь смысле, может, оно и хорошо?»

Ср. в «Мимолетном»: «Вчера весь день провалялся, t°39. Растирания и прочее. Помогло.

Сегодня Таня подбегает к кровати и, обвивая руками шею, спрашивает:

– Ну как мой КУКЛЮЧИК поживает?

Что за филология.

– Как, Таня? Что такое?

– Куключик. П. ч. вы с мамочкой КУКУЛЕЧКИ. Самые маленькие наши деточки».

Ср. ее продолжение: «Только в глубокой старости можно вспоминать дни детства и юности, смакуя былые наслаждения. И Розанов, мистик Розанов, в котором были гениальные прозрения, обожествляет блага и радости этой жизни, поклоняется семейному благополучию, с детским вождением смотрит на сладость варенья и незаметно скатывается к апологии обыденности и мещанства. Благополучную жизнь натурального рода он отождествил с миром. Он хотел бы окончательно обожествить жизнь натурального рода. Но мы видели уже, что этот дорогой Розанову “мир” весь подчинен закону тления, а Розанов не в силах умереть так, как умирали Авраам, Исаак и Иаков, благословляя потомство свое, в нем нет такой силы безличности, хорошей лишь для той мировой эпохи; даже он не согласится жить лишь в потомстве своем, и он глубоко задет последующими фазисами мирового религиозного откровения, и его кровь отравлена Иисусом Сладчайшим. Реставрация никогда ведь не бывает тем, что она реставрирует».

Подробнее об этом в нашей книге «Григорий Распутин-Новый» в серии «ЖЗЛ».

В этом смысле очень характерен фрагмент из воспоминаний Н. В. Розановой: «За обедом папа, сидя, как всегда, с поджатой ногой, внезапно требовал внимания. Мы уже знали, в чем дело. Это было очередное папино “изобретение”. Хитро прищурившись, сопровождая движения полупшепотом, папа при помощи вилки, солонки, перечницы и прочих приборов строил хитроумную ловушку, в которую, по его расчетам, должны были попасться, по крайней мере, несколько сот немцев одновременно. Они всегда были чрезвычайно просты и убедительны, и мы, дети, волновались, что папа не спешит заявить об этом куда следует. Не проходило обеда, чтобы папа не придумал чего-нибудь нового. Кажется, все его мысли переключились на тему “изобретательства”».

Примечательно, что Розанов эти читательские нелицеприятные отзывы в своих будущих книгах использовал, сопроводив кое-где собственными комментариями. Так, он процитировал не только письмо Флоренского, но также отзыв читательницы, написавшей еще более жестко: «Эх, Василий Васильевич, что же это такое? Ваше “Уединенное” и “Опавшие листья” своего рода откровение, последняя степень интимности, вовсе уж не литература, живые мысли и живые переживания человека, стоящего над толпою. Когда я увидела в магазине новый томик “Опавших листьев”, я так и вцепилась в них, думала снова встретить в них то же. Я думала, что эти опавшие листья так же нежно и тонко благоухают, как и первые. Но в этот короб, Василий Васильевич, кроме листьев нападала высохшая грязь улицы, разный мусор, такой жалкий. Со страниц исчезла интимность, общечеловечность, ударились Вы в политику, таким размахнулись Меншиковым, что за Вас больно и стыдно. И жирным шрифтом “Правительство”, и еще жирнее “Царь”... К чему это, что за... лакейство. Я нисколько не сочувствую “курсихам”, я дочь генерал-лейтенанта, революцию ненавижу и деятелям ее не сочувствую, но к чему же такое усердие? Кроме того, когда Вы пытаетесь защищать Аракчеева (люблю. – В. Р.) и пинаете ногою трупы революционеров (ненавижу. – В. Р.), у Вас чувствуется на губах пена. Это уже не интимный философ, а публицист из “Русского Знамени”, да еще из крещеных жидов, т. е. наиболее пылающих патриотизмом. Кроме этих страниц (поистине позорных), да писем честного и незначительного друга, да ненужного указателя – в последней Вашей книге что же имеется? Куда девались острые мысли и яркие образы первых двух томов? Кроме двух-трех страниц (например, определение любви) все остальное с трудом помнится. Но грустно не то, что в книге мало интересного матерьяла, – грустно то, что в ней есть матерьял, совершенно неприемлемый для человека литературно чистоплотного. Во время чтения первых книг чувствуешь между собою и автором какую-то интимную связь “через голову других”, веришь этому автору – Розанову “с булочной фамилией”, веришь, что он мудрее всех мудрецов, имеет какое-то право взглянуть свысока на фигуры самых признанных авторитетов. При чтении Второго короба совершенно исчезает это чувство: точно человек, которого считал великаном, слез с ходулей: маленький, завистливый, злобный, неискренний, трусливый человек. И становится стыдно, что еще

недавно готова была этому “обыкновенному” развязать ремень у сандалий. Падение заметно даже в посторонних темах. В первых книгах поражает и восхищает любовь к “погибшей мамочке”, это настроение и цельной и огромной грусти, тоски, одиночества. Короб 2-й и это чувство расхолаживает, и становится ясно, что жаль ему не самой мамочки, а жаль себя, жаль той теплоты и ласки, что исчезли вместе с мамочкой, жаль мамочкиной любви, а вовсе не самое мамочку. Да и сам образ “мамочки”, как он потускнел, отяжелел, оматерьялизировался по сравнению с “Уед.” и “Опав. лист.”. И если после официального “провала” *Уед.* и *Оп. Листьев* думалось с грустью, что улюлюканье толпы положит предел, не даст Розанову продолжать этот прелестный род художественного творчества, то обещание во Втором коробе, что это будет короб последний, наполняет сердце благодарностью. Ибо если первые книги были, действительно, “замешены на семени”, то 2-й короб замешен на сукровице нечистых язв. Трудно себе представить, что между этими книгами прошло не более года: так постарела, отяжелела, съежилась мысль, так побледнели краски, так притупилось остроумие. Это не Розанов, а кто-то “под Розанова”, это тоже не литература, но уже с другой стороны. Если бы я была очень богата, я скупил бы все издание и сожгла бы и закупила бы все издания вперед, – не потому, чтобы думала, что неталантливый “короб 2-й” был кому-нибудь вреден, а из уважения к “Уед.”.

А. Данилевская

Если хотите ответить (не думаю, чтобы захотели), пишите 28-е почт. отделение, до востребования А. М. Д.».

Ср. в «Мимолетном» как штрих к розановским методам воспитания дочерей: «В это именно лето я ее жестоко наказал, и “извини, Варя” – до сих пор стоит в душе моей.

Было так. Сижу наверху и пишу, как теперь помню, “Афродита – Диана” для “Мира Искусства”. И вот – одушевленнейшая страница... Вдруг снизу роковой крик...

“Не даст кончить”, “не даст кончить”, “вот хоть бы это место, мысль, полет *сейчас*”...

Крик сильнее. Из окна кричу:

– Варя, замолчи.

Еще сильнее. Визжащий, как металлический свисток парохода, в одну ноту – “А-а-а-а”... Без слез и только раздосадованный “на всех”...

Я уже знал, что этот свисток нельзя унять.

Напряг всю волю: в ухо, в голову, в мозг лезет этот ужасный, чудовищный крик Варьки, из-за которого раза три к нам прибегали соседи (немцы) и на скверном немецком языке что-то кричали, что переводила бонна. “Уймите же ребенка”. “Отчего он у вас постоянно кричит”, “верно вы его истязуете”... “Истязуете”...

Это она из нас кровь пила этими криками, смысл которых очень хорошо понимала (“измучу всех”). Поднимала она этот крик, просто когда что-нибудь не по ней или дадут самую легкую шлепку.

И вот, собрав все силы, с “свистком” (крик) в ушах, – я “спокойным, полным достоинства тоном” дописываю о греческих и римских богах и правдоподобном их смысле.

“Одолеl Варю. Кончил”. Но в душе встала месть (за трудность так писать). И быстро я побежал по лестнице вниз.

Видно, лицо мое было яростно, потому что и мама бросилась ко мне (оттолкнул), и Варя сейчас замолчала.

– Не бей! (мама).

Могуче дернув Варю за ручонку, я взял ее на руки за живот и понес в комнату.

– Я, папа, не буду.

Спустил, “что следует”, книзу, бросил на кровать лицом вниз и стал своей страшно тяжелой (мясистая, какая-то могучая) рукой бить по известному месту.

Бью, бью...

Еще бью...

Опять бью...

Варя в муке, я в муке. Я был взбешен. Совершенно взбешен. “Кровопивица ты наша”, – стояло у меня в душе. Она была действительно кровопивица. Метод “кричать” с 4-х лет у нее продолжался приблизительно до девяти лет: и никогда никто не мог с нею справиться».

Ср. в письме Флоренского Розанову от 3–4 июля 1913 года: «У Ваших в посл. время бываю редко очень, очень, очень занят. Кажется, у них жизнь идет тихая и ровная, без “историй”. Дух чувствуется более здоровый, чем был в СПб. Одно досадно, Шура (и, очевидно, другие) ругают все монахов вифанских такие мол и сякие. А всего-то любят иногда выпить да закусить, а кое-кто приволакивается за горничными. Не всем же быть в лике преподобных! А чтобы расцвести одному цветку, как преп. Серафим, надо унавозить землю тысячами и десятками тысяч таких “вифанских” монахов. И на том им спасибо. Впрочем, они ведь не то, что язва Церкви ученое монашество. Они зла никому не причиняют, а просто погружены в растительную жизнь. Право хорошо, что есть кому чистить храм, петь на клиросе, служить в церкви, содержать гостиницу и... доставлять маленькие развлечения приезжим горничным. А что аскетизма особенно нет кое-кому и лучше: не выдумают именославия! Таня пополнела, хотя бледновата. Вера выглядит чуть чуть менее философичной и держит себя немного проще. Надя, кажется, слегка скучает, – у нее нет подруги подходящей. Зато Вася живет, кажется, больше при речке и озере, чем дома».

Ср. в письме Ю. Иваска А. Н. Богословскому, где, размышляя о розановских дочках, поэт пишет: «Центральна бедная Вера. Могла бы быть балериной, подвижницей или игуменьей. Огромное честолюбие и властолюбие, но и честность перед собой. М. б. ее мучило безверие.

Вся семья слагается в какой-то миф. Цветаева (а не Белый, символисты) поняла бы этот миф.

Высокое, но и всегда какой-то духовной волчанкой разъединенное вдохновение отца, сложный “поповский” надрыв от матери, тень ее первого безумного мужа: все это собралось в один больной нервный узел, неизлеченный благодатью».

«Монашество, где “первые” и остаются “первыми”, а “последние суть последние”, – есть полное восстановление древнего фарисейства на новозаветной почве. Именно – фарисейства девственности и девства, не розового и юного, естественного в свой возраст каждому существу, а девства как постоянного, неразрушимого состояния, девства желтых старцев и пергаментных старух... Завет и стимул монашества есть “погубление всего человеческого рода”».

По собственной воле (*лат.*).

Ср. также в «Мимолетном»: «Вся улыбалась, – такая милая, – она – никогда не была так прелестна, как в этом “больше ее ростом” шерстяном теплом платке и в “рясе” (широкий подол, широкие рукава) на вате, почти до полу. Барышня, где ты! – Я человек... “На новый год” (мои именины) она настояла, чтобы “наконец отправиться в монастырь”. Отпустили. Я не напомнил, что “завтра именины папы и брата”. Только что кончила гимназию Стоюниной. Никакой “разбитой любви” сзади. Дружила с одной “Марусей”, – еврейка – лютеранка. Никакого мужского общества. Читала по философии, истории религий и несколько меньше по истории литературы. Что ее толкнуло? Но ее – влекло».

Ср. в воспоминаниях Т. В. Розановой: «Когда я была в шестом классе, мы опять ездили в Киев. Город был очень красив, весь в зелени. Остановились мы в общежитии, недалеко от музея... Ночью, разговаривая между собой обо всем виденном, я впервые услышала критику на правительство, что оно притесняет украинский народ, заставляя в школе вести уроки на русском языке».

Так, летом 1913 года Розанов писал дочери Татьяне из Сахарны в Сергиев Посад: «С Александровыми будьте похолоднее и держитесь подальше. Они очень навязчивы, везде и ко всем лезут, но это страшно фальшивые люди. И маме и папе вашим они в старые годы причинили много горя, – не уплачивая денег за статьи».

Здесь и далее цитаты из мемуаров и дневниковых записей Н. В. Розановой, относящихся к 1917–1919 годам, приводятся по вступительной статье Е. В. Ивановой к публикации последних писем Розанова в журнале «Литературная учеба» за 1990 год.

Тут, впрочем, есть одна неясность. В «Розановской энциклопедии» говорится о том, что «в доме был водопровод, теплый туалет, ванная. Вода подавалась ручным насосом из колодца». Однако нигде, ни в письмах Розанова, ни в воспоминаниях дочерей, об этих удобствах ничего не говорится, зато часто речь идет о необходимости носить воду и выносить судно.

Ср. в дневнике Меншикова в 1918 году: «Вчера в “Вешних водах” прочел статью Голлербаха о Розанове и поражен был многими параллельными чертами наших биографий.

Он

Я

Происходит из духовенства

Тоже

Отец его был мелкий чиновник

Тоже

Мать из дворян Шишковых

Тоже из Шишковых

Гордилась своим дворянством

Тоже

Была сурова с детьми и заботлива (и волевого характера)

Тоже

Глубокая бедность в детстве

Тоже

Читал “Училище благочестия”

Тоже

Шел в отворенную дверь, не делал выбора

Тоже

Чувство бесконечной слабости

Тоже

Отвращение к школе

Тоже

Отношение к христианству

Тоже

Служба [на] Государственной службе 13 лет

Тоже

Его вытащили (Страхов)

Тоже (Гайдебуров)

Не сразу привился

Тоже

Работа в “Новом времени”

Тоже

И годами мы почти однолетки (он на 3 1/2 года старше меня), и даже некоторые мелочи удивительны: Перцов, одно время увлекавшийся мной и затем им. У него пятеро детей и у меня. У него жена за вторым мужем и у меня. У него жена с дочкой от 1-го мужа и у меня. У него друг О. А. Фрибес – и у меня, и т. д. Литературно мы очень не схожи, но есть и поразительные совпадения без заимствования. Я думаю, он обострил свой гений и затемнил его умышленным натаскиванием себя на оригинальность. Сначала хотелось быть особенным, выдвинуться из толпы, быть замеченным. Это некрупный бес, но все же нечистый, и поселившись в человеке, он овладевает душой прочно до психоза. Голлербах говорит, что психиатры считали Розанова полусумасшедшим и что он психопат. Обо мне я не встречал таких мнений – наоборот, почти все меня считают умным, рассудительным человеком, и сам я считаю себя рассудительным тоже до своего рода психоза – до резонерства. Зато меня гораздо реже называют гениальным и великим (хотя называли! И даже писатели сами талантливые, как А. С. Суворин или одесский теософ Е. Е. ...). Несмотря на то, не завидую ему. Читаю – т. е. начинаю читать Розанова всегда с интересом, но редко оканчиваю с удовлетворением. У него диссоциация мысли, раскрытие ее с разложением, как у некоторых сильно реагирующих металлов (например, калий). Или, подобно сере и фосфору, мысль его изомерна, имеет не только кристаллическое (как у меня) строение, но и аморфное. Неужели мы с Розановым совершенно будем забыты? Он – нет, хотя бы ради психопатического своеобразия, я – да, ибо просто небездарными публицистами хоть пруд пруди».

Опять-таки схожие мысли бывали у Розанова и раньше. Ср. в книге «Около церковных стен»: «Новый Завет относится к Ветхому, как смерть – к зачатию, или похороны – к рождению, или монастырь – к семье». Ср. также в воспоминаниях А. Н. Бенуа: «...вообще он к Христу и к христианству питал какое-то “недоверие”, почти что неприязнь. Все подлинное, все важное для жизни, все ответы на запросы духа, крови и плоти он находил в Библии, в Ветхом Завете, а когда ему указывали на “моральные преимущества” христианства или на реальную благодать, дарованную Отцом в Небесах через жертву, принесенную Его Сыном, Василий Васильевич сердился и со страстным убеждением цитировал из Ветхого Завета то, что он считал за “эквивалент” христианских принципов. Я, однако, не вполне уверен в том, что Розанов так уж досконально изучил Библию, и в нескольких случаях эти его ссылки или его превозношения были импровизациями, исполненными, впрочем, всегда яркостью и заразной вдохновенностью. Чего в нем, во всяком случае, не было ни в малейшей степени, это какой-либо схоластичности или расположения к жонглированию парадоксами. Для него Ветхий Завет (и даже самые ритуальные или законодательные его части) представляли собой неиссякаемые источники животворящей силы. Моментами в этом проглядывало даже нечто суеверное. А пожалуй, дело обстояло и так: в душе его жила какая-то своя Библия, свой Завет, и из этой своей *личной* сокровищницы он и черпал свои наиболее убедительные доводы, свои чудесные прогнозы, а также свои, иногда довольно лукавые и язвительные возражения. Спорить с ним было так же трудно, как трудно было спорить ученикам Сократа со своим учителем. Я, впрочем, лично с ним и не спорил и всегда предпочитал “его слушать”; напротив, охотно вступали с ним в спор Зиновья Гиппиус, П. П. Перцов, Тернавцев».

Публикатор переписки Розанова и Измайлова А. С. Александров приводит в комментариях высказывание Розанова о Проппере в письме Измайлову 1909 года: «Вы знаете, что я евреев почти люблю и никак от русских их не отделяю: но единичный из евреев, “уже не еврей”, интеллигент-Пропер, богач-Пропер, либерал-Пропер, чуть ли не приват-доцент Пропер – мне совершенно и единственное в литературе лицо – не переносим».

Ср. продолжение этого письма: «Я переехал в Сергиев Посад, Московской губернии, Красюковка Полевая улица, дом священника А. А. Беляева.

Выпуск 6–7 задержан на месяц или на два в виду ареста Куприна в Москве, и в виду моего “контр-революционерства” тоже в 6–7 выпуске.

Все это письмо можете опубликовать, Александр Алексеевич, как равно и перепечатать, всего бы лучше как бывало делалось с Тэффи и вообще “видными людьми”, сразу, т. е. одновременно в газетах Вашей и у Пропера. Яйца теперь 9 рублей десятков, мясо есть свежее, прекрасное по 8 р. фунт.

Господи, если бы вступился за меня могучий Пропер: ведь он как и Сытин – гениальный человек. Правда, ведь он меня знал когда-то (на обороте листа). Когда-то мы ехали с ним, в его чудной коляске пара в дышлах, через мост на Неве с дачи загородной И. И. Ясинского: и так было приятно именно “могуче ехать”, т. е. лошади не устали, не извозчикья кляча. Родной мой, поезжайте к Проперу. Поезжайте, поезжайте сейчас. Выпросите у него, у жены его, у дочери (очень милая, я раз видел в театре!!) 2 фунта кофею, 2 фунта цикорию, 4 фунта сахара, 1 фунт какао (безумно хочется какао). Господи: да ведь я могу и мяса попробовать, и яичек купить теперь: что ему стоит, целому Проперу выслать “Розанову целую тысячу рублей аванса в счет будущего сотрудничества в Биржевых Ведомостях”, для коего никаких теперь препятствий нет в виду целого апокалипсического переворота, прежде всего совершившегося-то в моей душе. Может быть именно – “судьба”. Саша, поезжай! Клодина, уговори своего чернокудрого Александра.

Милый Саша: пусть в мудром уме своем Пропер сам “обдумает меня”, я ему совершенно, вполне доверяю.

И вот что еще, Саша. У меня есть никогда не виданный мой друг, футурист – еврей – и страшный “русский патриот” (да! да!) Виктор Ховин. Съезди к нему: передай поклон – горячий, горячий от меня. Он имеет “лавочку книжную”, продал 60 экз. “Апокалипсиса” и просил выслать еще. Я конечно буду высылать и все ждал выхода 6 и 7 №№. И буду ему высылать не “с уступкою ради книгопродавцев” 35 %, а ему милому и доброму Ховину то есть с уступкою 50 %. Да еще если бы Вы заехали к Руманову: дом 35, Морская: это тоже мой верный друг, прекрасный,

никогда мне не изменявший. Господи: как я теперь ценю и иначе совсем оцениваю евреев, сколько в них интимного, теплого, лучшего чем эти парикмахеры-греки и эти “грузовики-автомобили” римляне.

Ну, Саша. Услужи. Спаси Розанова. Спаси больную его жену и малых детей.

Это письмо, я верю, историческое. Его сказала небо. С него начнется Реформация. Ты, Саша – Ульрих фон Гутен, я – Лютер. Поезжай, поезжай, поезжай к Проперу. Чувствую – спасен Розанов».

Ср. в воспоминаниях С. Н. Дурылина: «Вспоминается лето 1918 г. Писания Вас. Вас. о Солнце и о Христе. И Авва ходит к Флоренскому и убеждает – разорвать с В. В., чтобы он понял, что нельзя так писать... И в голову не пришло, что надо было бросить 99 девиц, юношей и дам, “ищущих христианского просвещения”, и пойти к этой одной “овце” – охолодавшей на скудном “религиозно-философском” солнце и рвущейся греться на солнце простом – на “солнышке”. *В голову не пришло*, что не к Фл. надо было спешить на уговоры – отпасть поскорей от заблудившейся овцы, а бежать к этой самой “овце” – и тормошить ее вопросами-ласками: “что с тобой? Что ты? Отчего ты бежишь? Куда?” *Это* сделал из всех “ищущих” и “нашедших” один Мокринский, стоявший уже двумя ногами на границе безумия, – а всем остальным – повторяю в голову – не пришло – и все тут».

Справедливости ради эта сцена писалась не только для того, чтобы подчеркнуть антицерковные настроения Розанова тех лет. Как вспоминает Дурылин дальше, Розанов увидел на столе в келье фотографию оптинского старца Анатолия (Потапова): «Он остановился перед портретом в убогой рамочке. Портрет словно тянул его к себе. Он сделал шаг, взял портрет со стола (мы молчали), поднес к глазам, опять отдалил, не выпуская из руки, опять приблизил:

– Какое лицо!

Рука поставила на стол, глаза держали перед собою. И вдруг обернулся к нам и требовательно, смешно до капризности, потребовал:

– Кто это? Кто это? Кто это?

Помнится, Сережа (Ф[удель]) или Коля, кто-то из мальчиков, бросился отвечать и даже начал что-то, что, dokonченное, было бы по смыслу так: “Кто? – А один из тех дуроломов, которые...” Но Мокринский прервал, не дав дойти до “дуролома”, и ответил с той ласковою и строгою спокойностью, которая была свойственна ему в последние годы его жизни:

– Оптинский старец иеромонах Анатолий.

(Помню, он так и сказал: “иеромонах”, а не “отец Анатолий”, как все мы, и он в том числе, называли меж собою, – и было что-то торжественное, облегченное, благодарное в его ответе.)

В. В. выслушал, повернув лицо к Мокринскому, и даже пождал несколько, не скажет ли он еще что. Может быть, кто-нибудь из нас и сказал бы еще что-нибудь, но В. В. круто и быстро отвернулся к столу, опять взял в руки портрет и опять – в глубокой задумчивости – повторил:

– Какое лицо!

Словно у него не было сил оторваться от простого, русского лица одного из тех “дуроломов”, которые под каменными сводами храмов служили Богоявленную всенощную.

В этот вечер о многом говорилось с В. В. Горячо и умно, с юношеской стремительностью, нападал на него Сережа [Фудель], спокойно, с любовью, противостоял В. В-чу Мокринский, говорила что-то Таня, говорил я, – но, конечно, по-настоящему, решаяще говорил один: молчаливое старческое лицо на провинциальном портрете.

И смысл сказанного им, – сразу же сказанного В. В-чу портретом в домодельной рамочке, – был и для него, и для нас один, – и он признал это

тогда: — оправданы эти душные своды и в звездную ночь потеющие в ризах дуrolомы, если из этих сводов и риз, время от времени, просинивают на русской земле, нищей и злой, вшивой и махорочной, лица такой духовной красоты и неотвержимой мудрости, как то, которое глянуло в Крещенский сочельник на “врага Христа, более опасного, чем Ницше” (по мнению Мережковского), с плохой захолустной фотографической карточки».

Цит. по статье Натальи Казаковой «Свидетель Апокалипсиса» (журнал «Знамя». 2020. № 2).

«Но вот еще заметка: по самой судьбе своей я обошел Христа и Евангелие. Гимназистом – нигилист из нигилистов, “чертенюк”, “бесенок”... “в Евангелие я в сущности и не заглянул”, и “Христос прошел совсем мимо меня” или *вернее* я “мимо Его” и – *не заметив*. Рост моей религии был совершенно другой и из другого источника. Если же принять во внимание “бессеменность зачатия Христа”, то совершенно явно, что этот “источник религии” был не только внехристианский, но и противохристианский. Поднималось “Все язычество”, ведомое Египтом, Финикией, Израилем. И – поднималось явно – на Христа, против Христа. Теперь слушайте же тайну и глубину, и “почему я победил (воистину победил) Христа”. Я Вам сказал уже, что из х... вся *нежность*. “И в небе каждую пылинку; и в поле каждую звезду”. Но – *какая?* – *Родная*, подподольная, штанная. В сущности – *нагая, райская*. “Бог – с нами. Со – *всеми*”. Пою и пою. Музыка и дифирамбы. Пиндар и Гомер. Мегара и Афины. А еще лучше и вечное – просто Жиды, Лавочка их Святая (о, да! да! – я о лавочках буду много писать) и Иерусалим. Что же такое, что “Христос разрушил Иерусалим”? Он разрушил семя мира, будучи сам бессеменен, *безродственен* и дав человечеству гораздо худшую любовь, гораздо меньшую любовь, поистине “епархиальную любовь”, поистине “Василия Блаженного любовь”, которая ведь *не такая*, как у нас с Вами к *женам*. Вы понимаете? Он отнял у человечества “жемчужины”, заменив их “стразами” (= жемчуг из вымочек рыбьей чешуи). Не просто важно поэтому, но *ноуменально* важно Ваше замечание (обо мне): “ко мне вышел мелкими шажками старичок крайне благодушного и ласкового вида”. Это – так и *есть*, в этом – *суть*. Никогда, никогда, никогда я бы не восстал на Христа, не “отложился” от него (а я и “отложился” и “восстал”), если бы при совершенной разнице и противоположности, бессеменности и крайне-семенности не считал себя богаче, блаже (благой), добрее Его».

СОЧИНИТЕЛЬ И РАЗБОЙНИК

В жилище мрачное теней
На суд предстали пред судьей
В один и тот же час: Грабитель
(Он по большим дорогам разбивал
И в петлю, наконец, попал);
Другой был славою покрытый Сочинитель:
Он тонкий разливал в своих твореньях яд,
Вселял безверие, укоренял разврат,
Был, как Сирена, сладкогласен,
И, как Сирена, был опасен.
В аду обряд судебный скор;
Нет проволочек бесполезных:
В минуту сделан приговор.
На страшных двух цепях железных
Повешены больших чугунных два котла:
В них виноватых рассадили,
Дров под Разбойника большой костер взвалили;
Сама Мегера их зажгла
И развела такой ужасный пламень,
Что трескаться стал в сводах адских камень.
Суд к Сочинителю, казалось, был не строг;
Под ним сперва чуть тлелся огонек;
Но там, чем далее, тем боле разгорался.
Вот веки протекли, огонь не унимался.
Уж под Разбойником давно костер погас:
Под Сочинителем он злей с часу́ на час.
Не видя облегченья,
Писатель, наконец, кричит среди мученья,
Что справедливости в богах нимало нет;
Что славой он наполнил свет
И ежели писал немножко вольно,
То слишком уж за то наказан больно;
Что он не думал быть Разбойника грешней.
Тут перед ним, во всей красе своей,

С шипящими между волос змеями,
С кровавыми в руках бичами,
Из адских трех сестер явилась одна.
«Несчастный!» говорит она:
«Ты ль Провидению пеняешь?
И ты ль с Разбойником себя равняешь?
Перед твоей ничто его вина.
По лютости своей и злости,
Он вреден был,
Пока лишь жил;
А ты... уже твои давно истлели кости,
А солнце разу не взойдет,
Чтоб новых от тебя не осветило бед.
Твоих творений яд не только не слабеет,
Но, разливаясь, век-от-веку лютееет.
Смотри (тут свет ему узреть она дала),
Смотри на злые все дела
И на несчастия, которых ты виною!
Вон дети, стыд своих семей, —
Отчаянье отцов и матерей:
Кем ум и сердце в них отравлены? — тобою.
Кто, осмеяв, как детские мечты,
Супружество, начальства, власти,
Им причитал в вину людские все напасти
И связи общества рвался расторгнуть? — ты.
Не ты ли величал безверье просвещеньем?
Не ты ль в приманчивый, в прелестный вид облек
И страсти и порок?
И вон опоена твоим ученьем,
Там целая страна
Полна
Убийствами и грабежами,
Раздорами и мятежами
И до гибели доведена тобой!
В ней каждой капли слез и крови — ты виной.
И смел ты на богов хулой вооружиться?
А сколько впредь еще родится
От книг твоих на свете зол!
Терпи ж; здесь по делам тебе и казни мера!»

Сказала гневная Мегера —
И крышкою захлопнула котел.

Ср. очень розановскую по духу оценку личности Ильина в воспоминаниях Г. А. Лемана: «Помню, Н. А. Бердяев сказал, что творчество Ильина “анэротично”, что было весьма справедливо. Князь А. Д. Оболенский заметил, что мысль Ильина не длиннее воробьиного носа. Но совершенно замечательно сказал Федор Степун, человек очень умный; в настоящее время профессор Мюнхенского университета. Он определил выступление Ильина, как “религиозное помешательство неверующей души”. Сказать лучше было невозможно. При всей моей даже любви к Ильину, я могу сказать со спокойной совестью, что весь огромный пафос, какой он вкладывал в свою квазирелигиозную проповедь, был мыльным пузырем, из которого ничего не могло получиться... В заключение хочется отметить, что та “сухость”, тот анэротизм, который Бердяев отмечал в Ильине, был свойственен и жене его – Наталье Николаевне. Не в укор им будь сказано, их супружеский союз несколько походил на сожительство двух старых дев. Оба они жили умственными интересами, весьма их взаимно уважая друг в друге. Помню, с каким благоговением Иван Александрович рассказывал мне о занятиях его жены романтиками, увлечении Новалисом и т. п. Но было совершенно противоестественно представить их папой и мамой, и у них, конечно, не было детей. Не в плане глубинных пластов души, не в нераздельно-целостном слиянии протекала их супружеская жизнь. Как я только что говорил о том, что Иван Александрович стоял вне церковной ограды, так я мог бы сказать, что он стоял и вне ограды брака. Такова судьба людей, лишенных священного огня эроса».

Вот что он писал об отношении Флоренского к Розанову: «В Розанове, в него тоже влюбленном, он вдруг видит неприступное упорство, да еще в бесспорном вроде бы вопросе. Ну признай ты полную правоту Церкви, тем более сам прибежал от голода под стены ее главного монастыря; признай свои заблуждения в такое время, когда всем надо сплотиться, признай свою нуждаемость, несамостоятельность, признай над собой всю духовную иерархию, позовешь ведь все равно священника перед смертью. Но никак не удастся выправить, наставить Розанова уму-разуму; он вывертывается и не то что не признает Церковь и упирается, а неожиданно, наоборот, полюбит, привяжется как никогда, но так, что опять ясно: ведет он речи все равно свои, не те, до скандала не те, хоть плачь, хоть брось, а совсем было подобрали к нему ключик... Еще вспоминаю тут, что мне говорили о Розанове знающие люди: поймите, как он ни задевал Церковь, она его любила, потому что видела, что вся благоразумная рассудительность религиозной философии Булгакова, Франка, других, такая умная, веры мало прибавила, а несколько розановских слов о чадолюбивом диаконе, о Боге “милом из милого, центре мирового умиления” имеют такую силу и так располагают к вере. Флоренский это чувствовал и тревожился... Чем Флоренский обеспокоен – что прямо перед его носом уходит, ускользает куда-то Розанов, набив себе полные карманы общественного расположения, даже любви, и всё ведь чуть не обманом, всё как-то с лёту, и надо бы остановить его с поличным, чтобы он перестал морочить людей, но не выходит. Так полезны ли – “полезнее всех проповедей, вместе взятых” – речи Розанова или только для дураков, “содержит правильное постижение мировой истории” его слово или ложно? Флоренский колеблется в 1918 году, не зная окончательно, в какую сторону решить Розанова».

«Три дочери Розанова посещали Высшие женские курсы, директрисой которых была моя теща – госпожа Стоюнина. Наша квартира находилась недалеко от курсов. Когда Розанов приходил по делам на курсы, он всегда заходил ко мне. Стоило мне сказать “войдите” в ответ на его стук в дверь, как он быстро входил в кабинет, подбегал к столу, на котором лежали раскрытые книги, и пытался подсмотреть, что именно я читаю. Быть может, он пытался настигнуть каждого внезапно таким образом, чтобы изучить действительные интересы людей».

Что касается личности Лутохина, то это был, судя по всему, не экономист Далмат Александрович Лутохин, на чьи воспоминания о Розанове я не раз в этой книге ссылался, но его однофамилец Михаил Иванович Лутохин, о котором практически ничего не известно.

Сохранилось письмо Розанова Котляревскому: «Благодаря участию Михаила Осиповича Гершензона, указавшего Максиму Горькому на мое безвыходное положение, Максим Горький перевел мне по почте **две тысячи** рублей. Итак, мой добрый Нестор Александрович, все написанное мною Вам о пособии детям моим **теплых вещей** и непосильной мне самому работы **отпадает**. Теперь я сам справлюсь со своей нуждою. Преданный Вам В. Розанов». Ср. также в последнем письме Розанова Гершензону: «Сим уведомляю с глубокою благодарностью, с неизъяснимой преданностью Максима Горького, он же Алексей Пешков, что я получил от него пересланные мне *по почте деньги в сумме двух тысяч рублей через Мих. Осиповича Гершензона*. Сергиев Посад. Моск. Об. Красюковка, Полевая 7, Беляев».

Вот выдержки из заключения врача Аркадия Владимировича Танина, записанные под диктовку священником Павлом Флоренским 9 марта 1919 года: «Движения правой руки и ступни левой ноги были затруднены. Мне казалось, что была некоторая затрудненность речи, выражавшаяся в шепелявости. Общее состояние <...> сердца было удовлетворительно, сознание было вполне ясное. Вообще В. В. Розанов до последней минуты сохранил полную ясность сознания... Когда я был у него во второй раз <...> мною было [найден] расстройство зрения в форме <...> выражавшееся в том, что больной видел только правую сторону предметов. Поэтому он <...> видел только правую половину слов на правой стороне страницы. Кроме того, у него было расстройство мочеиспускания в форме частых неудержимых позывов на мочу. Болезнь была мною диагностирована как тромбоз артерии в правой половине мозга на почве артериосклероза. <...> Мною был назначен <...> кроме того, массаж левой руки. Вначале, под [воздействием] этого лечения, замечены некоторые улучшения: движения руки стали свободнее и расстройство зрения стало как будто [меньше]. Но потом вновь наступило ухудшение. Кроме того, под влиянием плохого питания общее истощение организма и <...> слабость все более увеличивались. <...> Деятельность сердца также постепенно слабела. И когда я последний раз был приглашен к больному, накануне его смерти, то пульс был уже настолько слаб, что не оставалось никакого сомнения в близкой кончине больного, о чем я и сообщил его родным. Сознание все время оставалось ясным» (Архив священника Павла Флоренского). Цит. по журналу «Новый мир» (1998. № 10).

Господь дал Лидочке, Лидии Доментьевне Хохловой, долгую и полнокровную жизнь. Она умерла в 1991 году.

«Прочитали молитвы – подразумевается». – *Примечание Т. В. Розановой.*

И ему же, С. Н. Дурылину, принадлежит самое подробное описание последних часов жизни Розанова, его смерти и похорон. Эти страницы его «Троицких записок» за 1919 год были впервые опубликованы в 2016 году в журнале «Наше наследие» доктором философских наук, профессором РГГУ, главным хранителем фондов Мемориального дома-музея С. Н. Дурылина Анной Резниченко и кандидатом философских наук, доцентом Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сотрудником музея Дурылина Татьяной Резвых. Они не вошли ни в одну из биографических книг о Розанове и слишком велики для цитирования в основном тексте, а обрывать их жаль, и потому я позволю себе привести их в данном примечании максимально полно как последнее свидетельство в спорах о самом спорном русском философе минувшего века.

26 января. Суббота

«23-го, в среду, около 12 ч. дня по старому времени скончался Василий Васильевич.

Я был у обедни и пришел около 11 ч. к Софье Владимировне. Мальчики (Юша и Миша) встретили меня: “В. В-чу очень плохо. Мама к нему собирается”. Софья Владимировна сказала мне: “Час тому назад заходил о. Павел. Его в 5 ч. утра вызвали к В. В. По дороге он встретил о. Павла от Рождества, тот шел со Св. Дарами от В. В. Он причастил его по его собственному желанию. Наш о. Павел прочел отходную. В. В-ч всех узнает, но уже не говорит”. Мы пошли с Софьей Владимировной, по нашим. Я говорил о борьбе за В. В-ча. Он тих, мирен, идет к христианской кончине. Была борьба за Леонтьева: мы знаем, чем кончилась. Неясна борьба за Лермонтова, хотя я верю, что и тут победа Божия. Теперь Василий Васильевич и борьба за него. Оттуда Надя в слезах.

В. В. лежал на постели, укрытый грудой теплых вещей, – он все жаловался на холод, – поверх горы теплых вещей байковое, зеленое одеяло с разводами. Он два дня ничего почти не ел. В ногах стояла безмолвная Варвара Дмитриевна, не слезы, а слезки текли по ее лицу. На откинutom верху одеяла лежала горстка пепла от папироски. Голова В. В-ча высилась на белой подушке. Глаза его открыты; но уже явно не видят. В них нет ни остроты зрения, ни розановского “глазка”; они смотрят широко, по-новому, точно видят что-то спокойное, широкое, новое, но вместе и ожидаемое. Он за десять дней, что я его не видел, очень исхудал. Нос сделался большим,

острым, а лицо маленьким, – какой-то “старичок”; маленький “старичок”. – Личико с “кулачок”. Мокрота мешала ему дышать; видно было, как дыхание – значит: жизнь! еще жизнь! – идет по горлу, – и хлюпает что-то в горле, но тихо, не шумно, – как громкое дыхание, а иногда хлюпанье, бульканье на секунду, на минуту прекращается, – и слышно, как он дышит. Тело его неподвижно. Оно покойно. Кажется, жизнь вся взбирается ко рту, течет по горлу, к устам, – и когда уйдет, то тело никак не будет сопротивляться. И это поражало и радовало: привычно было думать, что он будет метаться по постели, отмахиваться, кричать или частым-частым говорком (как в августе мне с Софьей Владимировной) приговаривать “Жить! жить! жить!”; или мешать будет слова со слезками, как 1-го января: “уходит, уходит, уходит!”, – и ничего, ничего этого не было. Он умирал тихо, покойно, в великой тишине и простоте. Ничего не исполнилось из того, что думалось о его смерти: дети (Вася, Варя, Надя) осенью втроем говорили, как будет умирать папа, и плакали, боясь, что он умрет страшно; причаститься не откажется, но так, проходом, мимоидя как-то, и будет бороться со смертью, брыкаться, кричать – от рака, от страшной боли: мать его умирала от рака; сам он 1-го мне говорил: “я умру через 10 минут после того, как вы уйдете”. – И плакал. А теперь мы пришли ровно-ровно за 10 минут до его смерти, и умирал он, как таинство совершал. На лице не было никакой муки, ни тени страдания, ни черты беспокойства и страха. Он тихо, все тише и тише додыхивал свою жизнь. Агония – борьба, а он ни с кем не боролся. Не шевелилось над его телом ни одной складочкой одеяло; пепелок от последней, выкуренной им, папироски не рассыпался на откинutom у его груди конце одеяла. И казалось, он все слышит. И я думаю: он и слышал. “У папы необыкновенный слух”, – сказала Надя. Таня полезла над ним, стоя на стуле, к образу и зажгла лампадку перед образом св. Великомученицы Варвары. На столе горела восковая свечечка. Дочери стояли на коленях и горячо молились, тихо плача. Тихая стояла Варвара Дмитриевна в ногах и смотрела на него – со своими слезками, еле-еле видимыми на лице. Я стал на колени и заплакал. Софья Владимировна взяла молитвенник и стала читать “Канон Богородице на отход души”. Вокруг него была молитва и тишина. Никто и ничто не нарушило его тихого отшествия.

Легкое клохтанье в горле прекратилось. Ему легче стало дышать, и стало еще тише. Дыханье стало глубже и реже. Он тихо доделывал трудную работу, доживал: доносил до конца дыханье жизни. Еще дыхание; еще дыханье. И ни мускул, ни складочка не двигается на лице, но это не оттого, что оно окаменело и каменно, нет – это оттого что оно спокойно,

совершенно, до глубины спокойно. Оставшийся ручеек жизни течет еле-еле, в его теле, тихо-тихо, слабея-слабея, но незамутненно, ничем не тревожим, ничем не пресекаем, – и вот сейчас и не увидим, как впадет в великий неведомый тишайший океан вечной жизни.

Точно воздух вокруг него чудесен и несказанно ароматен – и он глотает его глубокими, глубокими глотками, и так он ароматен, так драгоценен, так сладостен, что и нельзя часто глотать: глотки все реже, все реже, – точно насыщен он, уже почти насыщен. А лицо еще спокойнее, еще мирнее. И вот он с нами – и не наш: нет того В. В-ча: как мог такой, – такой как теперь, как тот, что с нами – плакать, говорить, просить, писать, курить папироску, – ...Все то – небыль, и только то, что теперь, и быль и истина. Вот тот В. В., который был, а тот, другой – тот не был.

Таинство свершалось и, когда оно свершилось, – никто не заметил. Слышались тихие, тихие молитвенные воззвания к Богородице. Горячо, слезно – и тихо, без тени горечи и вызывающей скорби, молились дочери. Еще тише стала тихая Варвара Дмитриевна. Она потом сказала мне: “Вы видели, он улыбнулся три раза”. Чужалось, что таинство уже свершено. Но все были в молитве. Была только тишина и молитва. Вдруг Софья Владимировна остановилась читать, и взглянула на него, и сказала, чуть слышно, – “Кончился”.

А он смотрел на нас спокойными широкими новыми очами, тихий на веки, надышавшийся до сыта тем чудным воздухом, который только что вбирал в себя редкими и глубокими глотками, – и больше не нужно было дыхания. Он не дышал. Надя прильнула к одеялу – и плакала. Таня сказала мне: Закройте ему глаза. Я подошел, поклонился ему до земли, и закрыл ему глаза. Теперь уже он весь был не наш.

Софья Владимировна, как пришла еще, принесла с собою пелену с Главы Пр. Сергия, и он умирал с головой накрытой ею, сложенной вдвое. Я положил ему на глаза две греческие монеты из его коллекции и накрыл голову пеленой сплошь. – “Это не кончина была, это – таинство”, – сказала мне Софья Владимировна потом.

Варвара Дмитриевна, плача тихо и счастливо, сказала: “Он умер как христианин”. Видно было, сколько мук, надежд и опасений было у нее вокруг его смерти, – и всех их он отстранил своей кончиной. “Четыре раза приобщился. Соборовался маслом. Умер под покровом Преподобного Сергия! Я видела, как умирал Страхов. Он ходил все в лютеранскую церковь. Нельзя было причастить, не исповедовался. Мучился долго. Я много смертей видела. Никто так не умирал”. И она была спокойна, все время похорон, пряма, мирна, почти радостна. Надя и Таня плакали тихо. Я

сказал им: “Этой кончиной – все, все кончено. Ничего о нем нельзя сказать злого никому. Все покрыла эта кончина. Все ей зачеркнуто”. “Не надо ничем ее возмутить! – Я знаю, я знаю”, – твердила Таня, плача. “Это – такое, такое счастье. Умер под покровом преподобного...” – “Он со всеми простился, он всем все простил, – он диктовал мне”, – говорила Надя. А он лежал неподвижный, укрытый пеленой с мощей того, в чей город он переселился за год до смерти.

Софья Владимировна пошла искать женщину омыть тело. А я пошел в кабинет готовить стол. Мы отодвигали шкафы, снимали иконы. Нашли пакет с надписью “Вскрыть после моей смерти”, смотрели по неволе его книги, книги его друзей и врагов. Вот – полка с “Египтом”. Вот книги о евреях. Вот грубые пародии и памфлеты на него. И так жалко и бедно казалось мне слово человеческое, даже и его слово, пред тем бессловным, что слышали мы только что в той комнате.

[Варвара Дмитриевна сказала – и плачет. – “В сочинениях своих В. В. писал, что умрет с папироской. После отходной попросил у меня папироску, но курить уж не стал”. Из богадельни наняли двух читалок-старушек. Читали они благоговейно, тихо, с коленопреклонениями, при началах кафизм, с хорошей старорусской молитвой за него. Омыла его Даша, прачка, та самая, которая переносила его больного из Таниной комнаты в комнату Варвары Дмитриевны. Он ей сказал тогда: “Дайте я вас перекрещу” – и перекрестил. Она плачет теперь, вспоминая этот его крест.]

Варвара Дмитриевна сидела и смотрела, как мы возимся с книгами: “и вы все это – взять хотите? – Все это дочерям. Мне ничего не нужно”. Перед смертью он говорил дочерям: “Христос Воскресе!”, за два дня до кончины он велел записать – всем нужно верить во Христа и Св. Троицу. И тут я понял и обращенные ко мне 3-го его двукратные “Христос Воскресе”. А Софья Владимировна дома сказала мне: “У меня на душе нынче Пасха”. Вот шкаф с письмами к нему.

Таня: “Папа прежде больше всего дорожил книгами, а последние годы – письмами”. Я открыл ящик. Письма на “Да”. Обложки в лист белой бумаги. На верху надпись – имя, фамилия, отчество корреспондента. Внизу – характеристика в одно-два слова меткости необычайной. Вложены фотографии. Я открыл свою обложку. Первое письмо попавшееся было мое последнее письмо к нему, столь его обрадовавшее, пасхальное, общее с поздравлением его с Воскресением Христовым и благодарностью за его любовь к людям, вера, что Христос зачтет ему его жалость к детям, к Рождающей женщине. Опять Пасха.

Когда стол был приготовлен, я ушел обедать. Поискал славянскую

Библию, хотел почитать Псалтырь, но были только русские (несколько), по-русски не хотелось читать».

27 января, воскресенье

«Денег не было ни у детей, ни у меня, ни у Софьи Владимировны. В семье было 80 р. всего. Таня в день похорон вспоминала, как В. В-ч говорил: “Хочу быть нищим. Это и хорошо”. [И мне тоже говорил: “Я нищий. Бог богат” – и плакал.] Но никого не смущало, что денег нет. Все откуда-то взялось. Деньги нашлись у Сергея Павловича. Он с благоговением выслушал о кончине В. В. и сказал: “Бог терпит и приемлет и борьбу против него, если она такая, как была у В. В. – и дал ему кончину христианскую”. Софья Владимировна присмотрела гроб. Я пошел за ним. “На ваш рост?” – спросил гробовщик. “Да”. Я почему-то – да и Софья Владимировна – решили, что В. В. был с меня. Гроб досчатый, крашен в коричневый, с белым глазовым тесемочным крестом на крышке. Я повез его на извозчике. Мы с Надей внесли вместе. “А где хоронить?” – спросил я дочерей. Я про себя решил, что нужно у Черниговской, возле Леонтьева. Но молчал. Эту же мысль высказала Софья Владимировна. И вдруг <так!> девочки тоже боялись сказать, что не хотят на Кукуевском, боялись, что мы все “большие” скажем, что в другом месте – в Лавре – неисполнимо. Думали оне и о Черниговской. Я им сказал свое мнение. Оне с радостью согласились.

(Когда я вернулся к вечеру) В. В. лежал уже на столе в сюртуке, с образом Преп. Сергия. Ни шума горя, ни смуты горя не было. – Вокруг него все тихо и мирствовало. Варвара Дмитриевна сидела на стуле и не отрываясь смотрела на него. А он был под простыней. И стал больше ростом. <...> Дочери молились у умершего. Наконец, в четверть восьмого, по старому вместо 6, пришел о. Павел с Анной Михайловной. Их задержали дети. [О. Павел подошел к В. В., поклонился и крестясь его благословил до начала панихиды.]

Началась панихида. Я дал огарочки, купленные в восковой лавке: целых свечей нет. Юрий Александрович стоял у печки, низко опустив голову. Дочери справа, на коленях. Варвара Дмитриевна стояла прямая и спокойная; иногда садилась на стул. После панихиды предполагали класть в гроб, но, смерив В. В-ча, увидали, что гроб мал: В. В. – был выше меня. [На улице шли все вместе. Юрий Александрович сказал: “Как все у них просветлело! И сам В. В-ч также” <...> – “Но нет теплоты”, – сказал о. Павел. “У кого... у семьи?” – в голосе Юрия Александровича было удивление; явно, что “нет теплоты” он не мог относить к В. В-чу – умиренному и просветленному... – “Нет, – ответил о. Павел, – и у самого В.

В-ча. Бывают покойники, которые все чисты и от них как будто свет идет; бывают неприятные, страшные, а В. В. – чист, но он весь как – он помолчал секунду – минерал”. Он говорил сзади меня. Мне стали вдруг до последней степени неприятны его слова и то, что он может и здесь, и об этом рассуждать; мне стал неприятен о. Павел. “Минерал”. Там лежит “минерал”. Он сейчас пел и кадил “минералу”.]

...Утром я пошел к гробовщику. Он обещал прислать людей проверить нашу мерку. Пошел к Розановым. Взял на салазках кое-какие рукописи и книги. Там мирно и тихо читали псалтырь. У В. В. приоткрылись глаза. Я положил на них опять монеты.

До обеда мы все поехали в Гефсиманский скит. О. Израиль отнесся очень сочувственно к нашей просьбе уступить место В. В-чу. “Слышал о нем и плохое, и хорошее”. Я рассказал ему, как готовился В. В. к смерти, как просил прощения у архиеп. Никона, как он умирал. Сергей Павлович рассказал, что он был ученик Леонтьева и всю жизнь влекся к церкви, желал быть с ней, был если не всегда в стенах, то около церковных стен. “А у меня и место есть, – сказал о. Израиль. – Его выбрал для себя Михаил Александрович, через дорожку от Леонтьева. Он похорониться хочет у еп. Феодора. Вот ваш покойник здесь и ляжет”. Мы ничего не скрыли от о. Израйля, что В. В-ч и церковь хулил и Христа Господа. И было внимание, ласка и приют ему от служителей этой Церкви. Сергей Павлович говорил, что может быть Михаилу Александровичу еще оставят место. Ему спасибо, ибо все вышло само собой. “Ну, я выберу сам место”, сказал о. Израиль.

Мы пошли приложиться к Черниговской Божией Матери. Потом – к о. Порфирию. Он заговорил со мной о Мише, ласково называя его Деточкой. “Что бы батюшке с тобою послать?” Принялся искать. “Сам в лавке выберу”. Спросили мы, как отвечать на сложные религиозные вопросы Миши. “Смирять надо, чтобы многого не спрашивал много. Иногда и не так ли сделать, как Варсануфий Великий? [Побил по щекам посланного нарочно к нему старцем послушника.] Иногда и сказать: сам не знаю”.

Я попросил благословения писать Леонтьева. “Я его помню очень хорошо. Он очень часто бывал у батюшки о. Варнавы. Он был в тайном постриге. Мы знали это. Можно. Пиши. Почитаем”. Рассказали мы о. Порфирию, кого хороним. Он смиренно слушал о нем. “Колебался в стороны, а не ушел от Господа”. И опять о Мише. Благословил меня говеть к Сретению. Оделся. Пошел с нами, в лавку, выбрал Мише духовную книгу и фотографию собора.

Пообедав, я пошел к Розановым. Дочери были в волнении и слезах. Таня плакала и рыдала: “Так было хорошо вчера, а сегодня, сегодня... Я

считала Павла Александровича за отца родного, а он...” Оказалось, что вчера о. Павел сказал, что нужно продать библиотеку. “А папа говорил: книги – детям” (Надя). “Я так берегла ее. Мы всякую книжку знаем. Я с таким трудом перевозила ее сюда” (Таня). – “Я пошла к Павлу Александровичу. Папа послал. Было плохо. А он не пошел и сказал: ‘Зачем вы пришли за мной?’” (Надя). – Я утешал, как мог. “И мы хотим, и папа так хотел, – чтобы тот о. Павел служил”. – “Он его исповедал”.

Пришла Варвара Дмитриевна: “Таня, не плачь: ты его покой смущаешь...” Строго и спокойно сказала. Таня пошла к тому о. Павлу. [Он болен и не мог служить. Он, будучи диаконом, напутствовал с иер. Трифоном умиравшего Л<еонтье>ва.] А Надя – к Голубцовым. [Они рады приему, о. Израилю и тому, что папа будет у Черниговской. Варвара Дмитриевна дала мне прочесть сочинение Нади “Тающее”: “скажите, – не осудите меня, – есть ли у ней талант”.] Надя вернулась. Пришел гробовщик. Он привез на салазках новый гроб, такой же, туфли, саван. Подушки не было. Он взял наволочку, сходил к себе и набил ее сеном. Внесли гроб. Я покропил его крестообразно трижды Св<ятой> Крещенской водой, вчера принесенной Голубцовой. Мы с гробовщиком стали класть в гроб – он простой славный мужик – поднял В. В. в головы, я приподнял за ноги. Он был легкий, и ноги у икор ощущались как у ребенка. Мы положили его в гроб. Отлежит в сюртуке. Укрыли кисейным саваном. “Убрали в последний раз!” – сказала В<арвара> Д<митриев>на. Я пошел к С<офье> В<ладимиров>не. Поужинали и пошли на парастас. О. Павел отслужил утреню заупокойную. Помогала петь сестра, делавшая массаж В. В. Были на парастасе С<офья> В<ладимировна>, Ю<рий> А<лександрович>, Миша, Александровы, Надежда Петровна. Стояли с огарочками.

Наутро рассвет был яркий, нежный, многоцветный. Началось морозцем, – потом потеплело, и погода была чудесная – русская, бодрая, солнечная, с “солнцем, идущим на лето”. Я беспокоился: как мы донесем В. В. до церкви? Мужчины нет. Ю<рий> А<лександрович> и С<ергей> П<авлович> не могут быть. Я зашел к носильщикам. Дом заперт. Вернулся к С<офье> В<ладимировне>. Хотел послать Мишу поторопить приехать розвальни. Нельзя раньше 11. Пошли к Роз<ановым>. У церкви Михаила Архангела стоят розвальни. За В. В-чем на них доехали с Мишей и Юшей до дому Р<озанова>. В<арвара> Д<митриевна> сидела уже одетая. Никого не было. Надя стояла на коленях, читала псалтырь. [Она делала все время неверные ударения, и это трогало: такая неумелая чтица, и такая радостная, в слезах радости, веры!] Я послал мальчиков поторопить о. Влад<имира>

Соловьева с выносом [он служил 24-го утреннюю панихиду, академик, по просьбе о. Павла]. Приехал К. В. Вознесенский. В. В-ча обложили елочками. Подержанный золотой покров. Опять чуть-чуть приоткрылись глаза, и зрачки были чуть видны, [и это не было неприятно]; взор был не мутен, а ясен – и глубоко, успокоенно спокоен. Так и остались глаза. Я попросил у Нади псалтырь и, стоя на коленях, почитал. Как недавно – 9/XII – я еще говорил ему о царе Давиде! Слушай же, слушай; милый и дорогой, вот твоих любимых евреев лучший пророк и царь любимый! Что говорит: “не оставиши души моей во аде, ниже даси преподобному твоему видети истление”. Я читал это, и верю, и верил, что “не оставит” и “не даст” и душе раба Его Василия. Когда читала Надя, я стоял у гроба и смотрел на него. Нет, не “минерал”. Нет, удостоившийся “христианской кончины живота нашего, безболезненной, непостыдной, мирной”. Будем молить и о “добром” его “ответе на страшном судилище Христовом”.

Я вспоминал, как много любви было мне от него – и внимания глубокого, міра... Лития. Мы подняли гроб – К. В. <Вознесенский>, Гол<убцов>, Юша, Миша, я. Я нес спереди с Юшей. Спустились с лестницы. Я взял елочки и шел впереди и разбрасывал. Их дала Надя. Горящие свечи несли С<офья> Вл<адимировна> и Анна Мих<айловна>, Голубцова. Донесли тихо до храма св. Архангела Михаила. Там о. Павел начал уже проскомидию. Поставили гроб на двух крашеных табуретках. Я надел на голову В. В. венчик. После евангелия пришли в храм архим<андрит> Иларион и иер<омонах> Иоасаф, стали петь на клиросе. Пришел С<ергей> П<авлович> с М<арией> Ф<едоровной>.

Какой смысл великий: В. В. умер в неделю о Закхее. С ним поступили и меня звали поступить: “буди тебе яко язычник и мытарь”. Мы все думали и говорили: “Как неблагополучно в доме Розановых”. Таня даже говорила со слезами С<офье> В<ладимиров>не: “На нас точно проклятие”. А<лексан>др Дм<итриевич> говорил: “Его на 10 в<ерст> к Посаду не надо подпускать”. Мансуровы косились слегка на С<офью> В<ладимировну> за знакомство с В. В. и вот, воистину: “Начальник мытарей некто именем... искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом... Иисус сказал ему: Закхей, сегодня надобно мне быть у тебя в доме... И все, видя то, начали роптать и говорить, что Он зашел к грешному человеку...” Иисус сказал ему: “НЫНЕ ПРИШЛО СПАСЕНИЕ ДОМУ СЕМУ, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее” [Лук, 19, 2–10]. Над умирающим и над умершим им висела икона Варвары В<еликомучени>цы – “избавляющей от напрасныя смерти”. В ногах его стояла верная его

Варвара Д<митриевна>, благодарящая Бога за праведную его кончину. Его хоронили в день Б<ожией> М<атери> “Утоли моя печали”, а образок этот С<офья> В<ладимировна> осенью почему-то подарила Тане, и теперь у него в руках лежал этот образок. Отпевали его в церкви Архангела Михаила, победителя беса, “стража покаяния”. И в иконостасе храма справа был – он, слева св. Варвара. И нес его тело сын того человека, который не пустил бы его 10 в<ерст> до Посада.

Отпевать вышел ар<химандрит> Иларион, слева стоял Варфоломей. Читал Непорочны и канон. Иларион, Варф<оломей> и о. Павел говорили ектении [также и Иларион], и пели – все. О. Павел читал разрешит<ельную> молитву, и не знаю, так ли там сказано, или он оговорился, или нарочно сказал, но он вместо “всякое огорчение его – словом, делом, помышлением” – прочел: “мыслью”. Меня это поразило. Да, именно согрешение мыслью. А еще странно и сладко было слышать на его отпевании припев канона: “Дивен Бог во святых Его, Бог Израиля”. Этому Богу, Богу Израилеву, никогда не мятежничал он, а Этот Бог – не есть ли просто Бог, наш Бог, пославший Сына Единородного?

Стали прощаться. О. Павел трижды благословил его. Я поцеловал руку его и перекрестил его трижды. Принесли крышку гроба. Я оправил его. Крышку забили. Мы – С<ергей> П<авлович>, Гол<убцов>, К<онстантин> Вас<ильев>ч, я, Миша – подняли гроб. Около церкви была лития. Поставили на простые дровни, на душистое сено. Лошадка русская, доброглазка – поехала тихо. Нет мерзких петербургских улиц, страшных “литературных похорон”, речей, венков, нововременцев, декадентов и неохристиан за гробом. Скрипит снег.

Солнце “на лето”. В<арвара> Д<митриев>на ехала на извозчике вслед. Служили литию у дома – о. Павел в скуфейке. Миша нес икону. Служили у д<ома> Александровых. Тут я понес икону – Божию Матерь, кажется, его венчальную с В<арварой> Д<митриев>ной. Вышли на Вифанку. У перепутья дорог в Гефс<иманский> и Черн<иговский> остановились. В последний раз видит он Лавру, куда так странно, промыслительно был приведен Богом. Умер бы в Пет<рограде> – были бы кругом нецерковные люди, холод бесцерковный, гнилое кладбище... Отслужили литию. Тут Миша понес икону, но в лесу я опять взял у него и донес до Черниговской. Дочери шли радостные, счастливые. А он шел в монастырь, за крепчайшую из стен церковных, слушать звон, напевы молитвы, лежать с тем, кто звал его таинственно в Посаде, сказать какую-то великую Тайну. У Гефс<иманского> скита – лития. Завозили в Черн<иговский>. Вдруг раздался тихий, тихий звон. Я подумал: бьют часы. Тишина. Снег. Лес.

Солнце. Радость сквозь слезы в душе. Нет, не часы: это его встречают тихим перезвоном. Последнюю почесть отдали ему – не литераторы, не политики, не евреи, не государство – а монастырь. Перезвон стал громче... Стало видно духовенство у Св. ворот: три иеромонаха, два иеродиакона с кадилами, все в белых ризах, запрестольные Кресты и Божия Матерь, монахи – певчие. Никто не ожидал такой встречи. С ними был С<ергей> П<авлович>, поглядел вперед предупредить, но они и без того ждали с 11 ч. Лития. Поют монахи, кадят ему торжественно иеродиаконы. Какой чин во всем, сила, красота! Мы подняли гроб и понесли мимо собора. Пели “Святой Боже”. Остановились около могилы Леонтьева. Я, неся гроб, заплакал: его могила была рядом с Леонтьевым, так что землю его могилы привалили вплотную к Леонтьевскому памятнику: кто придет к Л<еонтьеву> – придет к нему, кто к нему – к Л<еонтьеву>. Так и в мысли. Так и я пришел к ним. Я сказал иеродиакону: “Поминайте на ектеньи и монаха Климента”. И последняя служба над ним была и службой по монаху Клименту. Шли молиться “о упокоении новопреставленного раба Божия Василия и раба Божия монаха Климента”. Отпели литию. Я взял под руку В<арвару> Д<митриев>ну и вывел на земляную кучу. Она посмотрела на гроб. Я подал ей комок земли, она бросила его. Она шептала: “Какая кончина!” Я: “Какая кончина – такое и погребение”. Я стоял опираясь о памятник Л<еонтьев>ва. “Где Бог привел!” – сказал С<ергей> П<авлович> – “Рядом”. Дочери были счастливы. Монах сказал М<арии> Ф<едоров>не: “Вот возносятся умом, возносятся, а потом придут к Преподобному. ‘Пусти нас к себе, прими нас’, – и принимает”. Он читал что-то из Леонтьева и слышал о В. В-че. “Сведите меня”, сказала В<арвара> Д<митриевна>. Надя осталась на могиле, Таня пошла к благочинному заказывать сорокоуст. Я усадил В<арвару> Д<митриевну> на извозчика, она уехала с Евд<окией> И<вановой>. Встречаю Надю в воротах. “Пойдемте к о. Порфирию”. Она с радостью. Там уже были в сенях Мансуровы, и в келье С<офья> В<ладимировна> и Миша. Когда они ушли, мы вошли в келью, бывшую о. Варнавы. “Вот, батюшка, это дочь покойного”. Он благословил. В это время входит Таня. Мы оставили их с ним в дальней комнате. Слышно было, как радостно утешал он их – и вышли оне от него сияющие, с листочками, радостные-прерадостные. Пасха на лицах и в душах. Дал и нам по листочку и пошел к вечерне (2 ч. дня). Я сказал Тане: “Вот папа сам пришел в монастырь – и вас сюда привел к старцу”. Она: “Сколько раз я собиралась к о. П<орфирию>! Раз дома рассердилась, поссорилась и убежала снова. И все-таки не пошла. А теперь папа привел”. – “Мы будем часто, часто ходить” (Надя). Мы сели в розвальни, привезшие тело В. В., и поехали – я,

М<ансуров>ы и Р<озано>вы – через киновию. Таня и Надя сияли. Таня: “Только три раза в жизни у меня была такая радость: в прошлом году на Пасхе, еще раз [я забыл, когда] и теперь. Как Аля просила меня: ‘Увези папу’”. “А папа как водил Лемана к Черниговской. Как на Пасхе с мальчиками мы ходили с папой встречать патриарха”. Счастливые, счастливые воспоминанья. “Чудо. Все чудо. Все Бог” (Таня). Мы довезли их до дому. “‘Веселые похороны’ – странно даже как-то”, – говорил С<ергей> П<авлович>.

А когда С<офья> В<ладимировна> с Мишей вошли к о. П<орфирию>, он в епитрахили молился. Он поминал [новопреставл<енного> Алексия – т. е.] В. В-ча: [он забыл имя].

И оставили мы В. В. в стенах монастыря навеки, слушать звон тихий, внимать молитвам, рядом с иноком Климентом, около алтаря Божией Матери, в соседстве с кельей старца. Вечная память!

Нет, он был не фавн, не березка, как я иногда думал, не минерал, не еврей без Христа, – он был раб Божий, кому дал Господь светлую кончину и светлое погребение.

Все думаю о нем.

Целые дни думаю».

«Поразительно, что к гробу Толстого сбежались все Добчинские со всей России, и, кроме Добчинских, никого там и не было, они теснотою толпы никого еще туда и не пропустили. Так что “похороны Толстого” в то же время вышли “выставкою Добчинских”...

Суть Добчинского – “чтобы обо мне узнали в Петербурге”. Именно одно это желание и подхлестнуло всех побежать. Объявился какой-то “Союз союзов” и “Центральный комитет 20-ти литературных обществ”... О Толстом никто не помнил: каждый сюда бежал, чтобы вскочить на кафедру и, что-то проболтав, – все равно что, – ткнуть перстом в грудь и сказать: “Вот я, Добчинский, живу; современник вам и Толстому. Разделяю его мысли, восхищаюсь его гением; но вы запомните, что я именно – *Добчинский*, и не смешайте мою фамилию с чьей-нибудь другой”...»

В Житии старца Варсонофия приводится его диалог с кем-то из журналистов: «Ваше интервью, батюшка!» – «Вот мое интервью, так и напишите: хотя он и Лев был, но не мог разорвать кольца той цепи, которою сковал его сатана».

В примечаниях к письмам Розанова Э. Голлербаху, составленных Е. Голлербахом (внуком Э. Ф.) в 1993 году, это же письмо от 2 мая 1919 года цитируется в иной редакции по подлиннику, хранящемуся в частном собрании М. С. Лемана: «Очень я была удивлена, что Зинаида Николаевна распускает легенду о поклонении папы Озирису, Изиде и Астарте, ведь Дмитрий Сергеевич знает подробности его смерти. Я писала ему и получила от него несколько писем, в которых он пишет о кончине отца, глубоко вникая в величие его кончины, принимая ее как торжествующую победу Христианского начала в нем, с которым всю жизнь он боролся. Дмитрий Сергеевич все знает и понял. Крепкая же цепь еврейская. Брр...»

Ср. в воспоминаниях самой З. Н. Гиппиус:

«Звонок по телефону:

– Розанов умер.

Да, умер. Ничего не отверг, ничего не принял, ничему не изменил. Ледяные воды дошли до сердца, и он умер. Погасло явление.

Вот почему показалось нам горьким мучительное, длинное письмо дочери, подробно описывающее его кончину, его последние, уже безмолвные дни. Кончину “христианскую”, самую “православную”, на руках Ф<лоренского>, под шапочкой Преподобного Сергия.

Что могла шапочка изменить, да и зачем ей было изменять Розанова? Он – “узел, Богом связанный”, пусть его Бог и развязывает.

Христианин или не христианин – что мы знаем? но верю, и тогда, когда лежал он совсем безмолвный, безгласный, опять в уме вспыхнули слова любви:

Господи, неужели Ты не велишь бояться смерти?

Неужели умрем, и ничего?

Господи, неужели это – Ты».

Это – запись из дневника Дурылина 1919 года. Ср. также в более поздних мемуарных записях: «...Когда умер В. В. [Розанов], я приехал в Москву и с удивлением слышу от многих из писательского мира, что В. В., умирая, будто бы призывал Изиду – Египетскую тиароносную Изиду.

– Правда ли это?

Отвечаю:

– Вздор. Умирал при свидетелях и призывал, действительно, только не Изиду, а ХРИСТА.

И спрашиваю:

– От кого Вы это слышали?

– От Гершензона.

Зачем понадобилась эта “творимая легенда” Михаилу Осиповичу, – до сих пор не понимаю. Вас. В-ча он очень ценил и знал ему цену...»

Ср. также: «Когда Василий Васильевич умер и закрылись глаза, нужно было положить на веки медяки, чтобы не раскрывались веки. Но денег тогда медных в России не было, и карманы были полны ничего не стоившими бумажными пяточками Керенского. И пришлось взять какие-то медяки из египетской коллекции и их древнею медью с Озирисом и Аписом придавить глаза, еще недавно зорко рассматривавшие с восторгом эти самые монеты...»

(С. Н. Дурылин «В своем углу»)

Ср. также в письме Флоренского Н. Н. Глубоковскому от 13 марта 1919 года: «Розанов скончался мирно и благочестиво, за время болезни несколько раз приобщался и соборовался. От своих убеждений он не отрекался, но как-то совместил в себе радость благодати – ибо он таинственно был крещен за время болезни – свои думы о важности рождения. Погребение его было бедное, чтобы не сказать убогое: везли его на розвальнях. Но все было благолепно и светло – так искренне и красиво».

Ср. также: «От В. В-ча, – даже в кошунствах его – я не испытывал никогда отвода меня от живого, теплого, греющего в религии. А тут – холодом веет даже от его благословляющей руки. Его сочинения – ледяной дом... Мертвая вода. Мертвая, ледяная. Что из того, что чистая? Что из того, что бьет сильной, ослепительной струей? Все-таки – мертвая, все-таки ледяная. А у В. В-ча покойного и с грязью была, и с мутью, и с замороженной в нее землей – но теплая, живая... Грязь отстоится и землю выплеснуть можно, а тепло, а живота останется. А от льда только и избавиться можно тем одним – растопить его на солнце, и его не будет, просто не будет».

Ср. оценку Флоренского в воспоминаниях Т. В. Розановой: «В сущности, он был глубокий пессимист, в нем было мало благодати и много рационализма. Мне кажется, он и сам это признавал».

Ср. в «Апокалипсисе нашего времени»: «И наконец, неудавшееся христианство. Не может быть сомнения, что старец Зосима, конечно, есть язычник...»

«Варя гуляла с детьми, решила летом искупаться с ними, а потом вздумала в рубашке танцевать “а la Дункан”. В это время, к несчастью, проезжал мимо заведующий отделом народного образования – крупный партийный работник – Смирнов. Увидев такую сцену, он ужаснулся, решил, что это полный разврат, и Варю уволили».

Впрочем, справедливости ради в конце 1930-х годов дочерям Розанова удалось продать в Литературный музей рукописи отца. «Мы получили 25 000 рублей, разделили на три части, и первый раз вздохнули свободно от гнетущей нужды», – писала в воспоминаниях Т. В. Розанова. Еще одна часть архива была частично продана, а частично пожертвована Татьяной Васильевной и Надеждой Васильевной в 1947 и 1956 годах.

Ср. также «Открытое письмо литераторам к полугодовщине кончины В. В. Розанова» Э. Ф. Голлербаха:

«Смиритесь, русские писатели, задавите в себе “литераторов” и все “литературное” – мелкое тщеславие, честолюбие, стремление возвести свое писательское “я” в единственную, незыблемую ценность. Каждый из вас по-своему хорош, нужен, интересен, но поверьте одному, поймите одно: Василий Васильевич Розанов был первым *мировым* мыслителем, безумно-гениальным, гениально-неповторимым, неповторимо-великим! Создадим же ему вечную память. Будем изучать его произведения до последнего слова (многие и многие их не знают), будем распространять его мысли и раскрывать скрытое значение его слов. Заклеймим жалостью уличных зубоскалов, насмешливых глупцов, пошлых завистников, целые десятилетия лаявших на Розанова и до сих пор произносящих его имя с наглой и тупой улыбкой.

Розанов был пророком. Розанов был титаном, провидцем, *святым*. Он был святым, потому что гениальность и есть святость. У него было много недостатков, многое было в нем уродливо, но это нисколько не опровергает его святости: “нечто” (в “ничтожестве”), чтобы сознать себя; самосознание становится сильнее всего после вины; Грааль и Копье родственны.

“Свет из тьмы! Над черной глыбой

Вознестися не могли бы

Лики роз твоих,

Если б в сумрачное лоно

Не впивался погруженный

Темный корень их...”

(Вл. С.)

Розанов был нужен, как нужен был Христос, но “по-другому”, “по-современному”. Он не был вторым Христом, но не был и Антихристом, он был “Анти-антихрист”. В наш век псевдорелигиозности и псевдокультурности он был воплощенным Ренессансом истинной религии и культуры.

Будем любить Достоевского, Толстого, Вл. Соловьева, но еще больше полюбим (когда до конца *узнают*) Розанова. При всей своей слабости, он был *сильнее* их; при всей своей порочности – непорочнее, светлее, чище. Умирая, он благословил нас, литераторов, завещал забыть вражду и

разделение, всех простил и у всех просил прощения. Благословим же и мы его великою любовью, великим сочувствием, великим пониманием. Будем славить его имя, невзирая ни на какие осуждения справа ли, слева, сверху или снизу. Необходимо воссоздать Петербургское Религиозно-философское Общество, несколько лет тому назад прекратившее свою деятельность, и назвать его “Религиозно-философским Обществом имени В. В. Розанова”. При нем должен возникнуть особый семинарий по изучению жизни и творчества Розанова.

Это будет лучшим памятником покойному великому мыслителю».

Вот постановление об аресте из его следственного дела 1927 года (опубликовано в книге «Сергей Дурылин и его время»): «Я, уполномоченный 6 отделения СО ОГПУ Казанский А. В., рассмотрев следственное производство по делу №47306 на гражданина Дурылина Сергея Николаевича, нашел, что таковой имел отношение к руководителю антисоветской группы почитателей писателя Розанова, Леману; давал последнему справки и устные сведения о настроениях, высказываниях Розанова и его биографии; сам же Дурылин пропагандировал некоторые моменты из учения Розанова, являющегося, несомненно, контрреволюционным. На основании изложенного полагаю: предъявить Дурылину С. Н. обвинение по ст. 58/14 УК. Мерой пресечения избрать содержание под стражей. Уполномоченный 6-го отделения СО ОГПУ Казанский».

В деле сохранился также ответ Сергея Николаевича на вопрос следователя о личном отношении к Розанову «как к писателю и философу», и он любопытен тем, что здесь нет той свойственной Дурылину романтической восторженности в отношении В. В.: «Я считаю, что существует не Розанов, а Розановы, так как в его сочинениях масса совершенно противоречивых взглядов и мнений. Меня, лично, интересовали два, главным образом вопроса, им разработанных. Это: критика Лермонтова и половой вопрос, тщательно Розановым обработанные. В этих разделах Розановской философии тоже противоречивость. Никогда нельзя сказать, какова будет следующая мысль. Так, за образец в половой жизни, в жизни семьи он ставит еврейство; остальным, по его мнению, народам далеко до них в организации половой жизни. Далее он развивает свой взгляд на еврейство в этом отношении, таким образом, он считает юдаизм “действительно природной материалистической религией для жизни, как философией сохранения рода” <...> Такая же беспринципность у Розанова и в других вопросах, например, в вопросах политических. В общем, он был пригоден для каждого правительства (какой-нибудь стороной)».

Платон мне друг, но истина дороже (*лат.*).

См. продолжение этой цитаты в пришвинском дневнике: «Я встретился с ним в первом классе елецкой гимназии как с учителем географии. Этот рыжий человек с красным лицом, с гнилыми черными зубами сидит на кафедре и, ровно дрожа ногой, колышет подмости и саму кафедру. Он явно больной видом своим, несправедливый, возбуждает в учениках младших классов отвращение, но от старших классов, от восьмиклассников, где учится, между прочим, будущий крупный писатель и общественный деятель С. Н. Булгаков, доходят слухи о необыкновенной учености и даровитости Розанова, и эти слухи умиряют наше детское отвращение к физическому Розанову.

Мое первое столкновение с ним было в 1883 году. Я, как многие гимназисты того времени, пытаюсь убежать от латыни в “Азию”. На лодке по Сосне я удираю в неведомую страну и, конечно, имею судьбу всех убегающих: знаменитый в то время становой, удалой истребитель конокрадов Н. П. Крупкин ловит меня верст за 30 от Ельца. Насмешкам гимназистов нет конца: “Поехал в Азию, приехал в гимназию”. Всех этих балбесов, издевающихся над моей мечтой, помню, сразу унял Розанов: он заявил и учителям и ученикам, что побег этот не простая глупость, напротив, показывает признаки особой высшей жизни в душе мальчика. Я сохранил навсегда благодарность к Розанову за его смелую по тому времени необыкновенную защиту».

«Козел, учитель географии, считается и учителями за сумасшедшего; тому – что на ум взбредет, и с ним все от счастья... Весь он был лицом ровно-розовый, с торчащими в разные стороны рыжими волосами, глаза маленькие, зеленые и острые, зубы совсем черные и далеко брызгаются слюной, нога всегда заложена за ногу, и кончик нижней ноги дрожит, под ней дрожит кафедра, под кафедрой дрожит половица».

«Писать мне Вам трудно, потому что давно уже не доверяю бумаге в тех случаях, когда дело идет о живой жизни и душе, а не о так называемом творчестве. Я хочу вам сказать о М<ихаиле> М<ихайловиче> – он великодушный, чистейший, светлый человек, делавший, несомненно, много ошибок в жизни. Но вы простите ему все до конца! Особенно “Кашееву цепь”. Ведь и В. В. был виноват перед тем мальчиком, который стоял тогда на грани самоубийства... Я понимаю так, что все это было в нем поиски страдающей, неуспокоенной великой души... М. М. никогда не останавливался в своей жажде, в поиске истины, он был тоже воистину нищим духом, хотя никто это не видел в нем за его игрой, и за это я его люблю».

Татьяна Васильевна Розанова отвечала В. Д. Пришвиной: «В. В. и М. М. – оба были друг перед другом виноваты, – это Вы верно написали. Я Вам честно говорю, что не читала этого, так как не хотела себя расстраивать, – бесполезно: расстройств и так много, об этом я говорила и М. М. при его жизни, и он меня верно понял».

И в другом письме: «Очень хорошо Вы мне сообщили, что Михаил Михайлович уже в гимназии сознал, что и он виноват. Это делает ему большую честь. Я помню, что Михаил Михайлович мне говорил, что жалеет, что описал В<асилия> В<асильевича> в плохом виде, но я этой вещи не читала и ничего не могу сказать... Упокой душу обоих мятущихся в жизни людей и всели в места упокоения. Кто много страдал, тому и много прощается. А они оба много в жизни видели скорби».

Так, 4 июня 1944 года Татьяна Васильевна писала М. М. Мелентьеву: «Дорогой М. М., за недосугом нельзя нам часто друг другу писать, а поэтому как ценишь каждую строчку письма. Второго мая была у сестры Наденьки, и она согрела меня своей любовью. Трудно, бедняжке, ей очень. Комнаты нет. Вещей никаких нет. И я такая больная... И Варя [сестра Варвара Вас. Гордина] вряд ли жива. Боль и жалость в сердце о ней ужасная».

Ср. также в дневнике Мелентьева: «*Приехала Т. В. Розанова. Хочу, чтобы было ей хорошо, бесхлопотно и бездумно, но думаю, что не удастся это мне. Есть люди, не рожденные для тишины и покоя – они все время в “трех волнениях”.* Такова и моя гостья. Слишком много тяжелого было у нее в жизни».

Ср. фрагмент, в котором автор воспроизводит диалог своего лирического героя с «пучеглазой мямлей», «книжником» и «фармацевтом Павликом», хотя, конечно, это излюбленный прием разговора Венечки с самим собой:

«Через полчаса, прощаясь с ним в дверях, я сжимал под мышкой три тома Василия Розанова и вбивал бумажную пробку в бутылку с цикутой.

– Реакционер он, конечно, закоренелый?

– Еще бы!

– И ничего более оголтелого нет?

– Нет ничего более оголтелого.

– Более махрового, более одиозного – тоже нет?

– Махровее и одиознее некуда.

– Прелесть какая. Мракобес?

– “От мозга до костей”, – как говорят девочки.

– И сгубил свою жизнь во имя религиозных химер?

– Сгубил. Царствие ему небесное.

– Душка. Черносотенством, конечно, баловался, погромы и все такое?..

– В какой-то степени – да.

– Волшебный человек! Как только у него хватило желчи, и нервов, и досуга? И ни одной мысли за всю жизнь?

– Одни измышления. И то лишь исключительно злопыхательского толка.

– И всю жизнь, и после жизни – никакой известности?

– Никакой известности. Одна небызывестность.

– Да, да, я слышал (“Погоди, Павлик, я сейчас иду”), я слышал еще в ранней юности от нашей наставницы Софии Соломоновны Гордо: об этой ватаге ренегатов, об этом гнусном комплоте: Николай Греч, Николай Бердяев, Михаил Катков, Константин Победоносцев, “простер совиные крыла”, Лев Шестов, Дмитрий Мережковский, Фаддей Булгарин, “не та беда, что ты поляк”, Константин Леонтьев, Алексей Суворин, Виктор Буренин, “по Невскому бежит собака”, Сергей Булгаков и еще целая куча мародеров. Об этом созвездии обскурантов, излучающем темный и пагубный свет, Павлик, я уже слышал от моей наставницы Софии Соломоновны Гордо. Я имею понятие об этой банде... Значит, по-твоему, чиновник Василий Розанов перещеголял их всех своим душегубством,

обскакал и заткнул за пояс?

– Решительно всех.

– И переплюнул?

– И переплюнул.

– Людоед. А как он все-таки умер? Как умер этот кровопийца? В двух словах, и я ухожу.

– Умер, как следует. Обратился в истинную веру часа за полтора до кончины. Успел исповедаться и принять причастие. Ты слишком досконален, паразит, спокойной ночи.

– Спокойной ночи.

Я раскланялся, поблагодарил за цикуту и книжки, еще три раза дернулся и вышел вон».

Так, Горький писал Пришвину из Сорренто 15 мая 1927 года: «Верно, Михаил Михайлович, сказали вы о Розанове, что он, как “шило в мешке – не утаишь”, верно! Интереснейший и почти гениальный человек был он. Я с ним не встречался, но переписывался одно время и очень любил читать его противопожарную литературу. Удивляло меня: как это неохристиане Р<елигиозно>-ф общества могли некоторое время считать своим человеком его – яростного врага Христа и христианского гуманизма? Он, у нас, был первым предвозвестником кризиса гуманизма, и Блок, в этом вопросе, шел от него, так же как от него шел и Гершензон в своем отрицании культуры, особенно резко выразившемся в “Переписке из двух углов”. В этом смысле и в этой области – борьба против Христа – Розанов был одним из наших “духовных” революционеров, – на мой взгляд, и хотя он был – из робости – косноязычен, но по прямолинейности мысли не хуже Константина Леонтьева и Михаила Бакунина».